

Мох Аджанов ПОРТРЕТЫ

Мох
АДЖАНОВ
ПОРТРЕТЫ



ВПЕРВЫЕ ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ

Издательство
МастерСати

Издательство
МастерСати

ПОРТРЕТЫ

Впервые в России **МАРК АЛДАНОВ**

Сочинения в 6 книгах

Книга 1. Портреты

«Жозефина Богарне и ее гадалка»

«Сталин»

«Пилсудский»

«Уинстон Черчилль» и другие очерки

Книга 2. Очерки

«Ванна Марата»

«Печоринский роман Толстого»

«Французская карьера Дантеса»

«Мата Хари» и другие очерки

Книга 3. Прямое действие. Рассказы

«Фельдмаршал»

«Грета и Танк»

«На «Розе Люксембург»

«Рубин» и другие рассказы

Книга 4. Начало конца

«Начало конца». Роман

«Десятая симфония», «Могила воина».

Исторические повести

Книга 5. Живи как хочешь

«Живи как хочешь». Роман

«Линия Брунгильды». Пьеса

Книга 6. Ульмская ночь

«Ульмская ночь».

Сборник философских диалогов

Статьи о литературе

Марк
Алданов
ПОРТРЕТЫ

Новості

Москва, 1994

ББК 84Р
А49

На обложке воспроизведены автограф Марка Алданова и его портрет работы художника Арнольда Лазовски в интерпретации Б. Федюшкина.

*Под общей редакцией
доктора филологических наук, профессора
Андрея ЧЕРНЫШЕВА*

Орфография, пунктуация, написание географических названий и собственных имен в книге приведены в соответствие с современными нормами русского языка.

*Шеститомное издание произведений Марка Алданова,
впервые выходящих в России, выпущено при участии фирмы
„Авеста“.*

По вопросам оптовой закупки книг обращаться по телефонам 265-50-53 и 265-56-62.

© А. А. Чернышев, предисловие, составление, подготовка текста, 1994

© Б. Н. Федюшкин, рисунки, 1994

© В. В. Анохин, оформление, 1994

МАТЕРИК «МАРК АЛДАНОВ»: НЕИЗВЕСТНАЯ ЧАСТЬ

*Но тут нас не оставят.
Лет через пятьдесят,
Как ветка пустит паветвь,
Найдут и воскресят.*

Б. Пастернак

Пятьдесят лет назад, в 1943 году, Клуб книги месяца в США выбрал лучшей книгой месяца роман Марка Алданова «Начало конца». Обыкновенно выбор останавливают на произведениях, написанных на английском языке, переводной роман-лауреат — редкость. Чести удостоили в разгар войны русского эмигранта, враждебно относившегося к Сталину, — и это тоже важно: руководствовались высокими художественными достоинствами книги. Она получила отличные отзывы в критике, вышла крупным тиражом в 320 тыс. экземпляров. Но на русском языке «Начало конца» в виде отдельной книги так и не появилось: за рубежом русское книгоиздательское дело в 40-е годы едва теплилось, а в Советском Союзе до недавнего времени имя Алданова находилось под запретом. Только теперь роман впервые печатается на родине писателя в новом собрании его сочинений.

* * *

Книги Алданова не вошли, а ворвались в нашу жизнь. Их печатают такие разные журналы, как «Октябрь» и «Наш современник», политики цитируют его афоризмы, за считанные годы начал утверждаться взгляд, что это один из крупнейших русских исторических романистов. Марк Александрович Алданов (1886, Киев — 1957, Ницца) — создатель грандиозной серии из шестнадцати романов и повестей, рисующих два последних столетия русской и европейской истории. Мастер напряженного, остросюжетного повествования, криминальной политической штриги. Автор философского труда и научных работ по химии — писатель-ученый.

По меткому замечанию одного из критиков, всю жизнь мы были убеждены, что за дверями нашего дома равнина, и вдруг обнаружили, что там высокая гора. Входят в наш круг чтения запрещенные доселе книги, и следом устанавливается новая иерархия ценностей в русской литературе XX века, меняются лекционные курсы в университетах. Даже далеким от литературы людям стало видно, что некоторые из книг, десятилетиями пылившихся в спецхранах, принадлежат к отечественной классике.

Эмигрантская русская читающая публика его «открыла» более семи десятилетий назад: в 1921 году к столетию со дня смерти Наполеона Алданов опубликовал во Франции первое свое художественное произведение — повесть «Святая Елена, маленький остров». И

почти сразу же к нему пришла громкая читательская известность. Михаил Осоргин уже в середине 20-х годов призывал «безоговорочно признать М. Алданова одним из первоклассных художников новой русской литературы». Борис Зайцев рассказывал, что, получив новую книгу Алданова, они с женой разодрали ее надвое — чтобы читать наперегонки. Ближайшим другом Алданова стал И. А. Бунин — он многократно выдвигал Алданова на Нобелевскую премию.

В России Алданова стали печатать с 1988 года. В 1991 году в литературных приложениях к журналу «Огонек» вышло шеститомное собрание его сочинений. Но полное собрание сочинений писателя составило бы, говорят, сорок томов, он был исключительно плодотворит. Сейчас Алданов оказался в центре общественного интереса: обгоняя свое время, он ставил такие вопросы, над которыми мы стали задумываться лишь недавно: «Что же мы сделали?.. Для чего отправили на тот свет миллионы людей?» Он писал о войнах и революциях, происходивших в разные века, в разных странах, и доказывал: почти все они не оправдывали возлагавшихся на них надежд и приводили к порядку вещей худшему, чем был до них. Все попытки воплотить утопию, создать справедливый общественный уклад неизменно оканчивались провалом. Обществу, человеку надо вернуться к трезвой самооценке, перестать строить воздушные замки.

Алданов не только художник, он моралист.

Еще не успели появиться на свет последние «огоньковские» тома, как на страницах многочисленных периодических изданий стали печататься его повести, рассказы, очерки, в первое собрание сочинений не вошедшие. Возник замысел нового шеститомника — и вот первая книга перед вами, читатель.

В новое собрание входят два важных для русской литературы романа. В первом, «Начало конца», писатель рассматривает психологию советских людей эпохи 1937 года, когда всеобщий страх, раболепие перед диктатором удивительным образом уживались с искренней верой в мировую революцию, в историческую миссию пролетариата. Второй, «Живи как хочешь», изображал русских эмигрантов в послевоенной Европе, но включал в себя две вставных пьесы, новеллу о средневековом суде над ведьмой, две детективных штрихи, одну с русским военным шпионажем, другую старомодную, с кражей бриллиантов, — а на фоне калейдоскопических занимательных картин развивались по-алдановски серьезные рассуждения о судьбах культуры, о жанре романа, о роли случая в истории.

Любителей исторической прозы Алданова ожидает встреча с двумя его философскими повестями 1930-х годов: «Десятая симфония» и «Могила воина» — в них действуют Бетховен, Байрон, Александр I. Читатель ознакомится и с драмой «Линия Брунзильды» — ее ставили зарубежные русские труппы в Париже, Праге, Варшаве. Алданову — историческому мыслителю и литературному критику в подтеме отведен отдельный том. В него войдут книга «Загадка Толстого», с которой в годы первой мировой войны началась известность Алданова, и сборник историко-философских диалогов «Ульмская ночь», своего рода итог пути писателя, а кроме того, статьи, рецензии, воспоминания. Еще один том — собрание рассказов. Они печатались в

различных периодических изданиях, выходили отдельной книгой на английском языке, но на русском подобный сборник издается впервые.

И наконец, последнее в нашем перечне, но первое по времени выхода и, возможно, по значимости — собрание очерков в двух книгах. Как мастера психологической публицистики, Алданов сравнивают с Герценом, некоторые критики, например М. Слоним, отдают его очеркам предпочтение перед художественной прозой.

Сам писатель пренебрежительно называл свою работу над очерками литературной поденщиной, но в 20—30-е годы уделяя ей много времени. Зарубежные издательства выпускали художественную прозу на русском языке крохотными тиражами, обычно не более тысячи экземпляров, редко две тысячи, и, соответственно, гонорары были мизерными. В. Набоков зарабатывал на жизнь уроками, Г. Газданов работал шофером парижского такси. Алданов ухитрялся сводить концы с концами только на гонорары и еще к тому же занимался благотворительностью, помогал писателям, нуждавшимся еще больше, чем он сам. Средством постоянного заработка стали для него очерки.

Многие очерки Алданова были напечатаны впервые в парижской русскоязычной газете «Последние новости», их перепечатывали затем в переводах газеты различных европейских стран, часть из них, в основном портретные очерки, писатель собрал в сборники «Современники» (1928), «Портреты» (1931), «Земли, люди» (1932), «Юность Павла Строгонова и другие характеристики» (1934), «Портреты», т. II (1936). Первая книга нашего собрания, вслед за двумя одноименными у Алданова, названа «Портреты», но в нее включены очерки из разных его сборников о незаурядных людях, необычных судьбах.

Вторая книга состоит главным образом из его очерков, не входивших в книги. В конце 40-х годов Алданов хотел часть из них выпустить в издательстве «ИМКА-Пресс» в виде сборника под названием «Давнее», внес крупную правку в некоторые очерки. Издание не было осуществлено, но авторская правка (по материалам архива Алданова в Росийском фонде культуры) использована при подготовке второй книги.

Алданов был одним из самых образованных людей в русской литературе: владел главными европейскими языками, включая латынь, имел дипломы химика, юриста и социолога и, по свидетельству близко его знавшего музыковеда Л. Сабанеева, отличался «научностью» не только мыслей, но даже чувств. Необыкновенная научная рафинированность сквозит в каждой его строке. Он требовал эрудиции и от своего читателя, включая, например, в текст очерков цитаты на иностранных языках без перевода и даже без указания источника. Обладал феноменальной памятью: помнил детали архитектуры исторических зданий главных европейских столиц, мельчайшие факты биографии замечательных людей разных стран и эпох, любил цитировать забытые афоризмы и девизы старинных аристократических фамилий, газетные отчеты о давних пожарах и меню обедов в императорских дворцах.

Многие предшественники Алданова считали возможным отклоняться от фактов, один из первых мастеров русского исторического

романа И. И. Лажечников провозглашал: «В историческом романе истина всегда должна уступить поэзии, если та мешает этой». Алданов придерживался противоположного взгляда и даже великим предшественникам не прощал нарушений исторической правды. Писал, например, о несостоятельности концепции знаменитой маленькой трагедии Пушкина: ни Моцарт не был «гулякой праздным», ни Сальери убийцей...

Подчеркнутый интерес к факту скорее органичен для очеркиста, чем для мастера художественной прозы. Когда два свидетельства о событии вступают между собой в противоречие, автор очерка обычно излагает обе версии, романист, за редчайшими исключениями, вынужден принять только одну — и тотчас же он становится объектом нападок ученых. Алданов любил повторять фразу французского профессора Олара: «Нет ничего более почетного для историка, чем сказать: я не знаю».

Романы Алданова эмоциональны, богаты тонко найденными художественными деталями. Дважды, в очерке «Сталин» и в романе «Самоубийство», писатель рисует сцену тифлисской экспроприации 1907 года — чтобы пополнить партийную кассу, большевистские боевики напали на кассиров банка, перевозивших крупную сумму. В романе самая впечатляющая деталь этой сцены придумана автором, это изображение подстреленной террористами лошади, ее глаз перед смертью. В очерке, разумеется, о лошади ни слова, но авантурный сюжет подводит писателя к важным рассуждениям о нравственности в политике.

В 1920-е и в первой половине 30-х годов Алданов работал над двумя большими эпическими полотнами: тетралогией «Мыслитель», из времен Великой французской революции и Наполеона, и трилогией «Ключ» — «Бегство» — «Пещера», из эпохи Февральской и Октябрьской революций. Параллельно он создавал очерки о людях и событиях тех же лет, бегло упоминаемых или вовсе опущенных в романах. Очерки, таким образом, можно было рассматривать как дополнительный фактический материал для читателя, заинтересовавшегося событиями, обсуждаемыми в романах. В то же время они имеют самостоятельную научную и художественную ценность.

...Романы мадам де Сталь пользовались во Франции на рубеже XVIII — XIX веков грандиозным успехом. Говорили, что пустуют театры и церкви, когда выходят ее новые книги. Эта необыкновенная женщина была люблена в Наполеона, но он пренебрежительно отверг ее чувство и более того — отправил писательницу в ссылку. Весной 1812 года с юным, вдвое моложе, чем она сама, мужем — гусарским офицером и с новорожденным младенцем 46-летняя мадам де Сталь бежала в Россию. Она не говорила по-русски, но написала о России изумительные страницы: ей удалось подметить в русском народе те черты, которые позднее показала классическая русская литература. Об отношении русского общества к знаменитой французженке писал Пушкин в «Рославлеве».

Поездка мадам де Сталь могла бы под пером другого автора стать сюжетом авантурного или героического романа. Алданов не написал о ней романа, он ограничился очерком «Коринна в России».

В статьях разных лет и в романе «Живи как хочешь», где главный герой — писатель, Алданов раскрыл свое понимание жанра романа: роман — синтетическая форма искусства, полифонический жанр, включающий в себя и драму (диалог), и публицистику, и философию, и поэзию. Писатель предпочитал исторический роман с множеством вымышленных характеров и судеб, в движении которых отражается История.

Иное дело — очерк, с его локальной темой, небольшим объемом, заданной недопустимостью вымысла. Алданов отбирал такие происшествия, которые по напряженности и запутанности интриги не уступали уголовному роману. От очерков — шлейфов к романам он постепенно переходил к самостоятельным небольшим историческим этюдам. Он писал о Пикаре и его роли в знаменитом деле Дрейфуса, об убийстве анархистом французского президента Карно, об австрийском престолонаследнике, совершившем двойное самоубийство со своей возлюбленной. Он исследовал психологическую сторону этих подлинных событий, писал о том, как мотивы благородные и возвышенные всегда переплетаются с низменными и корыстными, как на заднем плане исторического спектакля за фигурами уважаемых государственных мужей возникают их тени — полицейские агенты, авиатехники, заговорщики, убийцы. Изображая события, происходившие в давние времена, в далеких странах, он смотрел на них глазами нашего соотечественника, русского эмигранта.

Портрет Алданова работы художника Арнольда Лаховски, открывающий нашу книгу, относится ко второй половине 1920-х годов и был репродуцирован в книге «Современники», вышедшей на немецком языке. Мягкие черты интеллигента, высокий лоб, прямой пронизывающий взгляд, в глазах грусть. «Эмиграция не бестово и, конечно, не преступление. Эмиграция несчастье». Это пишет Алданов о дюке Ришелье, эмигрировавшем в конце XVIII века из Франции в Россию. Но одновременно не о себе ли самом и своих товарищах по несчастью, русских эмигрантах первой волны, эти грустные слова?

Алданов дебютировал в качестве политического публициста в 1918 году в революционном Петрограде. В книге «Армагеддон» предпринял попытку установить общие закономерности всех революций. Утверждал: революции обыкновенно «наводят на скорбные мысли, не оправдывают возлагавшихся на них надежды и приводят к порядку вещей худшему, чем был до них.

Книга «Армагеддон» сыграла роковую роль в судьбе ее автора. Он был ироничен и бесстрашен, а между тем в стране уже устанавливался всеобщий страх. Заявляя, что Ленину, как когда-то протопопу Ававакуму, свойственны ненависть к противнику и презрение к чужой мысли: «черта гения в одном случае, черта варвара в ста других». Разумеется, тираж крамольной книги тотчас изъяли, и автору, чтобы не стать, как выражаются в наши дни, «жертвой необоснованных репрессий», пришлось экстренным образом отправиться за границу.

С тех пор Алданов преимущественно жил во Франции, и одной из главных его тем стали русско-французские отношения, судьбы людей, воплотивших историческое притяжение русской и французской культур.

Немало русских эмигрантов-писателей возвращалось в 20 — 30-е годы в СССР. Ехали — одни, как Куприн, на родину умирать, другие, как Алексей Толстой, преданно служить большевистским властям. Дядя Алданова путь домой был закрыт. Он еще в 20-е годы не питал ни малейших иллюзий в отношении Сталина, решительно отвергал тоталитаризм.

Он писал о Гитлере, когда тот еще не пришел к власти, о Сталине, еще до начала обернувшейся кошмаром коллективизации. Умел проводить человеконенавистническую сущность диктаторов задолго до того, как она стала очевидной для всех. В одном своем прогнозе Алданов ошибся, но и ошибка его знаменательна. Посмотрев советскую кинохронику, запечатлевшую парад на Красной площади в 1932 году, писатель в очерке нарисовал выразительный групповой портрет советских руководителей на трибуне мавзолея. В глаза бросалось раболепие перед Сталиным впаавших в немилость вождей. Он удивлялся: «Достаточно ясно, что Рыкова, Каменева, Зиновьева, Бухарина Сталин не расстреляет, как не расстрелял и Троцкого». К сожалению, все случилось иначе. Всех четверых вскоре прикончили, к Троцкому были подсланы в Мексику убийцы. И все же в широком смысле, в главном Алданов оказался прав. Он верил в человеческий разум, в то, что когда-нибудь «прорвет 160 миллионов людей» и порабожденная страна воспрянет, хотя предупреждал заранее: «От всего этого придется лечиться не годами, а столетиями». Алданов размышлял об опасности вируса тоталитаризма, предостерегал против «ненависти к парламентаризму и воли к единоличной власти». Порою сегодняшние авторы рисуют Сталина и Гитлера жалкими ничтожествами. Алданов, думается, был ближе к истине: оба они люди выдающиеся, только людям очень сильной воли удается направлять ход исторических событий. Но тем хуже для человечества, что такие, как Гитлер и Сталин, — люди выдающиеся! Пророческими оказались слова очерка о Гитлере: «И не сегодня-завтра он, чего доброго, подождет мир». (Отметим в скобках, что в 1932 году немецкий издатель Алданова отказался печатать этот очерк.)

Красной нитью через художественную ткань очерков на современную тему проходит тревога писателя за судьбы цивилизации. Он считал, что зло в мире становится всемогущим, «черт на пути ко всемогуществу», гуманизм терпит тотальное крушение, надвигается век, когда нравственные ценности окончательно утратят смысл.

Оставалась одна надежда — на «современных Питтов», политических лидеров демократической ориентации, таких, как Клемансо, Бриан, Ллойд Джордж, Черчилль. Их портреты чужды идеализации, идеализация какой бы то ни было исторической личности вообще претила писателю. Он, прозванный русским Анатолем Франсом, сохранял ироническую интонацию даже когда писал о Ганди. О Ллойд Джордже, например, он счел нужным привести такое суждение современника: «Я предполагаю, что мистер Ллойд Джордж умеет читать. Но, во всяком случае, он этого никогда не делает». У каждого из приверженных парламентаризму политиков, по Алданову, свои человеческие недостатки, свои промахи, прегрешения, свои неуместные амбиции, но все же они заслуживают уважения: перефра-

зируя приведенную в очерке «Коринна в России» цитату, их можно было бы назвать искусными шахматными игроками, играющими партию за человеческий род, взявшимися его защищать. «Я демократ, потому что пока люди не выдумали менее плохой формы общественного устройства», — говорил писатель.

Читатель, несомненно, обратит внимание, что в изображении Алданова люди наполеоновской эпохи и XX века очень схожи, отличаются лишь внешне, а психология, побудительные мотивы поступков те же. «Какое подлец!» — сказал Бонапарт, узнав о доносе Блана, и приказал выдать подлецу сто тысяч франков», — читаем в очерке о генерале Пишегрю. Алданов итожит: «Такова брезгливая философия правителей». Так было, так будет, в мире ничего не меняется, прогресса не существует. Никогда не будет найдено справедливое общественное устройство, будут всегда бороться и мечтать о счастливым завтрашнем дне, а в итоге все останется по-старому, только место лошадей займут реактивные самолеты, а место стрел — атомные бомбы. Писатель не признавал исторического детерминизма, был уверен, что миром правит Его Величество Случай. «По случайности, — писал он в очерке о Жозефине Богарне, — эта женщина не взошла на эшафот, по случайности взошла на трон, по случайности с трона сошла». О полковнике Лоуренсе: «Байрон в нем отлично уживался с Майн Ридом. Вероятно, с годами все это прошло бы и он стал бы мирным профессором Оксфордского университета по кафедре средневековой архитектуры. Вышла, однако, неожиданность: мировая война».

Случай выбрасывает на поверхность, разумеется, не самых умных и не самых достойных. И все же у Алданова не было большего интереса, чем к знаменитостям, представителям первого ранга человечества. Он порой искал личного знакомства с ними, любил обсуждать их пути к славе, к успеху. За парадным обликом героя стремился разглядеть простого смертного, проникнуть в его духовный мир. Человека он всегда представлял на фоне исторического потока: один плывет по течению, другой пытается потоку противостоять... В каждом очерке сообщается множество занимательных исторических сведений. На первый взгляд их подбор может показаться случайным, но, присмотревшись внимательнее, нельзя не заметить стройности замысла, органичности конструкции.

Стремление к максимальной емкости каждой строки заставляло писателя отказываться от всего, что замедляет движение сюжета. Его упрекали, что он избегает пейзажей. В ответ в мемуарном очерке «Из воспоминаний секретаря одной делегации» язвительный Алданов припомнил, как Марк Твен составил однажды брошюру с перечнем всевозможных картин природы: летнего утра и зимнего вечера, зеленых полей и тенистых роц, фиолетовых облаков и розовых закатов. А затем желаящих отправлял к этой брошюре: летнее утро — смотри страницу такую-то.

Искусство пользования цитатой доведено у Алданова до совершенства. В очерке о Пилсудском приведен его ответ польским социалистам, которые в 1918 году обратились к нему «товарищ Пилсудский»: «Господа, я вам не «товарищ». Мы когда-то вместе сели в

красный трамвай. Но я из него вышел на остановке «Независимость Польши», вы же едете до конца к станции «Социализм». Желаю вам счастливого пути, однако называйте меня, пожалуйста, паном». В старину такие цитаты называли «сладкими»: всего несколько слов — и портрет готов, личность раскрылась.

Превосходный рассказчик, Алданов умел для каждого из жизнеописаний найти оригинальную завязку. Очерк о Клемансо начал с зарисовки удивительной защиты диссертации, когда соискателю было 86 лет, очерк об Адаме Чарторьском — с цитаты из «Войны и мира», которая пробуждает в читателе интерес к личности этого польского аристократа — крупного русского дипломата.

Обычно век очерка недолог, они забываются намного быстрее, чем художественная проза. Но книги очерков Алданова — счастливое исключение. Написанные шесть-семь десятилетий назад, они нисколько не устарели.

«Биографиям доверять вообще не надо, это самый лживый род литературы», — уверял писатель. Фактическая сторона его очерков отличается высокой достоверностью, а концепция, даже если читатель ее не примет, все равно покажется заслуживающей внимания. «Биографиям доверять вообще не надо...» Этим биографиям можно доверять.

Андрей ЧЕРНЫШЕВ

Эмманюэль де Ришелье



«Дюк Эммануил Осипович де Ришелье»

I.

Обозначение «дюк», быть может, памятно читателям старых русских исторических журналов. Так в начале прошлого века именовался в России один из главных создателей Новороссийского края, герцог де Ришелье. Именовался он так и официально. Этот замечательный человек не получил настоящего признания у себя на родине. После окончания периода эмиграции он был два раза председателем совета министров, но большим политическим престижем не пользовался. Талейран язвительно говорил о нем: «Ни один французский государственный деятель не знает так хорошо крымских дел, как герцог Ришелье». Гораздо более благодарную память он оставил после себя в России. В Одессе, как известно, ему поставлен памятник и его именем названа главная улица города. В России же (в «Сборнике Исторического общества») были опубликованы и его письма, и воспоминания его жены — главный биографический материал настоящей статьи.

Всем известна генеалогия рода Ришелье. Прославленный кардинал был старого, но незнатного дворянского рода. Он пожаловал себе герцогство, а равно и десяток других титулов: его потомки одновременно — герцоги де Ришелье, герцоги де Фронсак, князь де Мортань, маркизы де Понкурле, графы де Шинон, бароны де Альбре и т. д. Все эти титулы и свое огромное богатство кардинал завещал внуку своей сестры. Сыном второго герцога был маршал де Ришелье, тоже достаточно нашумевший в мире. Он прожил 92 года и оставил по себе не слишком добрую славу, — в стиле не то Петрония, не то Толстого-Американца. Таков же, в менее шумном варианте, был его сын, проделавший быструю военную карьеру: он семи лет от роду был полковником драгунского полка; этому удивляться по тем временам не приходилось: полковому коман-

диру семилетнего драгуна шел двенадцатый год. «Надо быть очень осторожным в выборе своих родителей», — говорил Гейне. Но зато если выбор сделан удачно, то обычно можно быть спокойным за будущее, когда оно не приходится на революционное время.

Будущий градоначальник Одессы был единственным сыном четвертого герцога, иными словами, внуком маршала Ришелье. Маршал не любил своего сына, но внука обожал. «У Армана все мои достоинства и ни одного из моих пороков», — восторженно говорил он. Бывали, впрочем, у маршала вспышки гнева, которые, с точки зрения современной педагогики, едва ли могут быть одобрены. Так, однажды, после большого карточного выигрыша у короля, он подарил внуку сорок луидоров. Недели через две маршал встревожился: верно, Арман сидит без гроша? Честный внук изумился: как без гроша, а сорок луидоров? Маршал в бешенстве швырнул деньги нищему за окно: вот до чего дожил — мой внук не истратил сорока луидоров за две недели! Это рассказывает в своих воспоминаниях один из родственников Ришелье.

Пятнадцать лет от роду бережливого внука женили на 13-летней дочери герцога де Рошешуар. Подобные браки в ту пору были приняты. Вспоминать, однако, по этому поводу Амура и Психею не надо. Психея была безобразна как смертный грех: уродливое лицо, горб на спине, другой горб на груди. Тридцатью годами позднее герцог Ришелье представил свою жену императору Александру I. Царь был в ужасе: «Что за урод! Господи, что за урод!» — сочувственно говорил он приближенным: Александр Павлович искренно любил герцога. Понять причины этого брака невозможно. Рошешуар-Мортемары, потомки лиможских виконтов, — одна из самых родовитых семей Франции, но какой еще знатности нужно было наследнику десяти титулов! Не нуждался Ришелье и в деньгах своей жены: маршал завещал ему состояние, приносившее 500 тысяч ливров ежегодного дохода.

Правда, и брак был своеобразный. В вечер бракосочетания новобрачный отправился в свадебное путешествие один или, точнее, в сопровождении гувернера. Путешествовал он полтора года, затем вернулся, сделал визит жене и опять уехал. Так это продолжалось почти всю жизнь супругов. Эмиграция разлучила их на

долгие годы. По словам их родных, герцог и герцогиня очень уважали друг друга. Но, кроме уважения, между ними ничего не было.

Арман Эмманюэль де Ришелье получил хорошее образование. Воспитателем его был аббат Лабдан, впоследствии ставший учителем герцога Энгенского, — он скончался, получив известие о расстреле этого своего воспитанника. Лет 17-ти от роду Ришелье был представлен ко двору и вскоре получил высокое придворное звание первого камергера. Как ни велика была тогда власть имени и породы, пожалование этого звания 19-летнему юноше вызвало в Версале ропот.

По-видимому, придворная жизнь не понравилась молодому Ришелье (тогда еще графу де Шинон). Близкий к нему человек рассказывает, что его раздражали злоупотребления, он хотел многое переделать («*reformé les abus*»). Если бы искоренять все *abus*, то и сам он не был бы 19 лет сановником. Вероятно, ему и это приходило в голову: в отличие от своих предков, он был совестливый, печальный человек, лишенный любви к блеску и этикету.

Я не скажу, что это был «кающийся герцог» вроде русских «кающихся дворян». Но, как другие устают от труда, Ришелье устал от праздности. Андрей Белый рассказывает о своем знакомом, старом англичанине: «Бритт тридцать пять лет во фраке ходил по салонам; нажив себе сплин, чтобы бежать такой жизни, однажды он, став на корячки пред леди и лордами, на четвереньках — в переднюю, на пароход и — в Париж». Бежать на четвереньках необязательно, можно уехать и просто. Именно так Ришелье и поступил — вероятно, по тем же побуждениям, что и «бритт». У внука маршала Ришелье, несомненно, было свойство, которое Белый называл «невывируемыми чащобами самотерза».

Популярностью при дворе молодой Ришелье не пользовался. Он не любил света, Париж и Версаль ему не нравились. Пытался он сблизиться с придворными, передовыми людьми, но из этого ничего не вышло. В их обществе он был чужим, — очень вредила ему застенчивость. Ришелье много путешествовал, много читал, изучил несколько иностранных языков (впоследствии он совершенно свободно говорил и по-русски). Числился он на военной службе, служил сначала в драгунском, потом в гусарском полку. Разу-

меется, военная карьера его шла весьма успешно: не следует думать, что 25-летние генералы появились только в пору революции. В таком же возрасте и при старом строе мог стать генералом человек с именем и со связями герцога Ришелье. Но тут скрывалась трагедия, которая в нынешнем мире большого сочувствия не вызовет: никакой войны в ту пору не было.

II.

У нас революцию вызвала война. Во Франции войну вызвала революция. Войнам 1792—1815 годов предшествовал сравнительно долгий период мира. По-видимому, это необычайно тяготило молодежь того времени. В наши дни старые генералы, случается, говорят о войне с ужасом и отвращением. Тогда настроения были совершенно иные. Чем это объясняется? Нынешние войны кровопролитнее прежних только в абсолютных цифрах; процентное же соотношение потерь к общей численности армий, напротив, тогда было много выше, чем в настоящее время. Под Измаилом, например, погибла в один день треть русской армии и почти вся армия турецкая. За все четыре года последней войны воюющие державы потеряли едва ли более 15—20 процентов своих вооруженных сил. Как бы то ни было, можно было бы показать десятками свидетельств, что молодежь 18-го столетия только о том и думала: где бы повоевать? Так как век был просвещенный, то особенно хотелось воевать за просветительные идеи. Одним ли свободолюбием Лафайета и Рошамбо объясняется их участие в борьбе за независимость Соединенных Штатов? Их поколению повезло. Позднее Америка независимость получила, — что же было делать поколению следующему?

В эту пору в большой моде оказалась Россия. Тяга на русскую службу в годы второй турецкой войны была очень велика. Отчасти объяснялась она престижем и славой императрицы Екатерины II. Но идейную сторону этого увлечения преувеличивать не надо. Граф де Дама в ответ на вопрос, почему, собственно, он предложил свою шпагу русскому, а не турецкому правительству, ответил: «Потому, что если я провинюсь в России, то мне отрубят голову; а если я провинюсь в

Турции, то меня посадят на кол». Дама действительно стал офицером русской армии. Добивались того знатнейшие французские аристократы: Тремуйли, Тальмоны, Булье, Ланжероны и др. Был в числе кандидатов и молодой Ришелье.

Окончательно решилось дело в Австрии. Не надо думать, что Ришелье бежал из Парижа в пустыню. Он бежал в Вену: очень любил этот город. Там у него были большие связи; по бабке своей, принцессе де Гиз, он приходился родственником самим Габсбургам. 10 сентября 1790 года Ришелье обедал у знаменитого князя де Линя, с сыном которого его связывала тесная дружба. Как раз во время обеда к князю прибыл с письмом от Потемкина курьер, офицер русской службы. Он разговорился с молодыми людьми и сообщил им важную новость (в ту пору военные тайны соблюдались плохо): русская армия готовится к штурму Измаила. Крепость эта почти неприступна, и защищает ее сераскир*, человек очень храбрый, — дело будет серьезное.

— Мы только переглянулись, — рассказывает сам Ришелье, — и тут же приняли решение. Оно, разумеется, заключалось в том, чтобы принять во что бы то ни стало участие в штурме Измаила.

Прежде всего, нужно было получить разрешение Потемкина. Его главная квартира находилась в Бендерах. Туда и понеслись Ришелье и де Линь — именно понеслись: дорогу из Вены в Бендеры они проделали в девять дней — скорость по тем временам огромная. В Бендерах их встретил молодой француз из того же круга, упомянутый выше граф Дама. Он уже состоял на русской службе, был лично известен Потемкину и на свою ответственность повел своих товарищей прямо к князю.

Ришелье оставил описание этого своего визита — сожалею, что не могу привести его целиком. Потемкин жил не во дворце — какие уж дворцы в Бендерах, — но в большом доме, еще недавно принадлежавшем турецкому паше. В первых гостиных было много офицеров, не имевших доступа к главнокомандующему. В последний зал проникнуть было труднее. Это была огромная комната, освещенная бесчисленными свеча-

* Сераскир — главнокомандующий, позднее военный министр турецкой армии. — *Прим. ред.*

ми. В ней стояло около пятидесяти офицеров в полной парадной форме. Под балдахинном находился огромный диван. На нем было шесть дам — красавицы как на подбор. Тут же сидел «в широкой шубе, напоминавшей халат», огромного роста величественный человек, князь Потемкин-Таврический.

III.

Имя Потемкина было в ту пору окружено легендой или, точнее, легендами. О всех знаменитых людях при их жизни высказывались суждения разные и даже прямо противоположные. Позднее — и то далеко не всегда — устанавливается арифметическое среднее истории. Легко себе представить, какое число врагов должно было быть у всемогущего временщика. В 1794 году в Германии появился роман, в котором он был выведен под именем «князя тьмы»: роман так и назывался «Der Fürst der Finsternis und seine Geliebte»^{*}. Оговариваюсь, я не читал этого памфлета; но литературный род его достаточно ясен (Лесков о таких произведениях говорил: «Проклятие тому гусю, который дал перо, которым написана сия книга»). По-видимому, написал этот шедевр актер Альбрехт в угоду Платону Зубову. Любопытно то, что вышел этот роман (в 1809 году) и в России! Почти через двадцать лет после кончины Потемкина еще были люди, желавшие сделать ему небольшую посмертную неприятность. С другой стороны, были у него при жизни и горячие поклонники. Князь де Линь называл его гениальным человеком. Высокого мнения был о его государственных способностях и Суворов.

Едва ли можно сомневаться в том, что Потемкин был человек очень выдающийся. Был ли он большим политическим деятелем? Ответ особенно затрудняется тем, что не знаешь, к какому именно отрезку времени отнести дела Потемкина и дела всех вообще русских (да и не только русских) государственных людей последних двух столетий. Россия потеряла Польшу, Финляндию, Латвию, Эстонию, Литву, — как теперь рас-

^{*} «Князь тьмы и его возлюбленная» (нем.). Здесь и далее переводы текстов на иностранных языках даны редакцией, если это не оговорено особо.

ценивать потоки крови, пролитой за эти земли? Ключевский, весьма иронически относившийся к политическим делам того времени и даже к делам военным (в Chesменской гавани «турецкий флот оказался еще хуже русского»), по-видимому, считал не очень нужным и главное из всех дел князя Таврического: «Крым не стоил и одной войны, а из-за него должны были вести две» (том V, стр. 31).

Этот своеобразный максимализм, столь удивляющий в трудах знаменитого историка, может, конечно, уничтожить все дела Потемкина. Но с ними он уничтожит и очень многое другое. Подобно громадному большинству политиков 18 века, Потемкин твердо верил в необходимость расширения географических пределов своей страны: чем она больше, тем лучше. Если он ошибался, то ошибался со всей своей эпохой. Без такой веры не было бы Российской империи, как не было бы империи Британской. Что и говорить, швейцарская или голландская история неизмеримо счастливее русской и даже английской. Но, от Кромвеля и Питта до Ллойд Джорджа и Болдуина, какой государственный деятель Англии предпочел бы для своей страны бескровную швейцарскую историю. Едва ли и большевики, главные обличители «буржуазных империалистов», отдадут себе отчет в том, что они живут исключительно за исторический счет Потемкиных: если бы советская революция произошла в маленьком государстве, то она ни для кого в мире не представляла бы никакого интереса и была бы через три месяца прекращена извне простыми мерами хозяйственного воздействия. Но и Потемкины не могли думать, что, в перспективе большого отрезка времени, они работают на политбюро.

До нас дошло несметное множество анекдотов о Потемкине. Если бы верить этим анекдотам, надо было бы сделать вывод, что он по целым дням чистил щеточкой свои бриллианты, запивал то квасом редьку и капусту, то шампанским «перигорские пироги», устраивал неумные выходки, говорил несмешные шутки, а по ночам «предавался оргиям». Между тем почти все, что было в России сделано или задумано замечательного во второй половине 18 века, от больших государственных планов до русского овцеводства и новороссийской промышленности, так или иначе связано с именем Потемкина. Правда, в области военной

главное совершил его подчиненный Суворов, — тут заслуга князя преимущественно в том, что он на этого подчиненного всецело полагался. Но в гражданской деятельности Потемкина у него, собственно, ни одного выдающегося сотрудника не было. Кто же все сделал? Не сами же собой основались Севастополь и Екатеринослав, не сам собой создан Новороссийский край. «Крым не стоил и одной войны» — это все-таки лишь одна из шуток, составлявших несчастную слабость Ключевского, и притом не лучшая. Добавлю, что методы, которыми пользовался Потемкин, по нынешним временам могут вызвать мысли меланхолические. Через полтора столетия после него на тех же местах, в городах, им созданных, идет гражданская война: подходят к городу большевики или петлюровцы, — начинается паническое бегство населения, обычно следует резня. Первое распоряжение Потемкина при захвате татарских областей: обеспечить населению полную свободу веры, мечетей не трогать, дать татарскому дворянству права дворянства русского. А кто хочет уйти в турецкие земли, тем не препятствовать, выдать пропускные свидетельства и снабдить деньгами на дорогу.

По создании екатеринославского наместничества он принимает решение: основать университет и консерваторию. Правда, ни университет, ни консерватория не основываются, но мысль все же заслуживает внимания: много ли, например, университетов и консерваторий основали по сей день в Индии англичане? Не подлежит сомнению, что Потемкин по разным причинам, всего больше по своей хандре, не осуществил и десятой доли того, что хотел осуществить. Отсюда и «потемкинские деревни» — то, что вместе с «завещанием Петра Великаго» может считаться коньком средних европейских знатоков новой русской истории. Возможно, что некоторая доля правды в этих «потемкинских деревнях» и была. Но дошедшие до нас распоряжения князя по подготовке путешествия императрицы основы для такой легенды не дают. Он предписывает Синельникову: «Чтобы город был в лучшей чистоте»... «Безобразящие строения разломать или скрыть»... «Сверх исправности в делах, должны все быть в совершенном опрятстве» и т. д. Так, наверное, с сотворения мира поступали в подобных случаях везде и всегда.

Несвойственный времени либерализм проявляет он

и в отношении солдат. За всю историю России, вплоть до царствования Александра II, никто не заботился о солдатах так, как Потемкин. В 18 веке он был в этом отношении совершенным исключением: многие из его столкновений с генералами происходят на этой почве. Чисто военные предписания Суворову он отдает редко и неохотно. Потемкин был главнокомандующим, генерал-аншефом, президентом Военной коллегии, гетманом казацких, екатеринославских и черноморских войск и т. д. (полный список всех его чинов и должностей занял бы около сорока строк), но своих военных способностей он, кажется, не преувеличивал. Однако из-за недостаточно бережливого отношения к человеческой жизни, к «пушечному мясу», он иногда устраивал бурные сцены и Суворову: первое дело — «обережение людей». «Прикажи, мой друг сердешный, командирам, — пишет он, — чтобы людей поили квасом, а не водою и чтобы кормили их травными штыями». В другом письме он советует, правда в предположительной форме, при распределении наград опросить полки, «кого солдаты удостоят между себя к получению медалей». Безусловно запрещает он жестокие наказания, применявшиеся и Фридрихом, и Нельсоном, и Румянцевым, и совершенно равнодушно относится к ропоту и насмешкам своих генералов. Кн. Цицианов пишет на него памфлет, в котором над Потемкиным издевается солдат Сергей Двужильный: погубил, мол, армию, ведь «наш брат палку любит». Все остальное в этом памфлете было столь же верно и столь же остроумно.

Не будем преувеличивать: изображать Потемкина просвещенным гуманистом не следует и незачем. Но во многих отношениях, на фоне времени жестокого, он выделяется ярко и необычайно. Во всяком случае, принадлежал он к очень большой государственной традиции, которая началась с Ордына-Нащокина и кончилась с графом Витте.

Человеческий же образ Потемкина нам непонятен; художественный портрет его был бы под силу одному Толстому. Кажется, Толстой о таком портрете и подумывал: в «Федоре Кузьмиче», без всякой причины, без всякого отношения к сюжету, начат (и не докончен) рассказ о столкновении между Потемкиным и Алексеем Орловым. Думаю, впрочем, что автор «Федора Кузьмича» от этого портрета в конце концов отказался

бы: путь, по которому Потемкин пришел к власти, вызывал у Толстого такое отвращение, что никаких смягчающих обстоятельств, никаких поправок на нравы эпохи он принять никак не мог бы.

Очень велика тут вдобавок двойная опасность анекдота и олеографии. На основе анекдотов можно написать о Потемкине какую угодно олеографию, от «князя тьмы» до Микулы Селяниновича. Для иностранных авторов, знающих и любящих тайны славянской души, он был, разумеется, настоящим кладом. В некоторых своих действиях Потемкин иногда представляется живой пародией на *boyard russe** в изображении французского романиста. «Боярином», как известно, он не был, — родовая знать его ненавидела, да и он очень ее не любил. Потемкин и вообще людей любил не слишком, — видел на своем веку немало. Тиберий, выходя из сената, говорил: «О, люди раболепные!..» Мог сказать это и князь Таврический. Был он, впрочем, чрезвычайно переменчив. В одном из своих писем Потемкин говорит о присутствии ему «экстазисе». И в самом деле, экстаз — одно из характернейших его свойств. Это был эстет, без задерживающих центров, не знавший грани между возможным и невозможным, потерявший чувство размера и в политике, и в частной жизни.

Удивительны его письма к женщинам — так из современников Потемкина писал только Мирабо. За два года до смерти он безумно влюбляется в Прасковью Андреевну Потемкину (рожденную Закревскую) и долго уверяет себя в том, что испытывает к ней отеческое чувство (она вдвое его моложе). «Сила твоих бесподобных доброт делает меня поетом»**, — пишет он. Потемкин обещает выстроить ей дворец — «дом в ориентальном вкусе, со всеми роскошами чудесными», подробно описывает эти «роскоши», свидетельствующие о необычайном богатстве фантазии: «В круг по другим местам разные будут живописи: Купидон без стрел и в чехотке, Венус вся в морщинах, Адонис в водяной болезни... А на главном месте лутчим живописцем напишется моя несравненная душа, милая Прасковья Андревна, с живностью красок сколь будет возможно: белое платьецо, длинное, как сорочка, покроет корпус, опояшется самым нежным поясом лилового цвета, грудь открытая,

* Русский боярин (фр.).

** Как известно, Потемкину приписывается песня: «Как скоро я тебя видал». Здесь и далее прим. авт., если это не оговорено особо.

волосы, без пудры, распущенные, сорочка у груди схватится большим яхонтом» и т. д., — сокращаю рассказ. И тут же, рядом с Прасковьей Андреевной, «фонтан из разных приводов издаст благоуханные воды, как то: розовую, лилейную, жасминную, туберозную и помаранцевую»... Особенно характерно перечисление благоуханных вод, — напоминает оно Шехерезаду, но эти жасминные и помаранцевые воды вызывают у читателя и смутную тревогу.

«Екстазис» уживался в нем с припадками совершенной меланхолии. Князь Потемкин, по современной терминологии, должен быть причислен к неврастеникам. Перед последним своим отъездом из Петербурга, после своего знаменитого праздника в Таврическом дворце, он за обедом вдруг сказал приближенным: «Может ли человек быть счастливее меня? Все, чего я ни желал, все прихоти мои исполнились как будто каким очарованием. Хотел чинов — имею, орденов — имею, любил играть — проигрывал суммы несметные, любил давать праздники — давал великолепные, любил покупать имения — имею, любил строить дома — построил дворцы, любил дорогия вещи — имею столько, что ни один частный человек не имеет так много и таких редких... Словом, все страсти мои в полной мере выполняются». — «И тут Потемкин, ударив кулаком по фарфоровой тарелке, разбил ее вдребезги, вышел из-за стола и удалился в свою опочивальню».

Вслед за Шехерезадой — Экклезиаст.

Через несколько месяцев он умер. В Яссах заболел, выехал в Николаев, в пути почувствовал себя худо. 5 октября 1791 года на большой дороге велел остановиться. «Теперь некуда ехать. Я умираю... Выньте меня из кареты, хочу умереть в поле»... Через три четверти часа князь скончался. «Ce satrape si grand par son génie, si petit par sa faiblesse, si gigantesque dans ses projets, si ridicule dans ses manies», — говорит о нем его французский гость.

IV.

Ришелье, де Линь и Ланжерон прибыли в ставку Потемкина поздней осенью 1790 года.

* «Этот сатрап, столь великий своим гением, столь малый в своей слабости, грандиозный в своих проектах, смешной в своих увлечениях» (фр.).

Людей, выросших при версальском дворе, никакой другой двор не мог удивить блеском. Но ставки, подобной потемкинской, в истории, вероятно, и в самом деле никогда не было. При верховном главнокомандующем находилось шестьсот человек прислуги, двести певчих и музыкантов, драматическая труппа, свой балет и двадцать ювелиров — для изготовления подарков очередным дамам сердца Потемкина. Для больших праздников устроена была огромная подземная галерея, — ее описывает в своих воспоминаниях графиня Головина*. Мебель была покрыта розовой и серебряной материей, такие же были ковры. Курились арабские куренья, все было в восточном стиле. Воюя с турками, Потемкин в их обычаях многое одобрял. Но питался он без предписанной туркам воздержанности. Завтраков и обедов в день было шесть. Ланжерон рассказывает, что в пору своей предсмертной болезни Потемкин, трясаясь от лихорадки, съел при нем за обедом огромный кусок ветчины, целого гуся, несколько цыплят и выпил невероятное количество кваса, меда и вин. Остается только делать предположения, как он питался, когда не был на смертном одре.

Во время обеда играл оркестр, составленный из малороссийских, еврейских и итальянских музыкантов. Потемкин очень любил музыку, но понимал ее по-своему. Музыкальные идеи у него были столь же своеобразные, как все остальное. В оркестровку «Тебе Бога хвалим» введены были, например, пушки: при стихе «свят, свят, свят» по знаку дирижера батарея из десяти орудий гремела беглым огнем**. Солистов в Бендерах найти было, по-видимому, трудно, но русский посол в Вене обещал князю прислать ему отменнейшего клавишинщика. Клавишинщик был и в самом деле недурной: это был не кто иной, как Моцарт.

Автор «Реквиема» — в драме Пушкина некоторое подобие птички Божьей — в ту пору, как, впрочем, почти всю жизнь, бедствовал совершенно. Моцарт был такой же «гуляка праздный», как Сальери — убийца. Ни от какой работы он не отказывался: уроки музыки детям — можно; танцы для придворного бала — от-

* Les souvenirs de la comtesse Golovine, pp. 25—29

** В другое время доносившаяся до него перестрелка, напротив, раздражала Потемкина. Однажды он послал адъютанта к командиру артиллерии, генералу Пистору, узнать, почему так много стреляют «Передайте светлейшему: потому, что Россия воюет с Турцией!» — ответил рассердившийся генерал.

лично; пьеска для часов — отчего же нет? В одном из своих последних писем к жене (от 3 октября 1790 года) Моцарт сообщает: «Только теперь могу себя заставить написать адажио для часовых дел мастера, чтобы несколько дукатов попрыгали в твоих ручках, милая жена моя. Ах, если бы хоть дело шло о музыке для больших часов, стенных или башенных»... Обращался он за помощью к «уважаемому и мудрому муниципалитету Вены», но без большого результата. «Уважаемый и мудрый муниципалитет» предложил ему место без жалованья. Теперь везде стоят памятники Моцарту; но похоронили его, по бедности, в общей яме, — дело нередкое. Замученный безденежьем, долгами, работой на часовых дел мастеров, он принял предложение отправиться на службу в оркестр московитского фюрста, но не успел: умер (почти одновременно с Потемкиным). Очень жаль, что не успел: по крайней мере, в первый и в последний раз в жизни ему хорошо заплатили бы, — московитский фюрст был пощедрее немецких. Да и зрелище было бы интересное: местечковый бендерский оркестр с пушками — с Моцартом в роли солиста!

V.

Потемкин принял французских офицеров очень любезно. Он любил иностранцев и всю жизнь был ими окружен. О некоторых из его приближенных и не скажешь, кто они, собственно, были по национальности: родились в одной стране, служили в другой, перешли на службу в третью. Граф де Дама в ставке русского главнокомандующего трижды в неделю носил русский военный мундир, а в остальные дни — французский. Позднее он стал главнокомандующим армии неаполитанского короля, потом просился на службу к Габсбургам, а по восстановлении Бурбонов на престол поступил на французскую службу снова. Вернулся на круги своя ветер, двадцать пять лет носивший его по миру. Этому ветру мы обязаны двумя томами интереснейших мемуаров.

Я не знаю в точности, где именно познакомился Ришелье с Суворовым. Но граф де Дама, познакомившийся с ним несколько раньше, под Кинбурном, оставил об их первой встрече весьма забавный рассказ.

— Я устроился у себя на канонерке, — рассказывает Дама, — и начал писать письмо моей сестре (графине де Симиан). Вдруг ко мне запросто зашел человек в одной рубашке и спросил меня, кто я такой. Я назвал свою фамилию и добавил, что привез генералу Суворову письмо от принца Нассауского. «Очень рад познакомиться с вами, — ответил человек в рубашке, — Суворов — это я, как видите, он человек простой». Дама остолбенел от изумления. Генерал осведомился, кому именно он пишет, и узнав, что сестре во Францию, немедленно изъявил желание тоже написать ей, хоть, естественно, отроду о ней не слыхал. Действительно, он тут же написал письмо на четырех страницах; графиня де Симиан так ничего в этом письме и не поняла. Затем Суворов попросил графа Дама пожаловать к нему на обед завтра, ровно в шесть часов. В означенное время Дама явился, но, к все росшему его изумлению, ему в ставке объяснили, что он ошибся: Суворов обедает в шесть часов *утра*. «Не скрываю, — пишет граф, — сопоставив этот визит и это приглашение, я пришел к мысли, что имею дело с сумасшедшим». Все же на следующий день Дама явился в ставку утром, в шесть часов. «Генерал бросился мне на шею с ужимками, вызвавшими у меня беспокойство, угостил меня рюмкой какой-то жидкости — она обожгла мне рот и желудок, — сам тоже выпил рюмку с гримасой, от которой случился бы выкидыш у маркитантки, и повел меня к столу...» После потемкинских пиров суворовский обед поверг графа в полное уныние — так он был скуден и отвратителен на вкус. После обеда Суворов очень долго молился. Граф Дама меланхолически добавляет, что и сам он обычно молится по окончании трапезы, «но на этот раз я не поблагодарил Господа Бога: Он справедлив и сам знает, что за такой обед я Ему ничего не должен, — встав из-за стола, я был голоднее, чем перед обедом».

Сходные впечатления были у Ришелье. «Суворов обедает утром, — пишет он, — ужинает днем, спит вечером, часть ночи поет, а на заре гуляет почти голый или катается в траве, что, по его мнению, очень полезно для его здоровья...»

Не надо, однако, думать, что французские офицеры не оценили Суворова. «Это был один из самых необыкновенных людей века, — говорит Ланжерон, — великий полководец и великий политик». С большим

уважением отзывается о русском генерале и герцоге Ришелье.

В ставке Потемкина, принимая участие в его пирах, французы пробыли всего три дня. 14 ноября им, согласно их просьбе, было разрешено отправиться на театр военных событий.

VI.

На левом берегу Килийского рукава Дуная, между озерами Ялнух и Катлабух, стояла крепость Измаил. Она была обнесена четырехсаженным земляным валом, вокруг него шел глубокий ров. На валу стояло до трехсот орудий. Гарнизон насчитывал 35 тысяч бойцов; из них значительную часть составляли янычары. Защищал крепость паша, имя которого мемуаристы и историки называют по-разному: Андозл, Ахмет, Мехмед. Во всяком случае, это был сераскир, т.е. командующий армией*. В Турции паши различались по числу конских хвостов (бунчуков), выносившихся перед ними на парадах. Этот сераскир был трехбунчужный, т.е. высший по рангу, паша и вдобавок человек очень храбрый. Ответ его на предложение сдать крепость историки тоже передают различно — как ответ генерала Камбронна при Ватерлоо, имеющий, как известно, и величественный, и не величественный варианты. По одной из традиций, сераскир сказал: «Скорее Дунай потечет вспять и небо рухнет на землю, чем Измаил сдастся неприятелю».

Осаждал крепость еще в 1789 году князь Репнин, пытался взять ее штурмом Рибас. Из этого ничего не вышло. Последним главнокомандующим был Гудович. Между генералами возникли нелады, образовался «сейм», как говорит пренебрежительно Потемкин. Военный совет постановил отказать от осады. Но еще до получения известия об этом Потемкин, преимущественно по политическим соображениям, принял другое решение. 25 ноября он написал Суворову: «Остается предпринять с помощью Божией на овладение города. Для сего, Ваше Сиятельство, извольте поспешить туда для принятия всех частей в вашу команду».

* По-видимому, в крепости было два сераскира, так как в воспоминаниях встречаются два разных лица.

Суворов действительно поспешил. 2 декабря он в сопровождении одного казака прибыл в армию. Через 9 дней начался штурм, закончившийся падением крепости. В благодарственном рескрипте Потемкину было сказано: «Измаильская эскалада города и крепости почитается за дело, едва ли еще где в истории находящееся». Почти то же самое говорят французские участники дела: «Самый замечательный штурм, который, по-моему, когда-либо происходил. Я рад и счастлив, что участвовал в нем, но был бы весьма расстроен, если бы пришлось опять увидеть это зрелище», — пишет Дама. «За много веков не было столь необыкновенного военного события», — говорит граф Ланжерон. Оба, по-видимому, беспристрастны, так же как Ришелье. Все трое в самом ужасном виде изображают резню, последовавшую за взятием города.

Разумеется, в настоящей статье не может быть описан штурм Измаила. В трудах историков и мемуаристов есть немало подробных его описаний. Существует также художественная картина — в седьмой и восьмой песнях байроновского «Дон Жуана». Байрон несколько путался в русских именах: «Они кончают на «ишкин», «ускин», «ифкчи», «уски». Я приведу из них одно лишь: «Рузамуски». Приводит он, впрочем, кроме Разумовского, и нескольких других имен — в большинстве столь же точно: Шерематов, Мушкин-Пускин и т.д. (Суворов у него рифмуется с *lover of*, из чего надо заключить, что Байрон произносил «Сёверов» с ударением на первом слог). Единственным источником послужил для знаменитого поэта труд Кастельно, тоже далеко не безукоризненный в смысле точности. Именно благодаря этому я и напоминаю здесь о «Дон Жуане»: Кастельно рассказал в своей книге происшествие, случившееся при штурме с *герцогом Ришелье*. Байрон это происшествие использовал, приписал своему герою Дон Жуану, развил, изменил и построил на нем дальнейшее развитие поэмы.

Происшествие это заключалось в следующем. Штурм начался ночью, в темноте, задолго до рассвета. Незабываема картина боя, которую дает в своих воспоминаниях Ришелье (так правдиво, кажется, до Стендаля никто войны не описывал): совершенная тьма, крики «ура!» и «Алла!», адский огонь, отвсечивающийся в водах Дуная, непрерывный бешеный лай, вой, визг собак, которых в Измаиле, как во всех турецких

городах, было великое множество... Ришелье был причислен к отряду генерала Маркова, но случайно потерял в этом аду свою часть, присоединился к другой и с ней ворвался в главный, последний бастион гибнущей крепости. Там укрылись все женщины Измаила. Защищал этот бастион сам сераскир. Старый паша, стоя под зеленым балдахинном, совершенно спокойно встретил ворвавшихся врагов. Вбежавший одним из первых англичанин, офицер русской службы, предложил ему сдаться. Не говоря худого слова, сераскир выстрелил в него из пистолета, убил его и в ту же секунду был поднят на штыки. Выбежав из бастиона, Ришелье увидел, как два солдата схватили маленькую турчанку. Он бросился на них и осыпал их бранью. Не знаю, поняли ли солдаты французскую брань герцога, или к тому времени он успел заучить кое-какие русские выражения, — турчанка была ему тотчас отдана. Долго он ее оберегал в часы этой нескончаемой ночи и затем, к своему великому горю, потерял ее!

За штурм Измаила Ришелье получил Георгиевский крест и, по словам Гримма, был на седьмом небе. Но, по-видимому, ночь эта надолго отбила у него охоту к войне. «Надеюсь, я никогда больше не увижу столь ужасного зрелища», — пишет он. Ришелье не был рожден для военной карьеры. Недели через три после падения крепости он вернулся в бендерскую ставку. Потемкин встретил его чрезвычайно любезно и предложил взять с собой в Петербург. Императрице уже было известно, что в ее армии служит человек, принадлежащий к столь знаменитой французской семье (в одном из своих писем к Гримму она упоминает о Ришелье, добавляя, что, по общему отзыву, он замечательный юноша). Ришелье отклонил это предложение и попросил у Потемкина разрешения вернуться в Париж: получил известие о тяжелой болезни своего отца.

VII.

В Париже, куда вернулся Ришелье после штурма Измаила, на него посыпались несчастья. Умер его отец. Одновременно выяснилось, что их семья почти разорена. Куда делось состояние, приносившее до 500 тысяч ливров ежегодного дохода, непонятно. Ришелье,

человек совершенно бескорыстный, отказался от остатка доходов в пользу кредиторов и двух своих сестер, которых нежно любил. Но главное горе было не в разорении. Шел 1791 год. Медовый месяц революции кончился. Начиналось обычное в революционной истории время: классический переход от всенародного восторга к всенародному ужасу.

Прежде, с детских лет, всю жизнь, все было так ясно: двор, имения, военная служба. Теперь ничего не оставалось ни от двора, ни от имений, ни от службы, — по крайней мере на родине. Перед баловнем судьбы сразу стало много тяжелых вопросов: как жить? чем жить? где жить?

Он решил уехать. «Французская эмиграция трусливо бежала», — писал один русский историк-публицист лет тридцать тому назад, когда и у нас все было довольно ясно. На старости лет этот историк — честнейший, прекрасный человек — неожиданно-негаданно сам стал эмигрантом и трагически окончил свои дни в Чехословакии. От тюрьмы, сумы и эмиграции политическому деятелю вперед отказываться не надо.

Ришелье, как и большинство французских эмигрантов, бежал не по трусости. Не по храбрости остались во Франции другие. Чаще всего дело это определялось случаем, отчасти и модой. Очень многие уезжали потому, что так было принято — «все уезжают». И почти никто из этого тогда трагедии не делал: ведь уезжаем на три месяца, ну на полгода, пустяки!

Кажется, Ришелье несколько обидело то, что Людовик XVI отнесся к нему без достаточного доверия. Во всяком случае, настроен он был серьезнее, чем большинство его товарищей по судьбе. Ему и до того возвращаться во Францию из России не хотелось, он сам говорит: «Ехать в Париж мне было страшнее, чем было бы трусу участвовать в штурме Измаила». Покинул он родину в августе 1791 года легально, получил заграничный паспорт, и это позднее очень благоприятно отразилось и на его судьбе, и на судьбе его близких. В пору страшных революционных законов против эмигрантов и их родственников, оставшихся во Франции, жена герцога, «*femme Richelieu*», неизменно ссылалась на то, что ее муж не эмигрант: он не бежал, а уехал с законным паспортом. Так, герцогиню очень долго и не трогали, посадили ее в тюрьму лишь при Робеспьере.

Ришелье отправился не в Кобленц, а в Петербург. Там его встретили превосходно. Императрица Екатерина была с ним чрезвычайно любезна. 25-летнему иностранцу был дан чин полковника, его пригласили бывать запросто в Эрмитаже. Он был в полном восторге. Разочарование пришло позднее.

Стар, обычен, неизменен путь всех эмиграций истории. Люди, естественно, уезжают в те страны, в которых могут рассчитывать на сочувствие общественного мнения и правительств. В сочувствии им вначале никогда и не отказывают. Первых французских эмигрантов встретили восторженно даже в Германии, которая гостеприимством никогда особенно не славилась. Графу де Артуа и его свите при их въезде в Кобленц на улицах бросали цветы. Несколько позднее их забрасывали грязью (говорю и о цветах, и о грязи не в переносном, а в буквальном смысле). Сперва у всех эмигрантов были деньги, они вносили «нездоровое оживление» в жизнь небольших немецких городков. Потом остались они без гроша, их надо было кормить, доставать им работу, чуть только не отбирать хлеб у своих. А враги их во Франции шли от удачи к удаче, — «ничто у людей не имеет такого успеха, как успех». Со своей стороны, французы, особенно парижане, были от Германии отнюдь не в восторге. Много забавного случилось, например, с Риваролем: знаменитому остроумцу не перед кем было блистать. *Les Allemands se cotisent pour comprendre un bon «mot»*^{*}, мрачно говорит он.

В России, да еще в Англии, относились к эмигрантам лучше, чем в других странах. Вначале императрица Екатерина оказывала им гостеприимство с восторгом. Именно в это время и попал в Петербург Ришелье. В германских землях дело уже обстояло иначе. Поход на Париж герцога Брауншвейгского закончился в 1792 году полным провалом. Венское правительство объявило, что с 1 апреля 1793 года перестанет платить жалованье эмигрантскому корпусу принца Конде. Положение людей, входивших в этот корпус, сразу стало трагическим, — денег больше почти ни у кого не оставалось. Тогда в Петербурге возник так называемый крымский проект: предполагалось перевести в недавно завоеванный Крым армию принца Конде. Инициатором этого

* Немцы «скидываются», чтобы услышать хорошее «словечко» (*фр.*).

плана был Ришелье, подписал документ Платон Зубов, а кто был автором, сказать трудно.

Документ этот, состоящий из 33 параграфов, и трогателен, и в некоторых отношениях курьезен, — особенно по необыкновенной своей цифровой отчетливости. Русское правительство отводило французской эмиграции на берегу Азовского моря «630 000 arpents russes qu'on pomme déciatine»*. Надлежало образовать две военные колонии. Каждая колония делилась на десять округов, каждый округ — на пять деревень. В каждой деревне должны были поселиться «сорок мушкетеров-дворян и двадцать мушкетеров-недворян (goturiers). Каждому мушкетеру-дворянину отводилось шестьдесят десятин земли, недворянину — тридцать (офицерам же по триста). Кроме того, каждому поселенцу, независимо от происхождения, давались две кобылы, две коровы, шесть овец. Получали колонисты, по проекту, и жалованье. Генеральным инспектором эмигрантской колонии назначался сам принц Конде, а ее губернатором — герцог Ришелье.

С этим проектом и с двумя бочонками золота на расходы по перевозке армии в Крым Ришелье в конце 1792 года выехал в Германию в эмигрантский штаб. По словам Круза-Крете, предложение императрицы было эмигрантами встречено «пренебрежительно», за что им тогда немало досталось упреков и ругательств и от русских, и даже от французских современников. В самом деле, нищим людям, которым некуда деться и нечего есть, предлагают жалованье, предлагают землю в благословенном, солнечном краю, а они ломаются, капризничают, изображают бар! Разумеется, неблагодарные дураки, если не совершенные проходимцы. Ростопчин писал: и дураки, и проходимцы.

Мы к этому так отнестись не можем.

Когда надежды разбиты, когда делать больше нечего, когда люди начинают терять веру в себя и извелились во всем остальном, в противовес полному отчаянию неизменно появляется нечто неожиданное, поражающее, дикое. Скажем символически кратко: Парагвай.

Крым был Парагваем французской эмиграции.

* «630 000 русских арпанов, именуемых десятинами» (фр.). Арпан — старая французская земельная мера. — *Прим. ред.*

VIII.

Эмиграция — не бегство и, конечно, не преступление. Эмиграция — несчастье. Отдельные люди, по особым своим свойствам, по подготовке, по роду своих занятий, выносят это несчастье сравнительно легко. Знаменитый астроном Тихо де Браге в ответ на угрозу изгнанием мог с достаточной искренностью ответить: «Меня нельзя изгнать, — где видны звезды, там мое отечество». Рядовой человек так не ответит, — какие уж у него звезды! При некотором нерасположении к людям, можно сказать: рядовой человек живет заботой о насущном хлебе, семьей, выгодой, сплетнями, интересами дня, — больше ничего и не требуется. Фр. Альб. Ланге, напротив, уверял, что в Германии аптекарь не может приготовить лекарства, не сознав связи своей деятельности с бытием вселенной. Второе утверждение в сто раз лживее предшествующего, но ведь преувеличено и первое. Не выносят и рядовые люди сознания полной бессмыслицы своей жизни. Эмигранты же находятся в положении исключительном: внешние условия их существования достаточно нелепы и сами по себе. Простая житейская необходимость давит тяжело, иногда невыносимо. Велик соблазн подогнать под нее новую идею, — и чего только в таких случаях не происходит! Необходимость гонит людей в Парагвай, — можно придумать идеологию и на этот случай. Но проникся ли парагвайским патриотизмом кто из русских людей, поступивших в Парагвае на службу? Усвоил ли твердую веру в то, что Чако должен быть отбит у Боливии и что стоит отдать жизнь в борьбе за парагвайский Чако?

Ту же драму пережили и французские эмигранты, когда Ришелье явился к ним с крымским проектом. Конечно, он говорил им, что проект его временный, что армия вернется к борьбе. Эти доводы — в них была доля правды — как коса на камень натыкались на горестное, раздраженное недоумение. Какой Крым? Зачем Крым? При чем тут мы? При чем тут Франция, династия Бурбонов, борьба с революцией? Жалованье, лошади, овцы — все это отлично, но мы не наемники, и жизнь не может иметь для нас разумного смысла, если мы отправимся колонизировать чужую землю для чужого народа!

Может быть, были и соображения практические. Принц Конде и его армия знали о Крыме (еще почти диком в ту пору) меньше, чем мы знаем о Парагвае. Если принять во внимание способы передвижения той эпохи, то Крым был от Рейна географически едва ли не дальше, чем Парагвай от Парижа. Вероятно, люди передавали друг другу всякие ужасы: малярия, ядовитые змеи, земляные блохи. Но главное было, наверное, не в этом. Граф Ростопчин ровно ничего не понял в тяжелой, мучительной драме этих несчастных людей, сбитых с толку событиями.

Ришелье, по-видимому, понял эту драму лучше. Не буду излагать дальнейшую историю крымского проекта. Скажу только, что Ришелье остался с армией. Конде предложил ему полк «Рыцарей короны». Ришелье отклонил это предложение, но остался при эмигрантской армии на должности военного агента России (венский кабинет возобновил субсидию Конде). С этой армией он и проделал катастрофические походы следующих лет; участвовал во многих делах и вел себя примерно. Однако война того времени его, по-видимому, угнетала. На западном фронте она была более жестокой, чем в Южной России. Еще худшие вести доносились из Франции: там, как всегда при гражданской войне, зверства были не исключением, а правилом. С другой стороны, есть основания думать, что эмигранты на Ришелье косились. Правда, вопрос о подданстве, о гражданстве тогда ставился не так, как теперь. Но все же странно было французам, что человек, носящий одну из самых знаменитых фамилий Франции, состоит в их армии военным агентом другой державы.

Сам Ришелье, по-видимому, уже принял решение. В восстановление Бурбонской династии он верил плохо. «У французов будет король, — писал он, — но не король из дома Бурбонов». Не надо тут особенно восторгаться его политической проницательностью: так тогда думали очень многие, и почти все проглядели будущего «короля», в ту пору молодого республиканского офицера. Один из немногих, Талейран неизменно утверждал: «Якобинцев задушит только якобинец»...

Ришелье над Францией поставил крест надолго — в тайных мыслях, быть может, навсегда. С большим рвением принялся он изучать русский язык. В одном из своих писем к Андрею Кир. Разумовскому (переписывались они, конечно, по-французски) он вдруг, очевид-

но в доказательство своих успехов, вставляет следующую русскую фразу: «Я начинаю лучше говорить и разумею и уверен, что я скоро и с малым трудом довольно узнаю и совсем едва все понимаю, что для службы надлежит»... Затем снова переходит на французский.

Он стал «Эммануилом Осиповичем де Ришелье», таким на всю жизнь и остался. Впоследствии, через четверть века, с восстановлением Бурбонов на престоле Ришелье оказался главой французского правительства; но русской стихии из своей души не вытравил и тогда. С некоторым удивлением читаем мы письма, которые он писал из Франции в последние годы своей жизни. В одном из них он пишет о «чистом, свободном воздухе наших степей» — дело шло о степях Новороссии. В другом письме, выражая одному из одесситов сочувствие по случаю трудного положения одесской хлебной торговли, он добавляет, что, к счастью (*heureusement*), во Франции тоже ожидается плохой урожай — следовательно, новороссийские дела могут поправиться. Письмо для французского министра-президента довольно неожиданное.

IX.

В марте 1795 года Ришелье вернулся в Петербург. Но теперь его там встретили совершенно иначе, нежели три года тому назад. Императрица больше герцога в Эрмитаж не приглашала. Платон Зубов принял его чрезвычайно грубо — не ответил на поклон, не подал руки. В письме к Разумовскому от 1 — 12 мая 1795 года Ришелье говорит: «По словам Эстергази, способ обращения со мной должен показать французам, что им надеяться не на что; желаю отбить охоту (*dégoûter*) у тех французоз, которые уже в России или которые хотели бы сюда приехать».

Коварной тактики тут, вероятно, не было, но эмигранты несколько надоели и в Петербурге. В германских странах наскучили их просьбы о поддержке. Одно дело принц Конде, принимающий у себя в Шантильи, до революции, европейских монархов; другое дело принц Конде, просящий в Вене о субсидии. Монморанси, учитель французского языка в Лондоне, не то, что

Монморанси в Версале — первый барон христианской эпохи (хоть первым бароном он остался и вне Версаля). Европа не переносит «социального деградирования» в затяжном виде. В России было, возможно, и не совсем так. С. Р. Воронцов однажды сказал самому графу д'Артуа, брату Людовика XVI: «Человек, в жилах которого течет кровь Генриха IV, не должен попрошайничать, — надо с оружием в руках бороться за свои права!..» Но эта выходка была, по-видимому, исключением. В действительности, в России прошла мода на эмигрантов. Со всем тем жаловаться многим из них никак не приходилось. Некоторые получили в подарок имения. Полиньяки, Шуазели, Эстергази стали помещиками Киевской, Волынской губерний. Брой, Ланжерон, Ламбер, Отишан, Кенсонна были зачислены в русскую армию. Герцог Ришелье получил кирасирский полк.

О недолгом царствовании Павла Петровича распространяться не приходится. Именно в эту пору войска принца Конде пришли в Россию. На их долю выпало много бед, но такова же была в то царствование судьба коренных русских людей. Ришелье для начала получил генеральский чин, затем был отставлен от службы, снова принят, снова отставлен, — «он исчерпал на себе все виды немилости», — кратко сообщает Ланжерон. «Je n'ai pas d'autre désir que d'être уволен le plus tôt possible»*, — писал Разумовскому сам Ришелье. Желание его через некоторое время исполнилось. Както в окрестностях Петербурга произошел пожар; Ришелье со своими кирасирами «самовольно» отправился тушить — и получил чистую отставку.

Он остался без гроша, жил на полтора франка в день. Тем не менее мысль о возвращении на родину не приходила ему в голову. Собственно, вернуться во Францию уже было можно: революция кончилась, страной правил генерал Бонапарт.

Отношение эмигрантов-роялистов к Наполеону — страница истории замечательная. Некоторые из них прекрасно понимали, что он положил конец революции — и сделал это гораздо умнее и искуснее, чем предполагали и тщетно старались сделать они. «Презираю людей, которые пытаются отрицать душевную

* «У меня нет иного желания, кроме как быть уволенным как можно быстрее» (фр.).

силу и военный гений этого необыкновенного человека, — писал в 1808 году легитимист из легитимистов граф де Дама. — Ах, отчего он не Бурбон! С каким восторгом я посвятил бы свою жизнь службе в армии под его руководством. Быть врагом своих соотечественников — самая худшая участь, которая может постигнуть француза. Но я не могу служить человеку, не принадлежащему к роду моих повелителей, хоть он и в тысячу раз талантливее, чем люди, бывшие моими повелителями»...

Ришелье таких мыслей не высказывал. Может быть, и он думал так же. Скорее, по самой природе своей он был неспособен к крутой перемене в делах и взглядах — не был настоящим политическим деятелем. В свой лагерь потерял веру, но в другой переходить не желал. Конечно, при некоторой настойчивости он мог вернуться на французскую службу. Бонапарт в синюю кровь не верил нимало, но по политическим причинам старался приблизить к себе родовую знать. Официально (до общей амнистии 6 флореала X года) все оставалось по-старому, чуть только не как при Робеспьере: французские эмигранты, «поднявшие руку на родину», считались страшными преступниками и злодеями. В действительности почти каждый, кто хотел, мог без особых трудностей приехать во Францию. Наполеон (сам чуть не ставший эмигрантом) отлично знал, что ему служат на ответственных должностях не такие преступники и злодеи (чего стоил один Фуше!). Относился он к военным талантам офицеров армии Конде с некоторой иронией, но враждебных чувств к эмиграции у него не было.

Ришелье счел все же возможным ненадолго съездить в Париж: надо было добиться возвращения остатков имущества. По сенатус-консульту 6 флореала, эмигрантам возвращалось то имущество их, которое после конфискации не было продано государством частным лицам. Но обставлено это было неприятными формальными условиями (признание нового строя и т. д.). Ришелье идти на них не хотел, и, по-видимому, в Париже эта история приняла характер довольно курьезный. Сам Ришелье к Наполеону не являлся, но его жена сделала визит Жозефине. По доброте своей, Жозефина неизменно хлопотала перед мужем за всех эмигрантов. Вдобавок, как у большинства незнатных дворян, аристократизм у нее был слабостью; вероятно,

ей было лестно, что к ней обращается за протекцией герцогиня Ришелье, дочь герцога Рошешуара.

Со своей стороны, Ришелье пошел на уступки — написал письмо Талейрану, тоже довольно курьезное по форме. Оба они принадлежали к одному кругу старой знати, оба выросли при Версальском дворе, но теперь один был «государственный преступник», а другой — «революционный министр». Наполеон еще на престол не вступил, формулы и этикет революции пока оставались в силе. Ришелье, очевидно, не желал им следовать; Талейран никак не мог без них обойтись. Сам собой наметился компромисс. Ришелье начинает письмо с обращения «гражданин министр», но несколько дальше вскользь вставляет «Ваше Превосходительство». Закончить он не может ни каким-либо из тех цветистых приветствий, которыми оба они пользовались в дни своей версальской молодости (и которые снова вошли в обращение несколько позднее), ни общепринятым революционным приветом: полагалось писать: «*Salut et fraternité*»* (эту формулу изобрел в 1793 году Оги). Ришелье — вероятно, после долгих колебаний и размышлений — написал: «*Salut et respect*»**. Быть может, братство в отношениях с людьми больше было свойственно ему, чем очень многим революционерам. Но написать это слово было невозможно.

При поддержке Талейрана и русского поверенного в делах Колычова он своего добился. Однако о поступлении на французскую службу не было и речи, — «отчего он не Бурбон?». В судьбе Ришелье, как в судьбе России, произошла еще до того счастливая перемена. На престол вступил император Александр I. В январе 1803 года императорским приказом «дюк Эммануил Осипович де Ришелье» был назначен градоначальником Одессы.

Х.

Летом 1789 года Потемкин предписал вице-адмиралу де Рибасу изучить берега Черного моря к востоку и к западу от Очакова. Одна из высланных Рибасом

* «Привет и братство» (*фр.*).

** «Привет и уважение» (*фр.*).

небольших экспедиций, под командой капитана Аркудинского, набрела на маленькую крепость Хаджи-Бей, имевшую с давних пор репутацию разбойничьего гнезда. Вокруг крепости была пустыня, но не очень далеко отсюда проходила дорога, по которой шли «караваны» из Польши и России в Турцию. Теперь это звучит забавно, — тогда об этих местах говорили как о прериях, населенных команчами или суксами. Де Рибас обратил внимание на полосу берега у Хаджи-Бея: вот где бы устроить порт! Зная любовь Потемкина к новым городам, да еще портовым, он решил захватить крепость. Она и была взята 14 сентября, причем убито было в русском отряде пять человек.

Население и размеры крепости были невелики: вокруг укрепления было разбросано несколько десятков хижин, населенных татарами, евреями, греками и албанцами. Паслись табуны диких лошадей. Тем не менее решено было наименовать Хаджи-Бей городом. Оттого ли, что крепость была одним из последних завоеваний Потемкина, или по другой причине, императрица Екатерина отнеслась к ней с особой заботливостью. Однажды на придворном балу какой-то петербургский академик выразил мнение, что Хаджи-Бей — неподходящее название для русского города; в древности же был вблизи этого места эллинский городок Одессос, или Одиссос, или Ордиссос. Императрице это понравилось, — так и надо назвать: Одесс. Галантный академик, человек придворный, возразил: тогда не Одесс, а Одесса, ибо присоединен город к России не при императоре, а при императрице. Одессой Хаджи-Бей и назвали. Так, по крайней мере, объясняет название города наиболее правдоподобный рассказ.

Ришелье был назначен градоначальником — по более старой, возродившейся при большевиках, терминологии — «гражданским комиссаром». Градоначальник был, города не было. Население к 1803 году несколько увеличилось, но почему-то в Хаджи-Бей съезжались из всех стран подонки общества. «Это республика жуликов», — писал Рейн, посетивший Южную Россию в 1803 году. «Помойная яма Европы», — вспоминает граф Ланжерон. Такой застал Одессу Ришелье. Градоначальником, потом военным губернатором всей Новороссии он пробыл одиннадцать лет. Когда

он покинул Россию, Одесса была прекрасным благоустроенным европейским городом, с гаванью, торговый оборот которой доходил до 30 миллионов рублей в год — сумма по тем временам огромная.

Кузнецк, Магнитогорск, — какую рекламу на весь мир сумели устроить себе большевики из этих новых городов! «На поле из ничего создали город», «за 15 лет выстроили больше, чем было выстроено в России до советской революции за полтора века», — мы это читаем не только в «Правде», и верит этому искренно не только леди Астор: должно быть, верит и вся советская молодежь. Разумеется, тратятся на эти Магнитогорски миллиарды. Одесса же была выстроена буквально на гроши. Правда, покупательная способность денег была в ту пору не нынешняя. В одном старом сборнике мне попались воспоминания некоего Бориневича; он жил в Одессе более столетия тому назад и за комнату и стол в семье чиновника платил в месяц два рубля серебром! Но и с этой поправкой удивляешься, какие ничтожные средства отпускались Ришелье: 17 тысяч рублей, 32 тысячи рублей, 120 тысяч рублей и т. д.

Перечисляю только главное из того, что было сделано при нем в Одессе: проложено множество улиц, в 50 футов шириной каждая, разбиты сады*, выстроены собор, старообрядческая часовня, католическая церковь, синагога, две больницы, театр, казармы, рынок, водоем, благородный воспитательный институт (впоследствии Ришельевский лицей), коммерческая гимназия, шесть низших учебных заведений, «редут с кофейным заведеньем» и «променная контора». Добавлю, что если Петербург выстроен «на костях», то об Одессе этого сказать никак нельзя. Там и крепостных не было, как не было помещиков. Ришелье пользовался вольнонаемным трудом. Некоторые из его построек существуют и по сей день. Строил лучшие здания (или, быть может, лишь присылал для них рисунки) знаменитый архитектор Томон**.

* Ришелье первый насадил в России акацию, выписав ее из Италии.

** Тома де Томон Жан (1760 — 1813) — русский архитектор французского происхождения. — *Прим. ред.*

Особенно изумляться всему этому не приходится. Так же строились города Сев. Америки, так же и теперь созданы истинные чудеса в Голландии. Но в рекламе им никто особенно не заинтересован. И столь велика в мире власть невежества, глупости и денег, что предметом искреннего или построчного восторга стал, в качестве «невероятного достижения», Беломорский канал — т. е. массовое убийство людей, произведенное самым бесстыдным полицейским учреждением истории.

Жил Ришелье чрезвычайно скромно, в небольшом доме, на улице, названной его именем. Работал он целый день, ездил по постройкам, принимал подчиненных и просителей, посещал присутственные места, экзаменовал воспитанников своих учебных заведений, объезжал край, бывал на археологических раскопках. Популярность его в Новороссии была совершенно исключительная; об этом есть свидетельства, исходящие отнюдь не из официальных источников. Он охотно посещал маленькие вечера в частных домах и в «редуте», принимал участие в домашних чтениях-концертах. Программа одного из таких вечеров до нас дошла с именами всех участников. По-видимому, в большинстве это были купцы разных национальностей Одессы — едва ли люди очень культурные, — и обстановка, должно быть, мало напоминала Версаль. Но бывший первый камергер Людовика XVI о Версале и думать забыл. Он всей душой ушел в свой город. Из писем его видно, что он по-настоящему влюбился в Одессу. Военная служба не принесла Ришелье ничего, кроме горя и разочарований. В первый раз в жизни он теперь занимался мирным культурным делом, которое дало ему полное душевное удовлетворение. Я не хочу сказать, что генерал-губернаторы рождаются и что Ришелье родился генерал-губернатором. Но этот человек, сочетавший ум с кротостью, энергию с верой в труд, всю жизнь только об одном и мечтал: создавать. Не удалось ему ничего сделать для Франции, почти ничего для французской эмиграции. Он теперь работал для чужого народа: вместо Версаля и Кобленца оказалась — Одесса.

XI.

Отечественная война должна была поставить Ришелье в нелегкое положение. Конечно, он уже давно был «Эммануил Осипович», генерал-лейтенант русской службы, правитель огромной провинции, оказавший неоценимые услуги России. Император Александр очень его любил и говорил шутливо, что обязан вечной благодарностью Французской революции: она дала ему таких людей, как Ришелье. Со всем тем Ришелье был француз.

В «Войне и мире» Жюли Карагина пишет княжне Марье на забавном, дословно переведенном с французского языке: «Я вам пишу по-русски, мой добрый друг, потому что я имею ненависть ко всем французам, равно и к языку их, который я не могу слышать говорить. Мы в Москве все восторжены через энтузиазм к нашему обожаемому императору»... Так были настроены в 1812 году почти все, и положение французских офицеров русской службы оказалось, естественно, не из самых приятных.

Герцогиня Ришелье в своих воспоминаниях о муже говорит, что он ни за что не хотел воевать со своими соотечественниками: потому и принял в свое время, вместо предлагавшегося ему военного поста, назначение в Одессу, чтобы не проливать французской крови. Это совершенно неверно. Некоторые эмигранты (например, граф Тулуз-Лотрек) были действительно так настроены. Но Ришелье к их числу не принадлежал. Сражался он против Франции в 1793—1794 годах, готов был и даже, можно сказать, жаждал воевать и в 1812-м. По письмам его и поступкам видно, что он в пору Отечественной войны был так же «восторжен через энтузиазм», как Жюли Карагина. Для этого доброго, миролюбивого человека Наполеон, воплощение войны, давно уже стал некоторым подобием Антихриста. После Бородинского сражения Ришелье, весьма здраво и трезво (в отличие от большинства современников) расценивая трудное стратегическое положение французской ар-

мии, одновременно высказывает сомнение, человек ли Наполеон или существо потустороннее: если он человек, то войдет в Москву и там погибнет, — но что, если он не человек?

С внешней стороны, во всяком случае, было тут и странное, и смешное: генерал по фамилии Ришелье призывал жителей Новороссийского края «явить себя истинными россиянами» в борьбе с нашествием французов. Но в искренности волнения «дюка» сомневаться нельзя. Первое его дело в 1812 году; он жертвует свои сбережения, все, что у него было, 40 тысяч рублей, на дело обороны. Все его письма говорят об одном: как бы получить назначение на боевой пост, как, хоть в малой мере, способствовать поражению дьявола? Если не ошибаюсь (вполне проверенных сведений я не нашел), он съездил в Петербург, участвовал в каком-то военном совете, что-то предлагал. Назначения на фронт он не получил: в Одессе началась страшная эпидемия чумы. Начальник края, естественно, должен был остаться на своем посту.

На этом посту Ришелье и оставался еще два года, показывая чудеса распорядительности, доброты и самоотвержения. Он окончательно покорила сердца местных жителей. «В Одессе живет тридцать тысяч человек и все без исключения обожают дюка», — писал один из современников. Заезжие столичные люди бывали, по-видимому, недовольны его демократизмом: ходит пешком в старенькой шинели, хоронит холерных, посещает греческие и еврейские лавки, крестьянские избы, запросто беседует с хозяевами, расспрашивая их о делах, бывает на вечеринках у купцов!.. Несмотря на старенькую шинель, вид у него был грансеньерский. «Всегда оставался герцогом де Ришелье!» — пишет Сикар.

Сам он также очень любил население своего края. «Он слишком одессит» («trop Odessois»), — замечали неодобрительно иные. Особенно восхищали Ришелье казаки. Правда, говорит он о них приблизительно так, как мог бы говорить о патагонцах: «Какие умницы! Не имеют никакого представления о компасе, но в степях обходятся без него, безошибочно ориентируются по

звездам». Тот же тон Магеллана на Филиппинских островах порою сказывается и в его отношении к туркам, к татарам. Под Аккерманом пленный паша попросил Ришелье, в виде личного ему одолжения, отрубить голову провинившемуся переводчику. Ришелье невозмутимо ответил, что всей душой рад бы сделать эту небольшую *politesse*^{*}, но по закону не имеет на то права.

Он много путешествовал по Южной России, все восторгаясь ее красотами. С некоторым правом можно утверждать, что именно Ришелье (если не считать полумифических генуэзцев и Афанасия Никитина) открыл Ялту, Гурзуф, Ливадию. В Гурзуфе он приобрел участок земли — впоследствии известное имение Воронцовых — и выстроил там для себя дачу. Позднее продал ее по недостатку средств. Состояния он в России не нажил^{**}. Между тем цены на землю в Южной России благодаря его культурной работе поднялись чудовищно: под Одессой десятина при его вступлении в должность шла по 80 копеек, а к концу его пребывания на должности платили целых двенадцать рублей!

ХП.

И наконец, случилось то, что сами эмигранты склонны были тогда считать чудом! Военное счастье изменило Наполеону. В рядах разных европейских армий входили они во Францию.

Входили с самыми разными чувствами. «Мерзавцы остались во Франции, полоумные эмигрировали», — писал когда-то Ростопчин, главный русский ненавистник эмигрантов, да и французов вообще. Оказалось, не все оставшиеся во Франции — мерзавцы и не все эмигранты — полоумные. Были и такие, что, по слову Токвиля, «хотели восстановить старый строй, но поху-

^{*} Любезность (*фр.*).

^{**} Кто-то попросил у него займы четыре тысячи рублей; Ришелье послал эти деньги с указанием. «Прошу вас мне их вернуть, так как я человек бедный».

же того, который был революцией разрушен». К их числу принадлежал Ланжерон. Крестьяне, отобравшие у него землю в начале революции, с радостным видом ему сообщили, что его лесов они не тронули. «Вот и отлично, будет на чем вас перевешать», — угрюмо ответил Ланжерон. Никого вешать ему не пришлось. «29 марта 1814 года, — рассказывает Пэнго, — он с русским отрядом поднялся на Монмартрский холм и долго молча смотрел на город, в котором прошла его молодость, которого он не видел 25 лет...» Пореволуционная Франция ему, по-видимому, не понравилась: он навсегда остался в России. Его единомышленник и товарищ по русской службе Сен-При умер за день до взятия Парижа.

С иными чувствами возвращались другие эмигранты, и разный багаж мыслей, чувств, опыта ввозили они с собою — от английской конституции до блюда Welsh Rarebit*, который, по совершенно серьезному одобрительному замечанию одного из историков, вывез во Францию из Соединенных Штатов знаменитый гастроном-эмигрант Брилья-Саварен (впрочем, вернувшийся в Париж много раньше).

Что же именно привез с собою после долгого изгнания джок Эммануил Осипович де Ришелье? Он, во всяком случае, был эмигрант не мстительный и незлобивый.

Но Ришелье, собственно, и не собирался возвращаться во Францию. После ухода Антихриста-Наполеона из России его воинственный пыл стал слабеть. Одесский военный губернатор теперь снова думал только о своем крае. В эти бурные годы он положительно забрасывает императора Александра длиннейшими обстоятельными докладами: о пошлинах, о благоустройстве Новороссии, о каботажном плавании в Азовском море. Не сомневаюсь, что Александр Павлович в эти докладные записки и не заглядывал: ему в 1813—1814 годах было не до каботажного плавания в Азовском море.

* Гренки с сыром по-уэльски (англ.).

Как случилось, что Ришелье покинул Россию? Сразу сошлось несколько обстоятельств. По семейным делам он должен был посетить Париж. Кроме того, император Александр возложил на него миссию характера интимного: надо было выяснить вопрос о возможности брака между сестрой императора и герцогом Беррийским, племянником Людовика XVIII. И одновременно о Ришелье вспомнили сами Бурбоны. Но вспомнили не совсем так, как он мог себе представить. Два человека большого житейского опыта, оба настроенные вполне цинически, король и Талейран решили образовать «коалиционный кабинет» — от Ришелье до Фуше. «Кровавый палач», как называли революционного министра полиции эмигранты, был одним из самых ненавистных для них людей. Представим себе для сравнения правительство из русских монархов-эмигрантов — с Уншлихтом или Ягодой во главе одного из важнейших министерств. По-видимому, Ришелье был потрясен: Людовик XVIII назначает министром человека, когда-то голосовавшего в Конвенте за казнь короля, его родного брата! Цинизм и безнравственность, даже под видом государственной необходимости (или особенно под этим видом), были всю жизнь чужды и отвратительны Ришелье. Он с благодарностью отклонил королевское предложение.

За первым разочарованием последовали другие. Не так представлял он себе возвращение эмиграции. «Наши дорогие соотечественники ничему не научились за 25 лет, — писал Ришелье 31 января 1815 года, — ненависть, злоба, нетерпимость». Все это было так ему несвойственно. Сам он не чувствовал ненависти ни к кому. Среди отобранного у него когда-то имущества была великолепная картинная галерея, частью оставшаяся, вероятно, еще от кардинала. Она давно находилась в Лувре. Ришелье ходил в музей, любовался там картинами, которые когда-то ему принадлежали, и выражал полное удовлетворение по поводу того, что они перешли к французскому народу. Между тем он был теперь совершенным бедняком. От родового богатства ничего не оставалось; сбережения, сделанные за

долгие годы службы в России, Ришелье, как сказано выше, пожертвовал на Отечественную войну. Он был так беден, что вынужден был продать украшенные алмазами знаки своих русских орденов.

Есть все основания думать, что больше всего он хотел вернуться в Одессу. Однако на него было оказано сильное моральное давление: кто мог бы выговорить для Франции у победителей лучшие условия мира, чем он? Александр I чрезвычайно почитал его; Веллингтон говорил, что слово герцога Ришелье лучше всякого договора. Ришелье уступил. После падения кабинета Талейрана он стал 26 сентября 1815 года председателем совета министров.

Здесь кончается «дюк Эммануил Осипович де Ришелье». Начинается карьера французского государственного деятеля, не относящаяся к этой статье. Карьера ничем особенно не замечательная. Ришелье не унаследовал политических талантов знаменитого кардинала. Вдобавок и подход его к политическим противникам — ты человек, я человек, отчего же нам не сговориться полюбовно? — явно не соответствовал «задачам текущего момента». Были у него и важные ошибки. Он не удовлетворил ни правых, ни левых, ни короля, ни оппозиции, никого. Вероятно, и сам был удовлетворен не слишком. Впрочем, все отдавали должное благородству его характера и бескорыстию, исключительному для той эпохи, — да и для всех других эпох. При окончательном его уходе в отставку парламент, зная, что у этого бессребреника нет ни гроша, назначил ему пожизненную ренту в 50 тысяч франков. Ришелье отказался от дара, сославшись на нежелание увеличивать финансовое бремя страны. Людовик XVIII заявил, что усмотрит в отказе личную для себя обиду. Тогда Ришелье принял дар — и тут же пожертвовал его на устройство богадельни в Бордо.

В последние годы своей жизни, разочарованный и усталый, он то путешествовал, то жил в глуши. Все собирался снова посетить Новороссию, мечтал об этом. давал советы своим преемникам. Письма его свидетельствуют, что, как другой знаменитый эмиг-

рант, Жозеф де Местр, он мог бы сказать: «На смертном одре буду молиться на Россию». Ему не суждено было снова увидеть Петербург, Одессу, Крым. 16 мая 1822 года он скорпостижно скончался 55 лет от роду.

Детей у него не было. С ним угас род герцогов Ришелье, давший людей столь разных, — точно одни искупали грехи других. Король передал семье Жюмильяков многочисленные титулы, оставшиеся от кардинала.

Адам Чарторыский



Адам Чарторыйский в России

I.

Князь Андрей Болконский накануне Аустерлицкого сражения входит с Борисом Друбецким в Ольмюцкий дворец, где остановились императоры. Навстречу им из кабинета Александра I идет «невысокий человек в штатском платье, с умным лицом и резкой чертой выставленной вперед челюсти, которая, не портя его, придавала особенную живость и изворотливость выражению». Этот человек пристально-холодным взглядом стал вглядываться в князя Андрея, идя прямо на него и, видимо, ожидая, чтобы князь Андрей поклонился ему или дал дорогу. Князь Андрей не сделал ни того, ни другого; в лице его выразилась злоба, и молодой человек, отвернувшись, прошел стороной коридора.

— Кто это? — спросил Борис.

— Это один из самых замечательнейших, но неприятнейших мне людей. Это министр иностранных дел, князь Адам Чарторыйский...

На первый взгляд непонятно, зачем понадобилась Толстому эта сцена. Больше Чарторыйский у него не появляется нигде, ни разу. Между тем в художественных страницах «Войны и мира» лишнего нет ничего. Сцена в самом деле была характерна и в психологическом, и в историческом смысле.

Князь Адам Чарторыйский родился в 1770 году. Он принадлежал к одной из знаменитейших польско-литовских семей. Кажется, в Польше есть роды и значительно древнее. Чарторыйские впервые появляются в истории лишь в XV веке, — правда, для первого появления достаточно шумно: братья Иван, Александр и Михаил Чарторыйские убили в 1440 году великого князя Литвы Сигизмунда. Позднее, как водится, появились родословные, возводившие род Чарторыйских к Гедимину. Семья была очень богатая, однако менее богатая, чем так называемые «королята»: Радзивил-

лы, Потоцкие, Любомирские, Острожские, Конецпольские, которым принадлежали десятки городов.

Особенное влияние Чарторыские приобрели в Польше в XVIII веке. Тогда их род и их партия (что в Польше часто означало одно и то же) стали просто именоваться «фамилия»: когда говорили «фамилия», это значило Чарторыские. «Фамилия» долго стояла за Россией и вела из-за этого борьбу с Потоцкими, которые ориентировались на Францию. «Фамилия» же, по желанию России, посадила на престол последнего польского короля Станислава Понятовского. Он, впрочем, сам к ней принадлежал: мать его была рожденная княжна Чарторыская, и князь Адам-Казимир Чарторыский (отец Адама), тоже бывший кандидатом в короли, отказался от трона в пользу своего двоюродного брата. Понятовский был избран и держался, как говорили враги его, «штыками князя Репнина», который в ту пору командовал стоявшими в Польше русскими войсками.

Но таковы были исторические судьбы Польши, что из главных вождей русской партии Чарторыские превратились в злейших врагов России. Князь Адам уже был воспитан в чувствах жгучей ненависти ко всему русскому. Он сам рассказывает в своих воспоминаниях: «Я был до такой степени под властью этого двойного чувства любви (к Польше) и ненависти (к России), что при каждой встрече с русским, в Польше или где-либо в другом месте, кровь бросалась мне в голову, я бледнел и краснел, так как каждый русский казался мне виновником несчастий моей родины». В этих чувствах особенно укрепляла будущего русского министра иностранных дел его мать, — по происхождению, впрочем, не то саксонка, не то голландка, но не полька, — графиня Флемминг, принесшая в приданое «фамилии» огромное состояние. Императрица Екатерина, по словам Чарторыского, утврждала, что «мать наша якобы заставила нас, как некогда Гамилькар молодого Ганнибала, дать клятву в вечной ненависти к Московскому государству и его государыне». Как можно заключить из цитаты, Чарторыский не слишком это и отрицает.

Здесь я — не первый, разумеется, — должен коснуться щекотливого вопроса, — обойти его молчанием в очерке о Чарторыском невозможно. Современники князя Адама — по крайней мере, русские его современники — были убеждены в том, что по крови он не

поляк и не сын князя Адама-Казимира. Говорили, что отцом знаменитого польского государственного деятеля был русский — тот самый князь Н. В. Репнин, о котором речь была выше.

Репнин имел репутацию покорителя сердец. О днях своей юности он сам оставил забавный — к сожалению, краткий — рассказ: «Послали меня в молодости, по тогдашнему обычаю, в Париж, где я весело жил и проказничал. Приезжает к нашему послу курьер и привозит, между прочим, ему от императрицы Елизаветы Петровны повеление немедленно выслать меня в Петербург; за что и про что, ни посол, ни я не понимали. Явился я к государыне. «Здравствуй, Николаша!» (так изволила называть меня). «Ты небось испугался. В Париже, слышу, ужась какой разврат и распутство: Бога забыли. Вспомнила о тебе: что тебе делать в этом Содоме? Живи лучше дома». Быть может, именно этот случай и создал репутацию князю Репнину, но сохранялась она за ним долго и твердо.

«Лет двадцать тому назад великий князь Николай Михайлович вел печатный и устный спор с известным польским историком Аскенази. «Профессор львовского университета Аскенази, — пишет великий князь*, — в беседах со мной приходил в ярость, когда я намекал на происхождение князя Адама Чарторыского. Известно, что он был сыном князя Н. В. Репнина, бывшего долго в связи с его матерью. Хотя Аскенази уверял, что это происхождение князя не доказано, но сходство не только кн. Адама, но и нынешнего представителя этого рода с кн. Репниным бросается в глаза и не требует других доказательств».

Спорить тут, разумеется, трудно, как трудно и судить по сходству. Вполне возможно, что слух этот неверен, но он часто повторяется в мемуарной литературе Александровского времени (равно и в донесениях некоторых иностранных дипломатов). Приведу свидетельство хорошо осведомленного современника. «Князь Адам Чарторыский, — вспоминает кн. А. Н. Голицын**, — просто был прижит матерью его с нашим князем Репниным, некогда также главноначальствовавшим нашей армией в Польше. Доказательством сего могло служить, между прочим, и то, что он был

* «Исторический Вестник», 1916 г., т. 144, стр. 741.

** «Русская Старина», 1884 г., т. 41, стр. 130.

вылитое подобие князя Репнина; и отец и сын, по видимому, это хорошо знали, ибо часто случалось, что во время болезни молодого Чарторьского князь Николай Васильевич, бывши таким знатным баринном, не затруднялся, однако же, ходить к юноше на квартиру и подолгу сидеть у него».

Князь Голицын, правда, недолго любил Адама Чарторьского, очень недолго любил и его мать, которую называет «политической интриганкой», «гулливой полькой» и т. д. Однако же сходных свидетельств дошло до нас немало. Бартенев, живая летопись нескольких поколений русского дворянства, вскользь писал о князе Репнине: «Говорят, что супруг княгини Изабеллы Чарторьской прислал к нему новорожденного князя Адама в корзинке с цветами. В зрелом возрасте князь Адам очень походил лицом на князя Репнина, и Репнины всегда считали его своим»^{*}.

Исторического значения вопрос, слава Богу, не имеет. Но психологическое значение его огромно (только поэтому, разумеется, я на нем и останавливаюсь). Ошибались ли современники князя Адама или не ошибались, — молва была именно такова, и Чарторьский не мог о ней не знать. В первые двадцать пять и в последние тридцать лет своей долгой жизни он считался (и в значительной мере действительно был) заклятым врагом России и всего русского. Стилизовали его даже под Конрада Валленрода. Легко себе представить, как это осложнялось мыслью о русском происхождении князя! Положение, несколько напоминающее сюжет известной драмы Анри Бернштейна: глава антисемитской партии внезапно узнает, что сам он — еврей по крови.

II.

Князь Адам Чарторьский получил прекрасное образование. Воспитывали его, как тогда полагалось в значительной части высшего общества, в духе передовом и либеральном. «Наше воспитание, — вспоминал князь Адам, — было чисто польское и чисто республиканское. Наши отроческие годы были посвящены изучению истории и литературы, древней и польской. Мы только и грезили, что о греках и римлянах, и

^{*} «Русский Архив», 1876 г., т. 1

мечтали лишь о том, чтобы по примеру наших предков возродить доблести древних в нашем отечестве».

Не вполне сбылись эти мечты; но дух молодости князя Чарторьского был именно таков. Незачем упоминать, что в быту его юных дней Плутарх кое-как уживался с Домостроем (в условном смысле и того и другого слова). Так было и в пору самого Плутарха, так было везде и всегда. Позднейшие историки, конечно, иногда позволяют себе небольшое развлечение с доброй старой, вечно юной, ссылкой на «нашего Мирабо», который за измятое жабо хлещет старого Гаврилу, — однако попрекать свободолюбивых магнатов XVIII века крепостным правом так же бесполезно, как, например, в наше время попрекать главу II Интернационала его миллионами и роскошной виллой в окрестностях Брюсселя. Правда, из воспоминаний князя Чарторьского не выносишь впечатления, что он, при своей ненависти к иностранным поработителям Польши, задумывался над участью десятков тысяч людей, которых «порабощал» он сам. Как бы то ни было, и в Голубом дворце (варшавская резиденция Чарторьских), и в подольских имениях, и в Пулавах он воспитывался в роскоши, окруженный учителями и гувернерами — польскими, датскими, французскими; немало путешествовал, гостил в Англии у лорда Лансдоуна, занимаясь изучением английской конституции. 18 лет от роду он уже был маршалком (председателем) какого-то сеймика!..

Затем началась война с Россией. Чарторьский принял в ней участие, храбро сражался и получил боевой орден из рук короля. В эпопее 1794 года он, однако, не участвовал, по-видимому, по случайным причинам; но, может быть, и не всему сочувствовал в программе Тадеуша Костюшко. Знаменитый польский генерал, сын бедного шляхтича, бывший воспитанник Чарторьских был, конечно, для князя Адама слишком «левым»; а поланецкий универсал, которым Костюшко объявлял свободными людьми всех крестьян Речи Посполитой, мог в Голубом дворце вызвать и панику.

Социально-политические взгляды Чарторьского в ту пору уже определились на всю жизнь. Голицын утверждает, что в нем аристократическое чувство было «как-то непомерно и даже нелепо»: хотел «сочетовать республику с королевским званием». В этом сочетании для польского магната, собственно, не было ничего

странного. Может быть, и в самом деле молодой Чарторыйский мечтал о *своей* кандидатуре на польский престол, — в его положении честолюбивые юношеские мечты вообще могли не иметь предела. Во всяком случае, он никак этого не проявлял: по взглядам был умеренным конституционалистом, сторонником короля Станислава и пламенным патриотом. Добавлю, что это был и культурный, и добрый, и чрезвычайно порядочный человек.

После третьего раздела Польши большая часть имений, принадлежавших князьям Чарторыйским, оказалась в России. «Фамилия» принимала участие в борьбе с русским правительством; на имения был наложен секвестр. Правда, кое-что (около четверти огромного состояния) осталось в Австрии, так что можно было прожить вполне безбедно. Но плутарховский стиль допускал порою и отступления. «Ходатайства австрийского двора за моего отца (т.е. о снятии секвестра. — М. А.) остались без результата. Екатерина не могла простить моим родителям их патриотизма и их причастности к восстанию Костюшки. «Пусть оба их сына, — заявила она, — явятся ко мне, и тогда мы посмотрим». На семейном совете решено было несколько поступиться римскими чувствами. «Это было, — вспоминает князь Адам, — в нашем положении самой тяжелой жертвой, которую мы считали себя обязанными принести родительской любви».

В декабре 1794 года молодые князья Чарторыйские выехали из Вены в Петербург.

Ш.

«Мы были приняты петербургским обществом с большим вниманием и благорасположением, — пишет князь Чарторыйский. — Люди пожилые знали и уважали нашего отца, бывавшего в этой столице во времена Елисаветы, Петра III и при восшествии на престол Екатерины. Благодаря рекомендательным письмам* мы встретили благосклонный прием».

* По-видимому, было полезно и рекомендательное письмо, которое дал Чарторыйским на имя И. И. Шувалова упомянутый выше князь Н. В. Репнин. Письмо это до нас дошло: «Я принимаю, — писал князь, — в этих молодых людях большое участие... Оказав им ласковый прием, вы мне сделаете *личное* одолжение» («Русский Архив», 1876 г., т. 1).

Молодого Чарторьского ждала в Петербурге совершенная неожиданность: он ехал к варварам и извергам, а попал в очень милое, радушное и гостеприимное общество. «Мало-помалу мы пришли к убеждению, что эти русские, которых мы научились инстинктивно ненавидеть, которых мы причисляли, всех без исключения, к числу существ зловредных и кровожадных, с которыми мы готовились избегать всякого общения, с которыми не могли даже встречаться без отвращения, — что эти русские более или менее такие же люди, как и все прочие»...

Открытие было поразительное. Добавлю, что князь Адам был очень молод. При всем желании строго выдерживать тон гражданской скорби, он не мог не поддаться общему строю жизни петербургского общества, — жизни шумной, блестящей и веселой. «Мы приобрели много знакомств и ежедневно получали приглашения от представителей высшей аристократии. Обеды, балы, концерты, вечера, любительские спектакли беспрерывно следовали один за другим».

Императрица приняла Чарторьских очень любезно. Имена были им возвращены, — правда, не родителям, а именно князю Адаму и его брату. Возвращено было «всего» 42 тысячи душ. Староства Латичевское и Каменецкое остались конфискованными. «Нам говорили, — пишет Чарторьский, — что на потерю Латичева и Каменца надо было смотреть, как на штраф». В действительности это было не так. Названные два имения, составлявшие, впрочем, лишь небольшую долю возвращенного богатства, уже были отданы графу Моркову.

Почти одновременно молодые польские князья получили придворное звание и были зачислены в гвардию: князь Адам — в Конногвардейский полк, а его брат — в Измайловский. Здесь опять-таки сказалась та же раздвоенность чувств. Гражданская скорбь — разумеется, совершенно искренняя — никак не позволяла принимать с удовлетворением знаки внимания от врагов. Возможно, что именно в связи с легендой о русском происхождении князя он даже преувеличивал свое «надменное и презрительное равнодушие» (бывшее вообще в стиле эпохи). «Может ли, — писал князь, —

* Староство — в XVIII—XIX вв. административная единица Польши. — *Прим. ред.*

путешественник, случайно заброшенный судьбою в Японию, в Борнео, или Яву, или куда-нибудь в Центральную Африку, придавать хоть малейшее значение формам, отличиям или почестям, которые присущи обычаям этих варваров? Совершенно то же было и с нами в данном случае». «Конрада Валленрода»* еще не было в 1795 году. Но Чарторыкий писал свои воспоминания на старости лет. Думаю, что в молодости Петербург ему Центральной Африкой не представлялся.

Главный же сюрприз — сюрприз, сыгравший огромную роль в жизни князя Адама, — был впереди. Однажды великий князь Александр Павлович, встретив его на набережной, пригласил его к себе в Таврический дворец, где жила весной царская семья. В назначенный день и час Чарторыкий явился к великому князю. Они вдвоем спустились в дворцовый сад и гуляли там три часа. И странные, неожиданные, поразительные речи услышал от будущего императора молодой польский офицер.

«Великий князь сказал мне тогда, что совершенно не разделяет воззрений и принципов правительства и двора; что он далеко не оправдывает политики и поведения своей бабки и порицает ее принципы; что его симпатии были на стороне Польши и ее славной борьбы; что он оплакивал ее падение; что в его глазах Костюшко был великим человеком по своим доблестным качествам и по тому делу, которое он защищал... Он признался мне, что ненавидит деспотизм везде, в какой бы форме он ни проявлялся, что любит свободу, которая, по его мнению, должна принадлежать всем людям; что он чрезвычайно интересовался французской революцией; что, не одобряя этих ужасных заблуждений, он все же желает успеха республике и радуется ему!..»

Впечатление было потрясающее. «Сознаюсь, — пишет князь Адам, — я уходил пораженный, глубоко взволнованный, не зная, был ли это сон или действительность... Не чудо ли это было, что в такой атмосфере и среде могли зародиться столь благородные мысли, столь высокая добродетель?.. Было столько чистоты, столько невинности, решимости, казавшейся непоколебимой, самоотверженности и возвышенности

* Поэма Адама Мицкевича «Конрад Валленрод» была опубликована в 1828 году. — *Прим. ред.*

души в словах и поведении этого молодого принца, что он казался мне каким-то высшим существом, посланным на землю Провидением для счастья человечества и моей родины. Я дал себе обет безграничной привязанности к нему...»

После этого исторического разговора в Таврическом саду князь Адам Чарторьский прожил еще шестьдесят с лишком лет. Он говорит, что чувства того дня «устояли перед всеми ударами, которые им позднее нанес сам император Александр». В действительности это было не совсем так. Много разных, очень разных суждений высказывал князь Адам о своем друге на протяжении посланной ему долгой жизни, и многое, очень многое их впоследствии разделило. Только ли император был виновен в разрыве их дружбы, только ли политика была причиной разрыва, я судить не берусь. В таких делах мы обычно не знаем почти ничего почти ни о чем. Князь Чарторьский в своих воспоминаниях, естественно, не сообщает, что он был страстно влюблен в императрицу Елизавету Алексеевну, жену Александра Павловича. Больше чем через столетие после того, на нашей памяти, вел. князь Николай Михайлович опубликовал «Письмо императрицы Елизаветы Алексеевны к неизвестной, писанное 1 февраля 1815 г. из Вены»¹. Дело это неясное и исторического интереса не представляющее. Ни император, ни Чарторьский о нем до конца своих дней не сказали ни слова. Я могу только отослать читателей к той пояснительной статье, которой великий князь дополнил опубликованное им таинственное письмо.

В 1798 году, при Павле Петровиче, князь Адам был назначен российским посланником при сардинском короле и провел три года в Италии, занимаясь преимущественно искусством, археологией, изучением Данте (он и сам писал стихи). Известие об убийстве императора Павла застало его в Неаполе. По словам Чарторьского, русский курьер, привезший это известие в Италию, имел вид глухонемого: «не отвечал ни на один вопрос, издавал только какие-то непонятные звуки, находясь, видимо, под впечатлением ужаса». Этот курьер привез также князю приказ немедленно возвратиться в Петербург. «Я был в восторге»...

¹ Цитирую по неуклюжему русскому переводу мемуаров.

² «Исторический Вестник», 1916 г., т. 144.

Вернувшись в Россию, князь Адам сразу стал правой рукой Александра I. Именно по его инициативе был создан так называемый «Комитет общественного спасения», в который, кроме царя и Чарторыского, входили Строганов, Новосильцев и Кочубей. Несколько позднее князь был назначен товарищем министра иностранных дел, а с уходом канцлера Воронцова стал главой этого министерства. Можно без преувеличения сказать, что польский магнат, еще недавно, по собственным его словам, бледневший от ненависти при каждой встрече с каким бы то ни было русским, был в течение нескольких лет самым влиятельным человеком в России.

IV.

В июне 1802 года в Мемеле произошло свидание между императором Александром I и прусским королем Фридрихом Вильгельмом III. Дипломаты, разумеется, приписывали этому свиданию необыкновенную важность. Русская дипломатия относилась к идее свидания очень отрицательно. Кочубей был весьма им недоволен. Граф С. В. Воронцов при мысли о нем, по словам очевидца, закрывал от ужаса лицо руками. Тогда подобные встречи происходили много реже, чем теперь, не назывались «конференциями» и принимали в них участие не министры (или не только министры), а монархи, отчего дела шли не хуже и не лучше, чем в наше счастливое время. Мемельское свидание выделялось, впрочем, тем, что в нем с прусской стороны участвовала, кроме короля, еще и королева — знаменитая королева Луиза.

Об этой королеве в немецкой биографической литературе принято говорить не иначе, как в самых восторженно-нежных тонах, и притом с оттенком почтительного сострадания, уж совсем нам непонятным: так, кажется, никто никогда не говорил ни о Марии Стюарт, ни о Марии Антуанетте. Между тем в жизни королевы Луизы никаких особенных трагедий не было. Называли ее и «божественным явлением», и «небесным видением», и «спасительным духом Германии», и «живым воплощением немецких добродетелей» и т.д. Она в самом деле была хорошая женщина. Но меру в восторгах можно было бы соблюсти. Современники

часто судили иначе, — иногда даже шли слишком далеко в другую сторону.

О наружности королевы Луизы по оставшимся многочисленным портретам судить довольно трудно, так как в большинстве портреты также писались в слезливо-трогательном тоне и вдобавок чрезвычайно непохожи один на другой. На портрете Виже-Лебрен королева поистине прелестна. У Дэлинга лицо ее некрасиво и неприятно, несмотря на особенно торжественный характер картины: первая встреча с императором Александром. Современники отзывались о наружности королевы по-разному. Наиболее лестные отзывы принадлежали ей самой*. Наполеон в одном из своих официальных военных бюллетеней, еще до личного с ней знакомства, называл королеву «женщиной красивой, но глупой»^{***}. Генерал Марбо^{****} счел нужным сообщить подробности неэстетические, однако отдал должное красоте королевы. Граф П. А. Строганов писал 22 декабря 1805 года из Берлина Адаму Чарторыскому: «Mon cher, qu'elle est jolie, cette reine! Elle m'a bien plu et je ne lui trouve pas l'air fille dont on l'accusait»^{****}. Попадаются и отзывы нелестные, но они исходили от недоброжелателей. По-видимому, королева Луиза была очень хороша собой.

В Мемеле — нынешней Клайпеде — теперь кипят страсти, ведется ожесточенная национально-политическая борьба, происходят покушения и убийства. К несчастью, вполне возможно, что в истории название этого города будет окружено той же зловещей славой, которая на вечные времена связана со словом «Сараево». В начале прошлого века Мемель был тихий, уютный, сверхпровинциальный городок, мирно торговавший пенькой и сельдями. Надо ли говорить, что известие о приезде коронованных особ вызвало в городе восторг и гордость^{****}. Все местное купечество встретило императора Александра у ворот; на улицах пели «Musikchöre»^{*****}. Улица, на которой остановился

* K. Waliszewsky. Le Règne d'Alexandre I^{er}, t. 1, p. 119.

** Correspondance de Napoléon, IX Bulletin (Weimar, 17 octobre 1806).

*** Mémoires du général Marbot, t. 1, pp. 280—1.

**** «Мой дорогой, как она очаровательна, эта королева! Она мне очень понравилась, и я не нахожу в ее облике ничего достойного осуждения» (фр.). Вел. кн. Николай Михайлович. Le comte Paul Stroganov, t. II, p. 213.

***** Sophie-Marie Gräfin von Voss. Neunundzwanzig Jahre am Preussischen Hofe. SS. 243—5.

***** Музыкальные хоры (нем.).

царь, была названа «Кайзерштрассе»; улица, где жила королева, получила название «Луизенштрассе». Возможно, что улицы эти так называются еще и теперь, хоть давным-давно все в Клайпеде забыли, почему они были так названы. Здесь-то и началась новая историческая линия, помешавшая осуществлению планов Адама Чарторыского.

V.

Император Александр I прибыл в Мемель 10 июня 1802 года инкогнито, под именем «графа Российского». Он чрезвычайно понравился всем немцам. «Ein schöner Mann!» («красивый человек!») тотчас занесла в свой дневник престарелая обергофмейстерина графиня фон Фосс, которой, однако, угодить было очень нелегко: пятью годами позднее, при первой встрече с Наполеоном, она в тот же дневник записала: «Он необычайно безобразен», что, впрочем, могло объясняться патристической ненавистью к победителю. В восторге от царя был и прусский король. «Такого монарха Россия еще никогда не имела!» — говорил он (это, пожалуй, было и верно).

Что до королевы Луизы, то немецкие ее биографы сдержанно замечают, что встреча с царем была для нее большим переживанием (ein Erlebnis). Их слова надо уточнить в том смысле, что королева навсегда, на всю жизнь влюбилась в Александра Павловича. Безнадежный роман этот — и трогательный, и патетический, и порою забавный — стал, по-видимому, главным смыслом ее существования.

«Я не видала Альп, — писала вскоре после того королева своему брату, — но я видела людей или, вернее, одного человека, человека в полном смысле слова. Альпийский житель воспитал его». «Альпийский житель» был, очевидно, бывший гувернер Александра Павловича швейцарец Лагарп. И вспоминать здесь о нем, и так именовать этого почтенного адвоката и политического деятеля было, собственно, ни к селу ни к городу. Но требовалось отдать долг духу эпохи: Жан Жак Руссо еще царил в литературе; королева поддерживала личную дружбу с Жан Полем Рихтером*.

* Жан Поль — настоящее имя и фамилия Иоганн Пауль Фридрих Рихтер (1763—1825) — немецкий писатель. — *Прим. ред.*

Здесь-то и была забавная сторона этого несчастного романа. В представлении королевы Луизы, император Александр был гордый, необыкновенный, застенчивый юноша, чуть только не прямо с Альп сорвавшийся в город Мемель. Она сразу разгадала его основную черту: безграничную прямогу души; сразу и определила тон отношений: «как сестра, нет, как мать» (*schwesterlich, nein, mütterlich!*), она должна предостеречь альпийского юношу «от опасностей юношеской неопытности». Бедная королева, можно сказать, проявила необычайную проницательность. Перед ней был один из самых сложных, замкнутых и скрытных людей того времени. Очень переоценивала она и его юношеское незнание жизни. «Сущий прельститель» уже пережил трагедию Михайловского замка, выиграл тяжелую и грозную игру против графа Палена.

Главное же было в том, что царю королева Луиза нравилась не больше, чем ему нравились все красивые женщины. «Бедняга совершенно очарован и обворожен королевой», — писала графиня фон Фосс (стр. 245). По-видимому, и она большой проницательностью не отличалась. Царь, правда, был чрезвычайно любезен и внимателен — особенно вначале. Позднее он, кажется, сам не знал, как ему отделаться от этого романа (если с его стороны можно это называть романом). Во всяком случае, в 1807 году он говорил, что предпочел бы с королевой не встречаться.

Письма королевы Луизы к царю сохранились и сравнительно не так давно были опубликованы*. Удивительно, что они не слишком привлекли к себе внимание исследователей (исключение составляет Валишевский): и в историческом, и, особенно, в психологическом отношении письма эти чрезвычайно интересны. Излияний любви, в тесном смысле слова, в них нет, но многое, начиная с обращения («добрый, дорогой, несравненный кузен» и т. п.), находится на границе излияний. Все, что делает царь, все вообще, что к нему относится, — «божественно» (это было любимое слово королевы). «Какое божественное письмо вы мне написали!»... Божествен балкон, на котором сидел Александр Павлович. Божественным оказывается даже его кучер — «*votre divin Illia*»**. Много раз в письмах

* Publikationen aus den k. Preussischen Staatsarchiven, Bd 75.

** «Ваш божественный Илья» (*фр.*).

встречается просьба — прислать же, наконец, обещанный подарок: бюст царя. Царь присылает зеркало, — «дивное зеркало», «благодетельны руки, из которых я получила столь прекрасный дар!..». Царь уезжает, — «это ужасно!». К царю едет в гости принц Мекленбургский, — «счастливец! обняв вас, он напомним вам обо мне»... В письме от 10 июня 1807 года попадает даже такая фраза: «Одна из худших жестокостей Бонапарта заключается в том, что он нашел способ удалить нас друг от друга!» В жизни Наполеона были, пожалуй, дела хуже этого. Но в этой жестокости он был вдобавок совершенно неповинен. Напротив, по некоторым, ему одному ведомым, соображениям (быть может, и без всяких соображений — просто ради насмешки) он старался сблизить царя с королевой Луизой. По крайней мере, в Тильзите для королевы был приготовлен дом рядом с домом Александра Павловича, и, показывая его царю, Наполеон говорил со свойственной ему бесцеремонностью: «Eh bien! Le sœur ne vous en dit-il rien?..»*

Роман этот продолжался до самой смерти королевы. В 1809 году она с Фридрихом Вильгельмом III посетила Петербург. Прием им был оказан необыкновенно торжественный и пышный. Остановились они в Эрмитаже; балы, парады, спектакли следовали один за другим. Не подлежит, однако, сомнению, что в то время прусская королевская чета была на положении довольно странном. Это видно и из мелочей, из подарков. Царь подарил королеве платья, великолепные шали, золотой туалетный прибор. Она также иногда посылала ему подарки, но совершенно иные, вплоть до «пяти дивных вишен». Прусский королевский дом выезжал больше на сердечности чувств. Письма же бедной королевы становились все грустнее и задумчивее. Теперь она писала не только царю, но и обеим императрицам. Обращалась к ним: «Madame ma Sœur et Cousine» или «Chère, belle et bonne reine»**. Мария Федоровна отвечала порою просто: «Schwesterchen»***.

Старая история, вечная история, одинаковая во все времена и в любой среде: она его любила, он ее не

* «Ну хорошо! Разве сердце вам ничего об этом не говорит?..» (фр.)
Princesse Louise de Prusse. Quarante cinq ans de ma vie, p 275.

** «Госпожа моя, сестра и кузина», «Дорогая прекрасная и добрая королева» (фр.).

*** «Сестричка» (нем.).

любил. Но здесь от этого отчасти зависел ход исторических событий. Королева Луиза вмешивалась в политику, — нельзя сказать, чтобы слишком умно: так, например, в 1807 году, будучи недовольна действиями русского главнокомандующего Беннигсена, она требовала для него «кнута»; выражала также желание «плюнуть в лицо» великому князю Константину Павловичу, — что, кстати сказать, не очень вяжется с небесным обликом, который изображают в своих трудах восторженные немецкие биографы королевы.

Главным предметом ее ненависти был, разумеется, Наполеон. Французский император вел с ней войну, ничего к его славе не прибавляющую. Военные бюллетени 1806 года — официальные документы, да еще такие! — наряду с сообщениями о блестящих победах, о больших исторических делах содержат в себе мелкие, грубоватые, а то и просто грубые выпады против прусской королевы. Каким-то образом Наполеон узнал о ее увлечении царем и использовал эту тему самым неподобающим образом. В 17-м бюллетене сообщается, что в Берлине найдена картина, изображающая королеву в обществе Александра I: «Elle a l'air de regarder l'empereur de Russie»^{**}. Картина эта, написанная каким-то добрым немцем в самом верноподданном духе, без тени коварного умысла, объявляется «скандальной», выражается недоумение — чего, мол, смотрела прусская полиция? В бюллетене 19-м, после занятия Берлина французскими войсками, отмечается, что в спальне королевы найден портрет русского царя!

Все это не помешало Наполеону позднее встретиться с королевой Луизой в пору мирных переговоров. Роль ее в те исторические дни достаточно известна. В Пруссии явно переоценивали обаяние королевы Луизы. Ее нарочно вызвали для переговоров с победителем в надежде, что «небесное видение» смягчит сердце Наполеона и добьется у него лучших условий мира. Расчет был столь же неосновательный, сколь странный (особенно со стороны Фридриха Вильгельма III). Прусская королева Наполеону, видимо, очень не понравилась; да если бы и понравилась, результат был бы, наверное, тот же. Их историческое свидание много раз описыва-

^{*} Waliszewsky, t. 1, p. 215.

^{**} «Она как будто смотрит на императора России» (*фр.*).

лось историками. Королева Луиза говорила о делах, Наполеон переводил разговор на туалеты: «Какое на вас прекрасное платье! Где вы его сшили?..» Если верить известному рассказу (Гейне, помнится, написал на эту тему стихи), королева в заключение с кокетливой улыбкой протянула ему цветок: «Государь, возьмите эту розу и уступите нам Магдебург!..» Наполеон взял розу без особенного восторга — и Магдебурга не уступил. «Галантность тут обошлась бы мне слишком дорого», — писал он Жозефине.

Мемельское свидание не имело важных непосредственных последствий. Но на нем впервые наметилось то направление русской внешней политики, которое оборвалось лишь в 1914 году. Излагаю кратко дела незначительные, частные, личные и нисколько не сомневаюсь в том, что тогда, как и теперь, от них зависели великие исторические события.

VI.

Польский поэт в эпитафии к своей поэме поставил слова Макиавелли: «*Bisogna essere volpe e leone*» («Надо быть лисицей и львом»).

Адама Чарторыского не любили в высшем обществе Петербурга. Он имел репутацию человека гордого и надменного. У тонких психологов очень принято клише: «под маской гордости» человек якобы скрывал крайнюю свою застенчивость. Это не слишком понятно, но кто знает, может быть, так было с Чарторыским. «Под видом холодности и сдержанности у него весьма доброе сердце», — сообщал саксонский дипломат Розенцвейг, признававший за князем и замечательный ум, и твердый характер. Петербургское общество подозревало в нем коварного ученика Макиавелли: если бы он только был лев — вдруг он и лисица? Почему иностранной политикой России ведает польский князь, еще недавно сражавшийся с русскими войсками? Чарторыский, повторяю, имел основания особенно часто подчеркивать, что он не русский, а поляк, чистокровный поляк. В той сцене встречи с ним князя

* «Русская Старина», 1880 г., т. 29, стр. 811

Андрея, с которой начинается настоящая статья, у Толстого очень верно подчеркиваются оба настроения: и политическое недоверие, и личное нерасположение к Чарторыскому характерны для очень многих представителей русской знати того времени.

Нет, Чарторыский не был последователем Макиавелли и никаких коварных целей он себе не ставил. На посту русского министра иностранных дел он с полной искренностью служил России, — но служил ей только потому, что в ту пору считал ее интересы совпадающими с интересами Польши. Интересы России князь Адам понимал по-своему. В течение некоторого времени он искренно верил в те идеи, которые на нынешнем политическом языке можно было бы назвать идеями Лиги Наций, и именно от них ждал восстановления родины. Позднее он с той же добросовестностью пришел к мысли, что России нужна война. России война была не так уж нужна. Но Польша действительно могла воссоздаться только в результате войны.

Войны с кем? Когда читаешь письма людей того времени (письма, а не их воспоминания: в воспоминаниях все приведено в необычайную логическую ясность), видишь ту же хаотическую картину, что наблюдается в Европе и сейчас. За год, за несколько месяцев до наступления всемирно-исторических событий самые выдающиеся люди (быть может, за исключением Наполеона) совершенно не знали, куда они идут и что ждет их: мир? война? с кем война? с кем союз? кто друг? кто враг?

В 1804 году стало определяться, что Россия будет воевать с «Буонапарте». Борьба с таким противником требовала союза с германскими странами, и в частности с Пруссией, военный престиж которой еще стоял высоко после побед Фридриха Великого. Если союз с ней был невозможен, следовало, казалось бы, добиваться ее нейтралитета. Между тем весь план Чарторыского строился на том, чтобы, двинув одну армию против Наполеона, другую сосредоточить на прусской границе. Предполагалось ультимативно потребовать от берлинского правительства пропуска этой второй армии через прусскую территорию. В случае весьма вероятного отказа, 110 тысяч русских войск должны были вторгнуться в Пруссию и разгромить ее. Наполеоном, очевидно, можно было заняться и потом. С точки зрения интересов России план

был совершенно бессмысленный. Но если бы Пруссия в войне не участвовала, то отошедшие к ней польские земли так за ней бы и остались. В отсутствии лисьих черт у князя Чарторьского сомневаться не приходится. Его историческая роль в пору тех событий с особой силой поставила старую и тяжелую проблему двойного подданства, или, если угодно, двойного патриотизма.

VII.

Против Наполеона, в помощь австрийцам, была двинута 50-тысячная армия Кутузова, составлявшая приблизительно четвертую часть вооруженных сил России. Две другие русские армии численностью в 90 тысяч человек, под командованием Михельсона, предназначались официально «для угрозы Пруссии», а на самом деле для войны с ней. Была, наконец, подготовлена еще четвертая десантная армия гр. Толстого, которую отправили морем из Кронштадта в Штральзунд, чтобы ударить на Пруссию с севера. На пост верховного главнокомандующего намечался знаменитый генерал Моро, давно порвавший с революцией и бывший личным врагом Наполеона. Его предполагалось выписать для этой цели из Америки, где он тогда жил. Отыскивали соответствующий прецедент: Петр Великий в свое время для войны со Швецией хотел нанять в Англии Мальборо.

Можно спорить, нужна ли была России война с Наполеоном, продолжавшаяся, с перерывами дружбы, около десяти лет, стойвшая Москвы и сотен тысяч людей, не давшая ничего, кроме военной славы, которой и так после суворовских походов было вполне достаточно. Но уж война-то с Пруссией никому решительно в России, кроме Адама Чарторьского, нужна не была. Весьма странно было и распределение сил.

Наполеон считался величайшим военным гением. Франция в ту пору переживала период, который, будем надеяться, ждет и Россию. После кровавых революционных лет образовалась прочная и мощная власть

* Богданович. История царствования императора Александра I, т II, стр. 1—6.

во главе с очень умным человеком, обеспечившим стране человеческие условия жизни. По непонятным законам освободилась накапливавшаяся веками потенциальная энергия народа. Обозначались сказочные успехи страны во всех почти областях, кроме литературы (для которой, кроме известного уровня свободы, необходима устойчивость быта). Насчет своего огромного национального подъема Франция еще могла в течение многих лет вести борьбу со всей остальной Европой.

Казалось бы, для борьбы с таким противником надо было сосредоточить все решительно силы. Между тем по плану Адама Чарторыского три четверти усилий России направлялись на борьбу с Пруссией! Делалось это, очевидно, с согласия императора Александра, — всего через три года после мемельского свидания, где было положено начало тесной дружбе обеих стран.

Это не должно удивлять читателей. То же самое происходило всегда, происходит и в наше время. Лет сорок тому назад «историческим врагом» России считалась, например, Англия. Позднее произошли существенные перемены. Люди нашего поколения видели и «коварный Альбион», и «наших доблестных британских союзников», и «лордам по мордам», и идиллию Идена в литвиновской подмосковной. Можно, конечно, возразить, что в самой России за промежуток времени, отделяющий Ламсдорфа от Литвинова, произошли достаточно значительные перемены*. Но в других странах и без всяких внутренних перемен «исторические враги» меняются достаточно часто. Павел I перешел в историю с репутацией безумца главным образом потому, что у него коренные перемены в направлении внешней политики происходили на протяжении двух-трех недель, а не двух-трех лет.

Формально к Пруссии было предъявлено требование пропустить через прусскую территорию войска, которые, совместно с австрийцами, должны были действовать против Наполеона. Требование было столь же нелепое, как и вся эта военно-политическая затея:

* В 1935 г. А. Иден, тогда министр иностранных дел Великобритании, посетил СССР. Это был первый, после 1917 г., официальный визит представителя британского правительства. Граф В. Н. Ламсдорф — министр иностранных дел России с 1900 по 1906 г. М. М. Литвинов — нарком иностранных дел СССР с 1930 по 1939 г. — *Прим. ред.*

для соединения с австрийцами не было никакой надобности проходить через Пруссию. Впрочем, Чарторыский почти и не скрывал, что вся его политика строилась на неприемлемости требования для прусского правительства. Любопытно и то, что исходил он — совершенно искренно — из «народных прав»: по современной терминологии — из права народов на самоопределение. Но в составленной им записке говорилось, что «в случае крайней надобности» Пруссии взамен отказа от польских земель можно будет предложить Голландию! Австрия в благодарность за то же должна была получить «Баварию и те области в Швабии и Франконии, которые она сама выберет». Чарторыский соглашался также подарить какому-либо из эрцгерцогов Венецию.

И то сказать: это ничего ему не стоило. Он «самоопределял» только Польшу.

VIII.

В сорока верстах от Люблина, на берегу Вислы, расположено великолепное имение Чарторыских — Пулавы. Старый замок XVI века (впрочем, не раз перестраивавшийся) окружен садами, в которых, по моде романтического времени, были устроены гроты, лабиринты, искусственные скалы. Над рекой княгиня Чарторыская выстроила «храм Сивиллы», там Чарторыские собрали самые различные исторические реликвии — от меча Владислава Локотка до правой руки Чарнецкого и головы Жолкевского, выкупленной за большие деньги у турок. Впоследствии, в царствование Николая I, в замке был устроен институт сельского хозяйства и Пулавы превратились в Ново-Александррию.

В замке этом осенью 1805 года произошло событие, которое может быть признано высшей точкой дружбы в многовековой истории польско-русских отношений. Приняв военно-политическую программу князя Адама, император Александр решил, в знак особой милости к нему и к полякам вообще, по пути в армию погостить у Чарторыских в Пулавах. Он прибыл в замок в ночь на 18 (30) сентября 1805 года, — прибыл в условиях довольно необычных. Кучер царя заблудился в лесу и вдобавок разбил коляску, наскочив

на пень. По счастью, проезжавший с бочкой вина разносчик-еврей, говорит историк, взялся доставить царя в Пулавы. Александр I, совершенно измученный, оказался в замке только в два часа ночи. Его никто не ждал и не встречал. Он не велел будить хозяев и, не раздеваясь, заснул в первой попавшейся комнате. Только наутро Чарторыские узнали, какой гость ночью к ним прибыл. Княгиня Изабелла отправилась благодарить императора за честь, оказанную их дому. «Не вам меня благодарить, княгиня, — отвечал царь, — а мне вас: вы дали мне моего лучшего друга».

В Польше начались необыкновенные торжества. Чарторыские как могли распространяли известие о плане их сына. К ним в Пулавы хлынула знать. «Сущий прельститель» был чрезвычайно милостив и любезен со всеми. Совместно совершались паломничества в «храм Сивиллы». Один из польских гостей, Каэтан Кошмян, писал: «Если бы император Александр был частным лицом, он все же оставался бы самым красивым, самым приветливым в обращении и самым благовопитанным человеком в мире. Поэтому можно себе представить, какое очаровательное впечатление производил этот самодержец могущественнейшего государства, блиставший всей красотой расцветающей весны и сделавшийся с начала своего царствования предметом поклонения своих подданных и чужеземцев, надеждою всего человечества».

Эти дни были апогеем славы, влияния и счастья князя Адама Чарторыского. Все знали, что план воссоздания Польши принадлежит ему и держится на нем одном. Предполагалось, что после победы сначала над Пруссией, потом над Наполеоном все польские земли будут объединены: Александр Павлович должен был стать польским королем. Князь Адам мог, вероятно, претендовать на пост наместника. Останавливались ли на этом его мечты? Некоторые из современников намекали, что не прочь был стать королем и он сам. Может быть, он рассчитывал, что, в духе их памятного разговора в Таврическом саду, царь подарит ему Польшу? Во всяком случае, Чарторыский считал свое дело выигранным. В депеше от 28 сентября из Пулав русскому послу в Вену он прямо заявлял: «Его Величество решил начать войну против Пруссии».

Все рухнуло в один день.

IX.

Как это произошло, мы, к сожалению, в точности не знаем. Не подлежит сомнению, что в Петербурге благоразумные люди недоумевали все больше. У князя Адама еще до того бывали неприятные столкновения с русскими сановниками. Однажды за обедом у царя при обсуждении его планов П. П. Долгоруков прямо ему сказал: «Вы рассуждаете как польский князь, а я рассуждаю как русский князь». «Чарторыйский побледнел и умолк». Долгоруков считался в Петербурге главой «русской партии». Но, собственно, дело было не в этом, а в военно-политической невыполнимости плана. Для его осуществления надо было сначала взять Варшаву, потом Берлин и, наконец, Париж! Вероятно, в военных кругах ясно понимали, что если цель русской политики заключается в войне с Наполеоном, то нельзя объявлять войну Пруссии; если же царь хочет силой отобрать у Пруссии польские земли, то нет никаких шансов на победу над Францией. Рассуждение было достаточно простое. Случилось ли вдобавок что-либо в Пулавах в пору пребывания там царя? Получены ли были депеши из Берлина? Письмо королевы Луизы? Как бы то ни было, 4 октября, т.е. ровно через неделю после депеши послу в Вене, Александр Павлович объявил князю Чарторыйскому, что передумал и выезжает в Берлин для переговоров с прусским королем.

Это было, разумеется, ужасным ударом и для Чарторыйского, и для его семьи, и для всех поляков вообще. Можно предположить, что в последние дни двухнедельного пребывания царя в Пулавах там настроение было не слишком приятное. Александр Павлович говорил, что это было «самое ужасное время его жизни». Как глава министерства иностранных дел, князь Адам, естественно, последовал за царем в Пруссию. «На смену пулавской идиллии приближалась потсдамская мелодрама», — пишет ген. Н. К. Шильдер*.

Впрочем, в Потсдаме была тоже идиллия, но другая: прежняя, мемельская. Для королевы Луизы прошедшие три года были долгим ожиданием новой встречи с царем. В одном из своих писем к графине фон Фосс она взволнованно-радостно сообщает** : царь сказал генералу Винценгероде, что *надеется и желает*

* Н. К. Шильдер. Император Александр I, т. II, стр. 180.

** «Deutsche Rundschau», t. 86, 1896.

снова с ней встретиться (эти слова подчеркивает сама королева). «Русский император не имел понятия, как глубоко королева взволнована», — говорит биограф королевы Луизы Байле*. Думаю, что чувства королевы были Александру Павловичу известны не хуже, чем немецкому историку. Символический результат встречи увековечен и на популярной картине: 4 ноября 1805 года прусская королевская чета и царь в 11 часов вечера вошли в потсдамскую гарнизонную церковь и над гробом Фридриха Великого поклялись друг другу в вечной дружбе. Это генерал Шильдер и называет «потсдамской мелодрамой». Возможность войны между Пруссией и Россией отпала надолго: на сто десять лет. Было заключено и письменное соглашение, тоже достаточно известное.

Путь из «храма Сивиллы» к потсдамской гробнице, от Чарнецкого и Жолкевского к Фридриху Великому был проделан в самом деле очень быстро. Польский историк думает, что в Пулавах император Александр «мистифицировал» поляков. Вернее, он просто одумался, выйдя из пулавской атмосферы. У Александра Павловича желание нравиться людям — тем, в обществе которых он находился, — было сильно почти до болезненности. Не подлежит, однако, сомнению, что он очень колебался и в Пулавах, и еще до Пулав. Чарторыскому было от того не легче. В день заключения Потсдамского договора дело жизни князя Адама сорвалось навсегда. Аустерлицкое поражение, следовавшее через месяц, уже, в сущности, тут ничего не меняло: историческая Польша не воссоздалась бы и в случае победы над Наполеоном.

Х.

Когда игра кончается тяжелой неудачей, партнеры обычно взваливают вину друг на друга. Так было после Аустерлица в отношениях между императором Александром и князем Адамом Чарторыским. Царь с достаточным правом мог думать, что ему в Пулавах предлагали весьма неудачный план. Чарторыский, со своей стороны, не без основания был недоволен переменчивостью и нерешительностью царя. За власть князь Адам не цеплялся нисколько. В дошедших до нас

* Paul Bailieu. Koenigin Luise, p. 162

письмах он почти неизменно просит царя об отставке. «Вашиими поступками и речами, — писал он в апреле 1806 года Александру Павловичу, — Вы постоянно выражали лишь свое неудовольствие и сожаление по поводу всего сделанного. Вы часто высказывали по этому поводу упреки, говорили, что впредь Вас не поймают». Не стеснялся и сам князь Адам. Думаю, что за всю историю России ни один из министров, не исключая графа Витте, не говорил с царями в таком тоне, как Чарторьский. «Ваше Величество, по-видимому, взяли себе за правило руководствоваться лишь первой пришедшей на ум идеей»... «Ваше Величество никогда никому не доверяет вполне, вот почему, быть может, ни одно предприятие не было выполнено так, как это было бы желательно»... «Ваше присутствие во время Аустерлицкого сражения не принесло никакой пользы, даже в той именно части, где Вы находились, войска были тотчас же совершенно разбиты, и Вы сами, Ваше Величество, должны были поспешно бежать с поля битвы»... Иногда при чтении длиннейших меморандумов Чарторьского выносишь впечатление, будто он нарочно подбирал все то, что могло задеть императора и доставить ему неприятность. Царь в письмах отвечал сдержаннее и лишь выражал сожаление, что Чарторьский «пользуется услугами иностранца для переписки начисто бумаг подобного рода». Еще много позднее Александр Павлович начинал свои письма к князю с обращения «дорогой друг» и кончал словами «весь ваш душой и сердцем». Но эти слова больше ничего не значили: от дружбы оставалось немного, общности идей уже не было и следа. В 1807 году князь Адам был уволен в отставку по прошению, а тремя годами позднее навсегда покинул Петербург.

Ссоры, впрочем, у него с царем не было. Александр I, при своих все более редких встречах с другом молодости, был с ним любезен по-прежнему. В пору борьбы с Наполеоном царь, по-видимому, старался использовать польские связи и влияние Чарторьского. Князь Адам, кажется, не вполне освободился от иллюзий относительно расположения к нему царя. После венского конгресса он твердо рассчитывал, что станет

наместником вновь созданного Царства Польского. Другим возможным кандидатом на этот пост считался престарелый Костюшко. К общему изумлению, назначен был ничем не замечательный генерал Зайончек.

Это было последним ударом для князя Адама. «Что такое общественное бедствие по сравнению с личной неприятностью?» — сказал как-то, в порыве циничной откровенности, граф Сегюр. Я отнюдь не хочу сказать, что именно личной неприятностью определялась дальнейшая политическая работа Чарторыского: он был человек чрезвычайно порядочный. Но могла иметь значение и обида. Зайончек, конечно, не имел права быть его соперником, — хоть, собственно, и сам князь Адам не мог считаться законным кандидатом, если был жив Тадеуш Костюшко. Как бы то ни было, вся дальнейшая жизнь Чарторыского посвящена была оппозиции. Он занимался в Польше общественной работой. Главным его противником был ненавистный всем полякам Новосильцев, когда-то ближайший друг и товарищ князя Адама по петербургскому «Комитету общественного спасения».

Как часто бывает, оппозиция привела Чарторыского к революции. Он для нее никак не был создан. Польское восстание подготовили тайные общества: «филареты», «филоматы», «патриоты», «косцы», «променисты», «друзья», «тамплиеры», «национальные масоны». Все это нам знакомо по истории тайных обществ в других странах, особенно в Италии, отчасти и в России. Были и в Польше «кающиеся дворяне», отменявшие «панщизну», ходившие в народ и даже заводившие крестьянские общины «без частной собственности на землю». Польский крестьянин был тоже богоносец и тоже носил в душе социалистические идеалы. Богоносцами были, впрочем, и все решительно другие народы. В этой области никто ничего нового не выдумал*. Когда будет написана параллельная ис-

* Недавно я прочел у Жоржа Дюамеля, что для французского народа слово «misérable» одинаково означает и несчастного, и преступника. Каюсь, обрадовался этой находке, как старому, очень старому знакомому. полстолетия у нас писали о двойном смысле, который русский народ придает слову «несчастнейкий», и делали из этого самые удивительные выводы. А вот, оказывается, и нормандский крестьянин тоже богоносец

тория национального духа разных стран, обнаружатся величайшие неожиданности.

Князь Адам Чарторыйский был недостаточно молод для игры в «филареты» и в «филоматы»*, — польское восстание совпало с его шестидесятилетним юбилеем. Какой уж он был революционер! Племяннику последнего польского короля, родственнику немецких владельцев принцев, бывшему другу императора Александра, наконец, владельцу Пулав и многих тысяч «душ» ни в каких восстаниях делать было нечего. Но, по своему имени, по декоративности своей фигуры, отчасти и по общему безлюдью, он неизменно выплывал в каждом большом польском деле. Я писал в другом месте, что все революции начинаются с людей титулованных, — их список длинен: тут и граф Эссекс, и маркиз Лафайет, и князь Львов, и Макс Баденский, и Каройи. Польша исключения не составила. Адам Чарторыйский стал вождем восстания 1830 года. Этот революционер поневоле «возглавлял» революцию приблизительно так, как у нас ее «возглавлял» в феврале М. В. Родзянко.

Как известно, восстание началось с нападения на Бельведерский дворец. Великий князь Константин Павлович спасся и уехал в Вербну. К нему отправили делегацию из четырех виднейших политических деятелей. О согласованности настроения и действий этой делегации можно судить по тому, что два ее члена, Чарторыйский и Любецкий, умоляли Константина Павловича тотчас вернуться в Варшаву, а остальные два, Лелевель и Островский, убеждали его никогда больше в Польшу не возвращаться.

Князь Адам был избран президентом национального правительства. Здесь его работа сливается с польской историей, но сказать о ней можно немного: человек явно делал то, чего не умел и не хотел делать, — революцию. Скоро он был свергнут, без пользы для революции, но и без всякого для нее вреда.

* «Филоматы» — тайная организация студентов Виленского университета в 1817—1823 гг. Один из организаторов — Адам Мицкевич «Филареты» — филиал организации «филоматов» — *Прим ред*

Чарторьский записался в армию, проделал с ней несчастный поход и навсегда покинул родину.

XI.

Очерк этот не касается деятельности Чарторьского за пределами России. О его жизни в изгнании следовало бы написать особую работу. Роль князя Адама в общеевропейской истории кончилась, собственно, еще в 1807 году, и уж во всяком случае в 1831-м. Но для Польши он достаточно поработал и за границей. Он был немолод; в сущности, он уже доживал теперь свой век, но доживал его с блеском и с достоинством.

Поселился он, естественно, в Париже, — не со вчерашнего дня парижской квартирой кончается деятельное участие в политике. Русские имения князя Адама были после восстания конфискованы, но австрийские оставались за ним. Он еще мог со своей семьей жить богато; Чарторьский немолодым человеком женился на княжне Сапега. У него было трое детей. Ясно было, что устраиваться надо надолго.

Законы расселения эмиграции в Париже не изучены. Если не ошибаюсь, у поляков было два центра. Беднота жила в районе Сен-Дени. Отелем же польских эмигрантов оказался остров Сен-Луи. На этом острове в XVII веке богатый чиновник Ламбер выстроил для себя дом — по парижским понятиям очень большой, — выстроил, как тогда строили, заботясь о просторе, о прочности, об удобстве, — красота же явилась сама собою. Князь Чарторьский купил этот дом за 160 тысяч франков*. ОТЕЛЬ Ламбера стал главным центром польской эмиграции. При нем была школа для польских детей, здесь происходили совещания, здесь устраивались балы, концерты, лотереи в пользу нуждающихся эмигрантов. Поблизости, на Орлеанской набережной, и по сей день находится польская библиотека, «Тургеневская библиотека» польской эмиграции, —

* ОТЕЛЬ Ламбера и теперь принадлежит Чарторьским. Часть его разбита на квартиры и сдается внаймы.

теперь государственное учреждение. На стене ее выгравированы имена людей, имеющих заслуги перед старой библиотекой. Люди эти имеют некоторые заслуги и перед Польшей: это ведь цвет польской культуры во главе с Мицкевичем и Шопеном. Список открывается именем Адама Чарторьского.

Польская эмиграция, «выходство», было явлением замечательным во всех отношениях. Лучшие произведения классической польской литературы, те, которые в наше время раздаются в награду преуспевающим варшавским гимназистам, написаны эмигрантами. Огромно и историческое значение «выходства», со всеми его слабыми и смешными сторонами. Не эмиграция спасла Польшу; но без эмиграции то чудо, в результате которого Польша воскресла, было бы в историческом счете невозможно. Девиз Красиньского *sperare contra spem*^{*} иногда оправдывается жизнью, — правда, довольно редко.

В «выходстве» князь Адам Чарторьский занимал особое место. Вначале левые эмигранты его ненавидели. В 1833 году во французской печати появился против него настоящий обвинительный акт, подписанный 2228 эмигрантами. Он объявлялся врагом, человеком, недостойным доверия Польши. Чарторьский отвечал просто, с достоинством, с совершенным сознанием своих заслуг. Вечная трагедия консерватора, замешанного в чужое революционное движение. Левая часть эмиграции была настроена весьма радикально, — Красиньский недаром призывал ее «бросить гайдамацкие ножи». Князь Чарторьский гайдамацких ножей не любил даже в теории.

Позднее отношение к нему изменилось. Всей эмиграции нужен был генеральный представитель, посол польской культуры. Для этой роли не годился даже Мицкевич: его и теперь во Франции знают мало. Князя Чарторьского знала вся Европа. Немного в ней было людей, равных ему по декоративности.

Эта декоративность была, собственно, его основным свойством. В облике Чарторьского не было вре-

^{*} Без надежды надеяться (*лат.*).

зываются в память черт. Этот человек прожил жизнь необыкновенную по блеску фабулы. Но, при несомненном своем уме, при прекрасных душевных качествах, сам он от этой фабулы чуть отставал. Грансеньером прошел он через два столетия, через великие исторические дела, через несколько исторических эпох. Бледноваты и его неоконченные мемуары, очень привлекательные по тону: он дурно ни о ком почти не отзывался из бесчисленных людей, с которыми столь по-разному сталкивала его жизнь, — обо всех говорит сдержанно, любезно — по-грансеньерски. Ни по мемуарам, ни по дипломатическим этюдам мы не получим точного представления об его душевном облике. Жизнь должна была утомить князя Адама. Но он и вошел в нее как будто несколько утомленный от природы. Сложны были и обстоятельства его биографии: не все было ясно в происхождении, не все было гладко в отношениях с Александром Павловичем. В чем правда? Что такое измена? Вполне бесспорно было немногое: любовь к Польше — самая привлекательная черта старого романтика. Под конец жизни этот задержавшийся на земле человек XVIII столетия поддерживал близкую связь с иезуитами. У них, по крайней мере, все было твердо и определено. Уж очень шаталось все остальное в мире.

Как большинству Чарторьских, ему была послана очень долгая жизнь. Думаю, что в пору второй империи этот 90-летний старец, который был политическим деятелем в дни Французской революции, участвовал в походе 1792 года, представлялся Екатерине II, на посту русского министра руководил борьбой с *тем* Наполеоном — с дядей, — должен был казаться людям истинным чудом. По польским делам он вел переговоры с английскими и французскими министрами второй половины XIX века, — вероятно, они казались ему мальчишками: в свое время — правда, по русским делам — он вел переговоры с Питтом и Талейраном!

Польская эмиграция с ним примирилась, — он, в сущности, и занимался больше благотворительной деятельностью. Впрочем, в особо торжественных случа-

ях еще выступал с речами на десятом десятке лет жизни. Теперь он был великий изгнанник, egregius exsul Польши. Эту роль князь Чарторыский исполнял с большим умением, тактом и достоинством до самых последних своих дней. Он скончался 15 июля 1861 года. В надгробном слове, произнесенном в церкви в Монморанси, сообщалось, что последние слова его были: «Я благословляю Польшу». «И душа его, — говорил французский оратор, — с последним вздохом, на крыльях молитвы отнесла к Господу Богу имя, память и несчастье его родины».

Жозефина Богарне



Жозефина Богарне и ее гадалка

I.

Это жизнь сказочная: горе и счастье, нищета и горы золота, трон и «подножье эшафота» — все так и просится в фильм; ничего не надо было бы выдумывать автору сценария. Самое же удивительное в жизни Жозефины то, что воля тут была совершенно ни при чем: ни к чему будущая императрица не стремилась, никаких целей себе не ставила, все пришло само собой, — по случайности не взошла на эшафот, по случайности вошла на трон, по случайности с трона сошла. Она была женой Наполеона, была близка с тремя людьми, которые по шумной славе имени шли тотчас вслед за Наполеоном. Но и это вышло случайно. Есть шаблонное слово — «плыть по течению». Так по течению она и плыла, — очень бурное было течение. Сколько таких существований видели и мы собственными глазами! Революция вносит практическую поправку в идею свободы воли.

Жозефина в революции ничего не понимала, да и не очень ею интересовалась, — вот только не отрубили бы головы. Ничего не понимала она и в замыслах своего мужа; лишь принимала, с благодарностью и с любовью, все то, что он ей давал. Ум и глупость — понятия неопределенные; скажем, однако, что Жозефина была неглупа. Ей было свойственно большое личное очарование: она была и добра, и мила, и необыкновенно благожелательна к людям. «У нее не больше злобы, чем у голубя», — говорил Наполеон. В революционной литературе ее называли «тиранкой». Это, вероятно, очень ее огорчало. К тирании она, вправду, не стремилась, — зачем тирания? Напротив, после 18 брюмера она долго твердила мужу: «Бонапарт, умоляю тебя, не становись королем», — ведь одно беспокойство от короны: не лучше ли вернуть на престол Бурбонов и стать при них первым человеком: гер-

цогом, коннетаблем*, богачом. Когда Бонапарт все-таки стал «королем», Жозефина беспрестанно ходатайствовала перед ним об одолжениях и милостях разным людям: никому ни в чем не могла отказать. Нередко она своего и добивалась, хоть Наполеон говорил при случае: «Стоит моей жене о чем-либо меня попросить, чтобы я немедленно сделал противоположное».

Будущая французская императрица родилась 23 июня 1763 года на острове Мартинике, где ее отец, французский дворянин Жозеф-Гаспар Ташер де ла Пажери, занимал военно-административную должность. На склоне дней, после развода с Наполеоном, Жозефина от скуки стала заниматься своей генеалогией и обратилась за справками к специалисту. Разумеется, специалист представил Жозефине самую лучшую родословную, возводящую ее род к XII столетию. Так ли это или нет, — и по отцу, и по матери она принадлежала к старым, захудалым дворянским семьям.

Родители Жозефины были бедны. Образование она получила скудное даже по тем временам. О детских годах ее нам известно немного. На пятнадцатом году она была повенчана с виконтом Александром де Богарне. История этого брака не слишком интересна и во всех подробностях изучена лучшими биографами Жозефины, Обена и Массоном. Это был обычный брак по расчету — денежному со стороны родителей невесты, более путаному со стороны родных жениха. 17-летний виконт увидел свою будущую жену лишь по ее приезде во Францию.

Если считать, что сходство характеров между мужем и женой — благоприятное условие для брака, этот брак должен был бы оказаться счастливым. Александр де Богарне по складу души очень походил на Жозефину. Он был недурной человек, неглупый, незлой, больше всего желавший прожить свой век спокойно, в свое удовольствие, не мешая и другим. Ничто из этого ему не удалось: другим сделал без умысла немало зла, жизнь прожил бурную и погиб в конце концов трагической смертью. Настроен он был либерально, и притом (что не лишено значения) был так настроен еще до революции. Правые историки высмеивали либерализм Александра де Богарне и объясняли его взгляды тем,

* Коннетабль — во Франции с XII в. военный советник короля, с XIV в. главнокомандующий армией — *Прим ред*

что, вследствие недостаточной родовитости, он не сделал придворной карьеры. Могло быть и это — сходные случаи были и в истории русской революции. Думаю, что революционность, проявленная виконтом в пору Конвента, и в самом деле особой искренностью не отличалась. В одном историческом романе одно мрачно настроенное действующее лицо говорит: «Есть честные генералы, есть честные революционеры, но честных генералов-революционеров в природе не существует». Возможны, однако, и исключения. Богарне в пору революции тоже плыл по течению — и приплыл к гильотине.

Надо ли говорить, что Жозефина родилась «с клочком волос на голове, очень напоминавшим корону»; что в детстве, на Мартинике, вещая старуха негритянка предсказала ей вступление на французский престол и, предсказав, поспешно скрылась; что в ту минуту, когда юная Жозефина взошла на корабль, отвозивший ее во Францию, «над большой мачтой корабля взвился яркий сноп света» и т. д. Всякий, кто занимался биографией людей, достигших очень высокого положения, знает, что подобные предсказания, относящиеся к детским годам героя, составляют обязательное и неминуемое бедствие. Большинство этих рассказов исходило от самой Жозефины: она ужасно любила все таинственное.

Брак супругов Богарне оказался несчастным. Родились дети: сын Евгений, дочь Гортензия, люди в истории достаточно известные. Затем произошла катастрофа. Муж «вдруг все узнал». На Мартинике ему «все» рассказали рабы. О Жозефине всю жизнь передавали гадкие сплетни, — но о ком сплетен не ходит? Что именно узнал ее муж, с точностью сказать нельзя, да это и неважно. Как бы то ни было, виконт, сам человек отнюдь не святой жизни, внезапно пришел в ярость и написал жене письмо, составленное в самых грубых выражениях. Супруги расстались, имущественные отношения запутались. Все по-своему распутала приближавшаяся революция. Жену отправила на трон, мужа — на эшафот.

II.

В самом начале революции в Париж прибыла из провинции молоденькая женщина, жизнь которой довольно тесно сплелась с жизнью Жозефины. Теперь о

ней забыли, но в свое время она пользовалась большой известностью и знала всех великих людей мира. В ранней юности, у себя в Алансоне, она занимала положение скромное: была не то модисткой, не то белошвейкой. Звали ее Марией Ленорман. Жить в глуши ей не хотелось. Революция, как все говорили, начинала новую жизнь, но в провинции это было, особенно вначале, мало заметно: богачи оставались богачами, белошвейки — белошвейками. Мадемуазель Ленорман переехала в Париж. Она решила стать ворожеей.

Предсказывала она по картам, по звездам, по линиям руки, на яичном белке, на кофейной гуще, на расплавленном свинце. Предсказывала, за исключением особых случаев, о которых будет речь дальше, весьма неудачно; что ни скажет, то соврет. Но это была очень ловкая женщина. Очутившись в Париже девятнадцати лет от роду, не имея ни денег, ни связей, ничего не зная в политических делах, эта провинциальная девица сразу сообразила, как можно в городе-светоче быстро приобрести и почет, и славу, и особенно деньги (деньги она любила с нежностью). Газеты в один голос твердили, что во Франции началась новая эпоха: «человечество вступило в эру разума», — все объяснено энциклопедистами, теперь остается лишь воплотить разум в жизнь. В первые месяцы революции парижане были от эры разума в восторге. Но эрой разума их кормили каждый день... Госпожа Ленорман поняла: надо открыть в городе-светоче каббалистический кабинет.

Идея была тонкая. Я уверен, что в нынешней Москве, которая, по словам советского писателя, «дышит чистым воздухом материализма», имел бы бешеный успех кабинет черной и белой магии. Пропагандисты не без наивности расценивают только прямое действие своей пропаганды: действия обратного («ну вас к черту, надоели!») они никогда не учитывают. Госпожа Ленорман в самый разгар эры разума объявила, что предсказывает любому человеку будущее по известным ей методам: хиромантическому, картомантическому, лампадомантическому, некромантическому, рабдомантическому и орнитомантическому*, — к ней повалил народ. Не простой народ, — он предска-

* По линиям рук, по картам, по лампаде, по покойникам, с помощью лозы, по полету птиц. — *Прим. ред*

тельницу не интересовал. Кабинет ее все расширялся и несколько раз перекочевывал. Окончательно он обосновался на rue de Tournon (№ 5) и был отделан очень роскошно, — госпожа Ленорман отлично понимала, что «простота нравов» тоже несколько надоела. Реклама у нее была поставлена так, что Грета Гарбо могла бы удавиться от тоски и зависти. На обложке ее книг печатались адреса, по которым книги эти можно было покупать в любом европейском городе, в том числе в Москве и Петербурге: в России Ленорманша в свое время была весьма популярна. Называла она себя по-древнему, «Сибиллой» (т. е. вдохновенной Богом), — и это тоже было тонко рассчитано: на древность мода сохранялась в пору революции очень долго, и если все консьержи стали Брутами, а все лавочники Гракхами, то никак нельзя было обойтись и без Сибилл.

Да, своеобразна психология революционных эпох: у Ленорманши бывали принцесса Ламбаль, Мирабо, Камиль Демулен, Дантон, Гош, Барер, Тальен. Ее собственное свидетельство об их посещениях, конечно, ничего не стоило бы. Однако о некоторых посетителях ее кабинета мы знаем и из других, более надежных источников. Весной 1794 года к мадемуазель Ленорман, по ее словам, зашел с Сен-Жюстом и сам Робеспьер. Разумеется, ему выпала девятка пик, и он смертельно побледнел. «Чудовище задрожало», — рассказывала впоследствии Ленорманша. Может быть, она Робеспьера никогда в глаза не видела: других свидетельств о его визите, насколько мне известно, нет. Позволительно, кроме того, предполагать, что особенно влиятельным чудовищам Сибилла не так уж откровенно предсказывала гибель. Однако кому-то из высокопоставленных лиц она, очевидно, предсказанием не угодила: неожиданно Ленорманша была арестована и посажена в тюрьму, пользовавшуюся особенно зловещей славой. Сама она приписывала свой арест именно пиковой девятке Робеспьера.

Какие предсказания мадемуазель Ленорман тогда делала себе самой, мы не знаем. Но основания для тревоги у нее были: на эшафот в 1794 году можно было попасть за что угодно; можно было попасть и за рабдомантию с лампадомантией. Вышло, однако, не горе, а радость. Благодаря аресту Ленорманша познакомилась с Жозефиной.

III.

Виконт Александр де Богарне был избран в Генеральные Штаты депутатом от дворянства округа Блуа. Как известно, избиратели давали депутатам наказы, так называемые cahiers. Наказ Богарне писал местный помещик, знаменитый Лавуазье. Он, собственно, дворянином не был, но для него, очевидно, сделали исключение. Наказ Лавуазье составил просвещенный, — он и теперь, с некоторыми, вполне естественными изменениями, мог бы пригодиться на выборах французскому или английскому политическому деятелю. С этим наказом Богарне прибыл в Версаль. По-видимому, он недурно говорил или, точнее, выразительно читал речи по написанному тексту (как делали большинство ораторов Французской революции). У него была репутация храброго офицера. Помогал ему вначале, как водится, и титул, впоследствии его погубивший. Богарне имел успех среди людей, которые начинали революцию, еще не сознавая этого ясно.

Несколько депутатов из Бретани — в большинстве священники — видимо, потерявшись немного в новой обстановке королевской резиденции, основали бретонское землячество. Помещалось оно где-то на Avenue de Saint-Cloud, а где именно, в точности неизвестно. Но помещение было хорошее, к бретонцам стали захаживать другие депутаты. Разговаривали о политике, закусывали, обменивались впечатлениями: хорошо живет король. В октябре Генеральные Штаты, уже ставшие Национальным Собранием, перебрались в Париж. За ними туда перебралось и землячество «Бретонский Клуб». Помещение сначала сняли в неудобном месте, на Place de la Victoire. Но как-то оказавшись, что приор якобинского монастыря, очевидно сочувствуя землячеству, готов предоставить для его собраний залу монастырской библиотеки. Место было центральное, за помещение приор, вероятно, денег не требовал. Землячество немедленно перебралось и на радостях переименовало название: стало называться «Общество друзей конституции, заседающее в якобинском монастыре в Париже». Кто-то в шутку прозвал членов клуба якобинцами. Шутка была не Бог знает какая, но название привилось. Получило популярность и учреждение. Первоначальных его хозяев-учредителей очень скоро вытеснили другие люди, и из мирного бретонс-

кого землячества постепенно создавалась одна из самых грозных революционных организаций истории.

Богарне стал членом якобинского клуба еще в 1789 году. Имел он успех и здесь. Массон называет его болтуном. Однако в собранной Оларом шеститомной коллекции материалов, относящихся к якобинскому обществу, есть лишь весьма немного записей о выступлениях Богарне. В клубе председатель избирался сроком на месяц. После кончины Мирабо Богарне был избран председателем; на этом посту он произнес, кажется, только одну речь: принимая эльзасских комиссаров, говорил им, что «факел фанатизма должен быть заменен священным огнем любви к отечеству». Так тогда, впрочем, говорили все. В Национальном Собрании Богарне выступал чаще. Речи его — по нынешней терминологии — левели со дня на день, — в этом он тоже не составлял исключения. Левела даже его фамилия: вначале он именовался «виконт Александр де Богарне», потом «де Богарне» просто, потом «гражданин Богарне», еще позднее «республиканец Богарне». Жена, с которой он фактически находился в разводе и не встречался или встречался очень редко, далеко его перешеголяла: в одном своем письме, правда, писанном по начальству, будущая императрица называет себя «санкюлоткой-монтаньяркой»; а начинается это письмо с очень сложной формулы: «Salut, estime, confiance, fraternité»^{*}. Так не писал и сам Робеспьер. «Confiance» Жозефина, очевидно, добавила от себя: маслом каши не испортишь.

После закрытия Учредительного Собрания, не имея права быть переизбранным, Богарне отправился на фронт.

Для кадрового офицера революция есть прежде всего беспорядок, крах субординаций, массовое нарушение дисциплины. Как бы либерально он ни был настроен, повседневный быт революции ему нравится не может, как веровавшему с детства человеку, даже утратившему впоследствии веру, не может нравиться оскорбление религиозных обрядов. Если в стране какая-либо организация ведет борьбу с разлагающим началом, офицер может к ней примкнуть. Если же ее нет или если примкнуть к ней почему-либо невозможно, то намечаются три почти неизменных варианта.

^{*} «Привет, уважение, доверие, братство» (*фр*).

Офицер себе говорит, что ему нет дела до того, какие люди правят родиной и какими принципами они руководятся: служба остается службой, надо служить по-прежнему, спасая от прежнего то, что еще спасти можно. Это в истории всех революций наиболее частый случай. Другой вариант: офицер остается на службе у революционного начальства для того, чтобы его перехитрить и в надлежащий удобный момент свернуть ему шею. Сколько кадровых офицеров ушло в Красную Армию, с тем чтобы перехитрить Троцкого! Обычно из этого ничего не выходит и потому, что революционное начальство, имея надлежащую подготовку, почти всегда хитрее тех, кто хочет его обмануть, и потому, что козыри тут почти всегда в руках у революционного начальства. Дело чаще всего кончается либо казнью, либо постепенным и почти незаметным превращением второго варианта в первый. Есть, наконец, третий вариант: под практическую необходимость, под карьерные соображения, под честолюбивые замыслы в спешном порядке подгоняется спешно воспринятая идея. Офицер, воспитывавшийся в военно-учебных заведениях (иногда в привилегированных), вчера командовавший полком (иногда аристократическим), вдруг оказывается «революционным фанатиком»: он, скажем, отлично, ни о какой революции не думая, командовал *Royal-Chevaul-légers* или королевскими мушкетерами, но в нем таилась душа Юния Брута. Этому варианту, в совершенное отличие от предыдущих, почти всегда присущ элемент комический.

Французская революция, так же как российская, знает множество примеров всех трех вариантов. Александр де Богарне принадлежит к третьему разряду: в виконте, как выяснилось, жил дух революционного фанатика. Карьера его вначале шла превосходно. Его назначили главнокомандующим рейнской армией. По словесной революционности он мог затмить кого угодно из членов Конвента. Мне попадались в Национальной библиотеке разные его воззвания и плакаты. Они и теперь, через полтора столетия, вызывают невольную улыбку. Необычайный демократизм проявлял он и в частной жизни: сын его Евгений был отдан в учение к столяру, дочь Гортензия — к портнихе. Незадолго до своей кончины он писал, что постарается «поселить в

* Королевская легкая кавалерия (фр.)

душе своих детей ненависть к королям». Это не вполне ему удалось: Евгений Богарне, будущий вице-король Италии, женился на дочери баварского короля, сын Евгения — на дочери императора Николая I, Гортензия же стала голландской королевой и была матерью Наполеона III.

Успехи Богарне продолжались недолго. Титул перестал ему помогать. Титул стал даже его топить. Возможно, что лучшие из вновь выдвинувшихся революционных генералов превосходили его и военными талантами. Но, во всяком случае, они по происхождению были с точки зрения властей много надежнее. При всей независимости своего характера, Гош, сын конюха, был для Коммуны «глубоко свой парень» — и все-таки угодил в тюрьму (почти одновременно с Богарне). Как же надо было стараться бывшему виконту! Принц Евгений в первом томе своих воспоминаний говорит об отце как об умеренном конституционалисте. Это неверно. Богарне по необходимости старался возможно ярче засвидетельствовать свою революционность. Он требовал у якобинцев казни офицеров, подписавших Майнцскую капитуляцию, и «отсылки их голов прусскому королю». Правда, написал он это сгоряча, — притом для спасения собственной жизни. Спасти ему все же не удалось. В августе 1793 года он должен был — не совсем добровольно — подать в отставку, причем ему предписали немедленно покинуть армию. Несколько позднее Богарне был арестован и посажен в Кармскую тюрьму. Еще через месяц, 19 апреля 1794 года, туда же посадили, по доносу, его бывшую жену.

IV.

Монастырь кармелитского ордена, как известно, одна из главных исторических достопримечательностей Парижа. В тюрьму он был превращен в 1790 году и оставался тюрьмой лет шесть. Здесь происходили знаменитые сентябрьские убийства: 2 сентября 1792 года в здании и в саду монастыря зарезали 115 заключенных. Когда-то, до войны, я, как все, осматривал это здание с трепетом. Теперь ни цифрами, ни обстановкой сентябрьских убийств нас не удивишь. В Петербурге, в Москве, в Киеве будут со временем показывать и

не то. На иностранных же туристов здание это сильно действует и сейчас: автокары Кука продолжают останавливаться на углу улиц Азас и Вожирар. Замирающих американок ведут в «Камеру сабель»: трое из сентябрьских убийц, отдыхая от резни, поставили к стене сабли, — их кровавый след тут и отпечатался. Показывают в монастыре и старую надпись, сделанную на стене карандашом: «О, свобода, когда перестанешь ты быть пустым словом? Вот уже семнадцать дней как мы арестованы: говорят, нас завтра выпустят: но, быть может, это пустая надежда?..» Следуют три подписи: Citoyenne Tallien, Joséphine veuve de Beauharnais, d'Aiguillon.

Можно усомниться в подлинности кровавого отпечатка сабель: уже слишком много разных учреждений побывало тут после сентябрьских убийств, — в здании нынешнего Католического института сменяли друг друга склад картин, ресторан, винная торговля, столярная мастерская. Что до надписи, то ее некоторые специалисты считают как-то наполовину подлинной, несмотря на заключающиеся в ней явные несообразности: госпожа Тальен в этой тюрьме не сидела и носила тогда другую фамилию; Жозефина через семнадцать дней после ареста еще не была вдовой, да и арестовали их не в один день. Считается возможным, что кто-то позднее что-то приписал здесь от себя. Не очень, однако, правдоподобен и лирически-философский тон всей надписи. Достоверно лишь то, что Жозефина сидела в этой камере с герцогиней д'Эгильон. В другой камере находился ее несчастный муж.

О настроении в тюрьмах Французской революции написано много. Из большинства воспоминаний надо заключить, что преобладало настроение фаталистическое, сильно окрашенное скептицизмом. Тон был задан событиями минувшего пятилетия: одни готовили революцию, другие непосредственно в ней участвовали, третьи радостно ее приветствовали*. Выводов никто не делал, да и какие у большинства могли быть выводы? Верованиям 1789 года гильотина была вполне чужда. Был выработан и кое-как поддерживался тон старательно-веселой усмешки: вот, мол, как забавно все вышло! Такой тон многим удавался и в Консьержери —

* 27 июня 1789 года один из деятелей Генеральных Штатов писал: «Революция кончена! Она не стояла ни единой капли крови».

эта последняя тюрьма и называлась «передней эшафота».

К сожалению, мы очень мало знаем о настроении супругов Богарне, которых после долгой разлуки, после многих лет злобы, ненависти, взаимных обвинений так трагически свела жизнь в революционной тюрьме. По отдельным, случайным и не очень достоверным данным можно думать, что встретились они как добрые друзья. О старом не вспоминали, — да и глупо было бы тут вспоминать. Поговорили о детях: как им, бедным, помочь и что с ними будет? (Детей приводили в тюрьму на свидание с родителями.) Поговорили, вероятно, и о собственной участи: должно быть, гильотины не миновать, а вдруг, кто знает, может, еще и поживем? Но ничего трогательного между супругами не произошло, — верно, и они поддались общему скептическому, старательно-веселому тону тюрьмы. По крайней мере, до нас дошли сведения, что у Александра Богарне был в *Сарнес* роман с госпожой де Кюстин, а у Жозефины — с генералом Гошем.

Четвертого термидора бывшего главнокомандующего рейнской армией перевели в Консьержери. Обвинили его в том, что, в числе других 49 заключенных, он устроил в тюрьме заговор! Один из его товарищей по заключению, чудом спасшийся якобинец Дюфурни, прямо говорил, что начальство решило при помощи «заговора» разгрузить тюрьму. Всех казнить в один день было невозможно, заключенных разбили на партии, — одним словом, знакомая нам картина. В этой чертовой лотерее Александр Богарне попал в партию, отправленную на эшафот 5 термидора. Если бы как-либо оттянул дело на четыре дня, он, без всякого сомнения, спасся бы. Дни Робеспьера уже были сочтены. Виконт встретил смерть очень мужественно; это был храбрый человек. Перед смертью написал Жозефине дошедшее до нас письмо. Простился с ней без особой, впрочем, нежности, попросил поцеловать детей и выразил сожаление, что не может дальше служить родине.

V.

Роман Жозефины с Гошем сомнений вызывать не может. Камеры их находились рядом. Кто хоть раз видел эту тюрьму, и в особенности ужасную камеру

Гоша — темный, душный погреб, стоящий венецианских «пиомби»*, — тот с трудом себе представит, как тут при вечном пребывании на людях, в невероятной скученности и грязи могли происходить романы. Однако об увлечении Жозефины весело говорила вся тюрьма. Баррас во втором томе своих отвратительных воспоминаний рассказывает об этом романе жены Наполеона с весьма грязными, циничными подробностями, — якобы со слов Гоша. Но Баррас был хам в самом настоящем смысле слова, да и цель его тут достаточно ясна. Очень трудно допустить, что Гош, человек весьма порядочный, действительно рассказывал ему все это.

Как и в СССР, заключенным в пору Французской революции доставлялись в тюрьму газеты. Радости они приносили немного: каждый день печатались списки казненных людей. Однажды Жозефина развернула газету — и лишилась чувств, прочитав о казни своего мужа.

Увеличивалось ли ее отчаяние, или умерялось оттого, что она и сама могла ждать гильотины в любую минуту, — этого мы не знаем. Ленорманша (вероятно, со слов императрицы) говорила, что Жозефина стала готовиться к смерти, остригла даже волосы, с тем чтобы они были переданы ее детям. Дошел до нас и еще рассказ о ней: упала духом и плакала целыми днями. Но, по другим сведениям, Жозефина, напротив, утешала жившую с ней в одной камере герцогиню д'Эгильон. «Не только уцелеем, но, увидите, я еще буду королевой, мне так на Мартинике предсказала старая негритянка», — говорила она. «В таком случае, советую вам теперь же приступить к составлению своего двора», — мрачно ответила герцогиня. В Кармской тюрьме перед 9 термидора действительно было нетрудно подобрать двор: герцогов, князей, графов там было немало, были даже принцы крови. «Отлично: назначаю вас своей первой фрейлиной», — сказала шутливо будущая императрица. Все это в 1805 году, после коронации Жозефины, вызывало во французском обществе «дрожь мистического волнения» (герцогиня д'Эгильон и в самом деле оказалась фрейлиной, — правда, не при Жозефине).

* Средневековая тюрьма со свинцовой крышей. — *Прим. ред.*

Дрожь мистического волнения с первых же дней после ареста, несомненно, испытывала и сама Жозефина, — это довольно естественно. Каким-то образом в Карме стало известно, что в другой революционной тюрьме, в Petite Force, сидит известная Сибилла, мадемуазель Ленорман. Заключенным пришло в голову: нельзя ли с ней снестись? Как это было сделано, не могу сказать. Ленорманша рассказывает, что письмо было передано ей одной дамой. В шестом томе «Общества Якобинцев» Олара есть случайное указание, что в Кармской тюрьме был вначале очень добрый консьерж; потом он в чем-то провинился и был заменен человеком суровым. Не через доброго ли консьержа, не при его ли участии было послано письмо в Force? Не из-за этого ли добрый консьерж был уволен? Высказываю лишь догадку. Во всяком случае, передач было несколько. Жозефина обратилась к гадалке с просьбой заочно предсказать будущее ей и ее мужу (Александр Богарне еще был тогда жив).

В тюрьме у Ленорманши не было ни карт, ни расплавленного свинца, ни даже, надо думать, кофейной гущи. Гадалка обещала составить гороскоп. В одной из своих книг она сообщает, что гороскопы всегда составляла при помощи математических выкладок, — математика, конечно, могла и в тюрьме быть к услугам отставной белошвейки. Ей понадобились основные данные: по ее требованию Жозефина сообщила свой возраст, месяц рождения, первые буквы имени и места рождения, сообщила также, какое животное и какой цветок любит больше других, какое животное и какой цветок любит меньше других. На основании этих данных, при помощи высшей математики, Ленорманша составила гороскоп, который и был отправлен неизвестной заказчице в Кармскую тюрьму.

До нас, со слов самой ворожеи, дошло несколько версий этого гороскопа. Редакция его все менялась, по мере того как шли во Франции великие исторические события. Окончательную форму он, естественно, принял после смерти Жозефины. Ленорманша тогда объявила, что летом 1794 года предсказала неизвестной заказчице следующее: «Ваш муж будет одной из жертв революции. Через два года после его смерти вы выйдете замуж за молодого офицера, которому звезда его сулит великое будущее. Вам суждено двенадцать лет необычайного счастья и высокого положения. Потом

вы лишитесь мишуры величия, но сохраните всеобщее уважение». Предсказание было, по совершенной точности, гениальное, — его единственный недостаток в том, что в такой редакции оно впервые было опубликовано после кончины разведенной императрицы. По-видимому, подлинная версия 1794 года была гораздо менее определенной: «неизвестной заказчице» предсказывалось, что она испытает большое горе, но уцелеет. Это было для гороскопа не так плохо. Все же надо принять во внимание, что предсказать большое горе женщине, сидящей с мужем в политической тюрьме в пору небывалого террора, можно было без особенного риска; а если бы Жозефина не «уцелела», то и спрашивать с гадалки было бы некому. Ленорманша составила весьма благоразумный гороскоп. Не сомневаюсь к тому же, что она так или иначе расспросила передавшего заказ человека: для кого составляется гороскоп? Это должно было и еще облегчить задачу ворожей: у виконта Богарне, согласно прецедентам, было в июле 1794 года девять шансов из десяти попасть на эшафот.

Девятого термидора заключенные в Кармской тюрьме вдруг услышали набат. Почти одновременно какой-то добрый человек подбросил им с воли записку, потрясшую всех этих обреченных людей: «Робеспьер гибнет, час вашего освобождения близок»... Всю ночь никто из заключенных, по принятому выражению, не смыкал глаз. Час освобождения действительно настал, но явился в тюрьму очень странный освободитель: Лежандр, тот самый, который изобрел «топор разума». Этот человек после казни Людовика XVI требовал, чтобы тело короля было разрублено на 83 части и разослано по вновь введенным во Франции 83 департаментам. Фрейд сказал бы, что тут проявилось начало подсознательное: Лежандр в молодости был мясником.

VI.

Трагикомедия Лежандра и многих деятелей 9 термидора заключалась в том, что они совершенно не понимали смысла произведенного ими переворота. Некоторые из них были искренно убеждены, что свергли Робеспьера, так сказать, слева: они считали его слиш-

ком умеренным человеком. Были в их числе и люди, еще недавно на Робеспьера молившиеся. Так теперь в Москве иные сановники молятся на Сталина, — не знаю, вполне ли уверен в их любви советский диктатор, человек, весьма неглупый и хорошо знающий свою шайку. Молился в свое время на Робеспьера и Лежандр, немало способствовавший 9 термидора отправлению «неподкупного» на эшафот (он же закрыл якобинский клуб). Надо ли было Лежандру загладить недавние молитвы, шевельнулось ли что-то у него в душе, — он, кажется, первый бросился в тюрьмы освобождать заключенных. «Его встретили, как ангела»...

Роль недоразумения в истории Французской революции и вообще чрезвычайно велика, — она не оценена историками: нам это виднее в свете событий, которые происходят в СССР. Профессор Олар выпустил огромное исследование, посвященное «La Réaction Thermidorienne». Но в другой своей работе он честно признался, что употреблял это выражение неохотно: по сравнению с царством Робеспьера, термидор означал не реакцию, а прогресс. И действительно, люди, значительная часть которых собиралась тотчас после свержения диктатора приступить к казням «по-настоящему», на самом деле положили конец террору. Когда волей судеб выяснилось, что переворот был произведен во имя гуманности, они в большинстве с полной готовностью приняли и такое толкование: иначе их, во имя гуманности, непременно отправили бы на эшафот.

В ту приблизительно пору во Франции было вновь сделано великое открытие: с одобрения начальства было признано, что жизнь прекрасна, что люди живут только раз и что жизнью необходимо пользоваться. В народе и в обществе стали говорить, что не мешает одеваться прилично; что вовсе не обязательно ходить грязным и небритым; что нет греха даже в пудре; что ничего плохого нет в танцах, — прежде танцевали «си-деваны»*, а теперь и мы потанцуем. Один из главных балов был устроен несколько позднее в Кармской тюрьме, в той самой, где совершались сентябрьские убийства и где еще так недавно сидели супруги Богарне.

«Вождя» во Франции после 9 термидора не ока-

* Си-деваны — бывшие (*фр.* les ci-devant). — *Прим. ред.*

залось. Прежде был всеми признанный, великий и гениальный вождь, неподкупный Робеспьер. И при нем, как при Сталине Ленин, не менее (или разве только чуточку менее) ярким, но загробным (и потому, в смысле конкуренции, безопасным) светом несравненного величия светился Марат. Теперь такого вождя не было. Представим себе, что после смерти Ленина в СССР не оказалось бы ни Сталина, ни Троцкого, а были бы только Зиновьевы с Рудзутками. Может быть (и даже наверное), удалось бы сделать великим, гениальным, несравненным и Рудзутака. Но это было бы все-таки труднее. Таково было положение во Франции после Термидора. Робко пробовал выставить свою кандидатуру в несравненные Тальен, — не вышло. Пробовал Баррас, — как будто начало выходить, но не хватило времени: у меня определенное впечатление, что Баррас мог стать несравненным. Ему просто не повезло.

Говорят, что в пору революции всегда растет «сознательность народа». Уточним смысл понятий. Люди того времени, за редкими исключениями, проявляли действительно чрезвычайную сознательность: каждый из них вполне сознательно стремился к собственной выгоде. Не надо преувеличивать и степень их лживости: преуспевшие или надеявшиеся преуспеть были и в самом деле очень довольны; другие спасали, что можно было спасти, — порою свободу или жизнь, — да и не очень раздумывали над своими словами и поступками при отсутствии свободной критики, при полной моральной безответственности, при всеобщей круговой поруке из сомнительных или просто низких поступков и слов. Мюрат, будущий неаполитанский король, только наполовину мошенничал, когда просил о разрешении ему называться Маратом. Будущая императрица Жозефина только на три четверти врал, именуя себя «санкюлоткой-монтаньяркой». В революционный Комитет III года, который правил тогда Францией, входили, как известно, один будущий князь, тринадцать будущих графов и пять будущих баронов. Не все они были жуликами: многие из них довольно искренно восторгались в ту пору сознательностью революционного пахаря. И маленьким подозрительным пятнышком на повальной сознательности населения французской столицы был огромный, все росший, все расширявшийся успех Ленорманши.

VII.

Ее выпустили из тюрьмы почти одновременно с Жозефиной. Разумеется, гениальная рекламистка таких событий не упустила. В 1794 году существовал своеобразный высший «шик»: «сидел в тюрьме, с минуты на минуту ждал казни, да вот чудом спасло девятое термидора», — на чудесном спасении с герцогами в день девятого термидора сделал карьеру не один мошенник. Вдобавок мадемуазель Ленорман все предсказала: как же, она самому Робеспьеру предсказала смерть по пиковой девятке! Ведь за это ее посадили в тюрьму и должны были казнить по личному приказу чудовища, но она нисколько не волновалась, так как предсказала и девятое термидора! Именно в ту пору Ленорманша стала по-настоящему загребать деньги (она оставила своему племяннику пятьсот тысяч франков, что, по покупательной способности, соответствует нескольким миллионам франков нашего времени). Кажется, тогда же она превратилась и в писательницу или, по ее выражению, «стала оставлять астролябию Урании ради пера Клио».

VIII.

Нелегкая жизнь ждала Жозефину после выхода ее из Кармской тюрьмы. Вероятно, в первое время ей было не до дел: она была совершенно измучена. Но нужно было жить, нужно было устроить жизнь детей. Состояние ее казенного мужа в пору террора было объявлено конфискованным. Черта интересная и характерная. Властям было отлично известно, что генерал Богарне погиб безвинно; тех, кто отправил его на эшафот, теперь все громили и проклинали. Казалось бы, вопрос разрешался просто: следовало немедленно вернуть состояние вдове и детям генерала. Но революция отменила все, кроме канцелярий и канцелярской волокиты: это казнить человека можно было в двадцать четыре часа; отмена же конфискации его имущества могла затянуться и на годы. Какая-то бумажка, написанная каким-то писарем по приказу какого-то секретаря, сохраняла свою силу.

Под секвестром находилась и квартира самой Жозефины. С величайшим трудом, при поддержке влиятельных людей, ей удалось добиться не снятия секвестра, но разрешения взять на собственной квартире самые необходимые из собственных вещей. Платьев, белья у нее было в ту пору немного. Впоследствии Жозефина вполне себя за это вознаградила: за шесть лет своего царствования она на себя истратила — почти исключительно на вещи и на туалеты — около 25 миллионов франков. Наполеон только руками разводил, платя по счетам. Но до царствования было еще очень далеко. В первое время после тюрьмы Жозефина жила почти исключительно в долг: какие-то оптимисты снабжали ее деньгами в надежде на то, что, в конце концов, снимут же конфискацию с имущества человека, которого все признавали ни в чем не повинной жертвой всеми проклинаемого террора. Помогали Жозефине и родные. Не надо думать, что она жила в нищете. Если бы Жозефина была настоящей француженкой, она, верно, поселилась бы в квартире из двух комнат. Но у этой беспомощной креолки были черты русской или польской барыни. Не имея за душой ни гроша, на полученные в долг деньги она «необыкновенно дешево» сняла на улице Chantereine* барский особняк с садом, со службами, с конюшней, обзавелась лошадьми (и даже — о далекие времена! — коровой), наняла лакея, повара, кучера, горничных.

Еще сложнее были ее интимные дела. Из тюрьмы она вышла почти официальной любовницей генерала Гоша. Связь их продолжалась, однако, недолго: молодой генерал был влюблен в другую женщину. К тому же он был теперь в милости, получил назначение на высокий командный пост и должен был уехать в армию. По-видимому, расстались они друзьями. По крайней мере, Гош взял с собой на фронт 13-летнего сына Жозефины, — пусть приучается с ранних лет к военному делу.

Вероятно, именно в эту пору, после отъезда Гоша, Жозефина вспомнила о мадемуазель Ленорман. Достаточно ясно, что если бы и в самом деле Сибилла послала ей в свое время в тюрьму гороскоп, с молодым офицером, призванным к великому будущему, и с двенадцатью годами необычайного счастья, то у Жо-

* Нынешняя rue de la Victoire. Дом этот давно снесен.

зефины еще не было оснований восторгаться ее пророческим даром: никакого молодого офицера она не знала, и на необычайное счастье было пока непохоже. Но, вероятно, у Жозефины оставалось о гороскопе неопределенное, отчасти и радостное воспоминание: горе уже прошло, а что-то эта Сибилла тогда предсказывала и приятное, — надо бы погадать опять.

К одной из книг, изданных в начале прошлого века Ленорманшей, приложена гравюра, изображающая ее кабинет. На столе лежат карты, стоят какие-то таинственные сосуды. На шкафу стоит глобус. Хозяйка сидит за столом, у ее ног лежит собачка. Вся картина дышит спокойствием, мудростью, величием науки. В этом кабинете как-то и появилась вдова Богарне в сопровождении одной приятельницы. Сибилла встретила их гробовыми стихами Делиля: «*Ne parlez plus d'amis, de devoirs, de liens, Plus d'amis, de parents, ni de concitoyens. Le fils épouvanté craint l'abord de son père; Le frère se détourne à l'aspect de son frère*»^{*}.

Поэт Делиль был милейший человек. Мармонтель написал о нем двустишие: «*L'abbé Delille, avec un air enfant, Sera toujours du parti triomphant*»^{**}. Но это было совершенно несправедливо. У Делиля действительно была маленькая слабость: когда он видел очень влиятельное лицо, он испытывал почти непреодолимую потребность написать в честь лица оду. А так как влиятельные лица в ту пору часто менялись, то и собрание од Делиля можно признать пестрым: есть у него стишки в честь монархов и есть стишки в честь революционеров, он одинаково любил Марию Антуанетту и Робеспьера, Шометта и папу Пия VI. Однако писал он, в большинстве случаев, совершенно бескорыстно, — вот как и у нас иные поэты совершенно бескорыстно восхваляют Сталина: ни гроша он им за это не дает и не даст. Такой был у Делиля характер. Был он модным поэтом до 9 термидора и остался им после 9 термидора, — кто же стал бы вспоминать невинные грехи столь милого человека? Собственно, Ленорманша процитировала не то, что нужно: стишки были о зле и ужасах жизни, а теперь жизнь было приказано любить. Но Сибилла сразу дала официальный тон

^{*} «Не говорите больше о друзьях, о долге, о связях. Нет больше друзей, родителей, сограждан Пугливый сын страшится отца Брат избегает брата» (фр.).

^{**} «Аббат Делиль с лицом ребенка всегда на стороне победителей» (фр.).

своим отношениям с Жозефиной: тон верной трагической дружбы. На фоне изображенного в стихах коварства человеческого рода наметилась беззаветная, бескорыстная преданность Сибиллы.

И со стихами Делиля, и с глобусом, и с «астролябией Урании», и с «пером Клио» Ленорманша была, в сущности, простая баба. Но в глупости ее обвинять никак нельзя. А по образованию и сама Жозефина не так уж далеко от нее ушла. Между ними завязалась дружба. С той поры Сибилла принимала участие чуть ли не во всех делах Жозефины, в том числе и в интимных (или даже особенно — в интимных). К сожалению, о главном она рассказать в своих книгах не посмела: в пору империи это могло бы чрезвычайно не понравиться Наполеону, а в пору Реставрации могло не понравиться Бурбонам. И нам трудно сказать, какая была точная роль Ленорманши в сложных и путаных делах, происходивших с Жозефиной в 1795—1796 годах.

После отъезда Гоша вдова генерала Богарне сошлась с всемогущим в ту пору Баррасом, который в своих воспоминаниях с необыкновенно рыцарским видом изобразил их связь. По-видимому, этот герой Термидора очень ей нравился. Она нравилась ему меньше. У Барраса всегда было множество любовниц, и ревность особенно его не мучила. Главной фавориткой титулованного революционера была жена его соратника по Термидору, знаменитая красавица госпожа Тальен. Когда она ему надоела, он ее уступил одному из королей тогдашнего Парижа, финансисту Уврару, который на поставках для армий и на скупке бумаги составил себе огромное состояние. Можно предполагать, что Баррас желал спокойно, без сцен и без расхождений отделаться и от Жозефины. Это было труднее: вдова Богарне была не так уж молода, а по красоте ее с госпожой Тальен никто и не сравнивал. Нам трудно отделаться от впечатления, что Баррас старательно «искал дурака».

«Дурак» нашелся.

IX.

13 вандемира в 4 с половиной часа дня в Париже загремела канонада: как говорит один французский писатель, «это входил в историю Бонапарт». Баррас

поручил 26-летнему офицеру подавить восстание роялистов, что и было сделано. Бонапарта в ту пору действительно не знал никто. После вандемира французские эмигранты с недоумением спрашивали друг друга: что за Буонапарте? Кто такой? «Террорист-корсиканец, правая рука Барраса», — писал осведомленный эмигрант Малле дю Пан. Бонапарт, вероятно, предпочел бы войти в историю иначе: он не выносил лавров гражданской войны. Но его карьера была сделана: Баррас назначил его командующим армией, расположенной во Франции.

Власти предписали населению Парижа сдать оружие. Полиция стала обходить дома, зашла и к Жозефине. Оружия у нее было немного: шпага ее казненного мужа, составлявшая собственность Евгения. Мальчик взмолился: нельзя ли оставить ему шпагу отца? Полицейский комиссар ответил, что для этого необходимо разрешение генерала Буонапарте. Евгений побежал к генералу. Разумеется, тот немедленно выдал разрешение. Жозефина сочла нужным заехать к Буонапарте и лично его поблагодарить. Генерал отдал визит — и стал часто бывать в особняке на улице Chantierine: он влюбился в Жозефину. Так, по крайней мере, со слов самого Наполеона, рассказывают (с легкими вариантами) историки. Баррас все это начисто отрицал: не было ни полицейского комиссара, ни шпаги, ни визита, ни влюбленности. Было, по его словам, холодное, заранее обдуманное намерение ни перед чем не останавливающегося честолюбца: посредством женитьбы на его, всемогущего Барраса, любовнице войти к нему в милость!

Баррасу ни в чем верить нельзя. Вся написанная им картина (выпускаю ее циничные подробности) лжива и неправдоподобна. Заметим, однако, следующее. Многие из современников, знавших генерала Бонапарта, совершенно не верили в его влюбленность в Жозефину. Одни думали, что он по ее образу жизни считал вдову виконта Богарне очень богатой женщиной. По мнению других, его соблазнила ее сомнительная знатность. Но в 1833 году были опубликованы письма Наполеона к Жозефине, и с той поры все подозрения рассеялись: письма эти написаны со страстью необычайной, их иначе нельзя назвать, как изливаниями человека, влюбленного без памяти. «Тысяча поцелуев, столь же пламенных, как мое сердце, столь же чистых, как ты!» —

вот стиль писем Наполеона к Жозефине. Вопрос был признан разрешенным совершенно.

Совершенно ли? Теперь я не ответил бы утвердительно с полной уверенностью. В 1935 году появились в печати письма Наполеона к его второй жене Марии Луизе, пролежавшие сто лет в ящике у ее потомков, князей Монте-Нуово. Не может быть сомнения в том, что второй брак императора был продиктован исключительно расчетом: Наполеон вдобавок женился заглазно, *par procuration*. И с некоторым изумлением убедились мы, что письма его к Марии Луизе, которой он отроду не видел, тоже дышат страстью! Правда, стиль их несколько иной: теперь пишет не молодой, никому не известный офицер, а пожилой, правящий миром император. Но стиль сущности дела не меняет, и письма к Жозефине должны потерять характер решающего аргумента. Психологическая сторона первой женитьбы Наполеона была менее груба, чем уверял Баррас. Но она, быть может, и не так возвышенна, как сто лет казалось биографам после выхода в свет издания 1833 года.

Некоторые сомнения были и у самой Жозефины. В одном из первых писем к ней Бонапарт пишет: «Я покинул вас с тяжелым чувством... Мне казалось, что уважение к моему характеру должно было отдалить от вас ту мысль, которая вчера вечером вас волновала... Так вы думали, что я люблю вас не ради вас!!! Ради кого же?.. Как столь низменное чувство могло возникнуть в столь чистой душе? Я все еще изумлен... В чем же твоя странная власть, несравненная Жозефина?» и т.д.

По-видимому, Жозефина имела в виду свое «богатство». К этому времени благодаря протекции Барраса и Тальена ее дела и в самом деле стали много лучше. Как водится во Франции, у нее появился свой нотариус, некий Рагидо, и, тоже как водится, нотариус посвящался в интимные дела, поскольку они могли повлечь за собой брак. Барон Менневаль в своих воспоминаниях рассказывает, что нотариус слышать не хотел о браке своей клиентки с каким-то экзотическим офицером Наполионе де Бюонапарте. «Зачем вам за него выходить? — убежденно доказывал он Жозефине. — У вас 25 тысяч годового дохода, вы виконтесса, а у него ни гроша, и положения никакого, и он моложе вас, да еще убьют его в первом же сражении!..» Это было

совершенно справедливо, и Жозефина явно колебалась. Впоследствии, после коронации, Наполеон будто бы спрашивал нотариуса Рагидо, все ли он еще сердит-ся. Но, может быть, и не спрашивал, — у него были и более важные дела.

Х.

Влюблен ли пушкинский Германн в Лизавету Ивановну? Недавно критик Дерман указал на ошибку известнейших пушкинистов: Гершензон и Лернер неоднократно упоминают о страстной любви Германна к Лизе; между тем из пушкинского текста, напротив, следует, что он нисколько в нее влюблен не был.

Думаю, это все-таки не совсем ясно, да и ясно быть не должно (Лернер и Гершензон, конечно, ошиблись в своем положительном утверждении). Германн смотрит на окна дома графини. «В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Германн увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь». Понимай как знаешь: быть может, у Германна лишь явилась мысль: вот как можно проникнуть в дом старухи и узнать тайну трех карт; а может быть, он заодно и влюбился, — ведь и слова нарочно взяты нежные: «головка», «личико». Дальше: «Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, — все это была не любовь! Деньги! — вот чего алкала его душа!» Опять понимай как знаешь: так толкует рассказ Германна Лиза; но значит ли это, что она толкует вполне правильно? Германн ей сказал, что ему были нужны три карты. Но сказал ли он, что не любит ее? Пушкин как бы нарочно затемняет дело. Оно и естественно: все здесь в перспективе, и важен один первый план. Герой удивительного пушкинского рассказа — мономан, поглощенный своей навязчивой идеей. Быть может, душа Германна алкала и не денег, — для чего они ему сами по себе? Как и любовь (или отсутствие любви), деньги на втором, на третьем плане. Это несущественно. Не так важна и смерть старухи. Первый план иной: тайна трех карт, ее отражение в мозгу мономана. И упорно, настойчиво (казалось бы, зачем?) подчеркивает Пушкин внешнее

сходство своего офицера с Наполеоном. «Этот Германн, — продолжал Томский, — лицо истинно романтическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля»... «Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну»...

Пушкин, много читавший о Наполеоне, не знал воспоминаний Барраса. Роман Германна не навеян воспоминанием о романе Бонапарта. Но, быть может, в самом замысле «Пиковой дамы» есть отзвук ранней наполеоновской идеи: в бесконечно увеличенном масштабе генерал Бонапарт — тот же Германн, человек, замороженный идеей, не останавливающийся ни перед чем ради ее осуществления.

«Я знавала людей чрезвычайно достойных, — писала госпожа де Сталь, — знавала и людей свирепых. Во впечатлении, которое производил на меня (в 1797 году. — М. А.) Бонапарт, ничего не напоминало ни тех ни других. Мне скоро стало ясно, что характер его нельзя определить нашими обычными словами: он не был ни добр, ни зол, ни мягок, ни жесток... Он никого не любил и его не любил никто: он был больше чем человек или меньше чем человек... Я смутно чувствовала, что ничто не волнует его сердца. Он смотрит на людей, как на факты или как на вещи, но не как на подобные ему существа. Он никого и не ненавидит: существует только он, все остальные это цифры. Сила его воли в безошибочном эгоистическом расчете. Это искусный шахматный игрок, играющий партию против человеческого рода и собирающийся дать ему мат... Ничто не могло преодолеть отталкивания, которое я испытывала к тому, что в нем было. В уме его я чувствовала глубокую иронию, не щадящую ничего великого, ничего прекрасного, даже собственной славы»...

«Если бы цель его была хороша, то его настойчивость в преследовании этой цели была бы прекрасна», — добавляет блестящая писательница. Расценивать эту цель мы не станем. Заключалась же она в том, чтобы положить конец революции, взяв из нее жизнеспособное или необходимое. Быть может, во вполне определенной форме цель эта появилась позднее. В 1795 году необыкновенный человек, появившийся в особняке Жозефины, разрешил лишь первую часть уравнения. Надо было прийти к власти; к власти он

мог прийти только путем побед над внешним врагом; удар же внешнему врагу необходимо нанести в Италии. Значит, необходимо получить командование итальянской армией. Этот пост главнокомандующего итальянской армией и был для Бонапарта тайной трех карт, заморозившей его душу.

Долго, долго мечтал он об этой должности — и чего только не делал для ее получения! Перед девятым термидора он надеялся ее получить при поддержке Робеспьера-младшего и создал себе репутацию отчаянного «робеспьериста», — не все ли равно? Он разрабатывает план кампании (впоследствии им осуществленный), представляет на рассмотрение разных военных учреждений. Безуспешно: как во всем, здесь нужна протекция. Через много лет Карно хвалился, что именно он дал итальянскую армию генералу Бонапарту. Едва ли, однако, дело обошлось без Барраса. У замороженного человека, чувствовавшего в душе силы необычайные, могла явиться мысль, что для достижения цели позволительно пойти на многое. Во всяком случае, Бонапарт не мог не знать о связи Барраса с вдовой виконта Богарне — об этом знал весь Париж. Весьма вероятно, он ею увлекся, как Германн, быть может, увлекся Лизаветой Ивановной. Но это был именно второй план.

Денежное же подозрение ни на чем не основано: обыкновенная клевета врагов. К тому же сомнительные «25 тысяч дохода» Жозефины ровно ничего не составляли по сравнению с тем, что и в денежном отношении обещало тогда командование армией. Взгляды в ту пору были совершенно отличные от нынешних. По древней традиции, царившей до XIX века, власть должна была обогащать и в самом деле почти неизменно обогащала тех, кому она доставалась. Не везде эта традиция кончилась и в настоящее время; но, чтобы сохранить ей верность, пришлось придумать совершенно иные формы: благодаря существованию всевозможных синекур, хорошо оплачиваемых постов и биржевых связей, и теперь, как в Европе, так и в Америке, государственные деятели весьма часто в бедности рождаются, но весьма редко в бедности умирают. Однако в армии эта традиция давным давно исчезла. Тогда она была в полной силе. Приданое Жозефины не могло иметь никакого значения для Бонапарта. Это был брак человека, быть может, влюбленного, но уже, наверное, замороженного идей.

По-видимому, Баррас был в восторге, — этот человек, кажется, искренно считал Наполеона дураком! Он всячески покровительствовал делу. Объяснение в любви между Бонапартом и Жозефиной (или одно из объяснений) произошло на парадном обеде, который Баррас давал 21 января 1796 года. Был праздник: годовщина дня казни Людовика XVI, — судьба позаботилась о внесении циничной нотки в роман будущих французских монархов. Несколько позднее Баррас, встретив Жозефину в опере, небрежно-ласково ей сообщил приятное известие: директория признала возможным назначить генерала Буонапарте главнокомандующим итальянской армией.

Три карты выиграли.

Свадьба была назначена на 19 вентоза (9 марта). Церемония происходила в мэрии, в существующем и по сей день доме на rue d'Antin (в нем теперь помещается Banque de Paris et des Pays-Bas), в кабинете, из которого в наши дни, по мнению суеверных людей, Орас Финали правит не то Францией, не то целым миром.

«Нет, те люди не так сделаны; настоящий *властелин*, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, *забывает* армию в Египте, *тратит* полмиллиона людей в московском походе и отделяется каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры, — а стало быть, и *все* разрешается. Нет, на этих людях, видно, не тело, а бронза!..»

Все, что перечисляется в этих знаменитых строках «Преступления и наказания», действительно было в жизни Наполеона. Но это, так сказать, ее оперная сторона. Было в ней и другое, не оперное, о чем Раскольников мог не знать и не думать; чисто оперной жизни не бывает. Не идиллией представляется нам и вся эта женитьба, если даже признать, что никаких других побуждений, кроме страстной влюбленности, не было у генерала Бонапарта. Достаточно сказать, что свидетелем он пригласил Барраса! Это поистине трудно понять.

Свидетелем невесты был Тальен — таким образом, Термидор оказался блестяще представленным на свадьбе. Остальные же два свидетеля были люди неизвестные. Мэр был, по-видимому, человек весьма покладистый. К документам он особенно не придирался. Благодаря Буррьену, Обена, Массону и особенно Ле-

нотру нам известно точное содержание всех этих документов. Генерал Буонапарте сначала честно показал, что никакого имущества не имеет, «кроме гардероба и военного снаряжения». Потом это, очевидно, показалось ему неудобным, и он зачеркнул весь пункт о своем имущественном положении. Обещал, впрочем, жене пенсию на случай своей смерти — правда, небольшую: всего 1500 фр. в год. И жених, и невеста, естественно, хотели сократить разницу в возрасте, — Жозефину сделали на четыре года моложе, Наполеона на два года старше. Последнее обстоятельство было очень неудобно: Генуя уступила Корсику Франции в 1768 году, за год до рождения Бонапарта. Таким образом, изменив возраст, он, собственно, стал иностранцем. Во избежание этого в документах объявлено, что жених родился в Париже. Может быть, нотариус и мэр всего этого и не знали. Но скорее их загнипотизировало имя свидетеля: шутка ли сказать, сам великий Баррас! Имя жениха (он расписался: Наполеоне Буонапарте) производило, вероятно, на французов скорее комический эффект.

Через два дня генерал со смешным именем отбыл в армию.

«Солдаты! У вас нет одежды, вас плохо кормят. Правительство должно вам деньги и ничего не может вам заплатить. Ваше терпение, ваше мужество достойны восхищения, но они славы вам не приносят. Я вас поведу в плодороднейшие долины мира; богатые земли, большие города будут в вашей власти; вас ждут честь, слава и богатство»...

«Солдаты! В течение двух недель вы одержали шесть побед, захватили двадцать одно знамя, пятьдесят пять орудий, взяли несколько крепостей, завоевали богатейшую часть Пьемонта... Вы выигрывали сражения без пушек, переходили реки без мостов, делали огромные переходы без сапог, ложились спать без водки, а часто и без хлеба. Да будет же вам благодарность, солдаты!.. Но помните: вы ничего не сделали, так как дело еще остается: вы еще не взяли ни Турина, ни Милана»...

Эти первые приказы по армии генерала Бонапарта остаются, конечно, непревзойденным образцом военного красноречия: каждое слово в них свидетельствует о глубоком понимании человеческой души. В армии, во Франции, в Париже их читали с упоением, — так

никто не говорил ни во время революции, ни до нее. Вести о победах шли одна за другою. Из Италии в казну директории поступали миллионные контрибуции. Привозились картины Леонардо, Рафаэля, Тициана. К концу года генерал Бонапарт был знаменитейшим человеком в мире.

Жозефина была удивлена, приятно удивлена, чрезвычайно приятно удивлена. Баррас — тот совершенно не мог прийти в себя от изумления: так до конца своих дней и не пришел, — это ясно чувствуется в его воспоминаниях.

XI.

20 мая 1804 года утром по улицам Парижа проходила странная процессия. Впереди, верхом на конях, ехали двенадцать мэров. За ними, в сопровождении трубачей и музыкантов, следовали разные сановники, префекты, сенаторы, генералы, тоже все верхом. Посредине находился знаменитый математик Лаплас, исполнявший тогда обязанности канцлера сената. Процессия останавливалась на главных площадях столицы. Лаплас громким голосом читал следующий сенатус-консульт: «Управление республики поручено императору. Он принимает титул императора французов».

Едва ли эта процессия была очень величественной. Мэры, префекты и сенаторы не обязаны были хорошо ездить верхом. Сам Лаплас, вероятно, сел тогда на коня в первый и в последний раз в жизни. Талантом чтеца он тоже не отличался; да и при наличии таланта многократное повторение все одного и того же текста могло подорвать впечатление от исторической сцены. Должно быть, Лаплас посмеивался, — он был человек, настроенный весьма иронически. Может быть, не слишком серьезно относились к собственному делу и многие другие участники процессии. Враги говорили злобно: прежде *он* был просто *un coquin*, а теперь он стал *un sacré coquin*^{*}. В публике же рассказывали всевозможные анекдоты. До нас дошло от того дня немало шуток и острот. Из слов: «Napoléon, empereur

^{*} Сенатус-консульт — во Франции в XIX в акты, изменявшие или дополнявшие конституцию. — *Прим ред*

^{**} Петух, священный петух (*фр.*).

des Français» сделали анаграмму: «Ce fol empire ne durera pas son an»^{*}. На одной из улиц шутники вывесили театральную афишу, извещавшую о постановке новой пьесы: «L'Empereur malgré tout le monde»^{**}.

«Вопреки всем» это было сказано слишком сильно. Французы не могли не посмеиваться над тем, что было смешного в действиях правительства. Кавалькада мэров с сенаторами их веселила, да и многое было смешно в новых формах, в наспех выработавшемся новом церемониале. Люди отчасти смеялись и сами над собою. Кто только за истекшие пятнадцать лет не клялся сто раз в вечной верности республиканскому строю? Теперь восстанавливалась монархия, какая-то мудреная, с непривычным титулом, с новой династией. Вдобавок за эти годы все так много слышали о «революционной сознательности народа» и так много о ней говорили, что сами серьезно в нее поверили. Что скажет «революционный пахарь»? Что скажет «революционный рабочий»? Новый император непременно желал, чтобы народ утвердил посредством плебисцита принцип наследственной империи. Что, если пахарь и рабочий не утвердят? Давно ли Робеспьер был кумиром.

Пахарь и особенно рабочий^{***} утвердили. За империю было подано 3 572 329 голосов, против нее 2569! Сам Наполеон в успехе не сомневался. Он нашел ту среднюю линию, которая должна была привлечь наибольшее число французов. Одаренный от природы характером непреклонным и почти бешеным, он обуздал сам себя, пошел навстречу противникам справа и слева. Все его действия как будто исходят из одного общего принципа: предоставлением тех или иных выгод привлекать на свою сторону людей, каково бы ни было их прошлое. Иронически относясь к эмигрантам, он дает им возможность вернуться во Францию и охотно принимает на службу. Ненавидя якобинцев и террористов, осыпает их наградами. Будучи неверующим человеком, заключает конкордат с папой. Историки установили почти бесспорно, что он вступил в сношения с Людовиком XVIII и предлагал ему воз-

* «Наполеон, император Франции» — «Эта сумасшедшая империя не просуществует и года» (фр.).

** «Император вопреки всем на свете» (фр.)

*** Олар выяснил, что среди рабочих Наполеон пользовался особой популярностью.

мещение за отказ от прав на корону. Он был убежден, что разрешил уравнение: из революции взято все то, чем могли дорожить французы*; гражданское равенство обеспечено, «карьера открыта талантам»; и после пятнадцати лет хаоса — порядок, при твердой, совершенно уверенной в себе власти.

Шли приготовления к коронации. По пышности она должна была затмить все, что видел до того Париж. Костюмы изготавливались по рисункам Изабе. Давид должен был изобразить церемонию в Нотр-Дам. Разработку церемониала император поручил сановнику старого двора графу Сегюру, бывшему послу Людовика XVI в России. Признавалось нежелательным во всем подражать Бурбонам. Наполеон восстанавливал империю Карла Великого и, по-видимому, желал следовать этикету своего предшественника. Но так как о церемониале VIII столетия Сегюр, как и все, имел весьма смутное понятие, то он больше сочинял, отчасти руководясь тем, что видел при дворе императрицы Екатерины**.

Для церемониала прежде всего необходимы традиция и вера в церемониал. Откуда им было взяться у наполеоновских сановников, среди которых немалый процент составляли отставные якобинцы. Непримируемая часть родовой аристократии потешалась. Но для нее тяжелым ударом оказалось то, что папа Пий VII после долгих переговоров согласился приехать в Париж и короновать нового императора. Получив это известие, вождь и теоретик католической партии Жозеф де Местр писал из Петербурга Росси: «Не нахожу слов, чтобы выразить горе, которое вызывает у меня решение папы. От всей души желаю Пию VII смерти, как я сегодня пожелал бы смерти своему отцу, если бы он хотел завтра себя опозорить!»

Приезд папы сошел не гладко. Подробный рассказ об этом можно найти в исчерпывающих работах Массона, посвятившего около двадцати томов жизни На-

* После установления империи в полицейских донесениях (особенно от 28—29 флореаля) сообщается, что парижане очень довольны: «Наконец-то кончились революционные ужасы» Недовольны были только якобинцы «Они собираются в кофейнях на Вожираре, пьют и сожалеют о прошлом времени Говорят: «Кончено наше дело» » (Полицейский рапорт от 13 фримера) Донесения эти составлялись правдиво и беспристрастно

** Талейран указывает, что в блеске наполеоновского двора было «quelque chose d'euro péen et d'asiatique tiré de Pétersbourg» («нечто европейское и азиатское, взятое у Петербурга» — *фр*)

полеона и его семьи, у Слоана (том II), в воспоминаниях современников. После первого парадного обеда во дворце церемониймейстер приготовил в честь Пия VII балетный спектакль, — мысль довольно неудачная: папа, к общему смущению, немедленно покинул зал. Император Наполеон нервничал и вел с кардиналами весьма мелочный торг; он отказался выехать навстречу папе, отказался стать на колени, не желал, чтобы папа возложил на него корону, не соглашался, чтобы папу внесли в собор на *sedia gestatoria*^{*}. Церемониймейстеры кое-как находили компромиссы: встреча императора с папой в лесу Фонтенбло произошла «случайно», — Наполеон выехал «на охоту», как только было получено сообщение, что к лесу приближаются экипажи папы. На колени встала в соборе императрица. В вопросе о короне Пий VII уступил, — и император возложил ее на себя сам. Что до *sedia gestatoria*, то папе было объявлено: на носилках в Нотр-Дам в 1793 году внесли Марата, поэтому у зрителей могло бы родиться оскорбительное для папы воспоминание. Объяснение было странное (да и никогда Марата в собор на носилках не вносили). Но Пий VII признал его удовлетворительным и не настаивал.

Гораздо важнее было другое. Наполеон и Жозефина женились в 1796 году в мэрии. Церковного брака не было. Ни папа, ни кардиналы совершенно этого не знали. Как ни странно, в Ватикане и вообще почти ничего не было известно о семье и семейных отношениях Наполеона. Достаточно сказать, что Пий VII вначале не знал даже имени новой императрицы: в первом своем послании он почему-то называл ее Викторией! Между тем император желал, чтобы папа короновал не только его, но и Жозефину. Сановники предупреждали Наполеона, что он идет на скандал: не может папа короновать женщину, которая с церковной точки зрения не есть жена императора. Наполеон стоял на своем: папа не знает, не надо ничего ему и говорить.

Жозефина была совершенно иного мнения. Она и вообще не сочувствовала тому, что происходило. Ей нисколько не хотелось становиться императрицей. Честолюбие ее не мучило, Жозефина желала просто жить в свое удовольствие: зачем престол? только возбуж-

* Носилки (*лат.*).

дать зависть и ненависть, могут легко и убить (в Париже шли упорные слухи о заговорах против нового императора). А главное, она женским чутьем понимала, что для нее трон связан с особым риском: детей у них не было, при наследственном же образе правления, естественно, понадобится наследник. Церковный брак был некоторой гарантией против развода.

Биографы и до сих пор спорят о том, какие чувства испытывала Жозефина к своему мужу. Не разрешил этого вопроса и Фредерик Массон. По-видимому, в чувствах императрицы преобладал теперь страх, смешанный с благоговением. Жозефина смертельно боялась Наполеона и даже при инцидентах менее важных, например, когда дело шло о сверхсметных ее долгах поставщикам, твердила придворным дамам: «Увидите, он убьет меня, он способен меня убить!..» (Наполеон по ее виду тотчас о новых долгах догадывался и лишь говорил мрачно Дюроку: «Пойдите постарайтесь у нее узнать *сколько*».) Но на этот раз, вопреки категорическому запрещению, императрица, оставшись наедине с папой, сообщила ему, что не венчана с мужем. Разразилась та самая буря, которую предвидели благоразумные сановники: папа признал себя тяжело оскорбленным и наотрез отказался участвовать в коронации. Остановившись перед скандалом на всю Европу, Наполеон с яростью уступил. 7 фримера был совершен религиозный брак. Но и в отношениях между супругами, и в отношениях императора с папой создавался холод.

Со всем тем церемония сошла превосходно. 2 декабря из Тюильрийского дворца двинулись к Нотр-Дам карabinieri, гренадеры, егеря, мамелюки. В великолепной золотой карете за ними следовали император с императрицей. На Жозефине были отделанное золотом белое платье, обошедшееся в восемьдесят тысяч нынешних франков, белое бархатное манто, диадема стоимостью в девять миллионов. Современники говорили, что она никогда не была так хороша, как в тот день, хоть шел ей пятый десяток. Мюрат нес перед ней корону; шлейф императрицы несли ненавидевшие ее сестры Наполеона (согласившиеся на это, после бурных сцен и слез, только в результате ультимативного требования брата: либо нести шлейф, либо тотчас покинуть Францию). «Moniteur» (№ 12 фримера) писал: «Нельзя описать величие этого зрелища».

Сам император был мрачен*. Говорили, что он все время зевал во время коронационного обряда. Говорили, что при выходе из собора он со злобой толкнул скипетром кардинала, по случайности загородившего ему дорогу. Говорили, что один из генералов в ответ на вопрос Наполеона, как ему понравилась церемония, сказал: «Ваше Величество, не хватало только миллионов людей, которые погибли, чтобы уничтожить все то, что вы сегодня восстановили»... Но чего только не говорили и не выдумывали в Париже 2 декабря 1804 года, в день коронации императора Наполеона, после двенадцати лет республики, «единой, нераздельной и вечной»!..

ХII.

Всякая перемена государственного строя, независимо от своего социально-политического смысла, означает великое перемещение всевозможных житейских благ и выгод. С приходом к власти Бонапарта, еще задолго до коронации, навсегда покинул историю его «покровитель», друг и шафер Баррас: ему предписано было выехать из Парижа в имения. Остряки шутили: «On a débarrassé la France»**... Другие видели в этом «признак морального оздоровления страны». В числе новых сановников были люди, вполне стоившие в моральном отношении Барраса. Перемещение житейских благ определялось главным образом государственной целесообразностью.

Так было на верхах власти. Внизу же все определялось личными связями, знакомствами, протекцией: каждый из сановников нового государства имел своих людей, которые политикой интересовались мало, но житейскими благами интересовались чрезвычайно. Сановник по мере возможности помогал своим людям. Наполеон прекрасно это понимал и считал явлением вполне естественным. Не возражал он вначале и против того, что его жена всячески покровительствовала Ленорманше.

Перед Сибиллой теперь открылись новые профес-

* Не слишком сияет его лицо и на знаменитой картине Давида

** «Он обезбаррасил Францию» (*фр.*). Игра слов: débarrassé — освободил от себя. — Прим ред.

сиональные возможности: к хиромантии, рабдомантии, орнитомантии присоединилась еще — Жозефина. Как ни неохотно посвящал Наполеон свою жену в государственные дела, она все-таки, проводя вечера в обществе сановников, знала многое из того, что намечалось правительством. Как было не делиться иными сведениями с милой мадемуазель Ленорман? Сибилла немедленно «предсказывала» это заинтересованным лицам. Слава Ленорманши все росла. Со свойственной ей скромностью она писала: «Мною интересуются в Америке, я имею тысячи клиентов в Африке, дивное мое волшебство служит компасом для правительств; в Европе среди обращающихся ко мне значатся все выдающиеся и умные люди». Росло и ее благополучие; она обзавелась дорогой мебелью, картинами, — на стенах двух ее гостиных висели произведения Миньяра, Греза, Ван Дейка и Рембрандта!

ХIII.

По-видимому, дела Ленорманши и особенно ее близость к Жозефине со временем стали раздражать Наполеона. Она, правда, утверждала, что он и сам был ее клиентом. Однажды, рассказывает Сибилла, к ней явилась какая-то деревенская женщина, оказавшаяся глухой и неграмотной. Она принесла записку: одно лицо желает получить гороскоп... Не буду утомлять читателя однообразными подробностями — были получены необходимые сведения, день и месяц рождения, любимый цветок, любимое животное и т.д. Звезды сразу открыли Сибилле, какое лицо послало к ней глухую, не умеющую читать деревенскую женщину. Сибилла составила изумительный гороскоп и присоединила к нему несколько политических советов: не надо воевать с Испанией, не надо задевать папу. «Император был поражен». Он, собственно, и погиб оттого, что не послушался советов Ленорманши. Гороскоп же 11 декабря 1809 года поступил в архив парижской полиции. Столь удивительная точность — 11 де-

кабря 1809 года — действует на воображение и теперь: пишущий эти страницы рылся в полицейском архиве F-7^{*}: вдруг и в самом деле там есть гороскоп Наполеона? Никакого гороскопа не оказалось; в F-7 вообще очень мало относящихся к Сибилле документов, да и они особого интереса не имеют. Ремесло Ленорманши, очевидно, не прошло для нее даром. Под конец жизни ей просто стало трудно говорить правду^{**}.

В 1803 году мадемуазель Ленорман была арестована, — по ее словам, за то, что высказалась против высадки в Англию. Через некоторое время ее выпустили на свободу. Колдовство за деньги можно было бы подвести под ту или другую статью уголовного закона, да с законом и не очень тогда считались. Вероятно, у Сибиллы нашлись влиятельные покровители. Позднее Наполеон запретил Жозефине встречаться с Ленорманшей — и тоже не достиг цели: они продолжали встречаться тайно. В 1809 году 11 декабря «в понедельник, посвященный «Диане», Сибилла была арестована вторично. Этот свой арест она впоследствии описала в самой драматической форме^{***}. Сбирь, в числе которых было лицо, занимавшее высокий пост в полиции, долго ее допрашивали. Она держалась необычайно мужественно. Объяснила, что ей было заранее известно об ожидающем ее аресте. Высокопоставленное лицо, видимо, заинтересовалось: откуда же это ей было известно? Ленорманша пояснила: ей все заранее сообщает «гений Ариель, дух сверхнебесный и весьма могущественный» («esprit super-céleste et très puissant»).

* F-7 — номер архива французской полиции. — *Прим. ред*

** В виде образчика ее позднейших рассказов приведу следующий. Она уверяла, что ее клиентом был русский посол в Париже князь Куракин. Ему она сделала предсказание столь же точное, сколь необыкновенное «Вы будете повешены, но затем станете любимцем вашего императора». И, разумеется, все сбылось как по-писаному. После кончины Сибиллы ее наследники рассказывали Жиро (который написал официальную биографию «la seule autoisée par la famille» — «только эта одобрена семьей» — *фр*), что с князем Куракиным произошла необыкновенная история. В России вспыхнуло восстание, революционеры схватили князя, накинули ему на шею петлю и вздернули, — но как раз примчалась правительственная кавалерия, перерезала веревку и спасла Куракина, после чего он попал в большую милость к царю. Вероятно, это был весьма дальний и весьма своеобразный отголосок восстания декабристов. Правда, князь А. Б. Куракин умер за семь лет до восстания, но деталь эта ничего не может добавить к рассказу.

*** Эта книга ее называется довольно странно: «Пророческие воспоминания Сибиллы»

Высокопоставленное лицо сразу увяло: вероятно, оно предполагало, что сведения могли поступать к Сибилле от существа более земного. Сбиры отвезли Ленорманшу в тюрьму, отобрав у нее четыре тома «Физиогномии» Лафатера, магическую палочку, талисман, тридцать три греческих жезла, огненное зеркало и другие предметы первой необходимости.

Ленорманша уверяла, что второй ее арест был связан с разводом императора: она открыла Жозефине, что Наполеон хочет ее покинуть. Императрица бросилась к мужу. Наполеон разгневался: «Какой предатель сообщил вам это? Пусть же он трепещет!» «Нет предателя, но я все знаю, — ответила Жозефина, — мне все сказала мадемуазель Ленорман!» и т.д. Небольшая (очень небольшая) доля правды в этом рассказе не исключается. О возможности развода императорской четы в Париже поговаривали давно. Не было бы ничего удивительного, если бы Сибилла и в самом деле сообщила что-либо об этом Жозефине. Имел ли отношение к этому делу арест гадалки, не берусь сказать.

XIV.

Император действительно давно подумывал о разводе — главным образом по соображениям династическим: Жозефина не дала ему детей; это было главным горем всей ее жизни. При дворе образовалась партия, стоявшая за развод и за новый брак либо с русской великой княжной, либо с австрийской эрцгерцогиней. Наполеон то внимательно выслушивал сообщения руководителей этой партии, то внезапно приходил в ярость: как они смеют вмешиваться в его интимные дела? Он сам не знал, как быть.

Наполеон любил Жозефину, хоть она порою чрезвычайно его раздражала и хоть относился он к ней, как к странному существу непонятной ему породы. Жозефина вела образ жизни, вызывавший изумление у императора. Госпожа де Ремюза оставила нам подро-

ное описание дня Жозефины. Она по утрам ежедневно посвящала туалету около трех часов, затем много раз переодевалась и три раза в день меняла белье. У нее было четыреста шалей и несметное число платьев, стоивших по 40, 50 и по 100 тысяч франков. Целый день в ее апартаментах сменяли друг друга какие-то поставщики, портнихи, модистки, с которыми она обращалась, как с лучшими друзьями; никакого этикета Жозефина не признавала: зачем эта ерунда? Модисткам и портнихам она неизменно рассказывала все свои семейные дела и огорчения; не имела секретов и от горничных. Жозефина не читала ни книг, ни газет — там одни неприятности, — ничего не делала целый день и нисколько не скучала. Наполеону было жаль Жозефину. Вдобавок он опасался, что народу его развод не понравится. В этом он и не ошибся. Народ и в особенности старая гвардия были разводом возмущены: он не должен был бросать «sa vieille»* ради какой-то иностранной принцессы! Простые люди любили Жозефину за ее простоту. Император колебался мучительно и долго, обдумывал самые невероятные планы, вплоть до возможности симулировать беременность Жозефины и объявить подкидыша ее сыном и наследником престола!

Картина была весьма странная. Наполеон был женат, официально никто о разводе не заикался. Но в то же время, в порядке дипломатических переговоров, ему спешно подыскивалась подходящая невеста. При дворе об этом знали многие; не могла в конце концов не узнать и сама Жозефина. Руководители партии развода становились все смелее. Как на беду, за несколько лет до того, в марте 1806 года, император издал закон, по которому принцы царствующего дома лишены были права на развод. Знаменитый юрист Камбасерес любезно взял на себя юридическую сторону дела. Были найдены в истории прецеденты: развелся с женой Генрих IV, развелся Филипп Август, развелся, наконец, сам Карл Великий!

Сцены развода много раз описывались историками.

* «Свою старуху» (фр.)

30 ноября 1809 года император обедал с императрицей. «За обедом было ледяное молчание». Затем Наполеон приказал всем выйти. Через несколько минут из комнаты донеслись страшные, раздирающие душу крики. Дворцовый комендант де Боссе вбежал в кабинет. Императрица в истерике каталась по ковру. Придворные бросились за лейб-медиком. Вдруг Жозефина лишилась чувств. При всей своей простоте и непосредственности, она в некоторых отношениях превосходила Сару Бернар. Дворцовый комендант с Наполеоном подняли императрицу и бережно перенесли ее на диван. Не открывая глаз, она сердито прошептала Боссе: «Не давите так крепко»...

Зачем-то понадобилась еще торжественная сцена *séance de famille*^{*}, разыгранная по всем правилам этикета. Чтобы утешить Жозефину, Наполеон подарил ей Рим! Из Рима будет сделано особое владение, оно отдается императрице. Не всякий муж, конечно, мог при разводе сделать такой подарок жене; однако Жозефина слышать о нем не хотела: зачем ей Рим? что ей делать в Риме? она предпочитает остаться в Париже. Император согласился и на это: вместо Рима Жозефине были подарены Елисейский дворец, Мальмезон, охотничий замок Наварр. Ей назначили пенсию в три миллиона франков в год (свыше 25 миллионов нынешних). Долги ее были уплачены. За ней оставался императорский титул и даже было обещано, что на придворных церемониях она будет иметь преимущество в ранге перед новой императрицей. Наполеон, по-видимому, был чрезвычайно доволен, что отделался. На радостях он объяснял Жозефине, что их отношения останутся прежними: ведь он будет часто ее навещать.

XV.

После развода с Жозефиной произошло странное явление: она по-настоящему влюбилась в Наполеона. В пору их брака в ее чувствах к мужу, повторяю,

^{*} Семейная сцена (*фр.*)

преобладали благоговение и страх. Теперь чувства Жозефины нельзя было назвать иначе, как страстной влюбленностью. Вскоре после *séance de famille* император посетил ее в их Мальмезоне. Она плакала в течение всего визита. Посещал он ее и позднее, вначале чаще, потом реже, — все, как бывает. Перед каждым свиданием, во время свидания, после свидания были слезы; за ними следовали мечты о новой встрече. Многое в психологии Жозефины так же непонятно, как трогательно. Она сама советовала Наполеону жениться на Марии Луизе; вела даже об этом, по своей инициативе, переговоры с госпожой Меттерних! Когда у Наполеона родился сын, страстное желание Жозефины: увидеть его. Ценой больших усилий она устраивает встречу: маленького римского короля привозят в колясочке в Багателль. Наполеон все это принимал как должное. В письмах к Жозефине он сообщает разные сведения о своем сыне. В одном из писем считает даже нужным уведомить ее: «Императрица (т.е. Мария Луиза) очень меня любит!» Быть может, он думал, что известие это должно крайне обрадовать Жозефину. А скорее написал первое, что пришло в голову: он был очень занят, ему некогда было размышлять о чужой душе.

Жозефина показывалась в обществе, но ее появление, естественно, вносило холодок. Она это замечала — и плакала. Плакала она вообще беспрестанно. После приезда в Париж Марии Луизы присутствие двух императриц стало вызывать многочисленные неудобства. Наполеон позаботился о том, чтобы Жозефина бывала в столице возможно реже. Она путешествовала, жила в Мальмезоне, в охотничьем замке — и плакала.

Не надо, впрочем, думать, чтобы горе отражалось на ее образе жизни. Поставщики от нее не выходили. Несмотря на свой огромный доход, Жозефина еще ухитрилась заново задолжать до двадцати пяти миллионов франков. Между тем прожила она после развода лишь пять лет (пережив крушение империи); умерла скоропостижно, проболев всего два дня. Мадам де Ремюза рассказывает, что за несколько часов до своей кончины императрица была очень озабочена:

какой пеньюар надеть? — в этот день ее должен был посетить в Мальмезоне император Александр: «Elle a expiré toute couverte de rubans et de satin couleur de rose»*...

XVI.

Ленорманша и во второй раз оставалась в тюрьме недолго. Но для нее, как и для ее покровительницы, началось время упадка. Предсказывать было трудно, Жозефина больше ничего не знала. Как будто стала проходить на гадание и мода. Из-за этого ли или из-за ареста Сибилла стала врагом существовавшего строя. По крайней мере, когда союзники вступили в Париж, Ленорманша, с эмблемой Бурбонов, вышла навстречу казакам, которых она почему-то именует «возлюбленными сынами Меркурия». По ее словам, публика немедленно ее узнала и устроила ей овацию: «Да здравствует король и мадемуазель Ленорман! Она предсказала 1814 год!»

Сибилла всячески старалась войти в милость к Бурбонам. Но это ей не удавалось. Мода не желала возвращаться. Ленорманша ушла в литературу. Большая часть ее книг написана после реставрации. Немногим известно, что она написала первую биографию императрицы Жозефины. О ее произведениях у историков вспоминать не принято — и напрасно. Разумеется, врал Ленорманша очень много, но если уметь читать книги, то можно выудить правду и из этой. А едва ли кто лучше знал Жозефину, чем Сибилла. Книгу свою она посвятила императору Александру, к которому ездила в Аахен, — там тоже гадала. Царь относился к ней благосклонно. В предисловии к книге Сибилла напечатала письмо за подписью князя «Валкусского» (очевидно, П. М. Волконского), помеченное 6—18 октября 1818 года и извещающее ее о том, что царь принимает посвящение и жалует ей бриллиантовое кольцо. В предисловии же ко второму выпуску сооб-

* «Она отошла в мир иной вся в лентах и розовом атласе» (*фр.*).

щалось, что Наполеон на острове святой Елены заливался слезами умиления, читая книгу госпожи Ленорман, и в частности посвящение императору Александру: «Les larmes coulaient des yeux du grand homme»* и т.д. Наполеон скончался незадолго до выхода второго выпуска, и не использовать его в рекламных целях было, конечно, грешно. Дружба г-жи Ленорман с Жозефиной продолжалась и после развода. Получив известие о внезапной болезни императрицы, Сибилла бросилась в Мальмезон, — «могла лишь поцеловать мертвое тело».

Ленорманша пережила Жозефину почти на тридцать лет. О старой гадалке больше никто в Париже и не говорил. Она была богата, занималась какими-то спекуляциями. Но, по-видимому, ее пророческий дар терял силу на бирже: она потеряла на спекуляциях значительную часть того, что дало ей человеческое легкоеверие.

На чужом легкоеверии была построена вся ее жизнь, — в этом, собственно, единственный интерес ее. Госпожа Ленорман жила в ту эпоху, для которой считается особенно характерной вера в разум, в его мощь, в его права. Клиентами же ее были самые известные люди мира! Я сопоставил жизнь Сибиллы с жизнью Жозефины Богарне. Это, конечно, область «малой истории». Но сопоставление казалось мне занимательным именно потому, что так ясно на нем проявляется тесная связь между малым и большим. Все здесь было торжеством случая. «Le Hasard, c'est le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer»**, — говорит французский поэт. Верховному Промыслу и в самом деле нечего было бы подписывать в делах этих двух женщин, довольно близко стоявших и к большой истории — к *настоящей*.

Друзей и близких у мадемуазель Ленорман не было. После ее кончины наследники сообщили официально биографу, что она «умерла девственной, как Ньютон»! Тот же официальный биограф говорит, что скончалась Сибилла 25 июня 1843 года. Но, кажется,

* «Слезы лились из глаз великого человека» (фр.)

** «Случай — это псевдоним Господа Бога, когда он не хочет подписывать свое имя» (фр.).

это не совсем точно. По крайней мере, в номере «Journal des Débats» от 28 июня 1883 года мне попалась следующая заметка:

«Вчера, 72 лет от роду, умерла женщина, о которой много говорили, знаменитая гадалка, мадемуазель Ленорман. Она, говорят, оставила 500 000 франков племяннику, офицеру африканской армии».

Николай Новосильцев



Поездка Новосильцева

I.

В инструкции, которой император Александр I снабдил уезжавшего в Лондон Н. Н. Новосильцева, было сказано:

«Почему нельзя было бы определить таким образом положительное международное право, обеспечить преимущество нейтралитета, установить обязательство никогда не начинать войны иначе, как по истощении всех средств, представляемых посредничеством третьей державы, и выяснив таким образом взаимные претензии и средства для их улажения? Вот на каких началах можно будет устроить всеобщее умиротворение и создать лигу, в основание которой должен быть положен, так сказать, новый кодекс международного права, который, будучи одобрен большинством европейских государств, естественным образом сделается неременным законом для кабинетов, в особенности потому, что желающие его нарушить рискуют вызвать против себя силы новой лиги. К этой лиге, наверное, пристыпят мало-помалу все державы, утомленные от последних войн»...

«Необходимо также, чтобы каждое государство было составлено из однородных народов, подходящих друг к другу и симпатизирующих правительству, ими управляющему».

Это, разумеется, еще не «ковенант»*, — устава Лиги Наций в инструкции искать не приходится. Однако должно признать, что основная идея Лиги и самое слово, и принцип самоопределения народов выражены здесь совершенно точно. Если мы обратимся к воспоминаниям и проектам американских политических деятелей 1918—1919 годов, то мы найдем в них почти дословное совпадение с фразами русского дипломатического документа начала XIX столетия.

* «Ковенант» — в XVI—XVII вв. название соглашений сторонников Реформации в Шотландии для защиты пресвитерианской церкви и национальной независимости. — *Прим. ред.*

Французский текст этого документа (точный ли?) напечатан во втором томе воспоминаний князя Адама Чарторьского. Русский — до сих пор в полном виде не опубликован. Приведенную выше цитату я заимствовал у Мартенса. Трудно понять, почему в его многотомном труде лишь в извлечении дается документ столь исключительной важности. Вероятно, это объясняется тем, что лет сорок тому назад, когда печаталось «Собрание», план Лиги Наций мог казаться только милой шуткой (хоть Мартенс называет инструкцию «любопытнейшей»). Однако почти все историки Александровского времени, от Богдановича до Валишевского, уделили новосильцевской инструкции немалое внимание. Она того стоила.

Нельзя сказать с полной уверенностью, кто именно был автором документа. Больше всего, по-видимому, потрудились над ним Чарторьский со своим помощником Пиатоли. Но в обсуждении и в составлении инструкции бесспорно принимали близкое участие и царь, и Новосильцев. Правильнее всего было бы ее считать общим трудом людей, составлявших так называемый «Комитет общественного спасения», хотя формальные заседания Комитета прекратились в 1803 году.

«Почему нельзя было бы?..» — спрашивала инструкция. Вопрос до некоторой степени остается открытым:

В самом деле, почему нельзя было бы?

II.

Тайный, или Негласный, комитет при царе, шутивно именовавшийся «Комитетом общественного спасения», был странным и своеобразным учреждением, — вероятно, такого никогда нигде в мире не было. В исторической науке ему не повезло: не ругал его только ленивый. Историки отмечали молодость участников Комитета, их неопытность, их французское воспитание и незнакомство с русским народом. Указывалось, что Чарторьский впоследствии стал врагом России, что Новосильцев и Кочубей на старости лет заняли высокие государственные посты и при новых настрояниях отнюдь не проявляли либерализма. Говори-

лось о личных недостатках ранних сотрудников Александра I, о чрезмерном пристрастии к спиртным напиткам одного из них, о чрезмерном пристрастии к деньгам другого. Однако факт бесспорный: с работой этого Комитета, которая и продолжалась всего два года, так или иначе связаны лучшие реформы новейшей русской истории; а кое-что из созданного им просуществовало почти сто двадцать лет, до прихода к власти большевиков (о настоящем, парижском, Комитете общественного спасения, пожалуй, этого не скажешь, хотя им тоже было сделано очень много). Да и по личному своему составу Негласный комитет был весьма интересным явлением. В династии Романовых, если не считать Петра, Александр Павлович, «коронованный Гамлет», был самым выдающимся человеком. Недюжинными людьми, каждый по-своему, были и другие члены Комитета: Новосильцев, Чарторыйский, Кочубей и Строганов.

Комитет составил более или менее случайно из людей, которых царь, по их взглядам, способностям и образованию, считал подходящими для осуществления либеральной программы. В своем известном письме к Лагарпу Александр Павлович писал: «Нужно будет стараться, само собой разумеется, постепенно образовывать народное представительство, которое, должным образом руководимое, составило бы свободную конституцию, после чего моя власть совершенно прекратилась бы.... Дай только Бог, чтобы мы когда-либо могли достигнуть нашей цели — даровать России свободу и предохранить ее от поползновений деспотизма и тирании. Вот мое единственное желание». Едва ли нужно напоминать об особенностях красноречия ученика Лагарпа и о том, что пожелания письма были «программой-максимум» — в житейском смысле этого выражения, — т. е. тем, что заведомо выполнено не будет. Не очень подошла Россия к этой программе-максимум и с тех пор. Однако пять молодых людей, правивших в течение двух лет самой большой империей в мире, исходили теоретически именно из этой программы.

Собирались они раз в неделю в Зимнем дворце. Было твердо решено, что заседания Комитета будут

* Лагарп Фредерик Сезар де (1754—1838) — швейцарский политический деятель, приверженец идей Просвещения. — *Прим. ред.*

происходить в глубокой тайне. По понедельникам царь приглашал на обед гостей. После окончания обеда Новосильцев, Чарторыйский, Строганов и Кочубей уходили с другими гостями, затем таинственно возвращались и устраивались в небольшом кабинете Александра I (во внутренних покоях). Туда так же таинственно приходил затем и царь. Тайна нужна была потому, что это был «Комитет общественного спасения»: формально власть по всем ведомствам оставалась у старых сановников, которые на заседаниях Негласного комитета шутили именовались «инвалидами», — нельзя же было их всех сразу просто уволить в отставку. Но, по существу, все дела решались в Негласном комитете. Надо ли говорить, что о его секретнейших заседаниях немедленно затрубил весь Петербург?

Заседания велись без всяких формальностей и протоколов. Но, по счастью, самый молодой из членов Комитета, граф П. А. Строганов, дома всякий раз записывал то, что происходило на заседании, и записывал очень аккуратно (протоколы дело нелегкое, есть и секретари «Божьей милостью»). Записи эти сохранились в строгановском архиве. Полный текст их напечатал вел. кн. Николай Михайлович. Только с тех пор и можно точно себе представить картину заседаний Негласного комитета.

Разумеется, в этой статье не приходится говорить, по существу, о деятельности «Комитета общественного спасения», — она достаточно известна. В связи с занимающей нас темой достаточно упомянуть о его духе, о колорите этой странной картины. Здесь самое удивительное, пожалуй, — та независимость, которую участники заседаний проявляли в отношении императора. Она представляется поистине невероятной. Почти без преувеличения можно сказать, что царь на заседаниях был в загоне. Стоило ему высказать какое-либо суждение, как на него набрасывался тот или другой из участников заседания, — иногда и все сразу. Выговоры и наставления ему делались беспрестанно: то не так, это не так, — Александр обычно смущенно оправдывался. Не очень стеснялись члены Комитета в своих выступлениях и по существу. Приведу только один пример. Обсуждался вопрос о крестьянах. Новосильцев заметил, что не следовало бы слишком поспешными мерами раздражать дворянство, с риском вызвать неудовольствие и волнение. Царь склонен был

с этим согласиться. Кочубей, Чарторыйский и Строганов возражали. «В вопросе об освобождении крестьян, — сказал гр. Строганов, — заинтересованы два элемента — народ и дворянство; неудовольствие и волнение относятся, очевидно, не к народу. Что же такое наше дворянство? Каков его состав? Каков дух его? Дворянство состоит у нас из известного числа людей, которые сделались дворянами только при помощи службы, которые не получили никакого воспитания и все мысли которых направлены только к преклонению перед властью императора. Ни право, ни справедливость, — ничто не может породить в них даже идеи о самомалейшем сопротивлении. Это класс общества самый невежественный, самый презренный, по духу своему самый тупой». Сказано это было в присутствии царя, на собрании четырех правивших государством знатных дворян! Любопытно и то, что о невозможности «самомалейшего сопротивления» царю со стороны дворянства говорилось вскоре после ухода в отставку гр. Палена, меньше чем через год после царевубийства 11 марта, — в нем, однако, принимали участие только дворяне. Тем не менее слова Строганова ни с чьей стороны возражений и протестов не вызвали.

На другом заседании тот же Строганов, по-видимому, просто выбрал царя. До нас дошло письмо, написанное им Александру I в 1802 году. «Я должен, Государь, принести Вам извинения за резкость, с которой я вспылел при вчерашнем споре. Я знаю, что Вы снисходительны, иногда даже слишком, но я знаю также, что я дурно поступил»... Сожалею, что нельзя привести все письмо: оно чрезвычайно интересно. Дошел до нас (с факсимиле) и ответ императора: «Дорогой друг, да вы, кажется, совсем с ума сошли! Могу ли я обвинить вас в том, что является лучшим доказательством вашего интереса ко мне и вашей преданности общественному благу... Лучшее доказательство дружбы, какое вы можете мне дать, — браните меня, как следует, когда я того заслуживаю».

Добавлю, что, собственно, никакой дружбы не было. Члены Комитета едва ли очень любили друг друга, — только рано умерший Строганов сохранил до конца добрые отношения со всеми. Не слишком они любили и Александра Павловича, насколько можно судить по их письмам и воспоминаниям. Один из них

называет его (как Клемансо Вильсона) «candide»*, — на заказ трудно было бы придумать эпитет, который меньше подходил бы Александру Павловичу! Кн. Чарторыйский говорит в письме к Строганову (от 6 февраля 1806 года): «Император все тот же, страх и слабость по-прежнему очень велики. Мы всего боимся; ни на что решительное мы не способны... Это смесь слабости, неуверенности, страха, несправедливости, бессмыслия, приводящая в скорбь и в отчаяние».

Что же объединяло этих людей? Личных побуждений, по крайней мере в ту пору, у них почти не было, — поскольку эти побуждения могут отсутствовать в человеческих делах. «Девиз нашего союза, — вспоминал через много лет один из членов Негласного комитета, — заключался в том, чтобы стоять выше личного интереса, не принимая наград и отличий». Это было почти правдой. Большинству из них и не были нужны награды, еще менее того деньги. Отцы Строганова и Чарторыйского принадлежали к богатейшим людям Европы. Связь их между собой, как и общая их связь с императором, была чисто идейной. Негласный комитет напрасно даже и в шутку именовался «Комитетом общественного спасения», — ни малейшего сходства в делах с грозным учреждением Французской революции у него не было. Но это был один из первых рассадников русского либерализма. Или, если угодно, по новой терминологии, это была одна из колыбелей «ордена русской интеллигенции», — Комитет, кстати, не ставил себе задачей прорубить окно в Азию.

К «ордену» в 1801—1804 годах мог бы считаться принадлежащим и сам царь. Если судить по записям Строганова, то Александр I был даже самым «левым» из членов Комитета. Собственно, лишь по стилю и можно отличить то, что тогда говорил царь, от того, что писал Радищев. О радикализме русского императора Наполеон с недоумением и с насмешкой вспоминал на острове святой Елены. Разводил руками и Талейран, которого, казалось бы, удивить было трудно: он знал Дантона и Робеспьера. Другие члены кружка не шли, пожалуй, и на словах так далеко. Граф Строганов говорил о русском народе приблизительно то же, что говорили о нем, например, либеральные земцы семидесятых годов. Только говорил он это не по-русски, а

* «Чистосердечный» (фр.).

по-французски, и не на земском собрании в Тверской губернии, а во внутренних покоях Зимнего дворца, — вот куда забралась одна из «колыбелей»! Титулы, аксельбанты и даже майораты*, по существу, ничего не меняли. Участие царя, правда, меняло очень многое (и с поправкой на «программу-максимум»). Именно за него Негласный комитет попал в наши прежние учебники истории, правда, с неодобрительной отметкой, относившейся к «духу неопределенного либерализма».

Неопределенный либерализм, барское прекраснотушение! Теперь это смешно — теперь все смешно. Что же другое получило удовлетворительный балл на кровавом экзамене так удачно сложившейся истории? Со временем, когда отведут душу историки русского либерализма, они, вероятно, признают, что люди Негласного комитета, с их неудачами, с их слабостями, с их любовью к громкому слову, входили в очень большую российскую традицию, которой и на Западе, пожалуй, не было равной. Эта традиция на территории России кончилась с октябрьским переворотом. Возродится? Может быть. Скорее, однако, никогда не возродится.

В этой среде возникла и мысль о Лиге Наций. Не обязательно быть фанатическим поклонником Женевского учреждения, — пишущий эти строки не опасается зачисления в список фанатических поклонников. Но какая же культура может отказаться от заявления авторских прав, хотя бы и очень отдаленных, на идею, столь нашумевшую в мире?

III.

Напомню в нескольких словах международное положение того времени. Амьенский мир был расторгнут, по утверждению французов, Англией, по утверждению англичан, — Францией. Наполеон собирал в Булони для переброски через Ла-Манш силы, которые в ту пору считались огромными. 21 марта 1804 года был расстрелян герцог Энгиенский. Теперь в Париже и в других французских городах есть улицы, названные в память герцога, и есть другие, названные в память

* Майорат — форма наследования недвижимости, при которой она переходит полностью к старшему из наследников. — *Прим. ред.*

главных его убийц. Но тогда это событие вызвало ужас и негодование, поделив мир на два лагеря. Шведский король Густав заявил протест и, не получив ответа, велел вручить французскому поверенному в делах ноту, в которой говорилось о «неприличных и дерзких действиях господина Наполеона Бонапарте». Заявила протест против расстрела герцога и Россия, — Талейран ответил ядовитым намеком на цареубийство 11 марта. Настоящей войны еще не было, но дело шло к настоящей войне.

Историки, по обычаю, долго и безрезультатно спорили, кто именно был ее главным виновником. Есть труды, в которых Наполеон изображается профессиональным пацифистом вроде гр. Куденгова-Калерги. Эти труды забавны — и только. Однако можно считать установленным, что французский император не так уж стремился в ту пору к войне. И то же самое можно считать установленным относительно Англии, России, Австрии. Указываемые историками социально-политические причины войны довольно ничтожны, по сравнению с ее последствиями и жертвами, — это бывает довольно часто. Психологией большая история занимается мало, предоставляя ее так называемой малой истории. Из мемуаров же вывод о преобладавшем тогда настроении можно сделать приблизительно такой: «Мир дело хорошее, но при случае отчего бы и не повоевать?»

Большая история ставила вопрос: нужна ли была война правящим классам александровской России? Сколько-нибудь разумный ответ, конечно, говорил: нет,нисколько не была нужна. Но обратимся наудачу к малой истории, — вот отрывок из частного письма ничем особенно не замечательного русского молодого человека (князя Михаила Долгорукого). Он впервые попал в Париж и в полном восторге писал оттуда (по-русски) сестре: «Описать тебе образ жизни, который я здесь веду, удовольствия, развлечения в Париже, дурачества на масленице, на маскарадах, любезности, которые мне говорят маски, удивление всех и каждого, что в России говорят по-французски так же хорошо, как в Париже; что в такой дали есть люди порядочные; высказать тебе невежество молодых людей, которые думают, что Петербург в Сибири; передать тебе любезности женщин, совершенство танцев, говорить тебе о тех, может быть, пятидесяти дамах, которых я посе-

тил, где я отлично принят и где уже не чужой; говорить тебе о г-же Стааль, к которой иду сегодня вечером, о Лагарпе, которого увижу завтра, об академиях, лицеях, музеях и пр. и пр., — да, пересказать все это для меня невозможно». Казалось бы, хорошо: и пятьдесят дам, и «академии, лицеи, музеи», и уж никаких следов ненависти к «жакобенам» (они же «якубинцы»). Однако в том же письме мы читаем: «Не воображай, что я очень влюблен, нет, наперекор женщинам, наперекор черту я чувствую, что во мне есть страсть сильнейшая, это — страсть к войне, я чувствую, как моя кровь бьется и как не по мне такое место, где чересчур много забав».

Политическая история разъясняет, что Амьенский договор был расторгнут главным образом из-за Мальты, — это из-за крошечного острова две великие державы вели в течение десятилетия борьбу не на жизнь, а на смерть. Точно так же и русские правящие классы не могли примириться с тем, что «Генуя и Лукка стали не больше как поместьями фамилии Бонапарте». Экономическая история добавляет ряд ценных соображений о вывозе русских продуктов (в частности, пшеницы и пеньки), настоятельно диктовавшем русским помещикам коалицию с Англией из элементарного классового интереса. Нисколько не оспаривая этих соображений, мы, быть может, вправе, «в порядке поверхностного и вульгарного подхода к историческим событиям», остановиться и на приведенном выше письме рядового представителя правящих классов России, — думаю, кое-что в причинах войны объясняет и оно. Психология молодого Долгорукова не слишком тесно связана с «Генуей и Луккой», с пшеницей и пенькой. Он, кстати сказать, был очень скоро убит в сражении и, по всей вероятности, так и не успел извлечь классовых выгод от коалиции с Англией.

Я цитирую это письмо потому, что его настроения имели, конечно, некоторое сходство с настроениями членов Негласного комитета и Александра I: с одной стороны, Лагарп и «академии», Париж чудесный город, французы очень милый народ, пусть делают у себя что хотят. С другой стороны, отчего бы и не повоевать? Страшно вымолвить: что, если следы такой психологии были в молодости и у самого Питта? Ведь в ту пору, как он в качестве первого министра Англии стал делать мировую историю, ему было 23 года!

Теперь он, в этом возрасте, не везде в Европе имел бы избирательное право.

Выводы из малой истории, не скрываю, могут быть сделаны неутешительные. Да вот, хотя бы сейчас, сколько молодых (и не молодых) немцев в «Стальной Каске» или в боевых дружинах Гитлера воспринимают жизнь приблизительно так же, как ее воспринимал 130 лет тому назад князь Михаил Долгорукий. Разумеется, та война была иная: с приключениями, с передвижениями, с раззолоченными мундирами, с кавалерийскими атаками. Но зато были у нее и другие стороны, которых теперь нет и которые воображение прельщать не могли: тогда операции, например, производились без наркоза и лазареты были настоящим адом. Притом воображение вещь капризная. Позволю себе привести отрывок из старой своей статьи 1918 года: «Последняя война, война войн!.. Мир бесконечно устал от побед и поражений, от Цорндорфов и Кунерсдорфов*. Генерал Бернгарди, doctor mirabilis** воинствующего пангерманизма, писал недавно статьи, под которыми охотно подписалась бы покойная Берта Сутнер. Но это ничего не значит. Люди отдохнут, подрастут младшие братья, все начнется, быть может, сначала».

По-настоящему тогда, как и теперь, добывались войны лишь немногочисленные группы людей в разных странах. В Петербурге настроения были разные. В ту пору и возникла мысль о поездке Новосильцева в Лондон.

Император Александр говорил, что «Россия и Англия — единственные державы в Европе, не имеющие враждебных между собой интересов», — изречение, явно свидетельствующее о непрочности основных правил, которыми определяется национальная политика. Англия уже находилась в состоянии войны с Францией. В Петербурге возникла мысль: нельзя ли все же примирить обе страны и образовать Лигу Наций? Каждой стране надлежало дать «наиболее свойственные границы». Надлежало также «определить ясно взаимные международные обязательства, которые имели бы силу закона для всех европейских держав и, в случае

* Цорндорф, Кунерсдорф — населенные пункты, вблизи которых происходили крупные военные действия во время Семилетней войны 1756—1763 гг.
— Прим ред.

** Здесь восторженный певец (лат.)

нарушения их кем-либо, обращали против него общие силы всего союза». Один из членов Негласного комитета писал в глубокой старости, что целью было «создание новой эры, основанной на всеобщем благополучии и на правах каждого». Наполеоновскому «безумию мировой власти» предполагалось противопоставить «политику, которая, если угодно, зародилась в безумии мира и справедливости».

Александр Павлович и Новосильцев не теряли надежды, что идея Лиги Наций может увлечь не только Питта, но и Наполеона. Если б она, однако, сердца Наполеона не зажгла, тогда — что же делать? — оставалось начать войну с Францией, — разумеется, последнюю войну. Новосильцев должен был выработать основы русско-английского союза.

IV.

Посол Негласного комитета выехал из Петербурга в Англию 23 сентября 1804 года, — это было в ту пору нелегким путешествием. Противный ветер загнал корабль снова в Кронштадт; Новосильцев направился вторично через Швецию и лишь 4 (16) ноября прибыл в Лондон. Прибыл — и тотчас оказался в политической атмосфере, весьма непохожей на петербургскую.

Русским послом в Англии уже лет двадцать состоял гр. С. Р. Воронцов. Это был замечательный человек, очень умный, независимый и порядочный. Подобно членам Негласного комитета, он был западником и либералом — но совершенно иного оттенка. В отличие от большинства русских западников, воспитавшихся либо на французской, либо на германской культуре, Воронцов был «англоман» (заметим, кстати, что слов «франкоман» и «германоман» у нас никогда не существовало). Петербургские недоброжелатели графа считали его даже совершенным англичанином, — говорили, что в нем и русского ничего не осталось: будто бы он сам это чувствовал и ежедневно за обедом съедал настоящий русский малосольный огурец, чтобы не потерять связи с родиной. Шутка как шутка, но в Англию гр. Воронцов был в самом деле почти влюблен. После разрыва Амьенского мира, когда десятки тысяч англичан стали записываться в армию добро-

вольцами, русский посол объяснял в докладе правительству: «Таково действие хорошего правления, при котором закон равен для всех, правосудие неподкупно, жизнь, честь и собственность каждого в полной неприкосновенности».

В Петербурге Воронцова считали противником самодержавной власти. Это было не вполне верно. Семен Романович действительно говорил, что такой огромной страной, как Россия, не может править один человек, будь это сам Петр Великий. Однако он возражал и против конституционных стремлений, утверждая, что «в неподготовленной, невежественной и развращенной стране» они непременно приведут к революции и к гибели государства. Дела императрицы Екатерины Воронцов совершенно не сочувствовал по самым разным причинам, в том числе и потому, что у власти были люди без роду и племени, Бог знает кто, «des Чулков». Не очень сочувствовал он и деятельности Негласного комитета. Программе-максимум Александра Павловича гр. Воронцов противопоставлял весьма скромную программу: он советовал царю возможно решительнее «исправлять нравы», распрощаться с просвещением, назначать умных министров и честных чиновников. «Надо прогнать идиотов» («il faut congédier les idiots»), — сокращенно выражает он свой совет. Это, конечно, была программа-минимум.

Добавлю, что и в такую программу русский посол в Лондоне верил, кажется, довольно плохо. Граф Воронцов был пессимист, что не очень вяжется с англоманством: англоманство (не говорю, разумеется, английский дух), по существу, включает в себя систему Куэ*, по крайней мере в области политической. Англоман должен находить, что все идет очень хорошо и с каждым днем будет идти все лучше и лучше. С. Р. Воронцов, напротив, склонялся к мысли, что все идет очень плохо и с каждым днем будет идти все хуже и хуже. В частности, он был убежден, что на Россию надвигается «революционная чума». «Мы ее не увидим, — писал он в 1792 году своему старшему брату, — но мой сын ее увидит. Поэтому я твердо решил научить его какому-либо ремеслу, например, слесарному или столярному. Когда его вассалы ему заявят, что он им больше не

* Куэ Эмиль (1857—1926) — французский психотерапевт. Его система — метод излечения самовнушением — *Прим ред*

нужен и что они желают разделить между собой его земли, он будет своим трудом зарабатывать хлеб, да еще получит почетное назначение на службу в будущий муниципалитет в Пензе или в Дмитрове. Ремесло лучше ему пригодится, чем греческий и латинский языки или математика». Сын графа не стал ни столяром, ни слесарем — он стал светлейшим князем, генерал-фельдмаршалом и кавказским наместником. Однако мы теперь не будем утверждать, что Воронцов уж так грубо ошибался, — вот только времени он не рассчитал, да еще идиллию пензенского муниципалитета, после восстания «вассалов», представлял себе не совсем точно (если не делать поправки на меланхолическую иронию Семена Романовича).

Писал все это Воронцов на французском языке. По-русски он писал редко, по-старинному, не очень правильно, но чрезвычайно ярко. Французский язык он предпочитал всем другим, Францию же по-настоящему ненавидел, — эту ненависть просто трудно понять в таком умном человеке. Все зло в Европе граф приписывал «французской инфлюенции», что доходило у него и до смешного. Так, в Англии принц Уэльский, будущий король Георг IV, имел прочную репутацию кутилы. — в этом тоже были виноваты французы: они, писал (в виде исключения, по-русски) Воронцов, «стали с ним дружить, водить его по дурным местам, спаивать Шенпанским, и, наконец, сие дошло до такой наглости, что посол граф Адемар сам ходил с ним неоднократно в дома публичных женщин и беспрерывно давал ему ужины, где никто не вставал из-за стола, а всех выносили».

Надо ли говорить, что С. Р. Воронцов не мог особенно сочувствовать идее Лиги Наций? «Французская инфлюенция», вероятно, им чувствовалась и в этом проекте; да ему, по крайней мере, на старости лет стали неприятны все вообще грандиозные проекты: Россия далеко, и слава Богу, — пока ей еще не опасны «двадцать Франциев и столько же Англиев». «On a chez nous la rage de faire des alliances»*, — писал он брату в 1801 году. Во внешней политике Воронцов тоже предпочитал программу-минимум. Вдобавок поездка Новосильцева была, конечно, неприятна шестидесятилетнему дипломату и по личным причинам: послом в

* «У нас просто страсть к заключению союзов» (*фр*)

Англии был он, Воронцов, — зачем же сюда присылали нового человека гораздо его моложе?

В Петербурге это прекрасно понимали. Александр I недолюбливал Воронцовых, как недолюбливал всех вообще сановников, занимавших видные посты при императрице Екатерине. Однако он, вероятно, не хотел обижать старого посла. В Негласном комитете к Воронцову относились с большим уважением. Поручить ему переговоры о Лиге Наций было, разумеется, невозможно: его настроения были достаточно известны, и для такого дела вообще считался необходимым свой человек. Принято было решение — всячески замаскировать от посла настоящую цель поездки Новосильцева! Кн. Чарторьский, управляющий министерством иностранных дел, два раза (в письмах от 18 августа и от 10 октября) сообщал Воронцову, что Новосильцев едет в Англию преимущественно с научной целью. Возник даже своеобразный проект — придать этой поездке особый, вполне частный характер: Новосильцев мог быть подходящим женихом для молодой графини Воронцовой. По-видимому, и научное, и материальное объяснение поездки Новосильцева очень мало подействовали на посла: он оказал гостю довольно холодный прием.

Потом личные недоразумения, кажется, отпали; дело пошло на чистоту. Кн. Чарторьский в своих воспоминаниях пишет об упорной оппозиции их планам со стороны Воронцова. Письма Новосильцева к императору Александру I также полны жалоб на систематическое противодействие посла. «Довольно, ежели я скажу, — пишет царю Новосильцев (24 декабря), — что труднее и беспокойнее для духа и неприятнее я ничего еще не встречал».

Однако дело было все-таки не в Воронцове, а в Питте.

V.

Здесь очень сказалось то явление, которое французы передают труднопереводимым словом «*ambiance*». Дипломаты отлично это знают: для важных перегово-

* Приблизительно дух (*фр.*)

ров и теперь выбирают город с подходящей *ambiance* — что кому нужно: немцы предпочитают Гаагу, французы — Женеvu, Брюссель. Лондонская *ambiance* 1804 года довольно резко отличалась от петербургской.

Н. Н. Новосильцев при несомненном своем уме и способностях был человек чрезвычайно самоуверенный. По-видимому, он еще в Петербурге решил, что, в крайнем случае, если Питт не пойдет на уступки, можно будет его свергнуть при помощи разных тонких ходов и посадить в Англии другое правительство: добрая знакомая Новосильцева Ольга Жеребцова была, как известно, в близкой дружбе с принцем Уэльским. В первом же своем донесении царю (от 22 ноября) Новосильцев сообщает: «Теперь я обращаю старание мое на то, чтобы ввести в министерство лордов Гренвиля и Спенсера»... «Для доставления системе Вашего Величества нужной прочности я намерен сделать так, чтобы принц Валлийский, Фокс, лорд Мойра, Шеридан и Эрскин прицепились к оной сердцем и душою»... Он, очевидно, хотел править Англией при помощи своих людей! Полузакулисное пребывание на верхах власти в Петербурге несколько вскружило голову Новосильцеву. Легко было строить колоссальные планы в беседах с 27-летним русским императором. В Англии колоссальных планов необычной новизны не любят. Престарелый Дизраэли, принимая молодых государственных людей, являвшихся к нему на поклон, философски их поучал: «В этой стране можно сделать вот столько, — он чуть приподнимал одну ладонь над другой, — а вот столько уже нельзя», — добавлял многоопытный старик, приподнимая ладонь еще на несколько сантиметров.

До нас, к сожалению, не дошли беседы Новосильцева с Воронцовым. Есть, однако, основания думать, что пессимист посол сразу несколько охладил своего пылкого гостя. Вероятно, Воронцов объяснял Новосильцеву, что иностранцу свергнуть Питта никак нельзя, даже при помощи приятельницы принца Уэльского. Должно быть, Семен Романович вытаращил глаза, узнав (позднее) и о плане нового устройства мира: Лига Наций? Какая Лига Наций! «On a chez nous la rage»... и т. д. Но это лишь мои предположения. О разговорах же с Питтом сам Новосильцев довольно подробно рассказал в докладах, посылавшихся им в Петербург. К сожалению, доклады эти целиком не напечатаны, и

восстановить (очень неполно, быть может, и не совсем точно) картину беседы мы можем лишь по отрывкам, напечатанным у Мартенса и у Богдановича, да еще по воспоминаниям Чарторьского.

Питт твердо решил на борьбу с Францией до конца. Вдобавок и рассуждать ему больше не приходилось: Наполеон собрал большую армию в Булони, переброска ее через Ла-Манш считалась тогда делом трудным, но возможным, а успех высадки означал бы конец Англии как великой державы: через три дня французы, наверное, были бы в Лондоне. Требовалось спешно создать европейскую коалицию для отвлечения сил Наполеона. В этом деле главные надежды Питт возлагал на Россию. Он готов был даже поделить с ней преобладающее влияние в мире: в те времена историческим врагом считалась Франция. Глава английского правительства знал, что в Петербурге существовали разные настроения. Говорилось и о разделе Турции с провозглашением Александра Павловича императором всех славян. Против титулов Питт ничего не имел. Он согласился бы и на более реальные уступки — но, разумеется, без излишества.

Разговоры о распространении русского влияния на Балканы шли и в Негласном комитете, — там все было не совсем определено: Лига Наций не исключала всеславянского царства. Насколько можно судить, именно Новосильцев был главным «реалистом» Негласного комитета. У Чарторьского, у Строганова, быть может и у царя, на первом плане стояло переустройство Европы на новых началах «народного права». Новосильцев разделял эти мысли, но ударение он, кажется, еще в Петербурге ставил не совсем там, где его ставили другие. В Лондоне же это ударение у него стало перемещаться с необычайной быстротой, — главным образом, вследствие новой *ambiance*.

Первый министр, по-видимому, прямо начал беседу с практических дел. Для борьбы с Наполеоном одних русских сил недостаточно; надо привлечь Австрию и Пруссию. Необходимо поэтому выяснить, какую приманку им можно дать («*les appâts qui pourraient les tenter*»).

Это начало разговора вызвало у Новосильцева некоторую неловкость, — он еще не отвык от языка Негласного комитета. Русский уполномоченный ответил, что так можно впасть в исконный грех («*retomber dans*

le défaut des premiers temps»): если начнется новое расчленение Европы, если каждый будет стремиться к тому, чтобы извлечь для себя выгоду, то трудно будет установить в мире новый порядок и народное право.

Питт, вероятно, был несколько удивлен, — быть может, и он к тому времени еще не потерял способности удивляться. Но в особое смущение не мог привести его и этот неожиданный язык — «музыка будущего», шедшая из Зимнего дворца в Петербурге: после 17-летнего пребывания на посту первого министра Англии он, наверно, привык ко всяким языкам и с любым человеком мог говорить так, как было удобнее и лучше (привык же Клемансо к языку Вильсона). По крайней мере, когда возникла речь о «новом международном кодексе», первый министр заявил, что всей душой сочувствует этой превосходной мысли. Правда, он выразил и некоторое сомнение: согласится ли какая-либо могущественная держава принять обязательное посредничество в важных международных спорах. Тем не менее Питт оказался горячим сторонником идеи Лиги Наций. Во всяком случае, это было дело будущего. Вопрос о приманках для Австрии и Пруссии требовалось разрешить теперь же. Со своей стороны, Новосильцев пошел на уступки: некоторые предложения этим странам, конечно, могли бы быть сделаны. Ударение начало перемещаться.

Затем дело коснулось целей самой России. Питт, по-видимому, держался очень настороже во все время этой беседы, которая для него и для Англии имела огромное значение. Он сказал в не очень определенной форме, что, по его сведениям, в Петербурге существует план раздела Турции и овладения Константинополем.

Новосильцев это отрицал, — думаю, вполне искренно: подобные разговоры в Негласном комитете могли быть, но формы ясного политического плана они не принимали. Русский уполномоченный решительно заявил Питту, что император Александр не ищет для России никаких выгод и не думает об овладении Константинополем. Речь может идти только о русском покровительстве проживающим в Турции христианам.

Ответ не вполне удовлетворил главу британского правительства. «Было много примеров, — сказал он. — что покровительство над страной оканчивалось ее покорением».

Ударение у Новосильцева резко метнулось в сторо-

ну. «А если бы даже и так, — возразил он, — то вам ли, лучшим друзьям нашим, тревожиться нашими успехами? Разве Англия оттого понесла бы потерю?»

Эти слова явно не понравились первому министру, хоть и исходили они от лучших друзей Англии. «Было бы весьма неосновательно, — сказал Питт, — помышлять об осуществлении подобных планов в такое время, когда следует убедить все державы, до какой степени ужасны подобные нарушения народного права».

Таким образом, первый министр, столь быстро ставший горячим сторонником Лиги Наций, уже пользовался ее основными принципами в переговорах с теми людьми, которые эти принципы выдвинули! От «если бы даже и так» Новосильцев легко отказался, — это в самом деле не очень сообразовалось с народным правом. Но при полном единодушии в принципиальных вопросах нельзя было сразу отказаться от попытки увлечь идеей Лиги Наций вслед за Питтом и второго пацифиста — Наполеона. Разумеется, при условии, что Франция будет введена в свои «естественные границы».

Против этого Питт несколько не возражал, — он, вероятно, вполне ясно представлял себе, какой успех это предложение, с естественными границами, может иметь у французского императора. Диалог был приблизительно такой: — Русский уполномоченный желает съездить в Париж для того, чтобы убедить Бонапарта? Прекрасная мысль. — Но кого же первый министр назначит для ведения переговоров от имени Англии? — Кого назначит? Да его же, Новосильцева. Отчего бы ему не представлять при этих переговорах сразу и Англию, и Россию?

Новосильцев был в восторге. «Если б Бонапарте не согласился на сделанное ему предложение, — писал он Чарторыскому 8 января, — то я буду иметь полную возможность сорвать с него маску и показать всем желающим видеть, что он только чудовище». Будет война, — что ж, война так война. Вообще в Лондоне все шло превосходно. «Принц Валлийский сказал Жеребцовой, что он ничего так не желает, как познакомиться со мною» (письмо Чарторыскому от 25 ноября). «Система Вашего Величества сделается здесь национальной системой... Здешнее министерство не осмелится противиться Вам ни в чем» (донесение царю от 24 декабря). Правда, система, завоевавшая Англию,

стала в Лондоне несколько иной. Новосильцев пишет теперь о войне с Францией так, как будто ни о чем другом никогда речи не было и не могло быть. Не приходится удивляться тому, что к этой системе Питт прилепился сердцем и душою.

VI.

Как ни трудно этому поверить, Новосильцев был убежден, что выполнил свою миссию «самым чудным образом» (письмо к Чарторыскому от 8 января 1805 года). Трудно сказать с уверенностью, разделяли ли его удовлетворение император Александр и члены Негласного комитета. Впоследствии, через много лет, князь Чарторыский весьма резко отзывался о лондонской работе Новосильцева: он не выполнил своего задания, он не отстоял новых идей в споре с британским правительством, он даже не спорил о них с Питтом, а что-то «едва пробормотал». Но это Чарторыский писал на склоне дней. В 1805 году он говорил совершенно иное. «Трудно было или, лучше сказать, невозможно было лучше исполнить данное вам поручение», — писал он Новосильцеву 4 февраля.

Между тем, повторяю, и Новосильцев и Чарторыский были бесспорно умные и идейные люди. Их слабость заключалась в том, что каждый из них верил не в одну, а в две идеи, не совсем между собой совмещавшиеся. В упрощенном и огрубленном виде я это выше передал словами: «Мир дело хорошее, но отчего бы при случае и не повоевать?» У Питта в 1804 году была только одна идея — война с Францией, — что и создавало его огромное преимущество над Новосильцевым.

У Новосильцева в Лондоне процесс перемены настроения шел быстро. У царя в Петербурге он медленнее, однако шел. Разумеется, менялась и политическая обстановка. По счастливому выражению Гюго, Наполеон опьянил историю, — в 1804—1805 годах она действительно шаталась как пьяная. В союзе с Англией и Австрией война против Франции казалась императору Александру беспроигрышным делом. Поводы для войны появлялись каждый день. Правда, они были налицо в достаточном количестве и прежде, — в поводах, слава Богу, никогда недостатка не бывает.

Как бы то ни было, из писем Чарторыского к Новосильцеву ясно видна перемена петербургских настроений. Влияние Негласного комитета ослабело, очень усилилось давление со стороны «старорусской партии». Чарторыский жалуется на происки Державина, которого называет «прощелыгой», — знаменитый поэт в политике не любил возвышенных замыслов. Скажем большевикским языком: «Кобленцкая гидра подняла голову».

Собственно, Кобленца в ту пору уже не было. Он давно расслоился. «Лига дураков и фанатиков», как писал в свое время о подлинном Кобленце эмигрант Малле де Пан, численно очень сократилась. «*Persuadés que sans les gens d'esprit on n'eût jamais eu de révolution, ils espèrent la renverser avec des imbéciles*»* — эти злые слова эмигранта, сказанные в 1796 году, восемью годами позднее уже стали анахронизмом. Французская эмиграция больше на дураков не ставила, да и в ней «дураки и фанатики» не преобладали. Современный историк (далеко не правый по взглядам) пишет, что четыре наиболее своеобразные книги конца XVIII и начала XIX века были написаны французскими эмигрантами. Думаю, что эта оценка преувеличенно лестна. Однако не следует отождествлять всю эмиграцию с «Кобленцем».

Говорю это, разумеется, отнюдь не в качестве эмигранта. Злополучное сравнение нынешней русской эмиграции с французской причинило нам немало вреда. По существу, это совершенно различные явления, почти во всем, начиная с численного состава. Но если признать это основное положение, то нет никакой надобности всячески с ужасом открещиваться от сходства в малом и второстепенном, в частности, в тех случаях, когда это сходство имеет жутко комический характер. Огорчит ли «Третью Россию» то обстоятельство, что историческая литература о французской эмиграции знает выражение «Третья Франция»? Может быть, и не всем евразийцам известно, что у некоторых французских эмигрантов, особенно разочаровавшихся в западном мире, появилась «тяга на восток»? Сам Жозеф де Местр с восторгом восхвалял Азию, «землю энтузиазма». Он даже говорил об «азиатских кузенах», хоть и не состоял ни в каком родстве с Чингисханом.

* «Убежденные в том, что без умных людей революции не бывает, они надеются ее задушить с помощью дураков» (фр.)

На долю французских эмигрантов везде выпало немало горечи и обид. В России, думаю, обид было меньше, чем в других странах. Однако почти в то самое время, когда возникла мысль о поездке Новосильцева в Лондон, глава низвергнутой династии, будущий король Людовик XVIII, просил у императора Александра I разрешения устроить семейно-политический съезд Бурбонов в Вильне и получил решительный отказ, составленный в самых сухих выражениях: «Не скрою от вас, — писал император, — что сделанное мною вам и повторяемое ныне предложение поселиться в моем государстве, если пребывание ваше в других странах не может длиться, имело единственной целью предоставить вам мирное и спокойное убежище, — причем не было бы речи о действиях, подобных тем, которые вы намерены предпринять». Это напоминает позицию французских радикалов в отношении русских эмигрантов. Да, собственно, тон ответа отчасти и объяснялся радикализмом Александра I и еще его личной антипатией к Бурбонам. Некоторое недоверие к политической деятельности эмигрантов, «как таковых», у царя было (замечу, кстати, что оно слегка чувствуется и в трудах великого князя Николая Михайловича). Но, как к людям, к ним (за исключением Бурбонов) Александр Павлович относился благожелательно и на свою службу принимал их охотно. Достаточно напомнить, что герцогу Ришелье было предоставлено управление чуть ли не всей Южной Россией, — для сравнения (с разными поправками на время, обычаи и т. д.) представим себе, что русский эмигрант был бы теперь назначен вице-королем Индии либо генерал-губернатором Алжира! В петербургском обществе французские эмигранты имели и преданных друзей, и настоящих ненавистников, — граф Ростопчин, например, писал о них почти в таком же тоне, в каком «Humanité» пишет о «белобандитах».

Влияние французской эмиграции в Петербурге отчасти объяснялось родственными связями. Сен-Прист был женат на Голицыной, Ланжерон на Трубецкой, Кенсонна на Одоевской, Моден на Салтыковой, Брюж на Головкиной. Другой причиной было то, что в России, как во всех странах Европы, эмигрантский план реставрации Бурбонов встречал деятельных друзей. Были и еще причины. Вдобавок французская эмиграция, как Питт, не имела раздвоенного сознания.

Ставила она в разное время на разные карты; но одна ее ставка, ставка на войну, оставалась неизменной, и ее французская эмиграция выиграла. Не все ведь тонет и при потопе.

«Кобленцкая гидра», ропот русской партии, воинственное настроение молодежи, начинавшееся разочарование царя в идеях Негласного комитета, личное его раздражение против Наполеона, захват французами Генуи — все это сплелось: поездка Новосильцева в Париж не состоялась. Она, разумеется, ничего и не изменила бы. Разговоры о Лиге Наций кончились, начиналась европейская война. Оставалось только заключить договор о союзе между Россией и Англией. Эту задачу Новосильцев выполнил прекрасно: тут он знал твердо, чего хочет, и при спорах победителем чаще оказывался он, чем Питт. Союз, разумеется, был объявлен «вечным». Такова традиция.

В договоре (четвертый параграф особой, секретной статьи) остался и последний письменный след Лиги Наций 1804 года. В очень туманной форме там говорится, что в Европе следует установить «федеративную систему, обеспечивающую независимость слабых государств» и т.д. Это явно никого ни к чему не обязывало — и не обязало. Однако нам теперь не приходится проявлять особую строгость. Не приходится и пространно излагать смысл исторического урока 1804 года. Замышлялась Лига Наций с всеобщим миром и с «охранением народной правоты». Вышла европейская война, продолжавшаяся десять лет. Я не утверждаю: «Так было, так будет». Но все же трудно отказать в некоторой поучительности этой главе из истории русского либерализма.

Шарль Пишгрю



Генерал Пишегрю

F-7

В серых запыленных коробках лежат папки с делами. Исписанная бумага покрыта пометками, штемпелями, печатями. Число прибытия, число отправки, иногда резолюция властей на полях. Обыкновенные «входящие» и «исходящие», — что с того, что они как бы писаны кровью? С некоторыми из этих бумаг серии F-7 так или иначе связаны убийства, расстрелы, гильотина, пытка. Это полицейский архив времен Французской революции. Трудно поработать здесь месяц-другой — и не стать на всю жизнь мизантропом.

Некоторые «досье» в этом архиве терпеливо составлялись десятилетиями. Но с первого взгляда на документ по обращению и приветствию сразу видишь, в какую эпоху попал. В серии есть бумаги, оставшиеся еще от дореволюционного строя. Тогда выражались цветисто: «Et je suis, Monsieur le Marquis, votre très humble et très obéissant serviteur...»^{*} Через несколько лет та же рука пишет: «Salut et fraternité»^{**} (революционные ухари писали сокращенно: «Sal. et frat.»). Еще десятилетие: «A Sa Majesté Napoléon le Grand...»^{***} Дальше читать не надо, будет опять: «Et je suis, Monsieur le Marquis...» Все кончилось нашей эпохой «cher Monsieur»^{****} — и слава Богу. Но документы нашего времени здесь никому не показываются^{*****}.

Много сохранилось от революционной эпохи и шифрованных документов. Есть также бумаги, побуревшие от огня. Люди, которые их писали, имели основания скрывать свои сообщения. И другие люди имели

^{*} «Остаюсь, господин маркиз, совершенно преданным и послушным вашим слугой » (фр)

^{**} «Привет и братство» (фр)

^{***} «Его Величеству Наполеону Великому . » (фр)

^{****} «Дорогой господин» (фр)

^{*****} Номер F-7 относится ко всему архиву французской полиции К документам последнего полувека исследователи совершенно не допускают. Архив 1830—1870 гг почти целиком погиб во время парижского пожара. Зато от времен революции уцелели сотни тысяч документов.

основания этими сообщениями чрезвычайно интересоваться. Одни писали невидимыми симпатическими чернилами, другие проявляли пережваченные письма огнем. Попалась мне папка (6146, № 7), которая вся состоит из таких документов. К ней и прикоснуться невозможно: обожженная бумага так и рассыпается в руках.

Коробки, связанные с настоящим рассказом (6144—6, 6271—6 и 6391—6405), относятся к очень мрачной кровавой драме. В ней некоторые страницы изучены историками превосходно, другие почти вовсе не изучены. Психологическое же ее содержание нам гораздо понятнее, чем современным французам. В нас она рождает весьма близкие сопоставления. Предоставляя их читателям, я по возможности кратко расскажу самую трагическую жизнь революционного времени.

I.

Родители Шарля Пишегрю, как и все его предки, были небогатые крестьяне. При чьей-то поддержке его удалось определить в среднюю школу. Он обнаружил там большие способности, особенно к математическим наукам, и, окончив курс, получил место репетитора в Бриеннском военном училище, где в числе его учеников был, правда очень недолго, Наполеон Бонапарт. Определенного призвания молодой Пишегрю в себе не чувствовал. Педагогическая деятельность его не соблазняла; хотел он было стать монахом, но не стал и неожиданно для своих близких двадцати лет от роду пошел в солдаты. Пишегрю поступил в артиллерию и прослужил нижним чином десять лет. Начальство очень его отличало, он храбро сражался в Америке с англичанами, но выйти в офицеры при старом строе не мог, не будучи дворянином. Революция застала Пишегрю сержантом. Она очень изменила его карьеру.

Он стал делать то, что делали в ту пору все: выступал на митингах, говорил горячие речи. На него обратили внимание. Начиналась революционная война. Батальон безансонских добровольцев избрал Пишегрю своим командиром. Он мог наконец себя показать: через два года сержант стал дивизионным генералом. Ему было поручено командование армией, затем группой армий. Пишегрю шел от победы к победе. С революционным правительством он ладил недурно.

Сам Робеспьер оценил его «цивизм», Сен-Жюст очень его любил. Но и с людьми, которые отправили Робеспьера и Сен-Жюста на эшафот, у Пишегрю тоже установились добрые отношения. Не слишком ненавидели его и в противоположном, роялистском лагере. До нас дошли, кажется, только два указания (и то не очень злобные) на «зверства», якобы совершенные Пишегрю. Из этого обстоятельства почти безошибочно можно сделать вывод, что никаких зверств он не совершал: в противном случае, при полемических нравах гражданской войны обличения встречались бы десятками. Есть и прямые указания (даже со стороны врагов) на то, что Пишегрю вел себя в походах как культурный и порядочный человек. Ему, например, предлагали не брать в плен англичан, — он отказался последовать этому предложению. У населения завоеванных им земель Пишегрю тоже оставил добрую славу.

Сен-Жюст, который предписывал революционным генералам «спать, не раздеваясь», и сам для примера питался на фронте сухарями, очень ценил спартанский образ жизни Пишегрю. Эта оценка, по-видимому, не делает чести проницательности революционного комиссара. У нас есть свидетельства о том, что Пишегрю не так уж блистал спартанскими добродетелями. Один из его сослуживцев, генерал Тибо, говорит с восторгом, что Пишегрю выпивал за столом «*sans bravade*»* от пятнадцати до восемнадцати бутылок вина, — на счет того, сколько он мог выпить «*avec bravade*»**, остается только делать предположения. Очень любил генерал и женщин. О многих дамах того времени в разных мемуарах упоминается: «была, по слухам, любовницей Пишегрю». Один исследователь откопал даже газетное объявление, при помощи которого главнокомандующий подыскивал себе подруг «в возрасте от пятнадцати до двадцати лет». Генерал Сен-Сир упоминает о «*honteuses débauches de Pichegru*»***. Сам Пишегрю как-то в ответ на вопрос, для чего люди воюют, философски сказал: «*Pour les délices de coquiner*»****.

Спартанцем Пишегрю, конечно, не был, однако отнюдь не должно представлять себе его буйным кути-

* «Без бравады» (фр.)

** «С бравадой», на публику (фр.)

*** «Постыдные выходки Пишегрю» (фр.)

**** «Для удовольствий плутовства» (фр.).

лой, весельчаком или пьяницей. Это был человек очень сдержанный, холодный и замкнутый. Отличаясь природным умом, он выделялся среди своих сослуживцев и образованием. Он много читал, в особенности, конечно, древних классиков: это тогда было так же обязательно, как, например, теперь читать Пруста или у нас когда-то «Что делать?».

О военных талантах Пишегрю некоторые из его сверстников (и конкурентов) отзывались довольно пренебрежительно. Но если бы о выдающихся людях судить по тому, что о них говорили их сверстники и конкуренты!.. Напротив, Наполеон, которого очень трудно заподозрить в симпатиях к Пишегрю, ставил его чрезвычайно высоко: по-видимому, как тактик, он был предшественником Бонапарта. Очень ценили Пишегрю и в английской, и в русской, и в австрийской армиях. Не подлежит сомнению, что он был человек исключительно храбрый, — храбрость свою он доказал всей жизнью. Добавлю, что Пишегрю был атлетического телосложения и обладал огромной физической силой; это он также доказал в свой роковой день.

На вершины славы подняла Пишегрю кампания 1794—1795 годов. В течение нескольких месяцев он завоевал Голландию, занял Утрехт и Амстердам и — что всего эффектнее — завладел голландским флотом: в этот год стояла очень холодная зима, реки и каналы замерзли, замерз и залив Зейдер-зе, в котором застряла голландская эскадра, собиравшаяся перед приближением неприятеля уйти в Англию. По приказу Пишегрю высланная вперед кавалерийская дивизия в конном строю по льду атаковала неприятельскую эскадру и заставила ее сдаться. Это, вероятно, единственный случай в военной истории, когда флот был взят в плен кавалерийской атакой. Пишегрю стал популярнейшим из французских генералов. Конвент осыпал похвалами победоносного полководца. Называли его и героем, и римлянином, и спасителем отечества.

II.

В ту пору британское правительство уже плохо верило в возможность военной победы над Францией. В борьбе с революционными войсками союзная коалиция терпела неудачу за неудачей. Французский на-

род, правда, тяготился войной. Но не менее тяготился ею и народ английский. В Лондоне шумные демонстрации шли под лозунгом «Долой войну! Долой Питта!»... Британский премьер не мог показаться на улицу. В октябре 1795 года при открытии парламента был освистан толпою сам король — случай в Англии весьма необыкновенный. Питт все чаще подумывал о соглашении с «более благоразумной частью разбойников». И ему, как и его товарищам по кабинету, все яснее становилась необходимость той тактики, которую старичок коллежский советник в «Капитанской дочке» выражает словами: «Не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно. Ваше Превосходительство, двигайтесь подкупательно».

Это была, впрочем, издавна любимая тактика Питта. Первый министр Великобритании верил в очень немного. Но в деньги он верил твердо. Соответственно влияли на Питта и некоторые французские эмигранты, часто предлагавшие подкупить то или другое лицо. Один из эмигрантов позднее предлагал подкупить самого Бонапарта — и притом по сходной цене: всего за 240 ливров. И британское правительство, и будущий король Людовик XVIII, и командующий армией эмигрантов принц Конде очень внимательно относились к такой информации. Для них весной 1795 года оказалось необыкновенно приятным сюрпризом сделанное им агентами в глубокой тайне поразительное сообщение о том, что главнокомандующий рейнской и мозельской армиями, завоеватель Голландии, знаменитый генерал Пишегрю очень недоволен революцией и что с ним можно поговорить.

Сообщение это было верно.

III.

Современники и историки не раз задавались вопросом, какие именно причины побудили генерала Пишегрю вступить в тайные сношения с Бурбонами, с британским правительством и с союзной коалицией. Указывалось, например, на то, что революционные власти как раз обошли генерала в деле, связанном со служебным производством: вместо него на должность инспектора артиллерии было назначено другое лицо.

Сен-Сир утверждает, что главнокомандующий рейнско-армией просто продался за деньги, нужные ему для развратной жизни. Историки-роялисты, напротив, предполагали в Пишегрю искреннюю симпатию к старому строю и к принцу Конде, который когда-то лично произвел его в сержанты. Все это довольно неправдоподобно. При старом строе Пишегрю выслужился из рядовых в сержанты за десять лет. Революция в два года сделала его из сержантов главнокомандующим. При таких условиях очень трудно объяснить переход честолюбивого полководца на сторону Бурбонов обидой за недостаток внимания со стороны революционных властей или особенной его благодарностью принцу Конде за пожалование сержантского чина. Не так просто объяснить действия генерала и корыстью. Пишегрю нельзя назвать бесчестным человеком. Не был он и жаден к деньгам, да и, наконец, в его положении при столь распространенном тогда взяточничестве и казнокрадстве он, конечно, имел более простые и безопасные способы наживы, чем получение денег от англичан. Мы знаем также, что позднее Пишегрю отказался от миллиона ливров, которые британский агент просил его принять в бесконтрольное распоряжение «для дела»^{*}. Мне кажется, главнокомандующий был просто уверен в непрочности революционного строя. Сам он был сторонником конституционной монархии.

Агент принца Конде Фош-Борель в своих воспоминаниях подробно описывает, как он в августе 1795 года явился к Пишегрю с первыми предложениями Бурбонов. Генерал находился в замке Блотггейм у одной из своих любовниц, госпожи Соломон. Фош-Борель ухитрился проникнуть к нему под видом поставщика шампанского. Дело было весьма рискованное: легко было попасть и под ружье. Для начала Фош-Борель, волнуясь, понес ерунду то о шампанском, то о какой-то неизданной рукописи Жана Жака Руссо, с которой он хотел бы познакомить гражданина генерала. Пишегрю слушал с благодушным недоумением. «Рукопись Руссо? Я не знал, что есть еще неизданные рукописи Руссо... Надо посмотреть... Я Руссо принимаю не целиком...» Фош-Борель наконец собрался с духом и сообщил, что, кроме шампанского и рукописи Руссо, у него есть еще важное поручение к

^{*} В момент ареста у него ничего не было, кроме долга в 600 франков

гражданину генералу... «От кого?» — «От принца Конде!!!»

Пишегрю не отправил Фош-Бореля на расстрел. Напротив, он очень внимательно его выслушал. Награды, выработанные принцем, были соблазнительны. Конде именем короля обещал генералу чин маршала Франции, миллион наличными деньгами, сто тысяч годовой ренты и т. д. За это Пишегрю должен был провозгласить монархию, заключить перемирие с австрийцами, сдать им в залог важную крепость и двинуть армию на Париж. «Rien que ça?» — спросил в первую секунду главнокомандующий. Однако выражение иронии с его стороны этим и ограничилось. Через десять дней в руках принца Конде была краткая собственноручная записка Пишегрю следующего содержания: «Z получил бумаги X и рассмотрит их, чтобы использовать при подходящих обстоятельствах. Он предупредит об этом X»...

Я видел в замке Шантильи** подлинник этой записки, сыгравшей столь страшную роль в жизни Шарля Пишегрю. На неровно сложенном листе тонкой голубоватой бумаги нервной торопливой рукой набросаны три строчки... В дальнейшем главнокомандующий переписывался с Конде при помощи шифрованных записок. В продолжительной переписке, связанной с этим делом, Пишегрю называется «Батист» или «Дзет», Конде — «Икс» или «Буржуа», Бонапарт — «Элеонора». Деньги именуется «патриотизмом» (в чем можно усмотреть и эпиграмму). Требования принца казались неосуществимыми Пишегрю. Легко было сказать — «повести армию на Париж». Еще надо было знать, пойдет ли на Париж армия. Пишегрю все давал Бурбонам советы умеренности и благоразумия, которые, кажется, чрезвычайно их раздражали***. Генерал по-

* «И только-то?» (фр.)

** Род принцев Конде, как известно, угас сто лет тому назад: последний представитель рода, отец расстрелянного герцога Энгиенского, повесился (или был повешен) в очень загадочных условиях в 1830 году. После его смерти родовой замок Шантильи со всеми его богатствами перешел по наследству к герцогу Омальскому, сыну Людовика Филиппа и внуку Филиппа Эгалите. Волей судеб имущество главного защитника монархии досталось внуку пареубийцы! В замке этом находятся архивы принца Конде, командовавшего эмигрантской армией. Консерватор замка, г. Маков, любезно разрешил мне ознакомиться с архивом. Бумаги, относящиеся к делу Пишегрю, переплетены в два толстых тома (33 и 34).

*** На одном из писем Пишегрю к принцу (т. 34, док. 8, лист 46) чьей-то рукой (однако не рукой самого Конде) сделана пометка в злобно-ироническом тоне: «От этого обожаемого Дзет».

стоянно высказывался в защиту конституционных принципов и ждал «эволюции общественного мнения». В связи с этими настроениями он подумывал и о том, чтобы уйти от военной деятельности: он хотел попасть в Совет Пятисот и использовать свою популярность для более или менее мирного, почти «парламентского» свержения Директории. Впрочем, Пишегрю, по-видимому, сам не знал, что следует делать. Положение его как главнокомандующего было весьма нелепое. Он должен был одинаково опасаться и побед и поражений: победа укрепила бы положение правительства, поражение подорвало бы его собственную популярность. Бездеятельность Пишегрю вызывала все большее неудовольствие Директории. Он был, наконец, с почетом и комплиментами отставлен от должности главнокомандующего. Сношения его с Бурбонами продолжались. Вскоре Пишегрю действительно прошел в Совет Пятисот, который почти единогласно избрал его своим председателем. Вокруг популярного генерала сгруппировалась правая оппозиция правительству. Левые члены Директории во главе с Баррасом ждали случая для того, чтобы свернуть ему шею. Впрочем, в этой темной игре все карты были спутаны. Личные антипатии, личная ненависть, воля случая, безыдейная борьба за власть были сильнее политических расхождений.

IV.

Блестящая, разыгранная как по нотам итальянская кампания выдвинула нового человека: имя генерала Бонапарта пронеслось по всему миру, соперничая в славе с именем Пишегрю и даже его затмевая.

В мае 1797 года французские войска подошли к Венеции. Республике дождей пришел конец. Перед приближением неприятеля стали покидать город знатные иностранцы. Среди них был русский посланник Мордвинов. Вместе со всей миссией он выехал из Венеции в Россию по направлению на Триест.

В состав миссии Мордвинова входил французский эмигрант граф д'Антрег. Этот человек сыграл в истории России некоторую, еще мало изученную роль*.

* Он позднее имел, например, отношение к раскрытию заговора, который будто бы готовил против императора Александра I находившийся в опале знаменитый граф П. А. Пален.

За несколько лет до того он имел возможность оказать услугу русским властям. Французское революционное правительство хотело организовать новую пугачевщину в России. Каким-то образом этот проект стал известен д'Антрегу. Он не замедлил сообщить о нем в Петербург. В награду граф желал получить «то, что дают государи спасителям своей страны», — портрет императрицы Екатерины. Однако русское правительство, по-видимому, значительно скромнее расценило услуги графа. Никакого портрета он не получил, но несколько позднее был принят на русскую службу и причислен к венецианской миссии. Должность его при Мордвинове была, собственно, фиктивной; вероятно, она сводилась к получению жалованья: в действительности д'Антрег был в Италии агентом Бурбонов. В результате стечения обстоятельств, о котором я здесь рассказывать не буду, в портфеле графа хранилась бумага, подробно излагавшая всю историю сношений генерала Пишегрю с принцем Конде. Рассчитывая на свою дипломатическую неприкосновенность, граф д'Антрег, человек довольно легкомысленный, выезжая с русской миссией из Венеции, не уничтожил этого документа.

Триест уже был занят авангардом армии Бонапарта. Командовал авангардом генерал Бернадот, впоследствии шведский король Карл XIV. По его приказу русская миссия была в Триесте задержана. Мордвинов заявил резкий протест против нарушения международных обычаев. Бернадот ответил, что сам посланник и все сопровождающие его русские могут беспрепятственно продолжать путь. Но отпустить на свободу активного роялиста — этого никак не мог потерпеть будущий шведский король. Д'Антрег был арестован и отправлен в главную квартиру генерала Бонапарта. Портфель графа был вскрыт. Вероятно, французская разведка рассчитывала там найти имена каких-либо роялистских агентов. Того, что искали, не нашли. Нашли то, чего не искали. Легко себе представить сенсацию в ставке Наполеона: Пишегрю ведет переговоры с Конде! Пишегрю получает деньги от Англии!

Генерал Бонапарт, как почти все полководцы того времени, ненавидел и презирал правительство. Идея военного переворота его самого и тогда, надо думать, очень мало смущала. Но он никак не собирался производить переворот в пользу Пишегрю или Бурбонов, да

еще при помощи внешнего врага. Гражданский долг предписывал командующему армией немедленно донести в Париж о замыслах Пишегрю. Есть все основания думать, что этот долг не казался особенно тягостным генералу Бонапарту: Пишегрю был главным его соперником. До д'Антрега Наполеону, разумеется, не было ни малейшего дела. Графу была обещана жизнь*. Он дал довольно откровенные показания. Гонец генерала Бонапарта отправился в Париж с документом, уличающим Пишегрю.

Это было именно то, чего не хватало Баррасу. Бонапарт присылал Директории из Италии знамена, деньги, статуи, картины. Но такого подарка он еще никогда не делал: бумага д'Антрега была лучше всяких Рафаэлей. Теперь успех дела мог считаться обеспеченным. Военская сила была подготовлена, главным образом, при содействии того же Бонапарта. Переворот, известный в истории под именем 18 фрюктидора, прошел весьма гладко. На всех столбах Парижа появилась афиша, излагавшая измену Пишегрю, — в ней было все: и чин маршала, и миллион, и годовая рента и т. д. Одновременно сам генерал был арестован в Тюильри.

Дело его казалось ясным. Правительство, однако, не решилось казнить завоевателя Голландии: вероятно, его имя все же пользовалось слишком большой популярностью в армии. Но был и другой способ устранения неподходящих людей. Ссылка в Гвиану в те времена с полным основанием считалась почти равнозначной казни — ее так и называли «сухой гильотиной». Пишегрю с другими жертвами 18 фрюктидора в железной клетке был отвезен в Рошфор и оттуда в трюме корабля отправлен в Синнамари.

Событие это произвело ошеломляющее впечатление в кругах эмигрантов и в Англии. Достаточно сказать, что британский военный министр Уиндгэм в письме к Гренвиллю (от 12 сентября 1797 года) предлагал послать эскадру для того, чтобы в море отбить Пишегрю у тюремщиков, перевозивших его в Южную Америку. Из этого ничего не вышло. В ужасных условиях Пишегрю был перевезен в Синнамари.

* Ему действительно был скоро устроен «побег».

V.

Гвиана, с которой когда-то так удачно связывался миф о земном рае Эльдорадо, была Соловками Французской революции. Жить там в те времена было невозможно, и сославшиеся туда люди обычно очень скоро умирали от всевозможных лишений и от болотной лихорадки*. Более энергичные пытались спастись бегством — и тоже погибали. В Синнамари почти немислимо жить. Но из Синнамари почти немислимо и бежать. До голландской колонии Суринама оттуда сравнительно недалеко. Однако люди, пытавшиеся уйти в Суринам по суше, через девственные леса и болота, в громадном большинстве случаев становились добычей диких зверей, удавов, а чаще всего страшных гвианских насекомых, которые массаами облепляли беглецов и съедали их заживо. Другие, избравшие бурный морской путь, тоже обычно гибли: волны неизменно опрокидывали самодельные лодки, и беглецы доставались акулам, которыми кишит море в этой благодатной стране.

После непродолжительного знакомства с Синнамари Пишегрю принял твердое решение бежать. Он так и говорил: «Лучше акулы, чем медленная смерть здесь».

Случай скоро представился. Кайеннский корсар захватил в плен и привел в Синнамари судно с 40 тыс. бутылок вина. Местные власти перепились. Эту ночь надо было использовать. Пишегрю убил часового, завладел какой-то жалкой пирогой и вместе с несколькими товарищами по ссылке поплыл вдоль берега по направлению к Суринаму. Акулы стадами плыли следом за ними.

Беглецы плыли долго, днем и ночью, вычерпывая шапками воду из дырявой пироги и отбиваясь от нападавших на пирогу акул. Суринам уже должен был быть недалеко, когда случилось то, что обычно случалось: поднялась буря, их выбросило на берег, пирога разбилась, жалкие припасы исчезли. Идти дальше по берегу у беглецов не хватало сил. Они зажгли огонь. В ту же секунду их облепили насекомые. Прошла

* По данным Тэна, из сосланных в Кайенну на судне «Байоннэз» 120 человек через год и десять месяцев оставался в живых один! Тэн, однако, несколько сгущает краски. Точные цифры можно найти у В. Пьера.

ужасная ночь. На рассвете они увидели шедший вдоль берега корабль. Из последних сил они заматались по берегу. Корабль прошел мимо, не заметив их отчаянных сигналов. Процесс медленного умирания возобновился. Вдруг они увидели проходивших солдат, пирогу выбросило на берег вблизи голландского форта...

Это могло быть спасением. Но это могло означать и гибель. У беглецов не было никакой уверенности, что их не схватят и не вернут в Синнамари. Судьба потешалась над Пишегрю: именно благодаря его победам Голландия находилась в полной зависимости от французского правительства. Он рассказал приготовленную заранее сказку: они, бедные кайеннские купцы, плыли с товарами в Суринам, потерпели крушение, их товары погибли... В полуголом, не евшем 5 дней, страшно распухшем от укусов человеке трудно было узнать знаменитого полководца. Однако голландский офицер скоро понял, какой перед ним бедный кайеннский купец: ссылка Пишегрю наделала много шума в мире.

Опасения беглецов оказались неосновательными. Голландцы не любят выдавать людей, ищущих у них убежища, — они это доказали на очень многих примерах: от маранов* XVI века до императора Вильгельма II. К тому же Пишегрю оставил доброе имя в Нидерландах. Несмотря на свое трудное положение, суринамские власти, прибегая к разным хитростям, сделали все для того, чтобы спасти беглецов. Через некоторое время на британском судне Пишегрю плыл в Англию. Враги считали его похороненным заживо. Он возвращался — «*redivivus et ultor*»**.

VI.

По-видимому, жажда мести была главным побуждением во всех действиях Пишегрю после его возвращения из Гвианы. Английское правительство встретило генерала с почетом. Его имя часто встречается в переписке руководящих людей того времени. Союзники очень хотели использовать в борьбе с Францией военный опыт и таланты Пишегрю. То предполагалось

* Мараны — в средневековой Испании и Португалии евреи, официально принявшие христианство. Их преследовала инквизиция. — *Прим. ред.*

** «Вновь живой и мститель» (*лат.*) . — *Пер авт*

поручить ему командование новой армией, то обсуждались проекты создания, под его начальством, особого легиона из французских дезертиров. В разгар войны 1799 года мы застаем Пишегрю в главной квартире эрцгерцога Карла. В день столь несчастной для русского оружия битвы при Цюрихе, когда поражение Корсакова сразу уничтожило плоды всех суворовских побед, Пишегрю находился в русском штабе. По его свидетельству, он тщетно убеждал Корсакова изменить неудачный стратегически замысел сражения. Бывший французский главнокомандующий теперь откровенно предлагал свою шпагу для борьбы с теми самыми армиями, в создании которых он когда-то принимал близкое участие.

Выход императора Павла из коалиции сделал несбыточными планы усмирения революционной страны силой оружия. Возвращение из Египта генерала Бонапарта и последовавший за этим государственный переворот в Париже изменили и самый характер французской революции. 18 фрюктидора в борьбе Директории с Пишегрю победила Директория. 18 брюмера в ее борьбе с Бонапартом победил Бонапарт. Отныне на долгие годы во Франции закрепилась единоличная диктатура. В «интервенцию» Пишегрю больше не верил. Ему оставалось верить в другое. Он имел все основания ненавидеть Директорию. Но не меньше оснований имел он ненавидеть и Бонапарта. Что с того, что первый консул пытался установить «порядок», о котором мечтал сам Пишегрю, входя в соглашение с Бурбонами? Беспристрастия от бывшего гвианского поселенца ждать было нечего. Картина упрощалась: революция облеклась в образ одного человека. И философский силлогизм «Кай человек, Кай смертен» отныне как бы принимал характер политического силлогизма.

VII.

Мысль об убийстве Наполеона, конечно, нельзя назвать особенно оригинальной. В течение почти двадцати лет об этом думали сотни и тысячи людей. Недавно у Толстого такая мысль приходит кроткому русскому барину, мечтателю, масону и филантропу. Но

были люди, бесспорно, более предназначенные для этого дела и ближе к нему подошедшие, чем Пьер Безухов. Так, в ту пору, на пороге XIX столетия, убийство первого консула было главной жизненной целью Жоржа Кадудаль — вероятно, самого замечательного из всех партизанских бойцов и террористов истории.

Это был очень страшный человек, — страшный и по своему внешнему виду*. Колоссальная фигура, свидетельствующая о нечеловеческой силе, очень короткая толстая шея, чудовищной величины голова с тяжелым лицом, густые рыжие волосы, неподвижный взгляд маленьких глаз, огромные руки с короткими тупыми пальцами. Кадудаль был фанатик в самом настоящем смысле слова. Для него существовал только принцип монархии. Живых носителей этого принципа он недолюбливал — особенно за то, что они, и сам Людовик XVIII, и все французские принцы, жили спокойно за границей, не принимая прямого участия в борьбе с революцией**. Ни на какую награду Кадудаль не рассчитывал; он, по-видимому, понимал, что погибнет до восстановления монархии: при его ремесле насильственная смерть была простой математической необходимостью. В борьбе он не останавливался ни перед чем. Будучи лично человеком совершенно бескорыстным, он принимал английские деньги, хотя отлично знал, по каким соображениям Англия эти деньги дает. Когда английских денег не хватало, Кадудаль грабил почтовые дилижансы. Философия Бональда*** в нем сочеталась с приемами Стеньки Разина. Исключительная храбрость, энергия и жестокость создали Жоржу шумную известность с первых лет гражданской войны. Попытки революционных генералов пойти с ним на соглашение неизменно кончались неудачей. В краткий период мира Бонапарт при личном свидании с Кадудалем тщетно предлагал ему службу в регулярной армии и чин дивизионного генерала. Кадудаль

* Описание его примет, чрезвычайно внушительное даже при чтении, можно найти в полицейских афишах (F-7, 6391, 1 и F-7, 6392, 2). Начальник полиции Демаре, видевший Жоржа в момент его ареста, говорит, правда, о приятном выражении его лица. Но в момент ареста Кадудаль все, должно быть, казалось чрезвычайно приятным начальнику полиции.

** Один из придворных спросил Кадудаль: «Вы все требуете, чтобы принц лично отправился воевать во Францию, можете ли вы, однако, гарантировать ему жизнь?» «Нет, но я могу гарантировать ему честь», — ответил Кадудаль.

*** Бональд Луи Габриель Амбруаз (1754—1840) — французский политический деятель, философ-идеалист. — *Прим. ред.*

потом высказывал сожаление, что при этом свидании наедине не задушил первого консула. По словам Наполеона, Жорж был чрезвычайно опасен именно ввиду соединения в одном человеке необыкновенной воли и мужества с полным отсутствием политического кругозора. «Bestia ignorantel!» — со злобой говорил первый консул. Наполеон, в минуты крайнего раздражения, иногда переходил на итальянский язык.

С этим человеком генерал Пишегрю вступил в 1800 году в тесную связь.

Здесь мы подходим к самому таинственному периоду жизни Пишегрю. У нас нет *неопровержимых* доказательств того, что он уже тогда принял близкое участие в заговоре, ставившем себе целью убийство Наполеона. Однако британский военный министр Уиндгэм в своем дневнике (16 сентября 1800 года) вполне ясно пишет, что Пишегрю говорил с ним о «плане устранения Бонапарта посредством убийства». О том же плане Жорж Кадудаль разговаривал с самим Питтом. Наполеон прямо утверждал, что английское правительство подсылало к нему убийц. *Неопровержимых* доказательств мы не имеем и для этого. Насколько можно понять краткие записи дневника Уиндгэма, британские министры слушали речи Кадудаль и Пишегрю, ничем не свидетельствуя своего одобрения их планам. Новейший *английский* историк сэр Джон Холл признает, что обвинения, возводимые Бонапартом на правительство Питта, нельзя считать совершенно необоснованными. Кадудаль в своей переписке с британским министерством иностранных дел часто упоминает о «*сoup essentiel*»**, который им подготавлился в Париже. В значении этих двух слов сомневаться довольно трудно. Едва ли сомневался в их значении и Питт — он наивностью отнюдь не отличался. Питт сам как-то сказал, что весь французский государственный порядок находится в зависимости от одного пистолетного выстрела. В подобных делах *неопровержимые* доказательства, которых требуют «беспристрастные историки», вообще встречаются не так часто. Мы находимся здесь в области догадок. Однако с очень большой степенью вероятности можно предположить, что событие, произошедшее в Париже в вечер 24 де-

* «Невежественное животное!» (*итал.*)

** «Главный удар» (*фр.*).

кабря 1800 года, было организовано агентами Кадудаля* не без ведома генерала Пишегрю, который в Лондоне не раз обсуждал с Жоржем планы спасения Франции.

VIII.

Известнейший русский террорист говорил мне: «Вы думаете, так легко совершить террористический акт? Взял бомбу и бросил, да? Бросить-то бомбу легко, но надо еще попасть... В терроре необходимо специализироваться, все равно как в химии или в медицине...» Может быть, это и верно. Однако немало известных политических убийств было в истории совершено людьми, не имевшими «специального образования». Линия непрофессионалов ведет от Равальяка и Шарлотты Корде к Фридриху Адлеру и Леониду Каннегиссеру. Не были профессионалами, в узком смысле слова, и те люди, которые в 1800 году должны были совершить «*coup essentiel*». Их было несколько человек. Руководил ими Пьер Сен-Режан, бывший морской офицер, один из близких сотрудников Кадудаля по гражданской войне.

Убить первого консула было не так просто. Он появлялся в Париже всегда в сопровождении телохранителей и ездил, как говорили, в блиндированной карете, которая неслась по улицам с чрезвычайной быстротою. На пистолетный выстрел тут рассчитывать не приходилось. Сен-Режан придумал более действительный способ работы.

24 декабря первый консул должен был присутствовать на первом представлении «Саула» в опере, которая тогда помещалась на улице Ришелье. Недалекий

* После появления настоящей работы вышла новая книга Ленотра «*Georges Cadoudal*» Талантливый историк, один из самых блестящих современных писателей пытается доказать, что Кадуваль не принимал участия в деле Сен-Режана. Главный, если не единственный, довод Ленотра заключается в том, что Сен-Режан расстался с Кадувалем задолго до того, как приступил к организации покушения: «Уж, конечно, он не представил бы Жоржу свой ужасный и глупый план посредством корреспонденции» (стр. 137). Этот довод весьма неубедителен: сам Ленотр дает много примеров того, как превосходно была налажена у Кадудаля связь с его агентами. Не может быть сомнения в том, что убийство Бонапарта было страстным желанием Жоржа. Он, конечно, был расстроен не *замыслом* Сен-Режана, а неудачей и техникой покушения на улице Сен-Никез.

путь в театр из Тюильрийского дворца шел по улицам, занимавшим часть нынешней площади Карусели. Одна из них, улица Сен-Никез, оживленная, небольшая и узкая, показалась весьма подходящей Сен-Режану. Карета первого консула, очевидно, должна была проехать по улице за несколько минут до начала спектакля, назначенного на 8 часов. Незадолго до того на улицу Сен-Никез выехала покрытая парусиной телега, запряженная старой клячей. На телеге находилась бочка, наполненная взрывчатыми веществами. От нее изпод парусины спускался фитилек, совершенно незамеченный в темный зимний вечер, — в те времена даже центральные улицы освещались довольно плохо. Клячей правил сам Сен-Режан, переодетый ломовым извозчиком. Он остановился у кофейни и повернул лошадь так, чтобы загородить возможно большую часть улицы, затем слез с тележки. Кляча, однако, могла сдвинуться с места. Сен-Режан, проделавший гражданскую войну, не был сентиментальным человеком. По улице проходила какая-то девчонка лет 14-ти — он подозвал ее, сунул ей монету, сказал, что ему нужно ненадолго отлучиться, и попросил подержать тут лошадь. Девочка согласилась: щедрый извозчик дал ей целых шестьдесят сантимов, да и стоять, верно, было не скучно на улице, особенно оживленной в этот рождественский вечер, — все три ее кофейни были битком набиты людьми. Сен-Режан взял конец фитилька и отошел от телеги поодаль. Сообщники, расставленные по дороге к Тюильри, еще не подали условленного сигнала о выезде кареты из дворца. В ожидании сигнала Сен-Режан стал закуривать трубку — и вдруг с изумлением увидел несущийся на него конвой первого консула*. Конь скакавшего с краю телохранителя толкнул на ходу Сен-Режана, — быть может, этот толчок немного его оглушил. Сен-Режан поджег фитилек. Раздался страшный взрыв, потрясший самые отдаленные кварталы Парижа. Дома улицы Сен-Никез обрушились, от девочки, от лошади не осталось буквально *ничего*. Десятки людей в кофейне, на улице, в домах были разорваны на части или искалечены. Коляску первого консула, унесшуюся далеко вперед, подбросило взрывом уже на улице Ришелье. Через минуту глава госуда-

* Демаре говорит в своих воспоминаниях, что кучер Наполеона был несколько навеселе по случаю наступившего праздника и потому гнал лошадей еще отчаяннее, чем обычно.

рства, под бурные рукоплескания догадавшейся о покусении публики, появился в своей ложе и, спокойно садясь в кресло, потребовал либретто «Саула». Ему так полагалось поступать, как «человеку судьбы». Иначе он, вероятно, осведомился бы, спаслась ли его жена, которая ехала в следующей карете со своей дочерью Гортензией. Но какая-то неприятность с туалетом Жозефины задержала на одну минуту ее выезд. Таким образом, в ее карете лишь вышибло взрывом окна и осколки стекла слегка ранили Гортензию.

Отчего не удалось покушение? Демаре, а также Тьер утверждают, что конвой первого консула, вопреки ожиданиям Сен-Режана, несся не впереди, а позади кареты, вследствие чего в расчете террориста произошла ошибка в несколько секунд, погубившая его дело. Это объяснение не может быть верно: один из телохранителей, Дюран, дававший показания на суде^{..}, ясно говорит, что скакал приблизительно в двадцати шагах *впереди* коляски первого консула. Из расчета расстояний можно заключить, что Сен-Режан потерял не несколько секунд, а значительно больше времени. Что с ним произошло, мы не знаем. Человек он был бесстрашный^{***}, но в такие минуты и профессионалы и непрофессионалы находятся в состоянии, близком к умопомешательству. В воспоминаниях различных террористов, в особенности русских, есть страницы в этом отношении поразительные. По словам Демаре, Сен-Режан в последнюю секунду, зажигая фитиль, высказал мысленно пожелание: если он заблуждается, если Бонапарт нужен Франции, то пусть же Господь Бог уберет его от взрыва! Это Сен-Режан будто бы сообщил на исповеди священнику. Каким образом начальник полиции мог выпытать тайну исповеди, он в своих воспоминаниях не говорит.

Виновник взрыва уцелел и был арестован лишь через месяц. У него было найдено письмо Жоржа Кадудалья, который писал ему: «Мы возлагаем на тебя все наши надежды» (но и эта фраза ведь не является неопровержимым доказательством)^{***}. Очень скоро

^{..} Судебн отчет, т. 1, стр. 207.

^{***} В его полицейской характеристике сказано: «Extrêmement courageux et hardi» (F-7, 6271).

^{***} В государственных архивах есть полицейская копия письма Жоржа, ясно устанавливающая его участие в деле Сен-Режана (F-7, 6392, 2). Но из пометок на полях копии видно, что принадлежность письма Жоржу вызывала сомнение и у высших полицейских органов.

Сен-Режан «*raya sa dette à la société*»*, — если не ошибаюсь, это на редкость глупое выражение, означающее смертную казнь, именно тогда обогатило собой газетный словарь.

IX.

Автор обвинительного акта по делу Сен-Режана очень красноречиво описывал, как французская республика уже было совсем почти достигла «постоянного и прочного счастья» (*une félicité constante et inaltérable*), но помешали ей внутренние и внешние враги, — «*L'Anglais qui n'a cessé d'enfanter ou de protéger tous les crimes qui peuvent perdre la République française*»**, и т. д. Казенная словесность, к счастью, забывается в тот самый день, когда создается. Иначе этот человек с языком без костей, быть может, очень скоро почувствовал бы себя неловко: через несколько месяцев между Англией и Францией, после 9 лет войны, был подписан мир.

Мы и сами видели много взрывов восторга по случаю окончательного примирения народов. Но даже энтузиазм, вызванный договором Келлога или первой встречей Бриана с Штреземаном не идет в сравнение с той бурной радостью, которую вызвало в Европе мирное соглашение 1801 года. Локарнский дух никогда не веял над Европой так шумно, как накануне наполеоновских войн. Лучшие цветы нынешнего женевского красноречия на тему о вечном мире вянут рядом с речами того времени. Октябрьские газеты 1801 года полны корреспонденций с описанием повсеместного народного энтузиазма. При первом известии о мире в Лондоне толпы народа выпрягли лошадей из кареты французского уполномоченного Лористона и с криками «Да здравствует Франция! Да здравствует Бонапарт!» повезли карету по улицам (Штреземана в Париже хоть возили спокойно в автомобиле). В том же Лондоне, в Ковент-Гарденском театре, шла 3 октября 1801 года пьеса «Ревнивый муж», в которой два действующих лица, Франкли и Беллами, вследствие какого-то недоразумения дерутся на дуэли. Как только Фран-

* «Заплатил свой долг обществу» (*фр.*).

** «Англичане, которые не переставали порождать и лелеять все преступления, которые могли бы погубить французскую республику» (*фр.*)

кли и Беллами скрестили шпаги, один из актеров бросился к ним на авансцену и остановил их страстной речью: «Не стыдно ли вам драться теперь, когда наступил вечный и всеобщий мир! Да знаете ли вы, что люди—братья и что на всей земле сейчас только вы двое думаете о резне!..» Пристыженные Франкли и Беллами немедленно опустили шпаги и крепко стиснули друг другу руки. Публика Ковент-Гарденского театра повставала с мест и разразилась бешеной овацией по адресу ловкого актера*. Если так себя вели сдержанные англичане, то легко понять, что делалось на континенте. В Париже был назначен праздник вечного мира — и народное скопление на улицах было настолько велико, что правительство запретило на этот день езду в экипажах: единственное исключение было сделано в пользу дорогого гостя, английского уполномоченного лорда Корнуаллиса («L'Anglais qui n'a cessé...»).

Пацифистские речи произносились всеми. Но главным пацифистом был генерал Бонапарт. Он говорил даже не как Бриан или Штреземан, а прямо как Брейтшейд либо Поль-Бонкур. Первый консул рассыпался в комплиментах английским, русским государственным деятелям. В Лондоне не оставались в долгу: вчерашний корсиканский злодей был героем из героев.

Нас не может особенно удивить и то, что дружба англичан с правительством первого консула немедленно отразилась на положении французских эмигрантов в Англии. Они были явно в загоне. Сведения о Пишегрю за этот период чрезвычайно скудны. Но есть основания думать, что он не разделял того восторга, который вызывал в мире его бывший воспитанник по бриеннской школе генерал Бонапарт.

Вечный мир продолжался полтора года. Военные приготовления закончились, началась новая война. Питт, ушедший в отставку в 1801 году, вернулся к власти. На Пишегрю и Кадудаль опять полился золотой дождь. Они взялись за работу с новой энергией. Но на этот раз, по-видимому, эти отважные люди решили действовать лично. Того дела, которое было ими намерено, они не могли и не хотели поручать агентам.

Какое это было дело? Кадудаль будто бы предполагал собрать отряд в 50 человек и с ними, улучив момент, дать честный бой первому консулу и его 50

* «Journal des Débats», 17 вандемьера X года (8 октября 1801 г.)

телохранителям. Племянник роялистского партизана, историк Жорж де Кадудаль, впоследствии совершенно серьезно отстаивал эту версию. О ней и говорить как-то неловко. Жорж Кадудаль, опытный террорист, проливавший кровь потоками, убивавший и казнивший людей без счета, не был романтическим юношей вроде героев Виктора Гюго. На суде он следовал особой системе показаний, — он отрицал, например, и свое участие в заговоре Сен-Режана, очевидно, для того, чтобы не компрометировать партию делом, которое вызвало общее негодование во Франции. Однако не может подлежать сомнению, что целью Кадудала было «устранение» Наполеона, — в тех технических условиях, в каких оно окажется возможным, в случае надобности и без честного боя. Вероятно, в этом деле должен был принять участие и Пишегрю. Но он поставил себе еще и другую задачу. Пользуясь своими старыми военными связями, он предполагал привлечь к заговору генерала Моро, вокруг которого собрались офицеры, недовольные первым консулом. План военного переворота, по-видимому, сливался с планом террористического акта.

Работать в 1804 году было много труднее, чем прежде. Полиция первого консула сделала большие успехи. Система шпионажа, очень хорошая и прежде, достигла высокого совершенства. Теперь нелегко было даже проникнуть на территорию Франции. Вся пограничная и береговая линия находилась под строжайшим наблюдением.

Х.

В музее Карнавале есть мрачная акварель. В серо-черных тонах в ночном освещении она изображает голую, очень высокую отвесную скалу. Внизу бьются волны. От скалы отплывает, качаясь, лодка. Где-то высоко на скале по канату ползут вверх вооруженные люди. Другие смотрят на них снизу, стоя в воде у подножия скалы, очевидно, ожидая своей очереди. Это Бивильский утес на побережье Ла-Манша между Дьеппом и Трепором. Какая-то нора, открытая или прорытая контрабандистами, дает возможность проникнуть с его вершины в глубь страны. Над утесом, вероятно,

вследствие его неприступности (в нем около ста метров вышины), наблюдение было слабее, чем над всем остальным побережьем (впрочем, сторожевой пункт находился от утеса всего лишь в какой-либо версте).

Акварель, о которой я говорю (ном. 2187)*, написал по памяти граф Арман де Полиньяк. Он в ту пору вместе со своим братом принимал участие в заговоре Пишегрю**. Зимней ночью английское судно доставило их к подножию Бивильского утеса. По условному сигналу соучастник сбросил им сверху канат. Поднявшись на вершину скалы, они дорогой контрабандистов прокрались к уединенной ферме, где их встретил Жорж Кадудаль, — он тем же путем прибыл во Францию раньше. Оттуда, путешествуя по ночам, тщательно прячась днем, они прибыли в Париж, расселились по конспиративным квартирам, которых Жорж имел в столице довольно много, и принялись за свою таинственную работу.

Полиция — по крайней мере главная (их было несколько) — ничего не знала о прибытии Жоржа и Пишегрю. Но она все время находилась в состоянии напряженной тревоги. «Воздух насыщен кинжалами», — писал первому консулу Фуше.

Произвол в эти годы бонапартовского порядка был не намного меньше, чем в пору королей, Конвента или Директории. Полиция хватала людей наудачу, военные суды почти наудачу выносили приговоры. В числе лиц, приговоренных более или менее случайно к смертной казни в январе 1804 года, был человек, имевший отношение к делам Жоржа. Чтобы спасти свою жизнь, он дал первые сведения о заговоре. Удалось схватить и других второстепенных участников дела. Они знали немного, но того, что они знали, было достаточно: Жорж Кадудаль в Париже! Потом выяснилось, что в Париже и Пишегрю! В полицейских и правительственных кругах началась настоящая паника. О ней людям, бывшим в Москве в 1918 году, может дать некоторое понятие травля «человека в красных гетрах» (Б. В. Савинкова).

* Если не ошибаюсь, ее подарил музею кн. Лобанов-Ростовский, которому она могла достаться от Полиньяков у них были прочные связи с Россией.

** Один из этих Полиньяков четвертью века позднее был первым министром Карла X и своими реакционными мерами благополучно довел страну до новой революции.

Революция отменила во Франции пытку приблизительно так как в России императрица Елизавета отменила смертную казнь. Несмотря на «*félicité constante et inaltérable*»*, пытка в разных формах применялась, — правда, не так часто и не с такой жестокостью, как при дореволюционном строе. Обвиняемые на суде говорили, что давали свои показания под пыткой, и судьи относились к этому вполне равнодушно. Пико, лакея Кадудаля, поджаривали на огне и дробили ему пальцы до тех пор, пока он не сообщил адреса одной из конспиративных квартир. По приказу первого консула были приняты совершенно исключительные меры розыска. Все заставы Парижа были закрыты. Войска оцепили город. Полицейские отряды производили повальные обыски на улицах, в гостиницах, в частных домах**. Облавы шли и в окрестностях, и в лесах вокруг столицы. Дозоры были расставлены на всех перекрестках. На столбах Парижа, как и в газетах, появилось подробное описание примет Жоржа и Пишегрю. За укрывательство их правительство грозило смертной казнью.

XI.

Об охоте, организованной в Париже на Жоржа и Пишегрю, написано довольно много — от отчетов по их процессу на суде до новейших исследований Барбе, Гразилье, Ленотра. До нас дошел и богатый, хоть не слишком ценный, архивный материал. Казалось бы, факты можно установить точно. Есть, однако, во всей этой истории что-то таинственное, необъясненное и необъяснимое. Сказать с уверенностью, что в ней не было провокации, едва ли возможно.

Много лет спустя некий Франсуа Жоликлер, начальник полиции в Генуе, в личном письме к императору Наполеону, говоря о своих заслугах, напоминал, что именно он, как хорошо известно Его Величеству, дал когда-то возможность арестовать в Париже Жоржа и Пишегрю (его письмо было напечатано Гра-

* «Постоянное невозмутимое блаженство» (*фр.*).

** По данным Ленотра, полиция вскрывала даже гробы, провозившиеся по улицам на катафалках

зилье). Этот Жоликлер перед экспедицией 1804 года вращался в Лондоне в наиболее активно настроенных кружках эмиграции и призывал к самым решительным действиям против первого консула. В пору ареста заговорщиков Жоликлер находился, по странной случайности, в Париже и тотчас после их ареста «бежал» в Англию, где в качестве уцелевшего героя приобрел в лагере роялистов еще большую популярность.

Какие выводы можно сделать из этих фактов? Не подлежит сомнению то обстоятельство, что паника в правительственных и полицейских кругах при известии о появлении в Париже Кадудала и Пишегрю была не притворной, а самой настоящей. Это не согласуется с предположением провокации в деле. Повторяю, я не берусь разрешить загадку. Быть может, Жоликлер, имевший личный доступ к Наполеону, не обо всем оповещал органы государственного сыска? С большей вероятностью, по-моему, можно предположить, что он и сам не имел сведений о планах заговорщиков, — Кадудаль был очень опытный конспиратор. Но личные связи и знакомства Жоликлера при его репутации крайнего роялиста дали ему возможность после раскрытия заговора государственной полицией облегчить ей розыск участников дела.

Последние дни пребывания Пишегрю на свободе были настоящей агонией. На успех заговора больше рассчитывать не приходилось. Трудно было надеяться и на собственное спасение. Петля вокруг затравленных заговорщиков затягивалась. Пишегрю метался по Парижу, меняя квартиру чуть ли не каждый день. Есть указания (вероятно, преувеличенные), будто он за ночь платил хозяевам квартиры до пятнадцати тысяч франков в сутки*. Если это верно, то подобной платой он, собственно, прямо называл свое имя: весь Париж в те дни говорил о Кадудале и Пишегрю, афиши с описанием их примет висели на каждом столбе. Конечно, пятнадцать тысяч франков были деньги, — но правительство, по-видимому, обещало гораздо большую сумму за выдачу Пишегрю. Он, таким образом, каждую ночь ставил свою жизнь на новую карту...

Покойный Джолитти, имевший огромный полити-

* Денег у него было много — англичане щедро их снабдили золотом при отъезде.

ческий опыт, правда, при мирном парламентском строе, но в стране Макиавелли и Борджиа, советовал: «Важный секрет сообщайте только одному человеку, — тогда вы будете знать, кто именно вас предал». Пишегрю этому правилу не следовал и так и умер, не зная, кем он был предан. Предан он был своим последним хозяином. После нескольких ночевок у честных людей генерал попал на квартиру некоего Блан-Монбрена. Пишегрю особенно не повезло, — этот Блан-Монбрэн был продажный делец, специалист по «*femmes d'affaires*»* и вдобавок приятель Жоликлера (неужели простая случайность?).

Блан-Монбрэн жил на улице Шабанэ в мрачном, грязном шестизэтажном доме, который существует и по сей день (теперь одиннадцатый номер). Улица эта в ту пору имела такую же репутацию, как в наши дни. Маленькая квартира Блана находилась во втором (по русскому счету, в четвертом) этаже. Блан, которому с непостижимой доверчивостью рекомендовали Пишегрю его предыдущие хозяева, очень охотно согласился оказать гостеприимство знаменитому человеку; он сказал, что считает это предложение великой для себя честью, и вообще рассыпался в любезностях. Необычайно любезен он был и устраивая у себя на ночь Пишегрю. В квартире была всего одна кровать. Хозяин радушно уступил ее гостю, заверив его, что сам он имеет возможность переночевать у знакомых. Затем Блан-Монбрэн позвал свою горничную, которая, по парижскому обычаю, жила под крышей дома, велел ей на следующее утро приготовить завтрак для ночующего у него родственника, дал ей ключ от квартиры, на прощание крепко пожал «родственнику» руку — и пошел поднимать на ноги полицию**.

Через некоторое время глубокой ночью отряд по-

* «Деловые женщины» (*фр.*).

** «Какой подлец!» — сказал Бонапарт, узнав о доносе Блана, и приказал выдать подлецу сто тысяч франков. Такова брезгливая философия правителей. Через пятнадцать лет на острове св. Елены Наполеон говорил об этом деле: «Quant à Pichegru, il fut victime de la plus infâme trahison. C'est vraiment la dégradation de l'humanité!» («Что касается Пишегрю, он был жертвой бесстыдного предательства. Это настоящее вырождение рода человеческого!..») (*фр.*)

О дальнейшей карьере Блан-Монбрена мы почти ничего не знаем. Что касается Жоликлера, то он, пользуясь общим уважением, мирно прожил долгую жизнь, купил где-то замок, был мэром своей коммуны и — это лучше всего — выдал замуж дочь за титулованного роялиста.

лицейских в сопровождении Блана появился на улице Шабанэ. Люди, вооруженные с ног до головы, бесшумно проникли в дом, на цыпочках прошли по лестнице на шестой этаж, разбудили горничную, потребовали у нее ключ и с величайшей осторожностью спустились вниз к двери квартиры Блан-Монбрена.

За дверью светился огонек.

Начальник отряда знал, что имеет дело с очень храбрым и сильным человеком, которому вдобавок терять нечего. Вероятно, Пишегрю дремал: насколько я могу судить, побывав в доме ном. 11, десять жандармов все-таки не могли совершенно бесшумно пройти по этой узкой деревянной лестнице перед крошечной квартирой Блан-Монбрена.

Полицейские тихо повернули ключ в замке, — дверь не поддавалась.

Показалось ли Пишегрю подозрительным что-либо в лице, в манерах, в поступках Блана, или он, устраиваясь на ночлег, так поступал всякий раз, но для верности генерал забаррикадировал дверь комодом. Под подушкой у Пишегрю лежали заряженные пистолеты и кинжал.

Рассчитывая взять быстротой натиска, полицейские налегли с силой на дверь, опрокинули комод, ворвались в квартиру и бросились прямо к кровати.

Пишегрю вскочил и рванулся к пистолетам. Он не успел, однако, схватиться за оружие, — в него вцепилось сразу несколько человек. В комнате погас свет. Завязалась отчаянная борьба одного человека с десятью. Странно сказать, она продолжалась более *четверти часа*^{*}. От страшного шума, несшегося из квартиры, от ругательств и проклятий Пишегрю проснулся дом, улица, весь квартал. За дверью столпились люди, горничная растерянно металась с фонарем. Один из полицейских бросился наконец под ноги Пишегрю, «*en lui pressant avec force les parties génitales*»^{**}. Генерал вскрикнул и свалился на пол. Его связали и связанным на носилках понесли на допрос.

* Начальник полиции говорил, что несколько человек из отряда очень пострадало в этой борьбе.

** «Сильно сдавив ему половые органы» (фр.)

XII.

Несколькими днями позднее в еще более трагических условиях (они, верно, всем памятны) был арестован и Жорж Кадудаль. Полиция выследила одного из приближенных Жоржа. Ей стало известно*, что этот человек зачем-то нанял закрытый кабриолет под номером 53 (в нем Кадудаль должен был переехать на самую надежную из своих конспиративных квартир). 9 марта, около семи часов вечера, полицейский надзиратель Каньоль увидел на площади Мобер кабриолет номер 53. В кучере по приметам сыщик тотчас узнал Леридана, одного из участников заговора. Каньоль последовал за ним, условными сигналами поднимая сыщиков и надзирателей, которыми буквально был насыщен весь квартал. Недалеко от Пантеона около кабриолета откуда-то выросло пять человек. Один из них на ходу отворил дверцы и вскочил в кабриолет, — Каньоль так и замер: это был Жорж. В ту же секунду сыщиков заметили спутники Кадудалья. Один из них, чтобы обратить внимание вожда, вскрикнул не своим голосом: «Что это? Что это?»** Кабриолет полным ходом понесся по улице.

Было безумием в одиночку нападать на Жоржа. Но в такие минуты инстинкт охотника преодолевает чувство самосохранения. Каньоль бросился вперед и вскочил на задние рессоры кабриолета. Жорж его не видел. Вся орава полицейских ринулась в погоню за кабриолетом. Дело пошло начистоту. По мостовой, по тротуарам, со свистом, с криками: «Держи! Держи! Это Жорж!..» неслись сыщики. Легендарное имя производило должное действие: из прохожих одни бросались в подворотни, другие присоединялись к погоне. По словам очевидцев, это было очень страшное зрелище. На улице *Monsieur le Prince* сыщик Бюффе отчаянным

* Я нигде не мог найти указаний, каким образом это стало полиции известно. Наполеон сказал (или обмолвился) через много лет, что Жорж был выдан своим товарищем, кучером кабриолета! Это указание трудно привести в согласие с некоторыми фактами. Но, с другой стороны, трудно предположить, что безошибочная память императора изменила ему в такой поразительной подробности. Повторяю, есть еще очень много темного во всем этом деле.

** Суд. отч., т. IV, стр. 61.

усилием обогнул мчавшийся кабриолет и повис на узде лошади. Жорж с пистолетом в каждой руке выскочил из кабриолета и разmozжил голову сыщику. На выручку к товарищу, сорвавшись с рессор, бросился Каньоль. Геркулес мгновенно разделался и с ним. Но уже подбегали другие. Жорж был схвачен. С заговором было кончено.

Кадудаль сохранил полное спокойствие. Один из следователей, рассматривая его кинжал, заметил клеймо на лезвии. «Это клеймо английской контрольной палаты!» — сказал глубокомысленно следователь. «Очень возможно, во французскую контрольную палату я его, во всяком случае, не отдавал», — равнодушно ответил Жорж. «Вы убили полицейского, у него остались жена, дети!» — укоризненно воскликнул префект полиции. «Отчего же вы не поручили арестовать меня холостякам», — так же хладнокровно возразил Кадудаль. Совершенное самообладание Жорж проявлял во все время судебного процесса. Оно нисколько не изменило ему и на эшафоте.

XIII.

В старинной тюрьме Тампль Пишегрю была отведена большая камера в первом этаже. У дверей ее постоянно находился часовой. Генерала не раз допрашивали. Так же как Кадудаль, он отвечал с большим достоинством. Пишегрю никого не выдал. На вопросы по существу дела он вообще отвечал кратко: «C'est faux!»* — больше ничего. Отказался он и подписать протоколы допросов. По-видимому, Пишегрю находился все время в состоянии сдержанного бешенства**.

Допрашивали его вежливо, даже почтительно. Намекали, что для него, в отличие от Кадудала, дело,

* «Это ложь!» (фр)

** Так, на первом допросе Пишегрю спрашивают. «Vos prénoms?» «Ваше в горое имя?» (фр) Он отвечает «Je n'en ai pas » «У меня его нет .» (фр) Прорвало его, по-видимому, только один раз на вопрос, знаком ли он с генералом Моро, генерал воскликнул «L'univers entier sait que je le connais!» «Весь мир знает, что мы знакомы!» (фр) (Моро был главным соратником Пишегрю в его походах)

пожалуй, кончится сравнительно благополучно, что он может быть назначенным на службу в какую-нибудь далекую колонию, например в Гвиану. Вероятно, это был обман, принятый в таких случаях для получения откровенных показаний. Цель, однако, достигнута не была.

5 апреля вечером Пишегрю поужинал, выпил вина и лег в обычное время спать. На следующее утро в семь часов сторож Попон вошел в его камеру. Генерал спал, лежа на боку, подложив под голову руку. Сторож затопил камин и удалился. Но, по-видимому, что-то показалось ему странным: то ли, что генерал не проснулся, или уж очень тихо, странно тихо, было в полутемной камере. По крайней мере, через полчаса Попон решил снова войти в камеру. Пишегрю по-прежнему спал столь же неподвижно, в том же положении, все так же заложив за голову руку. Сторож приблизился к койке...

Генерал Пишегрю был мертв. Из рта у него торчал язык. Вокруг шеи обвивалась натянутая черная петля. В другой конец петли была вставлена деревяшка.

Мемуары Фош-Бореля^{*} дают ясное представление о суматохе и волнении, поднявшихся в это утро 6 апреля. Тюремное скоро стало известно, что Шарль Пишегрю ночью покончил самоубийством, и притом самым необыкновенным образом: он удавил себя собственным галстуком, затянув петлю на шею вращательным движением рычага, которым ему послужил обрубок полена из камина. Одновременно с этой официальной версией шепотом передавали другую, еще гораздо более страшную. Она в то же утро выползла из тюрьмы в Париж и распространилась по всему миру: генерал Пишегрю не удавился — его удавили по приказу первого консула. Кто удавил — об этом шептали разное. По словам одних, четыре мамлюка были ночью введены в тюрьму. По словам других, дело выполнил парижский палач.

^{*} Это тот самый Фош-Борель, который когда-то, за девять лет до того, явился к Пишегрю с первыми предложениями Бурбонов. Он неожиданно попал в Тампль незадолго до ареста заговорщиков

Мы здесь подходим к одной из «неразрешенных загадок истории». Столько разных людей, публицистов, политических деятелей, историков, людей серьезных и далеко не всегда заинтересованных, верило в убийство генерала Пишегрю, что психологически довольно трудно просто отмахнуться от этой версии. Главным, если не единственным, доводом в ее пользу является то обстоятельство, что покончить с собой указанным выше способом почти невозможно. Паралич воли и сознания, казалось бы, должен был в известный момент положить конец процессу самоудушения, — рука Пишегрю не могла вертеть рычаг до наступления смерти. Это, бесспорно, очень серьезный довод. Но он, собственно, бьет — правда, с разной силой — по обеим версиям: если Пишегрю был задушен, то почему же столь хладнокровные, заранее тщательно все обдумавшие убийцы решили симулировать самый неправдоподобный из всех способов самоубийства?

Очень многое говорит решительно против предположения об убийстве. Такого атлета, как Пишегрю, очевидно, нельзя было удавить без отчаянной борьбы, без сильного шума. Если бы генерала хотели убить, то его, наверное, перевели бы в менее людное место, чем Тампль: по соседству с Пишегрю жили другие заключенные, — камера Кадудала была расположена от него в двух шагах. Затем в дело по необходимости должно было быть посвящено много людей, — правительство не могло рисковать оглаской такого злодеяния. Самым же сильным доводом надо признать совершенное отсутствие сколько-нибудь понятных целей убийства, — каких «разоблачений на суде» мог бояться первый консул? Разоблачения могли быть сделаны Пишегрю и на допросах; могли быть они сделаны и на суде другими заговорщиками. Сам Наполеон впоследствии на острове св. Елены подчеркивал именно этот довод.

Добавлю еще следующее. На камине в камере Пишегрю лежала корешком вверх книга Сенеки. Она была раскрыта на той странице, в которой древний мудрец говорит, что Божество умышленно, «для кра-

соты зрелища», заставляет великих людей бороться с тяжелой судьбою. При этом Сенека описывает, как вслед за победой Юлия Цезаря, вслед за гибелью дела свободы покончил с собой, надев траур по родине, «последний римлянин» Катон Утический. Таинственная химия слова, сказавшаяся в этих удивительных фразах на самом благородном из языков, вероятно, в мрачной башне Тампля хватала за душу сильнее, чем в обычной обстановке: «Нет, ничего прекраснее не видел на земле Юпитер, чем Катон, не согнувшийся и не побежденный на развалинах республики. «Пусть, — сказал он, — пусть все уходит под власть деспота, пусть владывают на земле легионы Цезаря, а на водах его корабли, пусть к дверям моим приближаются его солдаты, — я найду для себя верный путь к освобождению. Меч Катона не мог дать свободу родине, но он даст свободу Катону...»

XIV.

В настоящее время большинство историков, склоняясь к официальной версии наполеоновского правительства*, признают, что Пишегрю удавился от стыда, от угрызений совести, дабы избежать суда, грозившего ему позором. По всей вероятности, он и в самом деле покончил с собою, обнаружив в последние мгновения нечеловеческую силу воли. Но приводимые историками мотивы его самоубийства вызывают очень серьезные сомнения. Если Пишегрю решил удавиться от

* Должно, однако, признать, что в этой официальной версии есть некоторые противоречия в подробностях, ускользнувшие, кажется, от историков. Так, начальник легиона жандармов, генерал Савари (в его ведении была тюрьма Тампля), говорит, что деревяшка, при помощи которой удавился Пишегрю, была длиной в палец. Между тем по официальному протоколу, подписанному Суне и пятью другими врачами, эта деревяшка была 15 сантиметров длины (по другому протоколу — 40). По официальной версии, давление было произведено вращательным движением деревяшки, стянувшей петлю на шею Пишегрю. Савари же утверждает, что генерал сначала туго затянул галстук, а затем втокнул деревяшку между шеей и галстуком, — отчего и последовала смерть. Книга Сенеки, по словам Савари, была найдена на ночном столике камеры. По словам очевидца Пьерре, книга лежала на камине. Есть и еще более странные несообразности. Но все они ничего не доказывают.

стыда, то книга Сенеки, история кончины Катона Утического, была довольно неподходящим для него чтением. Что с того, что мечом послужила для него деревяшка? Пишегрю, конечно, видел в своей судьбе сходство с судьбой Катона: «*Libertalem, quam patriae non potuit, Catoni dabit*»^{*}. Новый Цезарь шел к окровавленному престолу, — в нем Пишегрю мог признавать только счастливого соперника: их цели были приблизительно равноценны. Людей свиты он достаточно хорошо знал — они, во всяком случае, были ничем его не лучше. Перед кем должен был чувствовать стыд Пишегрю? Кто были судьи? Его допрашивал Тюрио, один из самых низких людей революционной эпохи. Он был сторонником Робеспьера и одновременно его предал, переметнувшись на сторону термидорианцев. Десятью годами раньше он в качестве председателя Конвента произносил страстные речи о свободе, равенстве и братстве, а теперь, на ролях следователя при правительстве «тирана», подвергал пыткам людей, не желавших выдавать сообщников. В том же роде были и другие, — все эти Савари, Демаре, Дюбуа, Реали, стоявший за ними в отдалении Фуше, — моральная чернь, возводившая на престол Бонапарта после тысячи клятв в вечной верности республике...

Правда, Пишегрю был «изменником». Он поднял оружие против родины. То же самое, однако, сделала вся французская эмиграция, которую теперь привлекал в свой лагерь новый Цезарь. То же самое позднее сделали Бернадоты, Мармоны, Фуше, Талейраны, принцы, герцоги, короли, так и умершие герцогами и королями. В бурные периоды истории подходить к людям с обвинением в измене надо очень осмотрительно. Формальная сторона дела не всегда имеет решающее значение. Что сказали бы мы об историке, который, например, подошел бы к деятелям Февральской революции с точки зрения 102-й статьи? Это,

^{*} «Не мог дать свободу родине, но он даст свободу Катону» (лат). —
Пер авт

конечно, другая область, но и по вопросу об измене мы видели много удивительных метаморфоз в наши дни. Если бы сэр Роджер Кэзмент не был повешен за измену в 1916 году, он, вероятно, был бы теперь главой ирландского государства. Русский подданный Пилсудский назывался изменником в союзной печати 1914 года, когда он принял участие в войне на стороне австро-германской армии. Пятью годами позднее официальный представитель союзников горячо приветствовал маршала Пилсудского, дивизии которого «покрыли себя славой, завоевали Галицию и боролись с врагом* на берегах Березины и Двины». Можно было бы привести и другие примеры. Но роль «обстоятельств места и времени» и особенно обстоятельства успеха в оценке всех таких дел, собственно, не нуждается в доказательствах. Генерал Пишегрю был человек умный, беззастенчивый и смелый, — «une âme forte**», — назвал его на острове св. Елены Наполеон. Едва ли он покончил с собой от стыда и угрызений совести. Думаю, что причину его самоубийства следует искать в непреодолимом отвращении от жизни, — Пишегрю всего насмотрелся сверх меры. В этом только смысле он и мог повторить вслед за Катонem: «Исполни же ныне то, что давно было задумано тобою: уйди от человеческих дел...»

Его похоронили вечером в общей яме, около Ботанического сада. Два пристава уголовного суда и муниципальный чиновник составляли «кортеж», — больше никого не было. Шли приготовления к пышной коронации Наполеона. Казенные люди обильно покрывали грязью изменника, который покушался на жизнь великого человека.

Прошло двадцать пять лет. С пышными церемониями, с большой торжественностью открывался памятник Пишегрю. На престоле были Бурбоны. Казенные люди поливали грязью корсиканского злодея за то,

* Цитирую буквально (см. «Temps», 2 октября 1919 г.). «Было бы, разумеется, крайне бестактно напоминать, что в завоевании Галиции и во всех этих победах над «врагом» принимал некоторое участие еще и фельдмаршал фон Макензен».

** «Сильная душа» (*фр*)

что он по злобе и зависти удавил в тюрьме доблестного французского полководца... Потом Наполеон снова стал кумиром и памятник Пишегрю был разбит вдребезги. Потом — потом миновал тот недолгий срок времени, в течение которого еще вызывает страсти жизнь ушедших политических деятелей. Никому больше не было дела до Пишегрю.

Теперь все это — F-7.

Ольга Жеребцова



Ольга Жеребцова

I.

«Я вообще не любил важных людей, особенно женщин, да еще к тому же семидесятилетних; но отец мой спрашивал второй раз, был ли я у Ольги Александровны Жеребцовой? И я наконец решился проглотить эту пилюлю. Официант провел меня в довольно сумрачную гостиную, плохо убранную, как-то почерневшую, полинявшую; мебель, обивка, — все сдало цвет, все стояло, видно, давно на этих местах... Минут через пять вошла твердым шагом высокая старуха со строгим лицом, носившим следы большой красоты; в ее осанке, поступи и жестах выражались упрямая воля, резкий характер и резкий ум».

Читатели, вероятно, помнят эту страницу из «Былого и дум». К Жеребцовой Герцен обратился в 1840 году за защитой в связи с высылкой его из Петербурга. На внучке важной сановной старухи был женат всемогущий в то время Орлов. Ольга Александровна сделала что могла; Герцена тем не менее выслали. Несколько годами позднее он, по ее протекции, получил заграничный паспорт.

У этой старой женщины было большое прошлое, связанное и с русской историей. Тем не менее биография Жеребцовой еще не написана — и многое в ее жизни покрыто тайной. Герцен знал кое-что из ее прошлого. К сожалению, он очень кратко рассказывает о Жеребцовой. «Если она делила сатурналии Екатерины и оргии Георга IV, — говорит несколько загадочно Герцен, — то она же делила опасности заговорщиков при Павле».

Ольга Александровна была родная сестра князя Платона Зубова, последнего фаворита императрицы Екатерины II.

История возвышения Зубовых достаточно известна. Они принадлежали к небогатому старинному дворянскому роду. Были среди них даровитые люди. Вся семья

отличалась необыкновенной красотой. Младший из братьев, Валерьян, был еще красивее Платона. О красоте Ольги Александровны по Европе ходили легенды. Сложная интрига, на помощь которой пришел случай, выдвинула двадцатидвухлетнего поручика. Престарелая государыня влюбилась в него без памяти.

В то время борьба династий уже кончилась в России, а борьба партий (в нынешнем смысле слова) еще не начиналась. Политические страсти, неизбежные во всяком обществе, в конце царствования Екатерины II выливались главным образом в борьбу кандидатов на «первый пост в империи». После кончины князя Потемкина никто не имел успеха в борьбе с Платоном Зубовым. Впрочем, одна попытка его свержения (мало известная и в подробностях не исследованная) была сделана иностранцем. Кончилась она трагически.

В ту пору гремел в великосветских кругах Европы незаконный сын герцога Саксонского, носивший имя шевалье де Сакса. Он был знаменит своим образом жизни, успехами у женщин, огромной физической силой и особенно поединками, успех в которых создал ему репутацию короля дуэлистов. Революция разорила шевалье де Сакса. Ему пришла мысль: отправиться искать счастья в Петербург. Мысль, впрочем, была весьма банальная: в течение XVIII века путешествие в Россию было почти обязательно для европейских авантюристов высокого полета. Все знаменитые проходимцы веселого столетия — д'Эон, Калиостро, граф Сен-Жермен, Казанова — побывали в России, и о поездке каждого из них плодовитый писатель мог бы написать роман. Разумеется, ездили не одни только авантюристы. Шевалье де Сакс проходимцем не был: приличия тогда были другие и подходить к ним с современным мерилом не следует. Мысль свою шевалье привел в исполнение: в 1794 году он благополучно прибыл в Петербург, получил аудиенцию у государыни и ей понравился. О нем заговорили. Ему неожиданно была назначена приличная денежная субсидия.

По-видимому, прием этот произвел неблагоприятное впечатление на Платона Александровича. По крайней мере, сам шевалье де Сакс именно ревностью и интригами Зубова объяснял то, что с ним произошло в Петербурге. Способ действий в подобных случаях был в ту пору во всей Европе испытанный: надо было так или иначе удалить опасного соперника. Может

быть, де Сакс и ошибался, приписывая все дело фавориту императрицы. Во всяком случае, верно то, что шевалье был выслан из России в результате скандала. Героем этого дела был очень молодой человек — князь Николай Щербатов. Случилось так, что юноша этот, встретив на Екатерингофском гулянье ехавшего верхом шевалье де Сакса, спросил его: «Comment vous portez-vous?»* Шевалье ответил находчиво: «Sur mon cheval»**. Каламбур, собственно, не заключал в себе ничего обидного. Но, очевидно, юного князя убедили в том, что ему нанесено смертельное оскорбление и что древнее имя Щербатовых покроеется несмываемым бесчестьем, если он оставит это дело без последствий. Юноша был потрясен: предпочитая смерть позору, он вечером, по окончании спектакля во французском театре, приблизился к шевалье де Саксу и назвал его крепким словом. Произошло некоторое подобие той сцены у Вальтера Скотта, когда на турнире в Ашби де ла Зуш молодой Айвенго ударом копья в щит вызывает на смертный бой непобедимого храмовника Бриана де Буагильбера. Разъяренный шевалье ударил юношу, Щербатов в ответ изо всей силы хватил де Сакса по голове специально на этот случай припасенной толстой палкой. В ту же секунду вмешалась полиция и арестовала обоих участников дела. Скандал вышел необычайный: о происшествии надлежащим образом доложили государыне, которая терпеть не могла скандалов. Щербатова отправили в деревню к родителям для домашнего внушения, а шевалье де Сакс был немедленно выслан из России. Из заграницы он послал Платону Зубову вызов с приглашением прибыть для дуэли за границу. Зубов отнесся к приглашению вполне равнодушно. Не получив ответа, шевалье напечатал в иностранных газетах свой вызов, составленный в самых оскорбительных выражениях. Это тоже не произвело никакого впечатления на Платона Александровича.

Трагическую развязку дело получило лишь через несколько лет. Пришли иные времена. Князь Платон Зубов отправился путешествовать за границу. Быть может, он к тому времени давно забыл о де Саксе. Но оскорбленный шевалье о нем помнил и, узнав о поезд-

* «Как поживаете?» (фр.)

** Буквально: «На своем коне» (фр.).

ке князя, поскакал в Вену ему навстречу. Зубов принял вызов.

Очевидец, секретарь русского посольства в Вене, в юмористической форме (вероятно, сгущая краски) описывает то, что затем последовало:

«В то время как шли переговоры касательно этого поединка, Зубов не раз приходил ко мне в комнату, занимаемую мною в посольстве. Тогда убедился я, как мало было твердости духа в этом баловне счастья. Правда, он шел на поединок, но он не мог иначе поступить после полученных им от шеваля публичных оскорблений, и на поединок этот он шел, как слабая женщина, приговоренная к мучительной операции... Зубов дрался крайне смешно: прежде чем взяться за шпагу, он стал на колени, долго молился, потом, наступая на шеваля, он наткнулся рукой на его шпагу и, чувствуя, что получил царапину, объявил, что далее не может драться. Шеваля, нанеся ему удар, воскликнул: вы мне надоели».

Однако торжество де Сакса было непродолжительным. Вслед за Зубовым в Австрии появился князь Николай Щербатов, который достиг совершеннолетия. Он в свою очередь потребовал удовлетворения у шеваля и поставил чрезвычайно тяжкие условия поединка: было решено стреляться, а затем, в случае промаха, продолжать бой на шпагах. Щербатова друзья, вероятно, уже мысленно хоронили. Дуэль состоялась в Петерсвальде, и результат ее произвел сенсацию в светских кругах и в летописях поединков: первым же выстрелом молодого русского князя знаменитый дуэлист был убит наповал. Каламбур, сказанный им за несколько лет до того на Екатерингофском гулянье, стоил ему жизни.

Это, повторяю, случилось много позже кончины государыни, когда для Зубовых настали худые времена. Пока императрица жила, князь Платон Александрович был самодержавным властелином России. Бесчисленные показания очевидцев свидетельствуют о культе, окружавшем последнего фаворита императрицы. Один из современников, притом далеко не худший, сравнивал русского Платона с древнегреческим и во всех отношениях отдавал предпочтение русскому. Другие придворные говорили и делали еще не то.

Сам Зубов ко всем относился крайне пренебрежительно. Суворова, приехавшего к нему с визитом, он

принял в «домашнем сюртуке», что совершенно не допускалось приличиями. Фельдмаршал затаил обиду, но, когда ему доложили об ответном посещении Зубова, старик мигом разделся и принял гостя в нижнем белье.

С особы князя Зубова культ переносился и на его молоденькую сестру, которая вдобавок была любимицей государыни. Ольга Александровна в глубокой старости так вспоминала об этих днях своей жизни.

— Вы их еще не знаете, — говаривала она, провожая киванием головы разных толстых и худых сенаторов и генералов, — а уж я довольно на них насмотрелась, меня не так легко провести, как они думают; мне двадцати лет не было, когда брат был в пущем фавере, — императрица меня очень ласкала и очень любила. Так поверите ли, старики, покрытые кавалериями, едва таскавшие ноги, наперерыв бросались в переднюю подать мне салоп или теплые башмаки. Государыня скончалась, и на другой день дом мой опустел, меня бежали как заразы, знаете, при сумасшедшем-то* — и те же самые персоны...

В екатерининское время Ольга Александровна жила очень весело. Трудно, однако, понять, что, собственно, имел в виду Герцен, когда говорил о «сатурналиях», в которых будто бы она участвовала вместе с государыней. Откуда у него могли быть такие сведения? 75-летняя Ольга Александровна, конечно, об этом не стала бы рассказывать молодому человеку (в сущности, и малознакомому), если даже все это было чистой правдой. Вероятно, Герцен кое-что слышал от своего отца, которого связывала с Жеребцовой старая дружба. В строгой точности этих рассказов позволительно, однако, и сомневаться. О «сатурналиях» императрицы Екатерины трубили на все лады иностранные памфлеты периода Французской революции. Но к обличениям «Северной Мессалины» в добродетельных иностранных памфлетах нужно подходить по меньшей мере осторожно. Необходимо считаться с высоким процентом чистого и весьма развязного вранья. Вечно юное литературное производство, специально разоблачающее «тайны Зимнего дворца» и тайны всяких других дворцов, по качеству почти всегда чрезвычайно низко. В восемнадцатом веке к тому же и враги двор-

* Т. е. при императоре Павле I

цов отнюдь не отличались строгостью нравов. Молва усиленно занималась Мирабо, Дантоном, Демуленом. Добавлю, что ни в одном из произведений обличительной литературы конца XVIII века я не встречал указаний на участие в «сатурналиях» Жеребцовой.

Ольга Зубова рано вышла замуж за Александра Александровича Жеребцова, человека очень родовитого (Жеребцовы значатся в Бархатной книге) и ничем не замечательного. Герцен о нем, по-видимому, даже и не слышал: говоря об Ольге Александровне (в павловское время), он называет ее «молодой вдовой генерала». В действительности Жеребцов в ту пору был жив и был он человек штатский, — на старости камергер и тайный советник. Но в судьбе Ольги Александровны ее муж, по-видимому, не играл никакой роли. Жизнь ее в царствования Екатерины II и Павла I тесно сплетается с жизнью другого человека, шумная связь с которым ввела в историю Ольгу Жеребцову. Это был английский посланник* в Петербурге лорд Чарльз Уитворт.

II.

Русский историк (Адрианов) говорит: «Новый чрезвычайный посол английский был человеком еще совсем молодым; он приехал в Петербург, имея всего 28 лет от роду... Сойдясь с Платоном Зубовым и часто бывая у него, Уитворт познакомился и сблизился с его сестрою. Жеребцова произвела на юного дипломата неотразимое впечатление, и он решил во что бы то ни стало завладеть ее сердцем»**...

Все это довольно неточно. Уитворт родился в 1752 году*** и был, следовательно, лет на пятнадцать старше Жеребцовой. Двадцати восьми лет от роду он еще и дипломатом не был, а служил у себя на родине поручиком в первом пехотном гвардейском полку. Много можно сказать и о страстной влюбленности «юного дипломата» в Жеребцову. В. Н. Головина в своих известных записках прямо говорит, касаясь другого

* Англия была тогда представлена в России посланником, а не послом. Официальное звание Уитворта было: «чрезвычайный уполномоченный и посланник».

** «Исторический Вестник», 1895 г., т. 62, стр. 845.

*** «Dictionary of National Biography», p. 61.

романа Уитворта (с графиней А. И. Толстой): «По-видимому, в этой интриге английский посланник в особенности был озабочен тем, чтобы сблизиться с великим князем Александром. У Уитворта были в то время разные заботы более серьезного характера. Он стремился к низвержению Павла I, согласившись для этого (*en se concertant pour cet objet*) с красавицей Ольгой Александровной Жеребцовой, сестрой Зубова, с которой и у него была давняя связь»^{*}.

Сэр Чарльз Уитворт принадлежал к довольно знатной семье, имевшей давние связи с Россией. Брат его деда (тоже Чарльз) занимал в течение шести лет должность английского посланника в Петербурге и пользовался благосклонностью Петра Великого; при отъезде посланника царь подарил ему свой портрет, украшенный алмазами. Отец сэра Чарльза (и он Чарльз) был членом парламента и публицистом. Сам Уитворт, как и оба его брата, избрал для себя военную карьеру.

Он был замечательно хорош собою. О его красоте Наполеон вспоминал на острове св. Елены. Дамы в разных европейских столицах сходили с ума по Уитворту. «Во все периоды его жизни королевы, герцогини и графини осыпали его знаками внимания», — сообщается в английской статье о нем. Говорили, что в молодости он пользовался покровительством самой королевы Марии Антуанетты. Уитворт быстро дослужился в гвардии до чина подполковника, затем перешел на дипломатическую службу. Ему покровительствовал большой английский вельможа, герцог Дорсетский. Герцог был женат на молодой женщине, которая тоже очень благосклонно относилась к Уитворту — даже настолько благосклонно, что вышла за него замуж вскоре после смерти герцога.

В России Уитворт пробыв в качестве посланника двенадцать лет. Успех его у петербургских дам был сказочный. Кроме Жеребцовой, у него был зачаток романа с княгиней Еленой Радзивилл^{**} и настоящий, довольно бурный роман с графиней А. И. Толстой, о котором рассказывает В. Н. Головина^{***}. Она рисует английского посланника холодным совратителем. Лорд Уитворт был современником Байрона. Для байроновского героя он был, пожалуй, чрезмерно респек-

* *Souvenirs de la comtesse Golovine*, Paris, 1910, p. 234.

** Воронцовский архив, т. VIII, стр. 37.

*** *Souvenirs...*, p. 195, 236, 271 и др.

табелен, слишком любил пышные дворы и хорошие должности. Обе русские его поклонницы, Жеребцова и Толстая, последовали за ним за границу. Но герцог Дорсетский к тому времени умер; герцогиня и с ней тринадцать тысяч фунтов годового дохода ждали посланника. Он женился через три недели после дела 11 марта. Известие об убийстве Павла пришло к свадьбе. Лорд Уитворт поспешил депешей приветствовать нового императора, — он уверял Александра I, что годы, проведенные в России, были лучшим временем его жизни^{**}. Уитворт и впоследствии жил чрезвычайно приятно: занимал прекрасные должности, получил еще графский титул и очень увеличил состояние своей жены: к концу его дней из тринадцати тысяч фунтов годового дохода образовалось тридцать пять тысяч.

Под конец своей долгой жизни он был в Англии популярен, хоть у него не было, как у некоторых современных знаменитостей, специальных секретарей по делам рекламы. Как хорошо воспитанный человек, он твердо знал меру и следовал испанской поговорке: «Есть золотая середина между могильным безмолвием и барабанным боем». Вальтер Скотт, который ничего не понимал в людях без лат и шлемов, восторженно отзывается об Уитворте. Знаменитому романисту, по его характеру и взглядам, было бы, впрочем, трудно отзываться неодобрительно об английском графе, после и кавалере ордена Бани. Знал лично графа и британский летописец той эпохи Рэксолл. Он говорит о муже герцогини Дорсетской отнюдь не восторженно и даже намекает на дела весьма сомнительные. Наполеон, считавший лорда Уитворта чрезвычайно респектабельным авантюристом, был, вероятно, всего ближе к истине.

Люди, подобные Уитворту, в ту пору в Англии назывались «beau», — англичане щеголяют французскими словами, как французы щеголяют словами английскими. Оксфордский словарь так переводит это слово: «beau — человек, который обращает особое или чрезмерное внимание на одежду, внешний вид, социальный этикет (добавка: с членом «а» перед словом — большой любимец женщин)». Один английский исто-

^{*} По английским источникам. — С. Р. Воронцов говорит лишь о восьми тысячах (Воронцовский архив, т. IX, стр. 388).

^{**} А. Б. Л.-Р. (кн. Лобанов-Ростовский), «Русская Старина», 1877 г., т. 18, стр. 574.

рик посвятил двухтомное исследование главным беау той эпохи: Георгу IV, графу Барримору, герцогу Норфольку и др. Об Уитворте он в своем труде ни разу не упоминает; очевидно, Уитворт к главным все-таки не принадлежал.

В русской истории на долю этого беау выпала таинственная, до сих пор далеко не во всем выясненная роль. Он принимал участие в подготовке убийства императора Павла.

III.

Как известно, в последние месяцы царствования Павла I война между Россией и Англией стала совершенно неизбежной. Вопрос ставился приблизительно* так: если Павел будет жив, Россия выступит с Францией против Великобритании; если Павел скоропостижно умрет, Россия выступит с Великобританией против Франции. Питт и Бонапарт давали друг другу в Петербурге политическое сражение огромной важности: исход его решился в спальне Михайловского замка в ночь на 12 марта 1801 года.

По-видимому, еще с конца 1799 года Уитворт стал подозревать (и кажется, не без основания), что шифр, которым он пользовался для сношений со своим министром, известен русскому правительству и что его депеши перлюстрируются в черном кабинете. Посланник, человек весьма ловкий, сделал соответствующие практические выводы: в своих зашифрованных депешах он расточал похвалы благородству и добродетелям императора; но к зашифрованным депешам, предназначенным не столько для британского, сколько для русского правительства, он делал еще приписки симпатическими (невидимыми) чернилами. Эти химические депеши до нас дошли. В одной из них лорд Уитворт пишет: «Нам надо быть готовыми ко всему. Должен сказать с сожалением, что император — сумасшедший в буквальном смысле слова (*is literally not in his senses*). Истина эта уже много лет известна ближайшим к нему людям, и я сам имел не раз возможность

* Ввиду переменчивого характера императора Павла схема эта может быть признана только приблизительною.

лично в ней убедиться. Но с тех пор как он вступил на престол, его безумие постепенно усиливалось».

Есть много оснований думать, что невидимыми ли чернилами или как-нибудь иначе Уитворт сообщал своему правительству сведения еще неизмеримо более конфиденциальные. Но точных доказательств этого мы не имеем: в британском министерстве иностранных дел кроме архива, доступного в научных целях избранникам, есть еще архив секретнейший, к которому и по истечении столетий не допускаются ни иностранные, ни даже (насколько мне известно) английские исследователи. Однако и без документальных доказательств участие лорда Уитворта в подготовке цареубийства представляется почти несомненным*. Наполеон, который через своих агентов был прекрасно осведомлен о подготовке этого дела, чуть ли не в лицо называл Уитворта (он был впоследствии великобританским послом в Париже) убийцей императора Павла. Так же смотрело на события 11 марта русское общественное мнение, тесно связывавшее роль британского посланника в деле с ролью Ольги Александровны Жеребцовой.

Вот, например, что рассказывал в глубокой старости князь П. П. Лопухин, брат фаворитки императора Павла Анны Петровны Гагариной:

«Князь Лопухин глубоко убежден в непосредственном участии английского правительства в кончине императора Павла. Уитворт через посредство О. А. Жеребцовой был в сношениях с заговорщиками; в ее доме происходили сборища; через ее руки должна была пройти сумма, назначенная в награждение за убийство или по меньшей мере за отстранение императора Павла от престола... За несколько дней до 11 марта Жеребцова нашла более безопасным для себя уехать за границу и в Берлине выжидала исхода событий... Как только известие о кончине императора Павла дошло до Берлина, Жеребцова отправилась дальше, в Лондон. Там она получила от английского правительства сумму, соответствовавшую двум миллионам рублей. Эти деньги должны были быть распределены между заговорщиками, в особенности между теми, которые

* Титул лорда (Baron Whitworth of Newport Pratt) он получил лишь в марте 1800 г. — по ходатайству императора Павла!

Убедительные психологические доказательства можно найти в пятом томе архива Н. П. Панина.

принимали наиболее деятельное участие в убийстве. Но Жеребцова предпочла удержать всю сумму за собою, будучи уверена, что никто не откажется требовать заслуженного вознаграждения»^{*}.

До нас дошло и много других рассказов в том же роде — о горах английского золота, о *гинеях*, которыми будто бы щедро сыпал в 1800 году Уитворт, нанимая убийц для императора Павла. Серьезные исследователи утверждают и по сей день, что весь дом Жеребцовых, где была генеральная квартира заговорщиков, содержался на средства английского посланника. Ольга Александровна, ее муж и Зубовы принимали гостей, а лорд Уитворт платил за пиры. «Как джентльмен, — говорит С. Адрианов, — Уитворт считал для себя неприличным пировать на счет мужа своей любовницы и сам за все расплачивался. Благодаря неиссякаемому кошельку благородного лорда, по вечерам в доме на Английской набережной шампанское лилось рекой и гости наслаждались всеми затеями французской гастрономии».

В этих рассказах много наивного и неверного. Когда Зубовы получили разрешение вернуться в столицу, Уитворта в Петербурге уже не было. Сообщение о двух миллионах, задним числом уплаченных британским правительством в вознаграждение за убийство русского царя и положенных Жеребцовой в свой карман, едва ли стоит опровергать. В представлении иностранцев английский лорд всегда несметно богат, чрезвычайно щедр и сыплет гинеями направо и налево. Русским современникам могло казаться, что Уитворт еще до заговора чуть ли не содержал Жеребцову и всю ее семью. Как мы увидим, в этом нет ни слова правды. Вопрос о том, кто кого «содержал», очень нуждается в пересмотре. Жеребцовы были богаты и в гинеях не нуждались. Князь Платон Зубов был одним из богатейших людей в России: он оставил около двадцати миллионов рублей. А лорд Уитворт едва ли принадлежал к тем людям, которые очень тратятся на женщин. «Неиссякаемый кошелек благородного лорда» — это клише, перебравшееся в историю из плохой литературы.

Ольга Александровна, как сестра опальных Зубовых, естественно, должна была сочувствовать загово-

^{*} С. Панчулидзе. История кавалергардов, т. II, стр. 263.

ру. Все три ее брата принимали близкое участие в деле 11 марта. Граф Николай Зубов был даже, как известно, одним из физических убийц императора.

Искренняя и страстная любовь Жеребцовой к Уитворту заставила ее всецело отдаться заговору. Переодетая нищенкой, она ходила от одного заговорщика к другому и передавала поручения. Быть может, для этого не требовалось переодеваться нищенкой. Но так выходило еще романтичнее. Впрочем, и без того выходило достаточно романтично. Тем более что романтика легко могла кончиться Тайной Канцелярией.

Тайная Канцелярия, правда, была подчинена главе заговорщиков гр. Палену. Но могли быть всякие сюрпризы. «Участвовать в заговорах все равно что пахать море», — говорил Боливар, который всю жизнь только этим и занимался. Совершенно неожиданностью для заговорщиков была высылка из Петербурга лорда Уитворта, последовавшая по приказу царя в мае 1800 года.

Быть может, несмотря на невидимые чернила, на переодевания, на всю конспирацию, Павел I смутно догадывался о роли английского посланника. Как бы то ни было, с весны 1800 года начинается ряд действий, едва ли не беспримерный в истории дипломатических сношений между великими державами. Англия идет на всевозможные унижения, чтобы избежать войны с Россией.

Британское правительство присылает в Петербург особого уполномоченного для разрешения возникших недоразумений. Уполномоченный пишет одно за другим несколько писем Ростопчину с просьбой о приеме — и не получает никакого ответа. Он обращается с той же просьбой прямо к царю и получает ответ: ему предлагается уехать назад в Англию. Почти одновременно император предписывает русскому посланнику в Лондоне гр. С. Р. Воронцову покинуть Великобританию. Воронцов, давно считающий Павла человеком ненормальным, сдает дела советнику Лизакевичу, а сам остается в Англии в качестве частного лица. Лорду Уитворту Павел приказывает немедленно убираться из России. Расстроенный Уитворт просит разрешения оставить в Петербурге хоть секретаря посольства, чтобы избежать полного разрыва. Разрешение дается и тотчас же отбирается, — всю британскую миссию высылают чуть только не по этапу. Полиция прово-

жает посланника до заставы и там заставляет ждать паспортов. Всем находящимся в России английским купцам предписывается представить «имения своего баланса»; на британские корабли налагается эмбарго; экипаж их ссылается во внутренние губернии. В Англии в это время находится, как бы нарочно для репрессалий, восемнадцать тысяч русских солдат и пятнадцать военных кораблей. Это были остатки сил, действовавших против Франции в 1799 году*.

Узнав обо всем, что происходило в России, советник Лизакевич, по-видимому, совсем потерявший голову, сам приготовил для себя паспорт и под вымышленным именем бежал из Англии. Дела он передал состоявшему при посольской церкви священнику Смирнову. На случай, если бы англичане узнали об исчезновении русского дипломатического представителя, Смирнов должен был отвечать, что Лизакевич уехал на дачу. К великой радости Бонапарта, разумеется, приложившего ко всему этому руку, война между Англией и Россией стала делом решенным. Император Павел послал даже в Париж военный план, выработанный им для руководства Наполеону.

Но, как сказал кто-то из британских государственных людей, Англия во все времена, во всех военных и дипломатических столкновениях теряет все сражения, кроме последнего. В ночь на 12 марта 1801 года император Павел «скоропостижно скончался от апоплексического удара».

Ольга Александровна бежала из Петербурга за границу за некоторое время до царевубийства¹. По-видимому, граф Пален дал вовремя знать Жеребцовой, что ею заинтересовалась Тайная Канцелярия. Известие о кончине Павла I Ольга Александровна получила в Берлине на балу у прусского короля. Весть эта ее так обрадовала, что она тут же с восторгом объявила о

* Впрочем, русская эскадра находилась у берегов Англии и раньше. За некоторое время до того в британском флоте, вследствие сурового обращения начальства и вследствие революционной пропаганды, вспыхнуло серьезное восстание, которое поставило Англию в самое критическое положение. Питт, человек, настроенный, как известно, вполне «национально», считал возможным в исключительных обстоятельствах обратиться за помощью к русским морским силам. Гр. Воронцов своей властью, не сносясь с Петербургом, удовлетворил просьбу британского премьера.

По словам Головкина, она была выслана императором 22 января 1800 года (Comte Fedor Golowkin. La cour et le règne de Paul I, Paris, 1905, p. 225). Это плохо согласуется с некоторыми другими свидетельствами. Быть может, Жеребцовой позднее было разрешено вернуться.

ней гостям, чем вызвала большой скандал. Прусский король был убежденный монархист, и радость, обнаруженная русской дамой по случаю убийства ее императора, показалась ему в высшей степени неприличной. Герцен говорит, что Жеребцовой было приказано в 24 часа выехать из Пруссии. Это едва ли верно. Есть свидетельство о том, что она находилась в Берлине еще в июле 1801 года.

Цель Ольги Александровны была достигнута. Она торопилась в Англию, где ее должен был ожидать Уитворт, ради которого она в течение долгих месяцев ежедневно рисковала казнью. В действительности Жеребцову ждал удар, потрясший ее на всю жизнь: через несколько дней после бала у прусского короля она получила известие о женитьбе лорда Уитворта на герцогине Дорсетской.

IV.

В июле 1801 года гр. С. Р. Воронцов, вновь утвержденный после убийства Павла I в должности русского посланника в Англии, писал (по-французски) своему брату:

«Нам здесь грозит появление одной сумасшедшей женщины, с которой я незнаком и которая должна сюда прибыть в январе, — разве только ее родные в России убедят ее отказаться от этого сумасбродства. Это госпожа Жеребцова. Она рассказывает каждому встречному о своей связи с лордом Уитвортом и имеет бесстыдство жаловаться на то, что ее любовник женился. Она утверждает, будто он ей должен деньги, и собирается, прибыв сюда в январе, взыскать с него долг. В настоящее время она находится в Берлине и там досаждают всем англичанам своими неприличными жалобами... Все письма, приходящие из Берлина, рассказы прибывающих оттуда путешественников распространяют по Лондону сведения о неприличных выходах этой сумасшедшей. Здесь отказываются понять, каким образом дама из хорошего общества, замужняя, имеющая детей, сознается в своей любовной связи и выражает отчаяние по тому случаю, что не может продолжать прежних отношений со своим любовником, так как он женился»*.

* Воронцовский архив, т. X, стр. 113

Ольга Александровна действительно скоро появилась в Англии. Что произошло далее? Чем кончилось дело между нею и Уитвортом? Материалов для ответа у меня очень мало. Летописец той эпохи Рэксолл, говоря о лорде Уитворте, вскользь упоминает, что после его женитьбы на герцогине Дорсетской ему пришлось испытать много неприятностей со стороны «графини Жеребцовой» (Gerbetzow), которой он будто бы обещал в свое время руку и сердце. По словам английского писателя (Рэксолл, в общем, имеет репутацию правдивого человека), московитская графиня в петербургский период жизни лорда Уитворта имела к нему такое *пристрастие* (partiality), что «в значительной мере снабжала, одевала и содержала его дом на свой счет» (ради буквальности перевода мирюсь с его неуклюжестью). Мы видим, следовательно, что поставленный раньше вопрос о том, кто кого содержал, английским писателем решается совершенно не так, как русскими. «Требования графини, — добавляет Рэксолл, — были слишком деликатного и слишком серьезного характера для того, чтобы ими можно было пренебречь». Поэтому герцогиня Дорсетская сочла необходимым заплатить «графине Жеребцовой» десять тысяч фунтов стерлингов и таким образом «приобрела спокойное пользование своим мужем».

Это деликатное место в мемуарах Рэксолла, кстати сказать, вызвало после их появления в свете протест со стороны одного из британских рецензентов*, который обиделся за лорда Уитворта. Не отрицая «пристрастия» московской графини к лорду, рецензент решительно заявляет, что лорд никак не мог обещать графине на ней жениться, ибо графиня была замужем. Замечание, не лишнее сносительности. По мнению рецензента, денежные счета лорда с графиней могли сводиться лишь «к обмену подарками, столь обычному между влюбленными». Не стоит более подробно рассматривать этот вопрос. Я желал лишь выяснить, что русские современники и позднейшие исследователи возвели совершенную напраслину на Ольгу Александровну: уж она-то, верно, денег от Уитворта не получала.

Таким образом, роман, который составлял главное содержание всей жизни Жеребцовой и едва не довел ее до эшафота, кончился глубокой и совершенной прозой.

* «Quarterly Review», декабрь 1836 г., т. 57, стр. 437

Неприятности в связи с появлением в Лондоне Ольги Александровны выпали не только на долю лорда Уитворта. Вскоре после своего приезда она обратилась со следующим письмом к С. Р. Воронцову:

«Милостивый государь, граф Семен Романович. Прошу покорно Ваше Сиятельство взять труд представить меня ко двору, чем много меня одолжите. Я желаю знать, когда вы назначете день, чтобы иметь время мне сделать некоторые учреждения насчет моего убора».

Воронцов ответил на эту просьбу категорическим отказом: он поставил себе правилом представлять к английскому двору только людей, особо ему рекомендованных русским правительством. «Правило, которого я держусь, есть всеобщее и мне не можно оно оставить ни для какой частной особы».

Ответ посланника привел в бешенство Ольгу Александровну. В тот же день она пишет новое письмо Воронцову, начинает неприятными замечаниями и кончает так:

«По отказу Вашего Сиятельства, не могу сносить той образы, в которую вы меня ввергаете, нахожусь принужденною возвратиться в Россию: то и прошу покорно доставить мне пашпорт для проезда в Россию».

По-видимому, это последнее намерение Ольги Александровны чрезвычайно обрадовало Воронцова. «Пашпорт» для нее был мигом изготовлен и препровожден при очень мягком письме: «Я с сожалением вижу из письма, которое я имел честь получить от вас вчерась, что вы думаете, аки бы я был недоброжелателен вам, милостивая моя государыня» и т. д. Граф корректнейшим образом отрицает такое предположение и посылает Жеребцовой паспорт для отъезда в Россию. Радостные надежды С. Р. Воронцова, однако, не сбылись. Несмотря на «образу», Ольга Александровна из Англии не уехала (вероятно, и не собиралась уезжать: только грозила). Ей нужно было попасть ко двору. Она ко двору попала.

V.

Царствовавший тогда в Англии Георг III был тяжело болен: он периодически сходил с ума. Короля тогда заменял на правах регента его старший сын, будущий

Георг IV, прозванный «первым джентльменом Европы». Король и принц Уэльский ненавидели друг друга. Всякий раз, когда у Георга III случался новый приступ безумия, не было в Англии человека счастливее, чем первый джентльмен Европы. Впрочем, еще счастливее бывали тогда его кредиторы. Принц Уэльский был в долгу как в шелку. Он с ранних лет ухитрялся жить так, что огромного его содержания и доходов оказывалось совершенно недостаточно. Жил он, действительно, комфортабельно: у него было пятьсот лошадей и две тысячи костюмов. Костюмы составляли главную радость жизни Георга IV. Они же стали причиной главного его горя: по словам одного из биографов короля, первый джентльмен Европы заплакал только раз в жизни: в тот день, когда покрой его костюма признал не вполне удачным Бруммель, знаменитый законодатель моды, приказывавший натирать свои сапоги для блеска шампанским и пользовавшийся ежедневно услугами трех парикмахеров: один был специалистом по вискам, другой по лбу и третий по затылку.

Все это стоило денег. Когда долги принца Уэльского достигали внушительной цифры, кредиторы устраивали скандал, описывали имущество принца в его дворце Карльтон-Гауз и даже грозили посадить в яму наследника английского престола. Принц продавал лошадей, переезжал из опечатанного Карльтон-Гауза на квартиру родителей и требовал у отца денег. Король в отчаянии обращался за деньгами к Питту. Питт с яростью предлагал парламенту уплатить долги принца Уэльского. Парламент с негодованием отпустил нужные кредиты под условием, что Его Высочество обещает исправиться. Первый джентльмен Европы с полной готовностью обещал исправиться, возвращался в Карльтон-Гауз, с которого снимались печати, и покупал новых лошадей.

Эта неоднократно повторявшаяся история чрезвычайно забавляла Европу. Но и королю, и Питту, и парламенту она надоела чрезвычайно. В 1794 году дела принца Уэльского были особенно плохи. Очередной счет кредиторов достигал 370 тыс. фунтов, а король как на зло чувствовал себя прекрасно. Питт воспользовался положением и предложил любовную сделку: парламент снова уплатит долги принца и сверх того повысит его содержание на шестьдесят пять тысяч

фунтов в год, а принц в доказательство своего раскаяния женится на протестантской принцессе. Принц, собственно, был женат, но тайно и не на протестантской принцессе, а на простой католической леди, — это в счет не шло. Наследник престола поторговался, выторговал себе еще единовременно 80 тыс. фунтов «на приготовления к свадьбе» и бросил свою незаконную жену. Выбор невесты он всецело предоставил Питту и родителям. По разным сложным соображениям выбор этот остановился на принцессе Каролине Брауншвейгской. Принцесса была некрасива и вдобавок не очень молода для невесты, особенно по понятиям того времени: ей шел двадцать седьмой год. Англия с энтузиазмом приняла известие о том, что принц Уэльский решил остепениться. За Каролиной Брауншвейгской тотчас послали лорда Малмсбери и привезли ее из Германии с большим почетом на военном судне в сопровождении целой эскадры.

Первое свидание жениха и невесты, отроду не видавших друг друга, лорд Малмсбери описал выразительно: Его Высочество вошел, посмотрел на невесту, поцеловал ее в молчании, затем тут же велел подать себе большой стакан водки, выпил залпом и удалился, не сказав принцессе ни слова. Все были очень огорчены. Общее огорчение еще усилилось во время обряда бракосочетания: жених был совершенно пьян — настолько, что шафер, герцог Бедфордский, был вынужден под венцом крепко держать его под руку. Этот шафер впоследствии не без гордости говорил, что с самого начала предсказал несчастный характер брака. Проницательный герцог был прав. Первый джентльмен Европы люто, на всю жизнь, возненавидел свою жену*. Очень скоро принц выгнал свою жену из дому. Впоследствии наследник английского престола делал отчаянные усилия, чтобы развестись с женой. Но развода он так и не добился. После того как Георг III окончательно сошел с ума и принц Уэльский укре-

* В летний день 1821 г. обер-гофмаршал проникновенно доложил Георгу IV: «Государь, только что получено известие о кончине злейшего врага Вашего Величества... «Неужели она скончалась?» — воскликнул король и, к большому своему разочарованию, узнал от гофмаршала, что это Наполеон умер на острове св. Елены.

пился в звании регента, принцесса переселилась за границу.

Кончился весь этот анекдот самым невероятным скандалом. Георг III наконец умер, его сын вступил на престол. Была разработана программа пышной коронации. Королева Каролина, узнав о кончине своего тестя, немедленно вернулась в Англию и изъявила желание короноваться. Георг IV ответил отказом и даже категорически запретил своей жене присутствовать на церемонии в публичке. Королева решила, пренебрегая запрещением, занять явочным порядком свое место рядом с супругом. Разрешения конфликта с трепетом ждала вся Англия. Старики придворные предлагали всевозможные компромиссы. Но обе стороны твердо стояли на своем, и обе сдержали слово. В назначенный для коронации час королева Каролина подъехала к дверям Вестминстерского аббатства, вышла из кареты и «с высоко поднятой головой», по словам сопровождавшего ее лорда Гуда, направилась на подобающее ей место. Однако до этого места она не успела дойти: лакеи загородили ей дорогу и чуть ли не взащеи вытолкали английскую королеву из Вестминстерского аббатства.

Все это кажется невероятным не только теперь. Уже в середине XIX века знаменитый романист Теккерей с недоумением спрашивал: каким образом мы еще так недавно могли терпеть подобные дела? По-видимому, постепенная, но довольно быстрая перемена в общественных приличиях произошла по всей Европе во второй четверти прошлого века. Л. Н. Толстой говорил, что он был личным свидетелем этой перемены.

Англичане не очень любят вспоминать время царствования последних двух Георгов, — сплошной и местами неприличный анекдот. Герберт Спенсер на вопрос о том, что он думает о Георге IV, кратко ответил: «Меня мало интересуют преступные элементы общества». Знаменитый философ погрешил против исторической истины. Первый джентльмен Европы был лишь блестящим представителем своей эпохи.

Безукоризненный в личной жизни человек, чуждый своему времени и плохо его понимавший, С. Р. Воронцов, который прожил десятки лет за границей, был наивно убежден в том, что английское общество отвергнет Жеребцову, *сознавшуюся* в своей связи с Уитвортом. Жеребцова, за границей никогда не бывавшая, держалась другого мнения.

Мне неизвестно, как и где Ольга Александровна познакомилась с принцем Уэльским. В английских мемуарах того времени я ничего об этом найти не мог. Известный дневник Гревилля относится лишь к последним годам правления Георга IV. Уилкинс в своем исследовании* ни разу о ней не упоминает. Сведения о ней в этот период ее жизни вообще очень скудны. Вероятно, в пору военного затишья она бывала и в Париже. Французская полиция должна была бы интересоваться такой иностранкой. Но в полицейском архиве тех времен я не нашел упоминаний о Жеребцовой (со всеми поправками на правописание ее трудного имени) ни в «Répertoires sur fiches des Etrangers», ни в «Etats de permis de séjour à Paris».

Влюбилась ли она в первого джентльмена Европы (по-своему, он был, конечно, человек обаятельный)? Или ею руководило преимущественно тщеславие? Или желание *показать* лорду Уитворту? Мы знаем только, что принц Уэльский «оказался у ног русской красавицы». Герцен говорит: «Она делила оргии Георга IV»... Во всяком случае, Ольга Александровна была в большой моде и в большом почете. Вот только ее фамилию англичане никак не могли запомнить и называли ее «Джербетсовой», заодно титулуя Ольгу Александровну графиней (во Франции ее, вероятно, называли бы *бояркой*).

Политикой Жеребцова больше не интересовалась. По-видимому, у нее к тому времени сложилось твердое мнение о политиках, да и о людях вообще.

* W. N. Wilkins, Mrs. Fitzherbert and George IV, London, 1906.

VI.

«Ее длинная, полная движения жизнь, — говорит вскользь Герцен, — страшное богатство встреч, столкновений образовали в ней высокомерный, не лишенный печальной верности взгляд. У нее была своя философия, основанная на глубоком презрении к людям»...

Вернувшись в Россию, перенеся несколько семейных несчастий, Ольга Александровна скоро перешла на положение старухи. Она доживала свой век на покое, больше не занимаясь ни заговорами, ни интригами, никакими делами вообще. Жила она обычно в Петербурге, но двора избегала, а об императоре Николае Павловиче отзывалась непочтительно. «Воюет со студентами, все в голове одно — конспирация. Людишки такие дрянные около него, — откуда это он их набрал? — без роду и племени». Великий князь Михаил как-то стал устраивать по утрам учение солдат на площадке под окнами ее гатчинской дачи. Ольга Александровна раздражилась чрезвычайно. «Дама живет, старуха, больная, а он в шесть часов в барабан. Ну, думаю, это пустяки, позови дворецкого, — пришел дворецкий, а я ему говорю: «Ты сейчас вели заложить тележку да поезжай в Петербург и найми сколько найдешь белорусов, да чтоб завтра и начали копать пруд». Ну, думаю, авось *навального* учения не дадут под моими окнами».

Герцен оставил неподражаемое описание петербургского приема в ее доме:

«Она была повязана белым батистовым платком вместо чепчика, это обыкновенно было признаком, что она не в духе, щурила глаза и не обращала почти никакого внимания на тайных советников и явных генералов, приходивших свидетельствовать свое почтение.

Один из гостей с предовольным видом вынул из кармана какую-то бумажку и, подавая ее Ольге Александровне, сказал: «Я вам привез вчерашний рескрипт

князю Петру Михайловичу, может быть, вы не изволили еще читать?»

Слышала ли она или нет, я не знаю, но только она взяла бумагу, развернула ее, надела очки и, морщась, с страшными усилиями прочла: «Князь, Петр Михайлович!»

— Что это вы мне даете?.. А?.. это не ко мне?

— Я вам докладывал-с, это рескрипт...

— Боже мой, у меня глаза болят, я не всегда могу читать письма, адресованные ко мне, а вы заставляете чужие письма читать.

— Позвольте, я прочту... я, право, не подумал.

— И полноте, что трудиться понапрасну, какое мне дело до их переписки: доживаю кое-как последние дни, совсем не тем голова занята.

Господин улыбнулся, как улыбаются люди, попавшие впросак, и положил рескрипт в карман».

«Ольга Александровна, — говорит еще Герцен, — была особенно добра и внимательна ко мне, потому что я был первый образчик мира, неизвестного ей: ее удивил мой язык и мои понятия. Она во мне оценила возникающие всходы другой России, не той, на которую весь свет падал из замерзших окон Зимнего дворца. Спасибо ей за это!»

По правде сказать, *за это* Герцену едва ли приходилось особенно благодарить Ольгу Александровну. Думаю, что не так уж она могла ценить возникающие всходы другой России. И «конспирации» юных Герцена и Огарева* вряд ли внушали большое уважение Жеребцовой, которая близко знала старого Палена и хорошо помнила, как делаются *настоящие* конспирации. В ее демократическом либерализме позволительно несколько усомниться. Какие были в точности взгляды Ольги Александровны, сказать не берусь. Как жаль, что она не написала воспоминаний!..

Жеребцова, конечно, не сыграла большой роли в истории. В чисто историческом отношении ее жизнь

* «Что же вам было тогда, лет шестнадцать?» — спросила она Герцена, когда он рассказал ей «наше дело»

особого значения не имеет. И все-таки нелегко найти более интересную жизнь. Если бы можно было говорить о русском типе выдающейся женщины восемнадцатого века, я в качестве образца назвал бы Жеребцову. В ту пору в России было много очень замечательных людей. Немало было и женщин, разных по характеру, выдающихся по дарованиям, по уму, по страстному желанию *vivre sa vie*^{*}, быть может, наиболее характерному для эпохи: начать перечень можно было бы с самой императрицы Екатерины, а кончить, пожалуй, тоже императрицей, совершенно на Екатерину не похожей и гораздо более привлекательной: Елизаветой Алексеевной. У Жеребцовой все было принесено в жертву именно этому желанию *vivre sa vie*. Свойственный ей ясный, трезвый, блестящий ум, по-видимому, не занимал большого места в ее жизни: она и с этим умом неизменно делала глупости. Воронцов, строгий судья, называет ее сумасшедшей, возмущается безнравственностью ее поступков. Сам он в общий счет не идет, а подходить к людям восемнадцатого столетия с моральными критериями не так просто. Мы видели, кого в самых передовых странах тогда называли первым джентльменом Европы — ведь все-таки слово «джентльмен» имело не один лишь узко светский смысл. Очень вдобавок расходятся разные оценки людей того времени. Пример поистине поразительный: Марья Дмитриевна Ахросимова «Войны и мира» и Хлестова «Горя от ума» писаны якобы «портретно» с одной и той же дамы. Толстой *хотел найти* красоту и поэзию, — нашел. Грибоедов *хотел найти* пошлость и безобразия, — тоже нашел.

Ольга Жеребцова взяла от жизни все, что могла. Особого счастья это ей не принесло. Жила Ольга Александровна очень долго, пережила и Уитворта, и Георга IV, и мужа, и детей, и братьев, пережила всех друзей молодости, почти всех соучастников по делу 11 марта, чуть только не дожила до пятидесятилетней годовщины этого страшного дела. Жеребцовой было что вспомнить, и слова Герцена показывают, в каком свете

* Жить своей жизнью (*фр.*).

представлялось ей прошлое. Долгие годы оставалась она воплощением одинокой и мрачной старости, живой иллюстрацией к удивительным стихам Гюго:

...Et je courbe, ô mon Dieu, mon âme
vers la tombe,
Comme un bœuf ayant soif penche son front
vers l'eau*.

* Пришли надолго дни тоски, уже зовет меня могила... (из стихотворения «Как всюду о пришельце новом...»). Пер. с фр. И. Ивановского).

Анна де Сталь



Коринна в России

I.

В 1810 году знаменитая писательница госпожа де Сталь, дочь Неккера, окончательно рассорилась с Наполеоном. Историки и биографы утверждают, что причиной этого была книга госпожи де Сталь «О Германии», чрезвычайно не понравившаяся императору.

Книга, действительно, понравиться Наполеону не могла, даже независимо от своего общего либерального духа. Это, вероятно, самое восторженное произведение, написанное о немцах на французском языке. Немцы в ту пору еще не считались во Франции «историческими врагами»; но большой любви к ним у французов никогда не было. Вольтер довольно точно выразил настроение своей страны, пожелав немцам «немного побольше ума и немного поменьше согласных букв». Из книги госпожи де Сталь выходило, что эти соседи, высказывающие тяжеловесные мысли на неблагозвучном языке, чуть ли не во всех отношениях выше французов. Наполеон якобы очень рассердился. Не думаю, впрочем, чтобы он прочел все это трехтомное произведение, — у него были и другие дела: вероятно, только перелистал. Как бы то ни было, книга была конфискована, а госпожа де Сталь «подвергнута жесточайшим преследованиям».

Эти жесточайшие преследования в наше соловецко-дахауское время вызывают невольную улыбку. Вражда госпожи де Сталь с Наполеоном в течение долгих лет очень занимала и волновала Европу. Французскую писательницу называли и «страдалицей», и «мученицей», и «гонимой совестью мира». Ее мученичество началось еще задолго до появления труда о Германии. В 1803 году госпоже де Сталь было неофициально дано понять, что ей не следовало бы жить в 12-мильной полосе, примыкающей к Парижу. Она сняла замок в окрестностях столицы и принимала там весь цвет оппозиционного общества. Затем запретная полоса

была расширена до 40 миль, — госпожа де Сталь поселилась в другом замке. Ее мученичество облекалось в формы довольно деликатные. Она сама, например, рассказывает, что в день установления для нее 40-мильной запретной полосы начальнику версальской жандармерии было предписано явиться к ней с этой трагической вестью в штатском платье, дабы ее не напугать. Госпожа де Сталь была чрезвычайно нервной дамой. Позднее, в Австрии, сын ее совершенно серьезно потребовал у полицейского комиссара, чтобы тот не появлялся в доме гонимой писательницы, ибо самый вид его мог бы ей причинить «роковое потрясение» (*un ébranlement très funeste*).

В 1810 году дело, однако, шло уже не о 40-мильной полосе. Правительство предписало госпоже де Сталь выехать в 24 часа в ее великолепное швейцарское имение Коппе, унаследованное ею от Неккера. Несмотря на весь ужас 40-мильной полосы, мысль о необходимости переменить замок в окрестностях Парижа на замок в Швейцарии и особенно эти 24 часа повергли госпожу де Сталь в полное отчаяние. Она обратилась к правительству с просьбой отсрочить высылку на неделю. Министром полиции был Савари, герцог Ровиго, тот самый, о котором Наполеон говорил: «Если я прикажу Савари убить собственную жену и детей, то он сделает это, не задумываясь ни на минуту». Наполеоновский цербер письменно ответил госпоже де Сталь, что согласен предоставить ей недельную отсрочку. Письмо было составлено не без ехидства, — госпожа де Сталь презрительно его приводит в своих воспоминаниях именно в доказательство грубости цербера: «*Il est curieux, je pense, de voir le style de ces gens-là*»*. Однако заканчивалось это письмо так: «Я сожалею, милостивая государыня, что Вы вынудили меня начать общение с Вами мерой репрессии. Мне было бы приятнее вместо того засвидетельствовать глубокое уважение, с которым я имею честь быть Вашим, сударыня, почтительнейшим и покорнейшим слугой». Опять заметим: теперь в соответственных случаях руководители политической полиции пишут и говорят несколько иначе.

Через неделю г-жа де Сталь выехала в Коппе, — по ее словам, «как лафонтеновский голубь с подбитыми крылышками». Там мученичество ее продолжалось. К

* «Любопытно, я думаю, увидеть стиль этих людишек» (*фр.*).

ней и в Швейцарию постоянно приезжали на поклон известнейшие люди мира. Ее последний роман, в котором она так великолепно себя изобразила под именем Коринны, имел огромный успех во всей Европе*. Эта женщина, со своими забавными недостатками (в сущности, очень небольшими), была на редкость умна и талантлива.

Вдобавок она унаследовала от своего отца большое состояние; жизнь в ее замке была чрезвычайно приятна. Вражда с Наполеоном очень укрепила ее престиж. При ней в Коппе образовалось некоторое подобие двора. Двор был веселый и довольно легкомысленный, но тон соблюдался строго: госпожа де Сталь «задыхается в ссылке, в атмосфере наполеоновского деспотизма». Шатобриан, почти всегда находившийся без гроша, однажды (еще до окончательной ее опалы) очень ее обидел, простодушно ей позавидовав: «Мне так хотелось бы иметь прекрасный замок на берегу Женевского озера». Хуже нельзя было оскорбить госпожу де Сталь: она, как всем известно, была мученицей.

В 1812 году ближайшим друзьям под величайшим секретом было сообщено, что владелица замка больше не в состоянии выносить атмосферу наполеоновского деспотизма. Она решила бежать, бежать в единственную свободную страну Европейского континента: бежать в Россию.

II.

Почти невозможно понять, чем руководился Наполеон, преследуя госпожу де Сталь. Указания историков, биографов, политических деятелей и противоречивы, и непонятны. В действиях императора в отношении госпожи де Сталь разумного смысла нет — это в его жизни одна из наиболее иррациональных страниц. Думаю, что историко-политический подход к ней ничего дать не может; возможен только подход художественно-психологический. У Наполеона была к Коринне

* Шумным успехом пользовались почти все произведения госпожи де Сталь. «Journal de Paris» (28 фримера XI года) высмеивает ее успех с плохо скрываемой досадой: «Знаете ли вы, почему вчера театры были пусты, почему сегодня, в воскресенье, мало будет молящихся в церквях?.. Это происходит оттого, что парижане заперлись по домам и читают последний роман госпожи Сталь-Гольштейн».

безотчетная, непреодолимая антипатия — чувство, вообще не очень свойственное этому человеку холодного расчета. Скажем вульгарно: госпожа де Сталь действовала ему на нервы.

Знакомство их началось давно — и началось странно. В пору итальянской кампании молодой генерал Бонапарт, в несколько недель завоевавший мировую славу, получил из Франции от незнакомой ему писательницы несколько весьма своеобразных писем. Четвертью века позже император предписал генералу Бертрану, сопровождавшему его на остров святой Елены, эти письма опубликовать. Сильна же была в нем антипатия к госпоже де Сталь, если перед самой смертью он думал, как причинить давно умершей женщине еще маленькую посмертную неприятность.

Письма эти почему-то опубликованы не были и до нас не дошли. Однако в их содержании никакого сомнения быть не может: указания самого Наполеона вполне совпадают со свидетельством его секретаря, который письма читал. Госпожа де Сталь заочно объяснялась генералу Бонапарту в любви. В выражениях она, по-видимому, не стеснялась. Коринна призывала молодого генерала бросить жену: «Поистине чудовищен этот союз гения с маленькой незначительной креолкой, неспособной ни оценить его, ни понять». «Эта женщина психопатка, совершенная психопатка! — говорил Бонапарт, читая письмо. — Сравнить себя с Жозефиной!..» — он был в ту пору страстно влюблен в Жозефину. Письма остались без ответа, но госпожа де Сталь не унывала, возлагая надежды на встречу с молодым героем.

Встретились они в следующем году в Париже, куда Бонапарт прибыл со славой спасителя отечества. В ту пору в столице началась памятная комедия. Генерал задумчиво говорил, что он человек не честолюбивый, мирный и скромный: он хочет бросить политику, хочет всецело отдаться научной деятельности. То же говорили его сторонники. На вечере, данном в честь генерала Директорией, Талейран приветствовал Бонапарта умиленной речью: «Ах, я не боюсь в нем того, что можно было бы назвать честолюбием. Нет, я знаю, его придется упрашивать, чтобы оторвать его от тихого уединения науки!..» Этот циник, разумеется, разыгрывал комедию, так же как и сам будущий император. Но Коринна принимала все

за чистую монету и твердила, что Бонапарт — «лучший республиканец Франции».

Она была в него влюблена. Госпожа де Сталь сама рассказывает, что в первый же раз, как она увидела Наполеона, ей показалось, что перед ней человек, ни на одно другое существо не похожий. «Я с трудом дышала при его виде. Мне потом приходилось еще несколько раз с ним встречаться, и никогда я не могла справиться с дыханием в его присутствии». Она рассказывает также, что заранее готовила, шлифовала, записывала разные остроумные замечания для того, чтобы их вставить в разговоре с Бонапартом! Он упорно не желал разговаривать с ней серьезно. Всем известен их диалог: «Какую женщину, генерал, вы считаете наиболее замечательной?» — «Ту, которая родила больше всего детей». В другой раз она его спросила: «Генерал, любите ли вы вообще женщин?» «Я люблю свою жену», — ответил он. «Этот ответ изумителен! — воскликнула госпожа де Сталь. — Сам Эпаминонд ответил бы мне точно так же!..» Однако не помог и Эпаминонд. Бонапарт не желал ее знать. Она говорила, «почти плача», Люсьену Бонапарту: «Я становлюсь глупой в присутствии вашего брата, так мне хочется ему понравиться»...

Госпожа де Сталь глупой быть не могла. Она была необыкновенно умна — об этом свидетельствуют все ее книги. Была она и вполне искренна в своих мыслях, часто глубоких и оригинальных. Однако тон ее мыслей почти всегда зависел от того, в кого она была влюблена. Влюблялась же она почти во всех известных людей, с которыми жизнь ее сталкивала. Надо благодарить Бога, что жизнь не столкнула ее, например, с Робеспьером! Когда ей было 17 лет, мать хотела выдать ее замуж за Питта, — он тогда, 24 лет от роду, уже был первым министром Англии. Если бы эта блестящая комбинация, строившаяся на миллионах Неккера, удалась, то у революционной Франции, вероятно, не было бы злейшего врага, чем Коринна.

Так ей и не удался роман с Наполеоном. Любовь, пренебрежительно им отвергнутая, перешла в ненависть. Были у нее другие романы, — о них тогда много сплетничали досужие люди, впоследствии много писали биографы. Но вскоре после ссылки в Коппе с Коринной случилось неожиданное событие. Впервые в жизни она влюбилась в никому не известного и ничем

не замечательного человека. Вдобавок он был вдвое моложе ее. 17 апреля 1812 года у 46-летней г-жи де Сталь родился сын. Отцом его был юный гусарский офицер Альберт де Рокка.

Роман этот, проходивший довольно бурно, держался в великом секрете; однако близкие друзья о нем знали, могли догадываться и жители Коппе. Надо ли говорить, что наполеоновской полиции очень скоро стало известно решительно все. Восторг ее по этому случаю не знал пределов, по-видимому, в восторге был и сам император. Агенты герцога Ровиго посылали ему все «материалы», вплоть до стишков, написанных каким-то местным остряком по поводу счастливого события. Разумеется, в этой истории не было ничего позорного для госпожи де Сталь. Но было, пожалуй, нечто по тем временам худшее: было смешное. В самом деле, «мученица» — и связь с юным гусаром. «Гонимая совесть мира» — и тайные роды, с отдачей младенца на воспитание чужим людям... Госпожа де Сталь особенно тяжело переживала именно смешную сторону своего романа с Рокка. Можно с большой вероятностью предположить, что в ее бегстве в Россию, помимо «нестерпимой атмосферы наполеоновского деспотизма», сыграло некоторую роль и это обстоятельство.

Была, однако, и политическая цель. Россия начинала войну с Наполеоном. Госпожа де Сталь желала поражения Франции. Было ли это «пораженчеством»? Собственно, национальность Коринны может считаться довольно неопределенной. Ее отец, Неккер, — швейцарец не то немецкого, не то ирландского происхождения — оказался министром Людовика XVI в силу одного из тех парадоксов, которые были свойственны старому строю во Франции так же, как у нас. При Бурбонах коренной француз не мог стать офицером, если не был дворянского происхождения, не мог стать членом королевского совета, если не был католиком. Однако Неккер, не француз, не дворянин и не католик, был назначен Людовиком XVI на должность первого министра! Г-жа де Сталь, дочь швейцарца, вышедшая замуж за шведа, по паспорту считалась во Франции иностранкой. Но родилась она в Париже и сама себя всегда считала француженкой. Ее поездка в Россию, совпавшая по времени с Отечественной войной, таким образом приобретала особый характер. Там, где начи-

нались большие исторические события, было естественное местопребывание Коринны.

III.

Госпожа де Сталь решила бежать из Коппе в Россию — и все же до самой последней минуты колебалась. По ночам ей вдруг приходило в голову, что агенты Наполеона схватят ее и посадят в тюрьму, — в воспоминаниях Коринны есть красноречивая страничка о том, как при ее нервности было бы для нее ужасно тюремное заключение. Друзья, по непонятным мне причинам, еще от себя ее запугивали. Эльзеар де Сабран — по-видимому, вполне серьезно — писал ей: «Если вы останетесь (в Коппе), он (Наполеон) обрежет вас на участь Марии Стюарт: 19 лет несчастья, затем катастрофа!» Коринна, по собственным словам, трепетала. Это почти непостижимо. Ее друг Сисмонди, правда, утверждает, что она была необычайно труслива («excessivement poltronne»). Все-таки не могла же она думать, что Наполеон прикажет отрубить ей голову!

Есть, впрочем, основания предполагать, что в действительности она опасалась не участи Марии Стюарт. Коринна смертельно боялась наполеоновской печати. Император, пишет она сама, мог в случае ее побега из Коппе «поместить в газетах одну из тех статей, которые он умеет диктовать, когда хочет кого-либо убить морально. Знакомый сенатор говорил мне, что Наполеон лучший из всех известных ему журналистов. И действительно, если журнализмом называть искусство диффамации, то он им владеет в высочайшей мере». Коринна и раньше предполагала, что одна анонимная ругательная рецензия о ней была написана самим Наполеоном! Черта забавная, почти трогательная в профессиональной мании величия: госпожа де Сталь была настоящая писательница, во всех смыслах слова. Ничем «убить морально» Наполеон ее не мог бы, если бы и хотел; никаких преступлений за ней не значилось. Но шутка ли сказать: ругательные статьи в газетах!..

После долгих колебаний все же решено было ехать, несмотря на эшафот и на рецензии.

23 мая 1812 года госпожа де Сталь в величайшем секрете покинула Коппе. С ней ехали ее дети и, разумеется, Альберт де Рокка. Незадолго до того она тайно вышла за него замуж. Позднее, в Швеции, вышла за него замуж вторично. «Elle ne pouvait se croire assez mariée»*, — говорит Бонштеттен. Друзья о браке не знали и недоумевали. Один из них писал, что молодой гусар, верно, взят Коринной для защиты в дороге от разбойников. В Берне к ним присоединился еще Август Вильгельм Шлегель, уже тогда весьма известный филолог и историк литературы. Его роль при госпоже де Сталь в точности до сих пор неизвестна, — современников она очень занимала. Он считался учителем ее детей.

Благополучно ускользнув от наполеоновских агентов, все это странное общество наконец прибыло в Вену.

Там их встретили без ужаса, но и без восторга. Австрийское правительство поддерживало хорошие отношения с французским: Мария Луиза незадолго до того вышла замуж за Наполеона. Но, по всей видимости, дело было не в политике. Баронесса дю Монте писала: «Госпожа де Сталь находится в Вене... Она недовольна малым энтузиазмом, который проявляется в ее отношении... Говорят здесь разное: говорят о водянке, о беременности, о некоем Рокка, о тайном браке»... На одном обеде какой-то тактичный человек спросил Коринну: «Сударыня, кто для вас, собственно, г. Шлегель?»

Не лучше вели себя и власти. Несмотря на свой либерализм, госпожа де Сталь во всякой столице начинала знакомство с обществом с появления в придворных кругах. В Вене теперь это оказалось неудобным по многим причинам: и из-за родства императорской фамилии с Наполеоном, и в особенности из-за Альберта де Рокка, который вдобавок числился на французской службе и мог, следовательно, считаться дезертиром. Венский полицей-президент сообщил это госпоже де Сталь. Она пришла в крайнее негодование. «Вы не хотите, чтобы мы объявили войну Франции из-за господина де Рокка?» — сказал ей не без юмора полицей-президент. «А почему бы и нет! — гневно воскликнула госпожа де

* «Она не ощущала себя действительно замужней женщиной» (*фр*).

Сталь, — господин де Рокка мой друг и будет моим мужем!..» Так, по крайней мере, излагает этот разговор князь Меттерних; у нас нет основания ему не верить: она была неотразимая Коринна, из-за ее друга отлично можно было начать войну.

Войны из-за де Рокка австрийское правительство так и не начало. Но франко-русская война начиналась. Русское посольство было чрезвычайно любезно с жертвой наполеоновского деспотизма. Однако оно не имело права выдать ей своей властью паспорт на въезд в Россию: надо было запросить Петербург. Госпожа де Сталь не хотела долго оставаться в неприветливой Вене. Условившись с посольством, что паспорт по получении ответа из Петербурга будет послан ей вдогонку, она тронулась в путь на восток, через Галицию. Ей пришлось довольно долго ждать паспорта в Бродах. Но там, на счастье, нашлись люди ее круга.

Один из них, барон дю Монте, в очаровательном по юмору письме к своей жене описал пребывание в галицийском городишке знаменитой путешественницы. Описал и свою беседу с ней. Впрочем, беседы не было: был монолог Коринны. Она буквально заговорила барона, не давая ему вставить ни слова. «Бедная Александрина! — пишет он весело жене. — Как мне тебя жаль! Госпожа де Сталь будет думать, что твой муж круглый дурак... Впрочем, постой... Она начала мне рассказывать, каким преследованиям подвергалась за то, что не хотела молиться богу Наполеону. Я, недолго думая, брякнул: «Да, значит, в мире существуют только три независимые державы: Англия, Россия и вы». Сказал и сам густо покраснел: экую глупость сморозил! Так нет же! Мой ответ был найден умным, оригинальным, мне нежно пожали руку. Всего, что мне было сказано, я не могу тебе передать: ты обвинила бы меня в хвастовстве». В своих письмах барон дю Монте сообщает еще некоторые сведения, которые могли интересовать его жену: де Рокка незначительный юноша... Шлегель все время спит... Госпоже де Сталь сорок шесть лет, — «своими глазами видел ее метрическое свидетельство»... Безобразна она до ужаса («laide à faire peur»).

Последнее было, по-видимому, преувеличено. Коринна отнюдь не могла назваться красавицей, но мно-

гие* считали ее привлекательной по внешности, о том же свидетельствуют ее победы. Красота, говорится, понятие субъективное. Сама госпожа де Сталь считала безобразным Гёте! Он к 50 годам слишком располстел и обрюзг. «Его ум, — писала она, — следовало бы вложить в другое тело; нельзя постигнуть, почему столь высокому духу дана столь дурная оболочка»...

Паспорт от русского посольства был наконец получен. «Всю мою жизнь буду за него благодарна», — писала госпожа де Сталь. 14 июля 1812 года изгнанники подъехали к русской границе. Как только шлагбаум опустился за коляской Коринны, она дала себе клятву не возвращаться в земли, поработанные Наполеоном.

Здесь в ее путешествии кончается смешное. Больше как будто нет нервной, влюбленной в себя, избалованной жизнью дамы. Перед нами писательница большого таланта и ума необыкновенного.

IV.

Я и то опасуюсь, что уделил слишком много места забавным сторонам характера госпожи де Сталь. Без них ее портрет неясен, но сами по себе они не дают на портрет и намека. В этой женщине было редкое сочетание ума и доброты, большой благожелательности к людям с тонким их пониманием. Когда дело лично ее не касалось, она разбиралась в людях превосходно. Самое же удивительное в ней было: способность все понимать с полуслова.

На немцев она этой способностью наводила ужас: так все это было подобно фейерверку и так явно недостаточно gründlich**. Встретившись однажды с Фихте, госпожа де Сталь не задумываясь к нему обратилась: «Скажите, господин Фихте, могли бы вы в очень короткое время, например в четверть часа, изло-

* Далеко, впрочем, не все. В одной французской газете ей были уделены следующие любезные строки: «То, что вы безобразны, это не ваша вина. Но то, что вы интриганка, это вина ваша». Гибер пишет довольно неопределенно: «Ses grands yeux noirs étincellent de génie... Ses traits sont plus prononcés que délicats». (Ее черные глаза искрятся гением... Ее черты скорее резкие, чем тонкие) (фр.).

** Основательно, глубоко (нем.).

жить мне вашу философскую систему»... Предложение это показалось дерзким знаменитому философу. Тем не менее он начал излагать, быть может, не слишком ясно: он плохо говорил по-французски. Через несколько минут госпожа де Сталь его прервала: «Достаточно, господин Фихте, вполне достаточно! Я вас поняла превосходно... Вижу и иллюстрацию к вашей системе: это одно из походов барона Мюнхгаузена»... Фихте, по словам очевидца, «сделал трагическое лицо» («Fichte's face looked like a tragedy»). Коринна тотчас разъяснила свою шутку. Шутка была как шутка, — госпожа де Сталь просто кокетничала с автором «Системы морали» почти так же, как кокетничала с 23-летним Альбертом де Рокка. Она была неотразимая Коринна. Но, разумеется, Коринна отлично понимала, что Фихте сам по себе, а барон Мюнхгаузен тоже сам по себе.

Понять Россию ей было, в сущности, почти невозможно. По-русски она не знала ни слова, русского Шлегеля при ней не было, спрашивать было не у кого. И тем не менее страницы, написанные ею о России, надо признать необыкновенными, особенно если их сравнить с тем, что пишут некоторые нынешние туристы. Умом сердца, да и просто умом, она поняла многое такое, что тогда ускользало не только от иностранцев.

Разумеется, в ее книге есть ошибки. Госпожа де Сталь под Москвой слышала, как крестьяне поют «украинские песни». По-видимому, она считала Китайгород китайским кварталом Москвы. Это несущественно. Книга ее чрезвычайно благожелательна, — достаточно напомнить, что до нее писал о России Массон, а после нее Кюстин! Освещение, данное госпожой де Сталь русской жизни alexандровского времени, по тону почти не отличается от того, что мы находим в «Воине и мире». И в русской жизни, и в русском народе, со всеми их противоречиями (ею же с большой силой отмеченными), эта случайная туристка первая отметила те самые черты, которые много позднее показала классическая русская литература.

Скажу больше, она предвидела и путь русской литературы. В Москве, в Петербурге ей читали вслух и наспех переводили литературные произведения авторов, которых в ту пору читали, — не знаю, что именно: Хераскова? Озерова? Сергея Глинку? Она была далеко

не в восторге. Приблизительный смысл страниц, относящихся к русской литературе в ее воспоминаниях, таков: все это очень слабо потому, в особенности, что это невежественное подражание французским образцам. Но язык превосходный, чрезвычайно благозвучный, и возможности у русской литературы, в связи с национальным характером, громадные: они осуществляются тогда, когда русские писатели перестанут писать под французских классиков XVII и XVIII веков, когда они обратятся к подлинной русской жизни и к самым интимным сторонам человеческой души. Предсказание поистине замечательное. Надо удивляться тому, что наши историки, и общие, и литературные, уделили очень мало внимания этим удивительным страницам из воспоминаний этой удивительной женщины.

Зато вполне оценил ее книгу Пушкин*.

V.

«Она приехала летом, когда большая часть московских жителей разъехалась по деревням. Русское гостеприимство засуенилось; не знали, как угостить славную иностранку. Разумеется, давали ей обеды. Мужчины и дамы съезжались поглазеть на нее и были по большей части недовольны ею. Они видели в ней пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее не понравился, речи показались слишком длинны, а рукава слишком коротки. Отец Полины, знавший *m-me de Staël* еще в Париже, дал ей обед, на который скликал всех наших московских умников. Тут увидела я сочинительницу Коринны. Она сидела на первом месте, облокотясь на стол, свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочку из бумаги».

Это из пушкинского «Рославлева». Не сомневаюсь, что Пушкин слышал о пребывании в Москве госпожи де Сталь рассказ какого-либо очевидца. В этом убеждает маленькая подробность: «свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочку из бумаги» —

* «Из всех сочинений г-жи де Сталь книга «Десятилетнее изгнание» должна была преимущественно обратить на себя внимание русских. Взгляд быстрый и пронизательный, замечания разительны по своей новостности и истинности, благодарности и доброжелательности, водившие пером сочинительницы, — все приносит честь уму и чувствам необыкновенной женщины».

таков был действительно привычный жест мадам Коринны.

Читатель, вероятно, помнит, что в «Рославлеве» госпожа де Сталь производит сильнейшее впечатление на молодую русскую княжну Полину, которая в 1812 году хотела «явиться в французский лагерь, добраться до Наполеона и там убить его из своих рук». Княжна Полина защищает знаменитую путешественницу, горячо из-за нее спорит с насмешливыми людьми. «И дядюшка смеет еще насмехаться над ее робостью при приближении французской армии! «Будьте спокойны, сударыня: Наполеон воюет против России, не противу вас» ... Да! если бы дядюшка попался в руки французам, то его пустили бы гулять по Пале-Роялю; но мадам де Сталь в таком случае умерла бы в государственной темнице»...

Пушкин, конечно, верно передал отношение русского общества к Коринне. Определялось оно разными национальными чертами: благодушием, насмешливостью, любопытством, беззаботностью, всего больше гостеприимством. Сказались тут и черты времени, и черта географическая: необъятность русской территории. Во многих отношениях поездка и впечатления госпожи де Сталь, по нашим нынешним европейским понятиям, почти чудесны.

В самом деле, в пору вторжения французов в Россию на границе появляются иностранцы, не знающие ни одного русского слова, говорящие исключительно по-французски. Бумаги у них странные: как будто французы, правда, беглые, да кто там это мог понять? В Волынской губернии едва ли очень разбирались в оттенках французской политической мысли и во взаимоотношениях госпожи де Сталь с Наполеоном. Тем не менее путешествуют эти иностранцы в разгар войны совершенно свободно: ни малейшей неприятности ни с властями, ни с населением, — Коринна сама изумляется.

Мало того, их поездка превращается в сплошной праздник. Приемы у губернаторов, обеды у помещиков, в Киеве бал у Милорадовича, в Москве обед у Ростопчина, в Петербурге беспрерывный ряд обедов,

* Но «другом Байрона» Пушкин (или, по крайней мере, рассказчица «Рославлева») называет госпожу де Сталь ошибочно. Байрон ее недолюбил: «Her works are my delight, and so is she herself, for half an hour»... (Ее книги мне нравятся и она сама — на полчаса — *англ.*).

приемов, балов, загородных праздников у графа Орлова, у Нарышкиных, у графа Строганова, у какого-то богатейшего купца, — его фамилии госпожа де Сталь не помнит; она только сообщает, что этот купец поднимал у себя на крыше флаг в те дни, когда обедал дома: означало это общее приглашение на обед всем его знакомым. Добавлю, что петербургские празднества происходят в августе, т.е. как раз перед Бородинским сражением и незадолго до занятия французами Москвы!

Война, даже грандиозная, в ту пору гораздо меньше меняла жизнь страны, чем в наше время. Да и велась ведь война почти непрерывно: в сущности, ненормальным состоянием Европы начала прошлого века был мир. Апокалипсические настроения были, но люди привыкли и к ним. Грань между людьми в 1812 году шла по жизни и по делам Наполеона: кто с ним, кто против него. О революции еще вспоминали фанатики.

Собственно, к революции имела некоторое отношение и госпожа де Сталь. Ее в Кобленце называли то революционной вакханкой, то революционной фурией, — и на фурию, и на вакханку эта 46-летняя дама добрейшей души походила весьма мало. Но фанатики просто проглядели перемену политического водораздела. «Революционная фурия» в Москве миролюбиво беседовала с графом Ростопчиным. Это и в Европе могло удивить лишь немногих. В Вене эрцгерцог Габсбургского дома, еще недавно бывший тосканским монархом, дружелюбно распевал дуэты с новой тосканской властительницей, посаженной на трон Наполеоном. А в Париже бывали вечера, на которых можно было увидеть самое дикое, непостижимое сочетание людей, — вот как если бы русские великие князья Победоносцев, Муромцев, Милюков, Корнилов и Керенский сошлись в Кремле на большом балу у Ленина.

VI.

Все же положение госпожи де Сталь в России было не из приятных.

Явление «пораженчества» старо, но понятие ново, как и самое слово. Европа в начале XIX столетия еще не пропиталась национальной идеей. Мы теперь, ве-

роятно, удивились бы, если бы Поль-Бонкур или сэръ Джон Саймон* оказались на склоне дней членами персидского или аргентинского кабинета. Но русский министр иностранных дел александровского времени граф Каподистриа кончил жизнь на должности главы греческого правительства. Таких случаев было много. Довольно обычным явлением было и то, что мы теперь называем поражёнчеством. В Англии, например, немало выдающихся людей от всей души желало победы Наполеону. Лорд Байрон написал оду в честь французского императора как раз тогда, когда союзные войска подходили к Парижу.

Госпожа де Сталь стала «пораженкой» еще в 1800 году. «Я желала, чтоб Бонапарт был разбит, ибо это было единственным способом остановить рост его деспотизма... Благо Франции требовало, чтобы она потерпела поражение». На этой программе ей легко было сойтись с министрами всех стран, воевавших с Наполеоном. В России она вела много политических бесед. «Наши умники, — говорится в «Рославлеве», — ели и пили в свою меру и, казалось, были гораздо более довольны ухом князя, нежели беседой мадам де Сталь. Дамы чинились. Те и другие только изредка прерывали молчание, убежденные в ничтожестве своих мыслей и оробевшие при европейской знаменитости». Княжна Полина в отчаянии: «Как ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщине!» Отчаяние княжны Полины напрасно. Коринна самому Гёте едва давала вставить в разговор слово; но зато она была очень снисходительна к провинциальным собеседникам, — «как мимоездом Каталани цыганке внемлет кочевой».

Хуже было то, что не все укладывалось в ее схему: Бонапарт деспот, его противники освобождают мир. Она сама указывает, например, что русское крепостное право причиняло ей горе и смущение, — надо думать, не столько из-за крепостных, сколько из-за схемы. В Пруссии не в чести была свобода слова. В Австрии не вполне торжествовало народоправство. Госпожа де Сталь давала всем знакомым европейским правителям

* Поль-Бонкур Жозеф (1873—1972) — французский дипломат, был министром иностранных дел, представителем Франции в Лиге Наций; Саймон Джон Олсбрук (1873—1954) — английский политический деятель, занимал различные министерские посты в правительствах Великобритании. — *Прим. ред.*

либеральные советы, правда довольно умеренные, — советы Симеона Полоцкого начальству: народ «не презирати, не за псы имети». Ее слушали вежливо, это никого не интересовало.

Самое же худшее было другое. Оказалось, что не все противники Наполеона друзья Франции. Госпожа де Сталь это заметила лишь в Петербурге. В театре ставили «Федру», публика освистала спектакль. Коринна разрыдалась: «Варвары! Они не желают видеть «Федру» Расина!..» В другой раз она заплакала на загородном празднике у Нарышкина. Хозяин поднял бокал за успех русского и английского оружия. «У меня полились слезы: этот иностранный тиран довел меня до того, что я желаю поражения французам!» Дочь Неккера упорно считала Наполеона иностранцем — она утешалась как могла.

Император Александр ее обворожил. Он, по-видимому, тотчас ее разгадал (знал толк в людях), вел с ней душевные разговоры и, по своему обыкновению, обходил ее слева. «Государь, ваш характер лучшая конституция для империи вашей!» — восторженно воскликнула госпожа де Сталь. «Если даже это так, — ответил Александр Павлович, — то ведь я только счастливая случайность». Коринна была в восторге. Несколькими годами позднее госпожа де Сталь горячо убеждала Веллингтона и Каннинга «примкнуть к либеральным воззрениям императора Александра». Каннинг мрачно ей ответил: «Император Александр якобинец».

О серьезных политических делах, которые госпожа де Сталь вела в России, мы знаем немного. Савари обвинял ее в том, что она способствовала устройству свидания в Або между царем и шведским наследным принцем и заключению русско-шведского союза. Валишевский в своей последней работе об Александре I это отрицает с достаточным основанием: Коринна не преминула бы похвастать своими делами в воспоминаниях.

Ей суждено было испытать горькое разочарование.

VII.

Союзники воевали только с Наполеоном. Но по наполеоновским счетам, естественно, заплатила Франция. «Париж занят союзниками, — писала в 1814 году госпожа де Сталь. — У Тюильри, у Лувра стоят войс-

ка, пришедшие с границ Азии. Наш язык, наша история, наши великие люди меньше им известны, чем последний татарский хан... Это для меня нестерпимое горе!..»

По-видимому, она представляла себе все совершенно иначе. Союзники свергнут Наполеона, установят во Франции просвещенную свободную республику или просвещенную свободную монархию и немедленно уйдут, раскланявшись с французским народом и ничего, разумеется, не взяв за труды и за потери. У власти окажутся ее ближайшие друзья, она будет при них советчицей или музой. Вышло не совсем так. И союзники оказались непохожими на шоколадных рыцарей, и Бурбоны не звали к власти ее друзей. Она говорила о Наполеоне: «Он двенадцать лет обходился без конституции и без меня», — победители корсиканского тирана в этом отношении оказывались не лучше его. Коринна не скрывала своего возмущения: «Если бы она это знала раньше!..»

Эта женщина, часто очень проницательно судившая за письменным столом об исторических событиях, не годилась для практической политики. Неудачи и разочарования не изменили ее взглядов. Но, по-видимому, на компромиссы она была готова. Не прочь была, кажется, помириться и с Кобленцем. Где-то, явно по неосторожности, ее представили герцогине Ангулемской. Это вышло нехорошо. Герцогиня Ангулемская, дочь Людовика XVI и Марии Антуанетты, 15-летней девочкой проводившая на эшафот отца и мать, спасшаяся из тюрьмы истинным чудом и прожившая 20 лет в изгнании, не грешила симпатиями к либералам. Коринна пыталась было наскоро очаровать и этот живой призрак Тампля: «Воспоминания Вашего Высочества были бы так интересны!..» Герцогиня Ангулемская посмотрела на нее так, точно внезапно перед собой увидела чудовище озера Нессе, — госпожа де Сталь тотчас отказалась от компромисса с Бурбонами. Очень недовольна она была и императором Александром, и государственными деятелями Англии.

В последние три года жизни она была в стороне от большой дороги истории — высшее для нее горе. Она то путешествовала, то отдыхала в Коппе.

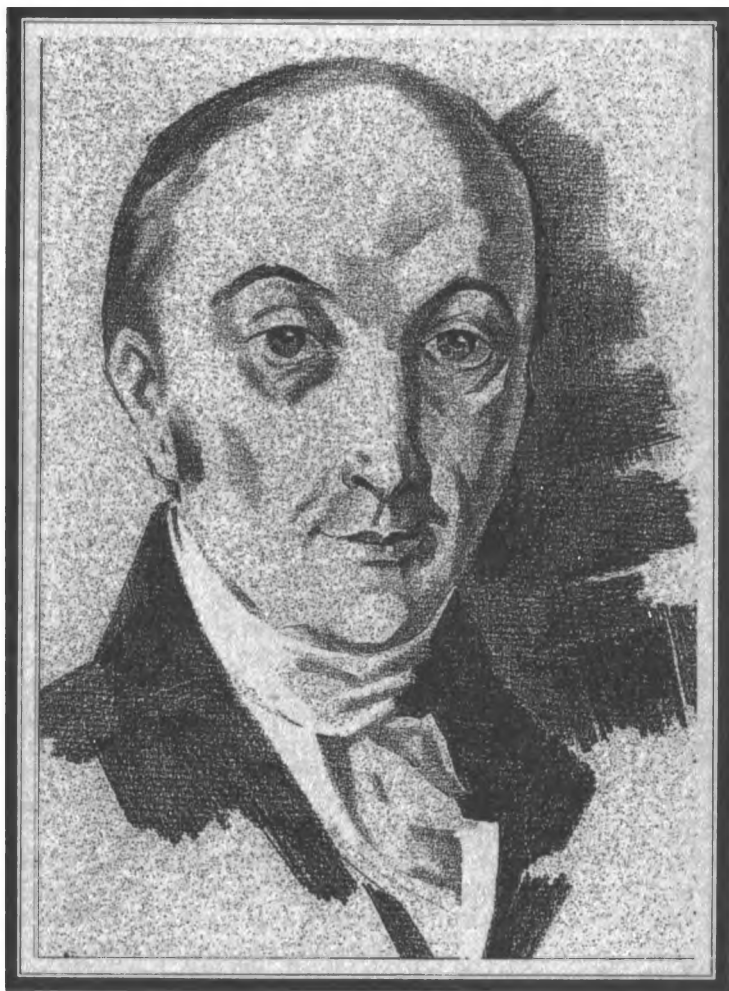
Я видел не так давно этот замок, до сих пор принадлежащий потомкам госпожи де Сталь. Замок гро-

мадный, «средневековый» (хоть, кажется, без «бойниц»); это местная достопримечательность: в лавках соседней деревни продаются его фотографии; владельцы лавок говорят просто «le château». При замке большой сад, — в саду госпожа де Сталь обычно ссорилась и мирилась со своими друзьями (в парке другого замка, в котором она жила во Франции, одна аллея так и называлась «аллеей примирений»). Быть может, именно здесь Бенжамен Констан, и боготворивший, и ненавидевший Коринну, вызывал из-за нее на дуэль Альберта де Рокка, — самолюбие автора «Адольфа», верно, страдало немало: уж очень неравен ему по рангу был его преемник и соперник. Здесь же где-то и похоронена госпожа де Сталь, рядом с почтенным Неккером, которого она совершенно искренно противопоставляла Наполеону. Но на ее могиле я, по случайности, не был. В известные дни и часы замок показывают посетителям, и его добросовестно осматривают немки, только что узнавшие с интересом из Бедкера, кто такая была госпожа де Сталь.

Показывают им в замке длинную библиотеку, украшенную огромным глобусом, — этот никому ни для чего не нужный инструмент как будто подчеркивает искусственность проходившей здесь шумной жизни. Показывают спальню госпожи Рекамье; ее с хозяйкой связывала искренняя дружба: две богини поделили между собой красоту и духовные сокровища. Показывают и главную гордость замка: большую гобеленную гостиную. Здесь Коринна в последние годы жизни принимала разочарованных людей, — их в ту пору в Европе было очень много. Немало здесь, должно быть, велось бесед все на ту же тему: «Если бы мы это знали раньше»... Вечное наивное оправдание плохих политических деятелей!

* «Замок» (фр.).

Михаил Сперанский



Сперанский и декабристы

I.

А. Д. Боровков, правитель дел комитета, который вел следствие о декабристах, в своих «Автобиографических записках» говорит: «Некоторые злоумышленники показывали, что надежды их на успех основывали они на содействии членов Государственного Совета графа Мордвинова, Сперанского и Киселева, бывшего тогда начальником штаба 2-й армии, и сенатора Баранова. Изыскание об отношении этих лиц к злоумышленному обществу было произведено с такой тайною, что даже чиновники комитета не знали; я сам собственноручно писал производство и хранил у себя отдельно, не вводя в общее дело. По точнейшем изыскании обнаружилось, что надежда эта была только выдуманною и болтовнею для увлечения легковверных. Не думаю, чтобы об этом было известно подвергнувшимся без ведома их следствию; по крайней мере, когда я, исправляя должность статс-секретаря Государственного Совета, сблизился весьма хорошо с графом Мордвиновым и пользовался его благосклонностью, а быв председателем комитета для переделки Свода военных постановлений, часто и откровенно беседовал с графом Сперанским, они ничего мне не говорили и ничего не спрашивали о сделанном против их извете... Может быть, мятежники льстили себя надеждою на их содействие, увлекаясь свободным и резким изложением их мнений»*.

То же самое в тех же почти выражениях говорит и секретное приложение к докладу Следственной комиссии**. Ни в том, ни в другом документе не указано, каким именно образом велось и пришло к своему выводу это таинственное следствие.

Преемственная связь между воззрениями декабри-

* «Русская Старина», 1898 г., № 11, стр. 348.

** «Русский Архив», 1875 г., т. III, стр. 435

стов (по крайней мере, Северного общества) и идеями Сперанского (его первого блестящего периода) достаточно очевидна. Разумеется, конституция Никиты Муравьева шла дальше давних конституционных проектов государственного секретаря. Между ними лежали самые бурные годы европейской истории и крушение империи Наполеона. Но, с точки зрения Николая Павловича и его приближенных, разница была невелика: декабристы были духовные дети Сперанского. Идейной связи, однако, недостаточно. Следствие упорно ищет *соучастия*.

Что же, собственно, показывали «некоторые злоумышленники» по вопросу о содействии, якобы оказанном им Сперанским? Надо признать, их показания (поскольку они нам известны) не давали материала для привлечения к ответственности знаменитого государственного деятеля. С некоторой определенностью высказывался Завалишин. По его словам, в самый день 14 декабря утром Корнилович предложил Сперанскому войти в состав Временного правительства. На это Сперанский будто бы ответил:

— С ума вы сошли? Разве делают такие предложения преждевременно? Одержите сначала верх, тогда все будет на вашей стороне.

Однако склад ума Сперанского, несколько не циничный, делает такой ответ с его стороны мало вероятным.

Довольно определенное свидетельство о роли, сыгранной Сперанским, оставил нам и бар. Штейнгель. В том, что Сперанский намечался декабристами в состав Временного правительства, вообще сомневаться не приходится. Князь Сергей Трубецкой в письме своем к Бенкендорфу (от 26 декабря 1825 года) говорит следующее: «На бывший мне вопрос в ком я и несчастные товарищи бедственных подвигов моих надеялись снять помощь из особ занимающих высшие в Правительстве места, я ответил истинну, что мы не имели никаких поводов ни на кого из таких особ надеяться... Но Вашему Высокопревосходительству я обязан сказать по истинне на кого я хотя и без всяких причин метил в записке, находящейся при делах комитета; я обязан вам сказать, что я метил на Михайла Михайловича Сперанского и Александра Семеновича Мордвинова, единственно потому, что первого почитал не врагом новостей, как он многие вводил будучи Госу-

дарственным секретарем, а на второго потому что он из известнейших особ в Государстве. О первом я старался узнать от Правителя его Канцелярии Батенкова и получил только в ответ «нет, Батюшка, у нашего старика не выведаете что он думает»^{*}.

С этим совпадает и показание Рылеева: «На его сей последний (Трубецкой) возразил, что во Временное Правление надобны люди уже известные всей России и предложил к тому Мордвинова и Сперанского. На что все согласились. Я также был с ним согласен, и с самого того времени по 14 декабря мысль сия в Северном Обществе оставалась неизменною»^{**}.

Здесь разногласий у декабристов нет. Но следствие, разумеется, интересуется другим вопросом. Ему необходимо выяснить, знал ли Сперанский о том, что его намечают во Временное правительство. Комиссия спрашивает упорно — показания теряют определенность. Кн. Евгений Оболенский говорит положительно: «Никто из них о намереньи нашем им (Мордвинову и Сперанскому) не говорил, и они о существовании Общества совершенно не знали»^{***}. Однако Каховский показывает не совсем так. Ему ставится вопрос: «Вы говорили Сутгофу, что подполковник Батенков связывает общество с Г. Сперанским и что общество имеет сношения с сим последним через первого. На чем основываются сии слова ваши?»... Каховский отвечает: «Сутгофу, как члену общества, более еще, как моему другу я мог передавать мои и подозрения; но не имея ясных доказательств, я считал бессовестным в дело столь пагубное вмешивать генерала Ермолова и Господина Сперанского. От Рылеева я слышал, что генерал Ермолов знает о существовании Общества; Рылеев же говорил мне, что будто бы Г. Сперанский принимает участие в обществе; но Рылеев очень часто себе противоречил, и потому я не даю много веры словам его: он один раз сказал мне, что Г. Сперанский «наш». На другой же день говорит: «он будет наш, мы на него действуем через Батенкова»^{****}. Так показывает (3 января 1826 года) Каховский. Рылеев отрицает: «Никогда не говорил я ни Каховскому, ни кому другому, что у нас есть люди и в Сенате, и в Государственном Совете,

^{*} Восстание Декабристов, т. 1, стр. 45.

^{**} Там же, стр. 176.

^{***} Там же, стр. 232.

^{****} Там же, стр. 344.

и не называл ни Ермолова, ни Сперанского. Не говорил также, что будто мы действуем на Сперанского через Батенкова». Между Рылеевым и Каховским устраивается очная ставка. Каждый остается при своем показании.

Вот, собственно, и все. Кто прав, неизвестно. Трудно допустить, что Батенков, человек несдержанный и неврастенический по природе, в разговорах со Сперанским ни разу даже намеком не коснулся заговора. Как бы то ни было, следствие делает вывод: надежда на участие Сперанского «была только выдуманною и болтовнею для увлечения легковерных». Спорить с выводом не приходится. Однако слова Боровкова «по точнейшем изыскании обнаружилось» вызывают и некоторое недоумение: это ли «точнейшее изыскание»? Боровков, который, собственно, руководил всем следственным делом, был человек неглупый и прекрасно понимал, что декабристы могли не губить Сперанского даже в том случае, если он принимал участие в их деле.

Так или иначе, невиновность бывшего государственного секретаря как будто выясняется в самом начале следствия. Письмо кн. Трубецкого Бенкендорфу написано 26 декабря 1825 года. Кн. Оболенский свое категорическое заявление: «они о существовании общества совершенно не знали» делает двумя днями позднее — 28 декабря. Казалось бы, сразу твердо устанавливается, что все было «болтовнею для увлечения легковерных». Но вот что рассказывает — уже не на следствии, а в своих воспоминаниях — князь Трубецкой**:

«28 числа марта, после обеда, отворяют дверь моего номера*** и входит генерал-адъютант Бенкендорф, высылает офицера и после незначущих замечаний о сырости моего жилища, садится на стул и просит меня сесть. Я сел на кровать.

Он** (Бенкендорф).** Я пришел к вам от имени Его Величества. Вы должны представить себе, что говорите с самим Императором. В этом случае я только необходимый посредник. Очень естественно, что Им-

* Восстание Декабристов, т. 1, стр. 201.

** Записки князя С. П. Трубецкого. СПб, 1907 г., стр. 55.

*** В Алексеевском равелине.

**** Разговор происходил по-французски. Неправильность французской речи несколько удивляет.

ператор сам не может прийти сюда; вас позвать к себе для него было бы неприлично; следовательно, между вами и им необходим посредник. Разговор наш останется тайной для всего света, как будто бы он происходил между вами и самим Государем. Его Величество очень снисходителен к вам и ожидает от вас доказательства вашей благодарности.

Я. Генерал, я очень благодарен Его Величеству за его снисходительность, и вот доказательство ее.

Он. Да что это!.. дело не в том, — помните, что вы находитесь между жизнью и смертью.

Я. Я знаю, что нахожусь ближе к последней.

Он. Хорошо! Вы не знаете, что Государь делает для вас. Можно быть добрым, можно быть милосердным, но всему есть границы. Закон предоставляет Императору неограниченную власть, однако есть вещи, которых ему не следовало бы делать, и я осмеливаюсь сказать, что он превышает свое право, милуя вас. Но нужно, чтобы и с своей стороны вы ему доказали свою благодарность. Опять повторяю вам, что все сообщенное вами будет известно одному только Государю; я только посредник, через которого ваши слова передадутся ему.

Я. Я уже сказал вам, что очень благодарен Государю за позволение переписываться с моей женой. Мне бы очень хотелось знать, каким образом я могу показать свою признательность.

Он. Государь хочет знать, в чем состояли ваши сношения со Сперанским.

Я. У меня не было с ним особенных сношений.

Он. Позвольте, я должен вам сказать от имени Его Величества, что все сообщенное вами о Сперанском останется тайной между им и вами. Ваше показание не повредит Сперанскому, он выше этого. Он необходим, но Государь хочет только знать, до какой степени он может доверять Сперанскому.

Я. Генерал, я ничего не могу вам сообщить особенного о моих отношениях к Сперанскому, кроме обыкновенных светских отношений.

Он. Но вы рассказывали кому-то о вашем разговоре с Сперанским. Вы даже советовались с ним о будущей конституции России.

Я. Это несправедливо, генерал, Его Величество ввели в заблуждение.

Он. Я опять должен вам напомнить, что вам нечего

бояться за Сперанского. Сам Государь уверяет вас в этом, а вы обязаны ему большою благодарностью, вы не можете себе представить, что он делает для вас. Опять говорю вам, что он преступает относительно вас все божеские и человеческие законы. Государь хочет, чтобы вы вашей откровенностью доказали ему свою признательность.

Я. Мне бы очень хотелось доказать мою признательность всем, что только находится в моей власти; но не могу же я клеветать на кого бы то ни было; не могу же я говорить то, чего никогда не случилось. Государь не может надеяться, чтобы я выдумал разговор, которого вовсе не происходило. Да если бы я и был достаточно слаб для этого, надо еще доказать, что я имел этот разговор.

Он. Да вы рассказали кому-то о нем.

Я. Нет, генерал, я не мог рассказывать разговор, которого не было.

Он. Государь знает, что вы рассказали его одному лицу, и он узнал о нем именно от этого лица.

Я. Могу вас уверить, генерал, что это лицо солгало Государю.

Он. Берегитесь, князь Трубецкой, вы знаете, что вы находитесь между жизнью и смертью.

Я. Знаю, но не могу же я сказать ложь, и я должен повторить вам, что лицо, имевшее дерзость сообщить Государю о каком-то разговоре моем со Сперанским, солгало, и я докажу это на очной ставке. Пусть Государь сведет меня с этим лицом, и я докажу, что оно солгало.

Он. Это невозможно, вам нельзя дать очную ставку с этим лицом.

Я. Назовите мне его, и я докажу, что оно солгало.

Он. Я не могу никого называть; вспомните сами.

Я. Совершенно невозможно, генерал, вспомнить о разговоре, которого никогда не было».

Об этом допросе декабристского диктатора ген.-адъютантом Бенкендорфом официальное следствие не говорит ни слова. Разговор происходил с глазу на глаз, без всяких протоколов. Разумеется, такие допросы и входили в то секретнейшее следствие, о котором рассказывает Боровков. Сцена, описанная Трубецким, во многих отношениях поразительна. Ни о Мордвинове, ни о Ермолове, ни о Баранове больше нет речи. Трубецкого спрашивают только о Сперанском и всячески

подчеркивают огромное значение допроса. Спрашивает как бы сам царь: «Vous devez considérer comme si vous parliez avec l'Empereur lui-même»*, — и как спрашивает: «Prenez garde, prince Troubetskoï, vous savez que vous êtes entre la vie et la mort!»** Все это происходит 28 марта — через три месяца после письма Трубецкого! Очевидно, официальному следствию в этом вопросе император не придает никакой веры.

Следственная комиссия вопроса по-настоящему не разрешила. Не разрешила его и история. Многие здесь остаются неясным. Через тридцать лет после декабрьского дела, в 1854 году, престарелый Батенков (бывший ближайшим человеком к Сперанскому), отвечая на вопросы проф. Пахмана, писал ему: «Биография Сперанского соединяется со множеством других биографий... Об иных вовсе говорить нельзя, а есть и такого много, что правда не может быть обнаружена»***.

Результат следствия оказался совершенно неожиданный, можно сказать, даже неслыханный. Комиссия заканчивает свои работы, учреждается Верховный уголовный суд. И в состав его назначается член Государственного Совета М. М. Сперанский! Он должен судить людей, которых долго, настойчиво, упорно допрашивали, не был ли новый судья соучастником преступления.

Поступок царя довольно понятен: назначение Сперанского в суд над декабристами было, с одной стороны, актом мести****, с другой — диктовалось простым политическим расчетом. Оно морально губило Сперанского. Судья декабристов уже не мог быть опасен в качестве вождя либерального движения. Кроме того, в Европе знали бывшего государственного секретаря: его имя было гарантией культурного правосудия.

II.

О ходе работ в суде над декабристами нам известно мало, о ролях в нем отдельных судей — еще меньше.

* «Вы должны считать, что говорите с самим императором» (*фр.*).

** «Берегитесь, князь Трубецкой, вы знаете, что вы находитесь между жизнью и смертью!» (*фр.*)

*** Декабристы. Неизданные материалы и статьи. Москва, 1925 г., стр. 181.

**** О ненависти, которую в ту пору Сперанский вызывал в императоре Николае I, упоминает княгиня Ливен, чрезвычайно близко стоявшая к царской семье.

Разумеется, по умственным свойствам и подготовке, благодаря своему необыкновенному красноречию, познаниям, способности к логическому и юридическому анализу, Сперанский в составе суда должен был занять место совершенно исключительное. Так оно действительно и было. Сперанский стал душой Верховного уголовного суда.

Как известно, суд над декабристами был своеобразный. Защита была признана излишней, подсудимых не допрашивали, появлением в суд не беспокоили. Особой комиссии было только предложено опросить подсудимых, верно ли изложены показания, данные ими на следствии. Суду в полном составе, собственно, было нечего делать. Вся работа досталась двум комиссиям, выделенным из состава суда. Одна из них делила подсудимых по разрядам — кого четвертовать, кого повесить, кого сослать в каторжные работы. Другая составила доклад о карах.

Сперанский, единственный из всего довольно многочисленного состава суда, вошел в обе комиссии. Это само по себе свидетельствует о том, какую роль он играл в Верховном уголовном суде. Для составления доклада царю были избраны Сперанский, сенатор Казадаев и ген.-адъютант Бороздин. При таком составе комиссии нетрудно догадаться, кто писал всеподданнейший доклад. Вероятно, Бороздину и Казадаеву и в голову бы не пришло взять в руки перо в присутствии их знаменитого товарища.

Доклад суда известен. Он принадлежит Сперанскому. Этот доклад мастерски составлен, в роде лучших записок Сперанского, и написан тем прекрасным языком, которым он один в ту пору писал в России*.

О содержании же документа лучше, пожалуй, не распространяться — из уважения к памяти очень большого человека. Достаточно сказать, что в нем есть такая фраза: «Хотя милосердию, от самодержащей власти исходящему, закон не может положить никаких пределов; но Верховный уголовный суд приемлет дерз-

* Огромная стилистическая заслуга Сперанского обычно забывается. Пушкину Россия обязана своим литературным стилем; Сперанский создал превосходный деловой русский язык, тот «казенный стиль», над которым принято было насмехаться и который по точности не уступает французскому, превосходя его в некоторых других отношениях. Предшественником Сперанского в создании образцового делового слога был канцлер А. А. Безбородко.

новение представить, что есть степени преступления, столь высокие и с общею безопасностью государства столь смежные, что самому милосердию они, кажется, должны быть недоступны».

12 июля (накануне казни) все члены Верховного суда из Сената в каретах отправились в комендантский дом Петропавловской крепости — объявить приговор осужденным. Заседание началось около часу. «В ближайшей комнате, — говорит ген. Шильдер, — находился протоиерей Мысловский, лекарь и два цирюльника с приготовлениями для кровопускания. Их человеколюбивая помощь, однако, ни для кого не потребовалась. По свидетельству очевидца, весьма немногие осужденные выказали некоторое смущение, выслушивая приговор суда».

Во время этой шекспировской сцены М. М. Сперанский мог увидеть людей, осужденных им на смерть за революцию, которую они устроили для того, чтобы посадить его в правители государства. Сперанский хорошо знал многих деятелей декабрьского восстания. Один из них (Батенков) был его ближайшим другом. Вдобавок из 121 осужденного 24, в том числе трое приговоренных к четвертованию (Пестель, Рылеев и С. Муравьев-Апостол), были *братья*: Сперанский в 1810 году вступил в масонский орден.

Участие в Верховном уголовном суде над декабристами недешево далось Сперанскому. Его биограф, барон Корф, тщательно обходя эту страницу жизни своего героя, уделяя ей *тридцать строк* в книге в семьсот страниц, говорит глухо: «Все эти занятия, по самому характеру своему, чрезвычайно тягостно подействовали на дух Сперанского. Положение его было тем ужаснее, что некоторые из несчастных, подпавших обвинению и потом осуждению, были лично ему знакомы и вхожи к нему в дом, а один жил у него и пользовался особой его приязнью и доверенностью. Дочь^{*} пишет в своих записках, что в это мучительное время она нередко видела отца в терзаниях и со слезами на глазах и что он даже покушался совсем оставить службу»^{**}...

* Дочь Сперанского, Е. М. Фролова-Багреева.

** Барон М. Корф. Жизнь графа Сперанского, СПб, 1861 г., т. II, стр. 309.

III.

Что руководило Сперанским? Страх? Да, должно быть, он испугался. Мне представляются совершенно неправдоподобными слова Боровкова, будто Сперанскому ничего не было известно о следствии, которое над ним велось. Слишком много людей знали об этом следствии, для того чтобы Сперанский, при его громадных связях, мог о нем не знать. Исследователи и допрашиваемые были добрые знакомые или, по крайней мере, люди одного с ним круга. Сперанский не мог не знать, какая угроза над ним повисла. Это было похуже, чем подозрения, за тринадцать лет до того повлекшие для него катастрофу.

Надо себе представить психологическую атмосферу тех дней. Говорят об общем сочувствии русского общества декабристам. Я тщетно ищу наглядных доказательств этого общего сочувствия. О простом народе мы имеем недавно опубликованное свидетельство секретного агента Висковатого: «Начали бар вешать и ссылатъ на каторгу, жаль, что всех не перевесили, да хоть бы одного кнутом отодрали и с нами поравняли; да долго ль, коротко ли, им не миновать этого». Часть высшего общества, по словам агента, шепотом говорила (о казни): «Quelle horreur!»^{**} Но преувеличивать «взрыв негодования» отнюдь не следует. Декабрьское дело — «трагедия одиночества». Мы знаем, как отнеслись к расправе с его участниками лучшие люди России. Пушкин держался благороднее всех, но и он написал «В надежде славы и добра». Жуковский не постыдился назвать декабристов «сволочью», хоть по доброте своей втихомолку ходатайствовал о некоторых из них. Тютчев тоже не поцеремонился в выражениях: «Народ, чуждаясь вероломства, поносит ваши имена...» — говорит его стихотворение, впрочем, двусмысленное и противоречивое. Чего было ждать от людей обыкновенных? Произошло то, что во всех странах и во все века происходило после подавления неудачных революций. «Здесь одно рвение, чтобы помогать мне в этом ужасном деле. Отцы приводят своих

^{*} Декабристы. Неизданные материалы и статьи, под редакцией Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана, Москва, 1925 г., стр. 40.

^{**} «Какой ужас!» (фр.)

сыновой, все желают примерных наказаний», — писал Николай I своему брату 23 декабря 1825 года. Графиня Браницкая пожертвовала двести пудов железа на кандалы для участников южного восстания. Член Верховного уголовного суда сенатор Лавров требовал четвертования шестидесяти трех человек.

Сперанский испугался — и имел для этого основания. Однако дело было не только в испуге. Отказаться от участия в Верховном суде значило подтвердить подозрения — это действительно было страшно. Но от места в комиссиях, от составления доклада Сперанский, конечно, мог уклониться без шума. Всякий знает, что в комиссии выбирают только тех, кто в них желает быть избранными. М. М. Сперанский принял избрание, он, вероятно, вызвал его своим поведением на заседаниях общего состава суда, он взялся писать доклад — этого одним страхом не объяснишь. Сперанскому, очевидно, было нужно сыграть первую роль в деле. О его мотивах мы можем догадываться, и здесь психологическая драма очень выдающегося человека сливается с огромной политической проблемой, тесно связанной со всей русской историей последнего столетия.

IV.

Пятнадцати лет от роду Сперанский аккуратно записывал, в какой день «окончилась бочка первая полпива, 9-ть недель продолжавшаяся», и в какой день шел «пресильный дождь», и когда «праздновали день рождения о. игумена», и когда «получен указ о выздоровлении Их Высочеств» после привития им натуральной оспы*. Есть в его детском дневнике латинские цитаты, философские размышления. Но регистрация бочек полпива, кадочек огурцов и пресильных ветров преобладает. Во времена Сперанского статистика не успела создаться, иначе она, наверное, стала бы его любимой наукой. В последние годы жизни, заваленный работой, среди бесчисленных заседаний, он вел дневник приблизительно такого же характера и столь же

* Корф, т. 1, стр. 18—24

аккуратно записывал каждый день, у кого и с кем обедал. Сперанский сам составлял свой камер-фурьерский журнал*. Он родился и умер бюрократом.

Но бюрократ он был гениальный. Он был государственный деятель с удивительным практическим размахом, с огромным умом, с энергией поистине необыкновенной. По политическим дарованиям Сперанский головой выше всех своих современников, не исключая декабристов и Карамзина, который не слишком умно вышучивал смелые, на полвека вперед брошенные реформы государственного секретаря.

Вдобавок был он добрым, благожелательным и порядочным человеком — пожалуй, даже непостижимо порядочным для своей чудесной карьеры. Роль в суде над декабристами чуть ли не единственное пятно на Сперанском, — много ли стоявших у власти политических деятелей имеет моральный баланс лучше? Обвиняли его в корыстолюбии! Он ворочал миллионами, утроил русский бюджет, но, лишившись в 1812 году жалованья, голодал почти в буквальном смысле слова. При своей скромной жизни он оставил наследникам не очень большое имение и шестьсот тысяч долгу. Врагов Сперанский имел множество, и были среди них умные люди: Державин, Розенкампф, Армфельд, Ростопчин. Тем более удивительно то, что они для его очернения ничего путного не могли придумать. Обвинения, которые возводились против государственного секретаря, почти всегда бессмысленны. «Сперанский совсем был предан жидам», — пишет Державин. Балашов и Армфельд выдумали измену, сношения с Наполеоном. Ненавидели его в особенности за презрение к людям, которое он тщательно и безуспешно скрывал. «*Son âme et son orgueil ne sont pas d'un genre ordinaire, un tel caractère ne se nourrit pas des choses qui peuvent satisfaire le vulgaire des hommes... Il sait dompter les petites passions, parce qu'il se livre à la plus violente de toutes, à l'orgueil et au mépris des hom-*

* Камер-фурьер — в России императорский придворный чиновник 6-го класса Вел запись дворцовых церемоний и быта царской семьи.—
Прим. ред.

mes»*, — говорит о нем известная записка 1812 года. Сперанский действительно был чрезвычайно горд и честолюбив. В его бумагах осталась папка с надписью: «Материалы для биографии». На эту папку он имел неоспоримое право. Но гордость у него была своеобразная и уживалась порой с забвением собственного достоинства. В ссылке, в Перми, бывший правитель России сделал первый визит городским властям; никто не отдал ему посещения, он отправился с визитом вторично (пермский архиерей потом говорил губернатору: «Насильно ко мне приехал и насильно остался обедать»). В Сперанском был Ришелье и был Молчалин. Как преобразователь России, он принадлежал истории и гордился своим историческим именем. За несколько недель до своей кончины, подписывая бумагу, он сказал Репинскому (который посоветовал ему добавить к фамилии инициал имени): «граф Сперанский — один на свете». Но из ссылки нужному человеку, Аракчееву, он писал подходящим, аракчеевским же, языком: «У вас милость и истина сретостася, правда и мир обლობызастася... В сей святой обители все мысли идут от сердца чистого, от побуждений благородных». Речь шла о селе Грузине — обители Настасьи Минкиной.

Ненависть к себе аристократии он объяснял своим плебейским происхождением и на старости лет презрительно говорил Боровкову, что общество поддержало бы его, если бы только он согласился жениться на какой-нибудь Строгановой или Голицыной. На самом деле Сперанский отнюдь не относился так пренебрежительно к связям с аристократией; свою дочь, влюбленную в незнатного человека, он против ее воли заставил выйти замуж за племянника графа Кочубея. «Великий ипокрит»**, — сказал о нем Канкрин, хорошо его знавший. Сперанский не был лицемером, но в нравственном отношении он был сложной смесью, как, впрочем,

* «Его душа и его гордость не совсем обычного рода, подобный характер не питается вещами, которые могут удовлетворить обычных людей. Он умеет укрощать свои мелкие страсти, поскольку он предается самой буйной из них: гордыне и презрению» (фр.).

** Лицемер (греч)

и в умственной области: подлинный человек XVIII века, с безграничной верой в разум, в «установления», в писаное право, он был одновременно туманным мистиком. «Я сам себя едва ли понимаю», — писал Сперанский в дневник мальчиком. Может быть, он так себя до конца и не понял.

Роль его в последние годы александровского царствования была неопределенная и странная. Современник (Л. Голенищев-Кутузов) рассказывает, что возвращение на службу бывшего государственного секретаря после ссылки подействовало на умы так, как весть о бегстве Наполеона с острова Эльба. Сперанский сам был почти уверен, что Александр вернет ему милость и прежнюю власть. Но в этом он ошибся. Непонятный, запутанный роман царя с семинаристом остался без эпилога и разъяснения. Время шло. В правительство Сперанского не звали. Он то надеялся, то терял надежду. Вполне возможно, что в 1825 году бывший царский любимец стал немного надеяться и на *другое*. «Дней Александровых прекрасное начало» не возвращалось. Сперанский не мог ведь все-таки забыть, что первой датой «прекрасного начала» было 11 марта 1801 года.

V.

Выбор между властью и оппозицией, между восстанием и приспособлением — не новая морально-политическая проблема. Но, быть может, никогда проблема эта не вставала в таком чистом виде, как здесь, на распутье новой русской истории. Впервые после династических распрей, после дворцовых переворотов произошла в России идейная политическая революция. Сделали ее бескорыстные люди.

Но одновременно перед той же проблемой стал большой государственный человек, один из самых замечательных в русской истории. Неясность, мы видели, окружает дела и мысли М. М. Сперанского в период, предшествовавший 14 декабря. Его любимая

поговорка была: «Кто метет избу снизу?» Избу было трудно мести и снизу, и сверху.

Игру сыграли другие, и сыграли ее неудачно. Началось николаевское царствование. Никто не мог точно знать, каково оно будет. В новом действии нужно было выбрать роль.

Сперанский сделал выбор — и также положил начало большой традиции, последним представителем которой был в России граф Витте, во многом его напоминающий.

«Скудной крови» не хватило, чтобы растопить «вечный полюс». Настроения Сперанского, вероятно, были родственны тютчевским.

Вероятно, он тешил себя надеждой, что, доказав свою благонадежность, станет министром, советчиком нового царя. Но при той атмосфере подозрений, в которой для Сперанского начиналось новое царствование, цель могла быть достигнута лишь тяжелой ценой.

Доклад должен был вернуть Сперанскому власть. В его дальнейшей творческой работе и должна была найти оправдание кровь декабристов.

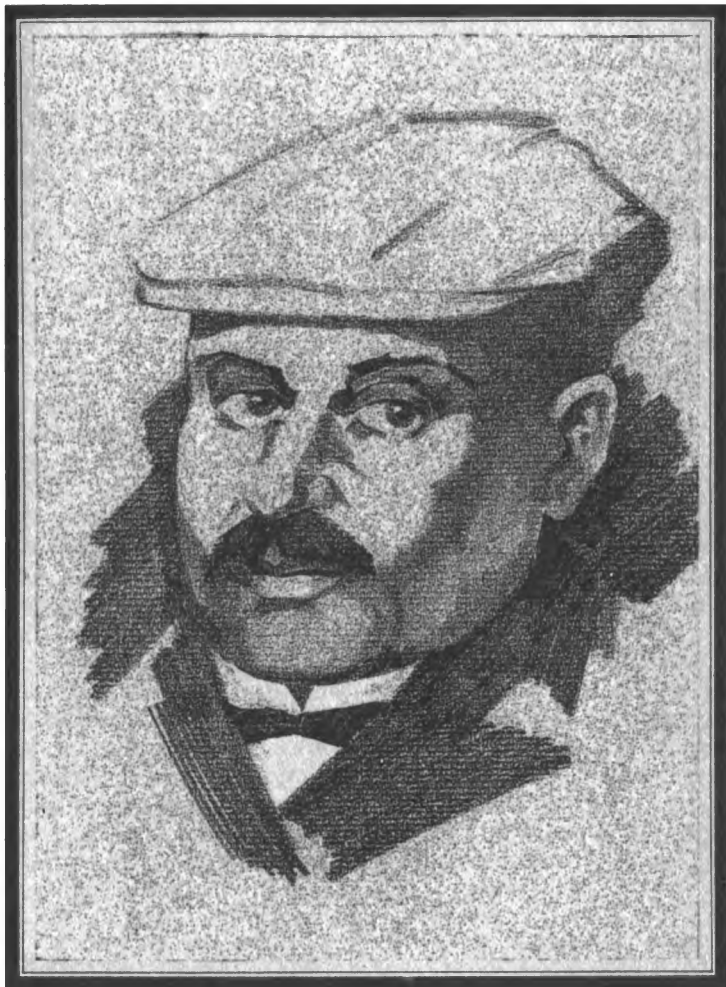
Надежды не сбылись. Этому монархисту не везло с царями. Они не любили его и боялись. Надо, впрочем, сказать и то, что вся карьера Сперанского была бы, вероятно, немислимой в других монархических странах того времени. В Англии начала XIX столетия с государственным деятелем едва ли могла бы случиться катастрофа, постигшая в 1812 году Сперанского. Но в Англии начала XIX столетия человек, подобный ему, вообще не мог прийти к власти: вся история старой Великобритании есть история великобританской аристократии.

Как бы то ни было, роль Сперанского в царствование Николая Павловича оказалась второстепенной, если не третьестепенной. Правда, он и на такой роли сумел создать Свод законов.

Сперанский после разгрома декабристов мог навсегда выйти из политической жизни. В папке «Материалов для биографии» не было бы свода законов, но не было бы и доклада о декабристах.

Личный вопрос биографической ценности может решаться по-разному. Нужно, конечно, и здесь принять во внимание эпоху: стоит только вспомнить, что проделывали — уж без всяких идейных соображений — знаменитые современники Сперанского: Талейраны, Бареры, Фуше!.. Этот человек и со своими тяжкими ошибками, конечно, был и будет гордостью России.

Евһо Азеф



Азеф

I.

В марте 1893 года департамент полиции получил по почте из Германии коротенькое заказное письмо*. Неизвестный человек, подписавшийся «готовый к услугам покорный Ваш слуга», предлагал департаменту давать сведения о кружке учащейся молодежи в Карлсруэ и о намечавшейся в этом кружке посылке в Россию нелегальной литературы. Адрес для ответа был указан за литерами В. Ш., *poste restante*.

Письмо не вызвало большого интереса в департаменте полиции. Кружок учащейся молодежи в Карлсруэ, по-видимому, не слишком его беспокоил. Ответ, довольно краткий, был дан только через пять недель. Департамент небрежно сообщал, что о существовании и деятельности кружка в Карлсруэ ему известно. Впрочем, не отказывался от услуг корреспондента, но предлагал ему предварительно назвать свое имя и сообщить, может ли он давать точные сведения о транспортных литературах «с указанием, когда, куда, каким путем, по какому адресу и через кого именно они пересылаются». Департамент обещал «солидное вознаграждение» и гарантировал полную тайну.

Письма такого рода, вероятно, довольно обычны в практике всех полиций мира. По форме они немного напоминают брачные объявления, которые ежедневно можно найти в лучших немецких газетах: одна сторона заявляет о своем интересе к другой, но просит сначала сообщить точные сведения о приданом и заодно прислать фотографическую карточку. Обязательная добавка: «*Diskretion verlangt und garantiert*»**. Или же еще благороднее: «*Diskretion Ehrensache*»***.

* Письмо это было найдено в 1917 г. в архиве департамента полиции Б. И. Николаевским, одним из лучших знатоков истории русской революции, и им впервые напечатано с превосходным выяснением подробностей. Письма Азефа, еще не появлявшиеся в печати, взяты мною в архиве, любезно предоставленном в мое распоряжение В. К. Агафоновым, который в свое время разбирал дела департамента и охранных отделений.

** «Сохранение тайны требуется и гарантируется» (нем.).

*** «Сохранение тайны — дело чести» (нем.).

Неизвестный корреспондент, однако, не спешил прислать свою фотографическую карточку департаменту полиции. Он тоже немного подождал, а затем, снова без подписи, ответил весьма деловитым письмом, где объяснял, что именно он намерен сообщать. Размер требуемого приданого, довольно скромный, он указывал точно: «ежемесячное вознаграждение не меньше 50 рублей». Кроме того, корреспондент просил оторвать и прислать ему кусок его первого письма, в доказательство того, что ответ исходит действительно от департамента полиции (письма ведь иногда и пропадают, даже заказные). Буквы указывал новые: Н. С.

Не буду останавливаться на подробностях переписки. Скажу только, что победа осталась на стороне департамента. Как искатели приданого печатают объявления сразу в нескольких газетах, так и готовый к услугам корреспондент обратился, кроме департамента полиции, еще и в жандармское управление своего родного города Ростова-на-Дону. Пишущих машин в то время не было, и Донское жандармское управление по почерку выяснило, что письмо из Карлсруэ написано помещиком Е. Азефом, сыном очень бедных людей, недавно учившимся в ростовской гимназии. Этот молодой человек занимался на юге «рабочей пропагандой» и уже пользовался у розыскных властей некоторой известностью, о характере которой, однако, нелегко судить. По сообщению начальника Донского жандармского управления Страхова, товарищи Азефа, «выманив у него чужие деньги, поставили его в необходимость бежать за границу». Нашлись и другие сведения: Азеф будто бы покинул Россию, «продав предварительно по поручению какого-то мариупольского купца масла на 800 рублей и присвоив эти деньги себе». В психологическом отношении разница между двумя версиями существенная. Но практического значения она, конечно, не имела.

Получив из Ростова сведения о том, кто автор писем из Карлсруэ, Семякин, заведовавший политическим розыском департамента полиции, написал молодому человеку интересное письмо. Департамент соглашался платить 50 рублей в месяц, принимал «программу, изложенную в Вашем письме от 25 мая», внося кое-какие дополнения от себя, посылал требуемый из предосторожности отрывок письма и давал точную инструкцию. Эта инструкция была и деловита

(«многословия и теоретических рассуждений не требуется»), и в агентурном смысле честна («всяких преувеличений и недостаточно обоснованных выводов следует избегать»). Под самый же конец приберегался оглушительный эффект. Семякин кончал свое письмо так: «Я думаю, что не ошибусь, называя Вас, г. Азеф, Вашим именем, и прошу Вас уведомить, следует ли Вам писать по Вашему адресу: Шютценштрассе 22. 11, или иначе».

Скрываться больше не приходилось. Азеф ответил за подписью. Соглашение состоялось.

В течение шести лет Азеф оставался заграничным корреспондентом департамента полиции. По его донесениям можно проследить, как быстро он совершенствовался в качестве секретного сотрудника. На одном из первых его писем есть раздраженная пометка, принадлежащая кому-то из руководителей департамента: «В следующем письме я попрошу Азефа писать немного толковее, особенно адреса и фамилии, чтобы можно было понять, кто мужчина, кто женщина и к кому относятся адреса». Но уже в 1896 году мы находим совершенно другую пометку: «Сообщения Азефа поражают своей точностью, при полном отсутствии рассуждений». А еще через несколько лет известный Ратаев писал Азефу: «Больше всего на свете я боюсь Вас скомпрометировать и лишиться Ваших услуг».

И действительно, донесения Азефа, даже в раннюю пору его работы, были очень важны. Он открыл департаменту глаза на молодых революционеров, только впоследствии получивших громкую известность: «Следует особое внимание обратить Вам на г-на Карповича»... «Особое внимание Вам нужно будет обратить на Зензинова»... Григория Гершуни, опаснейшего из террористов, Азеф оценил с первой же своей с ним встречи и тотчас с большой тревогой в тоне сообщил об «этом господине» департаменту полиции. Донесения свои Азеф писал с видимым удовольствием, даже, кажется, не без чувства спортивного соревнования с революционерами. Например, советуя департаменту захватить какой-то транспорт литературы, он вдруг добавляет: «А то уж больно хвалится Гершуни, что замечательный путь он устроил».

От департамента Азеф требовал полного доверия к своим словам. В 1901 году, задетый недоверчивым замечанием Ратаева, Азеф отвечает (15 января) в глу-

боко оскорбленном тоне: «Мне кажется, что у Вас нет ни одного факта, который бы мог Вас заставить думать, что я способен вам солгать. Кажется, ни разу не лгал, это не лежит в моей натуре... Ваше недоверие для меня оскорбительно и страшно обидно».

По форме переписка порою очень курьезна. Так, позднее, желая выследить и схватить Гершуни, департамент (17 апреля 1902 года) по-немецки телеграфирует Азефу в Берлин: «Очень беспокоюсь о положении Гриши в Петербурге. Хотел бы получить какие-либо сведения, чтобы иметь возможность с ним повидаться. Дмитрий». Или же Азеф начинает свое сообщение департаменту (17 июня 1902 года) словами: «Дорогая Генриетта», а заканчивает его: «Целую тебя. Твой Иван»*. Письма, сходные с этими по стилю, попадались мне во Французском национальном архиве: так любили писать разведчики наполеоновских времен.

II.

По возвращении в Россию Азеф был откомандирован к Зубатову для изучения техники полицейского дела. По-видимому, он изучил ее в совершенстве. Старые революционеры рассказывают, что, обладая огромной зрительной памятью, он знал все улицы и все проходные дворы Петербурга, мог при обсуждении разных террористических проектов по памяти нарисовать подробнейший план любого места в столице. Для разных «явок» ему нужно было знать множество адресов и телефонных номеров: Азеф «из предосторожности» никогда их не записывал, однако помнил все безошибочно. В практику террористической слежки он ввел несколько новых приемов (заимствованных, впрочем, у Зубатова). Вероятно, это профессиональное искусство и было одним из оснований его огромного престижа в Боевой организации: террористы того времени читали ведь не только политическую литературу: как мы все, они читали, вероятно, в свободное время и «Шерлока Холмса».

По изучении полицейского дела Азеф примкнул к

* Это донесение было написано химическими чернилами. Настоящий текст его заключал в себе сведения о готовящемся покушении на Плеве (неизданный архив В. К. Агафонова, папка № 1).

партии социалистов-революционеров. Вернее, он был одним из ее создателей. Специализировался он на терроре и стал сначала ближайшим помощником Гершуни, а затем общепризнанным вождем, душою и хозяином Боевой организации. 4 июня 1902 года Азеф многозначительно писал департаменту, сообщая о 500 рублях, пожертвованных им на террористические предприятия: «Мне необходимо было это сделать для того, чтобы узнать, что такое эта Боевая организация и каковы ее планы в ближайшем будущем, и мне это удалось... Я занял активную роль в партии социалистов-революционеров. Отступать теперь уже невыгодно для нашего дела, но действовать тоже необходимо весьма и весьма осмотрительно».

Параллельно с этим все росло и положение Азефа в департаменте полиции. В 1899 году он получает 100 рублей в месяц жалованья и 50 рублей наградных к Новому году. В 1900 году его жалованье повышается до 150 рублей, в 1901 году сразу до 500 рублей. Под конец своей карьеры он получал 1000 рублей в месяц и столько же, если не больше, прогонных, суточных, «премиальных» и «наградных». Его «наградные» в 1904—1905 годах составляют несколько тысяч. Именно в это время им были организованы убийства В. К. Плеве и вел. кн. Сергея Александровича!

Получал он жалованье и от партии, но более скромное — кажется, 125 рублей в месяц. В. С. Гоц рассказывает, как однажды на вокзале друзья убеждали Азефа нанять носильщика для чемодана. Он аскетически отказывался: нельзя без крайней нужды расточать партийные деньги. Члены ЦК партии с умилением говорили о жизни Азефа: «сидит на хлебе и селедке». Расставаясь с революционерами, он жил не столь аскетически. В записке Л. Н. Меншикова, например, сообщается: «5 января 1905 года Азеф приезжает в первом классе курьерского поезда из Петербурга в Москву... Ночь проводит в самом дорогом доме терпимости Стоецкого»...

Послужной список Азефа по двойной его деятельности еще трудно установить во всей полноте; да и одно перечисление его дел заняло бы несколько страниц. Он сам говорил, что принимал ближайшее участие в организации всех террористических актов партии, за исключением убийства Сипягина. Савинков, человек достаточно осведомленный, в своей речи в за-

щиту Азефа дает список крупнейших террористических дел, организованных при его (Азефа) участии, содействии или попустительстве. В этот список входят двадцать пять убийств и покушений, а заканчивается он буквами «и т. д.». Называю только главные: убийства Плеве, вел. кн. Сергея Александровича, ген. Богдановича, Гапона, Татарова; три покушения на царя, покушения на великих князей Владимира Александровича и Николая Николаевича, покушения на Столыпина, на Дурново, на Трепова, на адмиралов Дубасова и Чухнина. Азеф же принимал участие «в обсуждении всех без исключения планов, в том числе планов московского, свеаборгского и кронштадтского восстаний».

Этому списку соответствует другой, более длинный, — список революционеров, выданных им департаменту. Их исчисляют десятками, если не сотнями. Сколько из них было казнено, не берусь сказать*.

Метод действий Азефа в схематическом изложении был приблизительно таков. Он «ставил» несколько террористических актов. Некоторые из них он вел в глубокой тайне от департамента полиции с расчетом, чтобы они непременно удались. Эти организованные им и удавшиеся убийства страховали его от подозрений революционеров; до самой последней минуты вожди партии смеялись над такими подозрениями: «как можно обвинять в провокации человека, который на глазах некоторых из нас чуть только не собственными руками убил Плеве и великого князя». Другую часть задуманных террористических актов Азеф своевременно раскрывал департаменту полиции, чтобы никаких подозрений не могло быть и там. При этих условиях истинная роль Азефа была в течение долгого времени тайной и для революционеров, и для деятелей департамента. Каждая сторона была убеждена, что он ей предан всей душой.

III.

По внешности Азеф был грузный, толстый, очень некрасивый человек с тяжелым, набухшим лицом, с оттопыренной нижней губой. О его безобразной нару-

* Одна из выданных Азефом революционных групп, как известно, избрана Леонидом Андреевым в его «Рассказе о семи повешенных».

жности говорят все встречавшиеся с Азефом люди. Но и в этом разобраться не так легко. Некоторые свидетели утверждают, что «глаза у него всегда бегали и он никогда не смотрел в лицо собеседнику» — примета слишком принятая в изображении преступников для того, чтобы быть верной. Ю. Делевский пишет о «змеином взгляде» Азефа. Однако другие революционеры находили у него «хороший, приятный взгляд», «преlestную улыбку» и до сих пор твердо на этом стоят. В. М. Чернов в своей речи на суде над Бурцевым говорил: «Надо только хорошо всмотреться в его (Азефа) лицо, и в его чистых, чисто детских глазах нельзя не увидеть бесконечную доброту»*. С. Басов-Верхожанцев отмечает «двойное лицо»: накладное, каменное, и скрытое, «с печальными глазами». По фотографиям судить трудно, — Азеф, кстати, не любил сниматься. Но общее впечатление, конечно: «не дай Бог встретиться в лесу ночью».

Писал он свои донесения не очень литературно, не очень даже и грамотно, но всегда ясно и толково. Редакторы, повторяющие молодым сотрудникам: «Фактов побольше, фактов», были бы им довольны: фактов у него всегда много. Революционеры (за редкими исключениями) в ту пору были особенно падки на цветы красноречия. Один (в частном письме!) пишет о «гидре самодержавия», о «когтях деспотизма», о «пошлом периоде мещанского довольства, охватившего мертвящей петлей европейские страны». Другой описывает, как «русские Лекоки разглядывали мозолистую руку, сразившую царского опричника». Третий еще красноречивее: «Девятьсот пятый год умирал, распластавшись на кривых улицах Москвы, залитых рабочей кровью». Азеф не любил цветов красноречия. Тон его писем простой и деловой. Недоброжелатели считали его человеком малообразованным. Однако на партийном следствии после разоблачений один из свидетелей рассказал, как однажды в Москве Азеф выступил на заседании марксистского кружка: «Спор шел вокруг имени Михайловского. Новый гость (Азеф) молчал. Но вот он поднялся и взволнованным голосом начал защищать Михайловского, упирая в особенности на теорию борьбы за индивидуальность. Речь продолжалась довольно долго и произвела на окружающих

* В. Л. Бурцев. Как я разоблачил Азефа, гл. XIII.

впечатление своей искренностью и знанием предмета». Мы все учились понемногу, впечатление в ученом споре можно было в крайнем случае произвести и одной «искренностью», а уж искренности у этого человека было достаточно.

Под конец его карьеры положение Азефа стало очень трудным. Он должен был убивать и выдавать, убивать и выдавать, напрягая все силы для соблюдения наименее опасной пропорции выданных и убитых людей...

В одном из французских монастырей есть картина «Наказание дьявола». Дьявол обречен держать в руках светильник, похищенный им у св. Доминика. Светильник догорает, жжет пальцы дьявола, но освободиться от него дьявол не имеет силы: он может только корчась перебрасывать светильник из одной руки в другую — жжется то правая, то левая рука. Приблизительно в таком положении был Азеф к моменту его разоблачения.

IV.

Кто разоблачил Азефа?

Известны, говорят, имена пяти женщин, «на руках которых скончался Шопен». Я не хочу сказать, что разоблачение великого предателя дало повод к сходному спору. Шутка совершенно не соответствовала бы трагическому характеру события (как, впрочем, и в вопросе о кончине Шопена). Но когда будущий историк займется выяснением того, кому именно принадлежит здесь авторское право, он должен будет перебрать не менее десяти имен.

У нас есть сведения, что один из профессоров Азефа по политехникуму выразился о молодом студенте так: «Ах, этот шпион!» К сожалению, не дошло до меня имя немецкого профессора, далеко превзошедшего пронизательностью и революционером, и департамент полиции.

Летом 1905 года один из видных петербургских социалистов-революционеров Ростковский получил на

* Заключение судебно-следственной комиссии по делу Азефа, стр. 17.

службе письмо без подписи, в котором его извещали, что в партии есть «серьезные шпионы»: «бывший ссыльный некий Т. и какой-то инженер Азиев, еврей». Когда Ростковский вернулся со службы домой, у него в гостях сидел известный ему под кличкой «Иван Николаевич» важный нелегальный гость — Азеф. Не долго думая Ростковский показал гостю письмо. «Иван Николаевич» прочел и заявил: «Т. — это Татаров, а Азиев — это я, Азеф».

И Ростковский, и вожди партии не придали значения анонимному письму. Но какое самообладание, какие нервы нужны были, чтобы ничем себя не выдать при такой неожиданности и ограничиться саркастическими словами: «Азиев — это я, Азеф!» Вот и суди о тех «сюрпризах», которыми вслед за Порфирием Петровичем хитрые следователи оглушают подозреваемых в преступлении людей.

Сходный случай произошел, по рассказу П. О. Ивановской, в Женеве на встрече Нового (1905) года. Русская колония революционеров была в полном сборе. «Говорились пламенные, дерзкие речи, с вдохновенными лицами молодежь пела и кружилась в обширном зале». Азеф гулял по залу и любовался молодежью. Когда речи, пение и танцы надоели, сели играть в почту. Азеф не прочь был поиграть и в почту. Ему принесли письмо. Он раскрыл и «самоуверенно-сносительно» прочел вслух; в письме называли его подлецом, негодяем и предателем.

Подозрения против Азефа высказывали в разное время Крестьянинов, Мельников, Мортимер, Делевский, Агафонов, Тютчев, Трауберг. Вожди партии, от Гершуни и Гоца до Чернова и Савинкова, относились, повторяю, пренебрежительно к таким обвинениям; за это впоследствии их самих всячески поносили в разных революционных и неревolutionонных кругах. «Хороша же партия, где подобные субъекты могут вращаться шестнадцать лет», — сказал защитник Лопухина А. Я. Пассовер. Теперь к этому можно отнестись вполне объективно. Неосторожность и легковерие были, но преувеличивать их не надо, — столь же неосторожен был ведь и департамент полиции, учреждение далеко не легковерное. Чужая душа — потемки, и никто не обязан уметь в чужой душе читать. Громить Савинкова за то, что он не распознал провокатора в Азефе, так же странно, как, например, обвинять В. В. Шуль-

гина за его памятную поездку в Россию. В настоящее время мы все, конечно, окружены тайными большевистскими агентами. Об иных знакомых и нам когда-нибудь будет неловко вспоминать.

Что и говорить, Ю. Делевский в свое время собрал немало улик против Азефа. Но давно известно: и психология, палка о двух концах, и улики, даже самые серьезные, часто могут быть истолкованы различно. Темные слухи в ту пору распускались со злостной целью или по легкомыслию о самых известных людях. Михаил Гоц однажды сообщил Плеханову, что в партии поступило донесение о провокации Азефа. Плеханов равнодушно ответил: «Обо мне, о Лаврове говорили то же самое». Азеф был несравненным героем, вождем огромного престижа, чуть только не святыней для его товарищей по партии. Теперь в его изображении (назову хотя бы интересный роман Гуля) выдвигают на первое место черты грубости, невежества, хамства, которые, казалось бы, должны были всем бросаться в глаза. Это ошибка перспективы. Азеф умел показывать товар лицом — товар и революционно-технический, и духовный. Такие умные, опытные и чуткие люди, как Н. В. Чайковский, И. И. Бунаков, В. М. Зензинов, изображали Азефа совершенно иначе. «Я любил его глубокой, нежной любовью», — говорил мне Зензинов. Савинков за три месяца до разоблачения сказал О. С. Минору: «Если бы против моего родного брата было столько улик, сколько их есть против Азефа, я застрелил бы его немедленно. Но в провокацию Ивана я не поверю никогда!»

Разоблачил Азефа, конечно, В. Л. Бурцев. Ему на суде чести никто из социалистов-революционеров не подавал руки «как клеветнику». После 17-го заседания суда, т.е. почти перед самым его концом (всего было 18 заседаний), Вера Фигнер, выходя, сказала Бурцеву: «Вы ужасный человек, вы оклеветали героя, вам остается только застрелиться!» Бурцев ответил: «Я и застрелюсь, если окажется, что Азеф не провокатор!..»

V.

В мае 1906 года к Бурцеву, издававшему тогда в Петербурге «Былое», тайно явился неизвестный молодой человек и отрекомендовался довольно неожидан-

но: «По своим убеждениям я — эсер, а служу в департаменте полиции». Рекомендация, собственно, не так уж располагала в пользу молодого человека. Назвался он «Михайловским» — псевдоним тоже неожиданный*. Другой, наверное, попросил бы «Михайловского» уйти. Редактор «Былого» поступил так, как ему подсказывала интуитивная мудрость. Он с открытой душой подошел к служащему департамента. *Человек* Бурцев принял *человека* Михайловского — и хорошо сделал: социалист-революционер из департамента полиции оказался правдивым и драгоценным осведомителем. Сообщил он немало интересных сведений. Из них, без всякого сравнения, наиболее интересным было то, что в партии социалистов-революционеров есть чрезвычайно важный провокатор, известный в департаменте под кличкой «Раскин». Больше о нем «Михайловский» почти ничего не слышал.

Разумеется, В. Л. Бурцев прекрасно знал главарей партии социалистов-революционеров. Он начал примерять: кто из них мог быть «Раскиным»? Никто решительно не подходил.

Время было грозное: 1906 год. За Бурцевым следили филеры. Он замечал слежку, но не придавал ей значения: сколько-нибудь серьезных грехов за ним не значилось. Однажды летом В. Л. Бурцев вышел из редакции погулять. «В этот раз я забыл даже посмотреть, есть ли за мной слежка или нет». Вдруг на Английской набережной ему бросились в глаза знакомые лица: навстречу на извозчике ехал Азеф со своей женой.

Бурцеву было известно, что Азеф — глава Боевой организации, следовательно, самый опасный революционер в России. Жена его, рядовая социалистка, имела очень скромные познания в конспиративном деле. Знакомство с вождем террористов могло в 1906 году повлечь за собой весьма неприятные последствия. За Бурцевым, по всей вероятности, шли сыщики. «С женой Азефа я был хорошо знаком, и я пришел в ужас от мысли, как бы она не вздумала со мной поздороваться».

Все, однако, сошло гладко: жена Азефа не поздоровалась с Бурцевым. «Я продолжал гулять по улицам, я радовался, что этот инцидент, который мог дорого обойтись, прошел благополучно».

* Много позднее выяснилось, что это был М. Е. Бакай.

И вдруг случилось то, что в психологии называется интуицией, в искусстве — озарением. В сущности, без всякого основания, без всякой разумной причины скользнула странная мысль, какая-то еще неясная связь между важным провокатором Раскиным и вождем Боевой организации партии социалистов-революционеров!..

Вот где уместно было бы говорить о подсознательном. Настоящая мысль была настолько дика и невозможна, что даже не определилась в сознании Бурцева. Внешняя логическая схема была приблизительно такова: если за кабинетным человеком, редактором «Былого», Бурцевым ходят по пятам сыщики, то как же решается ездить по улице на извозчике, без всякого грима, опаснейший террорист в России?

Собственно, логическая схема стоила недорого: революционеры проделывали и гораздо более рискованные дела. Так, за несколько лет до того Гершуни, которого по всей стране днем и ночью искали сотни агентов, безнаказанно провел три дня в Петербурге, прописавшись в участке под своей настоящей фамилией. Герман Лопатин в свое время ходил в Александринский театр, имел при себе множество адресов народныхольцев. Схема ничего не доказывала. У Бурцева возникло сложное к ней дополнение: полиция не арестовывает Азефа, *значит*, это ей пока невыгодно, *значит*, около него вертится какой-то провокатор (Раскин?), получающий от него ценные сведения, *значит*, нужно предупредить Азефа о грозящей ему опасности. Бурцев так и сделал: просил передать Азефу свое полезное предостережение.

То, что произошло дальше, Фрейд называет «превращением латентного в сознательное».

«Как-то неожиданно для самого себя я задал себе вопрос: да не он ли сам этот Раскин? Но это предположение мне тогда показалось столь чудовищно нелепым, что я только ужаснулся от этой мысли. Я хорошо знал, что Азеф — глава Боевой организации и организатор убийств Плеве, великого князя Сергея и т. д., и я старался даже не останавливаться на этом предположении. Тем не менее с тех пор я никак не мог отделаться от этой мысли, и она, как какая-то навязчивая идея, всюду меня преследовала...»

Азеф был настороже отчасти и в результате «предо-

стережения». Затем для него положение выяснилось. Он сделал то, что должен был бы сделать по Достоевскому: Азеф пришел к Бурцеву в гости якобы по делу. Сцена поистине поразительная: Бурцев *знал*, что Азеф — предатель. Азеф *знал*, что Бурцев это знает. Пожалуй, у Достоевского такой сцены не найти. Пошел Азеф, вероятно, на разведку. А может быть, и «для ощущений». Ощущений у него в жизни было вполне достаточно. Но такого, вероятно, не было.

«Азеф вплотную подошел ко мне уверенной походкой, весь сияющий, и, по-видимому, хотел обнять меня и расцеловаться. Но я как бы нечаянно уронил бывшие в моих руках бумаги и, нагнувшись, левой рукой стал их поднимать, а правой поздоровался с Азефом и затем усадил его на кресло прямо против себя».

Разговор был мирный и, по существу, незначительный. Говорили обо всем, кроме предательства. У Бурцева настоящих доказательств не было, — Азефу это было отлично известно. Я рассказываю о его визите потому, что он чрезвычайно характерен: наглость Азефа так же граничила с чудесным, как и его самообладание. Вдобавок страшная карьера приучила его к риску. Он был игрок и по характеру, и по необходимости.

Для выяснения той же его черты расскажу другой эпизод, кажется, никогда не сообщавшийся в печати. В пору организации покушения на Дурново, Азеф совершенно неожиданно явился с визитом к П. Н. Милюкову (они до того встретились раз в жизни на Парижской международной конференции, в которой П. Н. Милюков участвовал вместе с П. Б. Струве и кн. П. Д. Долгоруковым). Азеф пришел с делом: он просил раздобыть для него фотографию Дурново. В этом посещении все удивительно, от цели до нелепого предлога: портрет министра можно было найти в любом журнале. Но такова была манера Азефа. Сто раз он так заманивал в сети двадцатилетних юношей — вдруг удастся «взять нахрапом» и Милюкова. Наглость старого шулера: на что тут можно было рассчитывать? Человек Милюков прогнал человека Азефа и, разумеется, тоже прекрасно сделал: случай на случай не приходится. Как интуитивный, так и аналитический методы имеют свои достоинства и недостатки.

VI.

Я не стану рассказывать, как понемногу обрастала зловещими доказательствами навязчивая идея В. Л. Бурцева. Скажу только, что вся система косвенных и прямых улик против Азефа, вероятно, ни к чему не привела бы; очень может быть, при некоторой удаче, при своевременном уничтожении неприятных бумаг, хранившихся на Фонтанке и на Мытнинской набережной, Азеф был бы после революции видным министром, если бы в дело не вмешался, почти вопреки своей воле, еще другой человек, очень сложный и интересный.

Многое непонятно в карьере и в характере А. А. Лопухина. Две черты бросались в глаза при самом поверхностном с ним знакомстве. По взглядам, по самому складу ума, по окружению он был либералом; по происхождению, по внешности, по привычкам он был аристократом. И обе эти черты не вязались с большой и значительной полосой в его сложной биографии. Русские либералы слышать не могли о департаменте полиции; русские аристократы относились к этому учреждению с некоторой осторожностью, представляя службу в нем людям незнатного рода. А. А. Лопухин, человек передовых взглядов, носитель одной из самых громких фамилий в России, был директором департамента полиции в самую реакционную пору — при Плеве. Чем это объясняется, не понимаю. Я думаю, что он ценил ум знаменитого министра и был ему лично признателен: Плеве первый на верхах власти заметил выдающиеся способности Лопухина. Но это, конечно, не объяснение. Добавлю, что они расходились не только во взглядах, но и в оценке политического положения страны. Лопухин считал очень серьезными шансы русской революции на победу. Плеве, кажется, единственный из крупных людей старого строя, плохо верил в то, что в России при твердой власти может произойти революция.

Впрочем, у этого странного человека бывали и минуты просветления. По-видимому, в одну из таких минут он и предложил Лопухину должность директора департамента полиции. Лопухин в ту пору занимал видный пост по министерству юстиции. Его карьера была блестящей: 38 лет от роду он был прокурором

судебной палаты в Харькове. Там во время служебной поездки с ним встретился В. К. Плеве, вызвавший его для беседы на политические темы. «Выслушав меня, — показывал в 1917 году Лопухин, — Плеве свое мнение об описанных мною событиях передал словами, высказанными им Государю при назначении министром внутренних дел. «Если бы, — сказал Плеве, — двадцать лет тому назад, когда я был директором департамента полиции, мне сказали, что в России возможна революция, я засмеялся бы; а теперь мы накануне революции». По словам Лопухина, Плеве тогда подумывал о Лорис-Меликовской конституции. Встретив недоверие и подозрение, он «под влиянием этой неудачи, а также надвинувшегося революционного террора повернул политику на путь репрессий». Добавлю, что до последних своих дней Лопухин считал Плеве непонятым человеком. «С ним можно было работать, — говорил он. — С умными людьми хорошо иметь дело и тогда, когда расходишься с ними во взглядах».

Лопухин по должности знал революционеров. Знал, конечно, и секретных сотрудников. Среди них у него были «особенно прочные антипатии» (эти слова я от него слышал). И наиболее прочной был Азеф, самый вид которого вызывал в нем отвращение. Догадывался ли он о настоящей роли Азефа? Конечно, не догадывался, как не догадывался тогда никто другой. Но мог ли человек, столь осведомленный и опытный, твердо верить в то, что все свои сведения Азеф получает как-то стороной, «через жену», «по дружбе с Гершуни» или состоя в Боевой организации *так*, только «чуть-чуть», больше для вида, — этого я не знаю. Вероятно, Лопухин просто старался об этом не думать. Психология его была психологией высшего офицера, ведающего в военное время контрразведкой. С революционерами велась война, — начальнику контрразведки некогда думать о побуждениях и методах своих и чужих агентов. Это не мешает признавать пределы, из которых выходить нельзя. Так, как Лопухин, действительно и поступали офицеры, ведавшие контрразведкой во время великой войны. Некоторые из них написали воспоминания, — очень интересны эти люди.

В пору первой революции Лопухин навсегда оста-

* Неизданный архив В. К. Агафонова, папка № 13.

вил государственную службу. По-видимому, он уже тогда чувствовал большую душевную усталость, — у него и внешний вид свидетельствовал о *taedium vitae*. На последней своей должности (эстляндского губернатора) он проявил либерализм. Граф Витте, который его недолюбливал, не прощая ему близости с Плеве, считал Лопухина кадетом. Известна его роль в разоблачении погромных прокламаций. Начиная с 1905 года Лопухин без особого успеха старался установить добрые отношения с либеральной общественностью (в этом смысле он не изменился до последних своих эмигрантских дней). Бывший директор департамента полиции, близкий сотрудник Плеве, был русский интеллигент с большим, чем обычно, жизненным опытом, с меньшим, чем обычно, запасом веры, с умом пронизательным, разочарованным и холодным, с навсегда надломленной душой.

VII.

«Разговор в поезде» надо считать высшим достижением Бурцева. Желая разоблачить и уничтожить самого важного из всех секретных агентов, он обратился за справкой к человеку, который еще недавно занимал первый пост в политической полиции государства, — мысль необыкновенная в своей смелости и простоте. Лопухин больше не служил, но все же для В. Л. Бурцева он был человеком совершенно другого, враждебного мира: достаточно сказать, что долговременная личная дружба его связывала с П. А. Столыпиным (они были на «ты»). Тот сложный процесс, который назревал в душе Лопухина, не мог быть известен Бурцеву. Повторяю, нам и теперь этот процесс не вполне понятен.

Здесь опять случайность, отмечающая всю историю, которой посвящена настоящая статья. Лето 1908 года Лопухин с семьей провел в Нейенаре. Ни о каких разоблачениях он, конечно, не думал, как не думал о политике вообще; он собирался ехать в Италию. Встреча с Бурцевым оказалась для него роковой: вместо Италии Лопухин попал в Сибирь. И для мно-

* Отвращение к жизни (*лат.*).

гих других людей этот разговор в поезде имел трагические последствия (вплоть до самоубийства). Он же вскоре повлек за собою всемирную сенсацию и один из самых громких судебных процессов нашего века.

Узнав тоже случайно от общего знакомого, что А. А. Лопухин в начале сентября проедет через Кельн в Берлин, В. Л. Бурцев выехал в Кельн и стал *ждать на вокзале*. Здесь элемент случайности обрывается: если бы это понадобилось, Бурцев был бы, наверное, способен прожить на кельнском вокзале неделю, месяц или полгода. Это не понадобилось. 5 сентября в 1 час дня Лопухин вышел из нейенарского поезда и сел в поезд берлинский. Бурцев последовал за ним и, чуть только поезд тронулся, вошел в купе Лопухина.

Их разговор продолжался шесть часов! Я не хочу сказать, что редактор «Былого» избрал систему западноевропейских следственных властей. Взять измором бывшего директора департамента полиции Бурцев, конечно, не мог, — от Лопухина зависело в любой момент положить конец разговору. Почему Лопухин этого не сделал? Или он не чувствовал, какая бездна раскрывается у него под ногами? Подробности разговора в поезде выяснить теперь нелегко. Печатный рассказ Бурцева далеко не во всем совпадает с показаниями, которые Лопухин дал следователю по особо важным делам*. Не во всем совпадает и рассказ, слышанный мною от обоих участников разговора. Но общая картина ясна.

В течение нескольких часов Бурцев, вероятно, задыхаясь от волнения, выяснял Лопухину истинную роль «Раскина». «После каждого нового доказательства я обращался к Лопухину и говорил: «Если позволите, я вам назову настоящую фамилию этого агента. Вы скажете только одно: да или нет». Лопухин молчал, молчал час, два часа, пять часов. По словам Бурцева, он был «потрясен». Я охотно этому верю: конечно, он не знал сотой доли той ужасной правды, которая развертывалась перед ним в рассказе Бурцева. Обстановка их встречи характерна: в купе были другие пассажиры, они часто сменялись** и, вероятно, не без недоумения смотрели на странных соседей. Конспира-

* Протоколы №№ 6 и 8 «Предварительного следствия» по делу об отставном действительном статском советнике Алексее Александровиче Лопухине, стр. 108—110, 120—124 (из архива В. К. Агафонова).

** Протокол № 10 того же «Предварительного следствия», стр. 132.

ция была не Бог весть какая: в поезде между Кельном и Берлином в разгар курортного сезона не так трудно было напасть на русских. По-видимому, пассажиры были немцы. Но едва ли Лопухин и независимо от случайных соседей серьезно рассчитывал на соблюдение тайны. Бурцев весьма неожиданно пишет: «Какое особенное значение мог он (Лопухин) придавать этому разговору? Ну мог ли он считать, что рассказывает какую-то правительственную тайну... когда прежде, чем произнести имя Азефа, он выслушал подробнейший рассказ об его деятельности». Если бы Лопухин не придавал значения разговору, то он, очевидно, не мог бы быть «потрясенным». Как мог он не понимать, чего стоит *им* произнесенное имя Азефа!

Не останавливаясь подробнее на психологической стороне этого дела. Думаю, что решающее значение для Лопухина имели слова В. Л. Бурцева о цареубийстве, которое подготовлял «Раскин», и об ответственности за ту кровь, которая еще будет им пролита в будущем. Как бы то ни было, после шести часов разговора, уже перед самым Берлином, А. А. Лопухин разбил свою жизнь, сказав Бурцеву, что инженер Азеф — тайный агент департамента полиции.

Не стоит останавливаться и на том, как, через сколько времени, по чьей вине весь разговор в поезде стал известен Азефу. По 102-й статье Уголовного уложения бывший директор департамента полиции был присужден к каторжным работам, замененным ссылкой на поселение в Сибирь. Хорошо известно и все остальное: суд над Бурцевым по обвинению в оклеветании Азефа, сенсационный рассказ обвиняемого о его встрече в поезде с Лопухиным, новое следствие социалистов-революционеров, проверка алиби Азефа, объяснение с ним представителей партии и, наконец, бегство разоблаченного провокатора.

VIII.

Для партии социалистов-революционеров после разоблачения Азефа наступили худые времена*. На посту

* А. И. Гучков сказал, смеясь, В. Л. Бурцеву, встретившись с ним в Петербурге в декабре 1915 г. на квартире М. А. Стаховича: «Я знаю, что вы стоили нашему правительству крупнейшее состояние... Все эти деньги были выброшены на улицу, ибо вы никогда не состояли в партии, а ваши разоблаче-

главы Боевой организации его заменил было Б. В. Савинков, но из этого ничего не вышло. Евг. Колосов говорит, что Савинков был по природе имитатором: в литературе он подражал то З. Н. Гиппиус, то Л. Н. Толстому; как террорист, он мог быть лишь исполнителем предначертаний Азефа. Замечание интересное, но если даже оно и верно (в чем я сомневаюсь), то им, конечно, нельзя объяснить сущность дела.

Разоблачение Бурцевым «азефщины» вызвало во всем мире сенсацию, которую хорошо помнят люди моего поколения. В ту пору еще думали, что могут существовать боевые противоправительственные партии без «внутреннего освещения» и без провокации. История всех революционных движений тесно переплетается с повестью предательства и измены. В России политическая борьба имела кровавый характер. Поэтому и «азефщина» была истинно трагическим явлением. Она дорого стоила партии социалистов-революционеров. В бурной истории этой партии два раза на ее долю выпадал период чрезвычайной непопулярности: в 1909 году, затем десятью годами позднее, в пору разбитого корыта и первых поисков: кто же корыто разбил?

Л. Мартов писал А. Н. Потресову 29 января 1909 года: «Здесь сейчас все полно делом Азефа. То, что по сему случаю опубликовано, главным образом самим с.-р. Центром, уничтожает в корне всю с.-р.-щину. Дело с этой публикой оказалось даже хуже, чем предполагали вы в статье о процессе Гершуни: если вы в ней писали, что Боевая организация равна Гершуни, то они сами теперь признали печатно, что не только «Б. О.», но и «Ц. К.» и вообще вся верхушка партии была равна Гершуни плюс Азеф... Они — и Азеф больше, чем Гершуни, — кооптировали в свою среду Гарденина (Чернова) и Гоца, они сделали «Революционную Россию» центральным органом и объявили существующей партию»... По-видимому, «азефщина» у социал-демократов вызывала не одни только горестные чувства. Быть может, капиталистическому строю везде пришлось бы плохо, если бы революционеры ненавидели «буржуазию» так, как они ненавидят друг друга.

ния Азефа принесли только пользу, ибо деморализовали революционные круги» (секретный рапорт департаменту полиции Манасевича-Мануилова о его разговоре с Бурцевым от 21 декабря 1915 г. Из неизданного архива В. К. Агафонова, папка № 5).

Весьма резким нападкам подвергались главари социалистов-революционеров в их собственной партии. Одни обвиняли Центральный комитет, другие Боевую организацию; одни говорили о чрезмерном увлечении террором, другие о недостаточном внимании к террору; одни писали о генеральстве, другие писали о лакействе. Особенное негодование вызывало то, что Азефа тут же «не убили, как собаку». В этом обвиняли преимущественно Савинкова (Тютчев, Герман Лопатин). Некоторые объясняли удачу бегства Азефа тем, что «Савинков испугался». Это, конечно, неверно. В недостатке смелости очень трудно обвинять Савинкова; да и при том настроении, которое тогда было в Европе, убийце Азефа был вполне обеспечен оправдательный приговор присяжных. Сам Савинков говорил, что у него не поднялась рука на его бывшего товарища и вождя: «В этот момент я его любил еще, как брата». Одно объяснение лучше другого. В действительности Азефа не убили потому, что все совершенно растерялись. И то сказать: было от чего.

В связи с разоблачением «азефщины», некоторые социалисты-революционеры «перенесли самое страшное моральное потрясение всей своей жизни»*, другие отошли от партии, кое-кто покончил с собой. И почти в то же время в противоположном лагере Л. Н. Ратаев писал директору департамента полиции Зуеву: «Ты один, может быть, поймешь, как тяжело было для меня прийти к убеждению в предательстве Азефа... Он дал мне столько осязательных доказательств своей усердной службы, сведения его отличались всегда такой безукоризненной точностью, что мне казалось чудовищным, чтобы при таких условиях человек мог быть злодеем и дважды предателем». Другие просто не верили. Мысли о двойном предательстве Азефа не допускал председатель совета министров Столыпин,

* После разоблачения в Париже в январе 1909 года состоялось собрание виднейших социалистов-революционеров, на котором В. М. Чернов рассказал об измене главы Боевой организации. Подробнейший отчет об этом заседании был немедленно, по телеграфу, передан в Петербург Гартинггом-Ландейзенем директору департамента полиции. В донесении мы читаем: «Когда Чернов окончил свою речь, председательствовавший Фундаминский (Бунаков) и многие из присутствовавших плакали; другие сидели с опущенными головами, не произнося ни слова»... Гартинг, обладавший чувствительной душой, немного сгустил краски: мне рассказывали об этом заседании не совсем так. Но потрясение в кругах социалистов-революционеров было, конечно, ужасное. Три участника собрания категорически потребовали немедленного убийства Азефа. «В течение года, — говорит В. М. Зензинов, — не было у меня дня и ночи, когда я не думал бы о нем»...

защищавший его с трибуны Государственной Думы. А известный революционер Карпович, уже после разоблачений, грозил перестрелять своих товарищей по партии, осмелившихся заподозрить главу Боевой организации в службе департаменту полиции.

IX.

О судьбе знаменитого провокатора ходили в те времена самые разные слухи. Газетные корреспонденты одновременно находили его следы во всех странах Европы. Несколько человек едва не подверглись большим неприятностям вследствие сходства с Азефом.

На самом деле найти Азефа в европейских столицах было трудно: он совершал свадебное путешествие!

Азеф в конце 1907 года в петербургском «Аквариуме» познакомился с кафешантанной певицей — немкой К.*. Знакомство превратилось в прочную связь, продолжавшуюся до конца жизни Азефа**. Дама эта выехала вслед за ним за границу. В ту пору, когда начался революционный суд над Бурцевым, Азеф с немкой находились в Биаррице и превосходно проводили время: удили рыбу, ездили в Сан-Себастьян, в Мадрид.

Азеф знал, разумеется, о предстоящем суде над Бурцевым. Этот суд беспокоил его, однако, не слишком, в меру. Он даже связывал с процессом некоторые надежды. В самом деле, если бы судьи, три знаменитейших революционера России (кн. Кропоткин, Герман Лопатин, Вера Фигнер), заклеили Бурцева как клеветника, положение Азефа в партии упрочилось бы надолго. Весь материал обвинения (кроме убийственного свидетельства Лопухина) был ему хорошо известен***, и, по-видимому, Азеф считал этот материал не очень опасным. Уже после разоблачения он писал генералу Герасимову: «Все это могло кончиться не так плохо, а может, и хорошо, если бы удалось установить

* Немку эту разыскал не так давно Б. И. Николаевский, написавший на основании ее рассказов и бумаг интереснейшую работу «Конец Азефа».

** Первая жена Азефа, не подозревавшая о его истинной роли, навсегда порвала с ним после разоблачения.

*** А. А. Аргунов. Азеф — социалист-революционер.

свое алиби. Но это не удалось»^{*}. Последней причиной провала было именно неудачное алиби, да и самый визит Азефа к Лопухину. В том же самом письме к Герасимову Азеф пишет: «Словом, было роковой ошибкой мое и Ваше посещение к Л. Когда Бог хочет наказать кого, то отнимает у него разум». Это свое письмо к генералу Герасимову, начинающееся словами: «Дело дрянь», Азеф написал на следующий день после бегства. Он просил выдать ему «жалованье за декабрь», если можно, и пособие, а заодно запрашивал, нельзя ли получить место, «лучше всего по инженерной части... Инженер я не скверный». Азеф оставлял также распоряжение на случай, «если бы мерзавцам (т.е. революционерам. — М. А.) удалось меня разыскать и покончить со мною».

В тот же самый день он писал письмо и Центральному комитету партии, но в совершенно ином, глубоко возмущенном тоне: «Оскорбление такое, как оно нанесено мне вами, знайте, не прощается и не забывается. Будет время, когда вы дадите за меня отчет партии и моим близким. В этом я уверен. В настоящее время я счастлив, что чувствую силы с вами, господа, не считаться. Моя работа в прошлом дает мне эти силы и подымает меня над смрадом и грязью, которой вы окружены теперь и забросали меня». Азеф очень любил выражаться с достоинством.

Оставив Париж с его неприятными воспоминаниями, Азеф с немкой отправились путешествовать. Они побывали в Италии, в Греции, в Египте, долго жили в Люксо́ре, затем вернулись в Германию. У Азефа было несколько русских паспортов, он пользовался то одним, то другим. Но, по-видимому, Азеф не так уж опасался преследований со стороны партии. К боевой технике революционеров Азеф всегда относился с со-

^{*} Письмо Азефа к ген. Герасимову от 25 декабря (старого стиля) 1909 г. Архив В. К. Агафонова. — Речь идет о берлинском алиби Азефа. Как известно, узнав о том, что Лопухин назвал его имя Бурцеву, Азеф полетел в Петербург и, явившись к Лопухину, добивался его отказа от сказанных им слов. Лопухин сообщил о неожиданном визите А. А. Аргунову. Это и погубило Азефа. Товарищам по партии он объяснил, что ездил в Берлин. Для установления его алиби ген. Герасимов послал в Берлин с соответственными бумагами одного из своих агентов. Агент, однако, оказался неопытным человеком, прописался не там, где следовало (в подозрительных номерах «Керчь»), и вдобавок (вероятно, для увеличения своих «суточных») указал в счете гостиницы больше дней, чем было нужно. Благодаря ряду более или менее случайных удач, В. О. Фабрикант, посланный партией в Берлин с целью проверки алиби Азефа и остановившийся в той же гостинице, неопровержимо выяснил, что в номерах «Керчь» жил не Азеф.

вершенным презрением'. В том же письме к Герасимову он говорит: «Если они (социалисты-революционеры. — М.А.) догадятся обратиться к частным детективам, то те, пожалуй, и попадут на (мой) след». В его словах, собственно, заключалась злая насмешка: Боевая организация, обращающаяся к частным детективам для того, чтобы выследить своего бывшего вождя!

Как бы то ни было, Азеф не прибегал к гриму. Я видел его фотографию, снятую после разоблачения, в Остенде: Азеф в полосатом купальном костюме выходит из воды под руку с немкой. На его лице блаженная, сияющая улыбка. Тут же рядом улыбаются фотографу другие купальщики. Они, наверное, никак не предполагали, что так благодушно и весело снимаются в обществе одного из самых страшных людей в истории.

В 1910 году Азеф окончательно поселился в Берлине, снял квартиру на Luitpoldstraße, 21 и обзавелся мебелью. По подсчетам Б. И. Николаевского, на подарки своей сожительнице и на устройство квартиры Азеф истратил около 100 тысяч марок. Тот же исследователь определяет приблизительно его состояние в 150—180 тысяч марок (около миллиона франков). Однако при таком сравнительно скромном достатке люди в то время, особенно в Германии, не тратили на обстановку и бриллианты 100 тысяч марок. Вероятно, Азеф был значительно богаче.

Происхождение его богатства никаких сомнений вызывать не может. Жалованье, которое платил Азефу департамент полиции, было очень велико для агента, но из него скопить состояние было все-таки трудно*. Крупных сумм департамент полиции не давал ему никогда. Мы имеем даже основание думать, что Азеф мог бы выторговать больше, чем получал в действ-

* Руководящие указания Азефа порою (особенно в делах о покушении на Столыпина и об изготовлении аэроплана для террористических актов) имели характер совершенного издевательства над террористами.

В упомянутом выше последнем его письме сейчас, после разоблачения, он просил Герасимова о деньгах (и о службе), наверное, для того, чтобы разжалобить своей судьбою департамент полиции: «Я ушел без всего, очень мало денег у меня и без платья». Азеф, собственно, даже и не так настойчиво просил: «Не может быть речи о каком-нибудь постоянном вознаграждении. Думаю, что за декабрь полагается, а дальше решайте сами». За декабрь ему действительно «полагалось» — он был разоблачен только 23 декабря (ст. ст.), — что же, дарить свой заработок? Но, конечно, ни пособие, ни служба не были нужны Азефу. Какую службу он мог принять в России, где только о нем и говорили, везде со скрежетом зубовым! В действительности ему были, вероятно, нужны паспорта департамента полиции и, быть может, его протекция для свободного жительства в Германии.

вительности: «Если бы надо было, ему не только тысячу (в месяц), но и пять тысяч заплатили бы», — показывал А. В. Герасимов Следственной комиссии Временного правительства*. Департамент вообще не любил выдавать крупные суммы агентам. Кажется, только Гапон получил сразу много денег, — это в самом деле было очень опасной игрою**. Но Азеф, прежде часто просивший о прибавке, после первой революции уже не мог по-настоящему интересоваться своим агентским окладом (вероятно, поэтому и проделешивил). У него оказался гораздо лучший источник дохода: касса Боевой организации партии социалистов-революционеров.

«Денег было много, — пишет А. А. Аргунов в своих воспоминаниях об этом периоде в истории партии. — Кроме специальных «боевых» сумм, оставшихся в особом фонде Боевой организации от прежних лет и находившихся в распоряжении и на отчете Азефа (отчета он никому не давал, и в том числе и ЦК), были изысканы новые источники пожертвований на боевое дело... Насколько богата была касса ЦК, можно судить по тому, что в 1906 году (с весны по зиму) расход доходил до 1000 рублей в день, не считая трат на боевые дела... Отношение к боевому делу всегда было такое: сколько просит Боевая организация, столько и давать надо». Впоследствии партийная судебно-следственная комиссия по делу Азефа заинтересовалась вопросом о расходовании сумм Боевой организации. «Крал ли Азеф? — спрашивает тов. Ц. и отвечает: — Я убежден, что он крал». Тов. Ц. «так полагает не только потому, что вся постановка дела давала для этого возможность, но и потому, что теперь ему припоминаются некоторые черты из поведения Азефа, на которые он своевременно не обратил надлежащего внимания»***. Под литерой Ц. в отчете комиссии значился не кто иной, как Б. В. Савинков, еще незадолго до того «любивший Азефа, как брата».

* «Материалы», т. III, стр. 15

** Гапон щедро раздавал деньги направо и налево. О. С. Минор рассказывал мне следующую сцену, личным свидетелем которой он был в Женеве. Они сидели вдвоем на балконе квартиры Гапона, против кафе Ландольта. В дверь постучали; в комнату вошел Ленин. Он отозвал Гапона в глубь комнаты и пошептался с ним; затем Гапон на глазах О. С. Минора вынул из бумажника пачку ассигнаций и передал ее Ленину, который тотчас удалился очень довольный. Эти деньги не принадлежали департаменту полиции, но и позднее Гапон, вероятно, давал деньгам департамента самое неожиданное назначение.

*** Заключение судебно-следственной комиссии... стр. 54.

Х.

Азеф зажил в Берлине тихой, покойной жизнью примиренного с миром человека. Прописался он под именем Александра Неймайера. Интересно то, что если не все, то многие из псевдонимов, которыми Азеф пользовался в последние годы своей жизни («Неймайер», «Черкас»), были у него в ходу и в пору его террористической деятельности. Это тоже как будто показывает, что он не слишком боялся слежки.

Александр Неймайер занялся коммерческими делами. Он играл на бирже — порою с немалым успехом, — обзавелся немецкими приятелями. У него часто собирались гости, играли в карты и пили «настоящий русский чай»; Азеф вывез из Петербурга самовар. В Вильмерсдорфе, который тогда был кварталом обеспеченных, солидных, почтенных немцев, Неймайер с супругой имели репутацию хлебосольных гостеприимных хозяев. Азеф жил в свое удовольствие, посещал увеселительные места, оперетку, осматривал разные достопримечательности. Часто уезжал на курорты, притом на хорошие, в Нейенар, на Ривьеру, даже в Трувиль, бывший в ту пору самым модным летним «пляжем» в Европе. На курортах он вел большую игру — так, например, в 1911 году проиграл 75 тысяч зол. франков. Свою сожительницу он очень любил. Б. И. Николаевский, читавший его немецкие письма к ней, говорит, что написаны они чрезвычайно нежно. Азеф называл немку Муши, а сам подписывался «твой единственный Муши-Пуши», «твой единственный бедный зайчик» и т. д. О себе он обычно писал в третьем лице, нежно называя себя «папочка». Бывали и ласковые диссонансы. Иногда Азеф вставлял в письма русские выражения, именуемые у нас трехэтажными, причем выписывал их латинскими буквами: «Муши», очевидно, кое-чему научилась в петербургских и киевских кафешантанах; но читать по-русски она не умела.

На курортах, да и в Берлине, Азеф очень легко мог наткнуться на неприятных знакомых. В Нейенаре, где он лечился, он просматривал списки вновь прибывших русских, но никаких мер предосторожности не принимал. Думаю, он совершенно не верил в то, что партия его уьет. И в самом деле, партия в те годы (в значи-

тельной мере благодаря ему) находилась в полном упадке. Одни социалисты-революционеры погибли; другие сидели в тюрьмах; Савинков занимался литературой; большинство эмигрантов «ушло в личную жизнь». Об убийстве Азефа очень думал А. А. Аргунов: он даже ездил (с браунингом) в Берлин разыскивать своего старого приятеля, — не нашел. При случае социалисты-революционеры убили бы Азефа (попытки выследить изменника предпринимались); но «задачей текущего момента» его убийство не было.

Летом 1912 года Азефа, однако, постигла неприятность. В нейенарском парке, у вод, на него случайно наткнулись люди, когда-то его знавшие. Им удалось заметить номер стакана, которым пил воду Азеф. Эти номера в Нейенаре соответствуют номерам курортной карты. Оказалось, что под таким номером значится в книгах купец Неймайер из Берлина, живущий в отеле «Вестенд». О встрече было немедленно сообщено В. Л. Бурцеву.

Бурцев поступил по-своему, т.е. так, как, вероятно, не поступил бы никто другой. Он написал Азефу письмо, в котором просил его о свидании. «Нам необходимо видиться с Вами, — писал Бурцев, — и переговорить о вопросах чрезвычайной важности. Разумеется, не может быть никакой мысли о «засаде» с моей стороны. Если Вы читали мое «Будущее», то Вы знаете, что переговоры с Вами для меня важнее всех засад, так как они прольют верный свет на важнейшие исторические вопросы». Мне неизвестно, читал ли Азеф «Будущее», но, очевидно, выяснение важнейших исторических вопросов не могло особенно его интересовать: он историком не был; вдобавок и «верный свет» не так уж был для него выгоден. Однако в письме Бурцева была и следующая фраза: «Если Вы не откажетесь... я перенесу все нынешние сведения (т.е. адрес Азефа. — М. А.) в печать и в то же время их отдам партии эсэров»^{*}.

Азеф встрепнулся. Он немедленно сдал свою бер-

^{*} В действительности В. Л. Бурцев начал с того, что сообщил партии сведения своих нейенарских корреспондентов. Социалисты-революционеры послали в Нейенар членов Боевой организации. Однако, вследствие случайной ошибки, те Азефа не нашли. При очень большой настойчивости его, вероятно, можно было найти на курорте даже с ошибочным адресом (Азеф 2 августа переехал из Нейенара в Баден-Баден, оставив свой адрес на почте).

линскую квартиру, отослал Муши к ее мамушке в провинцию, затем он написал Бурцеву, что согласен на свидание! «Предложение Ваше принято. Оно совпадает с моим давнишним желанием установить правду в моем деле. Я раз писал жене об этом моем желании, но я не получил ответа».

Встреча произошла 15 августа 1912 года во Франкфурте в кафе «Бристоль». В. Л. Бурцев в час дня вошел в кофейню. «И вот в глубине зала, около одного столика, поднялась грузная фигура... Азеф обеими руками опирался о стол... Он как будто даже растерялся, когда я протянул ему руку. Некоторое время я стоял перед Азефом с протянутой рукой, пока он наконец не понял, что я действительно хочу с ним поздороваться, и только тогда он протянул мне руку»... Как будто даже растерялся? Может быть, и в самом деле «как будто». По-видимому, старый провокатор решил выступить в непривычной для него роли — в роли кающегося грешника, пораженного великодушием врага. Он объявил Бурцеву, что требует «суда над собою своих бывших товарищей» и, в случае смертного приговора, покончит жизнь самоубийством. После этого ценного сообщения Азеф стал проливать свет на прошлое, иными словами, стал врать самым беззащитным образом. Он уверял, например, Бурцева, что *нечаянно* выдал департаменту полиции группу «семи повешенных»! Так буквально и сказал: *нечаянно* проговорился в беседе с Герасимовым.

Разговор в кофейне продолжался несколько часов. Бурцев заказал себе бифштекс. Азеф скромно спросил порцию картошки и пояснил: «Я — вегетарианец». Душа Азефа не мирилась с пролитием крови животных. Он ел картошку — и говорил, говорил...

Надо отдать должное таланту несравненного актера. Азеф почти убедил Бурцева в том, что жаждет суда! «Проговоривши с Азефом в три приема всего 10—12 часов, — пишет Бурцев, — я пришел к убеждению, что он в то время действительно хотел над собою суда своих бывших товарищей». Впрочем, полной уверенности у В. Л. Бурцева не было. «Общее впечатление, которое я мог вынести из свиданий с Азефом, таково, что он *мог* и был способен и дальше жить без суда над ним. На это у него, по-видимому, хватало силы воли». Я тоже думаю: мог и был способен и

хватало силы воли. Думаю даже, что разговоры о суде, разные «предсмертные распоряжения» доставляли Азефу некоторое удовольствие. По крайней мере, после встречи во Франкфурте он прислал Бурцеву длинное письмо, в котором подробно, в пяти параграфах, излагал условия «суда». В параграфе втором говорилось: «Суд должен мне свой приговор объявить, и я его приведу сам в исполнение в 24 часа, время, которое мне нужно для предсмертных писем» и т.д. В. Л. Бурцев не сообщает точно, когда и откуда Азеф прислал ему это письмо в древнеримском духе. Но по бумагам Азефа мы теперь знаем, что прямо из Франкфурта он поехал в Трувиль и, верно, с отчаяния, повел игру в доவில்ском казино. Свидание с Бурцевым было 15 августа, а 23 августа Азеф жаловался Муши в письме, явно не носившем предсмертного характера: «У других бывает счастье — только у папочки никогда. Удивительно! Когда я сегодня держал банк, то его сорвали на втором круге!» Кажется, папочка был настроен не так уж трагически.

Зачем нужна была Азефу встреча с Бурцевым, все это Иудушкино пустословие о суде? Б. И. Николаевский высказывает предположение, что письма, которые Азеф писал через жену своим бывшим товарищам, заявление о готовности предстать перед судом партии «были для Азефа лишь военной хитростью. Он к ним прибегал, желая показать революционерам, что у него больше нет желания им вредить». Могло быть, конечно, и такое побуждение, но, собственно, вредить Азеф больше не мог. Надо принять во внимание и то, что встреча с Бурцевым была все же очень рискованной игрою. Бурцев и сам в 1909 году просил Савинкова «отдать» ему Азефа*. Он мог, умышленно или случайно, сообщить о предполагавшейся встрече социалистам-революционерам (как сообщил им о нейнарском письме). Мы знаем, что, отправляясь во Франкфурт, Азеф составил завещание. Знаем и то, что именно после встречи с Бурцевым он стал принимать меры предосторожности, которых не принимал прежде: зимой 1912/13 года он все заметал свои следы, ездил, менял гостиницы и паспорта. Возможно, что психология встречи с Бурцевым была гораздо более сложной.

* Преданные Бурцеву люди еще до разоблачения предлагали ему без всякого суда покончить с Азефом.

Люди, прошедшие школу смерти, иногда совершают поступки непостижимые. Когда Гершуни был арестован, Плева без всякой надобности появился в тюрьме: на мгновение вошел в камеру, взглянул на знаменитого террориста и вышел... Зачем?..

Во франкфуртской поездке Азефа сказались две его основные черты: инстинкт отчаянного игрока и непреодолимая потребность в актерстве. Свидание с Бурцевым было одним из тех острых, жгучих ощущений, к которым вся жизнь приучила Азефа и которых он был лишен в последние три года: карточная игра, даже очень крупная, их заменить не могла. Старый игрок почувствовал желание вновь прикоснуться на мгновение к навсегда ушедшему от него миру. Актер опять попробовал свои силы, — новая роль сошла очень недурно.

XI.

Кара все же пришла, правда, не слишком жестокая. Азефа погубила война. Все его состояние было вложено в русские бумаги. С минуты объявления войны они утратили ценность в Германии. Положение семьи Неймайеров стало критическим. С горя они открыли в Берлине корсетную мастерскую. Муши изготовляла корсеты, Азеф взял на себя руководство коммерческой стороной дела. Он оказался на должной высоте и вел корсетное дело так же предусмотрительно, как в свое время дела террористические. Здравый смысл заменял гений Азефу. Когда-то он толково объяснял членам Боевой организации, что «динамитные жилеты» никуда не годятся, так как можно убить человека, не взрываясь с ним вместе на воздух. Теперь он столь же толково учил Муши, что корсеты надо изготовлять мелких размеров, ибо «война, по-видимому, затянется и дамы, сидя на тощей диете, будут продолжать худеть». В Азефе лавочник отлично совмещался с убийцей.

Первый год войны прошел еще сравнительно сносно. Но летом 1915 года Азеф был неожиданно арестован на улице агентом немецкой уголовной полиции. Причина ареста была Азефу непонятна; не очень понятна она и нам. По слова Николаевского, Неймайер в

кофейне на Фридрихштрассе наткнулся на какого-то человека, который узнал в нем Азефа. Однако можно с большой вероятностью утверждать, что германская полиция и до этой случайной встречи прекрасно знала, какое лицо под именем Неймайера пользуется пять лет гостеприимством города Берлина. Сам Азеф сначала предположил, что его подозревают в «сношениях с русским правительством». Он подал из тюрьмы оправдательную записку, в которой клялся, что с 1910 года никаких сношений с русскими властями не поддерживает. Позднее, однако, выяснилось, что арестовали Неймайера отнюдь не как секретного сотрудника русского департамента полиции, а как опаснейшего «анархиста». Пораженный Азеф подал новую записку. В ней он божился, что никогда анархистом не был, а всегда верой и правдой служил департаменту полиции. Да и эта служба, пояснял он, дело далекого прошлого: теперь он просто мирный купец, желающий честно зарабатывать свой хлеб. Записки Азефа, однако, не произвели должного впечатления на берлинского «полицей-президента». Едва ли фон Ягов мог не знать того, что после нашумевших разоблачений Бурцева знал каждый мальчишка в Европе. Повторяю, не все ясно в этом аресте. Вероятно, берлинская полиция просто рассудила, что в военное время лучше такому человеку, как Азеф, находиться в Моабитской тюрьме, чем заниматься на свободе делами, хотя бы и корсетными.

Несмотря на все протесты и ходатайства, Азеф пробыл в заключении два с половиной года. Содержался он в условиях довольно сносных, однако был ими очень недоволен. В ответ на жалобы Азефа немецкая администрация любезно предложила ему перейти из тюрьмы в лагерь для гражданских пленных *русской национальности*. Это предложение Азеф отклонил.

Б. И. Николаевский напечатал выдержки из тюремных писем Азефа. Они изумительны по бесстыдству. Их тон — тон дневника, который Альфред Дрейфус вел на Чертовом острове. С Дрейфусом, впрочем, Азеф сравнивает себя и сам. «Меня постигло, — пишет он, — величайшее несчастье, которое может постигнуть невинного человека и которое можно сравнить только с несчастьем Дрейфуса». Заодно Азеф скорбит и обо всем страждущем человечестве. Его чрезвычайно угнетает «Молох войны», — как это в самом деле

люди так жестоки друг к другу! «Слабый луч надежды» приносит ему, правда, русская революция: обстановка изменилась, и о «мерзавцах» писать больше незачем. Азефа радует поездка Ленина из Швейцарии в Петербург, — «почтительное отношение Германии к едущей в Россию группе социал-демократов пацифистского направления». Он и сам с удовольствием принял бы участие в строительстве новой России: «Я хотел бы помочь в работах по окончанию этого здания, если я не принимал участия в их начале». Максим Горький сказал как-то венгерскому военнопленному, что «людям не хватает любви друг к другу» и что «будущий интернационализм будет не социализмом, а любовью к людям». Азеф приветствует эти трогательные слова, отмечая (быть может, не без свойственного ему почти незаметного, зловещего юмора), что Горький, «хотя и поэт, но в то же время и весьма реальный политик». В общем, Азеф, по-видимому, был вполне доволен ходом русской революции. «Россия принесет мир человечеству. «Ех oriente lux!»* — в порыве бодрости пишет он Муши, одновременно давая указания и насчет изготовления корсетов.

Впрочем, Азеф искал утешений не только в радостных политических событиях. Он искал утешения также в нравственном самоусовершенствовании. «После молитвы, — пишет он, — я обычно бываю радостен и чувствую себя хорошо и сильным душою. Даже страдания порою укрепляют меня. Да и в страданиях бывает счастье — близость к Богу». Ко дню рождения Муши он составил для нее в тюрьме таблицу морально-философских правил, — так 17-летний Николенька Иртнев писал: «Правила жизни». Привожу некоторые из наставлений старого Азефа: «Пиши лишь то, что можешь подписать»... «Делай лишь то, о чем можешь сказать»... «Наперед прощай всех... Не презирай людей, не ненавидь их, не высмеивай их чрезмерно, жалей их»...

Б. И. Николаевский высказывает предположение, что в своих письмах Азеф задавался целью угодить берлинскому «полицей-президиуму». Думаю, что фон Ягов этих писем в глаза не видел — он был и без того достаточно занят. Да и тюремные цензоры (от которых совершенно не зависела участь Азефа), вероятно,

* «С востока свет» (лат.).

читали его мысли не слишком внимательно, — отношение Неймайера к Богу, к миру и к людям им было, наверное, вполне безразлично. К тому же берлинской полиции отнюдь не должно было бы понравиться, например, то обстоятельство, что посаженный ею в тюрьму человек сравнивает себя с Дрейфусом. Насколько я могу судить, у Азефа, как у многих закоренелых разбойников, на старости лет развилась страсть к слезливому многословию. Он теперь действительно «писал лишь то, что мог подписать», но это писал с удовольствием и в неограниченном количестве.

После Октябрьской революции Азефа выпустили на свободу — в сущности, так же непонятно, как в свое время арестовали. Его сожительница рассказывала Николаевскому, что для заработка Неймайер поступил на службу в германское министерство иностранных дел. От себя замечу: указание чрезвычайно интересное. В дипломаты Азеф, очевидно, не годился. Не мог он быть приглашен и сверхштатным служащим: в министерство иностранных дел на должности явных иностранцев нигде не принимают: Азеф вдобавок и по-немецки писал безграмотно. Остается предположить, что германское правительство хотело его использовать для каких-либо темных дел военного времени. Там в 1918 году испытанные таланты Азефа бесспорно могли пригодиться. Быть может, поэтому его и выпустили из тюрьмы. Быть может, поэтому он после освобождения уверял Муши, что мечтает о скорейшем отъезде в Швейцарию из страны, где с ним обошлись так плохо. Швейцария была в 1918 году главным центром мирового шпионажа. Но все это лишь мое предположение. Азеф, наверное, унес с собой в могилу не одну тайну, и мы не можем утверждать, что он собирался начать новую жизнь — в качестве германского шпиона. Дни короля предателей уже приближались к концу.

ХII.

В книге Литтона Стрэчи «Елизавета и Эссекс» есть незабываемая страница: смерть страшного короля Филиппа II. Король-инквизитор, покрытый гниющими

язвами, умирал в нечеловеческих страданиях, «в экстазе и в муке, в нелепости и в величии, жалкий и счастливый, праведный и ужасный». «Совість его была спокойна, — говорит Стрэчи. — Он всегда исполнял свой долг. Он всю жизнь трудился в крайнюю меру сил. Только одна мысль угнетала Филиппа II: был ли он достаточно усерден в деле казни еретиков? Конечно, он сжег их много. Но, может быть, надо было их сжечь еще больше?..»

Я не могу привести целиком эту страницу знаменитого английского писателя. Ему вполне удался образ трагического злодея. Теперь, пожалуй, трагических злодеев не бывает. Азеф был злодей совершенно будничной. Одни изображают его демоном, другие мещанином-коммерсантом. Думаю, что истина лежит приблизительно посредине. Азеф мог так же хорошо торговать селедкой, как торговал человеческой жизнью. Но все же по призванию (совершенно добровольно) он избрал для торговли не селедку, а человеческую жизнь.

Психология секретной агентуры, должно быть, сложнее, чем обычно думают, — здесь бывают поистине непостижимые явления. История русской революции знает случай, когда террорист отсидел двадцать лет в крепости, а затем, выйдя на свободу, предложил свои услуги департаменту полиции, — вот, можно сказать, устроил человек свою жизнь в полном соответствии с требованиями здравого смысла и личной выгоды!..

Я не знаю, можно ли говорить о нормальном типе секретного агента. Но обычно во всем мире бывало так: революционер попадался, ему грозила тяжкая участь, он давал откровенные показания, — дальше все следовало, как по рельсам. Карьера Азефа с самого начала пошла не по этим рельсам агентуры. Он предложил свои услуги департаменту добровольно. В причинах его поступка далеко не все так просто, как кажется. Пятьдесят рублей в месяц были очень небольшие деньги (будущих благ Азеф в 1893 году никак предвидеть не мог). В среде русской учащейся молодежи умереть с голоду было трудно: студенты помогали друг другу*. Существовали и благотворительные организации; богатые люди в России и за границей со-

* Это подтвердил мне инженер С. И. Лихтенштейн, учившийся с Азефом в Карлсруэ.

держали множество стипендиатов. Но если и предположить, что материальная нужда была единственным побуждением Азефа, то это побуждение могло действовать только до окончания им политехнической школы. Перед инженером-электротехником открывалась нормальная и выгодная карьера; никто не мешал молодому инженеру Азефу оставить ремесло осветителя. Секретный агент (не зашедший чересчур далеко) почти всегда мог безопасно отделаться от службы: когда его сообщения переставали быть интересными, департамент полиции прекращал уплату жалованья — и только. Говорю это и на основании свидетельств видных деятелей департамента, и по простым логическим соображениям: насильно, путем угроз нельзя заставить людей исполнять эту службу как следует.

В воспоминаниях революционеров об Азефе его действия часто объясняются трусостью. «Нам, вместе работавшим с Азефом, — пишет, например, П. Ивановская, — кажется не без основания, что самым сильным дьяволом в его душе была подлая его трусость». Объяснение это ровно ничего не объясняет. Оно, прежде всего, оставляет непонятным, зачем стал секретным агентом человек, находившийся в полной безопасности. Да и трудно вообще говорить серьезно о трусости Азефа. Его карьера была страшной и в переносном, и в прямом смысле слова. За любое из своих террористических дел он непременно был бы повешен, если бы правительство своевременно узнало о его настоящей роли. За выдачу террористов его убили бы революционеры, если бы им стала известна правда. А ведь и то и другое могло случиться каждую минуту. Не говорю уже о косвенной (далеко не шуточной) опасности, беспрестанно грозившей Азефу в процессе его технической работы. «Он сто раз мог быть разорван взрывом», — говорит В. М. Зензинов, описывая их снаряды, «динамитные жилеты», которые они в свое время изготовляли и на себя примеряли. Нервы у Азефа были, конечно, нечеловеческой крепости.

Очень трудно понять и те объяснения, которые давались измене Азефа деятелями департамента полиции. «Я склонен думать, — писал Ратаев, — что... истинной причиной было знакомство и сближение с Гершуни. Оно сыграло роковую роль в карьере Азефа и послужило, вероятно, побудительным толчком к предательству. Надо помнить, что ведь Азеф до посту-

пленения на службу не был революционером, и весьма возможно, что, не отдавая себе сразу отчета, исподволь и постепенно подчинился влиянию и обаянию личности Гершуни. Этот человек, как известно, производил сильное впечатление на всех, с кем сходиллся. Был ли то известный гипноз, или результат необычайно развитой силы воли, или же воздействие глубокого искреннего убеждения, не знаю»... Наивность этого объяснения бросается в глаза. Азеф поддался чарам глубокого искреннего убеждения! И, поддавшись чарам убеждения, начал подводить не только революционеров под виселицу, но и министров под бомбу! Показания из революционного лагеря (который, конечно, мог знать это гораздо лучше) не дают никакого материала для вывода о влиянии Гершуни на Азефа. Глубоко убежденных революционеров Азеф немало видел на своем веку. В своем письме к ген. Герасимову он называл террористов мерзавцами, пожалуй, довольно «искренно». Можно с большой вероятностью сказать, что Азеф приблизительно так же любил революционеров, начиная с Гершуни, как деятелей старого строя во главе с Плеве*.

Главной страстью Азефа была игра — игра во всех смыслах слова. Эта страсть сочеталась с полным отсутствием каких бы то ни было задерживающих начал, кроме соображений личной выгоды. Своеобразная профессия укрепляла своеобразную психологию. Едва ли Азеф был «садивчески жесток», но, вероятно, ему нравилась стихия, в которой роль его была так велика.

Чрезвычайно интересное сообщение мы находим в письме Ратаева к Зуеву от 20 октября 1910 года. «Азеф, — пишет Ратаев, — работал не только на русскую революцию, но обучал иностранных революционеров. В начале 1905 года мне пришлось натолкнуться на серьезную организацию армян-дрошакистов и македонских революционеров, которые, вступив в союз с русскими террористами, водворяли через Черное море, преимущественно на Кавказ, оружие и взрывчатые вещества. Не довольствуясь личной поездкой в Болгарию и Константинополь, я командировал туда Азефа, который, ознакомившись детально с ор-

* Зубатов рассказывает, что Азеф «трясся от ярости и с ненавистью говорил о В. К. Плеве».

ганизацией, сообщил мне весьма важные и интересные сведения... Вскоре после отъезда Азефа с Балканского полуострова, кажется 11 или 12 июля 1906 года, в Константинополе, в пределах Ильдиз-Киоска, во время селямлика* совершенно было покушение на жизнь ныне низложенного султана Абдул-Гамида и именно тем способом, который Азеф пожелал применить против В. К. Плеве, т.е. посредством автомобиля, начиненного динамитом, на котором прибыли на парад два знаменитых иностранца. Очевидно, Азеф исполнял служебное поручение в силу своего принципа «делу время, потехе час», придумал и проделал вместе с армянами покушение на султана, а затем, по своему обыкновению, уехал благополучно домой». Я попытался навести справки об этом деле у армянских политических деятелей. Они решительно отрицают участие Азефа в покушении на Абдул-Гамида. Но участие могло быть косвенным и незаметным, — я не сказал бы с уверенностью, что Ратаев ошибся. Во всяком случае, его замечание «делу время, потехе час» свидетельствует о тонком понимании психологии Азефа. Для дела надо было убивать русских министров и революционеров. А для потехи не мешало отправить на тот свет и турецкого султана с несколькими армянами, тем более что при случае и это могло оказаться небезвыгодным. Подобный подвиг должен был даже особенно соблазнять Азефа. Быть может, и ему не удалось в жизни *самое высокое*.

В развинченной душе Азефа по необходимости существовали два мира: мир социалистов-революционеров и мир департамента полиции. Ни один из этих миров не был его собственным миром. И в обоих он, конечно, должен был всегда чувствовать себя дома. Его тренировка в этом смысле граничит с чудесным. Азефа выдали *другие*; сам он ничем себя ни разу за долгие годы не выдал. В каждом из миров своей двойной жизни он позволял себе и роскошь оттенков. Надо прочесть его письма в департамент: Азеф говорит с Ратаевым не так, как с Зубатовым, а с Зубатовым опять не так, как с Герасимовым. Такие же различия он делал в лагере революционеров. Во Франкфурте он говорил Бурцеву, что презирал Савинкова и чрезвычайно чтил Сазонова. Дело, конечно, не в оценке, — и

* Селямлик — торжественное шествие султана в мечеть. — *Прим. ред.*

уважению, и презрению Азефа цена одна и та же. Но он, как немногие другие, чувствовал все виды различия между деятелями революционного лагеря.

Величайший знаток людей, мимоходом взглянувший на революционеров, сказал: «Это не были сплошные злодеи, как их представляли себе одни, и не были сплошные герои, какими их считали другие, а были обыкновенные люди, между которыми были, как и везде, хорошие, и дурные, и средние люди... Те из этих людей, которые были выше среднего уровня, были гораздо выше его и представляли из себя образец редкой нравственной высоты; те же, которые были ниже среднего уровня, были гораздо ниже его» (Л. Толстой). По свойственному ему уму и умению разбираться в людях Азеф при Савинкове, например, не стал бы из ригоризма отказываться на вокзале от услуг носильщика. Но в присутствии того же Савинкова в ответ на предложение А. Гоца взорвать дом Дурново Азеф прочувствованно сказал: «Я согласен только в том случае, если я пойду впереди... В таких делах, в открытых нападениях необходимо, чтобы руководитель шел впереди. Я должен идти». Савинков и Гоц горячо умоляли его побережь свою драгоценную жизнь: «Организация не может жертвовать Азефом»... Азеф задумался, потом он сказал: «Ну, хорошо»...

Повторяю, у этого человека было чувство юмора. «Иронический» был человек — в том смысле, какой давал слову Достоевский. В пору Лондонской партийной конференции он попросил одного из ее видных участников зайти с ним на почту и в его присутствии сдал чиновнику толстый заказной пакет. Товарищ Азефа удивлялся, куда это и о чем Иван Николаевич шлет такие длинные письма? Разумеется, пакет заключал в себе подробный отчет о конференции и посылался в департамент полиции. Едва ли было благоразумно сдавать пакет в присутствии товарища. Столь неосторожный поступок мог позволить себе лишь большой мастер, притом юмористически настроенный. «Делу время, потехе час». Притом где же кончается дело, где начинается потеха?

Перед судом над Бурцевым Азеф написал Савинкову длинное письмо, в котором незаметно подсказывал ему для его речи на суде все доводы в свою защиту. По тонкости диалектики это письмо сделало бы честь лучшему адвокату. Начиналось оно словами:

«Дорогой мой. Спасибо тебе за твое письмо. Оно дышит теплотой и любовью. Спасибо, дорогой мой». Есть и такая фраза: «Противно все это писать. Но вместе с тем меня и смех разбирает. Уж больно смешон Бурцев»... Очень может быть, что Азефа и в самом деле разбирал смех, когда он себе представлял, с каким волнением Савинков будет читать это письмо.

Настоящего внутреннего мира у Азефа, быть может, вовсе и не было. Было что-то довольно бесформенное, включавшее в себя любовь к риску, любовь к деньгам, любовь к ролям, в особенности к ролям трогательным. Человек очень хорошо его знавший говорил мне, что Азеф всегда был «слаб на слезы». Я думаю, он не только в отношениях с Муши, но и в своей ужасной двойной жизни чувствовал себя порою «единственным бедным зайчиком». Все это было окрашено цинизмом, впрочем, очень легким. Могла быть и мания величия, тоже очень легкая. В тюрьме он читал Штирнера* «Единственный и его достойние»: вероятно, он себе казался единственным и в штирнеровском смысле. По-своему, он «единственным» и был; очень трудно себе представить более совершенный образец морального идиотизма при немалом житейском уме, при огромной выдержке. Никакие сомнения его не тревожили: он и без борьбы обрел право свое.

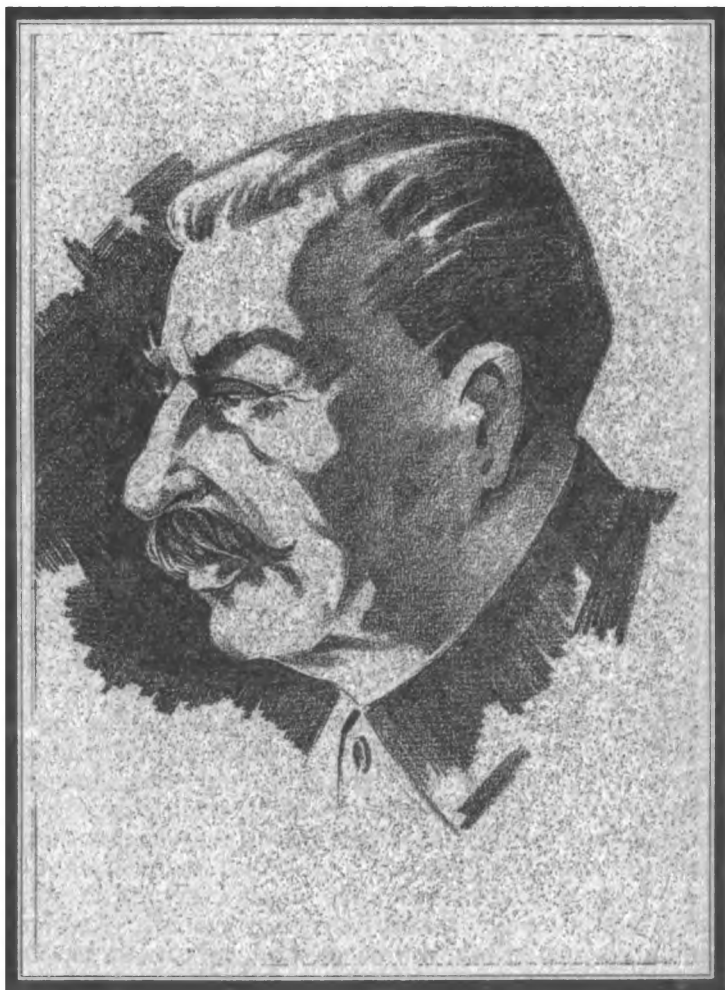
Говорили мне, что этот человек — переходная ступень к удаву — очень любил музыку, музыку кабаков и кафе-концертов: слушал будто бы с умилением и восторгом. Может быть, немного и дурел, как змеи от флейты?

Здоровье Азефа сдало в годы войны и тюремного заключения. Вероятно, на нем отразилось недоедание тех лет, весьма серьезное в Германии. У него развилась болезнь почек, осложнившаяся болезнью сердца. В апреле 1918 года он слег в больницу (Krankenhaus Westens). Через несколько дней, 24 апреля в 4 часа пополудни, Азеф умер.

Верная немка похоронила его по второму разряду на Вильмерсдорфском кладбище. Надписи на могиле нет никакой во избежание неприятностей («вот рядом тоже русские лежат»). Есть только номер места: 446.

* Штирнер Макс (1806—1856) — немецкий философ-младогегельянец В главном сочинении «Единственный и его достойние» проводил идеи последовательного эгоцентризма — *Прим. ред.*

Иосиф Сталин



I.

Разгром революции 1905 года был тяжелым ударом для большевиков. Из всех планов Ленина не вышло ровно ничего — потерпели крушение и его теоретические идеи, и его практические замыслы.

В таких случаях обычно во всем мире происходит так называемая «переоценка ценностей». Тем более следовало бы ей произойти в политических условиях России: переоценка ценностей (неизменно начинающаяся с переоценки людей) была испокон веков любимейшим занятием русской интеллигенции. Однако большевики и в этом случае составили исключение: несмотря на свое жестокое поражение, Ленин как был партийным божеством, так партийным божеством и остался.

Надо ли говорить, что самому Ленину не пришлось в голову заняться пересмотром своей доктрины: его доктрина ошибаться не могла. Но несколько практических уроков из революции 1905 года Ленин несомненно извлек. Один из его выводов заключался в том, что материальные средства, с которыми завязала борьбу партия, были чересчур ничтожны.

Вопрос о средствах в политических партиях всегда был неприятным вопросом. Но в прежние времена на Западе он разрешался относительно просто. Когда у германских социал-демократов не хватало в партийной кассе денег, *Parteivorstand** после основательных размышлений и кропотливых подсчетов обращались к бесчисленным геноссам с мотивированным предложением сделать в кассу единовременный и экстраординарный взнос в размере, скажем, восьмидесяти пяти пфеннигов с ревизской партийной души, и геноссы вносили деньги в твердой — совершенно справедливой — уверенности, что фатер Бебель не стал бы требовать восемьдесят пять пфеннигов, если бы мож-

* Правление партии (нем.).

но было обойтись восьмьюдесятью. Когда не хватало денег у английских консерваторов, лидер партии отправлялся к герцогу Нортамберлендскому или к графу Дерби и привозил нужную сумму. Теперь дело и на Западе стало значительно сложнее. В Германии партийные взносы взыскиваются далеко не без труда. В Англии Ллойд Джордж открыл в партийной лавочке беспатентную продажу титулов. Герцоги стали беднее, да и жертвуют они в нынешней запутанной обстановке часто не на то, на что им следовало бы жертвовать. Теперь в каждой стране существуют такие герцоги — и особенно такие герцогини, — которые в меру сил субсидируют предприятия, специально занимающиеся разрушением государства. Одну из этих политических герцогинь Клемансо давно охарактеризовал в весьма забавной, непере译имой форме: «C'est une duchesse poire, comme il existe une poire «duchesse»».

В России таких герцогов — разных, разумеется: земельных**, нефтяных, чайных, сахарных, полотняных — при старом строе было довольно много. История большевистской кассы никогда не будет написана. Жаль: это была бы книга занимательная во всех отношениях — в историческом, в бытовом, в психологическом. Кто только не давал денег большевикам? Не решаюсь утверждать, но, по некоторым моим сообщениям, линия одного из крупных взносов в кассу будущих екатеринбургских убийц ведет к детям людей, обязанных своим богатством щедротам Александра III. Мотивы у разных жертвователей были, конечно, разные. Большинство давало потому, что «как же не дать?». Давал Максим Горький, — он, вероятно, сочувствовал, да и очень уж шумно в ту пору реял над Россией «буревестник, черной молнии подобный». Савва Морозов субсидировал большевиков оттого, что ему чрезвычайно опротивели люди вообще, а люди его круга в особенности. Н.Г.Михайловский-Гарин тоже их поддерживал, ибо он, милый вечно юный Тема Карташев, никому не мог отказать, когда были деньги: он отвалил 25 тысяч большевикам на социальную революцию, как бросал деньги цыганкам в Стрельне

* «Что герцогиня тупа, это так же верно, как то, что существует груша «дюшес» (фр.). Игра слов: duchesse poire — герцогиня глупа, poire «duchesse» — груша «дюшес».

** В прошлом году И. Л. Горемыкин сказал мне: «Это недурно, что усадьбы жгут. Надо потрепать дворянство. Пусть оно подумает и перестанет работать в пользу революции» (Дневник А. С. Суворина, 17 июня 1907 г.).

на счастье или саратовскому самородку на изобретение *perpetuum mobile*. «Широк русский человек, я бы сузил», — сказал, кажется, Достоевский.

Другие русские партии существовали преимущественно на средства, которые жертвовались примыкавшими к ним богатыми людьми. У большевиков и полубольшевиков это было не в обычае. Во всяком случае, большевики и близкие им значительных сумм собрать не могли, так как в громадном большинстве были чрезвычайно бедны. Сам Ленин жил с семьей в одной нищенски обставленной комнате. Троцкий в своих воспоминаниях юмористически описывал, как он однажды в Париже отправился в оперу в ботинках, уступленных ему Лениным.

II.

Рокамболь знал тридцать три способа добывания денег. Ленин для обогащения партии пустил в ход только три, но зато каждый из них сделал бы честь Рокамболлю.

Первый способ был старый, классический, освященный традицией, которая через века идет от предприимчивых финикийцев к князю Виндишгрецу и его соучастникам. Способ этот заключался в подделке денег. Первоначально была сделана попытка организовать печатание фальшивых ассигнаций в Петербурге при содействии служащих Экспедиции изготовления государственных бумаг. Но в последнюю минуту служащие, с которыми велись переговоры, отказались от дела. Тогда Ленин перенес его в Берлин и поручил, в величайшем от всех секрете, «Никитичу» (Красину). Однако маг и волшебник большевистской партии, так изумительно сочетавший полное доверие Ленина с полным доверием фирмы «Сименс», оказался на этот раз не на высоте своей репутации. Или, вернее, на высоте своей репутации оказалась германская полиция. Раскрытое ею дело вызвало в ту пору немало шума. «Спрашивается, как быть с ними в одной партии? Воображаю, как возмущены немцы», — с негодованием писал в частном письме Мартов. Чичерин (в ту пору еще большевик) потребовал назначения партийной следственной комиссии. Ленин охотно согласился на сторожай-

шее расследование дела, организованного по его прямому предписанию. Глава партии имел основание рассчитывать, что концы прекрасно спрятаны в воду. Однако Чичерин неожиданно проявил способности следователя. Заручившись серией фотографий своих товарищей по партии, он представил их тому немцу, которому была заказана бумага с водяными знаками, годная для подделки ассигнаций. «При предъявлении фабриканту карточки Л. Б. Красина он признал в нем то лицо, которое заказало ему бумагу с водяными знаками... Когда расследование Чичерина добралось до этих «деталей», Ленин встрепнулся и провел в ЦК постановление о передаче расследования заграничному бюро ЦК, в котором добытые Чичериным материалы, разумеется, бесследно погибли»^{*}.

Второй способ, изобретенный Лениным для пополнения партийной кассы, был гораздо менее банален. Скажу о нем лишь весьма кратко: Ленин поручил своим товарищам по партии жениться на двух указанных им богатых дамах и передать затем приданое в большевистскую кассу. Дело было сделано артистически: оба большевика благополучно женились, но заминка вышла после свадьбы: один из счастливых мужей счел более удобным деньги оставить за собою. Забавно то, что по делу этому состоялся суд чести, — рассказ о нем я слышал от одного из судей, не большевика, человека весьма известного и безупречного. Впрочем, независимо от суда Ленин довольно недвусмысленно грозил в случае неполучения денег подослать убийц к не оправдавшему его доверия товарищу. Об этом глухое указание (вполне совпадающее со слышанным мною рассказом) есть в изданных не так давно письмах Мартова^{**}. Краткое, зато весьма живописное упоминание обо всей этой истории сохранилось и в рассказе самого Ленина. В. Войтинский в своих воспоминаниях пишет: «Рожков передавал мне, что однажды он обратил внимание Ленина на подвиги одного московского большевика, которого характеризовал как прожженного негодяя. Ленин ответил со смехом:

^{*} М. Таинственный незнакомец, «Социалистический Вестник» (№ 16, 1922 г.) — Насколько мне известно, заметка эта, подписанная буквой М, принадлежит Мартову, который хорошо знал закулисные дела большевиков.

^{**} «Этот Виктор под покровительством Богданова и Ленина шантажом вымогал деньги в пользу большевиков, причем оперировал угрозой выписать «кавказских боевиков» (письмо Аксельроду от 3 сентября 1908 г.)

— Тем-то он и хорош, что ни перед чем не остановится. Вот вы скажите прямо, могли бы за деньги пойти на содержание к богатой купчихе? Нет? И я не пошел бы, не мог бы себя пересилить. А Виктор пошел. Это человек незаменимый*.

В результате суда Ленин получил немалую сумму денег. Но матримониальный способ пополнения кассы был, разумеется, лишь вспомогательным. Главное, свое внимание вождь большевиков после провала первой революции устремил на то, что тогда игриво называлось «эксами» или «эксациями» (в брошюрах того времени часто употребляется и глагол «эксировать»). В этой области ближайшим сотрудником и правой рукой Ленина стал уже в ту пору весьма известный кавказский боевик, по революционной кличке «Коба», он же «Давид», он же «Нижерадзе», он же «Чижиков», он же «Иванович», он же нынешний всемогущий русский диктатор Иосиф Виссарионович Сталин-Джугашвили.

III.

Мне крайне трудно «объективно» писать о большевиках. Скажу, однако, тут же: это человек выдающийся, бесспорно самый выдающийся во всей ленинской гвардии. Сталин залит кровью так густо, как никто другой из ныне живущих людей, за исключением Троцкого и Зиновьева. Но свойств редкой силы воли и бесстрашия, по совести, отрицать в нем не могу. Для Сталина не только чужая жизнь копейка, но и его собственная, — этим он резко отличается от многих других большевиков.

Как большинство современных диктаторов, он вышел из «низов». Мустафа-Кемаль родился в очень бедной семье. Стамболийский вырос в избе пастуха. Отец Муссолини был кузнецом. Мать Энвера мыла трупы в мертвецкой. Талаат попал в великие визири из почтальонов. Иосиф Сталин сын тифлисского сапожника. Многие считают его осетином. Это неверно — он коренной грузин.

* Вл. Войтинский. Годы побед и поражений, т. II, стр. 103. — Это замечание Ленина, конечно, относится именно к указанному мною случаю.

Люди, когда-то к нему близкие, говорили мне, что он прошел в юности очень суровую школу бедности и лишений, что он вырос среди тифлисских «кинто», от которых приобрел свойства грубости и циничного остроумия. Политическая биография Джугашвили начинается с тифлисской семинарии; в нее отдал его отец, готовивший сына к духовному званию. Сталин — священник!.. Из семинарии он был исключен за неблагонадежность девятнадцати лет от роду. В том же (1898) году он вступил в Российскую соц.-дем. партию и был последовательно членом тифлисского, батумского, бакинского комитетов, редактировал разные партийные издания («Борьба пролетариата», «Дро», «Бакинский рабочий»), написал несколько марксистских книжек. К большевистской фракции он примкнул с самого момента раскола в среде социал-демократов и очень скоро стал признанным главой немногочисленных кавказских большевиков. Шесть раз его арестовывали и шесть раз отправляли в ссылку на поселение: в Восточную Сибирь (1903 г.), в Сольвычегодск (1908 г.), снова в Сольвычегодск (1908 г.), в Вологду (1911 г.), в Нарымский край (1912 г.) и в Туруханский край (1913 г.). Из всех этих мест (за исключением последнего) он бежал, не засиживаясь долго, чаще всего через месяц-другой по водворении на жительство. Жизнь Сталина поистине может служить уроком смирения для деятелей департамента полиции. Хороша была ссылка, из которой человек мог бежать пять раз. Недурно было и то, что Сталина мирно отправляли в ссылку. В вину ему департамент полиции вменял какую-то «маевку», устройство уличных демонстраций, нелегальные издания, руководство экономической забастовкой на батумских предприятиях Ротшильдов, что-то еще в таком же роде. Эти тяжкие преступления должны были вызывать усмешку у людей, знавших настоящую работу Сталина.

Он был верховным вождем так называемых боевиков Закавказья. Я не знаю, и, кажется, никто, кроме самого Сталина, не знает точно, сколько именно «эксов» было организовано по его предначертаниям. Высшим партийным достижением в этой области была памятная экспроприация в Тифлисе, обеспечившая большевистской партии несколько лет полезной работы.

13 июня 1907 года в 10 с половиной часов утра кассир тифлисского отделения государственного банка

Курдюмов и счетовод Головня получили на почте присланную отделению из столицы большую сумму денег* и повезли ее в банк в фэтоне, за которым следовал другой фэтон с двумя вооруженными стрелками. Оба экипажа были окружены казачьим конвоем. В центре города, вблизи дворца наместника, когда передние казаки конвоя свернули с Эриванской площади на Сололакскую улицу, с крыши дома князя Сумбатова в поезд был брошен снаряд страшной силы, от разрыва которого разлетелись вдребезги стекла окон на версту в округе. Почти одновременно в конвой с тротуаров полетело еще несколько бомб и какие-то прохожие открыли по нему пальбу из револьверов. На людной площади началось смятение, перешедшее в отчаянную панику. Что произошло с деньгами, никто из очевидцев толком следствию объяснить не мог. Кассир и счетовод были выброшены из фэтона первым же снарядом. Лошади бешено понесли уцелевший чудом фэтон. На другом конце площади высокий «прохожий» ринулся наперерез к мчавшимся лошадям и швырнул им под ноги бомбу. Раздался новый оглушительный взрыв, и все исчезло в облаке дыма. Один из свидетелей видел, однако, что человек в офицерском мундире, проезжавший на рысаке по площади, соскочил с пролетки, бросился к разбитому дымящемуся фэтону, схватил в нем что-то и умчался, паля наудачу из револьвера по сторонам.

В этом знаменитейшем из «эксвов» было убито и ранено около 50 человек. Деньги найдены не были, полиция никого не схватила, и следствие ничего не выяснило. Теперь мы знаем, что тщательная слежка за деньгами велась большевиками еще из столицы. В Тифлисе около почты за кассиром следили две женщины (Пация Галдава и Аннета Сулаквелидзе), которые и подали условный сигнал отряду экспроприаторов, ожидавшемуся в ресторане «Гилипучури». Человек, переодетый офицером, был известный Петросян, ученик и помощник Сталина, прозванный им Камо**. Он упрятал деньги в такое место, которое едва ли мог-

* Современные большевистские источники и устная традиция говорят о 250 тыс. рублей. Но русские газеты того времени («Новое Время», 14 июня 1907 г.) называют и другую цифру — 341 тыс. Это те самые 500-рублевые ассигнации под литерой АМ, ном. 62900 и след., при размене части которых был арестован в Париже «папаша» (Литвинов).

** Петросян, плохо говоривший по-русски, спрашивал, получая поручения от Сталина: «Камо отвезти? Камо сказать?»...

ло вызвать подозрения самой лучшей в мире полиции: кредитные билеты были заделаны в диван заведующего кавказской обсерваторией! Чем не Рокамболь?

Роль Сталина в тифлисской экспроприации до сих пор в подробностях не выяснена. По одной версии, именно он бросил в поезд первый снаряд. Но это едва ли верно: Сталин занимал уже тогда слишком высокое положение в партии для того, чтобы исполнять роль рядового террориста. По-видимому, ему принадлежало высшее руководство делом. Бомбы же для экспроприации были присланы из Финляндии самим Лениным*. Ленину для нужд партии и были позднее отвезены похищенные деньги. Ни Сталин, ни Камо, в отличие от многих других экспроприаторов, не пользовались «эксами» для личного обогащения.

Что и говорить, мы, европейцы, за последние столетия несколько отвыкли от государственных деятелей этого рода. Однако ведь были времена, когда в Европе власть почти всегда принадлежала таким людям, как она принадлежит им и теперь на огромных внеевропейских территориях. В настоящее время в России к правителям предъявляются весьма пониженные требования в отношении «casier judiciaire»**. Это, разумеется, не всегда так будет. Но я боюсь, что это так будет еще довольно долго.

IV.

В ту пору Кавказом полновластно управлял престарелый граф Илл. Ив. Воронцов-Дашков. «Новое Время», которое вело чрезвычайно резкую кампанию против наместника, обвиняло его в либерализме и в тайных симпатиях к партии Народной Свободы. Граф Воронцов-Дашков, как почти все политические деятели, получившие воспитание в царствование Николая I, как и сыновья этого императора, был действительно

* С Медведева-Тер-Петросян в своей брошюре «Герой Революции» («Истарт», 1925 г.) пишет: «Под видом офицера Камо съездил в Финляндию, был у Ленина и с оружием и взрывчатыми веществами вернулся в Тифлис» (стр. 31). О роли Сталина в этом деле писал в свое время «Соц. Вестник». — См. об «эксах» также старые брошюры Л. Мартова «Спасители или упразднители» (1911 г.) и Л. Каменева «Две партии» (1911 г.). Ленин не раз выступал печатно с принципиальной защитой экспроприации.

** «Юридические сведения о прошлом» (*фр.*).

настроен либерально, — разумеется, в тех пределах, в которых это было возможно в его положении. Меншиков иронически называл наместника «сверхгрансенъором» — и в этом тоже была правда. Грансенъорство Воронцова-Дашкова сказывалось с особенной силой в том, что ему ни от кого ничего не было (да и не могло быть) нужно. Он был кавалером Андрея Первозванного, отказался от княжеского титула, который ему предлагали Александр II и Александр III. Самую должность наместника, со всеми ее царскими прерогативами, он принял как бы в виде личного одолжения царю. По должности ему полагались на представительство огромные суммы (кажется, в последнее время до 60 000 рублей в месяц). Он ими не пользовался, говоря, что имеет возможность «накормить щами своих гостей на собственный счет». И в самом деле Воронцов-Дашков мог потратиться для гостей на щи, — его состояние, включавшее в себя исторические богатства Шуваловых, Воронцовых-Дашковых и князей Воронцовых, оценивалось в двести миллионов. На Кавказе Воронцов-Дашков пользовался огромной популярностью, в особенности у армянского населения. Грузины и татары относились к нему менее тепло именно вследствие его репутации армянофила. Собственно, репутация эта не отвечала истине: Воронцов-Дашков сам говорил видным армянским общественным деятелям, что он и к армянам, и к татарам одинаково равнодушен, а в политике своей руководится исключительно интересами России. По отзыву людей, близко его знавших, это был человек умный, сдержанный и «с холодком». «Самый умный из всех государственных людей России», — говорил мне о нем весьма известный кавказский политический деятель (левый), близко его знавший. «Русский Рейнеке-лис», — называли Воронцова-Дашкова грузинские социал-демократы. Политика наместника была действительно своеобразна и нередко повергала в изумление Петербург. Так, перед приходом Николая II в Тифлис Воронцов-Дашков взял слово с главарей «Дашнакцутюна», что на жизнь государя не будет покушения. Покушения действительно не было. Этот способ действия, конечно, нельзя признать банальным. Воронцов-Дашков после царевубийства 1 марта имел в течение некоторого времени тесное отношение к постановке дела охраны царя. Позднее, в должности министра двора, он был близким

свидетелем ходынской катастрофы. По-видимому, жизненный опыт поселил в нем глубочайшее недоверие к полиции. В пору кровавого татаро-армянского столкновения он поручил поддержание порядка третьей, нейтральной, национальности — грузинам — и передал значительное количество оружия вождям грузинской социал-демократии. Это тоже было довольно своеобразно. Есть некоторые основания предполагать, что покойный Чхеидзе прошел в Государственную Думу при негласной, косвенной, ему самому неизвестной поддержке Воронцова-Дашкова. Наместник не грешил симпатиями к социализму, но в меньшевиках он видел опору против большевиков, с одной стороны, и против сепаратистов — с другой. Этот оригинальный государственный модернизм Воронцова-Дашкова вызывал сильное озлобление в правительственных кругах Петербурга. В частности, не выносил «тифлисского султана» П. А. Столыпин, который модернизма терпеть не мог, твердо верил в охранное отделение и в военные суды и не раз тщетно пытался наложить на Кавказ свою тяжелую руку. Воронцов-Дашков равнодушно относился к газетной кампании «какого-то Меньшикова». Возможно, что и председатель совета министров был для него «какой-то Столыпин», — он из русских государственных деятелей признавал только Витте да еще — из «молодежи» — гр. Коковцева. Нельзя не сказать, что выстрел Дмитрия Богрова придал силу позиции наместника в его вражде со Столыпиным.

Отнюдь не будучи человеком мягким и сентиментальным, Воронцов-Дашков не верил в устрашающее действие казней в стране ингушей, чеченцев, кабардинцев и шапсугов. Во что он, собственно, верил, сказать много труднее. Его кавказская политика напоминала политику культурных и просвещенных проконсулов — но проконсулов времен упадка римского государства. Вероятно, Воронцов-Дашков любил Кавказ, — в этот край, едва ли не самый прекрасный в мире, нельзя не влюбиться тому, кто хоть раз его видел. Но ко многим кавказским политическим деятелям «русский Рейнекелис», в молодости сражавшийся с Шамилем, по-видимому, относился с весьма благодушной иронией. Он старался подсовывать им такие вопросы, из-за которых на Кавказе разгорались относительно мирные страсти и вместо рек крови лились моря чернил. Ка-

жется, Французская революция не вызвала в мире таких идейных бурь, как на Кавказе вопрос об административном переделе уездов или о постройке тифлисского политехникума — о том, где ему быть, в грузинской ли части города Вери или в армянской Авлабарь. Возможно, что гамлетовские настроения были не чужды натуре наместника. Однако этот Гамлет с тремя Георгиевскими крестами нисколько не страдал и безволием. В Воронцове-Дашкове была медлительность любимых героев Толстого с некоторой, однако, весьма существенной разницей: он совершенно не верил в то, что все «образуется». Напротив, как почти все умнейшие государственные люди императорской России, Воронцов-Дашков был, по видимому, в глубине души убежден, что все строится на песке и все пойдет прахом. С казнями и без казней пойдет прахом — так лучше без казней. Воронцов-Дашков умер за несколько месяцев до революции. В 1915 году царь собственноручным письмом просил его освободить должность для вел. кн. Николая Николаевича. В своем ответном письме Воронцов-Дашков говорил Николаю II, что дело уже идет не о должности наместника и даже не о Кавказе, а о спасении русского государства. С полной готовностью подавая в отставку, он на прощание советовал царю ввести конституционный образ правления и дать стране ответственное перед Думой министерство*.

V.

Я не хочу сказать, что именно политике Воронцова-Дашкова было суждено умиротворить кавказский край. Но некоторое значение в победе государственных элементов над анархическими эта политика, вероятно, имела. Большевики потерпели на Кавказе полное поражение. У трех главных национальностей края установилась прочно система единой партии. Разумеется, политическая монополия меньшевиков в Грузии, в качестве «политической надстройки» над ее «экономическим базисом», представляет собой один из самых забавных парадоксов марксизма. В этой чудесной стра-

* Письмо это еще не опубликовано.

не, как будто не слишком перегруженной заводами, процент социал-демократов неизмеримо выше, чем в Германии. На Кавказе есть марксисты не только в культурных центрах Грузии или Азербайджана, но и в глухих горных аулах. У некоторых из этих «социал-демократов» не всегда разберешь, где кончается Маркс и где начинается Шамиль. Но даже из них по пути, указанному Лениным, пошло лишь ничтожное меньшинство.

Вожди большевиков покинули Кавказ. Камо перелетел в Берлин, где занялся новым полезным делом: он решил явиться к банкиру Мендельсону с тем, чтобы убить его и ограбить (разумеется, в пользу партии): по представлениям Камо, такой богач, как Мендельсон, должен был всегда иметь при себе несколько миллионов. Однако германская тайная полиция заинтересовалась кавказским гостем с самого его приезда в столицу. У него был произведен обыск, при котором нашли чемодан с бомбами. По совету Красина, переславшего ему в тюрьму записку через адвоката, Камо стал симулировать буйное умопомешательство — и притворился помешанным четыре года! Германские власти под конец сочли полезным выдать этого сумасшедшего русскому правительству. Признанный тифлисскими врачами душевнобольным, Камо был переведен в психиатрическую лечебницу, откуда немедленно бежал, разумеется, в Париж, к Ленину, которого он по-настоящему боготворил. «Через несколько месяцев, — рассказывает большевистский биограф, — с согласия Владимира Ильича Камо уехал обратно в Россию, чтобы добывать денег для партии». Добыть деньги для партии предполагалось на этот раз на Каджорском шоссе, по которому провозилась почта. Каджорское дело оказалось менее «мокрым», чем тифлисское: экспроприаторы убили всего семь человек. Но самого Камо постигла неудача: схваченный казаками, он был приговорен военным судом к смертной казни. Прокурор суда Галицинский проникся жалостью к этому темному фанатику. Близилось трехсотлетие дома Романовых. Вероятно, не без ведома гр. Воронцова-Дашкова Галицинский оттянул исполнение приговора до манифеста. Казнь была заменена Камо 20-летней каторгой. После октябрьского переворота он работал сначала в Чрезвычайной Комиссии, затем в тылу белой армии. По некоторым намекам в большевистской

литературе можно предположить, что ему было поручено важное террористическое предприятие. Камо погиб случайно в Тифлисе, раздавленный на Верейском спуске автомобилем.

Карьера Сталина между первой и второй революциями оказалась менее бурной. За свои политические действия он был исключен из с.-д. партии ее Закавказским комитетом. Сталин вскоре покинул Грузию и долгие годы работал в России в разных большевистских организациях. Его нынешнее влияние осведомленные люди объясняют отчасти тем, что «партийцам» всей России хорошо знаком этот вождь, никогда не бывший эмигрантом.

Затем началась «проклятая империалистическая бойня», которая по тысячу раз повторенным заверениям большевиков «повергла в ужас и отчаяние вождей мирового пролетариата». В действительности бойня эта была для них неожиданно привалившим неслыханным счастьем. Ленин писал Горькому в январе 1913 года: «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции (во всей восточной Европе) штукой, но маловероятно, чтобы Франц Иосиф и Николаша доставили нам сие удовольствие»¹.

Во время войны Сталин находился в ссылке. Он прибыл в Петербург после революции и сразу оказался ближайшим помощником Ленина. Роль Сталина была, однако, не показной. Показную роль играли вначале Зиновьев, а потом Троцкий.

VI.

У Троцкого идей никогда не было и не будет. В 1905 году он свои откровения взял взаймы у Парвуса², в 1917 году — у Ленина. Его нынешняя оппозиционная критика — общие места эмигрантской печати. С «идеями» Троцкому особенно не везло в революции. Он клялся защищать Учредительное собрание за два месяца до того, как оно было разогнано. Он писал: «Ликвидация государственного спаивания народа вошла в

¹ Ленинский сборник, т. 1, стр. 137.

² Парвус (наст. имя и фамилия Александр Львович Гельфанд) (1869—1924) — участник российского и германского социал-демократического движения, меньшевик. — *Прим. ред.*

железный инвентарь завоеваний революции»^{*} — перед восстановлением в сов. России казенной продажи вина. Но в большом актерском искусстве, как в уме и хитрости, Троцкому, конечно, отказать нельзя. Великий артист — для невзыскательной публики. Иванов-Козельский русской революции.

Вся Октябрьская революция была, так сказать, бенефисом Троцкого. По крайней мере, он, говоря о ней в ту пору и впоследствии, неизменно держал себя как «бенефициант» — как бенефициант подчеркнуто скромный и растроганно-тактичный. Он взволнованно раскланивался с современниками и с историей, взволнованно принимал букеты и часть их передавал другим участникам спектакля, заботливо выбирая для этого букетики похуже и участников побездарней. В своих книгах, посвященных октябрю 1917 года^{**}, Троцкий отечески расхвалил самых серых революционеров, принимавших участие в перевороте, вплоть до фельдшера Лазимира, вплоть до какого-то матроса Маркина. Более видных людей он старательно оставил в тени. Разумеется, Ленина никак нельзя было обойти молчанием, — льстиво-коварная книга Троцкого о Ленине достаточно известна. Но о Сталине Троцкий совершенно забыл упомянуть, Сталину ни малейшего букетика не досталось. Двухтомный труд Троцкого о 1917 годе украшен портретами Свердлова, Иоффе, Антонова-Овсенко, Подвойского, Крыленко, — портрет Сталина так и не попал в книгу. Между тем роль нынешнего диктатора в Октябрьской революции была чрезвычайно велика: он входил и в «пятерку», ведавшую политической стороной восстания, и в «семерку», ведавшую стороной организационной.

Как бы то ни было, с первых месяцев революции эти два человека — несомненно наиболее выдающиеся в большевистской партии — пошли каждый своей дорогой. Троцкий и в дальнейшем приискивал для себя бенефисные роли. До заключения мира с немцами наиболее выигрышным и эффектным постом в советском правительстве была должность министра иностранных дел. Она досталась Троцкому, и он «на глазах у всего цивилизованного мира» разыграл Брестское представ-

^{*} Л. Троцкий. Водка, церковь и кинематограф, стр. 43.

^{**} Он заботливо издал все, что писал в 1917 г. свои речи, статьи, заметки, прокламации, телеграммы, все.

ление, закончив спектакль коленцем, правда, не вполне удавшимся, зато с сотворения мира невиданным: «войну прекращаем, мира не заключаем». С началом гражданской войны самой бенефисной ролью стала роль главнокомандующего Красной Армией. Троцкий оказался военным комиссаром, председателем «Реввоенсовета», русским Карно и «электризатором революции». Какова была его действительная роль в гражданской войне, сказать в настоящее время трудно. После первого разрыва с Троцким большевики (т. е. Сталин) опубликовали несколько документов, из которых как будто неопровержимо следует, что роль эта была довольно скромной и что «красный Наполеон» далеко не всегда вел себя по-наполеоновски. История *этого* вопроса (в отличие от большинства других) сумеет выяснить точно. Во всяком случае, для легенды Троцким было сделано все возможное. Он «прошел курс Академии Генерального штаба», ездил в царском поезде с вагоном-типографией, возил на фронт Демьяна Бедного и даже орден ему пожаловал — «отважному кавалеристу слова» (кто же мог предвидеть со стороны «кавалериста слова» такую черную неблагодарность?). На всех решительных фронтах он произносил пламенные речи. Каждая его речь была непременно с «восклицаниями». От Троцкого останется десять тысяч восклицаний — все больше *образные*. После покушения Доры* Каплан он воскликнул: «Мы и прежде знали, что у товарища Ленина в груди металл!» Где-то на Волге, в Казани или в Саратове, он в порыве энтузиазма прокричал «глухим голосом»: «Если буржуазия хочет взять для себя все место под солнцем, мы потушим солнце!» Галерка редела от восторга, как некогда на спектаклях Иванова-Козельского. При всем своем актерстве Троцкий не подделывается под публику — он не умеет говорить иначе. Впрочем, так говорят иные талантливые ораторы и не в Саратове. Покойный Вивиани, например, тоже был мастер на восклицания: «La France marchant la tête plus haut que les étoiles...»** Анатолий Франс от его образов затыкал уши, но в «нижнем этаже французской культуры» этот блеск второго сорта имел шумный успех. Троцкий вдобавок «блестящий писатель» — по твердому убеждению лю-

* Так у М. Алданова. — Прим. ред.

** «Франция идет, подняв голову выше звезд» (фр.).

дей, не имеющих ничего общего с литературой. Никто не умел лучше, чем он, разоблачать в статьях «империалистическое копыто г. Милюкова»; никто так эффектно не предписывал «сэру Бьюкенену»: «Потрудитесь убрать ноги со стола». Троцкому в совершенстве удаются все тонкости ремесла: и «что сей сон означает?», и «унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла», и «тенденция, проходящая красной нитью», и «победить или умереть!». Клише большевистской типологии он умеет разнообразить стопудовой иронией: «В тех горних сферах, где ведутся приходо-расходные книги божественного промысла, решено было в известный момент перевести Николая на ответственный пост отставной козы барабанщика, а бразды правления вручить Родзянко, Милюкову и Керенскому» (Соч., т. III, стр. 22).

В последние годы Троцкий, видимо, ослабел и вел себя значительно ниже своей репутации ловкого человека. За самыми горделивыми его позами следовали самые унижительные покаяния. Ему явно изменила основная способность революционера — умение рассчитывать свои и вражеские силы. На чью поддержку он надеялся? Сойдет ли навсегда со сцены освященным актером? Троцкий всю свою жизнь прожил перед зеркалом для исторической галерки. Если он когда-либо покончит с собой или погибнет «на баррикаде» («баррикаду» он склонял во всех падежах тридцать лет), это тоже будет сделано для галерки — для того биографического труда, который о нем напишет Клара Цеткин XXVII столетия.

VII.

Перед зеркалом проводят дни разные люди — часто очень талантливые. Но поэтам, артистам легко так жить. Воевать перед зеркалом гораздо менее удобно, и на боевых постах обычно имеют успех люди, на зеркало не оглядывающиеся. Таков был Ленин. Таков и нынешний всероссийский диктатор.

Сталин, в отличие от Троцкого, не играл бенефисных ролей. В течение четырех лет он был «народным комиссаром по делам национальностей» — должность впоследствии упраздненная за полной ее ненужностью.

Побывал и главой Рабоче-Крестьянской инспекции — этот пост, вероятно, в том же роде: неудобно ведь Сталину контролировать Сталина. Как ближайший сотрудник Ленина, он мог, конечно, получить более выигрышные должности. По-видимому, основная мысль Джугашвили заключалась в том, что в условиях большевистской революции дело не в государственных постах, а в партийном аппарате. Сталин стал членом Политбюро еще в мае 1917 года; позднее он прошел в секретариат Центрального Комитета и, наконец, оказался генеральным секретарем РКП. Это дало ему возможность убрать с самых блистательных постов и Троцкого, и Зиновьева, и Каменева. Не помешало Сталину даже завещание Ленина — загробное письмо ревизора. Ленин его назвал* «грубым человеком, нетерпимым в должности «генсека». Однако с должности этой его при жизни не убрал. Почему? О нынешних своих противниках сам Сталин сказал: «Вы слышали здесь, как старательно ругали оппозиционеры Сталина. *Объясняется это тем, что Сталин, быть может, знает лучше, чем другие, все плутни оппозиции*». Сталин не «вдохновенный оратор» и не «блестящий писатель», вероятно, он на это и не претендует. Но диктаторское ремесло он понимает недурно. Я отнюдь не считаю его новым Наполеоном. Роль Сталина в большевистской революции в последнем счете почти наверное окажется не слишком выигрышной. Как поведет он себя «на финише», очень трудно сказать. Что именно не хватает Сталину? Культуры? Не думаю: зачем этим людям культура? Их штамповальный мыслительный аппарат работает сам собою — у всех приблизительно одинаково. «Теоретиков» Сталин всегда найдет сколько угодно, чего бы он ни захотел. Знает ли он только сам, чего именно он хочет?

Та линия, по которой он, вначале не без колебаний, шел к захвату власти над партией, была, по-видимому, правильной. Я говорю: по-видимому, так как все-таки дело еще не решено окончательно. Фокус Колумбова яйца после Колумба могли усвоить другие — и пост генерального секретаря коммунистической партии не является в конце концов пожизненным. При некотором счастье роль главы оппозиции может оказаться очень

* Ленин же назвал его и «чудесным грузином» (Ленинский сборник, т. I, стр. 142).

выгодной. «Только мертвые не возвращаются», — сказал знаменитый дягель *того* Термидора. Сталин, вероятно, понимает, что ветер в современной России меняется часто и что при первой перемене ветра почти вся его свора (за редкими исключениями, вроде блаженного Бухарина, коммунистического Пфуля) с полной готовностью переметнется к Троцкому. Признаюсь, я «с захватывающим интересом» жду: что сделает Сталин в этом трудном экзамене на трудную историческую роль?*

VIII.

— Но их идеи? Ведь за каждым из них стоят определенные социальные группы?

Да, идеи, социальные группы...

Жорес говорил, что философия истории Карла Маркса представляет собою сочетание гениальной интуиции с детской наивностью: всецело поглощенный идеей борьбы классов, Маркс проглядел за ней борьбу партии в пределах одного класса и борьбу личностей в пределах одной партии. Жорес объяснял это тем, что Марксу не приходилось наблюдать вблизи, как в министерских кабинетах и в кулуарах парламентов творится настоящая практическая политика.

Разумеется, социологи-марксисты совершенно неуязвимы в отношении этого критического указания и «поверхностной критики» вообще. Они, как известно, глядят глубже, в самый корень. «Кто — как мудрый и кто понимает значение вещей? — сказал царь Соломон. — Сердце мудрого знает и время, и устав». Марксисты все знают: и устав, и время, и значение вещей. При некотором навыке для каждой партии, для каждой фракции, даже для каждого отдельного деятеля легко подобрать соответственную «классовую подоплеку». Нет, например, ничего проще, чем уложить в термины классовой борьбы распрю, происходящую ныне в большевистской партии. Терминология разрабо-

* Это было написано в пору борьбы между Сталиным и Троцким. Последовавшую вскоре за тем ссылку Троцкого в Верный должно признать весьма неблагоприятным поступком: от Верного до Москвы все же лишь несколько дней пути.

тана богато: батраки, бедняки, середняки, кулаки, пролетариат, полупролетариат, люмпенпролетариат, можно еще прихватить «спецов», «деклассированную интеллигенцию» и т.д. Были бы терминология и бумага, а марксисты и подоплека найдутся. Социологи выяснят точно, чьи классовые «чаяния» выражал Сталин и как классовые группы поддерживали Троцкого.

Мы останемся, однако, при «поверхностной» точке зрения. То, что происходит сейчас в России, это борьба, борьба личная, почти такая борьба, какая ведется в животном царстве. Я утверждаю, что все положения Сталина можно найти у Троцкого — и обратно: надо только взять их речи и статьи не за несколько недель, а за несколько лет. В коммунистической партии идет беспрестанное *chassé-croisé*^{*}. Люди, стоявшие за «бедняков», теперь отстаивают интересы «кулаков», но с полной готовностью снова свяжутся с «бедняками», если этим способом будет почему-либо удобнее свернуть шею противникам. Зиновьев прежде со Сталиным громил Троцкого, теперь он с Троцким громит Сталина, — чья классовая подоплека изменилась? Сам Сталин был (при Ленине) противником «новой экономической политики». Наша печать не без причины теряет-ся в догадках: кто из большевистских вождей левее, кто правее? (Бухарин, идущий ныне со Сталиным, прежде считался самым левым) и не опираются ли левые вожди на правые массы? (что, в самом деле, граничило бы с чудом). Вожди, вероятно, и сами всего этого не знают, как не знают они и того, каким опытом займутся, когда покончат с конкурентами. Достаточно прочесть их дискуссионные листки. Троцкий, шипя от бешенства, швыряет в «аппаратчиков» Чан Кайши Перселлем, кулаками, «социализмом в одной стране». Ему кричат задыхающийся голоса: «Шпана ты этакая!.. Презренный меньшевик!.. Какая гнусность!.. Долой гада!..» Не надо быть большим психологом, чтобы сквозь стенограмму почувствовать обстановку этого заседания, характер этой «политической дискуссии». Нет, здесь не Чан Кайши и не Перселль! Здесь не идейные разногласия. Здесь личная ненависть, ненависть звериная, — ненависть по тому идейному признаку, что Ворошилов и Ярославский не могут смотреть без ярости на самую физиономию Троцкого...

* Чехарда (фр.).

Пожелаем же им всем того, чего они желают друг другу. Я не знаю, кто из них будет смеяться последний. Самыми последними посмеемся мы. Меня не слишком утешает эта перспектива последнего смеха на развалинах. Сказано, однако, в гениальной книге: «Время плакать и время смеяться... Время разбрасывать камни и время собирать камни... Время раздирать и время сшивать... Время любить и время ненавидеть...»

*Климент Ворошилов
Семен Буденный
Михаил Калинин*



Советские люди

(В кинематографе)

Смотр Красной Армии в Москве. Он, несомненно, производит впечатление. Войска маршируют прекрасно. «Не хуже нашей гвардии», — говорил (со смешанными, кажется, чувствами) бывший командир гвардейского полка.

Может быть. Но это не очень важно. Красной Армии не за что сражаться и незачем побеждать. «Да так всегда было!» — скажет скептик. Зачем было русским мужичкам побеждать когда-то венгров или брать Париж? А Красная Армия вдобавок многочисленна. «Бог обычно на стороне больших батальонов», — сказал Наполеон в минуту веселой откровенности.

У него можно найти и прямо противоположные утверждения. В этой области военная наука — вообще темная для нас, штатских, — становится особенно темной. Военные историки еще не разрешили вопроса, какая армия была лучше, например, в пору суворовского похода: «сознательная» французская или «несознательная» русская? Как бы то ни было, с той поры неизгладимую психологическую грань провел 1917 год. Впервые солдаты убедились в том, чего они в XIX столетии не подозревали: стрелять в неприятеля по приказу начальства не так уж обязательно; можно при случае стрелять и в начальство. Вековой инерции послушания у Красной Армии нет. Тогда «душа»? Но в душе у нее, очевидно, должна быть брошюра о Третьем Интернационале. Для войны этого мало. Красноармейцы — люди, видящие то, что творится вокруг них. Стрелять они, вероятно, будут, но в кого?

Спор нельзя упрощать: вооружения или «дух»? Все, по-видимому, сводится к дозировке того и другого. В эпоху высшего торжества техники компетентный человек, маршал Фош, говорил (весной 1918 года): «Когда я становлюсь на техническую точку зрения, победа над Германией представляется мне невозможной. Когда я

подхожу к вопросу с точки зрения духа, я не сомневаюсь в победе ни минуты». Некоторые страницы из сочинений Фюшя почти дословно совпадают с тем, что сказал о военном деле и о победе в «Войне и мире» Толстой...

А вопрос для нас достаточно важный. Если эти так прекрасно марширующие войска действительно всей душой преданы советской власти, то мы вряд ли когда-нибудь увидим Россию. Но либо такое предположение вздорно, либо человеческий разум — чистейшая легенда.

На протянутом вдоль стены полотне два огромных портрета: слева Ленин, справа Сталин. Это ново: до сих пор, кажется, рядом с Лениным не ставили никого, кроме Маркса.

Вот и сам диктатор. В сопровождении толпы сановников и чекистов он проходит к Мавзолею. Перед священной могилой лицо его принимает соответственное выражение. Настоящие чувства, внушаемые ему Лениным после «завещания», угадать не так трудно. Вспомним латинское изречение: «Пусть он будет богом, если только он мертв».

К сожалению, я не могу признать лицо Сталина ничтожным. В нем есть и сила, и значительность. Незачем изображать этого человека дураком. С тех пор как существует мир, дураки диктаторами не становились. «Удар по левой оппозиции», «блок с правой оппозицией», потом наоборот, — психологическая сторона дела много проще. Проблема Сталина — проблема атаманства. Этот человек — атаман по природе.

Гердер, порою веривший в переселение душ, говорил, что по лицу человека узнает, кем он был в своем предыдущем земном воплощении. Не берусь сказать, кем был Сталин, — «великий строитель будущего» и теперь человек XV века: тогда в Европе почти везде власть принадлежала Сталиным. Тогда и создалась та политическая мудрость, которую много позднее французский государственный человек выражал словами: «Если б народу слишком хорошо жилось, то править им было бы очень трудно».

Одет Сталин странно. На нем не военный мундир и не штатское платье, а созданная большевиками форма, нечто среднее между френчем и толстовкой, помесь чего-то якобы крайне русского с чем-то якобы крайне международным. Вид у диктатора бодрый и уверен-

ный. О других сановниках этого никак не скажешь. Некоторые, старательно улыбаясь (пролетарский праздник), с явным беспокойством оглядываются по сторонам. Знают, что их сейчас фотографируют на показ всему миру, и все-таки нервно оглядываются. Это, я думаю, первые правители России, не имеющие решительно никаких иллюзий относительно окружающей их народной любви. У представителей старого строя такие иллюзии были. Были они и у людей 1917 года. Министр труда Скобелев, помню, вечно сиял от восторга — так его радовала народная любовь. На концертах-митингах того времени, где он часами говорил о том, что теперь не время для речей, ему, действительно, устраивались сказочные овации.

Музыка играет. Идет «глава советского государства».

В фигуре Калинина есть что-то непреодолимо комическое. Он посажен в сановники больше за происхождение: «крестьянин от сохи», так же как «рабочий от станка», — это нечто вроде советского генерала от инфантерии. Можно усомниться, был ли когда-нибудь в самом деле «крестьянином от сохи» этот старичок в пенсне; но, во всяком случае, никаких других политических заслуг за ним не значится; «ни ритор, ни философ, дидактизма и логофетства не искусен, простец человек и зело исполнен неведения». Комизм в том, что при советском строе он строго конституционный монарх — король царствует, но не управляет — и, не имея ровно никакого значения, взят исключительно для представительства: принимает иностранных послов — надо же иметь главу государства, как у людей. Вид у него соответственный: строго конституционный монарх веселится со своим народом в день национального праздника.

За президентом также следуют сановники и чекисты. Не разберешь, кто сановник, кто чекист. Лента на мгновение выбрасывает и уводит истинно страшное, зверское лицо. Кто это? Кем был этот человек до революции? Как могли подобные люди появиться в чеховской России, в той России, «где ничего не происходит», где национальным недостатком считалась обломовщина, — странно и смешно теперь вспоминать об этих упражнениях в национальной психологии после пережитого нами апокалипсического пятнадцатилетия. Напишет ли свои воспоминания, расскажет ли

когда-нибудь свою мрачную повесть этот человек-по-ошибке? Ведь уж он-то ни при каких будущих переломах не пропадет.

Другие лица в большинстве серые, не злые, не добрые — никакие. «Три тысячи лет человеческой цивилизации», видимо, их мало коснулись. Такими могли быть подлиповцы* — из них, как известно, умнейший умел считать только до пяти. У Сталина, у Троцкого «диамаг» мог вытравить, выжечь душу. У этих и выжигать было нечего. В отдельности они ничтожны, в массе очень страшны. Вот она, новая людская порода, о которой говорил Горький в излюбленном стихотворении провинциальных актеров (для актеров и тире предназначались, как ноты для певцов): «Так шествует мятежный человек вперед! и — выше! Все — вперед! и — выше!»

Из ворот Кремля выносятся на коне Ворошилов. Очень недурно: совсем советский кавалергард, гусар смерти Третьего Интернационала. Именно выносятся, а не выезжает. Так на обложках книг для юношества изображали Богдана Хмельницкого, не хватает только булавы. Ворошилов очередной большевистский Карно. До него Карно был Фрунзе, и еще раньше Троцкий, в самом начале советскими войсками командовал Крыленко, но недолго, не успел стать Карно. Собственно, сходство неполное: армии того Карно победоносно сражались с соединенными силами всей Европы. Эти с внешним врагом воевали всего один раз — с Польшей, — и нельзя сказать, чтобы очень удачно. Зато они «создали армию», что, пожалуй, при прекрасном человеческом материале и при неограниченных кредитах для закупок снаряжения в Европе было и не так трудно. Главная заслуга останется, конечно, за Троцким, — где же Ворошилову тягаться с мировым чемпионом саморекламы. Путешествие Троцкого по Европе** сделало бы в рекламном отношении честь и Грете Гарбо, и Поле Негри: они, кроме разводов, ничего не могут придумать. Однако и Воро-

* Подлиповцы — герои одноименной повести Ф. М. Решетникова (1864 г.) — *Прим ред.*

** То же самое можно сказать и о его недавней высылке из Парижа. Толпы народа съезжались в Барбизон, чтобы взглянуть на «бывшего диктатора» (хоть диктатором Троцкий никогда не был — вся власть принадлежала Ленину). Остается утешаться тем, что барон де Люссат привлек бы, пожалуй, еще больше публики.

шилова начинают знать на Западе. Все иностранные корреспонденты в один голос утверждают, что Ворошилов в Советской России — «вождь оппозиции, проникнутой национальным духом». Можно с некоторой вероятностью предположить, что таков кремлевский уговор именно для иностранных корреспондентов: «Ты, товарищ Клим, будешь вождем оппозиции, проникнутой национальным духом»... Разные соображения могут быть у Политического бюро. Я весьма сомневаюсь, чтобы Сталин для вождя национальной оппозиции не мог найти другой должности, кроме поста главы Красной Армии.

— «Будиони!» — торжественно объявляет голос «спикера».

Публика смотрит с любопытством. Знаменитый Буденный! В самом деле он замечателен, этот древний, почвенный, неизвестный Западу образ. Во всяком случае, это нечто подлинное на маскараде: настоящий солдат среди рабочих в генеральских мундирах. Буденный удивительно не похож на интернационалиста и на «строителя будущего». Художник, который пожелал бы дать иллюстрации к «Войне и миру», мог бы с него писать доезжачего Данилу. Это был «по-украински, в скобку обстриженный, седой, морщинистый охотник, с гнутым арапником в руке и с тем выражением самостоятельности и презрения ко всему в мире, которое бывает только у охотников... Несмотря на то что Данила был невелик ростом, видеть его в комнате производило впечатление, подобное тому, как когда видишь лошадь или медведя на полу между мебелью и условиями людской жизни. Данила сам это чувствовал и, как обыкновенно, стоял у самой двери, стараясь говорить тише, не двигаясь, чтобы не поломать как-нибудь господских покоев, и стараясь поскорее все высказать и выйти на простор, из-под потолка под небо». К этому ничего не прибавишь. Я дорого дал бы, чтобы поглядеть на Буденного во время заседания Третьего Интернационала или послушать его политическую беседу, например, с Карлом Радеком.

За правительством следует дипломатический корпус. Люди того облика, который несколько условно признается аристократическим. Со времени графов Мирбаха и Брокдорфа-Ранцау создалась непонятная традиция: посылать в Москву аристократов. Не скры-

ваю: этот дипломатический корпус на параде Красной Армии представляет собой зрелище и довольно смешное, и довольно жалкое. Советские войска, рабочие, комсомольцы проходят со знаменами. Надписи: «Долой капиталистический строй!»... «Долой мировую буржуазию!»... «Да здравствует всемирная коммунистическая революция!»... Послы смотрят и приятно улыбаются. Зачем они приезжают на эти парады, казалось бы, оскорбительные и для них самих, и для их правительств? Долг службы? Никакой катастрофы не произошло бы, если б они не пожаловали праздновать 15-летие Октябрьской революции. Вдобавок для тех, кого они представляют, кое-что в прошлом могло быть — и, вероятно, было — личной драмой. Ничего не поделаешь, долг службы. Император Франц Иосиф до конца дней не приглашал к себе мексиканского посланника — в Мексике, как известно, расстреляли его брата. Другая крайность. Но, право, та была достойнее.

Японский офицер, приятно улыбаясь, смотрит на проходящие по площади танки. Я предполагаю, что в них для него нет ничего нового: может быть, и конструкцию их знает? Может, имеет и списки, и чертежи, и фотографии? Рядом с военным агентом, вероятно, японский посол, тот самый, что ведет с Литвиновым столь курьезную переписку: «Миролюбие советского правительства всем достаточно известно...» — «Поэтому советское правительство очень желало бы заключить договор о взаимном ненападении...» — «Японское правительство тоже очень этого желало бы, но война и так безусловно запрещена договором Келлога...». Нельзя с ним не согласиться: ведь и в самом деле безусловно запрещена! Психология ясная, но и забавная: все клочки бумажки не стоят медного гроша, однако два клочка все же лучше (или хуже?), чем один.

За японским послом следует, если не ошибаюсь, германский.

В ту пору, когда бессмысленным, но достаточно жутким *memeto mori* прозвучал на весь мир выстрел Иуды Штерна, правые немецкие газеты писали, что Дирксен «продолжает большое дело графа Брокдорфа-Ранцау». В Германии правые не слишком любили

* У. Брокдорф-Ранцау и Г. Дирксен — немецкие дипломаты периода Веймарской республики, немецкие послы в СССР. — *Прим ред.*

«красного графа», так что эту похвалу надо особенно ценить. Гениальная идея Брокдорфа-Ранцау, как известно, заключалась в том, чтобы использовать Советскую Россию в борьбе с западными державами, как теперь не менее гениальная контридея Эдуарда Эррио сводится к сближению с Советской Россией для того, чтобы отвлечь ее от Германии. На глубокомысленном дипломатическом языке это называется «русской картой». Нельзя сказать, чтобы в колоде дипломатов ненадежная «русская карта» уже принесла кому-либо очень большой выигрыш. Но они веры не теряют, особенно немцы. Дирксена газеты называли «дипломатом старой бисмарковской школы» — выражение тоже не совсем ясное: Бисмарк терпеть не мог дипломатов и не ставил их ни в грош («послы должны мне подчиняться, как капралы»).

Среди этих бисмарковских учеников есть способные люди. Таковы и фон Шлейхер, и фон Папен, и Гитлер, и Гугенберг*. Но нам от их дарований не легче. Что они готовят миру? Может, все-таки сжалятся над «тремя тысячами лет цивилизации»? Хорошо ли, наконец, взвелили силы: и силу нынешней Германии, и свою собственную душевную силу?

Я писал в свое время, что вопрос, стоящий перед Германией, сводится к следующему: даст ли «самая совершенная в мире демократия» себя съесть хотя бы самым совершенным демократическим способом? Теперь ответ ясен: дала. Возможно, разумеется, что это и не окончательный ответ, — ничего окончательного в политике не бывает. Но того, что случилось, достаточно. «Завоевания великой эпохи», как говорил в 1919 году один из вождей германской социал-демократии, теперь вполне выяснились. Карл Маркс завещал социал-демократам: «В парламенте не грозить уличными баррикадами, а на улице не вести себя парламентарно». Этого завета они не выполнили — Бог им судья: может быть, и не могли выполнить. Во всяком случае, главные завоевания налицо. Еще недавно наивный историк заметил: «В 1913 году мир походил на пороховой погреб»... То ли дело теперь!

Бисмарк писал на склоне дней: «На душе у меня

* К. фон Шлейхер (1882—1934) — немецкий генерал, рейхсканцлер Германии перед приходом к власти Гитлера. А. Гугенберг (1865—1951) — крупный капиталист, политик, финансировал национал-социалистскую партию. — *Прим ред.*

тяжело. Во всю свою долгую жизнь я никого счастливым не сделал: ни своих друзей, ни семью, ни даже себя. Я сделал много, много зла. Я был виновником трех больших войн. Из-за меня погибло более 800 тысяч человек на полях сражений; их теперь оплакивают матери, братья, сестры, вдовы»... Биограф Бисмарка Вельшингер в символическом освещении описывал и его смерть: «В субботу 30 июля 1898 года около трех часов началась агония. В это время буря разразилась на Северном море. Бешеный ветер врывается в окна замка и стонал между соснами огромного леса. В одиннадцать часов вечера князь поднялся на постели, поднес руки к лицу, точно защищаясь от какого-то страшного видения, и скончался».

Сделаем поправку на красноречие, все же это, по крайней мере в теории, могло бы быть интересно современным кандидатам в Бисмарки. Вдобавок маленькие, дешевенькие войны того времени, как всем известно, невинная забава по сравнению с тем, что теперь обещают нам специалисты: кажется, впервые в истории военной техники средства защиты стали быстрее отставать от средств нападения. От налета воздушных отравителей защититься почти невозможно, а чуда химии и авиации одинаково доступны всем большим современным государствам. «История учит тому, что она ничему не учит». Но хоть от хитроумных ставок на «русскую карту» могли бы отказаться нынешние Макиавелли министерских кабинетов — «пигмеи», по недавнему определению Ллойд Джорджа.

Здесь необходим, очевидно, предметный урок, — вот как в немецких трамваях висят картинки с изображением человека, неудачно соскочившего на ходу с площадки и растянувшегося на мостовой. Надпись: «Так часто кончается соскакивание». Предусмотрительный народ. Если б он был так же предусмотрителен в политике!..

Публика. Первые ряды, конечно, подобраны: уж очень близки от окруженных народной любовью вождей. Но всю эту толпу подобрать было бы трудно. По лицам нелегко судить о психологии советских граждан — посмотрим в тот *dies irae*^{*}, когда они посрывают с себя маски. Однако у меня впечатление: люди —

* День гнева (*лат.*)

даже те, бритые, комсомольского вида, — любят парадом искренне, как любовалась бы французская толпа. Казалось бы, почему? Конечно, Красная Армия нужна для защиты социалистического отечества от империалистов и белобандитов. Но ведь и в таком понимании она не больше как печальная необходимость: надо терпеть армию, надо иметь армию, а любоваться ею не приходится. Это хорошо для какой-нибудь мелкобуржуазной Франции. Армия сама по себе ведь символ отжившего строя.

Все то же. Россия и мир к западу от Рейна вот уже пятнадцать лет живут по противоположным законам. Западный мир как будто левеет, несмотря на энтузиазм нового града. На Западе интеллигенция по самым разным причинам — кто от долгой безработицы, кто бесясь с жиру — увлекается советским строительством или делает вид, будто увлекается. В России, я думаю, все, не исключая рядовых коммунистов, тоскуют по квартире без уплотнений и без «жилплощади», по бакалейной лавке без хвостов и без карточек, по «отжившему строю», по той самой буржуазной жизни, над которой так тонко и так искренне издеваются иные советские писатели. Это настоящая трагедия. Смеяться тут не над чем, и уж совсем кое-кому будет не до смеха, когда этой тоской прорвет сто шестьдесят миллионов людей. Не так трудно каждому из нас мысленно себя перенести в их жизненные условия. Многие видели и мы сами до эмиграции.

На одном из славянских языков эмигранты называются «упрхлики», — вероятно, от корня «упорхнуть». В этом, надеюсь, нет ничего обидного: и то сказать, среди людей, правящих теперь в мире — например, в Чехословакии, Польше, Испании, Каталонии, Ирландии (и в России), — чрезвычайно много бывших «упрхликов». Продолжение словесной ассоциации, очевидно, должно было бы вызвать мысль о беззаботной, как у птички, радостной жизни на чужбине... Эту жизнь мы достаточно хорошо знаем. Но вот только для того, чтобы не проходить в шеренге манифестантов перед Мавзолеем Ленина, стоило — о, да как стоило! — стать «упрхликом», хотя бы и на долгие годы.

Дело ведь, конечно, не в одной материальной стороне жизни, невзгоды которой так легко и бодро переносят издали за советских граждан леди Астор и дру-

гие владельцы сверхпередовых западноевропейских салонов. Свой угол имеет ведь и прямое, и символическое значение. Не приходится удивляться и тому, что человека, которого пятнадцать лет и в жизни, и в газете, и в книгах, и со сцены, и с экрана пичкают одним «диамамом», тянет к самым разным явлениям «буржуазной» жизни. Ловкие люди в России отлично это понимают. Достаточно взглянуть на советские фильмы. Все они, разумеется, строго идейны и вполне «диаматичны». Но в каждый так или иначе, более или менее ловко вставлены либо «бульварный роман», либо «буржуазная мелодрама», либо сцены из жизни акул капитализма, — конечно, с обличительной целью. Если уж никоим образом нельзя изобразить, как живут акулы капитализма, то пристегиваются война, притоны, бандиты. Что-то такое вклеили и в «Путевку в жизнь», — вдобавок совершенно вразрез с тенденцией фильма: задача ведь заключалась в том, чтобы показать, как прекрасно, по-новому воспитывается советское юношество. И вдруг беспризорные попадают в какой-то — вероятно, случайно оказавшийся в СССР — притон! Вино, женщины, револьверы, выстрелы, связанные люди, — как в лучшем фильме из быта чикагских гангстеров. Советское новое воспитание от этих сцен, быть может, теряет по сравнению со старым, буржуазным. Но, очевидно, спрос порождает предложение.

Поэт Безыменский горестно предупреждает, что в сердце советского человека

В углах где-то есть тайники,
Где скрываются чувства-мещане,
Чувства-буржуи,
Чувства-меньшевики.

Думаю даже, не столько чувства-меньшевики, сколько чувства-буржуи.

Мавзолей Ленина. Это далеко не худшая из советских построек. Но даже для надгробного памятника большевистскому богу они ничего своего придумать не могли. Как раз перед войной немцы открыли американскую архитектуру (действительно превосходную), признали ее высшим достижением зодческого искусства со времени Возрождения и нашли в ней египетское влияние. К большевикам все это пришло с опозданием в несколько лет и с точностью сказалось на ленинском

Мавзолею; здесь и Германия, и Америка, и Египет. Среди строений исторической площади есть высокие здания искусства; есть и другое, не имеющее художественного значения. Но все это русское искусство. На Красной площади этот Мавзолей, сам по себе недурной, — столь же нелепый, сколь хвастливый вызов вековой истории. Можно, однако, думать, что по долговечности он с египетскими пирамидами не сравняется.

На площадке Мавзолея, стеснившись вокруг Сталина, стоят сановники. Красная площадь залита народом. Картина получается символическая: скала на море. Вдруг буря? Что останется на скале?

Быть может, поэтому все они так льнут к Сталину, так раболепствуют, так унижаются перед ним. Ведь все-таки люди работали на историю: у каждого из них через столетия найдется дурак-биограф. Зачем они ему причиняют неприятность своими постыдными покаяниями? Боязнь репрессий со стороны Политического бюро? Однако достаточно ясно, что Рыкова, Каменева, Зиновьева, Бухарина Сталин не расстреляет, как не расстрелял и Троцкого. Нет, тут не только боязнь репрессий. Тут психология людей, жаждущих бури на окруженной морем скале. Какие уж внутренние ссоры! У кого воля и нервы крепче, тому и подчиняются беспрекословно остальные. А этот человек, повторяю, природный атаман. Все они его ненавидят, но чувствуют: если он не спасет, то уж другой не спасет никто.

Мирабо говорит:

«Тrop souvent le danger rallie à la domination absolue; et, dans le sein de l'anarchie, un despote même paraît un sauveur»^{*}.

Мимо Мавзолея проходит со знаменами ликующий народ. Поразительное совпадение в том, как выражается ликование. Надписи: «У нас пятилетка выполнена в четыре года»... «Мы выполнили пятилетку в три года и восемь месяцев»... и т. д. Разумеется, единый народный порыв восторга, но все же ГПУ могло бы больше позаботиться о правдоподобию.

В какой-то процессии идут почтенные седые старики. Вероятно, советские ученые. Бедные люди, самые несчастные из всех!

* «Слишком часто опасность мирит с безграничной властью; в пору анархии и деспот кажется спасителем» (фр.).

Много лет тому назад, в пору страшного голода, Ленин (кажется, по совету Максима Горького) решил «протянуть руку спецам». Им было сделано определенное предложение. Для его обсуждения на одной из московских квартир собралась старая гвардия русской интеллигенции. С разных концов огромного города пришли пешком нищие, больные, голодные, оборванные люди — с именами, известными всей России. Предлагали им много, очень много: кусок хлеба, дрова, обеспеченный угол, иными словами, все — жизнь. Предложение было отвергнуто — историк русской интеллигенции этой сцены не забудет. Большинства тех людей уже нет в живых; некоторые были расстреляны. С той поры многое изменилось. Нам, эмигрантам, никого судить не приходится.

Герцен писал когда-то о порабощенной Италии:

«Страна похожа на семью, в которой недавно совершилось какое-нибудь черное преступление, обрушилось какое-нибудь страшное несчастье, обличившее дурные тайны, — на семью, по которой прошла рука палача, из которой кто-нибудь выбыл на галеры... Все в раздражении, невинные стыдятся, всех мучит бесильное желание мести, страдательная ненависть отравляет, расслабляет. Может, и есть близкие выходы, но разумом их не видать; они лежат в случайностях, во внешних обстоятельствах, они лежат вне границ. Судьба Италии не в ней. Это само по себе одно из невыносимейших оскорблений».

Войска проходят мимо Мавзолея, музыка играет марш — он у них исполняется и на похоронах. Сталин, чуть щурясь, с легкой усмешкой смотрит на парад. В воздухе носятся аэропланы, идут броневые автомобили, народ ликует. Бравурно-похоронная мелодия зажигает сердца:

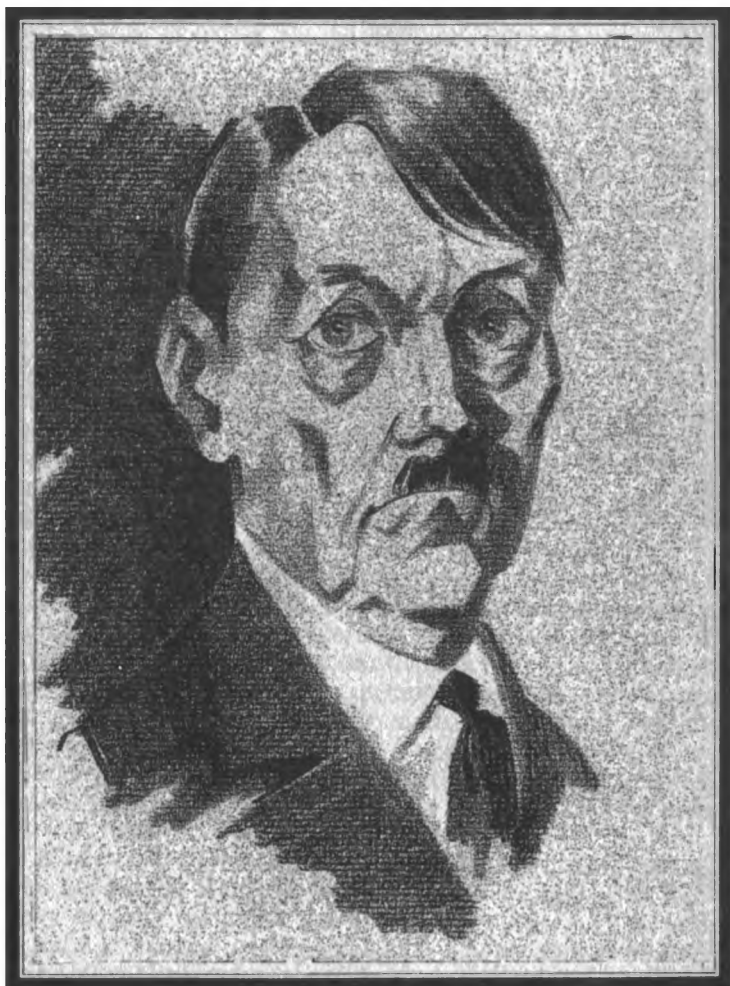
Sonne aujourd'hui le glas, bourdon

de Notre-Dame,

Et demain, le tocsin!*

* «Греми сегодня похоронным звоном, колокол, а завтра ударь в набат» (Гюго) — (фр.).

Адольф Гитлер



Гитлер

Следующая ниже статья появилась в печати задолго до прихода Гитлера к власти. Мне отказываться от нее не из-за чего и теперь. В ту пору и в Германии и вне ее было обязательно говорить о нынешнем диктаторе не иначе, как о человеке ничтожном и неумном. Мысль о том, что его планы могут увенчаться успехом, ничего, кроме смеха, тогда не вызывала. Последовавшие события показали, как неоснователен был такой взгляд, и тогда казавшийся мне странным.

То, что теперь, в 1936 году, можно было бы сказать о правительственной работе Гитлера, ничего не изменило бы, думаю, в его портрете. Благодаря хитрости и смелости он добился немалых результатов в области внешней политики. Германия вооружилась, и разговор с ней стал у всех другой. Но мощная армия, флот, аэропланы все-таки лишь средство, а не цель. Самый процесс пользования властью — речи, приемы, смотры, маневры, интриги, постоянные комментарии в иностранной печати — должен доставлять великое наслаждение такому человеку, как Гитлер. Рисковать потерей всего этого, рисковать властью и головой — дело нешуточное и для природного кондотьера. И все же задача остается прежней: надо так или иначе добиться коренной перемены в территориальных условиях Версальского мира. Вероятность войны в Европе теперь неизмеримо больше, чем была четверть века тому назад.

Во внутренней политике Гитлера сюрпризов оказалось немного. Некоторым сюрпризом было отношение к евреям. Когда я писал настоящую статью, мне казалось, что это ловко и искусно выбранная карта, на которой в Германии очень выгодно сыграть хитрому человеку, дабы добиться власти. Теперь партия им выиграна, и карта эта стала ненужной, даже невыгодной. Между тем игра на ней превратилась в дело постоян-

ное, нелепое и чаще всего комическое. Очевидно, этот человек и в самом деле вполне серьезно верил в свою гениальную расовую теорию!

Бойня же 30 июня, убийство Шлейхера, дела гестапо сюрпризом не были. Большевики достаточно наглядно показали, что «все позволено». Поданный ими урок не мог пройти бесследно. От всего этого человечеству придется лечиться не годами, а столетиями. Вылечится ли оно — я не знаю.

I.

Огромная зала полна сверх меры. Все десять тысяч билетов распроданы задолго до митинга. Перед входом на улице стоит густая толпа людей, которым не удалось попасть в залу. Они жадно ждут, может быть, кто-нибудь выйдет, упадет в обморок от жары, продаст или уступит место.

Ровно в восемь часов вечера раздаются трубные звуки. В залу торжественно входит оркестр, играя военный марш. За ним следует «взвод знаменосцев», далее «ударный отряд» из людей в коричневых рубашках с засученными рукавами и, наконец, конвой «телохранителей вождя». У телохранителей на головах каски с изображением черепа. Раздается команда: «Глаза направо!..» Весь зал встает, следуя кто как умеет военной команде. На пороге между двумя взводами конвоя появляется Гитлер. Громовые рукоплескания длятся несколько минут. Невысокий, мертвенно-бледный человек, со злыми сверкающими глазами, в полувоенной форме, украшенной индусским значком, занимает место на трибуне.

«Для того, чтобы понять гитлеровщину, — говорит беспристрастный и осведомленный французский журналист, описывающий эту сцену, — надо знать, что как оратор Гитлер не имеет себе равных в современной Германии. Он зачаровывает толпу, которая с наслаждением слушает все расточаемые им грубости, его декламацию против предателей, мошенников, продажных людей. Никто таким языком никогда не говорил в Германии».

* Свастика — индусского происхождения (по другим указаниям — египетского).— *Прим. ред.*

«Каждая фраза его речи, — пишет очевидец*, — прерывается бешеными рукоплесканиями. Толпа встает, как один человек, и начинает петь «Deutschland über alles». Ей вторит орган большой бреславльской залы. Гитлер рычал более часа. Раздавленный неслыханным усилием, он падает в кресло и лежит неподвижно несколько мгновений. Затем, овладев собой, бросается в другую залу, где его ждало еще десять тысяч человек. В полночь он в третий раз произнесет ту же речь перед 6—7-тысячной толпой, ждущей его на улице, жаждущей увидеть спасителя, которого зовут в Германии Христом!..»

Что он говорит, это всем достаточно известно. Во всяком большом движении, каково бы оно ни было, есть беспрестанно повторяющийся лейтмотив. Разные это бывают лейтмотивы — многие из них нам особенно памяты: «без аннексий и контрибуций», «вся власть Советам», «братание трудящихся», «грабь награбленное». Лейтмотив гитлеровщины более сложный: «Германская армия побеждала на всех фронтах, но германская революция вонзила ей кинжал в спину!» — отсюда делаются выводы, тоже всем известные.

Лозунги Ленина в 1917 году были еще лучше, но и этот придуман недурно. Гитлер обращается преимущественно к молодежи, которая в войне не участвовала и знает о ней мало. У молодых немцев осталось о событиях 1914—1918 годов общее впечатление, которое почти совпадает с тем, что говорит Гитлер. Германские войска в самом деле побеждали на всех фронтах. Потом вспыхнула революция — и все погибло. Значит, Германию погубили люди, ныне стоящие у власти. Хронологией молодежь не занимается, а без хронологии как доказать, что в утверждении Гитлера нет ни слова правды?

II.

Люди, стоящие у власти в Германии со времени революции 1918 года, совершили много ошибок, и грехов за ними значится немало. Но в этом грехе они неповинны. Напомню очень кратко установленные историей факты.

* F. Hirth. Hitler.

До лета 1918 года военное положение Германии было поистине превосходным. Всему миру казалось*, что союзники находятся на краю гибели; да это, как теперь выясняется, было и в самом деле близко к истине. Сошлюсь, например, на известную работу капитана Райта, вышедшую в 1922 году. Клемансо сказал посетившей его делегации: «Нам остается погибнуть с честью!» Маршал Фош упорно говорил и тогда: «Я предпочитаю свою игру игре Людендорфа»; но ведь и эти слова не свидетельствуют об уверенности в полной победе. «Положение было очень серьезно, — пишет генерал-майор сэр Фредерик Морис. — Летом 1917 года у союзников было на западном фронте 178 дивизий против 108 германских. В начале 1918 года число союзных дивизий упало до 163, а число германских выросло до 175». Поздней весной положение стало гораздо хуже. «Наступательная сила британской армии была временно сломлена, — сообщает тот же военный писатель. — В шесть недель она потеряла 350 тысяч человек и 1000 орудий**».

Летом союзные войска получили четыреста танков. Восьмого августа началось большое наступление Фоша. Оно развивалось успешно, однако на близкую победу никто не рассчитывал. «Общее мнение союзников было, что для решительного наступления против немцев надо ждать 1919 года, когда сильно увеличится американская армия».

В германских политических кругах неожиданные успехи союзников вызвали волнение. Социал-демократы, настроенные в огромном большинстве вполне патриотически, все решительнее настаивали на том, чтобы было образовано парламентское правительство и чтобы им было предоставлено в нем три министерских поста. Однако о возможности катастрофы на фронте никто в Германии и не думал. «Дела стали хуже, они скоро поправятся. В общем, все идет недурно» — таково было настроение. Достаточно сказать, что так

* Живо помню это время в Петербурге. В небольшом кругу читались военными специалистами доклады. Помню доклад генерала, потом перешедшего к большевикам. Он убедительно доказывал, что союзники победить не могут — дай им Бог только спастись от разгрома. И мы, профаны, думали точно так же: если не победили с Россией, то как же им победить без России? Впечатление безграничной мощи Германии еще усилилось в марте 1918 г., когда германские пушки начали обстреливать Париж со 130-километрового расстояния, — этот внезапный скачок от 30—40 километров до 130 поразил воображение мира

** Sir Frederick B. Maurice. «How the War Was Fought and Won».

думал сам генерал Гофман*, фактический командующий восточного фронта, считавшийся вдобавок одним из возможных кандидатов на должность канцлера.

75-летний канцлер граф Гертлинг, известный философ-неотомист, был неподходящим человеком для парламентского правительства, на которое уже соглашался, или почти соглашался, Вильгельм. Выбор императора остановился на Максе Баденском. Он был принц и либерал — это сочетание казалось Вильгельму II удачным.

Гром грянул 29 сентября. Людендорф, внезапно прибывший на несколько часов в Берлин из главной квартиры, сообщил императору, что война проиграна, что необходимо тотчас предложить союзникам перемирие и начать мирные переговоры.

Вильгельм был совершенно поражен этим заявлением — оно и для него было полной неожиданностью. «К вечеру этого дня, — говорит Новак, — у императора был вид разбитого, внезапно состарившегося человека**». Граф Гертлинг подал в отставку. Прибывший в Берлин 1 октября принц Баденский был немедленно принят Вильгельмом.

Максимилиан Баденский не имел большого политического опыта, но это был неглупый, рассудительный и трезвый человек. Сообщение Людендорфа, переданное ему императором, потрясло принца: так вот к чему привело неслыханное усилие германского народа, все победы, все военные чудеса!.. Спорить по существу с генералом, которого все признавали первым военным авторитетом нашего времени, штатский принц, естественно, не мог. Однако он решительно высказался против немедленного принятия предложения Людендорфа. Принц Баденский, не потерявший самообладания, сказал совершенную правду: просьба о мире и о немедленном перемирии, посланная сейчас, в пору продолжающегося, неудачного для немцев сражения, равносильна капитуляции***. Надо хоть немного подождать! Император возражал: Людендорф настаивает. Принц в ужасе отказывался от шага, который, по его мнению, означал гибель Германии.

* Max Hoffman. *La guerre des occasions manquées*, s. 241.

** Nowak. «The Collapse of Central Europe», p. 227.

*** Генерал Гофман говорит, что этим требованием Людендорф отдал Германию «холодной ненависти Англии, фанатической жажде мщения французов и помраченному уму президента Вильсона» (стр. 244).

Во втором часу дня из ставки пришла телеграмма. Верховное командование извещало императора, что если новое правительство будет образовано до семи-восьми часов вечера, то с предложением перемирия можно подождать до завтрашнего дня, в противном случае его надо сделать немедленно. Еще через полчаса представитель министерства иностранных дел в ставке получил от Людендорфа предложение послать телеграмму союзникам немедленно, не дожидаясь образования нового правительства!

Трудно понять, что случилось в те дни с Людендорфом. По-видимому, его душевные силы не выдержали четырехлетнего нечеловеческого напряжения. Об этом косвенно свидетельствуют и позднейшие выступления Людендорфа: как известно, он упорно обвиняет в заговоре против Германии блок, состоящий из римского папы, Великого Востока, Франции, Сталина и «господина Гинденбурга». Во всяком случае, в те трагические дни ум и воля знаменитого генерала были явно в состоянии упадка.

Новый канцлер вызвал по телефону ставку и в последний раз высказал свои доводы: послать сейчас просьбу о перемирии значит вывесить белый флаг. Это шаг безвозвратный. Настаивает ли на этом верховное командование? Ответ был: другого выхода нет.

Трагическая борьба канцлера с верховным командованием была тем самым закончена. Швейцарское правительство взялось передать президенту Вильсону знаменитую телеграмму, которая, вероятно, была величайшей сенсацией новейшей истории. Германию еще окружал ореол четырехлетней непобедимости.

Эта телеграмма, должно быть, оказалась полной неожиданностью и для Вильсона. Если сопоставить между собой его последующие ноты, ясно видишь, как быстро меняется тон президента. В первой ноте он еще как бы переспрашивает: действительно ли германское правительство готово тотчас эвакуировать занятые его войсками области? Он точно еще не совсем понял телеграмму германского правительства или не поверил ей. Очень скоро ему становится ясно, что это капитуляция, что война кончена, что союзники одержали полную победу. Во второй телеграмме Вильсон уже говорит о немецких зверствах («illegal and inhuman practices»), он требует гарантий, он ставит условия. Всего лишь несколько дней тому назад никто не по-

думал бы, что с Германией можно говорить таким языком.

Настроение самих немцев понять нетрудно. Все рухнуло в один день. Вальтер Ратенау выступает с проектом *levée en masse** — надо бороться до последней крайности. Девятого октября в Берлин снова приезжает Людендорф. Слепая вера в него поколебалась, но он все-таки первый из военных авторитетов. Окончательный ответ Вильсону еще не дан. Министр иностранных дел Сольф в упор спрашивает генерала: «Можем ли мы продержаться еще три месяца?» Людендорф кратко отвечает: «Нет!» и затем, в противоречии с этим ответом, добавляет, что к весне у него будет шестьсот танков. Принц Баденский не выдержал: Людендорф есть Людендорф, но в таких условиях правительство желает выслушать мнение и других германских полководцев. Принц требует созыва военного совета. Людендорф оскорбленно от этого отказывается.

По-видимому, втайне от него канцлер вызывает в Берлин генерала Гофмана, стратегические дарования которого расценивались очень высоко**, и просит его высказаться о положении на западном фронте. По непонятным мне причинам Гофман в своих воспоминаниях ничего не сообщает об этой своей консультации. Вероятно, и она имела пессимистический характер, иначе ответ Вильсону был бы дан другой.

В сущности, после начала переписки с президентом о продолжении войны говорить уже не приходилось: вера немецкого народа в победу была подорвана, во всей стране началось брожение, которое теперь легко могли использовать для восстания спартаковцы (прежде с ними расправились бы за это коротко)***. Невозможность успешной войны отныне все чувствуют ясно, и новое совещание 17 октября имеет, по существу, формальный характер. Людендорф неожиданно меняет тон: он отрицает, что его сообщения правительству «имели характер отчаяния», — напротив, положение на фронте вовсе не так плохо. «Генерал извратил перспективу», — говорит Сольф. Вечером того же дня

* Ополчение (*фр.*).

** Высоко ставит его и генерал Вейган.

*** Вполне возможно, что агитация в Германии велась революционерами и раньше, но большого значения она, конечно, не имела. Не очень беспокоилось о ней и германское правительство, поддерживавшее хорошие отношения с Иоффе (статс-секретарь фон Гинце ходил к нему на приемы с красной гвоздикой в петлице).

в тесном кругу Людендорф заявляет, что намерен перевести армию на новые позиции — «на них я буду держаться сколько угодно».

26 октября Гинденбург и Людендорф получают аудиенцию у императора. Подробности этого свидания до сих пор в точности не выяснены. Людендорф жалуется Вильгельму на слабость нового правительства. Император совершенно основательно отвечает, что верховное командование несет некоторую ответственность за положение. Между Гинденбургом и Людендорфом, по-видимому, происходит бурная сцена. Людендорф подает в отставку. Однако теперь и это уже не имеет большого значения. В тот же день Вильгельм II получил из Гедолло от императора Карла телеграмму, начинающуюся словами: «Дорогой друг, как мне ни тяжело, я обязан сообщить тебе, что мой народ больше не может и не хочет воевать. Я не в состоянии противиться его воле, ибо я сам больше не имею никакой надежды на благополучный исход войны...»*

Через неделю после этого в Киле вспыхивает восстание, начавшее германскую революцию. Его, конечно, можно рассматривать как «удар в спину», но, во всяком случае, это был удар в спину уже убитого человека. Образ, на котором — по крайней мере теоретически — выросло национал-социалистическое движение, представляет собой чистую фантазию.

III.

Адольф Гитлер родился в 1889 году в маленьком австрийском городке Браунау, расположенном у баварской границы и памятном нам всем по «Воине и миру». Отец нынешнего главы расистов был таможенным чиновником. Он умер тогда, когда сыну было 13 лет. Смерть отца, человека либеральных взглядов («гражданин мира», — вспоминает сам Гитлер), изменила всю жизнь Гитлера. С детских лет он хотел стать художником, отец же требовал, чтобы сын продолжал учиться в реальном училище и со временем поступил

* Близкий в то время к Людендорфу полковник Бауер впоследствии говорил, что нужно было предложить союзникам перемирие: немецкий народ, таким образом, увидел бы, что союзники справедливого мира не хотят! (Ralph Haswell Lutz. «The German Revolution».)

на службу. Очень рано Гитлер получил полную свободу — умерла и его мать, оставив семью без средств.

Бросив реальное училище, Гитлер отправился в Вену. Живописи надо было бы учиться очень долго. Поступить в Архитектурную школу было невозможно без аттестата зрелости. Последние деньги разошлись. Гитлер стал маляром и так прожил несколько лет. Если он когда-либо будет причиной мировой катастрофы, то человечество заплатится отчасти за эти годы, проведенные Гитлером на венских постройках.

Свою жизнь Гитлер подробно рассказал в двухтомной книге, озаглавленной «Моя борьба». В ней много «теории», и теория эта столь же скучна, сколь бестолкова. Но автобиографические главы весьма интересны, хотя Гитлер лишен литературного таланта. Это очень неглупый человек, самоуверенный, злой, мстительный и беспредельно честолюбивый. Думаю, что он искренен и бескорыстен. В совокупности эти свойства образуют «фанатика» — понятие весьма неопределенное. Германию Гитлер любит фанатически, хоть в отдельности, должно быть, ненавидит громадное большинство знакомых ему немцев. Не знаю, популярен ли он в своем ближайшем политическом окружении, как был популярен среди большевиков Ленин, ухитрившийся твердо держать в руках партию и вместе с тем оставаться «Ильичем». Гитлер в «Ильичи» мало годится, он по душевному складу гораздо ближе к Троцкому, которому, однако, уступает в дарованиях, за исключением дара организационного. Вполне допускаю, что настоящий «удар в спину» он получит именно от «своих». Так оно было и с Троцким. Я в своих очерках не ставлю себе никаких политических целей и стараюсь соблюдать совершенное беспристрастие. Скажу поэтому, что Гитлер человек выдающийся. Ему одному в современной Германии удалось создать большое движение: как это ни печально, он делает историю.

Не отбыв в Австрии воинской повинности, Гитлер переехал в Мюнхен. Там его застала война. Он записался добровольцем в германскую армию. По закону он, собственно, должен был бы вернуться в Австрию и служить там. Гитлер говорит, что не хотел служить в армии того государства, которое уже тогда казалось ему обреченным. Враги же его утверждают*, что он

* Ernst Ottwalt. Deutschland erwache. Wien-Leipzig. S. 180.

предпочел престиж добровольца в Германии обязательной службе в Австрии, где его рассматривали бы в лучшем случае как «ненадежного кантониста» (такое было официальное выражение). Во всяком случае, этот грех Гитлера очень незначителен. Воевал он мужественно, был ранен, затем отравлен ядовитыми газами. В ту пору, когда он находился на излечении в больнице, пришло известие о конце войны. Гитлер немедленно сделал строго логический вывод: «С евреями никакого соглашения быть не может... Я решил стать политическим деятелем».

Он ненавидит евреев, социалистов и Францию — это три основных предмета ненависти Гитлера. Но есть и еще много других — такой запас злобы можно найти разве только у большевиков. Ненавидит Гитлер и Россию — точнее, он считает русский народ низшей расой, вдобавок обреченной на гибель. Россия, по убеждению вождя национал-социалистов, целиком создана немцами. «Организация русского государственного здания, — пишет он, — не была результатом государственно-политического творчества славянского элемента в России. Она скорее является удивительным примером государственно-творческой работы германского элемента над низшей расой... Низшие народы, имеющие немцев в качестве вождей и организаторов, нередко создавали могущественные государственные образования». Теперь немецкий элемент в России искоренен, а потому Россия должна погибнуть: «конец еврейского владычества в России будет концом и русского государства».

Ненавидит Гитлер и «интеллигенцию». В одной из глав своей книги он говорит о том пренебрежении, с которым относились к нему как к человеку, не получившему высшего образования. Эти страницы дышат неподдельной, жгучей яростью. Здесь, по-видимому, одна из характерных черт гитлеровского движения. Теперь в нем принимает участие очень много всевозможных «докторов философии»; но вначале характер движения был несколько иной. Падеревский как-то назвал большевизм «восстанием людей, не употребляющих зубной щетки, против людей, употребляющих зубную щетку». В том же метафорическом смысле

* Adolf Hitler. Mein Kampf. II. S. 316—318.

можно было бы сказать, что ранняя гитлеровщина была бунтом полуинтеллигентов против интеллигенции.

IV.

В России революцию ждали сто лет — и она пришла все-таки внезапно. В Германии никто революцию всерьез не ждал. Страшный удар так потряс страну, что она, вероятно, от него не оправится и через десятилетия. Если б война, вызвавшая германскую революцию, продолжалась, Германия погибла бы почти наверное. Но у немцев война кончилась в первый же день революции — в этом заключалась огромная разница между русской трагедией и германской.

Военные действия кончились, революционные события начались. В течение десяти дней отреклись от престола двадцать пять германских монархов. Отреклись они по-разному, если не в политическом, то в психологическом отношении. Вильгельм II уехал в Голландию, чего большинство немцев до сих пор ему не прощает (хоть есть очень знаменитые прецеденты). Саксонский король выпустил воззвание к своим подданным, смысл которого можно приблизительно передать следующим образом: «Имею честь кланяться, сделайте, пожалуйста, отныне все, что вам угодно». Приблизительно так же звучало воззвание вюртембергского короля; он только еще добавил, что вывешивать красный флаг у себя не намерен — в своей *частной квартире* может обойтись и без красного флага. Другие германские монархи не проявили тонкого юмора, но их преемники юмора и не оценили бы, они этому дали блестящее доказательство, назвав свое правительство «советом *народных комиссаров*» и учредив заодно «советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов» (батрацких депутатов, к сожалению, не было, может быть, это слово трудно было перевести на немецкий язык?). Таким образом, словесная преемственность установилась: Дантон подражал Гракху, Троцкий — Дантону, Гаазе — Троцкому.

Однако германские социал-демократы скоро снимали революционные мундиры установленного советского образца. Гаазе ушел в отставку; Эберт был умный и достойный человек; Шейдеман работал, как умел, —

«он мог прекрасно говорить о чем угодно и знал на память много революционных песен», — невозмутимо писал о нем в 1920 году английский публицист Джордж Юнг*. Собственно, спас тогда Германию тайный союз Эберта с генералом Гренером. При помощи других людей, частью кадровых офицеров, частью социал-демократов, они сделали главное: уберегли свою родину от большевизма.

Наряду с этим большим делом в объятый пожаром стране творились удивительные небольшие дела — клад для психолога и для романиста. Маленькие революции сменялись маленькими контрреволюциями. Для борьбы с «советами» и «народными комиссарами» создавались организации, очень похожие одна на другую. Они и названия себе придумывали обычно по одному образцу: «Оргэш» (организация лесного советника Эшериха), «Орцентц» (организация коммерции советника Центца), «Оргейс», «Орка» и т.д. Было здесь немало смешного, но далеко не все было смешно.

Появились загадочные люди — чего стоит один только капитан Эрхардт, он же «Консул», он же «Шеф», он же глава «Викингов», он же душа «Стальной каски». Все контрреволюционные дела последних тринадцати лет, от Капповского переворота** до громких террористических актов, так или иначе ведут к таинственной и страшной фигуре этого морского офицера. «Наемный убийца!» — говорят его враги. Не вижу оснований так расточать бездоказательное обвинение в продажности и в отсутствии убеждений. Чего другого, а уж «идеализма» в послереволюционной Германии было во всех лагерях достаточно — если б его было несколько меньше! Курт Эйсер, установивший в полупфеодальной Баварии полусоветское правительство с полубольшевистской программой и с полумной тактикой, был идеалист. Но убивший его граф Арко был также идеалист. Они даже и вышли из одного источника — из романов Шпильгагена.

Гитлер не играл сколько-нибудь заметной роли в шумных романтических событиях первых двух лет германской революции. Достаточно сказать, что Ральф Лютц, написавший в 1922 году весьма обстоятельную ее историю, ни разу о нем в своей книге не упоминает.

* George Young. The New Germany, p. 31.

** Капповский путч 1920 г. — попытка контрреволюционного переворота в Германии во главе с В. Каппом, Э. Людендорфом и др. — *Прим ред.*

Решив стать политическим деятелем, Гитлер поселился в Мюнхене и стал присматриваться к делам.

Как-то раз он попал на митинг, устроенный под новой, еще никому не известной фирмой: немецкая рабочая партия — новые политические фирмы тогда, разумеется, росли как грибы. Гитлер принял участие в прениях, его фамилию и адрес записали. Через несколько дней он получил извещение, что он зачислен в немецкую рабочую партию, с просьбой пожаловать на организационное собрание в меблированные комнаты «Das Alte Rosenbad». Гитлер, несколько озадаченный, пожаловал. На организационном собрании оказалось четыре человека, тоже никому не известные. Был доложен и утвержден протокол предыдущего заседания — организационное собрание постановило выразить благодарность секретарю. Затем был сделан доклад о состоянии кассы, с балансом в семь марок пятьдесят пфеннигов — организационное собрание постановило выразить благодарность казначею. Далее начались программные прения: программы в отличие от протокола и баланса еще не было. Но программу легко было выработать.

Гитлер несколько колебался. Собственно, он хотел основать свою группу и даже придумал для нее название: в отличие от социал-демократической партии группа Гитлера должна была называться партией социал-революционеров — все в мире повторяется под разными широтами и долготами; каким-то неведомым таинственным законам, очевидно, подчиняется и творческая фантазия людей, выдумывающих партийные фирмы. Но теперь перед Гитлером встал новый вопрос: стоит ли основывать партию социалистов-революционеров, если уже есть немецкая рабочая партия? Он поколебался и окончательно примкнул к немецкой рабочей партии, получив партийный билет за номером седьмым. Так в меблированных комнатах «Das Alte Rosenbad» произошло большое историческое событие. Было бы очень хорошо, если б эти слова звучали иронически, да какая же ирония: за Гитлером теперь идут миллионы людей, и не сегодня-завтра он, чего доброго, подожжет мир. Это делали и менее могущественные люди: ведь поджег его однажды восемнадцатилетний гимназист Принцип.

Несколько позднее новая партия удлинила свое название: она стала именоваться национал-социали-

стической немецкой рабочей партией. Понемногу пришли идеи, появилась программа, выработалась тактика. Но обо всем этом говорить не стоит. Верно сказал о гитлеровцах Д. С. Мережковский: обсуждать их идеи все равно что обсуждать идеи саранчи, новое и важное у них — это та *температура*, которую они создали.

Здесь действительно перед нами удивительное явление. Если бы национал-социалистическая партия была партией монархической, то поддержка, оказываемая ей принцем Августом Вильгельмом Прусским, герцогом Людвигом Баварским, принцем Христианом Шаумбург-Липпе, князем Гвидо Генкель-Доннерсмарком, была бы вполне естественна. Мы тогда легко бы могли понять и то, что национал-социалистам в разное время помогали стальной король Кирдорф, электрический король Сименс, паровозный король Борзиг, фортепианная королева Бехштейн*. Эти люди — и с ними миллионы других — имеют все основания желать возвращения старого строя. Но Гитлер о восстановлении монархии не думает и никогда не думал. Приход его к власти — бешеный скачок над пропастью. А что по другую сторону пропасти — этого не знает никто. Не знает, вероятно, и сам Гитлер.

Конечно, перед лицом очень большой опасности люди идут и на самые рискованные дела. Если бы над Германией нависла угроза коммунистической революции, поддержка, оказываемая Гитлеру миллионами немцев, была бы опять-таки вполне понятна. Однако едва ли кто решится утверждать, что Гинденбург и Брюнинг, Штреземан и Маркс или даже Мюллер и Гильфердинг своим пребыванием у власти так грозили экономическому строю и общественному порядку Германии.

«Людьми руководят интересы», — пронизательные социологи давно это установили, некоторые с легкой радостью по поводу такого открытия, другие — с сердечным сокрушением. Нашему поколению, быть может, придется переменить прописи, не будем только называть это переоценкой ценностей. На наших глазах капиталистический мир оказывает, например, усердную поддержку большевикам. Дело, разумеется, не в том, что какой-нибудь отдельный капиталист урвет из Москвы миллион на выгодной комбинации. Это тоже

* Richard Lewinsohn. L'argent dans la politique, Paris, 1931, p. 138.

было бы понятно; «что до капиталистического мира, там будет видно — он из-за моего миллиона не погибнет, а у меня пока что миллион останется». Можно было бы показать, что, независимо от всевозможных плутов и от «одиноких акул», капиталистический мир оказывает помощь большевикам, так сказать, в порядке общественном и бескорыстном (уж чего бескорыстнее!). Отношения между Европой и Советской Россией — трагикомедия коварства и любви. И то, что большевистские газеты мрачно называют «буржуазным макиавеллизмом», еще ждет своего разоблачителя — однако с другой стороны. Я не очень верю в близкий конец капиталистического мира. Главное его достоинство не в том, что он очень хорош, а в том, что уж очень плохи его наследники. Но и независимо от этого поистине должна быть какая-то внутренняя сила в капиталистическом мире, если его еще не погубила граничащая с чудесным глупость нынешних его руководителей.

V.

Гитлер, конечно, мог бы сделать превосходную карьеру и у социал-демократов — хорошие митинговые ораторы ценятся везде, а в особенности у партий, обращающихся к народным массам. Нормальная социал-демократическая карьера при ускоренном чиновничьем производстве революционного времени принесла бы ему с годами и министерский портфель — не богам же обжигать горшки, вдобавок горшки столь дешевые. Однако власти министерский портфель в современной Европе не дает — какая уж там власть у нынешнего министра? Газету закрыть нельзя, посадить в тюрьму противника нельзя, издать закон нельзя, нарушить закон нельзя, ничего нельзя.

Одна из причин катастрофического характера нашей демократической эпохи именно в том, что очень властолюбивым людям теперь нечего делать. Власть в республиках слишком расплылась, а война из постоянного бытового явления стала сравнительно короткой трагической интермедией. Чем заниматься в парламентской Европе Ленину, Людендорфу, Сталину, Гитлеру? Брынские леса вырублены и в прямом и в

символическом смысле — правда, на наших глазах вырастают понемногу новые. Восторженные биографы (их в случае успеха окажется очень много) представляют жизнь Гитлера как великое логическое следствие великой политической идеи — любое общее место становится в таких случаях гениальным. А эта великая идея в действительности довольно случайная «надстройка» над весьма прочным «базисом» хищнической натуры.

Какая же идея? Самое лучшее ее выражение «народ не созрел для свободы». «Да народ никогда не бывает зрел», — говорит у Гёте Эгмунту герцог Альба, хищник того времени, когда для хищников не было безработицы в мире. По-своему он прав, и статистикой грамотности его опровергнуть трудно. Культурный прогресс сводится к уменьшению разницы в умственном росте между «толпой» и «элитой». Но это уменьшение может быть достигнуто повышением уровня толпы и понижением уровня «элиты». К сожалению, человечество в последнее время идет по второму пути много охотнее, чем по первому. Все учение Гитлера — ложь, не выдерживающая и снисходительной критики. Но сам он — живая правда о нынешнем мире, не прячущийся и страшный символ ненависти, переполнившей Европу наших дней. Очень характерно то, что этот человек — сын либерала, считавшего себя «гражданином мира».

VI.

Первое действие вождя расистов, привлекшее к нему в 1923 году не слишком благосклонное внимание всей Европы, было попыткой установления диктатуры, разумеется собственной: политическая ценность чужой диктатуры всегда сравнительно невелика. Эту попытку в Германии с чрезмерной игривостью назвали «революцией в пивном погребе». Было это в пятую годовщину германской революции, в ночь на 9 ноября 1923 года. В этот вечер баварский генеральный комиссар фон Кар устроил политическое собрание в большом зале пивоваренной фирмы «Burgerbrau». Роль фон Кара в мюнхенском деле так и осталась неясной. Он очень не любил берлинское правительство, да и Берлин вообще. Однако к государственному переворо-

ту не стремился, хотя, вероятно, и не прочь был бы воспользоваться государственным переворотом, удачно устроенным другими. Есть такие стихи Делавиня:

Les révolutions sont une grande affaire:

Courageux qui les fait, sage qui les fait faire*.

Настоящего сговора между фон Каром и Гитлером, по-видимому, не было: велись только неопределенные, ни к чему почти не обязывающие переговоры.

Во время речи генерального комиссара у входа вдруг послышался шум, повышенные голоса, потом крики. На пороге зала появился Гитлер с револьвером в руке, за ним десятки вооруженных людей. В огромном зале, где находился цвет мюнхенского общества во главе с министром-президентом Книллингом, началось смятение. Мгновенно распространился слух (оказавшийся верным), что здание оцеплено гитлеровцами.

В сопровождении своей охраны Гитлер прошел к председательской трибуне, взобрался на стол и два раза выстрелил в воздух «для того, чтобы установить тишину»: револьвер заменял ему председательский колокольчик. Когда тишина установилась, Гитлер довел до всеобщего сведения, что зал окружен, что выход никому не разрешается и что началась национальная революция; баварское правительство увольняется, имперское правительство увольняется и т.д. Находившиеся в зале члены баварского правительства, фон Книлинг и фон Швейер, были тут же арестованы.

Вслед за этим глава национал-социалистов предложил фон Кару, командующему войсками генералу фон Лоссову и главе полиции полковнику Зейссеру выйти с ним в соседнюю комнату. Там началось политическое совещание. Гитлер от имени восставших предложил фон Кару должность баварского наместника, фон Лоссову портфель военного министра, Зейссеру портфель министра полиции. Сам он объявил себя главой имперского правительства с полномочиями диктатора всей Германии.

Баварские сановники тотчас согласились. Фон Кар потом показывал на суде, что принял предложение под угрозой револьвера; кроме того, принимая предложение, он подмигнул Лоссову и Зейссеру. Не знаю, уда-

* Революции — это великие предприятия: отважны те, кто их осуществляют, мудры те, кто их делает чужими руками (*фр.*).

лось ли суду установить, подмигнул ли действительно фон Кар.

На должность командующего войсками было назначено новое лицо, и вдобавок чрезвычайно важное: не кто иной, как Людендорф. Его участие придавало иной характер всему этому делу: Гитлер в ту пору еще был никто — предмет насмешек всех юмористических журналов Германии. Но Людендорф был мировой знаменитостью (английский военный писатель капитан Лиддель-Гарт в нашумевшей книге^{*} назвал его самой крупной фигурой мировой войны). Генерал не присутствовал на заседании. За ним тотчас послали. Он вскоре прибыл в «Burgerbrau» и заявил, что принимает назначение.

Получив согласие Кара, Лоссова и Зейссера вступить в правительство, Гитлер предложил им совместно обсудить меры борьбы с «берлинской конюшней». Фон Кар вяло ответил, что очень поздно, что он устал и хочет спать: «все меры обсудим завтра утром». Гитлер, очень довольный ходом переворота, тотчас с этим согласился. Сам он остался в «Burgerbrau», объявленном главной квартирой революции. Фон Кар, фон Лоссов и Зейссер разъехались — однако не по домам.

Что произошло вслед за заседанием, нам в точности неизвестно. По-видимому, глава династии Виттельсбахов, находившийся в своем дворце в Берхтесгадене, высказался по телефону против всего этого дела: многие германские монархи терпеть не могут Гитлера (кажется, очень его не любит и сам Вильгельм II). Говорили также^{**}, что решительно высказался против дела и кардинал Фаульгабер, выражавший мнение Ватикана. Вскоре после того пришли известия из «берлинской конюшни». Имперское правительство собралось в 12 часов ночи и постановило принять решительные меры: главнокомандующий рейхсвера генерал фон Зект, которому 12 ноября президент Эберт передал всю полноту власти, предложил двинуть свои войска на Мюнхен. В 2 часа 50 минут ночи фон Кар по радиотелеграфу объявил Гитлера мятежником. В сообщении генерального комиссара говорилось об «обмане честолюбивых молодчиков» («Trug und Wortbruch ehrgeiziger Gesellen»). «Заявления, вырванные у меня, у

^{*} B. N. Liddel Hart. *Reputations*, p. 201.

^{**} «Le Temps», 11 ноября 1923 г.

генерала фон Лоссова и полковника Зейссера под угрозой пистолета, лишены всякого значения», — телеграфировал генеральный комиссар*.

Баварские войска и мюнхенская полиция остались верны властям. «Честолюбивый молодчик» Гитлер вызвал на помощь свои «штурмовые колонны». Одна штурмовая колонна действительно пришла из Регенсбурга под начальством аптекаря Штрассера. Генерал Людендорф, командовавший в свое время не такой армией, согласился встать во главе штурмовой колонны Гитлера — многие германские офицеры, участники мировой войны, до сих пор не прощают знаменитому генералу его военного содружества с бывшим маляром и с бывшим аптекарем.

Противником Людендорфа на этот раз вместо Фосша и Алексева оказался мюнхенский полицейский офицер. Штурмовые колонны двинулись в центр города. У большой казармы преградивший им дорогу отряд полиции дал залп. Убитые и раненые повалились на землю. Враг Гитлера Эрнст Оттвальт рассказывает даже (вероятно, сгущая краски), что на землю повалилась вся штурмовая колонна вместе с Гитлером: на ногах будто бы осталась одна Людендорф — «вокруг него был только воздух»**. Оттвальт также сообщает, что в своей речи Гитлер сказал: «Либо завтра в Германии будет национальное правительство, либо завтра мы умрем!» Конечно, Гитлер не умер, но, быть может, и не стоит попрекать человека фразой, которая в революционное время на митингах испокон веков так же употребительна и имеет такое же значение, как в письмах — «преданный вам» или «с совершенным почтением».

Людендорф был арестован тут же, Гитлеру удалось скрыться; его арестовали через три дня в Штаффельзее. В феврале 1924 года состоялся суд над виновниками восстания. Гитлер доказывал, что и фон Кар, и фон Лоссов были всегда душой с ним. Генерал фон Лоссов в своем показании суду сообщил, что Гитлер действительно часто говорил с ним о событиях, но он, фон Лоссов, больше молчал. «Вначале всем известное увлекательное красноречие г. Гитлера произвело на меня сильное впечатление. Однако чем чаще я его слушал,

* Wilhelm Külz. Zehn Jahre deutsche Geschichte, Berlin, 1928, S. 66.

** Ernst Ottwalt. Deutschland erwache. S. 210.

тем это впечатление становилось слабее...» Генерал весьма ясно дал понять, что под конец Гитлер «стал действовать ему на нервы».

Суд приговорил Гитлера к пяти годам крепости. Людендорф был оправдан — баварские судьи проявили большую юридическую изобретательность в мотивировке оправдательного приговора. В действительности, конечно, им было просто неприятно отправить в крепость человека, который в течение четырех лет был вместе с Гинденбургом идиолом германского народа. Это понять можно. Очень скоро был выпущен на свободу и Гитлер — сам он, вероятно, находясь у власти, расправился бы иначе с политическими врагами, поднявшими вооруженное восстание.

VII.

Дело не удалось, но оно могло кончиться иначе. Момент был выбран удачно. Почти одновременно с мюнхенским делом германское правительство опубликовало свой бюджет на 31 октября*. Государственные расходы по этому бюджету составляли 6 квинтиллионов 533 квадриллиона 521 триллион марок (биллионы не считались, как теперь не считаются пфенниги). Доход же выражался очень скромной цифрой: 53 квадриллиона 871 триллион. Теперь все это кажется глупым анекдотом. Но мы это видели и помнили. От квинтиллионов и квадриллионов немцы тогда легко могли полезть на стену, могли короновать Гитлера, могли объявить войну Франции, не имея ни аэропланов, ни тяжелой артиллерии.

Престиж главы расистов очень пострадал от неудачи мюнхенского дела. Капитан Эрхардт прочел в Мюнхенском университете лекцию, в которой говорил о заговорщической неумелости Гитлера, — Эрхардту в этом вопросе, конечно, и книги в руки (самая возможность такой лекции, кстати сказать, довольно характерна, вот как если бы у нас в 1906 году Московский университет пригласил Савинкова прочитать лекцию о причинах неудачи восстания на Пресне). Потом все понемногу успокоилось. Хладнокровие Штреземана

* «Le Temps», 15 ноября 1923 г.

(которого тогда громила за бездействие социалистическая печать) дало Германии возможность избежать междоусобной войны. Исчезли квадриллионы и квинтиллионы, расистское движение стало спадать. Конечно, сам Гитлер, сидя в крепости, не предвидел, какой расцвет принесет его разбитой партии мировой кризис.

Рост ее в пору кризиса известен: всем памятни блестящие успехи расистов на выборах. Надо отдать должное организационному дару Гитлера. Агитация, которую он вел в последние годы, не имеет, я думаю, прецедентов в истории: перед ней меркнет и большевистская агитация 1917 года. Скажу только, что в 1931 году расистская партия устроила в Германии 175 тысяч митингов; это составляет в среднем 485 митингов в день!* Своим ораторам партия платит, и платит очень недурно. Оплачивает она и оркестры, и «штурмовые бригады», издает десятки газет, огромное количество литературы, устраивает смотры с переброской сотен тысяч людей по железной дороге. Расходный бюджет Гитлера определяется разное — от 200 до 500 миллионов франков в год!

«Chi paga?»

Этим вопросом «Кто платит?» в 1915 году итальянские социалисты неизменно встречали Муссолини и его сторонников, стоявших за вступление Италии в войну. Вопрос итальянских социалистов означал, что, по их мнению, платит Муссолини Франция, в тесной дружбе с которой его тогда обвиняли нынешние антифашистские гости Парижа.

Политическая агитация требует денег; совершенно безукоризненными способами достать для нее деньги трудно. Если государственный деятель не кладет их себе в карман, то больше от него в Европе обычно и не требуют. Наиболее чистой в этом отношении была политическая жизнь в России. Случаи подкупа большой газеты или известного политического деятеля у нас были исключительно редки. Теперь первое место занимает в мире Англия. Конечно, никому не могло бы прийти в голову предложить взятку Асквиту, Кэмпбелю-Баннерману, Бальфуру или Болдвину. Но партии, к которым принадлежат названные лица, в значительной мере живут средствами, приближающимися по характеру к понятию взятки. Один Ллойд Джордж за

* «Berliner Tageblatt», 30. Dezember 1931.

деньги пожаловал титул лорда 28 человекам, титул баронета — 134, титул «найта» — 421. Это дало ему возможность составить для партии фонд в два с половиной миллиона фунтов. Ллойд Джордж никогда из своих методов секрета не делал и неизменно в ответ на упреки говорил, что без «партийных наград» не будет и партий, а без партий в Англии наступит хаос. Когда лорд Розбери печатно попросил первого министра указать происхождение его денежного фонда, Ллойд Джордж любезно ответил, что с удовольствием это сделает, как только лорд Розбери сообщит, где он сам достал средства на свою избирательную кампанию 1895 года.

Адольф Гитлер не взяточник и не корыстолюбец, в свой карман он денег не кладет. Напротив, он отдает в партийную кассу те огромные суммы, которые приносят ему его выступления на митингах: гонорары Гитлера превышают шалыпинские; он не выступает, если организаторы платного митинга не гарантируют сбора в пятнадцать тысяч марок. О сотрудниках его ходят легенды — один из них будто бы приобрел в собственность кабинет убитого Ратенау!* (Это весьма интересно и в чисто психологическом отношении.) Сам Гитлер живет просто и к богатству не стремится. Вопрос о происхождении его средств имеет не моральное, а политическое значение.

В Германии, да и в других странах, очень многие думают, что Гитлера снабжают деньгами иностранные державы. Если это верно, то какие? Выбор делался между двумя державами. Морис Лапорт напечатал документы, якобы свидетельствующие о том, что деньги расистам дают большевики**. Он приложил даже к своей книге факсимиле с протокола таинственного заседания, будто бы происходившего в заговорщической обстановке на вилле «Рейтер» в Гармиш-Партенкирхене. В заседании приняли участие представители Гитлера и Сталина, среди последних известный Гольденштейн. Протокол составлен большевиками, на русском языке, с разными таинственными значками вроде: «Ино, по сектору А—Г. Дл. 4». Принятое на заседании решение передается так: «По программе немцев (Ад.), им необходимо 1.800.000 марок в месяц. Поторговав-

* R. Lewinsohn. L'argent dans la politique, p. 137.

** Maurice Laporte. Sous le casque d'acier, Paris, 1931, pp. 314—322.

шись, сошлись на 1.200.000 марок, согласно нашей инструкции. Запротоколировано — 5 милл. единовременно, до 16 августа и с 16 сентября по 1.200 в месяц... Формула должна быть подписана впоследствии «Дядей» с нашей стороны и Адольфом с нем. стороны». Приложена также позднейшая немецкая расписка самого «Адольфа»: «200 штук (двести) получил Зальцбург, 19 июня 1930, Адольф». Кто такой «дядя», я не знаю. «Двести штук», по словам Лапорта, это двести тысяч долларов, «Адольф» же, конечно, Гитлер (он мог бы выбрать и менее прозрачный псевдоним). Расписка как расписка, факсимиле как факсимиле, значки как значки, но большого доверия эти документы мне не внушают: их подделать было много проще, чем их составить.

*Is fecit cui prodest**. Нельзя, конечно, отрицать, что при благоприятно сложившихся обстоятельствах приход Гитлера к власти может быть выгоден большевикам: вдруг он, им на радость, в самом деле объявит войну Франции! Однако обстоятельства могут сложиться и неблагоприятно. До объявления войны Франции (или вместо него) Гитлер, по всей вероятности, расправится с немецкими коммунистами. Таинственные пути Коминтерна, но трудно поверить, что он сознательно готов принести в жертву всю германскую коммунистическую партию. Весьма маловероятно и согласие Гитлера на денежную поддержку большевиков.

Высказывалось в печати и другое предположение: деньги дает Италия. Тут насчет «*prodest*» и сомнений быть не может. У Франции в настоящее время, в сущности, нет военных союзников, ибо каждое союзное с ней государство приблизительно уравновешивается потенциальным противником этого государства: Польша — Советской Россией, Чехословакия — Венгрией и Австрией, Югославия — Болгарией. Нам незачем думать о перспективах столкновения Франции с германо-итальянским блоком. Как бы то ни было, доказательств того, что Италия оказывает денежную поддержку расистам, насколько мне известно, никто не привел. По словам Гирта**, в Нюрнберге какая-то газета была приговорена судом к штрафу в пятьсот

* Тот сделал, кому это выгодно (*лат.*)

** F. Hirth. Hitler, p. 148.

марок за сообщение о том, что Муссолини дает деньги Гитлеру; однако в мотивировке приговора было сказано, что редактору вменяется в вину это сообщение лишь постольку, поскольку оно касается лично Гитлера: если бы газета написала, что Муссолини дает деньги расистам, то редактор был бы оправдан. К сожалению, этот судебный процесс мне известен лишь по упоминанию у Гирта, и я не знаю, на каких фактах основана мотивировка приговора.

VIII.

Недавно Вернер Стефан путем сложных вычислений доказывал, что Гитлер, в лучшем для него случае, может рассчитывать лишь на 35 процентов всех избирателей Германии. Не знаю, верен ли этот расчет. Если он верен, национал-социалисты не могут прийти к власти законным способом. Разумеется, вполне возможна такая коалиционная комбинация, при которой человек, имеющий за собой 35 процентов голосов рейхстага, получит министерскую должность. Но зачем Гитлеру быть министром коалиционного правительства? К такой власти, повторяю, он мог бы прийти и более простым путем. Ведь он в самом деле «поднял Ахерон» — по любимой цитате политиков, получивших классическое образование. Никак не стоило поднимать Ахерон для того, чтобы уподобиться весьма многочисленному и весьма обыкновенным министрам, Ахерона не поднимавшим. Разные дороги ведут в фашистский Рим, но, очевидно, диктатура Гитлеру необходима. Карьера парламентского министра превратила бы его жизнь в малоинтересный анекдот.

Освальд Шпенглер, Боссюз германской философии, сказал в свое время, что Карл Маркс умер. В блестящих страницах, посвященных идейной смерти Маркса, Шпенглер очень талантливо говорил о том, что сила марксизма была в его поверхностной общедоступности: именно благодаря ей рабочие всех стран мира говорят на языке Маркса и думают его понятиями. Мне кажется, Шпенглер говорил об этом не без зависти: ему и самому хотелось бы, чтобы десятки миллионов людей говорили на языке Шпенглера. «Мы,

поздние люди Запада, мы стали скептиками. Над идеологическими системами мы не станем ломать головы. Программы принадлежат прошлому веку. Нам нужна твердость, нам нужен мужественный скепсис, нам нужен класс социалистических натур властелина... Социализм означает силу, силу и силу»^{*}.

Я думаю, что Шпенглер до некоторой степени своей цели достиг. Над идеологической системой расизма никто, слава богу, не станет ломать головы, и миллионы поклонников Гитлера всего менее в этом повинны. В его лице, пожалуй, явилась eine sozialistische Herrennatur^{**}. Он говорит на языке Шпенглера, я не уверен, однако, что все в речах Гитлера так уж нравится блестящему автору «Untergang des Abendlandes»^{***}.

Какой социализм будет осуществлять Гитлер, если достигнет настоящей власти, я сказать не берусь. Думаю, что никакого социализма осуществлять не будет: вычеркнуть несколько страниц из дешевой брошюры не так уж трудно — хватит и оставшихся. Но эти оставшиеся страницы могут поставить его в очень трудное положение. Муссолини пришел к власти в стране, не потерпевшей военного разгрома: у Италии нет польского коридора. Ведь и по политическим векселям надо заплатить хоть копейку за рубль. А Гитлер не может заплатить и копейки. История предоставила расизму выбор между анекдотом — и кровью.

Я знаю, теперь в Германии хитрые люди говорят с глубокомысленным видом: «Надо дать Гитлеру побыть у власти. Тогда немецкий народ наконец увидит...» и т.д. Хитрые люди говорили у нас в 1917 году то же самое о большевиках: «Пусть наконец русский народ увидит...» Конечно, это говорили десять лет тому назад и левые итальянцы о фашистах. Два раза еще можно было сделать одну и ту же глупость — в третий раз она рискует стать скучноватой. От 35 процентов до 51 процента расстояние не так далеко — особенно если выборами будут руководить мастера выборного дела.

Гёте сравнивал историю человечества с фугой, в которой разным народам последовательно принадле-

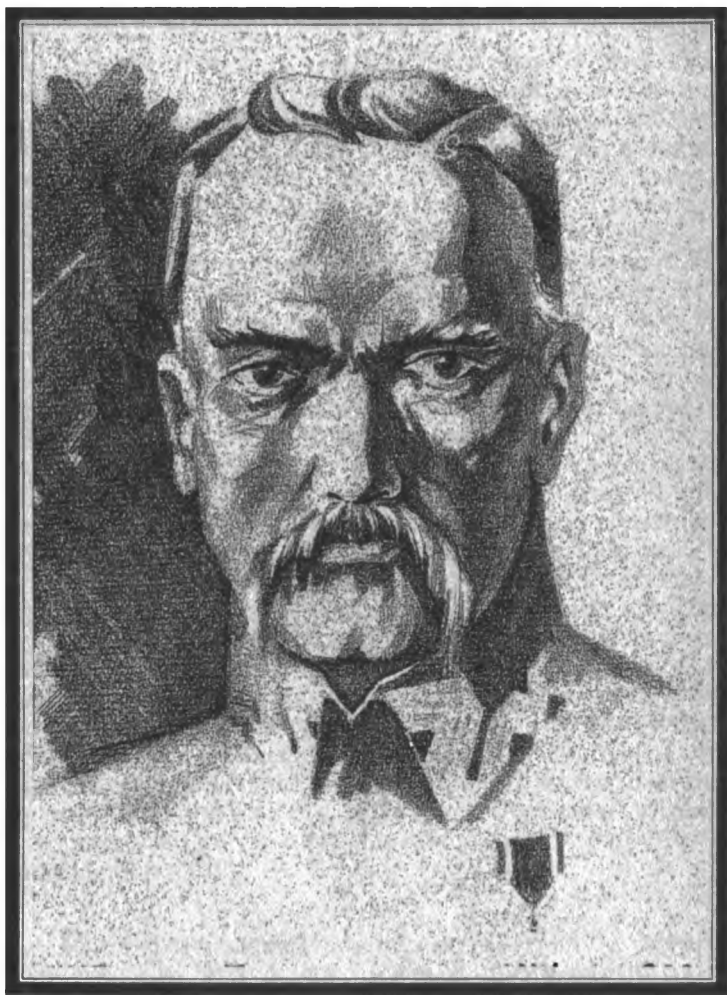
* Oswald Spengler. Preußentum und Sozialismus. München, 1921. S. 4, 98.

** Социалистическая натура властелина (нем.).

*** «Закат Европы» (нем.).

жит «ведущий голос». Ведущий голос может и фальшивить: на целых периодах в жизни того или другого народа человечество, бывает, учится: вот как не надо делать историю! В настоящее время «мы, поздние люди Запада», должны с особым вниманием присматриваться к немецкой политике. Веймарская конституция установила в Германии «самую совершенную демократию в мире». Теперь возникает вопрос, даст ли самая совершенная демократия себя съесть — хотя бы и самым совершенным демократическим способом.

Юзеф Пилсудский



Пилсудский

I.

В статье этой для людей, знакомых с польскими делами, не будет почти ничего нового. В ней рассказывается жизнь знаменитого государственного деятеля Польши. Если бы это было возможно, я воздержался бы вообще от каких бы то ни было оценок. Жизнь Пилсудского достаточно богата фактами, а факты, как всем известно, «говорят за себя сами».

Читатель знает или увидит, что у нас нет оснований относиться с особой симпатией к польскому маршалу. Но как бы мы к нему ни относились, в истории Польши Пилсудский связал свое имя с событиями огромного, исключительного значения. Для того чтобы найти в ней людей, которые в этом смысле могли бы быть поставлены вровень с ним, надо обратиться даже не к Понятовскому или Костюшко, а к Баторию, к Собескому, к счастливейшим из Ягеллонов. Это необыкновенный человек. Необыкновенны и его энергия, и его дарования, и в особенности его судьба.

Говорю: в особенности судьба. Пилсудский — *profiteur de la guerre*^{*}, разумеется, отнюдь не в грубом и не в вульгарном, а в историческом смысле этого выражения (в таком же, в каком оно может быть отнесено, например, к Людендорфу или к самому Наполеону). Судьба очень легко могла уготовить создателю «боювки» виселицу. Война принесла ему славу, власть, маршальский жезл. Самое же удивительное в участи Пилсудского то, что всего этого он добился, «поставив не на ту лошадь»: случай в истории едва ли не единственный.

Юзеф Пилсудский родился в 1867 году в Жулеве. Он принадлежит к литовскому дворянскому роду. Крепкая, дружная семья Пилсудских была проникнута

* Человек, получивший выгоду от войны (*фр.*).

старинными польскими традициями. Пилсудские были богаты: их имение заключало в себе больше восьми тысяч десятин. Но неудачные агрономические затеи отца, затем случившийся в 1874 году пожар очень уменьшили достаток семьи. Она переехала из имения в Вильно. В виленской гимназии и получил воспитание будущий польский диктатор.

Сам Пилсудский говорил, что основное направление его жизни и деятельности дала эта гимназия. Именно из нее он вынес свою ненависть к России. «Во все мое гимназическое время я страдал непрерывно. Много позднее ночные мои кошмары облекались в образ русского учителя»... «Я ненавидел врага и стыдился своего бессилия. Мне так хотелось вредить России»...

Слова эти, в своей чрезмерности, звучат непонятно, даже несколько дико. В субъективной искренности Пилсудского сомневаться трудно. Виленская гимназия, породившая такие чувства в душе своего воспитанника, конечно, выдала сама себе аттестат. Но вполне ли соответствовали эти переживания подлинным фактам — другой вопрос. Официозные биографы Пилсудского уделяют целые страницы описанию преследований, которым подвергались в этой гимназии ученики-поляки. Некоторые из биографов, во всяком случае, сгущают краски. Как бы то ни было, из гимназии Пилсудский вышел революционером. Он поступил на медицинский факультет Харьковского университета, скоро был исключен за участие в беспорядках и вернулся в Вильно.

Социалистом Пилсудский стал в 1884 году. В семнадцать лет всякие недоразумения допустимы, но это недоразумение несколько затянулось: не более и не менее как на тридцать четыре года. Точную хронологию дает здесь возможность установить одна забавная сценка, которую описывает в своей книге «Восстановленная Польша» Казимир Смогоржевский¹⁷. В ноябре 1918 года к Пилсудскому явилась делегация польской социалистической партии и, естественно, назвала его «товарищем Пилсудским». Маршал, бывший, очевид-

¹⁷ Так, Сигизмунд Клигсланд сообщает, что за изучение польской литературы и истории, а особенно за проступки политического характера воспитанников жестоко секли (E. Klingsland Pilsudski, p. 20). Телесные наказания были, однако, отменены в русских средне-учебных заведениях за несколько лет до рождения Пилсудского.

¹⁸ Casimir Smogorzewski. La Pologne restaurée, p. 324.

но, в хорошем настроении духа, любезно остановил делегатов.

— Господа, я вам не «товарищ», — сказал он. — Мы когда-то вместе сели в красный трамвай. Но я из него вышел на остановке «Независимость Польши», вы же едете до конца к станции «Социализм». Желаю вам счастливого пути, однако называйте меня, пожалуйста, «паном».

Это заявление Пилсудского, впрочем, не мешает многим социалистам (не только польским) по сей день считать и даже называть за глаза Пилсудского товарищем. По словам г. Смогоржевского*, Пилсудский гордится тем, что никогда в жизни в глаза не видал «Капитала». Сколь отрицательно ни расценивать историческую роль Карла Маркса, трудно поставить это обстоятельство в особенную заслугу Пилсудскому, тем более что он ее разделяет с очень большим числом других людей, среди которых немало убежденных марксистов. Кроме того, у другого исследователя** мы находим указание на то, что Пилсудский прочел «Капитал». Во всяком случае, читал ли Маркса Пилсудский или не читал, марксистское (и вообще социалистическое) начало лишь в самой ничтожной степени сказалось в его взглядах. Он был неизмеримо ближе к пану Володыевскому и Конраду Валленроду, чем к Бебелю или Плеханову.

В это время одна из последних добровольческих организаций послала в Вильно делегатов с предложением кружку польской молодежи принять участие в покушении на жизнь императора Александра III. Кружок виленских революционеров (старшему было, вероятно, лет двадцать) обсуждал это предложение, но колебался, какой дать делегатам ответ. Пилсудский высказался решительно против участия в предлагаемом деле, находя, что поляки вообще не заинтересованы в перемене русского государственного строя.

«Еще неизвестно, что нам дала бы эта перемена», — сказал он. Кружок продолжал колебаться. Впрочем, долго колебаться ему не пришлось: о деле стало известно департаменту полиции. Департамент поступил со свойственным ему эклектизмом: каре бы-

* Там же, стр. 324.

** J. de Carency. Jozeph Pilsudski, p. 32.

ли подвергнуты и сторонники и противники террористического проекта; Пилсудский был в административном порядке сослан в Сибирь, на Лену.

В ссылке он пробыл пять лет. С русским обществом он там не сблизился. Его близкий друг, известный польский (отчасти и русский) писатель Вацлав Серошевский, рассказывает, что в Сибири нынешний диктатор «узнал всяких русских, от бродяг до министров». Сам Пилсудский впоследствии говорил: «Все они (русские) более или менее скрытые империалисты. Среди них много анархистов, но, странная вещь, республиканцев между ними я совершенно не встречал». Это действительно странно. С какими русскими министрами можно было познакомиться в ссылке на Лене? И неужели все русские ссыльные и ссыльно-каторжные были монархисты и империалисты?

II.

Отбыв ссылку, Пилсудский вернулся на родину. Почти в то же время создавалась польская социалистическая партия (P.P.S.). Он сразу стал одним из ее вождей. Ему и молодой его жене, такой же революционерке, как он, было поручено создать нелегальный орган печати: «Работник». Этот революционный журнал Пилсудский «издавал» в течение нескольких лет. «Работник» по размеру уступал «Times» или «Chicago Tribune»: Пилсудский его издавал, он же его редактировал, он же писал статьи, он же их набирал, он же печатал и распространял журнал. Типография помещалась в стенном шкафу, а бумага хранилась в диване. «Работник» постоянно переносился из города в город, вместе с ним переезжали и издательство, и редакция. Тридцать пять номеров было выпущено благополучно, но на тридцать шестом, в Лодзи, журнал постигла неудача. Полиция выследила редактора и нагрянула в типографию как раз в ту самую минуту, когда там набиралась статья «Торжество свободного слова». Быть может, именно это обстоятельство привело в веселое настроение производившего обыск жандармского полковника Гноинского. На радостях он тут же рассказал Пилсудскому анекдот. В царствование Николая Павловича к главе Третьего отделения явился

уезжавший за границу приятель и спросил, не будет ли какого поручения. «Есть, есть поручение, — ответил будто бы глава полиции. — В Нюрнберге стоит памятник Гутенбергу, изобретателю книгопечатания... Когда будете в этом городе, пожалуйста, плюньте от моего имени в лицо Гутенбергу: все зло на свете пошло от него». «Вот, теперь вы видите сами, — сказал веселый полковник, показывая на изъятую из шкапа «типографию», — все зло от Гутенберга»...

Из Лодзи Пилсудский был перевезен в Варшаву и там заключен в десятый павильон цитадели, куда сажали наиболее важных государственных преступников. Десятый павильон имел особую администрацию и особую кухню. От войск был внутренний пост в коридоре здания у выходных дверей. Дальше по коридорам несли службу жандармы, — ни часовой, ни проверявший его дежурный по караулам не имели права заходить в глубь помещения. Вероятно, вследствие этой таинственности в варшавском обществе распространились мрачные слухи о десятом павильоне: говорили, что там жандармы отравляют заключенных. Фантастические слухи эти были настолько упорны, что проникли и в русскую военную среду. В связи с ними инструкция властей вменяла в обязанность дежурному по караулу пробовать пищу заключенных. В числе других русских офицеров, выполнявших эту обязанность, был капитан генерального штаба А. И. Деникин, тогда для ценза командовавший ротой в Варшаве*.

Польская социалистическая партия приняла решение устроить своему вождю побег. Но бежать из десятого павильона считалось невозможным делом. Был выработан искусный план. Пилсудский стал симулировать умопомешательство. Душевные болезни не входили в компетенцию постоянного врача крепости. Начальство пригласило для консультации первого варшавского психиатра, профессора Шабашникова. Разумеется, Шабашников немедленно признал в заключенном симулянта. После нескольких минут беседы (наедине) он прямо спросил Пилсудского, для чего ведется игра и что, собственно, ему нужно. Узнав в чем дело, Шабашников без колебания написал свидетельст-

* Сведения эти любезно сообщил автору настоящей статьи ген. А. И. Деникин

во о душевной болезни Пилсудского. «Это был человек большого благородства, — говорит Сигизмунд Клингсланд и, очевидно, в объяснение столь странного факта, замечает: — Шабашников был православной веры, и его все считали русским; однако в действительности он был бурятского происхождения» (стр. 45).

На основании свидетельства профессора Шабашникова Пилсудский был переведен из варшавской крепости в петербургскую психиатрическую больницу. В эту же больницу поступил в качестве ординатора доктор Мазуркевич, член польской социалистической партии. Русский директор больницы исследовал присланного из Варшавы пациента и также без большого труда обнаружил притворный характер болезни. Директор больницы поступил, как Шабашников: поговорив с Мазуркевичем, он обещал хранить секрет столько времени, сколько это будет нужно «больному». Вероятно, этот директор был тоже бурятского происхождения.

Остальное прошло гладко. В заранее условленный день больной был вызван для исследования в камеру ординатора Мазуркевича. Ординатор отпустил сторожей, Пилсудский переоделся в приготовленное для него платье, затем оба неторопливо вышли парадным ходом, сели в экипаж — и исчезли. Пилсудский выехал в Киев, выпустил — упорный человек! — очередной номер «Работника» и отправился за границу.

Он обосновался в Кракове. В этот период его жизни, по-видимому, окончательно оформились и окрепли его взгляды на способы борьбы за освобождение Польши. Виды казались ему благоприятными. Вспыхнула русско-японская война. Пилсудский немедленно отправился в Токио: он предлагал поднять восстание в Польше и просил у правительства микадо помощи оружием и деньгами. Правые политические круги Польши считали этот план нелепым и вредным для польского дела. Одновременно с Пилсудским в Токио оказался Роман Дмовский, его противник и соперник на протяжении трех десятилетий. Два противоположных влияния столкнулись. Японское правительство отказалось поддержать Пилсудского.

Он вернулся в Европу. На смену войны пришла первая русская революция. Весной 1905 года Пилсуд-

ский основал боевую организацию польской социалистической партии.

Эту главу биографии знаменитого государственного деятеля мы изложим весьма кратко, — из политической песни можно и выкинуть слово. Впрочем, Пилсудский не отрекается и от этого периода своей жизни. Биограф так определяет задачи группы Пилсудского в тот период: «Боевая организация охраняла партийные квартиры, защищала вождей партии во время уличных манифестаций, уничтожала иногда шпионов, провокаторов и особенно жестоких полицейских деятелей. Наконец, под личным руководством Иосифа Пилсудского она произвела ряд отмеченных неслыханной смелостью нападений на русские почтовые транспорты в целях добывания средств для движения... Нет ничего постыдного в жизни польского национального героя. В 1905 году Пилсудский состоял в войне с царской Россией. Дела в Рогове, в Мазовецке, в Безданах были блестящими военными действиями».

Из этих дел самым громким была экспроприация в почтовом поезде ном. 4 на полустанке Безданы, расположенном в глубоком сосновом бору по 634-й версте от Петербурга. Совершена была эта экспроприация со смелостью действительно неслыханной и с такой же точностью в работе: через несколько минут после ее окончания на полустанок вошел поезд вел. кн. Михаила Александровича. Подробности безданского дела можно найти в статьях русских газет от 15, 16 и 17 сентября 1908 года. Эпитеты, встречающиеся в этих статьях, особенно в газетах консервативных, теперь трудно читать без усмешки. Авторы едва ли могли думать, что главный руководитель безданского дела через десять лет станет главой государства и будет обмениваться сердечными телеграммами с королями.

Деятельность «боювки» обманула надежды ее вождя. Насколько я могу судить, она вряд ли отвечала и склонностям его характера. От людей, хорошо его знавших, мне не раз приходилось слышать о благородстве натуры и личной обаятельности Пилсудского. Каким образом он мог участвовать в «блестящих военных действиях» указанного выше рода, мне, признаюсь, остается непонятным. «Идеологические провалы» встречаются и у декабристов, однако у них это была теория. Одно дело кровь в чернильнице, другое —

хрипящий в агонии кондуктор поезда, старичок почтальон с простреленным животом... Разумеется, очень легко сказать: «На войне то же самое». Но никакие метафоры, никакие «à la guerre comme à la guerre»^{*} из Бездан Аустерлица не сделают... Будем, однако, помнить, что все это Пилсудский совершал, служа по своему разумению Польше, причем не раз и не два, а сто раз ставил на карту и свою голову.

III.

Настоящая война приближалась. В последние годы перед ней Пилсудский перенес свою деятельность в Австрию. Под его непосредственным или косвенным руководством в Галиции создались общества по военному обучению польской социалистической и демократической молодежи. Ориентация этих союзов выразилась в следующих словах Пилсудского: «Если в близящейся войне мы не станем на сторону Австрии против России и не образуем при этом собственной армии, мы можем считать себя навсегда вычеркнутыми из списка живых народов». Венское правительство относилось к деятельности Пилсудского благосклонно, однако без особой горячности. Молодежь воспитывалась в идее борьбы с Россией — это было недурно. Но молодежь была что-то уж очень левая, и у вождя было прошлое — оно правительству Франца Иосифа нравилось, должно быть, значительно меньше. Некоторое предубеждение против революционных экспроприаций можно с большой вероятностью предположить у восьмидесятилетнего австрийского императора (если оно есть хотя бы у пишущего эти строки). Одним словом, любви не было ни взаимной, ни односторонней: с обеих сторон проводился принцип: «постольку — поскольку».

Через несколько часов после объявления войны Пилсудский, во главе небольшого отряда польских добровольцев, перешел русско-австрийскую границу.

Отряд состоял из 159 человек! Пилсудский рассчитывал на то, что в русской Польше десятки, быть может, сотни тысяч человек присоединятся к нему,

^{*} «На войне, как на войне» (фр.).

увидев польское знамя. К нему в действительности не присоединился почти никто. По словам польского публициста К. Сроковского, стрелки Пилсудского вызвали в русской Польше удивление, беспокойство и ужас. «Его постигло страшное разочарование», — говорит Клингсланд. В Галиции воззвание «Временного комитета» польских партий австрийской ориентации вызвало энтузиазм. Но галицийские поляки (как и русские) подлежали призыву в регулярные войска на общем основании. Из добровольцев, не достигших призывного возраста или через него перешагнувших, было составлено два легиона. Австрийский главнокомандующий эрцгерцог Фридрих назначил Пилсудского командиром первого полка первого легиона. Характерную черту мы находим в самом приказе о назначении. Эрцгерцог, видимо, не знал, как назвать Пилсудского: никакого чина у будущего маршала не было, — медицинский факультет Харьковского университета военных чинов не давал. Главнокомандующий назвал полкового командира просто «господином», — вероятно, это единственный случай в истории военных приказов.

Во главе своего отряда Пилсудский первый вошел в Кельце. Поляки сражались превосходно, со свойственной им храбростью. Пилсудский был русский подданный, и для него плен мог означать расстрел, если не виселицу. Свое испытанное бесстрашие он проявил и в боях. В Кельце ему пришлось остаться недолго. Русская мобилизация заканчивалась, началось катастрофическое отступление австрийцев. Серьезного военного значения в столкновении миллионных армий легионы, конечно, иметь не могли. В меру сил помогала центральным державам и созданная тогда же Пилсудским «Польска Организация Войскова» (P. O. W.). Она несла тайную разведочную службу и совершала партизанские операции в тылу русской армии, доставляя свои сведения через германского полковника Зауберцвейга самому фельдмаршалу Гинденбургу.

Каков был политический расчет Пилсудского? Страстные поклонники маршала уверяют, будто он с самого начала поставил себе определенную цель: помочь центральным державам разгромить Россию в твердом расчете на то, что *потом* центральные державы будут разгромлены Францией! С этим якобы планом Пилсудский приезжал в феврале 1914 года в Париж, желая заинтересовать и увлечь им вождей фран-

цузской демократии. К таким утверждениям, разумеется, трудно отнестись серьезно, — вероятно, сам Пилсудский с улыбкой читает иные писания своих фанатических поклонников. Они вдобавок оказывают ему довольно плохую услугу. Надежда на то, что французских радикалов и социалистов удастся в феврале 1914 года увлечь идеей мировой войны (да еще в такой хитроумной комбинации: сначала дать разбить союзника, а затем своими силами прикончить врага), надежда эта могла бы, конечно, свидетельствовать только о политической наивности Пилсудского. О самой же комбинации с ее матом в два хода не стоит вообще и говорить. Всякий прекрасно понимает, что игра в 1914 году была одна: кто воевал с Россией, тот воевал и с Францией. Если бы кампания 1914 года закончилась крушением русского военного могущества, все союзное дело пошло бы, разумеется, прахом. Сколько еще других «если», вплоть до американского вмешательства, должен был бы учесть в этом расчете Пилсудский! Содействие поражению русских войск, сопряженное с надеждой на французскую победу, было бы и в военном, и в политическом, и во всяком другом отношении совершенной ерундой. Пилсудский человек очень умный, и таких изумительных замыслов он питать не мог.

Дело, конечно, обстояло гораздо проще: как многие умные люди, как Фердинанд Болгарский, как Энвер, как Талаат, нынешний польский диктатор в 1914 году сделал неверную ставку. Завороженный военным могуществом Германии, он был, по-видимому, уверен в ее победе над союзниками. Весьма возможно, что Пилсудский недолюбливал немцев и любил французов и англичан. Но на первом плане у него, естественно, стояли интересы Польши. По его мнению, победа центральных держав *могла* повлечь за собой создание польского государства под скипетром Габсбургов, — он поэтому со всей искренностью и присягнул 5 сентября 1914 года императору Францу Иосифу. Считаюсь с необыкновенной импульсивностью природы Пилсудского, можно многое отнести и на счет его слепой фанатической ненависти к России*.

* В интервью с г. Клодом Ане (в 1919 г.) Пилсудский откровенно это и сказал. «А если бы союзники потерпели поражение?» — спросил интервьюер. Маршал ответил, что и в этом случае положение Польши стало бы лучше прежнего («Petit Parisien» 23 марта 1919 г.).

IV.

В истории двух последних десятилетий многое еще покрыто тайной. Но главное стало известным. Одни политические деятели опубликовали свои воспоминания. Другим посвящены подробные биографические труды. Не скажу, чтобы они были всегда интересны. Лихтенберг, один из остроумнейших писателей восемнадцатого века, уверял, что биографии сильных мира стоит читать лишь в том случае, если издание было сожжено рукою палача, — иначе, ясно, в нем нет ни одного слова правды. Это, конечно, шутка. Но надо по справедливости признать, что в XVIII веке перед сильными мира все же не разливались те потоки грубой лести, какие порою встречаются в биографиях героев современного, демократического и недемократического мира. Правда, и живут эти биографии не очень долго, как не вечны и некоторые их герои. Гейне говорил о Мейербере: «Он будет бессмертен всю свою жизнь и даже немного дольше, потому что он заплатит вперед». Теперь многое изменилось; если есть восторженные биографы у любого Рокфеллера, то есть они и у Свердлова, и у Камо...

Время очень понизило расценку руководителей германской политики недавнего времени. Из опубликованных в последние годы разных немецких мемуаров начинает понемногу выясняться история того акта, которым центральные державы «восстановили польское королевство». Кто только в пору войны не восхищался (хотя бы с ненавистью) работой германской государственной машины? Это был самый мощный военно-политический аппарат, когда-либо существовавший в истории. С совершенной, безошибочной точностью он исполнял все то, чего хотели управлявшие им люди. Однако из появившихся многочисленных мемуаров мы теперь видим, что люди эти сами не знали, чего именно они хотели.

Бисмарк говорил в 1883 году князю Гогенлоэ, что война между Россией и Германией неизбежно приведет к созданию независимой Польши. Пророчество канцлера тяготело над всеми его преемниками. Бетман-Гольвег в своих «Размышлениях о войне» прямо утверждает, что с немецкой точки зрения было невозможно хорошо разрешить польский вопрос: могло быть только более или менее плохое решение*.

* Th. v. Beethman-Holweg. Betrachtungen zum Weltkriege. Bd. II. S. 91.

В Вене виднейшие государственные деятели стояли за так называемый «австро-польский проект», т.е. за включение всей, или почти всей, Польши в состав габсбургской империи. К этому склонялся и сам император Франц Иосиф. В начале войны не возражало против такого решения и правительство Вильгельма II: в 1915 году германский посол Чиршкий передал даже соответственное письменное предложение барону Буриану. Вильгельм ставил, однако, и обязательное условие: он требовал, чтобы в будущем венском парламенте большинство было обеспечено немецким элементам населения. Это условие, по-видимому, озадачило Буриана, как он ко всему ни привык за долгие годы австро-венгерского парламентаризма. Барон Буриан указал послу, что обязательное условие трудно-выполнимо: состав парламента все же, до некоторой степени, зависит и от избирателей.

Впрочем, германское правительство скоро изменило свой взгляд на польский вопрос. Об австро-польском проекте не хотел слышать и граф Тисса, в ту пору еще почти всемогущий в Вене. Тисса не желал превращения двуединой монархии в триединую. Он вдобавок недолюбливал поляков. Выступления Тиссы по польскому вопросу были довольно своеобразны. Граф Чернин в своих воспоминаниях рассказывает, что Тисса предлагал отдать всю Польшу Германии «в обмен на хозяйственные и финансовые комбинации»^{*}. С другой стороны, по словам гр. Андраши^{**}, Тисса ровно ничего не имел и против того, чтобы Польша осталась за Россией.

Бетман-Гольвег колебался. Ему не очень хотелось восстанавливать Польшу. Но он боялся России. Колебания были профессией Бетмана-Гольвега. Порою оставляла желать лучшего и его осведомленность^{***}. Сам император Вильгельм менял решения каждые две недели. После отпадения австро-польского проекта возникла мысль о том, чтобы сделать из Польши полусамостоятельное «государство-буфер». И наконец, было решено создать независимое польское государство.

В ту пору государственные вопросы решались военными людьми. Но и среди них существовали разные

* Ottocar Czernin Im Weltkrieg. S. 281.

** Julius Andrassy. Diplomatie und Weltkrieg. S. 163.

*** В своих воспоминаниях он говорит, что патристическое воодушевление в России в годы войны питалось деньгами Антанты и возможностью огромных заработков на военных заказах. Чем не большевик!

мнения. Через военных и вели агитацию — с большим искусством — польские политические деятели. Они уверяли германских и австрийских генералов, что стоит центральным державам восстановить Польшу, как сотни тысяч добровольцев хлынут в армию с разных концов Царства Польского. Им удалось убедить в этом фельдмаршала Безелера, германского генерал-губернатора Варшавы. Фельдмаршал доложил императору Вильгельму, что провозглашение независимой Польши может дать центральным державам восемьсот тысяч польских солдат. Эта цифра произвела сильное впечатление в военных кругах, — войска были очень, очень нужны. Правда, в обман дались далеко не все генералы. Чрезвычайно недоверчиво отнеслись к плану и к цифрам Безелера и Фалькенгайн, и Гецендорф, и в особенности памятный нам по Брест-Литовску Макс Гофман, который в своих воспоминаниях чуть не с проклятиями говорит об этой «глупой, несчастной затее»^{**}. Не слишком верили ей и некоторые штатские политики. Фалькенгайн, начальник генерального штаба, поставил вопрос ребром^{***}: не надо нам ни независимой Польши, ни польской армии. Но звезда Фалькенгайна уже закатывалась. С переходом главной квартиры к Людендорфу дело совершенно изменилось. Как ни странно, Людендорф поверил! На восемьсот тысяч добровольцев он не надеялся, но, по его расчету, триста пятьдесят тысяч поляков должны были влиться в германскую армию вслед за провозглашением независимости Польши. Независимость Польши и была торжественно провозглашена 5 ноября 1916 года^{****}. «Освободительный акт всемирного исторического значения» был совершен, преимущественно в целях набора солдат, знаменитым вождем германских националистов и реакционеров.

V.

Отношения Пилсудского с немецким командованием были не слишком хороши. В декабре 1914 года

* M. Erzberger. Erlebnisse im Weltkrieg. S. 175.

** M. Hoffmann. Der Krieg der versäumten Gelegenheiten. S. 151.

*** E. V. Falkenhayn. Die Oberste Heeresleitung 1914—1916. S. 234.

**** Это несколько не помешало берлинскому и венскому правительствам обсуждать в 1917 г. план возвращения Царства Польского России в случае ее согласия на мир.

Гинденбург запретил легионам пребывание в германской оккупационной зоне («Keine Legionäre auf unserem Boden»): они должны были оставаться на территории, занятой австрийцами. Однако после восстановления польского государства германское командование в лице Безелера стало усиленно ухаживать за Пилсудским, очевидно, в тех же целях получения восьмисот тысяч добровольцев. Популярность его среди поляков росла, имя Пилсудского начинала окружать легенда. Пилсудский вошел в состав образованного в Варшаве временного Государственного совета и был избран председателем военной комиссии. Он вел очень умную, тонкую, истинно патриотическую политику, требуя от немцев все больших уступок, постепенно ослабляя свою связь с австро-германским делом.

Началась русская революция. Временное правительство провозгласило независимость Польши. По-видимому, в отношении Пилсудского к России произошел перелом. Он подумывал даже о том, чтобы на аэроплане перелететь через фронт: по-видимому, он хотел организовать новую армию из поляков, сражавшихся в рядах русских войск. План этот не был осуществлен. Но «пафос» борьбы в союзе с Германией с каждым днем слабел в бурной душе Пилсудского.

Ожидания Безелера не вполне оправдались: вместо восьмисот тысяч польских добровольцев их явилось 1373, из которых годными для военной службы оказалось 697. Одураченный Людендорф пришел в ярость. Каким образом старый, опытный воин мог рассчитывать, что после двух с половиной лет войны, при всеобщей повальной усталости даже в Германии, во Франции, в Англии, Польша даст ему, для сомнительных государственных выгод, сотни тысяч новых солдат, — это остается загадкой. Германское командование приписало неуспех своего дела агитации Пилсудского, интригам его подпольных агентов. 21 июля 1917 года Пилсудский был арестован в Варшаве и отвезен сначала в Данциг, затем в Магдебург.

Лучшей услуги немцы не могли ему оказать.

VI.

Он был освобожден из Магдебургской крепости 9 ноября 1918 года, в день германской революции. В «Die Woche» появился огромный портрет Пилсудско-

го. Освободить же его приехал титулованный германский офицер и многосторонний, даровитый писатель, до войны парижанин из парижан, сочинявший балеты для труппы Дягилева, одним словом, очень модный человек, которого, в довершение эффекта, считали (и называли в печати) незаконным сыном чрезвычайного высокопоставленного лица, — в начале ноября 1918 года самого высокопоставленного лица на свете. Офицер этот был переодет в штатское платье и, по словам очевидца, за версту напоминал героя мелодрамы. По его костюму Пилсудский сразу догадался, что произошла революция. Офицер произнес традиционные слова: «Господин Пилсудский, вы свободны!»

Через два дня создатель легионов прибыл в Варшаву. Его встретили, как национального героя. «Совет регентства» сложил с себя власть и передал ее Пилсудскому. В качестве временного главы государства он созывал первый польский сейм на основе демократического избирательного закона.

Польша признала Пилсудского, но этого было недостаточно. Судьбы мира и Польши решались не в Варшаве, а в Париже. Там существовал с 1917 года польский Национальный комитет, во главе которого находился Роман Дмовский, личный и политический враг временного главы государства. Национальный комитет не имел государственной власти, но за ним стояли победители. Дмовский с самого начала ориентировался на союзников и пользовался у них большим влиянием. Была у Национального комитета и собственная стотысячная армия, образованная во Франции из американских и немецких (военнопленных) поляков. Она находилась под командой генерала Галлера. Клемансо, Вильсон, Ллойд Джордж, всемогущие триумфаторы 1919 года, могли в ту пору без большого труда навязать Польше какое угодно правительство. Общеизвестна ненависть Клемансо ко всему, что хоть отдаленно и случайно было связано с германской ориентацией. Пилсудский два года сражался на стороне центральных держав. Для того чтобы об этом забыли в Париже, заключения в Магдебургской крепости было, пожалуй, недостаточно. Одним словом, в ноябре 1918 года еще очень трудно было сказать, кто хозяин Польши: Пилсудский или Дмовский.

Тотчас вслед за своим приходом к власти Пилсуд-

ский послал радиотелеграммы союзным правительствам, маршалу Фошу, президенту Вильсону. Видимо, он вначале хотел обойтись без Дмовского и без Национального комитета. Но оказанный ему прием был чрезвычайно холоден. Союзные правительства оставили без ответа телеграмму главы польского государства. Фош передал ее Дмовскому*. Делегации, посланной в Париж Пилсудским, было отказано в приеме.

Французское правительство очень благоволило к полякам. В ноябре 1918 года ставленник Клемансо, министр иностранных дел Пишон, редко упускавший случай сделать какую-либо *gaffe*** , на заседании Верховного Совета в Версале выразил желание восстановить Польшу в пределах, существовавших до 1772 года. Близкие к нему органы печати утверждали даже, что Польша в пределах 1772 года всегда составляла страстное желание и чуть ли не главную цель французского правительства***. Но благосклонность «*Quai d'Orsay*»**** отнюдь не распространялась на Пилсудского. 29 декабря 1918 года Пишон в палате депутатов заявил, что считает Национальный комитет *законным правительством Польши*****. Это замечание вызвало в палате резкие протесты со стороны социалистов. Один из них, Эрнест Лафон, напомнил Пишону о Пилсудском. В ответ министр иностранных дел воскликнул: «Вы, кажется, не знаете, что генерал Пилсудский сражался против России в рядах австрийской армии!» Официальный отчет отмечает здесь «бурные рукопле-

* Мне неизвестно, ответил ли Фош на собственноручное письмо к нему Пилсудского (от 18 декабря 1918 г.), в котором глава польского государства признавал, что Польша обязана своим восстановлением союзным армиям. В конце этого письма была фраза: «*Le souvenir des durs combats et des victoires sont m u e s...*» («Память о жестоких битвах и *общих* победах»). — *фр.*) и т. д.

** *Gaffe* — оплошность (*фр.*).

Пишущий эти страницы собственными ушами слышал, как Пишон, принимая русскую делегацию, в ответ на прямой вопрос В. И. Гурко заверил делегатов честным словом, что Одесса ни в коем случае не будет сдана союзниками. Это было сказано 1 февраля 1919 г., за несколько недель до эвакуации Одессы.

*** Надо ли говорить, что это было чистойшей фантазией? В числе опубликованных большевиками в 1918 г. секретных документов был (ном. 42 издания Лалуа) договор французского правительства с нашим, по которому России предоставлялась полная свобода в определении западной границы, — иными словами, свобода делать с Польшей что угодно. С. Д. Сазонов до того многократно (а два раза и весьма резко) заявлял союзникам, что польский вопрос есть внутреннее дело России.

**** Набережная д'Орсэ (резиденция министерства иностранных дел Франции). — *Прим. ред.*

«*Journal Officiel*», 30 декабря 1918 г., стр. 3724. — Это впоследствии было, по-видимому, признано обмолвкой.

скания на большом числе скамей». Депутат Мекилье тут же назвал Пилсудского «бошем».

Из своего чрезвычайно трудного положения Пилсудский вышел с успехом, обнаружив в этом случае и большой ум, и выдающиеся дипломатические способности. Он шел на компромиссы, но не жертвовал для них своим достоинством и не лебезил перед триумфаторами так, как делали в ту пору очень многие государственные люди. В Варшаве образовался против него заговор: несколько правых политических деятелей и офицеров, во главе с князем Сапегой, в ночь на 5 января 1919 года арестовали министров и тщетно пытались поднять войска против главнокомандующего. Из заговора ничего не вышло. Пилсудский искусно замял это дело. Не отказываясь от необходимых уступок, стараясь выиграть время, постепенно укрепляя свою власть в Польше, Пилсудский пошел и на соглашение с Дмовским. 21 декабря 1918 года глава государства обратился к своему старому противнику с письмом, в котором предлагал «забыть интересы партий, кружков, групп» и объединиться для защиты национальных интересов Польши. Предложение это было принято не легко и не сразу, однако было принято. Поляки, которых только ленивый не обвинял в вечной склонности к раздорам и не попрекал историческим «не позволяем», сумели в решительную минуту договориться, — отдадим полную справедливость их патриотизму и разуму. Дмовский признал Пилсудского главой государства, Пилсудский признал Дмовского делегатом Польши на конференции мира. В результате договора в Варшаве образовалось более или менее нейтральное правительство: обе стороны сошлись на Падеревском. Профессия знаменитого пианиста давала повод к шуточкам, но, в сущности, он был тогда лучшим из всех возможных кандидатов.

Пилсудский блестяще выиграл очень трудную партию. Триумвиры признали совершившийся факт. Клемансо, видимо, махнул рукою: Пилсудский сражался прежде на стороне Германии; но и Галлер, генерал австрийской службы, тоже сражался на стороне Германии. В глубине души Клемансо, вероятно, был одинакового мнения обо всех союзниках (кроме французов и, быть может, англичан), вспоминая Италию в Тройственном союзе, некоторые подробности переговоров с Румынией и еще многое другое. Пола-

дить с английским и американским правительством Пилсудскому было менее трудно. Вильсон был выше всего этого и вдобавок сам по телеграфу поздравлял в 1915 году Вильгельма II с днем его рождения. Ллойд Джордж, должно быть, не знал, кто такой Пилсудский, а если и знал, то был глубоко равнодушен к политическому прошлому главы польского государства.

Он достиг цели. Польша была восстановлена. Благодаря необыкновенной своей энергии и в особенности благодаря своему необыкновенному счастью, Пилсудский стал вождем воскресшего чудом государства, его национальным героем. Сказка осуществилась. С гораздо большим правом, чем к герцогу Лозену, можно было отнести к Пилсудскому слова Лабрюйера: «Il n'est pas permis de rêver comme il a vécu»^{*}.

Период больших дел, казалось, кончился для Польши. Но перейти от них к делам не столь большим было, по-видимому, нелегко. Это, собственно, и стало главной трагедией Пилсудского. Первоначальный энтузиазм, который он вызывал на родине, понемногу слабел. То же самое случалось с Клемансо, с Ллойд Джорджем, с Вильсоном. Энтузиазм вообще ослабел у всех и ко всему: в течение четырех лет люди, открывая газету, находили в ней мировые события, — от этого приходилось отвыкать. В Польше «священное единение» продолжалось недолго. Первый сейм отнюдь не оправдал надежд Пилсудского. Его многочисленные враги — личные, политические, «классовые» — перешли в наступление. Дмовский, оставленный не у дел по миновании в нем надобности, не скрывал своих чувств в отношении главы государства. «Поклонники Пилсудского, — писал он, — использовали трубы в целях личной рекламы своему вождю и осыпали его похвалами, нисившими характер византийской угодливости. Пилсудский уверовал в свою провиденциальную миссию и возомнил себя победителем»...

В 1920 году польские войска под командованием Пилсудского двинулись походом на Киев. По общему отзыву польских исследователей, это была «превентивная» война. Впрочем, наступательных войн в истории никогда не было и не будет: все войны делятся на оборонительные и «превентивные».

^{*} «Нельзя вообразить, как он жил» (фр.).

Само собою разумеется, превентивная война 1920 года отнюдь не имела целью свержение в России большевистской власти. Если бы такова была ее цель, Пилсудский двинулся бы не на Киев и открыл бы военные действия раньше, в ту пору, когда русская добровольческая армия вела успешную борьбу с большевиками. Советский главнокомандующий 1920 года Тухачевский в своей книге о польско-советской войне прямо говорит: «Если бы польское правительство сумело сговориться с Деникиным до его крушения, если бы оно не боялось империалистского лозунга «Великая, единая и неделимая Россия», то наступление Деникина на Москву, поддержанное на западе польским наступлением, могло бы для нас кончиться гораздо хуже».

Впрочем, Пилсудский и сам сказал, имея в виду адм. Колчака и ген. Деникина: «Все лучше, чем они. Лучше большевизм!»

Действительной целью войны 1920 года была, конечно, «Польша от моря до моря» или, по крайней мере, некоторое ее подобие. В. Серошевский, близкий друг Пилсудского, цитирует в своей книге его слова: «Белоруссия, Литва, *Украина* — основы нашей экономической независимости». Талантливый польский писатель тут же — совершенно серьезно — добавляет, что Пилсудский мечтает о федерации всех европейских государств, но так как это вещь не легкая, то для начала он хотел бы создать федерацию нескольких маленьких народов во главе с Польшей. Нельзя не оценить это «начало». От такого пацифизма не отказался бы и генерал Людендорф.

VII.

О войне 1920 года я говорить не буду, — она всем памятна, и пусть о ней судят специалисты. Кажется, они по-разному объясняют странный ход этой войны. Действия Пилсудского вызывали и резкую критику, и восторженные похвалы. Во всяком случае, в те дни, когда большевики подошли к Варшаве, он сумел воодушевить для последнего усилия польские войска, —

* Цитирую по французскому переводу книги Тухачевского.

маршал, конечно, недаром имеет такое множество фанатических поклонников.

Вожди обеих армий посвятили подробные труды польско-советской войне. Пилсудский в своей умно и тонко написанной книге «1920 год» с уважением говорит о военных талантах Тухачевского, но зато о большинстве своих полководцев отзывается без особой похвалы. Тухачевский довольно пренебрежительно отзывается о стратегии польских генералов, но свою книгу развязно заканчивает так: «Главная причина нашего поражения заключается в недостатке подготовки командующих войсками». Очевидно, самого себя 28-летний гвардейский поручик считал совершенно подготовленным для занятия должности Фоша, Гинденбурга и Алексеева.

Война *кончилась* для Польши хорошо. Однако июльское катастрофическое отступление нанесло удар популярности маршала Пилсудского. Враги приписывали победу действиям прибывшего из Парижа генерала Вейгана и беспрестанно напоминали о том, что маршал не получил военного образования, да и весь свой опыт командования приобрел лишь на второстепенных должностях. Когда большевики подошли к Варшаве, правые политики потребовали, чтобы Пилсудский сложил с себя командование войсками. Весьма резко отзывались в ту пору о действиях Пилсудского также на Западе. Союзные министры, Бонар Лоу, граф Сфорца, заявили с парламентской трибуны, что поход поляков на Киев был печальной ошибкой. Ллойд Джордж, церемонившийся меньше, беспрестанно повторял в палате общин (особенно в своей речи 11 августа), что «поляки сами во всем виноваты», что «польская армия могла бы отразить врага, если бы во главе ее стояли опытные, способные люди» и что «Польша заслужила наказание». На обращенную к союзникам просьбу польского правительства о помощи глава британского правительства ответил, что, в случае категорического отказа большевиков от перемирия, он *посоветует Чехии* оказать поддержку полякам. Мильеран прислал Вейгана и тысячу французских

* Отношения между Вейганом и штабом Пилсудского были весьма холодные (чтобы не сказать больше). Сам Пилсудский рассказывает в своей книге (стр. 131), что его начальник штаба ген. Розвадовский сносился с Вейганом посредством письменных дипломатических нот, ибо устные разговоры между ними были «не из самых приятных».

офицеров. Однако самая влиятельная из парижских газет писала 10 августа в передовой статье, что если Польша не может больше вести борьбу, то, как ни грустно, ничего не поделаешь: граница между Польшей и Россией, в конце концов, касается только Польши и России. После отступления большевиков тон везде переменялся. Но, по принятому выражению, «остался осадок». И даже очень густой осадок.

Остался он и во внутренних польских делах. С самого создания польской конституции началась глухая упорная борьба сейма с Пилсудским. Глава государства вел себя конституционно. Кабинеты сменялись беспрестанно. Кажется, были испробованы все возможные парламентские комбинации. Однако Пилсудский, видимо, все больше тяготился ролью конституционного главы государства. Каковы были тогда его планы и цели, сказать трудно. Еще труднее, пожалуй, сказать это теперь.

В 1922 году маршал отказался выставить свою кандидатуру на пост президента республики. Вместо него не очень значительным большинством был избран его друг и сторонник Нарutowич. На улицах столицы произошли беспорядки. Через несколько дней новый глава государства был убит правым фанатиком Неведомским. Призрак гражданской войны показался на мгновение в Варшаве. Власть постепенно сосредоточилась в руках врагов или недоброжелателей Пилсудского. С приходом к власти правого кабинета маршал, занявший было должность начальника генерального штаба, демонстративно подал в отставку и удалился на покой, поселившись в Сулеювке, под Варшавой, на вилле, подаренной ему легионерами.

VIII.

Он ушел в частную жизнь, играл в шахматы, воспитывал дочерей, писал исторические работы. Но, видимо, частная жизнь несколько его тяготила. «*Qui a vu boiga*», — говорят французы. Политические деятели со столь огненной душою уходят на покой не раньше девятого десятка — как Клемансо. Пилсудский подал

* «Кто пьет, тот будет пьян» (фр.).

в отставку пятидесяти пяти лет от роду. Ровно столько лет было и Карлу V в момент его отречения от престола. Отрекшийся император из Эстрамадурского монастыря давал советы своим преемникам. Пилсудский из Сулеювка советов не давал, — они были бы, вероятно, плохо приняты. Зато он довольно часто давал газетам сенсационные интервью, все более неприятные правительству. Ежегодно в день именин маршала к нему съезжались офицеры, служившие прежде под его начальством. Говорились порою политические речи, не очень совместимые с понятиями о воинской дисциплине. Число недовольных все росло в Польше. Курс польской валюты упорно понижался.

В ноябре 1925 года Пилсудский в очень торжественной обстановке выехал из Сулеювка в Бельведер и от имени армии заявил президенту республики Войцеховскому, что генерал Сикорский не должен занимать пост военного министра. Польша изумилась — и не без основания: представим себе, что во Франции Жоффри приехал бы с подобным отводом к Думергу! Требование маршала было исполнено, — это не увеличило престижа власти. На следующий день 415 офицеров явились к Пилсудскому; от их имени генерал Орлич-Дрешер произнес речь: «Знай, маршал, что мы пришли не для пустых любезностей: кроме благодарных сердец мы несем тебе и наши шпаги!..» Правительство проглотило и это, — такая власть может считать себя обреченной.

10 мая 1926 года, в строгом соответствии с законами парламентской механики, в Польше образовался новый — который по счету? — правый кабинет во главе с Витошем. На следующий день в «Курьере Поранном» появилось интервью Пилсудского. Маршал называл нового министра-президента бесчестным и продажным человеком. В интервью были угрозы. Витош велел конфисковать номер «Курьера». Правые газеты в экстренном выпуске сообщили о возбуждении «судебного преследования против клеветника». Прошел слух о том, что какие-то злоумышленники пытались проникнуть в Сулеювк и убить бывшего главу государства. А еще через несколько часов понесся по миру другой слух: маршал Пилсудский во главе нескольких полков кавалерии идет на Варшаву! Печать в дружественных державах растерялась: официозы сокрушенно забормотали о мятежном генерале. Впро-

чем, бормотали на всякий случай с оговорками: «с одной стороны»... «но с другой стороны»...

Слух был совершенно верен. В правительственных кругах Варшавы произошло невероятное смятение. В польской армии, как во всех армиях мира, правые настроения преобладали над левыми. Однако хитрый мужичок Витош большого престижа не имел. Дмовский был в Лондоне. Верные полки находились далеко, в Познани. В столице надежных войск не было. Наше Временное правительство защищали 25 октября юнкера. На защиту последнего парламентарного правительства Польши были брошены кадеты. 17—18-летние воины заняли оба моста на Висле, к ним со стороны Праги уже подходили уланы Пилсудского. Было объявлено осадное положение. Защиту парламентского строя взял на себя сам глава государства, человек мужественный и убежденный. Президент Войцеховский выехал на автомобиле навстречу маршалу Пилсудскому. Встреча произошла на мосту Понятовского, в совершенно оперной обстановке. С обеих сторон моста стояли вооруженные люди. Спешно подвозились пушки и пулеметы. Особенностью картины было присутствие журналистов. Войцеховский прошел по мосту и спросил первого уланского офицера:

— Знаете ли вы, что я президент польской республики?

Офицер ответил, что знает.

— Как же вы решаетесь восстать против законно избранного главы государства, против верховного вождя всех вооруженных сил Польши?

На это офицер ничего не ответил. На мост уже сходил маршал Пилсудский. По словам очевидца (г. Смогоржевского), он весело улыбался. Не подавая ему руки, президент сказал громко:

— Господин маршал, над вами тяготеет страшная ответственность. Республиканское правительство, защищая конституцию, не уступит вашему мятежу. Предписываю вам немедленно увести войска.

Маршал ответил шутливым тоном:

— Дорогой президент, очень охотно. Уберите правительство Витоша, тогда мы посмотрим.

— Нет! Это законное правительство!

— В таком случае я сам его уберу.

— Подумайте! Вы восстаете против конституции.

— Я уже подумал. Я — первый маршал Польши. Я сделаю то, что хочу!

— Нет, мы вам помешаем! Это вам говорю я, президент республики!..

Эффектный диалог мог бы продолжаться долго. Но Пилсудский его оборвал не менее эффектно. Произошло повторение знаменитой сцены обращения «человека судьбы», вернувшегося с острова Эльбы, к высланным против него французским войскам: «Солдаты! Кто из вас хочет убить императора Наполеона?!» Маршал Пилсудский быстро подошел к одному из сопровождавших президента кадетов и спросил его в упор:

— Решишься ли ты стрелять в первого маршала Польши?

По словам г. Смогоржевского, «юноша побледнел и не ответил. Однако в глазах кадет маршал мог прочесть, что они исполнят свой долг. Он круто повернулся и, никому не кланяясь, медленно пошел назад по мосту, по направлению к Праге».

Вслед за этим начался бой. Его результат легко было предвидеть. Кадеты были сбиты с моста и отошли на Уздовскую аллею, ведущую к Бельведеру.

Им на помощь уже приходили настоящие полки. Президент республики лично напутствовал в бой и ободрял речами солдат. Но и войска Пилсудского получили сильные подкрепления. Завязалась ожесточенная битва. На улицах Варшавы действовали пулеметы, броневики, даже танки. Правительственные здания брались штурмом. В залах министерства иностранных дел шел бой холодным оружием, рвались ручные гранаты. Убитые и раненые исчислялись сотнями. Удивительной чертой этих кровавых дней было то, что на местах сражения беспрестанно выходили экстренные выпуски газет. События действительно очень нуждались в разъяснении. Правые, даже реакционные газеты призывали поляков встать на защиту республики и парламентского строя. Левые органы печати восхваляли военный переворот диктатора. «Работник», уж, кстати, очень находчиво, потребовал установления «рабоче-крестьянского правительства во главе с Пилсудским».

Под вечер пронесся ложный слух о приближении познанских полков во главе с генералом Галлером, военный авторитет которого правые противопоставляли авторитету Пилсудского. Но в Варшаве победа уже склонялась на сторону войск маршала. В ночь на 14 мая

начались приготовления к штурму Бельведера. Президент республики велел отслужить панихиду по погибшим защитникам республики, затем выехал из дворца и послал председателю сейма заявление о своей отставке. Через полчаса после этого к Варшаве подошла верная правительству померанская дивизия. Но уже было поздно. Все в таких делах определяется случаем, — я видел июльские дни, октябрьский переворот 1917 года... В гражданской войне не надо опаздывать, даже на полчаса.

В дружественных иностранных официозах в срочном порядке писались статьи: «...Законные требования доблестного полководца получили удовлетворение... Все искренние друзья Польши с радостью прочтут» и т. д. Писали опять-таки не без оговорок, — нелегка участь официозов: что, в самом деле, если из Познани придет генерал Галлер!..

IX.

Генерал Галлер не пришел. Победа была полная. Национальное собрание значительным большинством избрало Пилсудского президентом республики. Иностранные друзья радостно поздравляли «мятежного генерала». Пилсудский отклонил предложенный ему пост и без особой горячности благодарил иностранных друзей. По собственному его признанию, маршал испытывал тяжкую моральную усталость — довольно редкое последствие победоносного переворота. 18 брюмера далось ему нелегко: он тогда не был, как Наполеон, демократом в насмешку.

Фридрих II советовал сначала заботиться о военных успехах дела, а лишь потом о его моральном и юридическом оправдании: нанять философов и юристов никогда не поздно. Пилсудскому цинизм всегда был чужд. Он со всей искренностью искал оправдания пролитой крови несчастных кадетов. Возможно, что отсюда и пошел его нынешний душевный надлом. Формально диктатура установлена не была. По словам маршала Пилсудского, он хотел сделать *«последнюю попытку править народом без кнута»*. Очень придирчивый критик, оценивая эти слова о последней попытке, мог бы, пожалуй, заметить, что не стоило

пятьдесят лет так страстно проклинать «кнут проклятого царизма». Но и без придирчивости к словам, без чрезмерного политического формализма следовало осмыслить майский переворот, а с ним и всю жизнь Пилсудского. По утверждению польских публицистов, сочувствующих перевороту, его причиной был финансовый кризис и «коррупция». Валюта действительно падала. Но ведь и франк падал, а о марке и говорить нечего. Нам со стороны казалось, что воссозданное чудом государство с честью преодолевает всякие трудности своих первых лет. Военный переворот — очень неожиданное и ненадежное средство для поднятия валюты. «Коррупция»? Мы все у Иловайского* читали о разных странах, в которых на смену государственному строю, отмеченному «падением нравов», приходил другой государственный строй, очевидно нравы поднимавший. Французскую революцию тоже объясняли падением нравов. Что говорить, очень нехороши были нравы при последних Людовиках. Но при Директории они лучше не стали. Нравы улучшаются в пределах долгих десятилетий посредством воспитательной работы над молодыми поколениями. Пилсудский — бесспорно честный человек, бесребреник, оставшийся бедняком на старости лет. Однако нам равно трудно поверить и тому, что все его предшественники были люди нечестные, и тому, что майский переворот искоренил в стране «коррупцию». Переворот был как переворот: группа, стремившаяся к власти, пришла на смену группе, не желавшей с властью расставаться. Победители были искуснее и счастливее своих предшественников. Экономическое положение Польши немного упрочилось, по крайней мере на некоторое время. Отношения с инородцами стали лучше. Однако политический смысл майского дела и особенно его связь с теми идеями, которым всю жизнь служил Пилсудский, остаются довольно неопределенными. Можно даже сомневаться в том, устойчивее ли теперь положение Польши, чем было до прихода к власти Пилсудского, и очень ли далеко молодое государство от самых тяжелых событий.

В одной из своих речей маршал сказал: «Нужно создать нечто новое». Он мог бы с некоторым правом

* Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920) — русский историк, публицист. — *Прим. ред.*

утверждать, что нечто новое им и создано. Юристов нынешний польский строй ставит, должно быть, в очень трудное положение. Все мы знаем, что во Франции парламентская республика, в Англии — конституционная монархия, в Италии — единоличная диктатура. Но какой государственный строй в Польше, этого не знает никто. Проф. Бартелими в ученой работе наглядно доказывает разницу между польским строем и фашизмом. Разница совершенно несомненная. В Париже, международной эмигрантской столице, есть эмиграция итальянская, испанская, венгерская. Но о польской эмиграции мы не слышали. Если жив веселый жандармский полковник, рассказавший в 1901 году Пилсудскому анекдот о том, что «все зло от Гутенберга», он, быть может, порою философски улыбается при виде того, что делается в мире. Однако сказать, что в Польше нет *никакой* свободы слова, тоже нельзя. Жизнь в прекрасной польской столице не говорит о тиранической власти и об угнетенном населении. Все делается именем законных республиканских властей. Однако каждому мальчишке известно, что вся власть в государстве принадлежит «дедушке» (так называют маршала легионеры). Пилсудский сам иногда об этом напоминает довольно определенно. «Мой выбор (для должности президента республики) остановился на особе Мосцицкого» (речь 2 июня 1926 года)... «В случае серьезного кризиса я поставлю себя в распоряжение г. президента республики и смело приму решение»... (интервью 30 июня 1928 года) и т. д. В Польше парламент имеет больше прав, чем, например, в Италии. Но Муссолини никогда не говорил с парламентом и о парламенте в таком тоне, в каком Пилсудский говорит с сеймом и о сейме. Из уважения к очень выдающемуся человеку и к высокой польской культуре надо обойти молчанием много фактов — от статьи «Дно глаза» до недавнего (август 1930 года) интервью Пилсудского, данного депутату Медзинскому, редактору «Газеты Польской». В связи со статьями маршала польские филологи производили разные юмористические изыскания. Однако для юмора эти статьи темы не давали. Разные рассуждения о том, что маршал ставит себе целью поднять своими речами и статьями уважение к *подлинному* парламентаризму и к *настоящему* народоправству, можно рассматривать только как шутку.

Какова настоящая цель Пилсудского, сказать не берусь. И в психологии его, и в его политике очень нелегко разобраться. Очень скоро после майского переворота он отправился с визитом в Несвижский замок князя Альбрехта Радзивилла, и там Радзивиллы, Потоцкие, Любомирские, Чарторьские чествовали его пышным банкетом. Эта манифестация наделала очень много шума. Заговорили о кандидатуре маршала на престол. Князь Януш Радзивилл в своей речи напомнил о старинном дворянском роде Пилсудских. Монархическая газета «Слово» на первой странице многозначительно поместила рядом два огромных портрета: слева — Станислав Август Понятовский (последний король Польши), справа — маршал Юзеф Пилсудский... За несколько месяцев до того «Работник» выдвигал его кандидатуру на должность главы «рабоче-крестьянского правительства»! Сложная вещь политика...

Теперь, в 1930 году, дело, по-видимому, так или иначе приближается к развязке. Какова будет эта развязка, мы не знаем. Вообще лучше не останавливаться долго на последнем периоде политической карьеры Пилсудского. Повторяю, свести без остатка его жизнь к каким бы то ни было принципам биографу будет весьма нелегко. Жизнь эта особенно наглядно показывает, как мало места занимают в современной политике принципы и как много места занимают в ней страсти.

Пилсудский как-то сказал французскому писателю Тьебо-Сиссону: «Моя политическая программа? У меня ее нет... Каждый из моих соотечественников ждет от меня дел прямо противоположных тем, которых требует его сосед. Как всех удовлетворить? Надо хитрить, лавировать, тщательно скрывать то, что думаешь. От меня ждут поворота вправо: я уйду налево. Ждут уклона влево, я уйду направо. Я нападаю на противника врасплох. Это не политическая, а военная игра».

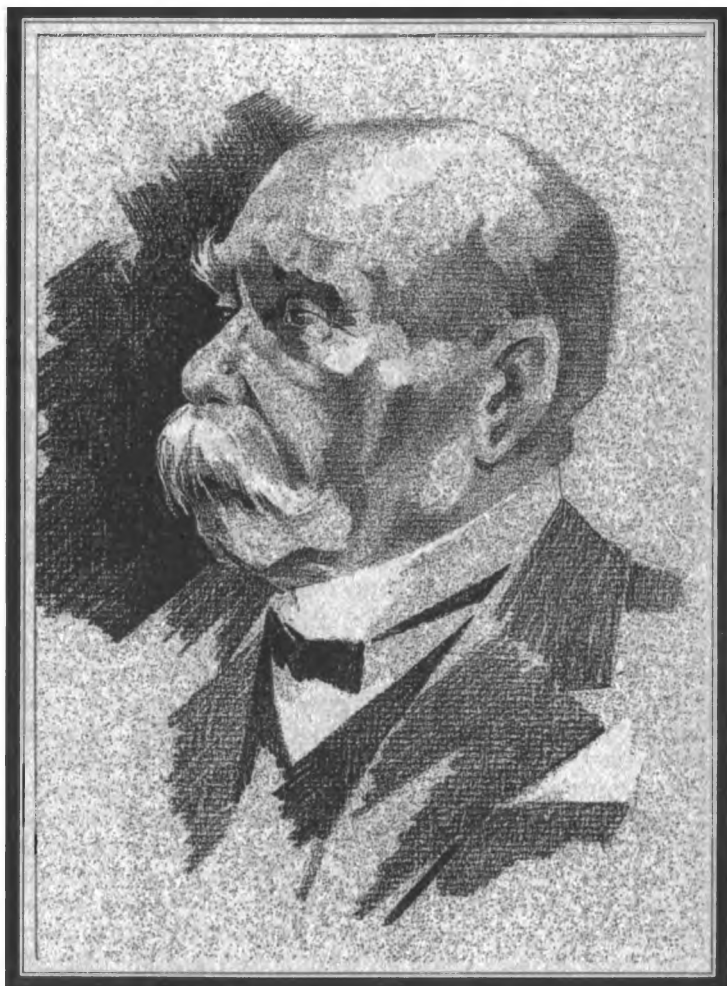
Игра действительно военная. Но на войне противник дан заранее и цель ясна: надо разбить противника. В политике не так все ясно — прежде всего следует твердо себе выяснить: кто враги, кто друзья, что делать с врагами и что вообще делать? Но Пилсудский, человек очень умный, волевой и даровитый, просто перенес в политику довольно чуждые ей методы стратегии. Отказ от должности главы государства после удачного переворота и благополучного избрания на эту должность, манифестация в Несвижском замке тотчас вслед за внешним союзом с социалистами — все это проявления той же непонятной тактики: уклон влево, когда ждут уклона вправо, уклон вправо, когда ждут уклона влево. Ни в одном другом государственном деятеле душевное раздвоение не сказывается так сильно, как в нем. Резкая перемена взглядов — самое обычное дело в политике. Но в маршале Пилсудском живут одновременно самые разные, как будто несовместимые настроения. По-видимому, сейчас над всем у него преобладает ненависть к парламентаризму и воля к единоличной власти. Польский Гамлет убил своего друга Лаэрта, — не знаю, очень ли он по нем плачет.

По-настоящему же Пилсудский, я думаю, любил и любит только борьбу, в особенности ее вековую форму: войну. В своей книге «1920 год» он называет военное дело «божественным искусством, которое тысячелетиями отмечало вехи в истории человечества». Старый Мольтке когда-то сказал нечто в этом роде, и за это его пятьдесят лет упорно, со вкусом, грызла пацифистская литература. В настоящее время ни один государственный деятель, быть может, даже ни один военный в мире не решился бы сказать о «божественном искусстве войны» то, что сказал основатель польской социалистической партии.

Этот человек жил для Польши, для войны, для славы, — отвою Польше первое место. Пилсудский сорвался со страниц исторических романов Сенкевича. Он — последний пан Володыевский, ныне вступивший в эпоху, когда Володыевским нечего делать. Если бы вспыхнула новая война, если бы началась коммунисти-

ческая революция, никто, вероятно, не мог бы заменить Польше Пилсудского. Но в Гладстоны и Линкольны он явно не годится. Существует довольно нелепая поговорка: «Кто сеет ветер, пожнет бурю». Она порою оправдывается, однако далеко не всегда. Пилсудский всю жизнь сеял бурю. Будущее темно, подождем — увидим. До сих пор успех почти всегда сопровождал польскому маршалу. «Ничто не имеет такого успеха, как успех».

Жорж Клемансо



Клемансо

I.

В марте прошлого года я был в Сорбонне на довольно необычном диспуте. Защищал докторскую диссертацию по философии человек, которому шел восемьдесят седьмой год. Экзамен, предшествующий защите диссертации, он сдал шестьдесят пять лет тому назад. Это был Луи Андрие, бывший депутат, бывший франкмасон, бывший революционер, бывший префект французской полиции, известный своим остроумием и тем, что он «видал виды». Виды он видал разные, — говорят, никто в мире таких не видывал. В частности, ему очень хорошо известны все закулисные дела, вызывавшие много шума в период Третьей республики. Панамский скандал, самоубийство герцога Эльхингенского, покушения и слежка, французские анархисты и русские «нигилисты», революция и полиция, сыщики и преступления, изменники и провокаторы, притоны и клубы, — обо всем этом Андрие мог бы рассказать очень многое; да кое-что он в своих воспоминаниях и рассказал.

Зачем этому человеку вздумалось на 87-м году жизни защищать докторскую диссертацию по философии, сказать трудно: мало ли какие бывают у людей причуды. Обставлен был веселый диспут, разумеется, со всей торжественностью обычаев Сорбонны. В раззолоченной аудитории имени Лиара почтенные профессора философии, во главе с Брюнсвиком, со вниманием слушали вступительное слово кандидата, учтиво задавали ему ученые вопросы, мягко отмечали достоинства и недостатки его работы (о Гассенди*). Андрие держался в отношении профессоров подчеркнуто почтительно и, как школьник, вставал всякий раз, когда ему предлагали вопрос. Так, один из оппонентов ука-

* Гассенди Пьер (1592—1655) — французский философ, математик и астроном. — *Прим. ред.*

зал, что диссертант не всегда делает в подстрочных примечаниях ссылку на источник. «Вот, например, вы приводите слова Виктора Гюго, не указывая, откуда именно они взяты»... Андрие поспешно встал и почтиительно прервал оппонента: «Виноват... Разрешите пояснить вам — я лично слышал эти слова от Виктора Гюго»... Эффект ответа начинающего ученого был чрезвычайный. Профессор-экзаменатор еще не родился в ту пору, когда экзаменующийся дружески беседовал с Виктором Гюго.

Публика в зале Лиара собралась в этот день, как легко догадаться, и весьма многочисленная, и не совсем обычная. Немало было студентов, но был и «цвет парижского общества», и множество журналистов: не каждый день защищают философские диссертации отставные префекты полиции. Я пришел рано и занял место на одной из передних скамеек аудитории. Вдруг сзади меня кто-то зааплодировал — и сразу грянули оглушительные рукоплескания. В аудиторию входил Жорж Клемансо.

Председатель пригласил его занять место на профессорской трибуне. Он жестом отклонил предложение и уселся рядом с юношей студентом, которого, видимо, очень смутило такое соседство. Один из профессоров как раз должен был обратиться к Андрие с замечанием по поводу Гассенди — и начал свои замечания так: «Разрешите, милостивый государь, прежде всего вас поблагодарить за публику, благодаря вам явившуюся на диспут. Нам, ученым, иногда случается читать лекции о людях, которые в древности спасли родину. Но едва ли кому из нас приходилось выступать с кафедры в присутствии человека, спасшего родину»... Профессор не успел произнести эти слова: «*en présence du sauveur de la patrie*», — публика повставала с мест и снова разразилась бешеными аплодисментами. Рукоплескания, крики: «*Vive Clemenceau!*» длились несколько минут. Я никогда ничего такого в Сорбонне не видел.

Он сидел неподвижно, точно не понимая, к кому относится овация. За несколько лет он почти не изменился. Недоброе бесстрастное лицо, седые, отстающие, точно плохо приклеенные, брови, холодный, пронизательный взгляд черных глаз, вместе и равнодушный, и как будто чуть-чуть удивленный.

После окончания диспута он подошел к Андрие, поздравил его и шутливо пожелал успеха в новой

академической карьере. Их политическая деятельность, далеко не всегда согласная, их личная дружба, кажется, тоже не всегда безоблачная, длятся около семидесяти лет!

В публике, конечно, были люди разных политических воззрений. Весьма возможно, что сторонники взглядов, враждебных Клемансо, в ней даже численно преобладали. Но «le père la Victoire»* где-то сидит в душе у каждого француза. Не очень давно журналист, производивший какую-то анкету, описывал «обстановку» видного французского социалиста: его кабинет украшен портретами Маркса и Жореса, — зато рядом, в гостиной, которой ведает жена хозяина, висит портрет Клемансо.

Для людей моего поколения Клемансо всегда был и будет живым уроком энергии и бесстрашия, наглядным доказательством того, что в большой игре нет безвыходных положений. Он тонул много раз, жизнь заботливо создавала для него положения, казалось бы, безвыходные. Собственно, самое удивительное в этом необыкновенном человеке: как он еще жив — почти в девяносто лет, с пулей в груди, после всего испытанного...

II.

Чужая жизнь тайна — это давно сказано. Мы ничего ни о ком толком не знаем. Из малого числа известных нам о человеке важных фактов (для ясного понимания которых нужно было бы знать огромное число фактов не столь важных и поэтому неизвестных) биограф создает более или менее вероятную схему и старательно укладывает в нее жизнь своего героя: первый период, второй период, третий период... Жизнь Клемансо было бы нетрудно разбить по графам, и схема получилась бы соблазнительная: он в конце жизни старательно разрушал то, чему служил в ее начале. На самом деле все это было, вероятно, много сложнее.

Он родился в 1841 году в вандейской деревушке. Ребенком он видел революцию 1848 года, а в детстве

* «Отец Победы» (фр.).

был окружен людьми, которые помнили Великую революцию. Отец Клемансо воспитывал детей чуть только не в традициях 1793 года. Люди они были не бедные. Их семья владела настоящим «замком» (во Франции всякий деревенский двухэтажный дом — замок), имела герб и даже некоторые права на титул. Но ни гербом, ни титулом они никогда не пользовались, относясь к дворянству весьма иронически. Жорж Клемансо учился — довольно плохо — в Нантском лицее, затем — довольно хорошо — в Париже на медицинском факультете, который окончил в 1862 году.

Веяния той эпохи достаточно известны: французские шестидесятые годы очень напоминали наши. Жизнь молодежи всегда и везде определялась поветриями. У нас поветрие прежде всех несло к революции, теперь несет в другую сторону, — пройдет время, и возвратится ветер на круги своя. Из французского философско-политического инкубатора Второй империи вылупливались задорные юноши, позитивисты, материалисты, республиканцы, энтузиасты. Таким юношей — думаю, очаровательным — был в 1860 году Жорж Клемансо. Сохранилось несколько прелестных его статей того времени. Так, он горячо бранил Альфонса Доде за то, что писатель, лишь начинавший тогда свою блестящую карьеру, в недостаточно привлекательном свете изображал жизнь и людей. Писал Клемансо в крошечных и сердитых журналах Латинского квартала, — из тех, что в первом номере (с грозным программным манифестом) объявляют себя еженедельными, во втором становятся ежемесячными, в третьем неопределенно-периодическими, а до четвертого обыкновенно не доживают. Журналы эти платят сотрудникам преимущественно почетом и славой. В них всегда есть в изобилии отделы, подотделы, редакторы, заведующие. Мне попадалось указание, что в одном из таких журналов начала шестидесятых годов политическим отделом ведал Жорж Клемансо, литературным — Эмиль Золя, художественным — Сезанн. Это слишком эффектно для того, чтобы быть правдой. В Национальной библиотеке я такого журнала не нашел.

В пору Второй империи молодые люди с душой чрезмерно открытой добру и правде часто попадали в тюрьму. Старинная Мазасская тюрьма (уже давно не существующая) гостеприимно открыла двери перед юным редактором. Его отвезли туда в неудобном

полицейском экипаже, в котором, вследствие тесноты, он должен был занять место на коленях у мясника-убийцы. В тюрьме, согласно регламенту, ему предложили выкупаться в общей ванне с уголовными преступниками, в воде темно-кофейного цвета; а так как он на это не соглашался, то его посадили туда насильно. Все остальное было в том же роде, и симпатии Клемансо ко Второй империи после его выхода из тюрьмы не увеличились. В ту пору он познакомился с Бланки, отбывавшим также наказание по одному из своих бесчисленных дел. Знаменитый заговорщик предложил молодому человеку организовать подпольную типографию. Предложение было принято с восторгом. Типографию создали, но заведовал ею Клемансо недолго. Вести борьбу с правительством посредством агитации и пропаганды — это был для горячего юноши слишком скучный и медленный путь. Он представил Бланки другой план, гораздо более решительный. Клемансо и его сверстник Шерер-Кестнер предлагали похитить в Тюильрийском дворце Наполеона III. В романах Дюма такие предприятия часто удаются и приводят к самым благоприятным результатам. Что предполагалось сделать с похищенным императором, остается невыясненным: Бланки, имевший некоторый опыт в технике заговоров, раскритиковал план своего ученика. Наполеон похищен не был. Клемансо обиделся — и отошел от революционной деятельности.

Он вдобавок окончил курс в университете и защитил докторскую диссертацию на тему о «*génération spontanée*», бывшую тогда в большой моде и в России. Посвящать себя науке Клемансо, однако, не собирался, и делать ему во Франции было нечего. Он отправился в Англию учиться мудрости у Джона Стюарта Милля, затем переехал в Соединенные Штаты («с тем, чтобы изучить на месте законы демократии»). Время для изучения законов демократии было не вполне удачное: в Штатах шла отчаянная гражданская война. Клемансо еще застал первобытную, почти куперовскую Америку. Во время Версальской конференции он говорил, что знает Соединенные Штаты гораздо лучше, чем Вильсон, кабинетный ученый и кабинетный политик. В Америке Клемансо прожил несколько лет,

* «Самозарождение» (фр.).

женился на американке и с молодой женой вернулся во Францию — как раз к Седанской катастрофе. 4 сентября 1870 года он «взял штурмом нынешнюю палату депутатов». Штурм был не кровопролитный и свелся к кулачному бою со швейцаром, сторонником империи. Все сошло благополучно. Швейцар принял республиканскую платформу, сохранил должность и в течение всей жизни, подавая пальто Клемансо, рассыпался в извинениях по случаю своей неучливости в день 4 сентября. Сам же Клемансо с установлением республиканского правительства был назначен мэром 18-го парижского округа. На этом посту его застало восстание Коммуны.

III.

Мы теперь часто читаем в иностранной печати: «Все это могло случиться лишь в России». Все это — т. е. «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Я недоумеваю: почему же лишь в России? Точно на Западе ничего в этом роде не бывало. Франция — самая цивилизованная страна на свете, однако за неделю, с 22 по 26 мая 1871 года, на улицах лучшего в мире города одни контрреволюционеры расстреляли более двадцати тысяч человек. Немало людей было казнено и революционерами. Они же вдобавок сожгли Тюильрийский дворец, городскую ратушу, еще десятки исторических зданий и только по чистой случайности не разрушили Лувр и Notre-Dame de Paris. Если этот бунт не бессмысленный и не беспощадный, то чего же еще можно, собственно, желать?

В мрачной повести Парижской коммуны не разобралась и «беспристрастная история». Спор 1871 года разрешается не так просто, как вопрос о нашем «октябре». Одно можно сказать с уверенностью: той *последней крайности*, которая только и может оправдать революцию в 1871 году во Франции, конечно, не было. Человек-зверь блестяще показал себя в обоих лагерях, но дали ему возможность себя показать коммунары. Хватать нечем ни тому, ни другому лагерю. И на этом страшном потрясении оправдалось слово Шопенгауэра: «Die große schwere Masse sich in rascher Bewegung vorzustellen ist ein schrecklicher Gedanke»*...

* «Представить себе огромную массу в быстром движении ужасно» (нем.)

Я еще застал в живых кое-кого из коммунаров, я слышал Вальяна, видел Рошфора. Первый из этих революционеров напоминал по внешности бухгалтера, второй — маркиза (он и был, впрочем, аристократом). Из уцелевших участников революции одни стали впоследствии реакционными министрами или еще более реакционными публицистами. Другие остались до конца верны идеям молодости. Были среди коммунаров люди исключительно благородные, как Флуранс; были люди весьма сомнительные, как Рауль Риго, циничный мальчишка-неудачник, вымещавший на французской культуре свои экзаменационные провалы в училищах. Были люди искренно убежденные, и были злостные банкроты, жулики, сутенеры, клептоманы, прогрессивные паралитики, как Алликс, или полоумные, как аптекарь Бабик, проповедовавший «фюзионистскую религию» и официально себя именовавший «enfant du règne de Dieu et parfumeur universel»*. Дало, разумеется, своих представителей и искусство, — искусство везде имеет своих представителей. Курбе, гениальный художник и гениальный рекламист, использовал Коммуну для такого способа саморекламы, которому мог бы позавидовать сам Габриеле д'Аннунцио, завоеватель Фиуме: он разрушил Вандомскую колонну**.

В техническом отношении восстание Коммуны было совершенно младенческим. Достаточно сказать, что эти революционеры, нуждаясь в деньгах для борьбы, пробавлялись крошечными ссудами и реквизициями по несколько сот тысяч франков, — у них под рукой, в погребах Французского банка, лежало в ту пору более двух миллиардов! Эти люди расстреливали ни в чем не повинных заложников и готовы были разрушить Notre-Dame, но посягнуть на Французский банк им представлялось делом немислимым: министр финансов Коммуны Журде недаром воспитывался в коммерческом училище. В том же роде было и многое другое в деятельности коммунаров: они занимались уничтожением реакционных эмблем, переименовывали улицы и залы, вырабатывали для себя форму, обсуждая цвет шарфа и устанавливая характер галунов. Генералов они меняли беспрестанно и в решительную минуту во

* «Дитя царства Божия и всеобщий парфюмер» (фр.).

** Некоторые биографы Курбе отрицают его непосредственное участие в разрушении Вандомской колонны. Роль его в этом постановлении Коммуны была, во всяком случае, очень велика.

главе своей армии поставили польских эмигрантов, — точно французский солдат или рабочий, хотя бы революционер и интернационалист, может иметь доверие к генералам с фамилией Домбровский или Вроблевский. Ничего не стоила и работа по укреплению революционной столицы. Историки, сочувствующие коммунарам, до сих пор серьезно рассказывают, что в защите Парижа было одно слабое место — *Porte Saint-Cloud** — и что изменник Дюкатель выдал его армии версальцев! Выдача тайны незащищенной *Porte Saint-Cloud*, через которую идет прямая и кратчайшая дорога из Версаля в Париж, составляет один из самых удивительных эпизодов в истории восстания коммунаров.

В общем, идеализма в этом восстании было не очень много. В контрреволюции его было еще гораздо меньше. Она затмила революцию своей бессмысленной жестокостью. Было в ней вдобавок и что-то напускное, как бы умышленно циничное. Одна из контрреволюционных газет называла расстрел двадцати тысяч человек «разрешением социального вопроса». «Нежные поэты» слагали трогательные стихи в честь твердой власти. Теофиль Готье написал о страданиях пленных коммунаров несколько малоизвестных и довольно бесстыдных страниц. Главные руководители расстрелов даже преувеличивали собственные подвиги: неглавные выдавали себя за главных. Так, маркиз де Галифе, прославившийся на весь мир укрощением Парижской коммуны и покроем своих брюк, очень щеголял проявленной им жестокостью. В Галифе было многое от Курбе; он так же хорошо знал свое дело и так же нежно любовался собой. Курбе подделывался под «гигантов Возрождения», Галифе был «*très vieille France*»**, не то мушкетер, не то кондотьер, «*un rude soldat tout d'une pièce*»***, человек, сделанный из стали. Высшая аристократия, кажется, не считала его своим — быть может, из-за еврейского происхождения маркизов Галифе или оттого, что он служил сначала Бонапарту, потом республике. А он служил Бонапарту и республике больше назло высшей аристократии. Человек он был бесспорно очень храбрый, но простой храбрости ему было мало: ему была нужна «*bravoure*

* Застава Сен-Клу (*фр.*).

** «Человек старой Франции» (*фр.*).

*** «Суровый солдат, цельная натура» (*фр.*).

légendaire)*, — ее враги в нем отрицали. Одним из самых блестящих подвигов французского оружия в войну 1870 года считается геройская кавалерийская атака в седанском бою, которую специалисты ставят вровень с атакой кавалергардов под Аустерлицем. Повел в атаку кавалерийскую дивизию под Седаном известный храбрец генерал Маргерит; он был, однако, убит в самом начале боя. Командование дивизией принял на себя один из подчиненных ему полковых командиров — но какой именно? Маркиз де Галифе утверждал всю жизнь, что это он повел в атаку дивизию после смерти генерала Маргерита. То же самое утверждал о себе другой командир полка, князь де Боффремон. Казалось бы, такой вопрос легко разрешить точно и документально. В действительности мы так и умрем, не зная, кто именно вел в атаку кавалерию в седанском бою: князь де Боффремон или маркиз де Галифе. Время от времени (в течение долгих лет) они писали письма в редакцию газет: «Это было, когда я вел в атаку кавалерийскую дивизию под Седаном»... Следовал ответ: «Генерал заблуждается: это я вел в атаку кавалерийскую дивизию под Седаном». Два левых публициста из ненависти к усмирителю Коммуны произвели даже специальное исследование вопроса и, конечно, пришли к выводу, что кавалерию вел в атаку князь де Боффремон. Коммунаров Галифе расстрелял немало, но для красоты еще преувеличивал их число — и, по-видимому, поступал правильно: дамы сходили по нем с ума. Мечтой жизни Галифе было стать диктатором, не столько во имя идеи — никаких идей у него не было, — сколько ради красоты диктаторской роли. В диктаторы он не вышел, но в республиканских министрах побывал. Через тридцать лет после усмирения Коммуны Вальдек Руссо, к всеобщему изумлению, соединил в своем кабинете Галифе с Мильераном — тогда еще горячим социалистом. На первом же заседании палаты товарищи Мильерана по партии встретили Галифе скандалом, бешеными криками «убийца!»... Садясь спокойно на свое место и «les regardant bien en face»**, маркиз де Галифе представился: «Assassin, voilà»***. Это было «très vieille France»****...

* «Легендарная храбрость» (фр.).

** «Глядя прямо в лицо» (фр.).

*** «Вот убийца» (фр.).

**** «Старая Франция» (фр.).

Роль Клемансо в истории Коммуны не была и не могла быть первостепенной. Близко связанный с многими коммунарами, он, однако, никогда не сочувствовал их идеям. Трагическое событие, положившее начало революции 1871 года — убийство генералов Тома и Леконта, — произошло на улице Розье в 18-м округе, мэром которого был Клемансо. Враги чуть не по сей день попрекают его тем, что он не принял мер для спасения генералов. В действительности Клемансо сделал для их спасения все, что мог. Когда он явился на улицу Розье, генералы уже были убиты и толпа едва не растерзала его самого. Драма эта произвела на него действие потрясающее. Иллюзии молодого энтузиаста разбились навеки. Клемансо говорил много лет спустя, что в тот день он впервые задумался над «проблемой народа»: перед ним предстала «l'âme du peuple, injuste et logique, féroce et sublime, capable des pires forfaits et des plus héroïques sacrifices»...

В дальнейшем роль Клемансо была преимущественно примирительной. Восстание Коммуны — единственное историческое событие, в котором он сохранял нейтралитет, столь несвойственный его характеру. Он делал то, что делали многие другие. Две последние попытки предупредить гражданскую войну привели французское масонство, имевшее связи в обоих лагерях. Из этого ничего не вышло, как ничего не вышло из соответственных попыток Клемансо. Оба лагеря отнеслись к нему враждебно — что довольно естественно. Законы Солона** карали смертью людей, которые в гражданской войне не становятся ни на ту, ни на другую сторону. Роль постороннего примирителя в таких случаях особенно неблагоприятна. Клемансо пришлось скрываться; какой-то ни в чем, даже в миролюбии, не повинный человек, походивший на него наружностью, едва не был расстрелян по ошибке. Попасть под расстрел было очень нетрудно: победителям было подано на побежденных 399 823 доноса (из них 95 процентов анонимных).

Избранный еще до революции членом Национального собрания, Клемансо вместе с Виктором Гюго,

* «Душа народа, несправедливая и логичная, жестокая и нежная, способная на худшее и на самые героические жертвы» (фр.).

** Солон (VII—VI вв. до н.э.) — афинский архонт, провел реформы, способствовавшие ликвидации пережитков родового строя. Античные предания причисляли его к семи греческим мудрецам — *Прим. ред.*

Гамбеттой и эльзасскими депутатами протестовал против отторжения от Франции Эльзаса и Лотарингии. Затем он сложил с себя звание депутата. В течение шести лет после восстания Коммуны он занимался муниципальной деятельностью, в которой, как и во всем другом, достиг пределов успеха: он был избран председателем парижского муниципального совета. Но, по-видимому, Клемансо не был создан для мирного городского хозяйства. В 1876 году Париж избрал его своим представителем в палату депутатов.

IV.

Главным делом его стало создание радикальной партии. Для современных радикалов «клемансизм» — бранное слово. Однако те идеи, которыми и по сей день живет эта партия, сыгравшая огромную роль во французской истории, были пущены в политическое обращение именно Клемансо. Я не говорю, что они были им созданы: об авторских правах здесь говорить, собственно, не приходится — пришлось бы вспомнить многое и разное: Джона Стюарта Милля и Вольтера, Дантона и Кондорсе. Этот идейный «блок», конечно, всем известен. В условиях вековой устоявшейся политической культуры он дал блестящее явление Гладстона. В более тяжелых условиях республики, провозглашенной и принятой, но непрочной и в себе неуверенной, он породил французский радикализм (разумеется, аналогия эта верна лишь в известной мере).

Первая речь Клемансо в палате была сказана в защиту амнистии и сразу создала ему большую популярность. Он был на виду уже в пору Коммуны; в конце первой своей парламентской сессии Клемансо стал европейской знаменитостью. Газета «Times» писала, что ему принадлежит близкое будущее Франции. После одной из его речей по иностранной политике старик Бисмарк, очень чувствительный ко всему, касавшемуся дела его жизни, спросил Бловица: «Не знаете ли вы, кто этот Клемансо? За этим человеком нужно следить»...

Политическая тактика вождя радикальной партии, в сущности, глубоко расходилась с характером, с тоном идей, которым он служил. Идеи эти предполагали — по крайней мере до некоторой степени — бережное отношение к людям, доверие к народу, отсутствие злобы,

уважение к чужим взглядам, не только формальную терпимость, но и внутренний, духовный либерализм. Все это было у Гладстона, — и ничто не было так чуждо Клемансо. Деятельность его сводилась к беспощадной критике и программ, и людей. Его называли сокрушителем министерств. Сокрушил он на своем веку действительно очень много правительств, — в их числе были известнейшие министерства Третьей республики. Он вывел в люди генерала Буланже, и он же Буланже погубил, когда тот стал помышлять об их совместной диктатуре. Может быть, Клемансо не хотел диктатуры. А может быть, он не хотел диктатуры совместной.

В Клемансо, еще при жизни Гамбетты и гораздо позднее, после появления Жореса, многие ценители (в том числе Золя) видели лучшего оратора Франции. Во французском политическом красноречии он произвел ту же реформу, какую Анри Робер произвел в красноречии судебном: Клемансо порвал с традицией пышного слова. Говорил он просто и сжато, без дешевых образов и других стилистических красот. Особенность его блестящего таланта заключалась, помимо большого диалектического искусства, в энергии выражения, в «ударности» фразы, пожалуй, в силе ненависти, которую он, когда было нужно, умел, без ораторских фокусов, вкладывать в то, что говорил. Некоторые из памятных речей Клемансо представляют собой «бой на уничтожение противника» в настоящем смысле этих слов. Со всем тем одного красноречия было бы, вероятно, недостаточно, чтобы свергнуть десяток министерств. Да и свергаются ведь правительства в парламентских странах больше в кулуарах, чем с ораторской трибуны. Можно сказать с полной уверенностью, что такого, как Клемансо, знатока и мастера закулисной техники парламента французская история не знала — по крайней мере до появления Бриана.

Очевидно, здесь надо было бы начать «второй период» в жизни Клемансо. Переворот, совершившийся в его душе, можно себе представить приблизительно так. Молодой идеалист, предлагавший наивные заговоры Бланки, кое-чему научился в трагическом зрелище Коммуны. Любитель образов сказал бы, что книгу жизни Клемансо стал читать в свете парижского пожара. Оказалось, что людьми управляют не так, как думал юноша, порицавший Альфонса Доде за недостаточно светлое отношение к жизни. Из этого человеку,

созданному для того, чтобы править людьми, нужно было сделать выводы: «Вы не таковы, какими я вас себе представлял. Так я найду способы борьбы, которые заставят вас пойти за мною»...

Резкость его политических выступлений была поистине беспредельна. Она создала Клемансо прозвище тигра и привела его к ряду поединков, прочно закрепивших за ним репутацию бретера. По словам Деруледа, он правил Францией из-за кулис, наводя страх на депутатов «своим языком, своей шпагой, своим пистолетом»... «У меня были в жизни только те дуэли, которых я искал», — говорил на старости лет сам Клемансо. Свою политическую тактику он и по сей день считает правильной. «Будьте злы в политике, — советует он начинающим. — Даже я был, пожалуй, еще недостаточно зол»... Его политические наставления молодым людям и вообще напоминают разговор Мефистофеля с учеником. Совсем недавно в беседе с сотрудником «Сомоедиа» он сказал: «Сердце? Я не знаю, что это такое. Это не существует... Такое же слово, как добродетель»...

Надо, разумеется, очень верить не только в свою правоту, но и в свои силы для того, чтобы следовать такой тактике. «Трава не растет там, где проходит Клемансо», — сказал когда-то Гамбетта. Время политических Атил кончилось, да и на Аттилу в конце концов нашлась на полях Каталаянских* управа. В политике Каталаянские поля попадают повсеместно. Клемансо слишком долго сеял вокруг себя ненависть. За все время существования Третьей республики ни один человек не имел такого числа врагов, как он, — врагов и политических, и личных. В выборе последних он, по-видимому, был особенно несчастлив.

Опаснейшим из его врагов был талантливый и хлесткий журналист, стоявший в ту пору во главе самой распространенной в мире газеты. Он жив еще и в настоящее время, но давно сошел со всех сцен, на которых когда-то выступал с огромным успехом. Теперь он о себе напоминает лишь очень редко, притом с самой неожиданной стороны. Адвокат Торрес недавно украсил статью бывшего вдохновителя националистов свою книгу о процессе Шварцбарта... Жизнь Клемансо

* Каталаянские поля — здесь, вблизи города Труа, войска Западно-Римской империи разгромили гуннов во главе с Аттилой. — *Прим. ред.*

можно было бы представить, как долгую, упорную, исполненную жестокой ненависти борьбу с этим человеком, если бы по силе и значительности противники все же были более близки друг к другу.

Общеизвестное резкое слово Пушкина о политике имеет очень ограниченный смысл; но в этом ограниченном смысле оно совершенно соответствует истине. Всякий политический деятель неизбежно становится достоянием улицы, и людям, которые в вылитом на голову ушате помоев способны видеть хотя бы легкую неприятность, конечно, в политике нечего делать. Забавно то, что каждая нация и каждая эпоха считают уличные приемы политической борьбы своей особенностью. В доказательство того, что где-то политика делается не так, а гораздо деликатнее, мы обычно ссылаемся на Европу, немцы на Францию, французы на Англию, англичане же скорбят о падении нравов «во времени», — «в пространстве» им не на кого ссылаться: в Англии в самом деле дело обстоит в *нормальные времена* несколько лучше, чем в других странах, главным образом благодаря страшному британскому закону о *libel*^e.

Самым лучшим коррективом к прелестям политического ремесла является, конечно, нечувствительность, вырабатывающаяся с годами у большинства настоящих политических деятелей. Однако к Клемансо рассуждения об участии политических деятелей вообще совершенно неприменимы.

Не каждый политический деятель вдобавок позволит себе роскошь иметь смертельного врага в хозяине могущественной газеты с тремя миллионами читателей. Во всяком случае, для роскоши этой нужно чувствовать себя неуязвимым хотя бы в частной жизни. Жореса, например, травили разные газеты, и кличка «герр Жорес» в конце концов подвела его под пулю полоумного убийцы. Но что можно было использовать для травли Жореса, кроме этой клички? Он вел скромную, тихую, замкнутую жизнь, выделялся своим трудолюбием даже среди французов — самых трудолюбивых людей на свете, отдыхал от политической борьбы за чтением греческих классиков, никакими делами не занимался, был образцовый муж, образцовый отец, образцовый брат, даже племянник был образцовый. Раскапывая

^e Клевета (англ.).

частную жизнь Жореса, враги открыли то, что он, вопреки своим взглядам, разрешил жене воспитывать детей с соблюдением обрядов церкви! Ничего ужаснее этого улича в личной жизни Жореса найти не могла. Клемансо отнюдь не отличался тихим нравом, отнюдь не жил как добрый буржуа, отнюдь не был образцовым семьянином*. В своей светской и шумной жизни он сближался с самыми разными людьми. Были среди них люди весьма сомнительные. Клемансо не мог считаться совершенно неуязвимым.

V.

Драма, которая разыгралась в 1892—1893 годах, была в двух действиях. Из них первое — панамское — слишком известно для того, чтобы его стоило рассказывать: недаром стало нарицательным самое слово «Панама». Два дельца высокого полета, Корнелий Герц и барон Рейнак, при помощи мелкого мошенника Артона подкупали членов парламента для устройства чрезвычайно крупной аферы. Списки подкупленных или якобы подкупленных депутатов были опубликованы. Клемансо в этих списках не было, и сколько-нибудь определенных обвинений в продажности ему никто не предъявлял. Но одним из крупнейших акционеров его газеты «Justice» был Корнелий Герц. Большинство идейных газет во всех странах мира издается на средства меценатов. Каждый понимает, что редактор газеты, принимая для нее меценатские деньги, вовсе не принимает на себя тем самым ответственности за гражданскую (тем более за уголовную) деятельность мецената. Каждый понимает также, что, приняв деньги для газеты, редактор обычно должен поддерживать добрые светские отношения с меценатом, — деньги чаще всего именно для этого и даются. Вопрос о чести редактора в таких случаях определяется тем, сохраняет ли он независимость в отношении меценатских дел и делишек. Газета «Justice» аферами Герца не занималась ни в какой мере. Давал он на нее деньги, по всей видимости, из тщеславия, да еще потому, что этому прожженному, даровитому человеку чрезвычайно нравился вождь радикальной партии. Корнелий Герц, авантюрист, фантазер и изобретатель, не-

* Его развод с женой вызвал когда-то много шума.

сколько запоздалый рождением Калиостро, был почти влюблен в Клемансо, безгранично верил в его ум, в его талант, в его счастье*. Между Герцом и Рейнаком, который тоже был в добрых отношениях с Клемансо (как, впрочем, со всем светским Парижем), существовали темные коммерческие отношения: Герц имел какую-то возможность шантажировать Рейнака и этой возможностью далеко не пренебрегал. В критический для панамистов момент, перед официальной оглаской скандала, барон Рейнак был найден мертвым в своем роскошном особняке на улице Мурильо. По-видимому, он отравился. Последним человеком, видевшим его в живых, был Клемансо, к которому перед смертью тщетно обратился за советом и помощью доведенный до крайности финансист.

Нетрудно догадаться, как использовали враги Клемансо столь неблагоприятное для него стечение обстоятельств. Одни прозрачно намекали, что он и погубил барона Рейнака. Другие ясно давали понять, что Клемансо свергал министерства, взрывал общественный строй и сеял анархию в угоду Корнелию Герцу, который действовал по инструкции враждебных держав. В ту пору одной из самых враждебных держав считалась Англия. А так как Клемансо всю жизнь проповедовал франко-британский союз, то вывод представлялся ясным: «сокрушитель министерств» был английским агентом.

Что было на это отвечать? «Я в ту пору еще отвечал на клевету», — пояснял впоследствии Клемансо. Отвечал он преимущественно вызовами на дуэль. Это производило шум, — тактика весьма неудачная. То небольшое, что от шума оставалось в памяти избирателей, сказывалось неблагоприятно: самоубийство Рейнака — и Клемансо... Корнелий Герц — и Клемансо... Английские деньги — и Клемансо... Панамский скандал — и Клемансо... Не имея, по существу, никакого отношения к панамскому делу, Клемансо как-то стал чуть ли не главным из панамистов. Оставалось нанести ему решительный удар. Было создано дело Нортон.

Негр Нортон был, по собственным его словам, «британский подданный, но француз в душе». Он уг-

* Мне попалось где-то указание, будто Герц, нуждаясь в помощи хирурга, просил, чтобы операцию ему сделал Клемансо!

верждал, что служил переводчиком в английском посольстве. Английский посол, в пору судебного следствия, категорически это отрицал, признавая, однако, что Нортон по собственным делам иногда захаживал в посольство. В качестве британского подданного, но француза в душе негр, человек неглупый, явился к руководителям партии националистов, к Мильвуа, Деруледу, Моресу, и сообщил им в глубокой тайне, что ему удалось похитить документы чрезвычайной важности: переписку британского министерства иностранных дел с британским посольством в Париже. Переписка эта в главной своей части относилась к Клемансо, неотразимо уличая его в государственной измене. Из похищенных документов следовало, что вождь радикальной партии за двадцать тысяч фунтов стерлингов продал Англии свою родину.

Документы эти негр соглашался продать по сходной цене: он требовал сто тысяч франков. Владелец газеты с миллионным тиражом предложил свои средства. С негром поторговались и документы у него приобрели. В печати была мастерски произведена подготовка сенсации. Был объявлен день и час, когда с трибуны парламента депутат Мильвуа приведет похищенные в британском посольстве документальные доказательства того, что «г. Клемансо — последний из людей».

Сенсация вышла действительно необычайная. Настолько необычайная, что у ворот палаты депутатов в указанный час собралась огромная толпа, предполагавшая бросить в Сену уличенного в измене депутата. Общее сочувствие было на стороне Мильвуа. По словам очевидцев, начало заседания носило истинно трагический характер. Правительство тщетно заявило протест против чтения с парламентской трибуны документов, выкраденных в иностранном посольстве. Газеты описывают сцену так. На трибуну взшел Мильвуа и, сильно волнуясь, приступил к чтению документов. Сбоку, стоя у стены, Клемансо, всеми покинутый, бледный как смерть, прерывал каждую фразу оратора возгласами: «Лгун!.. Подлец!.. Каналья!..» Кончилась эта скандальная сцена совершенно невиданным скандалом. По мере чтения документов грубый подлог выяснялся с полной для всех очевидностью. Нортон не позаботился даже о том, чтобы как следует подделать документы. Письмо, якобы написанное британским министерством иностранных дел, оказалось

исполненным грубейших ошибок, одна глупость следовала за другой, инициалы подписи были указаны неверно. В палате напряженная тревога и ненависть к Клемансо сменились взрывом возмущения против клеветников. Дерулед, искренно веривший в подлинность документов, тут же на заседании сложил с себя звание депутата.

«Ah, le rire de Clémenceau alors!..»* — писал с глубокой горечью Морис Баррес, в ту пору ожесточенный враг Клемансо, впоследствии его восторженный поклонник. «Это был смех измученного, уже более не владеющего собой человека... Он до того считал себя погибшим... При первой неудаче весь этот шабаш обратился бы против него...»

Дело закончилось судебным процессом. Анри Робер защищал Нортон, Клемансо лично выступил в качестве гражданского истца. Негр, сознавшийся в подлоге, был приговорен к 3 годам тюрьмы. Клемансо получил по гражданскому иску свой франк *dommages-intérêts*** . Получил он и несколько вызовов на дуэль со стороны вождей националистов. Незадолго до того он вызывал вождей националистов на дуэль. Они отклонили его вызов, ссылаясь на то, что человек, подозреваемый в государственной измене, не может быть признан дуэлеспособным. Теперь Клемансо отклонил их вызовы, указав, что люди, пользующиеся подлогами для борьбы с противниками, не могут быть признаны дуэлеспособными. Газеты того времени полны протоколов, относящихся к этим вызовам, писем секундантов, суждений арбитров, суперарбитров и т. д.

В арифметике сумма нулей равна нулю. В политике не всегда так бывает. Каждое обвинение в отдельности было признано клеветническим. В совокупности они губили Клемансо. Началась избирательная кампания. Все, что можно было пустить в ход для провала его кандидатуры, было в ход пушено. Помимо ежедневного потока брани, распространялся в миллионах экземпляров номер газеты, специально посвященный Клемансо. Он выступал в своем округе Варс не иначе, как под охраной. За ним по пятам следовали «отряды особого назначения». Назначение это заключалось в том, чтобы не давать говорить Клемансо. Голос его

* «О, этот смех Клемансо! » (фр.)

** Компенсация за моральный ущерб (фр.).

покрывался кошачьим концертом с основной нотой «Aoh, yes!..». Журналист, о котором я говорил, написал пасквильную статью, в ней каждая фраза кончалась этим припевом. Большинство митингов Клемансо было сорвано. Лишь в Салерне ему удалось довести митинг до конца. Эта салернская речь, в которой он рассказал свою жизнь, считается лучшей речью Клемансо. Она действительно представляет собой очень высокий образец ораторского искусства. Но салернскую речь слышали тысячи людей, а газету читали миллионы. Против «Aoh, yes!..» доводы были бессильны. Мораль была, собственно, одна: нельзя ссориться с газетой, имеющей три миллиона читателей...

Ровно через четверть века, после окончания мировой войны, Клемансо, достигший вершин славы, прибыл снова в Вар. Его встретили многочисленные делегации от поклонников. Среди них был человек, состоявший в 1893 году начальником одного из упомянутых выше «отрядов особого назначения». «Ах, это вы? — спросил его Клемансо. — Что ж вы не кричите «Aoh, yes»? «Господин президент, каждый человек может ошибаться», — невозмутимо ответил поклонник.

Другой поклонник такого же рода, депутат, травивший в свое время Клемансо в пору Конференции мира, на каком-то торжественном собрании почтительно обратился к проходившему мимо него председателю совета министров: «Господин президент, одно слово». Старик, бывший в хорошем настроении духа, вдруг остановился. «Un mot? — переспросил он. — Un mot vous suffirait, dites-vous?» Он с наслаждением уставился на депутата: «Eh bien, non, Monsieur, pas même celui-là!»* — сказал радостно Клемансо и пошел под общий смех своей дорогой. «Коклен не мог бы разыграть эту сцену лучше», — писал очевидец.

Так было в 1919 году. Но в 1893 году было совсем не так. Избирательная кампания, которую английские газеты называли беспримерной в истории парламентов, кончилась поражением Клемансо. Глава радикальной партии провалился в округе, считавшемся твердыней радикализма, и навсегда покинул палату депутатов. Одна из газет выразила следующими словами радость — почти всеобщую: «г. Клемансо — человек

* «Слово? Так вы говорите, вам достаточно одного слова?» — «Ну, нет, месье! Не дождетесь!» (фр.)

навек конченый. От этой зловещей карьеры отныне остается лишь зловещее воспоминание»...

Карьера была разбита. Казалась разбитой и жизнь. У Клемансо больше ничего не было: ни парламента, ни партии, ни семьи, ни друзей, ни средств.

Большой человек не идет ко дну. Чтобы избавиться от кредитов, он продал картины, японские древности, которые собирал много лет. Чтобы жить, он на шестом десятке лет решил стать писателем. До того он никогда литературой не занимался и в своей газете «Justice» не сотрудничал. Клемансо написал нашумевший роман, написал пьесу, исполненную безграничного презрения к людям, приобрел славу одного из лучших публицистов Франции. Преждевременно похороненный политиками, он нашел признание у людей искусства. Знаменитые художники писали его портреты. Роден изваял его бюст.

Близился час политического воскресения.

VI.

То, что Ром. Роллан где-то называет «ураганом дела Дрейфуса», не возникло сразу само собой в результате «взрыва протеста мировой совести». Мы ей, мировой совести, цену знаем, а в особенности взрываем ее протеста. Если бы страшная судебная ошибка случилась в Токио, в Буэнос-Айресе или в Бухаресте, она прошла бы, вероятно, почти незамеченной. Для создания урагана нужны были прежде всего престиж Франции, обаяние французской культуры. Во всем мире в течение нескольких лет говорили и писали главным образом о деле Дрейфуса, ибо о нем говорили и писали в столице мира. Но для того чтобы дело, непосредственно касавшееся все же лишь очень немногих людей, могло в течение нескольких лет быть злобой дня в Париже, требовалось редкое стечение обстоятельств и исключительное сочетание людей. Главной силой в лагере дрейфусаров был Клемансо. Он один из первых* понял характер, значение и перспективы дела Дрейфуса.

* Впрочем, в самом начале дела Клемансо, как все, был убежден в измене Дрейфуса — и печатно требовал его расстрела.

Анатоль Франс, который видел в Клемансо чуть только не воплощение самого духа зла, рассказывал, как они однажды, в самом начале дела Дрейфуса, вышли вдвоем поздно вечером из дома графини де Онэ и бродили по пустынным улицам Пасси до шести часов утра. Франс в ту пору уже примкнул к лагерю *intellectuels* (он, кстати сказать, не выносил этого слова). Отставной сокрушитель министерств беседовал с ним, «как с соратником». Разговаривали они всю ночь, конечно, о деле Дрейфуса. «Клемансо говорил со свойственным ему едким и жестким красноречием... Он указывал на власть лжи и заблуждения, на помощь низости, утверждал, что против нас восстанут почти все: виновные, невежды, трусы, скептики... Трудностям нет числа, — исчезнут одни, появятся другие. Тяжело это дело, и велик риск. *Кто любит покой*, сказал мне он, *тому бы лучше к нам не лезть. Я был совершенно убит* (*atterré*) и все раздумывал, уж не лучше ли мне в самом деле отступить перед этакими делами. В шесть часов утра Клемансо хлопнул меня по плечу, сказал: «А все-таки мы победим...» и убежал»...

Этот забавный рассказ едва ли не единственная наивная страница, оставшаяся нам от Анатоля Франса: по-видимому, «тигр» потешался над своим собеседником. Клемансо отлично знал Франса, да и к политикам-дилетантам вообще относился не без иронии. Едва ли и в Эмиле Золя он видел того «великого гражданина», каким автор «Ругон-Маккаров» был для всего лагеря дрейфусаров. Золя, писатель в лучшем и в худшем смысле этого слова, помесь д'Аннунцио с Лассалем с легкой примесью Виктора Маргерита, от природы имел потребность возбуждать страсти, любовь одних, ненависть других и каждое утро находил в газетах доказательство любви и ненависти. Дело Дрейфуса ему заменило «Землю» и «Нана». Свое знаменитое «*J'accuse*»*, акт и весьма мужественный, и тактически нелепый, Золя писал день и ночь, — он по-настоящему задыхался, когда писал. Но задыхаясь от искреннего негодования, он еще волновался при мысли, что другой писатель может раньше него обратиться с письмом к президенту республики. Золя сам говорил Жозефу Рейнаку, что эта мысль очень его тревожила: почему-то он особенно боялся конкуренции со стороны

* «Я обвиняю» (фр.).

Клемансо. Толстой «Не могу молчать» писал без мысли об авторском праве...

Прямой противоположностью Золя был Анатолий Франс. Он не любил шума и относился к нему брезгливо. Его литературная корона, в отличие от короны Золя, была создана из полноценных алмазов. В пору дела Дрейфуса он уже достиг славы, к которой шел медленно и верно. Время отныне на него работало. Что могло, собственно, взволновать в этом деле Анатолия Франса? Тоска по справедливости не очень сказалась в его творчестве. Неповинного в измене офицера сослали на Чертов остров. С точки зрения Сириуса, это никакого значения не имело; с собственной точки зрения Анатолия Франса, это было в порядке вещей: такие же и еще худшие дела творятся каждый день *in hac lacrimarum valle*^{*}. По взглядам автора «Таис», несправедливость была на свете правилом, а справедливость счастливым исключением. Рейнак цитирует его слова: «Все возможно, даже торжество правды»... Анатолий Франс, человек недоброжелательный и холодный, не любил ни правых, ни левых, да и ничего вообще не любил, кроме французского слова и искусства, которые в дела Дрейфуса замешаны не были. Но он от всей души желал поддерживать добрые отношения одинаково и с правыми, и с левыми. Избалованный общими похвалами, почти не изведавший брани, он инстинктивно перед ней сжимался. Анатолий Франс был на вакансии общенационального писателя, — вмешательство в дело Дрейфуса могло только ему повредить. Люди, не столь скептически настроенные, благо разумно сохраняли нейтралитет. Люди, перещеголявшие его в скептицизме, склонялись к лагерю антидрейфусаров. Знаменитый английский писатель, доживавший в Париже свои дни под ложным именем Мельмота^{**}, по странной случайности отлично знал, что виновником преступления, за которое пострадал Дрейфус, был майор Эстергази. Несмотря на это или, точнее, именно поэтому Оскар Уайльд был с Эстергази в приятельских отношениях, в меру сил ему помогая.

^{*} С совершенно иными нравственными выводами и предпосылками Л. Н. Толстой видел в деле Дрейфуса проявление массового умопомешательства: весь мир лежит во зле, а *они* спорят о какой-то отдельной несправедливости. *In hac lacrimarum valle*. — В этой обители слез (*лат.*).

^{**} Если не ошибаюсь, исследователям Оскара Уайльда осталась неизвестной маленькая роль «Мельмота» в деле Дрейфуса, — о ней вскользь упоминается в судебных отчетах и в трудах историков дела

Дрейфус мог томиться на Чертовом острове, если на каторге был сам Оскар Уайльд. Друг Уайльда от него отрекся, — стало быть, все люди были подлецами. Оскар Уайльд, кумир Англии, пропал без вести, Себастьян Мельмот, бывший каторжник за номером С. 3.3, доживал свои дни в нищете. Отчего было Мельмоту не оказывать услуг изменнику, вдобавок потомук Аттилы? Несчастье скептицизма в том, что он совершенно бескраен. Анатолий Франс поставил себе край — это далось ему нелегко. Но великий писатель, которого теперь так старательно и так тщетно развенчивают, был порядочным человеком.

Клемансо, конечно, понимал, что Франс не так уж безмерно рад своему участию в деле борьбы за справедливость, и это, видимо, его очень забавляло. Для него самого новая травля, конечно, не могла иметь никакого значения, — ему было приятно под видом сочувствия подразнить колеблющегося новичка. Однако он хорошо знал и цену имени Анатоля Франса. Огромное значение он придавал также участию в деле Золя и с полной готовностью напечатал в своей газете письмо прославленного писателя к президенту республики (он же придумал для этого письма историческое заглавие: «J'accuse»). Такими союзниками надо было дорожить: союзников вначале вообще было немного, даже и в левом лагере. Из социалистов только Жорес сразу выступил на защиту невинно осужденного. Жюль Гед еще царил в социалистической партии. Этот человек очнулся от полувекового запоя схоластикой лишь 3 августа 1914 года — для того, чтобы его разбудить, нужна была мировая война. Гед слышать не хотел ни о Дрейфусе, ни о вмешательстве социалистов в «офицерскую ссору». Его вначале поддерживали (потом все изменилось) молодые светочи партии. Будущие министры, премьеры, президенты республики в ту пору так яростно ненавидели буржуазию, что отвергали всякую мысль о защите богача офицера, хотя бы и осужденного без всякой вины. Вивиани громил Жореса, Мильеран стрелялся с Рейнаком, которого оскорбили с парламентской трибуны. В Германии Вильгельм Либкнехт клялся, что Жорес погубит социализм*. По крайней своей доброте и душевному благородству, Жорес видел в деле только невинно осужденного человека. Отчаянный крик Дрейфуса во время

* Это замечание, впрочем, вызвало резкий протест Бебеля.

старинного обряда деградации, когда под иступленный рев толпы с него срывали эполеты и ломали над его головой шпагу: «Soldats, je suis innocent!.. Soldats, on déshonore un innocent!..»^{*} — по собственным словам Жореса, не давал ему покоя. «Как вы можете спать, зная, что Дрейфус невиновен?» — с искренним удивлением спрашивал он равнодушных людей.

Клемансо, вероятно, мог спать. Но дело это было точно для него создано. В деле Дрейфуса была идейная сторона, заражавшая Клемансо тем же подлинным энтузиазмом, который Вольтер, его духовный предок, испытывал, знакомясь с процессом де ла Барра. Однако было, вероятно, еще и нечто другое. В лагере антидрейфусаров собрались все враги Клемансо. Главной литературной силой этого лагеря считался тот самый журналист, чья ненависть преследовала его всю жизнь. Дрейфус был германским агентом для людей, для которых сам Клемансо был не так давно английским агентом. Борьба за освобождение Дрейфуса являлась одновременно и борьбой за справедливость, и способом свести раз и навсегда длинный, старый, не дававший покоя счет.

Он стал вождем генерального штаба дрейфусаров. В этот штаб входили очень талантливые люди, уже знаменитые тогда (Жорес, Франс, Золя, Лабори, Дюкло) или ставшие знаменитыми впоследствии (Бриан, Пенлеве). Были в нем и рядовые *intellectuels*, были, разумеется, и неизбежные политические дамы, были, наконец, как во всяком большом деле, молодые люди для поручений, бойскауты гражданских армий. В это удивительное дело Дрейфуса суждено было так или иначе войти самым замечательным людям эпохи: молодым человеком на побегушках в генеральном штабе дрейфусаров был величайший писатель двадцатого столетия!^{**}

Буря усиливалась, росла и роль Клемансо. Он снова стал душой политической жизни мира. Опять митинги, речи, дуэли, статьи, исполненные блеска, насыщенные доводами, резкие до последнего предела (они собраны в семи томах). После вторичного осуждения Дрейфуса в военном суде, когда Вальдек-Руссо нашел способ спасения Франции от гражданской войны — помилование осужденного главой государства, — Клемансо, кажется единственный, резко восстал против этого компромисса, требуя отказа от помилования.

^{*} «Солдаты, я не виноват!.. Солдаты, обещан невинный!..» (фр.)

^{**} Марсель Пруст.

Между ним и Рейнаком, главным техником дела, произошла бурная сцена. «Для вас все в том, как бы освободить из тюрьмы Дрейфуса! Вы готовы для этого пожертвовать величайшим делом столетия!» — говорил с бешенством Клемансо. «Для вас живой человек не существует: вам нужна гражданская война!» — отвечал Рейнак.

Пронесшийся над Францией «ураган» смял одних, привел к власти других, тех, чьим идейным вождем был Клемансо. Мир от этого не взорвался. Как всегда бывает, к власти сначала пришли люди более осторожные. Сам Клемансо, избранный в сенат в 1902 году, стал главой правительства лишь четырьмя годами позднее.

VII.

От него ждали очень многого. Он не оправдал надежд. Клемансо был стар и больше ни во что не верил. Власть досталась ему слишком поздно. Он говорил, что сокрушал всю жизнь одно и то же правительство — только в разном личном составе. Это было близко к истине. Но точно такое же правительство создал и сам Клемансо. Сказать о его трехлетнем правлении, собственно, нечего. Дрейфус был вновь судим и оправдан; в чем-то были осуществлены какие-то реформы... По сравнению с тем, что обещали жизнь и личность Клемансо, все это было ничтожно.

Потом его свергли такой же искусной парламентской комбинацией, — нашлись люди, которые многому у него научились. Потом он еще свергал для развлечения разные министерства — правительства Кайо, Бриана. Идей за всем этим, собственно, больше не было. Грим понемногу стерся, Мефистофель появился без грима. Клемансо путешествовал по свету, предсказывал войну с Германией, требовал усиленных вооружений, учил разуму молодых людей, издевался над иллюзиями, над религией, над братством народов, над энтузиастами, над пацифистами, над социалистами, над всем и над всеми.

VIII.

С первых дней войны, которую он предсказывал сорок лет, гневно-патриотические статьи Клемансо в его газете «L'Homme libre» сделались событием даже в

ту пору событий. Эти дни не изглаживаются в душе людей, которые их пережили, а не пережившим передать те впечатления, разумеется, невозможно. Я был застигнут войной в Париже и оставался в нем несколько недель. Я помню многотысячную толпу перед редакцией «Matin» в минуту, когда пришло известие об убийстве Жореса; помню, как зажегся первый прожектор на крыше автомобильного клуба и стал бороздить небо в поисках вражеских аэропланов, — почему-то предполагалось, что они появятся ночью; помню, как прилетел (днем) и бросил бомбу первый немецкий аэроплан, — два солдата открыли по нему стрельбу из ружей с Оперной площади, а толпа хлынула искать защиты от бомб под навес Café de la Paix!.. Впоследствии все мы видели и не такие вещи, но бессвязные, бессмысленные впечатления тех первых дней врезались в память особенно глубоко.

Среди них живо помню я и статью Клемансо о так называемом «communiqué de la Somme»*. Шло катастрофическое наступление немцев. Официальные сообщения всячески смягчали, скрывали, замалчивали правду. В одном из них вскользь было упомянуто, что бои происходили на Сомме. Одновременно военный министр Мильеран выразил полное удовлетворение ходом военных событий. Такое же полное удовлетворение высказывала вся печать, — газеты писали тогда в одном тоне. Один Клемансо, познакомившись с сообщением, не нашел, что все идет чудесно, — помню, номер газеты с его статьей парижане рвали друг у друга из рук. «На Сомме? — спрашивал он. — Бои происходят на Сомме! Как же это могло случиться? Думает ли правительство, что мы не знаем, где Сомма? Военный министр вполне удовлетворен? Быть может, г. Мильеран считает нас дураками?..»

Статьи он писал изо дня в день. Правительство Вивиани, видимо, не знало, что с ним делать. Никто не хотел связываться с Клемансо, но и предоставить ему одному привилегию свободного слова было, очевидно, невозможно. «Терпеть это дальше нельзя! Пусть ему дадут всю власть или пусть его расстреляют!» — сказал о Клемансо один из влиятельных людей того времени. Другой выразил эту мысль в иной форме:

* «Сообщение с берегов Соммы» (фр.).

«Conseil des ministres ou conseil de guerre...»^{*} Правительство наконец решилось применить к «L'Homme libre» те же правила, что к другим газетам. В ответ Клемансо написал следующее: «Если цензура не пропустит моей статьи, я разошлю ее читателям по почте. Если же письма мои будут задерживаться, я сам пойду разносить их по домам»...

В течение трех лет он, несмотря на цензуру, громил тех, кого считал нужным громить, — неудачливых генералов, неумелых интендантов, нерешительных политиков, даже самого президента республики, который вызвал его ярость тем, что в военное время выехал на официальную церемонию в сопровождении драгунского эскорта. Публика верила Клемансо — он один иногда говорил правду. Верил ему и сенат, избравший его председателем двух важнейших комиссий военного времени.

Настала Октябрьская революция, русский фронт развалился, сотни тысяч германских солдат могли быть брошены с востока на запад. В критическую для союзников минуту президент республики, забыв личные обиды, призвал к власти Клемансо. Он был последней ставкой Франции. Приходилось выбирать между его диктатурой войны и диктатурой мира Жозефа Кайо.

Старик, видимо, не ждал власти. Близкий к нему человек рассказывает, что после разговора с Пуанкаре Клемансо отправился к своему врачу и спросил, может ли он рассчитывать еще на год-другой жизни: иначе нельзя брать власть в такую минуту. Получив утвердительный ответ, он запасся на случай неудачи быстродействующим ядом. Может быть, это и легенда. Но о другом человеке и легенду такую сложить было бы трудно. Старый дуэлист все поставил на карту.

Он образовал кабинет из людей в большинстве бесцветных, которых он даже не посвящал в дела. Один из них впоследствии откровенно признавался, что старик из принципа ничего не сообщал о военных делах в кабинете, опасаясь болтовни министров. Клемансо говорил саркастически, что он демократизировал во Франции идею правительства: показал, что министром может быть кто угодно.

Остальное всем известно. Установив единоличную

^{*} «Совет министров или военный совет...» (фр.)

диктатуру, Клемансо повел войну с нечеловеческой энергией. В душе военного разрушителя еще хранился огромный источник силы. Он арестовал сторонников мира, положил конец агитации пацифистов, усилил военную цензуру, недавно столь ему ненавистную, привел в действие машину военных судов, которую когда-то так проклинал... Он носился по фронту, произнося зажигательные речи, посещал под огнем передовые траншеи, добился установления единого командования и поручил его Фошу. 80-летний диктатор вдохнул в народ новую энергию. Не знаю, какой он был организатор, — об этом есть разные мнения. Но исходивший от него поток волевого напряжения действовал на измученную нацию. Морис Баррес говорил, что на каждой площади Франции надо было бы поставить золотую статую Клемансо.

Пришла победа. Настал апофеоз. В день перемирия, под грохот салютных выстрелов, встреченный небывалыми овациями, Клемансо говорил речь в той палате, где когда-то его травили как изменника. Последнему оставшемуся в живых из людей, которые в 1871 году подписали в Бордо протест против отторжения Эльзаса, дано было сообщить Франции весть о победе.

«Après la ciguë vient l'heure des statues», — сказал он в своей книге о Демосфене, — в ней под именем Демосфена он довольно прозрачно изобразил самого себя. «Час памятников» настал для Клемансо при жизни. Вот только ждать этого часа пришлось довольно долго и рассчитывать на его приход не было никаких оснований: Клемансо мог и не дожить до войны.

Для довершения апофеоза юноша анархист Коттен всадил ему в легкое пулю...

IX.

Трубы и литавры гремели полтора года, говорились льстивые, неискренние слова, а за ними скрывалась, накапливалась злоба. Бурная карьера Клемансо подошла к концу неожиданно. Его кандидатура на должность президента республики, освобождавшуюся с уходом Пуанкаре, считалась совершенно бесспорной. Предполагалось, что le père la Victoire будет избран чуть ли не

* «После болиголова приходит час памятников» (фр.). Болиголов — ядовитое растение семейства зонтичных. — Прим. ред.

единогласно, как он был в 1918 году единогласно избран членом Французской Академии^{*}. Однако инстинктивный страх, внушаемый личностью Клемансо, ненависть, которую он вокруг себя сеял так щедро, боязнь семилетней диктатуры и утверждения на елисейском троне столь выдающегося, сильного человека, наконец, недовольство Версальским миром в разных кругах сделали свое дело. В самую последнюю минуту Бриану удался лучший комбинационный шедевр его жизни^{**}: он выдвинул против Клемансо кандидатуру Поля Дешанеля и объединил вокруг нее блок социалистов с крайними правыми, католиков — с левыми радикалами. На предварительном общем собрании сенаторов и депутатов Клемансо получил 389 голосов, Дешанель — 408. Результаты голосования, «черная неблагодарность людей», вызвали необыкновенную сенсацию во всем мире. Председатель совета министров тотчас резким письмом снял свою кандидатуру. «В Елисейский дворец его не пустили, высадить его из истории будет много труднее», — сказал знаменитый писатель.

Дешанель, которого Клемансо когда-то в весьма ироническом освещении изобразил в своем романе «Les plus forts»^{***}, был на следующий день избран президентом республики. Видимо, новый глава государства очень хотел позолотить пилюлку своему знаменитому сопернику, — как-то все-таки это нехорошо выходило с провалом «отца Победы». В своей благодарственной речи конгрессу Дешанель сладко говорил о «великом французе», о его «бессмертных заслугах» и предложил послать приветственный адрес Клемансо. Прямо с конгресса Дешанель — вероятно, в смертельном страхе — отправился к «великому французу» с визитом. Клемансо велел сказать, что его нет дома. Человек, назвавший дураком английского премьера^{****}, мог не принять пре-

^{*} Вопреки вековой традиции, он был избран без всякого с его стороны ходатайства и без установленных официальных визитов. Но Клемансо вступительной речи не представил и даже не заглянул ни разу в Академию, — это первый случай в ее истории.

^{**} Если верить Полю Менье, Клемансо предполагал вслед за расправой с Кайо арестовать и предать суду по сходному обвинению Бриана, который будто бы об этом знал и, спасая себя, создал кандидатуру Дешанеля. Это, однако, маловероятно.

^{***} «Самые сильные» (фр.).

^{****} В 1918 г. Ллойд Джордж поручил одному из виднейших английских военачальников узнать у Клемансо, правда ли, что какой-то французский генерал открыл способ вести наступление без потерь! Военачальник отправился к старику за справкой. «Скажите, пожалуйста, Ллойд Джорджу, что он дурак», — ответил в ярости Клемансо.

зидента французской республики. Отказался он также от прощального приветствия конгрессистов и навсегда покинул политику скорее с презрением, чем со злобой...

Он путешествовал в Африке, в Азии, охотился на тигров, жил в своей родной Вандее на берегу моря, писал книги, свидетельствующие об огромной культуре, о необыкновенной ясности и энергии ума. Хроника газет всего мира интересуется им еще больше, чем прежде, о нем рассказывают тысячи анекдотов, к нему ходят интервьюеры, которых он не принимает, распрстраняют от его имени остроты, которые ему не принадлежат. Одним словом, Клемансо — национальная слава.

В своей последней философской книге, вышедшей несколько месяцев тому назад, он говорит: «J'ai vécu de bruit, et voici que j'entends les pas étouffés du silence. Avant de me taire, quelles paroles pour conclure? Sagesse ou folie de m'exprimer?.. Affranchi du monde et de moi-même, que mon dernier mouvement de présomption soit d'apporter ici la parole indépendante d'un passant, au soir de la pensée»... Этот необыкновенно одаренный человек и в самом деле какой-то прохожий...

Он был всю жизнь демократом, очень плохо веря в демократию. «Служил человечеству», ненавидя и презирая людей. Свой патриотизм он доказал достаточно наглядно, но что именно он любит во Франции, очень трудно сказать. Никакой веры у него нет и не было: ни в Бога, ни в людей, ни в земной прогресс, ни в загробный мир. В глубине души он не верит, кажется, и в свое собственное действие. Как Фридрих фон Штейн, «создатель новой Пруссии», тоже удивлявший своей бурной энергией мир, Клемансо мог бы сказать на склоне дней: «Результат моего жизненного опыта — ничтожество человеческого знания и действия, в особенности политического». В своих философских книгах он рационалист в стиле XVIII века и по всему своему умственному складу наследник вольтеровской традиции. Но этот эллин, этот поклонник разума, по-видимому, в глубине души убежден в совершенной тщете всех человеческих дел. По словам его секретаря, он порою в своем кабинете, украшенном изображениями восточных божков, долги-

* «Я жил в шуме и вдруг услышал приглушенные шаги тишины. Прежде чем я замолчу, несколько слов в заключение? Будет мудростью или безумием их произнести? Освобожденный от мира и от себя самого, я хотел бы как последнее проявление моего высокомерия сказать независимое слово прохожего, в сумерках мысли» (фр.).

ми часами сидит в кресле, ничего не делая, глядя неподвижно перед собою. Как почти все знаменитые остроумцы, Клемансо человек тяжелый и сумрачный. Основная черта его характера, наравне с жадной жизни и с дьявольской гордостью, — глубокая, беспредельная мизантропия. «Люди еще не вышли из периода пещер», — сказал он как-то. Еще не вышли? Над «строителями будущего» он язвительно издевался. «Каждую речь Жореса можно узнать по тому, что в ней все глаголы в будущем времени», — заметил он с насмешкой. Однако без «проекции на будущее» первый период жизни самого Клемансо совершенно лишен смысла. Ее второй период лишен смысла и с проекцией на будущее. Недавно посетил его писатель, желавший заняться его биографией. «Je voudrais écrire l'histoire de votre vie, pour vos contemporains», — сказал писатель. «Je me f... de mes contemporains», — ответил Клемансо. «Alors, pour la postérité», — поправился писатель, несколько озадаченный ответом. «Je me f... de la postérité»*, — разъяснил кратко старик. На пороге десятого десятилетия жизни Клемансо в своем презрении к людям дошел до той вершины, на которой и говорить больше не хочется. «Вовсе не нужно верить, для того чтобы действовать», — сказал Вильгельм Оранский, и эти слова могли бы быть эпитафией бурной жизни Жоржа Клемансо. Во имя чего он боролся, страдал, свергал, разрушал, топил, тонул? Самая шумная жизнь, самая бурная карьера нашего времени прошла так, ни для чего.

Всю ночь, в бурю, под проливным дождем, автомобильный фургон несся из Парижа в Вандею.

Вопреки обычаю, кажется даже вопреки закону, гроб с телом Клемансо был заколочен через несколько часов после его смерти. Журналистов, фотографов, публику душеприказчики вводили в заблуждение, сообщая ложные сведения относительно дня, часа и места похорон.

Глубокой ночью к дому на улице Франклина подъехали автомобили. Люди поспешно вынесли гроб —

* — Я хотел бы написать для современников историю вашей жизни.

— Плевать мне на современников.

— Тогда, может быть, для потомков.

— Плевать мне на потомков. (*фр.*).

** Первое издание «Современников» вышло еще при жизни Клемансо. Дополняя теперь статью о нем строками, написанными тотчас после его кончины.

не успел сверкнуть магний — и фургон понесся по пустынным улицам Парижа. За ним вдогонку помчались дежурившие французские, английские, американские журналисты, — они благоразумно запаслись автомобилями. Но все было предусмотрено: на заставе префект полиции задержал журналистов на полчаса, с настойчивой просьбой, по крайней мере, дать отъехать далеко вперед фургону.

В глухой французской провинции еще сохранился старинный обычай, вызывающий в памяти оперу «Гугеноты», Лесажа, исторические романсы Понсона дю Террайля. В определенных часы дня барабанщик обходит улицы городка, бьет в барабан и громко, нарастающим, сообщает важные вести. Так, в старину *bailli** объявлял свои распоряжения верноподданным короля Франции и Наварры. Теперь услугами барабанщика для такой же цели пользуется мэр коммуны, «левый республиканец», радикал или социалист.

В восьмом часу утра в городке Мушан барабанщик мэра, мосье Руссело, обходил немногочисленные улицы и настойчиво приглашал жителей не ходить в Кло-Коломбье, где должны происходить похороны их знаменитого земляка. В то же время по телеграфному распоряжению Тардые вызванная спешно конная жандармерия занимала все подступы к горам, на вершине которых, в небольшой роще, Клемансо заботливо приготовил себе могилу. По узким горным тропинкам, над пропастями, утопая в грязи, фургон медленно поднялся к роще. Всю ночь местные власти («des messieurs complètement affolés»**, — телеграфировал один из журналистов) расчищали дорогу, совещались с могильщиками, расставляли полицейские заставы.

Яма была вырыта на месте, указанном Клемансо несколько лет тому назад. В нее опустили гроб. На этих фантастических похоронах не было ни молитв, ни речей, ни религиозных, ни гражданских обрядов. Вдали трещали кинематографические аппараты, журналисты записывали впечатления. «Des messieurs complètement affolés» суетились на заставах, оттесняя всех возможно дальше. Отбились от званых, отбивались и от незваных. Так, вероятно, никогда никого не хоронили.

Это Жорж Клемансо посылал людям свою загробную карточку: р. р. с.

* Судья (фр.).

** «Обезумевшие господа» (фр.).

С покорнейшей просьбой не утруждаться и не приходить на похороны.

Почти все современные государственные деятели Франции вышли из школы Клемансо, были министрами его кабинетов или его помощниками по редакции разных газет (исключение составляет Пуанкаре). Самые ожесточенные враги Клемансо тоже обязаны ему своим политическим возвышением. Но его собственную, необыкновенную «карьеру» очень трудно назвать счастливой. Клемансо стал впервые министром 66 лет от роду — случай редкий в истории парламентских стран. Пуанкаре был ровно вдвое моложе (33 года), когда получил свой первый портфель. В Клемансо не было и следов карьеризма. Он не умел губить своих врагов, но самого себя губил беспрестанно. Страсти, кипевшие в нем всю жизнь, мешали ему быть государственным человеком — в нормальное время. Не было в нем и того, что строгие критики со стороны зовут политическим лицемерием, — Наполеон недаром считал недопустимым представление на сцене «Тартюфа». Клемансо шел к власти самым далеким путем: прямым. Точнее, он даже не шел к ней, а ломился, опрокидывая все на своем пути, сея повсюду злобу, месть, ненависть. Молодой честолюбец, начинающий политическое восхождение, не извлечет из его жизни никакого урока: для того чтобы идти таким путем, надо было быть Клемансо. Можно, пожалуй, извлечь урок отрицательный: вот как не следует делать карьеру.

Осторожных, хладнокровных людей, дипломатов, настоящих политиков он не выносил. Вероятно, отсюда его давняя ненависть к столь замечательному человеку, как Пуанкаре. Теперь это трудно понять. Всем известно, каким огромным авторитетом пользуется Пуанкаре в настоящее время, как умеет он этим авторитетом пользоваться, какая власть и сила чувствуются теперь в тоне его выступлений. Но все это надо было заслужить. Тридцать лет тому назад у Пуанкаре не было на это права. Нисколько не будучи карьеристом, он, со свойственным ему умом, тактом, хладнокровием, вел себя тогда осторожно. Выжидательную позицию Пуанкаре занял и в начале дела Дрейфуса. В газетах того времени можно найти злобно-саркастическую статью о нем Клемансо, — он говорил о благоразумных, рассудительных, честолюбив-

вых молодых людях, старающихся по возможности всегда сохранять нейтралитет. Теперь нелегко поверить, что это было написано о Пуанкаре!

В политическом искусстве и Пуанкаре, и Бриан, и Тардьё стоят выше, чем Клемансо, — повторяю, в нормальное время. В 1918 году его не мог заменить никто.

С ним в могилу ушел последний из основателей Третьей республики. Вся жизнь его была тесно связана с республиканским строем, с республиканским образом мысли. По характеру же он был настоящий самодержец, наводивший панику на своих друзей, сотрудников, подчиненных. В ореоле своей высшей славы маршал Фош осторожно и учтиво запросил его, как он предполагает разрешить вопрос о франко-германской границе. Ответ Клемансо известен. Думаю, что ни Людовик XIV, ни Николай I не ответили бы в сходном случае своим заслуженным полководцам: «Это не ваше дело! Политика вас не касается!..»

Фош, человек независимый и гордый, с большим трудом переносил власть Клемансо; кажется, даже с трудом отдавал ему должное. «Этот человек, — сказал он, — смесь Виктора Гюго с Робеспьером». С якобинцами Клемансо сравнивали часто. Он, однако, был крупнее самых знаменитых якобинцев.

В частных беседах сам он, автор всем известной фразы о «блоке», не скрывал, что считает главных деятелей 1793—1794 годов людьми довольно незначительными.

Луи Мадлен, консервативный историк Французской революции, так заканчивает свое описание казни Жоржа Дантона:

«Il mourut ayant en apparence donné une mesure énorme, sans savoir cependant peut-être sa vraie mesure.

Mais un jour, au milieu de grandes fautes et d'aucuns disent de grands crimes, il avait sauvé la France. Dans le silence consterné de ce peuple, il y avait, ce soir-là, l'expression muette d'une légitime gratitude...»*

Мадлен — блестящий писатель, и эта его страница замечательна не только в стилистическом отношении. Не будем, конечно, останавливаться на «немом выра-

* «Он умер, оставаясь огромным, хотя сам не знал своей меры. В свой час, наделав множество ошибок, а возможно и преступлений, он спас Францию. В потрясенном молчании народа в тот вечер было немое выражение законной благодарности» (фр.).

жении законной благодарности народа» — у подножия эшафота Дантона!

Теперь словами «спас родину» стали немного злоупотреблять, — спасают родину от самых разных вещей: от уличной манифестации, от дороговизны, от биржевого краха. И Зогу I спас родину. И о несчастном Бача-Сакао, должно быть, так говорили афганцы, пока его не повесили, — вероятно, тоже под немое выражение народной благодарности. Но в отношении Клемансо эти слова совершенно справедливы.

Германская армия была почти у ворот Парижа. Десятки дивизий, освободившиеся после большевистского переворота, перебрасывались с восточного фронта на западный. Неслыханное чудо техники, в глубокой тайне осуществленное немецкими артиллеристами, со 120-верстной дистанции начало обстрел Парижа. Каждый выстрел «Берты» мог обратить в развалины Notre-Dame, Лувр, Национальную библиотеку... Кажется, нет предела мощи, изобретательности врага. Кажется, все было кончено!..

Ни во что не веривший восьмидесятилетний старик нес на себе в те дни нечеловеческое бремя борьбы и ответственности. Одни давали ему советы, — больше по рецепту мольеровского врача: «*Maladus dût-il crevage*»^{*}. Другие, «не приемлющие насилия», громили его за то, что он «нарушал законы и права человека». Нарушал законы, права человека — в 1918 году!.. Двадцать миллионов солдат резали, расстреливали, жгли друг друга. Сотни миллионов людей, живущих по одну сторону границы, злобно уличали во лжи, в низости, во всевозможных преступлениях сотни миллионов людей, живущих по ее другую сторону. По всем умственным ценностям был объявлен мораторий. Европа и морально была пущена по миру. Законы, права человека были не в большом почете. Вероятно, Клемансо совершал тяжкие ошибки; но и то сказать, не легко было угодить в ту пору не приемлющим насилия людям. Клемансо «принимал» и дом умалишенных, но позволял себе роскошь считать его домом умалишенных — со всеми практическими выводами из такого понимания апокалиптических событий войны.

Я был в палате депутатов, когда чествовали его

^{*} Зогу Ахмет (1895—1961) — президент, позднее король Албании. Установил военную диктатуру. — *Прим. ред.*

^{**} «Больной должен умереть» (*фр.*).

память. Одна из французских газет верно писала об этом заседании: «Теплота чествования напоминала тепло центрального отопления: огня не было»...

Клемансо говорил своему секретарю Марте, что причиной провала его кандидатуры на президентских выборах 1920 года была личная ненависть, которую он возбуждал в парламенте. «Впрочем, — добавил он, — я все равно не остался бы президентом республики больше трех месяцев: уж если бы я и согласился заняться этим ремеслом, то никак не для того, чтобы открывать выставки по садоводству».

Весь день послы ездили в министерство иностранных дел и выражали соболезнование французскому правительству. Бриан пожимал руку послам и благодарил. Вероятно, и послы, и министр чувствовали некоторую неловкость; это довольно естественно при тех личных и политических отношениях, которые связывали Клемансо с Брианом. Газеты рядом с некрологами сообщали политические новости. Что в самом деле происходило в мире в день последнего земного шествия Клемансо? В Лондоне — в сотый раз прения о большевиках, как нарочно, поразительные по убожеству. В Берлине — дело Склареков, шуба жены бюргермейстера Бесса. «Всюду мрак и сон дouchной... Жизнь мышья бегогтя...»

Клемансо, вероятно, доставила бы удовлетворение эта пушкинская строчка (если бы ее страшную звуковую силу можно было передать французскими словами). Он сам как-то сказал, что политические деятели напоминают ему людей, которые, вцепившись в веревку блока, изо всех сил тащат вверх — мертвую муху. Такой взгляд не помешал ему посвятить политическому действию почти семьдесят лет жизни.

Льстецы в пору апофеоза говорили, что он своим примером «основал новую религию». Они хотели воздать кесарево кесарю и Божье — тоже Кесарю. Нет, никакой религии он не основал. Но человек он был необыкновенный, и во Франции стало скучнее с его уходом. Злейший враг (Жайо) назвал его «сверхчеловеком». Другой враг (Леон Блюм) писал в некрологе: «Его ненавидели. Я не знаю, любили ли его, — верю, однако, что любили. У него были жертвы, у него были слуги. Но и тем и другим он казался явлением исключительным и непонятым».

Аристид Бриан



Бриан

I.

Один из умнейших политических деятелей Франции года два тому назад сказал в частной беседе: «Briand est un homme fini. C'est un grand homme à Genève, mais pas à Paris»*. Особенно вменялась в вину бывшему главе правительства беспомощность, якобы им обнаруженная в пору острого финансового кризиса 1926 года. В эти тяжелые дни Бриан поочередно приглашал на должность министра финансов самых различных политических деятелей, ушел было сам в отставку, тотчас вернулся и составил новое министерство. Когда этот, по счету десятый, кабинет Бриана явился на смену его девятому кабинету, Тардьё, при общем смехе палаты, поздравил председателя совета министров: «Вы обнаружили большое мужество, бодро приняв то тяжелое наследство, которое вам оставил ваш предшественник...»

Строгий политический деятель, несомненно, очень преувеличивал. Устраивать словесные похороны большим государственным людям — дело рискованное (правда, риск смягчается тем, что никто этих похорон не помнит).

Бриан нисколько не скрывает своего прошлого. Напротив, он о нем вспоминает весьма благодушно. О его политической жизни можно говорить с полной откровенностью: он, конечно, один из самых выдающихся и привлекательных государственных деятелей Европы.

Аристид Бриан родился в 1862 году в Нанте, учился сначала в Сен-Назерском коллеже, который теперь называется его именем, потом в лицее, носящем ныне имя Жоржа Клемансо. На способного мальчика обратил внимание его земляк Жюль Верн. Это обстоя-

* «Бриан — это конченный человек. Он велик в Женеве, но не в Париже» (фр.).

тельство настойчиво отмечают все пишущие о Бриане, хотя и трудно понять, в чем, собственно, выразилось влияние на него Жюля Верна. Разве в том, что в детстве Бриан хотел стать моряком. Гибель в море одного из его родных, лоцмана, положила конец этим мечтаньям.

Предоставляя более отдаленному биографу историю молодости Бриана, скажу только, что прошла она в чрезвычайной бедности. Будущему любимцу судьбы вдобавок не везло в начале жизни. Пустое похождение, которое не заключало в себе ничего дурного и могло случиться с любым двадцатилетним мальчиком, очень ему повредило. По-видимому, он озлобился — черта, совершенно не характерная для Бриана.

Потом Париж, юридический факультет, классические три года в Латинском квартале, обычно называемые лучшими в жизни. Едва ли они доставили Бриану много радости. Жизнь его складывалась плохо, а «веселость, наличная монета счастья», не была ему свойственна и в молодые годы. Зарабатывал он хлеб службой в какой-то конторе, строчил бумагу за бумагой: «En main votre lettre de ce jour»... «Vous accusant réception de votre hono^rée»... Бриан и теперь иногда с печальной усмешкой направляет в эту контору людей, желающих получить его автограф. «Там, должно быть, очень много моих автографов»...

Не знаю, усердно ли ходил Бриан на лекции. Зато он постоянно посещал собрания другого рода. Он был близок к литературной группе «гидропатов» и к тому кружку, который основал Chat noir (Салис, Брюан и др.). Другом Бриана был художник Андре Жилль, — творчество этого художника почти забыто, но кабачок, обязанный ему своим нелепым именем («Lapin agile»: Là peint A. Gill***), американцы и теперь так же аккуратно посещают ночью, как днем Эйфелеву башню и Дворец Инвалидов. Сверстниками Бриана были Мирбо, Жеффруа, Гюисманс. Гюисмансу, на смертном одре писателя, он дал орден Почетного Легиона, — довольно неожиданное завершение жизни для автора

* «Ознакомившись с Вашим сегодняшним письмом»... «Направляем Вам уведомление о получении Вашего письма»... (фр.)

*** Черный кот (фр.).

*** Игра слов. По-французски «lapin agile» означает «ловкий кролик», но в данном случае после двоеточия в омонимичном варианте оно означает «Здесь рисует А. Жилль». — Прим. ред.

«Là-bas» и «A rebours»^{*}. Но главные связи и знакомства Бриана были, естественно, не в литературно-артистической среде.

В политику он вошел в трудное и безотрадное время. Казалось бы, с внешней стороны оно было менее трудно и менее безотраднo, чем наше. На самом деле это не так. Вековая ненависть неимущих к богатым подчиняется непонятным законам. Она знает глухие периоды, знает и времена непостижимого обострения. Отчего девяностые годы во Франции были порою жгучего озлобления низов? Особых зверств «буржуазия» в ту пору не совершала. Не было ни «империалистической бойни», ни «грабительских авантур», ни «кровавых расправ с пролетариатом». Казерио так и не мог сколько-нибудь связно объяснить, почему именно он заколол президента Карно; он, впрочем, первоначально предполагал убить римского папу или короля Италии, — это был эклектик убийства. Точно так же другой анархист, Вальян, бросивший бомбу в палате депутатов, ничего, кроме ненависти к капиталистам, не мог привести в оправдание своего поступка. Эмиль Анри, человек незаурядных дарований и исключительного мужества, взорвал Café Terminus единственно по той причине, что в этой кофейне можно было убить сразу много богатых людей. Он так и объяснял на суде: «Plus il crèvera de bourgeois, mieux cela vaudra»^{**}.

Художники, мыслящие образами, пытались подвергнуть преступления анархистов более тонкому и углубленному исследованию. Хорошего из этого вышло немного. Так, Золя в своем романе «Париж» нарисовал образ «светлого идеалиста» Гильома Фромана. Этот анархист-ученый задался целью взорвать весь холм Sacré-Cœur и похоронить под развалинами церкви сразу десять тысяч человек. Читатели, вероятно, помнят, как брат анархиста, главный герой романа, Пьер Фроман пробрался за Гильомом в подземелье под церковью и после долгого спора, занимающего в книге, кажется, не менее десяти страниц, убедил Гильома отказаться от этого замечательного плана: церковь осталась целой, оба брата вышли из подземелья и

^{*} «Там» и «Наоборот» (фр.).

^{**} «Чем больше сдохнет буржуев, тем лучше» (фр.).

пошли домой обедать. Собственно, спор их нужен был автору для того, чтобы «ярко осветить внутренний мир анархиста». Но — увы! — светлый идеалист Гильом Фроман в защиту своего замысла несет в подземелье такую ерунду, что при чтении становится за него неловко. Из попытки осмыслить анархические покушения при помощи художественных образов не вышло ничего, кроме нелепой и смешной сцены, очень портящей роман Золя. По существу, к словам Эмиля Анри ничего нельзя было прибавить.

Жгучая, острая ненависть низов к существующему строю, сказавшаяся в страшных делах Равашоля, Эмиля Анри, Казерио, особенно характерна для той эпохи, когда Аристид Бриан начинал свою политическую деятельность. Его самого враги часто относили к анархистам. В действительности анархистом он не был и террористических актов, кажется, никогда не защищал. Излюбленной мыслью Бриана в течение десятка лет была всеобщая забастовка рабочих. Эта «революция сложенных рук» должна была, по его мнению, повлечь за собой полную победу пролетариата над буржуазией и переход к социалистическому строю. Развивал он эту мысль, порою в очень резкой форме, на митингах, в рабочих кружках, на страницах революционных газет. Один старый, выдавший виды парижанин рассказывал мне, что самое сильное впечатление, когда-либо в жизни им вынесенное от ораторского искусства, он испытал сорок лет тому назад на большом революционном митинге; Аристид Бриан говорил речь, стоя на столе в рубашке, без пиджака... Ничего равного по силе и яркости этой страстной проповеди мой знакомый никогда не слышал.

Необходимо, однако, отметить, что и в дошедших до нас ранних речах Бриана уже проглядывал его ясный, практический ум. Он во всем требовал точности: люди должны твердо знать, чего именно они хотят и на что они готовы пойти для осуществления своих целей. Как-то на одном из революционных собраний анархист Дюмортье кратко предложил «передушить капиталистов». Молодой Бриан тотчас язвительно осведомился, отчего бы не начать это дело самому Дюмортье. Он не возражал принципиально против баррикад, но едва ли и тогда баррикады казались ему серьезным делом. Помнится, Маркс советовал революционерам одинаково избегать двух ошибок: с трибуны

парламента не грозить баррикадами, а на баррикадах не вести себя парламентарно. Та же практическая складка ума наблюдается и у молодого Бриана. Свою революцию сложенных рук и он считал делом вполне осуществимым. Недавний английский опыт, русский опыт 1905 года показывают, что не один Бриан так думал.

II.

Первое «ответственное» выступление Бриана произошло на французском социалистическом конгрессе 1892 года в Марселе. Конгресс этот ничем особенным не выдавался, но он привлек всеобщее внимание благодаря тому, что в числе иностранных гостей значился сам Вильгельм Либкнехт, в ту пору царивший в международном социалистическом мире. Этот хороший, честный, искренний человек не хватал звезд с неба. Либкнехт был явной ошибкой судьбы (как у нас, например, П. А. Кропоткин). Сын почтенного гессенского чиновника, он по характеру и призванию должен был бы стать статистиком, библиотекарем или учителем гимназии, но стал «вождем революционного пролетариата». Впрочем, в молодости он занимался преподаванием, и школьники обожали его так же, как впоследствии социал-демократы. Часы, свободные от партийной работы, Либкнехт с любовью посвящал другому делу: составлял словарь иностранных слов, вошедших в немецкий язык, «mit verständlicher Erklärung und genauer Angabe der Aussprache und Betonung»*. Таких слов он собрал тридцать тысяч — жизнь его не пропала даром! Только в Германии главой революционного движения мог быть автор *Fremdwörterbuch'a mit genauer Angabe der Aussprache*. В партии, на безлюдье того времени, Либкнехт считался выдающимся теоретиком и всему на свете мог дать «доступное объяснение». Он был также замечательный литератор и написал несколько сочинений, отличающихся, помимо глубины мысли, затейливой меткостью заглавия: «Wissen ist Macht — Macht ist Wissen», «Zu Trutz und Schutz», «Soll Europa kosakisch werden?»**. Эти книги читало

* «С доступным объяснением и точным указанием произношения и ударения». — *Пер. авт.*

** «Знание — сила. Сила — знание», «Для наступления и обороны», «Должна ли Европа стать казацкой?» (*нем.*)

три поколения немецких рабочих, восхищаясь тем, как ловко пишет старик. Вдобавок «der Alte»*, как его любовно называли в партии, происходил по женской линии от Лютера и даже назывался в честь предка родовым именем Мартин (полное его имя было Мартин-Вильгельм-Филипп-Христиан-Людвиг). Это происхождение тоже немало способствовало его престижу в Пруссии: Маркс Марксом, а Лютер Лютером.

Немецкие социал-демократы в ту пору задавали тон социалистическому движению во всем мире: на выборах 1890 года за них было подано миллион триста двадцать три тысячи голосов. Поэтому приезд Либкнехта на марсельский конгресс стал большим событием не только среди социалистов. Интервьюеры парижских газет так и осаждали иностранную знаменитость. Либкнехт, человек добрейшей души, старался никого не обидеть, не исключая журналистов бюргерской печати. Французские бюргеры первым делом спрашивали, возможна ли новая война между Францией и Германией, Либкнехт обещал, что новой войны не будет, ибо ее не хочет даже кайзер; но если бы кайзер захотел напасть на Францию, то вся германская социал-демократия, как один человек, встала бы на защиту французов**. «Я сам тогда возьму ружье и пойду защищать французскую землю, страну революционной идеи», — заявил, воодушевившись, старик («Temps», 29 сентября 1892 года). Бюргеры из парижских газет были очень довольны: шутка ли сказать, получить на защиту Франции миллион триста двадцать три тысячи отборных немецких солдат! Впрочем, сотрудник «Gaulois», видимо крайне требовательный человек, этим обещанием не удовлетворился и стал допытываться у мосье «Либкнехта», нельзя ли заодно получить обратно мирным путем Эльзас-Лотарингию. Вернуть Франции отторгнутые земли старик не считал возможным, однако он не обидел и этого бюргера: обещал в случае прихода социал-демократии к власти отдать Эльзас-Лотарингию Швейцарии: так ни Франции, ни Германии не будет обидно.

Я напоминаю об этом давно всеми забытом эпизо-

* «Старик» (нем.).

** Это напоминает мне столь же замечательное пророчество о европейской войне Фр. Энгельса, который писал Зорге: «Если бы дошло до войны, то можно с *полной уверенностью* сказать, что после нескольких битв Россия сойдется с Пруссией насчет Австрии и Франции, — каждая пожертвует союзником».

де для выяснения того факта, что слова на конгрессе вообще стоили не очень дорого. Поэтому не надо понимать буквально и все то, что говорил на нем Бриан. Выступил он, естественно, с речью в защиту всеобщей забастовки. Его проповедь не имела успеха и в социалистических кругах. О других, конечно, говорить не приходится. Газета «Temps» (23 сентября 1892 года) посвятила несколько уничтожающих строк этим «monstrueuses divagations»* своего будущего любимца. Фамилию Бриана газета, кстати сказать, писала неправильно: с «b» на конце, — лучшее доказательство его малой известности в ту пору.

После марсельского конгресса он понемногу стал приобретать известность. Выступал он и в суде почти исключительно в политических процессах (позднее он был, как известно, защитником Густава Эрве по делу об антимилитаристской пропаганде). Немалую, хоть не очень заметную, роль он сыграл и в лагере дрейфусаров. В октябре 1898 года в самый разгар дела Дрейфуса, когда, казалось, опасность грозила республиканскому строю, Бриан был избран социалистическими организациями в так называемый «Comité permanent de vigilance»**. В состав этого комитета, который должен был отстаивать интересы пролетариата в то трудное время, входили также Мильеран и Вивиани.

Через полгода после основания названного комитета один из его членов, Мильеран, вошел в коалиционное правительство, образованное Вальдеком-Руссо. Этот поступок Мильерана, в самом деле не вполне отвечавший как будто заданиям «Комитета бодрствования», вызвал сильнейшее волнение во всех социалистических партиях мира. Участие в буржуазных правительствах большинству социалистов вообще представлялось тогда недопустимым, а в кабинет Вальдека-Руссо вдобавок входил генерал Галифе, усмиритель Коммуны. Особенно страстный характер споры приняли во Франции, где в ту пору существовало пять социалистических организаций; были бланкисты и гедисты, аллеманисты и бруссисты, была даже «организация независимых». Жюль Гед упорно стоял на том, что генерал Галифе не будет хорошо отстаивать интересы пролетариата. Жорес, напротив, доказывал,

* «Чудовищные разглагольствования» (фр.).

** «Постоянный комитет по бдительности» («Комитет бодрствования») (фр.).

что интересы эти находятся в надежных руках Мильерана.

Для решения вопроса об участии социалистов в правительстве в декабре 1899 года в Париже был созван новый социалистический конгресс. Это был, кажется, самый бурный из всех конгрессов в истории социализма. Достаточно сказать, что был момент, когда Лафарг бросился с поднятой палкой на Жореса, и что Жорес назвал Геда опозоренным человеком. Подробные отчеты, печатавшиеся в социалистической газете «Petite République», отмечают то и дело «tapage infernal», «tumulte indescriptible»* и т.д. Они даже отмечают «слово Камбронна», что, конечно, свидетельствует о чрезмерной добросовестности репортера.

На этом парижском конгрессе Бриан выступил с большой речью. В сущности, он давно начал трезветь и в основном споре был близок к Жоресу. Но в чисто тактических целях, чтобы внести раскол в среду противников, Бриан поднял все тот же вопрос о всеобщей забастовке (тогда разделявший бланкистов и гедистов). Построена его речь была чрезвычайно сложно и искусно. Выступая в защиту *всеобщей* забастовки, он вместе с тем высказывался против забастовок частичных. При чтении его речи и теперь довольно трудно понять, на чем, собственно, было ударение: то ли Бриан призывал пролетариат к скорейшему устройству всеобщей забастовки, то ли он предлагал ему не злоупотреблять стачками обычного типа. Но было в этой речи несколько очень резких фраз, которые теперь тяжело вспоминать. Они впоследствии дорого стоили главе французского правительства.

Через много лет, в критическую минуту государственной деятельности Бриана, после того как одно его распоряжение вызвало слева весьма резкие нападки, Жорес прочел с трибуны парламента выдержки из этой старой речи Бриана на парижском конгрессе. Вернее, он не прочел эту речь, а разыграл ее на трибуне, представляя в совершенстве, как она была сказана, воспроизводя голос, жесты, зажигательную манеру Бриана. Жорес изобразил бывших членов «Комитета бодрствования» предателями рабочего класса, использовавшими для личного возвышения его нужду, его горе, его ненависть к богачам. «Помните ли вы, люди,

* «Адская шумиха», «неописуемая суматоха» (фр.).

добившиеся власти, — восклицал он, — помните ли вы те многотысячные народные собрания, где когда-то вас носили на руках? Бриан, Мильеран, Вивиани, в сердцах обездоленных людей остался ваш образ, образ страстных защитников идеала, который ныне вы попираете так грубо! Эти бедняки читают теперь в газетах, как вами, вами поругано право стачки, и вся их жизнь, вероятно, им представляется нелепым, бессмысленным кошмаром!..»

III.

После окончания дела Дрейфуса политическое возвышение Бриана пошло быстро. Клемансо обратил на него внимание. В 1902 году Бриан был избран в палату депутатов. Доклад об отделении церкви от государства сделал его имя известным всей стране. Нельзя, конечно, утверждать, что этот доклад был шедевром учености. В нем капетинги смешаны с каролингами, Иннокенгий III, умерший в 1216 году, ведет спор с Филиппом Красивым, родившимся в 1268 году, а Триентский Собор (Concile de Trente) оказывается Собором Тридцати (Concile des Trente). Впрочем, это, вероятно, не доглядел секретарь, — едва ли Бриан сам составлял историческую часть своего доклада. Да и беда, разумеется, невелика: познания не так нужны государственному человеку, — где было бы иначе взять государственных людей?

В 1906 году Бриан стал министром народного просвещения. Вскоре затем Клемансо предложил ему пост министра юстиции. После падения кабинета Клемансо он — после семи лет парламентского стажа — стал главой правительства! Социалистическая партия еще в 1906 году исключила его из своей среды, впрочем, без шума, без злобы, больше для порядка. Отношение к нему социалистов было вначале сравнительно благоклонным. Но Бриану очень не повезло.

В 1910 году во Франции началась большая железнодорожная забастовка, вызвавшая панику в населении. Бриан быстро подавил ее, с чрезвычайной энергией, при помощи военно-административных мер (правда, без пролития крови), не остановившись перед мобилизацией стачечников. По причинам, которые трудно по-

нять, этот осторожный человек бесспорно перегнул палку (кажется, единственный раз в течение всей своей правительственной деятельности): в Англии в сходной обстановке обошлись без подобных мер. Со всем тем другой человек, быть может, и не вызвал бы ими особого негодования. Но легко себе представить, какую тему давало при таких обстоятельствах прошлое Аристида Бриана. Кампанию, предпринятую газетой «L'Humanité», можно считать непревзойденной по грубости. Не было номера газеты, в котором Бриана не называли бы разбойником, канальей, злодеем. Друзья молодости с наслаждением описывали, в каких худых сапогах ходил когда-то «капиталистический наемник», сообщали, что он получал за свои зажигательные речи по 40 франков с рабочих организаций, разоблачали его планы жениться на богатой невесте, утверждали, будто он в свое время предлагал взорвать сточные трубы Парижа!..

«Капиталистический наемник» не женат и по сей день. План взрыва парижских сточных труб слишком глуп для того, чтоб его можно было бы приписывать Бриану. Но, независимо от разных вымыслов и от тона, эту кампанию должно признать неправильной в моральном отношении.

Газета «Temps» недавно сравнивала нынешнего министра иностранных дел с Талейраном. Сравнение одновременно и лестное, и оскорбительное. Когда Талейран умер, на наивный вопрос о происхождении его богатства один из врагов ответил: «Он продавал поочередно всех, кто его покупал». Бриан в результате небывалой государственной карьеры остался совершенным бедняком. Кроме клочка земли в Кошереле, за 70 лет жизни он не нажил ничего: когда ему была присуждена Нобелевская премия мира, выяснилось, что у Бриана ни в одном из банков нет текущего счета. Человек, бывший много раз главой правительства и не имеющий текущего счета в банке, — явление в мире совершенно исключительное. Государственным деятелям с большим прошлым и будущим нет никакой надобности быть нечестными людьми для того, чтобы приобрести материальную независимость: для них существуют другие пути, легальные, принятые, даже не заключающие в себе ничего предосудительного. Многие коммерческие или промышленные предприятия были бы рады и счастливы предоставить должность

или синекуру политическому деятелю такого полета. В этом отношении Аристид Бриан человек совершенно безупречный и на редкость щепетильный.

Разумеется, кроме денег существует еще и власть. Очень возможно, что правящие классы Франции, рачитая двадцать лет тому назад всевозможные комплименты молодому министру, покинувшему революционный лагерь, руководились изречением остроумного писателя: «Лучшие пожарные выходят из поджигателей». Пуанкаре где-то пишет: «Буржуазия охотно прощает людям, ей угрожавшим, если приходит к мысли, что они в состоянии защищать ее». Все это совершенно верно. Но не менее верно и то, что перед молодым Брианом в свое время открывалась гораздо более прямая, легкая и удобная дорога к власти. Буржуазия еще охотнее выносит наверх людей, которым ничего прощать не надо. Бриан — лучший оратор Франции, один из ее умнейших политиков. Этих свойств было совершенно достаточно, чтобы обеспечить ему блестящую государственную карьеру (не говорю уже о карьере адвокатской). По пути к министерским дворцам ни в какой Интернационал заезжать ему не требовалось.

Думаю, что Бриан совершенно искренно верил в то, что говорил когда-то на митингах, верил и в свою теорию всеобщей забастовки. Думаю, что он вполне искренно служил делу обездоленных. Едва ли придется удивляться тому, что человек, двенадцать раз бывший главой правительства (рекорд в мировой истории), немного порастряс отпущенный ему запас веры и иллюзий. Но ничего циничного я в его жизни не вижу.

Оправдывалась ли эволюция Бриана тем, что он сделал, достигнув власти? Сделал он, конечно, не очень много. Все же из тех 25—30 человек, которые в разных сочетаниях и комбинациях правили Францией в последние десятилетия, очень немногие осуществили больше социальных реформ, чем он. Правда, реформы эти нельзя признать глубокими; но и возможности исторической обстановки, в которой он работал, тоже были невелики. Вдобавок он обычно не очень долго задерживался у власти — частью вследствие желания

* Только во Франции и в Англии после войны государством правят те же люди, что и перед войною.

отдохнуть и подышать спокойнее, частью по самой природе государственных порядков Франции. Анатолий Франс видел в недолговечности французских министерств большое преимущество республиканского строя: «*Les crétins durent beaucoup moins longtemps*»*. В отношении Бриана уж никак нельзя увидеть здесь преимущество.

Он был долгие годы «разрушителем». Но из людей, спасавших и спасших Францию во время войны, к бывшим разрушителям принадлежат очень многие. В Люксембургском музее есть картина Рафаэлли «Митинг в цирке Фернандо». Она писана с натуры больше сорока лет тому назад. Клемансо произносит зажигательную речь. Его фигура на первом плане передана художником удивительно: «Помесь Виктора Гюго с Робеспьером», — сказал умный человек (маршал Фош). Позади народного трибуна теснятся его ученики, друзья, обожатели. Все они тоже писаны портретно. Одни из них давно умерли (как П. Л. Лавров). За некоторыми захлопнулась дверь дома умалишенных. Очень многие ушли в другой лагерь (среди них легко узнать фигуру молодого Мильерана).

IV.

В пору объявления войны Бриан был не у дел. Во главе правительства стоял Вивиани, его старый соперник и по социалистическому, и по правительственному лагерю. Но очень скоро, еще в августе 1914 года, страшные военные катастрофы поставили вопрос о привлечении в состав кабинета наиболее выдающихся людей Франции. Вивиани предложил пост военного министра Клемансо, который ответил отказом, требуя для себя должности главы правительства**. Вместо него был привлечен Мильеран, Делькассе стал министром иностранных дел, а Бриан министром юстиции. Вивиани пригласил Бриана в правительство не слишком охотно, зная жгучую ненависть к нему всего лево-

* «Время, отпущенное кретинам, значительно короче» (*фр.*).

** По словам Пуанкаре (Воспоминания, т. V, стр. 175), Клемансо заявил: «Я сам составлю кабинет и возьму в него Бриана, Мильерана и Делькассе». Все эти люди были тогда его личными врагами; очевидно, именно их он и считал способнейшими государственными деятелями Франции.

го лагеря. Но в дни смертельной опасности для родины здравый смысл, патриотическое чувство, благородство национального характера французов оказались сильнее самой острой политической и личной вражды. Жюль Гед и Семба вошли в правительство вместе с Брианом.

Должность министра юстиции в пору войны не имела особенного значения. Однако роль Бриана в совете министров была чрезвычайно велика.

Война везде (в России и в Соединенных Штатах меньше, чем в других государствах) сопровождалась глухой, мало заметной публике борьбой между гражданскими и военными властями. Явление это старое и обычное. Князь Бисмарк рассказывает о той упорной борьбе, которую ему и в мирное время приходилось вести с руководителями генерального штаба. Взгляды Бисмарка на взаимоотношения военных и гражданских властей были довольно своеобразны. На основании большого личного опыта канцлер был убежден, что военные всегда и везде, явно или скрыто, стремятся к войне. Бисмарк считал это явление совершенно естественным и даже законным: какой без него был бы дух в армии? Но, исходя из такого стремления, как из факта, с которым ничего не поделаешь, Бисмарк всячески старался не допускать генералов к политике. Зато сам он беспрестанно вмешивался в чисто военные дела — и не только в мирное время. При своей безграничной вере в себя и в свои силы канцлер не без иронии относился к Роону, к Мольтке. Это влекло за собой беспрестанные столкновения. Так, в 1870 году военные власти ультимативно потребовали от короля невмешательства Бисмарка в их распоряжения. Сам канцлер рассказывал, что в пору своих высших политических успехов он подвергался настоящему бойкоту со стороны военных кругов.

У государственных деятелей, правивших Европой в 1914 году, не было ни авторитета Бисмарка, ни его силы воли. Им пришлось столкнуться с такими же затруднениями, но действовать круто они, естественно, не могли.

Теперь ни для кого не тайна, что взаимоотношения французского и британского командования в пору 1914—1917 годов не отличались особой сердечностью. Столкновения начались с первых дней войны — начались как бы с пустяков. Французский генеральный штаб,

разумеется, имел все права на первенствующую роль в управлении военными действиями. Но по чину и Жоффер, и Галлиени, и Фош, как дивизионные генералы, были ниже фельдмаршала Френча*. Возник вопрос о взаимном титуловании. Жоффер в первом письме к Френчу назвал его «Monsieur le Maréchal». Френч ответил «Mon cher général». Это вызвало серьезное неудовольствие среди французов: такая форма принята во французской армии в обращениях высшего к низшему. С другой стороны, если бы Френч написал просто «Mon général», то это было бы обращением низшего к высшему**. Из трудного положения знатоки предложили выход: взаимное титулование «Mon cher camarade». Но оттого ли, что фельдмаршал Френч не любил слова «camarade», или просто по его незнакомству с французским языком, британский командующий продолжал писать Жофферу «Mon cher général» даже в своих донесениях полуподчиненного характера.

Не надо думать, что столкновения эти имели характер, не соответствующий трагическим событиям тех дней. Во главе армии стояли выдающиеся, умные и самоотверженные люди. Но за вопросами этикета скрывалась очень серьезная проблема взаимоотношения обоих штабов, принимавшая острую форму не один раз, вплоть до 1918 года, когда Клемансо добился подчинения всей английской армии верховному командованию генерала Фоша.

Одна из нелегких задач Бриана (особенно в 1916 году) заключалась именно в том, чтобы заглаживать эти раздоры. Столкновения возникали вдобавок и между самими французскими генералами.

По совершенной своей некомпетентности я не берусь судить о том великом событии, которое вполне справедливо называется чудом на реке Марне. Разумеется, больше всего чудом этим Франция обязана храбрости, выносливости и патриотизму своей армии. Но и роль отдельных людей в спасении Парижа была весьма значительна. Надо ли в первую очередь связывать победу с именем Жоффера или с именем Галлиени, — об этом историки будут спорить очень долго. В

* В Англии существуют четыре генеральских чина, во Франции только два; ни одного маршала во французской армии в 1914 г. не было.

** Форма обращения «Mon général» представляет собой во французской армии звуковое видоизмененное старинной формы «Monsieur le général», существовавшей почти до конца XVIII в. Во французском флоте подчиненные и теперь говорят адмиралу «Monsieur l'amiral», а не «mon amiral».

официальной citation*, данной парижскому главнокомандующему через год после битвы при Марне, ему отводится подчиненная роль: «coopération subordonnée»**. Но сам генерал Галлиени, принимая награду, заявил, что ее текста он не принимает. Этот военный вопрос, быть может, так и останется неразрешенным.

Во всяком случае, теперь можно считать выясненным, что в последние дни перед исторической победой в правящих кругах союзников настроение было ужасное. Галлиени писал Жоффру 2 сентября 1914 года, что маршал Френч, по-видимому, о Париже заботится мало, что ему самому планы главнокомандующего вообще неизвестны. Немцы были настолько уверены в неминуемом падении Парижа, что ген. Маррвиц, командовавший кавалерией первой армии, даже не зашифровывал радиотелеграммы, которые он посылал по начальству, — они, как известно, были перехвачены Эйфелевой башней. По словам генерала Ле Гро, за несколько дней до победы в кабинете французского военного министра дело считалось погибшим, — произнесены были слова: «Единственная надежда теперь на русских»*** ...

На основании тех источников, которыми мы располагаем в настоящее время, можно сказать с большой вероятностью, что в последние дни августа 1914 года французскими властями было принято, или почти принято, решение не защищать Париж и объявить его открытым городом. К этому склонялась ставка главнокомандующего. Военный министр Мильеран заявил категорически, что он не считает возможным вмешаться в распоряжения ставки.

Легко понять это настроение Мильерана. Штатскому человеку нужны были исключительные мужество и самоуверенность для того, чтобы в вопросах стратегических возражать военному командованию. Вместе с тем достаточно ясно, что Париж для гражданского правительства уж никак не был только стратегическим пунктом — плохой крепостью, которую трудно защищать. Мнения разделились, и, по-видимому, заседания совета министров приняли чрезвычайно бурный харак-

* Объявление благодарности в приказе (фр.).

** «Подчиненное сотрудничество» (фр.)

*** Général H. Le Gros. La genèse de la bataille de la Marne, p 49. Пуанкаре в своих воспоминаниях (т. V, стр. 223) пишет, что по донесению французского посла (за № 513) в Петербурге неудачи союзных армий вызвали сильнейшую тревогу; опасались заключения союзниками сепаратного мира с Германией.

тер. История этих заседаний еще не написана, — мы можем о них судить только по намекам. Нам известно, напр., что на этом французском совете в Филях Жюль Гед предложил раздать оружие населению и поднять его на защиту столицы. В подобные меры министр юстиции плохо верил, давно покончив с психологией 1793 года. Бриан доказывал, что сдать Париж невозможно и что главнокомандующий *обязан* попытаться счастья в решительном сражении у ворот французской столицы.

Его мнение одержало верх.

Очень возражал Бриан и против отъезда правительства в Бордо, предчувствуя крайнюю непопулярность этой меры. Он же первый в Париж из Бордо вернулся. По словам Пуанкаре, действия министра юстиции приводили в весьма нервное состояние главу правительства, который усматривал в них желание Бриана занять его место. Это, конечно, лишь предположение. Как бы то ни было, в октябре 1915 года кабинет Вивиани подал в отставку и Бриан стал председателем совета министров с портфелем министра иностранных дел.

V.

Обладал ли он свойствами, необходимыми для поста, столь необычайно тяжелого в годы войны? Этот умный, осторожный, дальновидный человек, конечно, глупостей не делал, — Бриан, вероятно, органически не способен сделать глупость. Положение его было трудное. Он не хотел быть военным министром, не имея военного образования, не учившись в «огнестрельных книгах» (как писали у нас в XVII веке). Над бывшим антимилитаристом, защитником Гюстава Эрве, вдобавок тяготело его прошлое. Для роли Дантона или Клемансо он, при всем своем красноречии, видимо, не годился. Но все то, что мог дать в качестве главы гражданского правительства умный, осторожный и дальновидный человек, Бриан дал Франции в эти годы.

Он доверил военное министерство генералу Галлиени, потом генералу Лиоте, всячески охранял престиж Жоффра, со свойственным ему тактом сглаживал столкновения, о которых я говорил выше, убедил английское правительство согласовать действия фельд-

маршала Хейга с требованиями французской ставки и всячески отстаивал в спорах с союзниками первенство французского командования. Фельдмаршал Робертсон в своих воспоминаниях говорит, что британская ставка опасалась личных свиданий Бриана с Ллойд Джорджем, предполагая, что французскому премьеру, при его даре убеждения, удастся выговорить какую-либо новую уступку у английского правительства.

Дипломатические обязанности Бриан исполнял с обычным своим искусством; не следуя вообще примеру Бисмарка, он иногда все же решался выступать и за пределы чистой дипломатии. Бриан был главным сторонником салоникской экспедиции, сыгравшей огромную роль в самом конце войны. Экспедицию эту в известной мере можно считать его делом. Есть некоторые основания думать, что он стал проповедовать ее начиная еще с *декабря 1914 года*. Если это верно, то здесь должно видеть доказательство исключительной дальновидности Бриана. В военных кругах не хотели слышать об отвлечении на Балканы значительных военных сил с главного театра войны. Фельдмаршал Робертсон высказывался против «балканской авантюры» самым решительным образом. Ее противником был и лорд Китченер. Не одобряли ее и французские военные авторитеты. Генерал Саррайль рассматривал свое назначение в Салоники почти как ссылку. Жорж Клемансо вел отчаянную кампанию против отправки союзных войск в балканские страны. На одном из заседаний сенатской военной комиссии Клемансо, указывая на личную ответственность Бриана в этом деле, грозил ему военным судом. «Я эту ответственность принимаю», — ответил кратко глава правительства. Очень возможно, что он и попал бы под суд, если бы война кончилась иначе.

Бриану не суждено было, однако, остаться у власти до конца войны. Он «пал» все на том же вопросе взаимоотношения гражданских и военных властей. В марте 1917 года военный министр его кабинета, генерал Лиоте, на секретном заседании палаты отказался ответить на некоторые вопросы депутатов, довольно прозрачно намекнув, что военная тайна будет соблюдена лучше, если в нее не посвящать несколько сот человек. Заявление генерала, его резкий тон крайне оскорбили палату. Уход Лиоте повлек за собой отставку всего правительства.

VI.

Для Бриана наступили годы тяжелого бездействия. Он стал чем-то вроде гражданского Жоффра, — роль отдаленного *подготовителя* победы не так уж благодарна. Клемансо с 1918 года находился на вершине славы, — при нем Бриан больше ни на что рассчитывать не мог. Перед началом мирных переговоров многие газеты довольно настойчиво намекали, что не мешало бы включить в число французских представителей на Конференции мира такого тонкого дипломата, как Бриан. Клемансо не хотел об этом и слышать. Вокруг Бриана образовался холодок: тогда тоже говорили, что он кончен. Будущее в самом деле представлялось мрачным: все предполагали, что с уходом Пуанкаре Клемансо станет президентом республики.

В Париже в 1920 году ходил забавный рассказ, будто Клемансо незадолго до выборов сказал с насмешкой одному из депутатов: «Пожалуйста, передайте Бриану, что теперь он может семь лет бегать по тротуару перед Елисейским дворцом, — я его к власти не призову». Бриан будто бы любезно ответил: «Передайте, пожалуйста, Клемансо, что я очень благодарю за предупреждение и постараюсь не пропустить его в Елисейский дворец».

Оба они были величайшими знатоками дела президентских выборов. Клемансо в течение нескольких десятилетий «делал» президентов республики, как граф Уорвик «делал королей». Но свое первое поражение он понес именно в борьбе с Брианом в 1913 году: Клемансо отстаивал кандидатуру Памса, а Бриан проводил Пуанкаре. Тогда велась упорная закулисная борьба. Теперь «отец Победы» ровно ничего не предпринимал, видимо, уверенный в том, что никто не осмелится выставить против него свою кандидатуру. Так, собственно, думал и весь мир. Один Бриан не считал положение безнадежным и упорно работал в кулуарах. У него были связи во всех партиях. Даже социалисты начинали слагать гнев на милость: с их точки зрения, Бриан был плох, но Клемансо был еще хуже. После долгих сомнений и уговоров Поль Дешанель согласился попытать счастья в Версале. Консерваторы заколебались — как голосовать против Дешанеля? Социалисты пришли в восторг — лишь бы провалить Клеман-

со. В чисто спортивном отношении кампания Бриана представляла собой верх совершенства, — о ее подробностях говорить было бы долго. Результат всем памятен: Клемансо расвирепел, снял свою кандидатуру и уехал охотиться на тигров в Индию.

В январе 1921 года Бриану было поручено составить кабинет. К «конченому человеку» в небывалом количестве устремились кандидаты в министры. Такого наплыва кандидатов не знал ни один премьер. «Сколько их было, я не скажу: все равно мне не поверят», — рассказывает Барту: приемная Бриана по давке напоминала Сен-Лазарский вокзал.

С той поры Бриан побывал у власти очень много раз. Его деятельность после войны в большей или меньшей мере связана с идеей примирения народов. Бриан очень долго проповедовал гражданскую войну, был главой правительства в пору невиданного в истории верденского кровопролития, — он имеет достаточно оснований служить делу внутреннего и международного мира.

Верит ли он, со своим огромным опытом, в Лигу Наций, в живучесть духа Локарно, в значение договора Келлога? Думаю, что верит, — но все же не совсем так, как, например, лорд Роберт Сесиль. Нет идеологической формулы, к которой Бриан не делал бы десятки практических поправок. Только поправки эти он часто держит про себя, — что же сразу всем делиться с публикой? Больше всего он верит, должно быть, в действие времени. Бриан и к примирению народов идет довольно постепенно: всего за три года до Локарно он с трибуны парламента грозил «взять Германию за шиворот».

Впрочем, он и тогда шел по дороге в Локарно или осторожно вступал на эту дорогу. В то, что люди когда-нибудь перестанут воевать, Бриан верит твердо. Может быть, это случится через сто лет (или через двести), — основная линия прогресса все же намечена. Может быть, основная линия свернет куда-нибудь в сторону, — беда не так велика. Бриан, наверное, не убежден, что в политике прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Он, в общем, оптимист, однако оптимизмом не злоупотребляет.

Взгляды его менялись, но методы не менялись никогда. Кухня Локарнского соглашения не так уж от-

личалась от кухни выборов Дешанеля или от кухни социалистических конгрессов. Один из французских политических теоретиков довольно справедливо замечает, что Локарно, помимо своего значения для человечества, представляет собой дипломатический шедевр: немецкие формулы Бриан заполнил французским содержанием, и достигнуто это было в борьбе с умным и опытным противником путем чистейшего bluff'a — угрозой нового, тесного военного союза между Францией и Англией, о котором в действительности не было речи.

VII.

Я имел возможность любоваться работой Бриана на одном из собраний Совета Лиги Наций в 1925 году, в «исторический», по словам некоторых восторженных журналистов, день, когда решался конфликт между Болгарией и Грецией, вызванный набегом банд на болгарскую территорию. Приведу здесь записи, сделанные мною тогда под свежим впечатлением этого заседания:

«Зал («Salon de l'Horloge»)* в пять окон, выстланный красным ковром, обитый красным атласом, уставленный красными диванами. Огромный камин. В его орнамент вделаны часы, дающие название залу. Против камина стол. У стола ряд больших кресел для судей и два поменьше для подсудимых. Другой стол для стенографов: мирят Болгарию с Грецией, — ни одно слово из того, что здесь будет сказано, не должно пропасть для истории.

Здесь все историческое. Салон исторический. Стол исторический. Часы исторические. В этом салоне, за этим столом, сидя в этих креслах под бой этих часов, Клемансо, Вильсон и Ллойд Джордж вырабатывали окончательную редакцию условий Версальского вечного мира.

Гвардейцы в мундирах. Лакеи во фраках. Дамы в мехах. Дам очень много, — все чрезвычайно элегантно и в большинстве чрезвычайно некрасиво. Участие в пацифистских конгрессах — последнее слово моды.

* «Часовой салон» (фр.).

Мода, что говорить, тяжелая, но бывали времена и похуже: двадцать лет тому назад было, например, обязательно слушать в «Collège de France» лекции Бергсона о плотинном миропонимании. К крайнему раздражению знаменитого философа, аудитория его походила в тот год на five o'clock у Рига.

Вблизи стола судей, у окна расположилась шестая держава. С ней оживленно беседует болгарский посланник. Держава слушает и усердно набивает строчки — кто по 25 сантимов, кто дороже. Болгарский посланник, по-видимому, в большой милости у шестой державы. Коварная Греция, напротив, крайне непопулярна.

Заседание должно начаться в одиннадцать часов. Золотая стрелка на бело-голубом фоне часов приближается к историческому сроку. Все с нетерпением ждут, что произойдет. Стрелка сливается с одиннадцатью. Ничего не происходит. Легкое разочарование. Но вот еще пять минут, и из соседней залы — без особой, впрочем, торжественности — выходит «Мировой Суд» народов (это выражение принадлежит Бриану). За ним огромная свита секретарей и атташе, — все, как в форме, в черных пиджаках и полосатых брюках. У большинства проборы с левой стороны, — это дипломаты степенные и солидные. У других проборы справа, — эти, вероятно, отчаянные люди в политике.

Судьи и подсудимые занимают места за столом, секретари — позади стола. Но заседание еще не начинается: оказывается, греки не успели расшифровать важную депешу, только что ими полученную от генерала Пангалоса. Негодование против греков растет, хотя они расшифровывают депешу «с лихорадочной быстротою» (по не совсем понятному, но употребительному и образному выражению). Представитель могущественного диктатора генерала Пангалоса, посланник Караманос, с виду очень тихенький и застенчивый старичок, в этой зале, очевидно, на ролях Бисмарка: он воплощает империализм, милитаризм, бронированный кулак, вообще идею грубой силы, которая, к несчастью для цивилизации, поставила себя выше права. Так с ним и говорят большие: вежливо, неодобрительно и укоризненно. При этом Бриан остается совершенно невозмутимым. Чемберлен, не далее как в собственной семье выдавший других империали-

стов, с усмешкой пишет карандашом записочку и передает ее своему соседу сэру Эрику Друммонду. Тот читает, низко пригибает голову к столу и рвет записку на мелкие кусочки.

По другую сторону Бриана с кротким, мечтательным выражением на усталом, болезненном геморроидальном лице, не раскрывая рта, изредка сочувственно кивая головой, сидит профессор римского права, выражающий бурную, кипучую энергию итальянского фашизма. За ним испанский посол, какие-то чилийцы, бразильцы и в конце стола шведский министр иностранных дел социалист Унден. Говорят, он самый молодой министр двадцатого столетия.

Надо ли говорить, что заседание Верховного совета Бриан ведет превосходно. Ему, вероятно, очень скучно и вдобавок совершенно не до греко-болгарского примирения. Как раз во время этого заседания формируется новый кабинет. В «зале часов» то и дело появляются люди, которым, видимо, очень, очень нужно поговорить с Брианом. Один парламентарий, не раздеваясь, в сером пальто ворвался в зал и с тоской уставился глазами на стол: не освободится ли хоть на минуту от пустяков председатель Верховного совета? Председатель смотрит на него, разводит слегка руками и продолжает священнодействовать. Любо слушать выразительные модуляции этого бархатного баритона, эту гладкую речь без обмолвки, эти длинные безукоризненные фразы, с предложениями главными, вводными, придаточными. Бриану, вероятно, было бы очень трудно говорить не так хорошо.

Французского министра иностранных дел я много раз видел и слышал. Но британского вижу впервые.

В биографии Остина Чемберлена — не в каком-нибудь легкомысленном издании, а в Британской энциклопедии — сказано, что он чрезвычайно похож лицом на своего отца и носит монокль, совершенно как отец. Действительно, сходство большое: не хватает только в петлице орхидеи, с которой обычно изображали Джозефа Чемберлена. Высокая худая фигура, гладко выбритое, надменное, ироническое лицо со складками у углов рта, зеркальные серо-голубые глаза, пробор, который, кажется, трудно было провести столь точно без геометрических инструментов. Мо-

нокль Чемберлен носит так изумительно, что молодые атташе, сидящие позади его, вероятно, чувствуют себя уничтоженными. Внешность Остина Чемберлена — забавная иллюстрация к теориям о белой кости и синей крови. Здесь в «Salle de l'Horloge» сидит сановник, древний род которого связан с прославленным монархом узами незаконного родства. Более вульгарную, более «плебейскую» физиономию, чем у этого сановника, и представить себе трудно. Остин Чемберлен по наружности — воплощение аристократизма. Все его предки, вплоть до деда, были сапожниками.

Сапожным делом занимался в ранней молодости и его знаменитый отец. Затем, не получив почти никакого образования, он двадцать пять лет торговал гвоздями, а уже на пятом десятке, скопив громадное состояние, занялся политикой и проделал свою памятную всем государственную карьеру. Сам Остин Чемберлен воспитывался в аристократической школе, в Кембриджском и в Берлинском университетах. Но с детства, по наследственной традиции, он был записан в корпорацию лондонских сапожников и теперь имеет звание почетного ее члена («Master of Cordwainers Company»). У Августа Бебеля, бывшего в молодости ремесленником, на дверях квартиры, кажется, до конца его жизни была дощечка с надписью: «токарь Бебель». Но это, разумеется, другое дело: в Германии вождь революционной партии, именуя себя токарем, «бросал вызов феодальным предрассудкам общества». В Англии министр иностранных дел консервативного правительства носит звание почетного сапожника — из родовой гордости.

Участие сына Джозефа Чемберлена в Совете Лиги Наций — наглядное доказательство успехов ее идеи.

Джозеф Чемберлен был творцом и вдохновителем того, что называют британским империализмом. Он вызвал Трансваальскую войну, он проповедовал союз Англии с Германией Вильгельма II, он едва не довел дело до англо-французской войны. Тем приятнее видеть, что сын знаменитого министра, посланный им в Берлин учиться политической мудрости у Трейчке, поклонник отца и его бывший товарищ по кабинетам, стал горячим сторонником идеи Общества Народов.

Греки расшифровали телеграмму и торжественно ее оглашают. По-моему, ее можно было не зашифро-

ывать. Правительство грозного генерала с величайшей готовностью передает конфликт на рассмотрение Верховного совета, — оно приветствует, оно в восторге, оно счастливо, оно с первой минуты... и т. д. Общая радость. Твердыня милитаризма пала. Бронированный кулак спрятан в карман. Бриан произносит небольшую взволнованную речь, с модуляциями голоса и с придаточными предложениями. Он испытывает сейчас одну из величайших радостей в своей жизни. Обе высокие стороны согласились уладить миролюбиво досадное недоразумение («un malentendu regrettable»).

Речью Бриана, собственно, все должно было бы закончиться. На беду Чемберлен требует слова и в свою очередь произносит небольшую речь. Он тоже очень счастлив, в его жизни тоже произошла величайшая радость: досадное недоразумение улажено, обе высокие стороны и т. д. Это у Чемберлена была очень злополучная мысль: все другие участники Совета считают себя обязанными последовать его примеру и поделиться своей радостью, а равно и радостью своих правительств по случаю миролюбивого исхода досадного недоразумения между обеими высокими сторонами. Рада Италия, рада Япония, рада Испания, рада Бразилия, рада Чили, все рады, и никто не жалился над публикой. Каждый член Совета, в зависимости от темперамента и познаний во французском языке, выражает радость от трех до пяти минут. Столько же времени отнимает производимый по требованию Чемберлена перевод речей на английский язык. Парламентарий в сером пальто в совершенном отчаянии. Бриан умоляюще смотрит на Чемберлена. Но тот безжалостен: необходимо обеспечить дипломатическое равноправие английского языка с французским.

Инцидент исчерпан. Вечером в министерстве будет чай для Верховного совета и гостей. Заседание закрывается. Парламентарий в сером пальто, как коршун, бросается на Бриана...

Какая хорошая вещь дипломатия! Как умиротворяюще действуют эти раззолоченные стены салона, эти раззолоченные фразы Бриана! Темной ночью вооруженные шайки грабителей ворвались в незащитные деревни, сожгли дома, изнасиловали женщин, вырезали сотню людей. Так дело представляется на месте.

Здесь это «досадное недоразумение». Как быстро, как хорошо оно кончилось чаем с придаточными предложениями!

Но ведь было бы много хуже, если бы дело не кончилось и зверства продолжались?

Совершенно верно, было бы много хуже. Правда, греческий посланник, слушая укоризненный рапорт Чемберлена и сочувствие, выраженное Шалойей идее Лиги Наций, быть может, кипел от злости, вспоминая некоторые недавние происшествия. Но вольно же греческому посланнику вспоминать то, чего вспоминать не надо. Это не в политике, а в плохой пьесе Делавина говорится, что «справедливость, не равная для всех, есть худший вид несправедливости».

Когда в газетах появилось сообщение о греко-болгарском конфликте, вероятно, не одни только скептики подумали: «Какое счастье привалило Лиге Наций! Вот реванш и за Корфу, и за Египет. Вот когда Верховный совет проявит твердость без всякого риска: покорность «высоких сторон» обеспечена». Радость в самом деле была, по-видимому, чрезвычайная. Бриан разослал повестки на заседания Верховного совета «в тот же день». Чемберлен прискакал из Лондона «в тот же вечер». Я удивляюсь, как он не прилетел на аэроплане.

Маленький шаг вперед сделан. Отчего же это не приветствовать? Можно и приветствовать. Не скрываю, однако, сладенькие восторги, раздавшиеся в печати по случаю «Мирового Суда», действуют чрезвычайно раздражающе. Видный член парламента назвал день 30 октября «началом новой эры в истории». Лига Наций — вещь полезная, может быть, она станет и очень полезной. Но в конфликт, подобный греко-болгарскому, великие державы вмешались бы и в былые времена. Правда, тогда они вмешались бы как великие державы, а теперь — как Совет Лиги Наций...»

VIII.

Около четверти века тому назад писатель Поль Аккер, работавший над книгой «Маленькие исповеди», явился за интервью к Бриану, начинавшему приобретать известность. Этот очерк Аккера трудно читать без улыбки. Он изобразил Бриана мрачным фанати-

ком коллективизма, вдохновенным проповедником нового религиозного учения. В соответственных тонах была описана наружность фанатика, его крошечная монмартрская келья, на стене которой висела литография Леандра, изображавшая забастовку рабочих.

Несколькими годами позднее Бриана перестали изображать фанатиком. Но чуть ли не вся левая Франция видела в нем стремящегося к диктатуре честолюбца. Из Савонаролы он превратился в Бонапарта. Еще забавнее, пожалуй, чем статью Аккера, читать теперь политические речи 1910 года, в которых ораторы (Крюппи, например) с пророческой тревогой предостерегали французский народ от надвигающейся военно-полицейской диктатуры отчаянного и опасного человека.

Бриан был такой же диктатор, как фанатик.

«Верность доктрине, — говорит Эмерсон*, — обычный пункт умопомешательства маленьких людей». Никак нельзя согласиться с этой мыслью. Но не надо впадать и в противоположную крайность. Бриан многому научился у жизни. Хорошо ли он воспринял ее уроки — другой и сложный вопрос. Он, очевидно, пришел к мысли, что в политике море зажечь нельзя, но сделать с пользой для людей можно все-таки немало: можно и в оппозиции, и у власти, однако у власти гораздо легче, чем в оппозиции.

Из этих мыслей он порою делал спорные личные выводы. Талейран мог сказать с полным правом: «Все политические режимы, которым я служил, получили от меня гораздо больше того, что они мне дали». Бриан служил только республиканскому строю, но в разных общественных группах, и каждой из них он дал, конечно, больше, чем от нее получил. Его заслуги перед Францией несомненно велики.

Отрицательная сторона его деятельности, быть может, заключается в том, что, как многие государственные люди Европы, он до известной степени стал спортсменом. Методы, которые он применяет и которым отчасти обязан своими успехами, присущи политической борьбе и, по-видимому, от нее неотделимы во всех странах, при любом государственном строе (в странах парламентских они только резче бросаются в

* Эмерсон Ралф Уолдо (1803—1882) — американский философ и писатель. — *Прим. ред.*

глаза). Но когда методы эти приобретают самостоятельную ценность, политика превращается в утонченную форму спорта. Нужно много ума, искусства, энергии для того, чтобы свалить десять министерств. Необходимы еще более выдающиеся дарования, чтобы десять министерств составить. Однако замена одного правительства другим с приблизительно такой же программой представляет собой чисто спортивное действие, — правда, чрезвычайно интересное: из всех видов спорта этот, вероятно, наиболее занимателен. Покойный Джолитти был по преимуществу спортсменом в политике. Гладстон, Жорес, Пуанкаре (называю людей разных партий) вполне устояли от этого соблазна, и в историческом счете именно их роль оказывается наиболее выигрышной. В Бриане превосходный спортсмен сливается с идейным политиком теснее, чем в ком бы то ни было другом из больших государственных людей. Основная мысль его правительственной деятельности, от Периге до Локарно, сводится к упрочению мира. Но, быть может, одной этой идеи не совсем достаточно.

Зато в чисто профессиональном отношении трудно указать в настоящее время более одаренного человека, чем Бриан. В его лице история дала весьма совершенный образец политической сирены. Все сказано о его уме, такте, дипломатическом искусстве. Как оратор, он в настоящее время не имеет себе равных. Кто не слышал Бриана, тот этого не поймет: в чтении его речи теряют так же много, как выигрывают в чтении речи Пуанкаре. Богатство доводов, блестящая форма, стиль не нужны Бриану; он умеет подать любое общее место, ошеломив им аудиторию, точно откровением. Его голосу могли бы позавидовать лучшие европейские актеры. Удивительнее всего то, что говорить он не любит — величайшая редкость среди подлинных ораторов. По крайней мере, друзья Бриана изображают его человеком довольно молчаливым. Происходит это, конечно, не от гордости и не от презрения к аудитории; когда нужно, он мечет бисер перед кем угодно. Но только когда нужно.

От людей он многого не требует и чрезвычайно к ним снисходителен. Я слышал недавно (за достоверность никак не ручаюсь), что Бриан советовал замять (собрав нужные деньги) скандал, связанный с именем Клоца. Этому будто бы категорически воспротивился

Пуанкаре. Если рассказ верен, то он характерен для обоих государственных людей. Дело, конечно, не в личной честности. Всем известна безукоризненная честность и щепетильность Пуанкаре; однако и Бриан в этом отношении человек вполне безупречный. Дело и не в их личных отношениях с Клоцом, — отношения были, по-видимому, хорошие у обоих*. Дело именно в разном понимании государственного престижа и в разном восприятии человеческих слабостей. От Пуанкаре все заслонила подпись Клоца на фальшивом чеке; Бриан помнил еще и о той же подписи под Версальским договором. Кто прав, я судить не берусь. Но благодушно-снисходительное сознание: «все мы люди, все человеки» — черта, весьма характерная для Бриана. Очень он много видел, и ничем его не удивишь. Так ли уж верно, что люди черствеют в политике? Большой жизненный опыт к разному приводит разных умных людей. В отличие от Клемансо, Бриан остался приветливым и благожелательным человеком. Ему одинаково чужды и мизантропия, и чрезмерная гордость. Он сам как-то о себе сказал: «Oh, j'ai tellement et de si près été mêlé à la vie, j'ai tant et de si près connu les hommes, du haut de l'échelle jusqu'en bas, que je ne crois avoir aucun parti pris...»**

* Бриан и Клоц были в 1913 г. секундантами Пуанкаре в его несостоявшейся дуэли с Клемансо.

** «Сам я был настолько и так близко связан с жизнью, так близко и настолько хорошо знал людей, от самых верхов до самых низов, что, как мне кажется, я лишен всяких предвзятостей...» (фр.)

ЛЕОН БЛЮМ



Блюм

I.

В зале Гюйгенса на социалистическом конгрессе* «Интернационал» пели два раза. Пели не слишком хорошо. «Интернационал» редко хорошо поют — может быть, потому, что никто не знает слов, кроме первого куплета. В России все твердо помнили: «Это будет последний...» Более сознательные знали еще, что «никто не даст нам избавленья, ни Бог, ни царь и ни герой»... Затем выезжали на энтузиазме. Немногим дальше идут, по-видимому, познания французов: мои соседи все больше возвращались к «C'est la lut-te fi-na-le...», так что хотелось спросить: «Это мы слышали, ну а дальше что?»

Пели, кажется, дружно, — даже иные буржуазные журналисты подтягивали. Французские журналисты вообще, а политические в частности — самые скептические люди на свете, ничем их не удивишь: «Интернационал» так «Интернационал», гимн фашистов так гимн фашистов. Пела и иностранная пресса, — кажется, только я в ней и не пел. Я принадлежу к одной из весьма немногочисленных в мире социалистических партий, которые ни в какой интернационал не входят и не вменяют своим членам в обязанность петь с энтузиазмом гимн Эжена Потье. Не могу сказать, чтоб я об этом сожалел, особенно с тех пор как «Интернационал» стал официальным гимном СССР. Бывают ведь неудобные положения. Один весьма видный социалист-революционер** недавно мне рассказывал, как в трагический день разгона Учредительного Собрания, в день крушения мечты десятка поколений, «Интернационал» пели обе стороны: и разгонявшие, и разгоняемые. Весьма вероятно, что в тот день в Таврическом дворце социалисты-революционеры пели с ненавистью и с отчаянием в душе. Однако пели.

* Речь идет о французском социалистическом конгрессе 1927 г.

** М. В. Вишняк.

Нет, положительно пора Второму Интернационалу, твердо ставшему на путь реформы, обзавестись новым гимном. Если бы еще были причины особенно дорожить песенкой Потье... Мне не раз приходилось слышать, будто «Интернационал» пели расстреливаемые коммунары. Это чистая фантазия: Потье написал свой гимн уже после разгрома восстания, перед самым отъездом в Лондон. Появление «Интернационала» прошло совершенно незамеченным. Да и то сказать: красотой и силой выражений он отнюдь не блещет — как, впрочем, большинство гимнов. Эжен Потье был, однако, человек не бездарный. Жюль Валлес сравнивал его с Виктором Гюго, — не более и не менее того. Это сравнение настолько смешно, что его нельзя назвать бесстыдным. Но некоторый поэтический талант у Потье несомненно был. Жаль, что именно в «Интернационале» его талант никак не отразился. Скажем правду: наш собственный Демьян Бедный много лучше пишет на тему «Попили нашей кровушки»^{*}. Потье, человек очень честный и порядочный, не блистал, по-видимому, умом. Он убеждал, например, женщин не отдаваться тем мужчинам, которые не заявят себя сторонниками идеи всеобщего мира, советовал лишить их, пока не образумятся, «права на поцелуи». Французскую революцию он любил столь горячо, что под своими стихотворениями ставил даты революционного календаря. Так, его стихи, посвященные в теплых выражениях Наполеону (*O bandit de la grande espèce, Viens, forçat, qu'on te reboulonne...*^{**}), помечены *брюмером 91-го* (т.е. 1883) года. Но еще более нежно, чем ту, давно минувшую, революцию, Потье любил революцию будущую, социальную, коммунистическую. Он возвестил ее приход в хитро составленных виршах с окончанием на elle: «*C'est elle! C'est elle! C'est elle! La Belle! La Rebelle! La vie à pleine mamelle, Elle appelle!*»^{***} и т.д. «Т.д.» здесь довольно длинное, и мы лишь в конце второго куплета узнаем, что «она» и есть коммунистическая революция... Эжен Потье до нее так и не дожил. В качестве доживших очевидцев мы можем с полным знанием дела засвидетельствовать: «*C'est elle! C'est elle!*

^{*} Выражение это, кстати сказать, почти буквально заимствовано из «Интернационала».

^{**} О великий бандит, приди, чтобы тебя снова заковали, как каторжника... (фр.)
«Вот она! Вот она! Вот она! Красавица! Бунтовщица! Полная жизни, она зовет нас!» (фр.)

C'est elle! La Belle! La Rebelle!..» Она, голубушка...

На конгрессе настроение было миролюбивое, и грозные вирши Потье звучали не слишком внушительно. Гимн грозит «в случае чего» перестрелять генералов, — в зале Гюйгенса не было ни одного генерала. Гимн разоблачает «коршунов» и «ястребов» капитализма, — коршуны и ястребы тоже не слетелись в залу социалистического конгресса. Особенно достается в «Интернационале» принципам угля и железной дороги, — большой беды опять-таки нет. Вот если б Потье уделил стишок принцам шелка, это могло бы быть неприятно главе конгрессистов: Леон Блюм — сын фабриканта шелковых лент.

II.

Я это говорю отнюдь не в укор вождю французской социалистической партии. Все религиозные учения включают в себя категорические императивы, соблюдение которых не легко дается людям. Относительно личного богатства есть довольно определенные указания не в одной только доктрине социалистов. Однако расхождение жизни с доктриной чаще всего вменяется в вину именно социалистам: «Социалист Блюм — миллионер!..» «Социалист Поль Бонкур — миллионер!..» — что же с того? Ничего недостойного они не сделали для приобретения богатства. Было бы, разумеется, прекрасно, если бы они раздали свое имущество бедным. Но было бы также недурно, если бы Ллойд Джордж, Ротшильд, Муссолини и Мустафа-Кемаль привели свою жизнь в полное соответствие с правилами исповедуемых ими религий. Я упоминаю о богатстве Леона Блюма, так как из песни слова не выкинешь; а это слово, в частности, имеет в песне некоторое значение. Жизнь Блюма непонятна без его богатства. В одной из своих книг, отмечая особенную любовь Поля Бурже к описанию роскошных туалетов, Блюм снисходительно объясняет маленькую слабость знаменитого романиста тем, что Бурже, родившийся в бедности, слишком поздно познал роскошь. Сам Блюм родился в роскоши и с юношеских лет имел возможность устраивать свою жизнь по-своему.

Его политическая карьера чрезвычайно своеобраз-

на. Теперь он признанный глава большой французской партии, кандидат в премьеры и виднейший человек в международном социалистическом мире. Но лет двенадцать тому назад его в политических кругах не знал решительно никто. Знали его в ту пору теоретики права. Леон Блюм считался одним из тончайших юристов Государственного совета, в котором состоял на службе: некоторые его решения вошли в университетские курсы*. А еще раньше, лет двадцать пять тому назад, Блюм имел тоже весьма почетную известность в кругах французских писателей, драматических критиков и эссеистов. С литературы он начал жизнь, — литературой, верно, ее и кончит. В свое время ему предсказывали блестящую литературную карьеру. Некоторые книги Блюма действительно очень недурны. Сам он лучшим своим произведением считает «Новые разговоры Гёте с Эккерманом». Замысел этой книги, вышедшей без имени автора, оригинален: Гёте, перенесенный в конец XIX столетия, ведет с Эккерманом беседы о разных событиях 1895—1900 годов. Нельзя не сказать, смелый план: на протяжении 300 страниц вкладывать свои собственные мысли в уста Гёте! При несомненном блеске книги она несколько раздражает. Гёте говорит об очень многом: о Леоне Доде, о Жюле Гедде, о Мильеране, о деле Дрейфуса, о пьесах Сарду, о рассказах Жанны Марни. Вероятно, не у одного из читателей являлась мысль, что кое о чем из этого Гёте не стал бы вовсе разговаривать и что лучше было бы Блюму говорить за Блюма, — зачем же пользоваться столь неудобным псевдонимом? На долю этой книги выпал шумный успех. Мне приходилось слышать, что Октав Мирбо просто влюбился в Блюма.

III.

Почему он оставил литературу для политики? Я спрашивал об этом Блюма. Его ответ был неясен. Помнится, Лев Шестов где-то говорит, что всякий писатель испытывает в известную пору потребность *повыситься в чине*. Нормальное повышение (иногда

* Так, Гастон Жез часто цитирует Блюма (хоть не всегда соглашаясь с ним) в своем известном учебнике публичного права (стр. 74, 89—91, 98, 110).

просто за выслугу лет) ведет к чину учителя жизни или духовного вождя. Не всегда это выходит хорошо. Сам Достоевский под конец своих дней в роли пророка великосветских салонов был, по словам очевидцев, невозможен. Я не знаю, какие именно побуждения сказывались всего сильнее у Леона Блюма. Он социалист совершенно искренний. К нему *до некоторой степени* могут относиться слова, сказанные Мирабо о Робеспьере: «Этот человек далеко пойдет: он действительно думает все то, что говорит». Может быть, Леон Блюм серьезно верит, что ему и друзьям его суждено «спасти Францию» (употребляю это ходячее выражение, несмотря на некоторую его загадочность: я с 11 ноября 1918 года плохо понимаю, от чего именно нужно спасать Францию). И уж наверно душа блестящего салонного эссеиста, завсегда кулис и законодателя модных театров испытывает своеобразный отдых на пролетарских митингах и конгрессах.

Леон Блюм, однако, не подделывается под пролетария. Некий видный, чрезвычайно левый, деятель имеет в Париже две по-разному обставленные квартиры: одну, весьма бедную, для приема вдов и сирот Третьего Интернационала; другую, значительно лучше, для собственных надобностей. Здесь нет даже напускного цинизма: обыкновенное житейское дело. Леон Блюм не прибегает к маскараду. Он явился на конгресс, как является в парламент и в салоны: изящный, хорошо одетый, со свойственной ему несколько старомодной элегантностью. Это делает честь и его правдивости, и его уму. Наполеону говорили с похвалой об одном маршале, что тот в походах приказывает носить себе пищу из общего солдатского котла: это ведь должно создать полководцу большую популярность в армии. Наполеон гневно назвал маршала дураком. «Никогда, — сказал император, — никогда французские солдаты не поверят, что маршал Франции питается солдатской пищей: они, наверное, убеждены, что это делается для отвода глаз и что их просто хотят надуть». Едва ли и парижские рабочие, отнюдь не славящиеся глупостью, признали бы своим братом Леона Блюма, если бы он явился на конгресс в блузе или в лохмотьях (бывает и так). Большинство ораторов конгресса называли друг друга на «ты»; Блюму все говорили «вы». Ясно чувствовалось, что рабочие видят в нем *чужого* и, как чужого, быть может, ценят его

особенно высоко. Один оратор-рабочий так и сказал с трибуны: «Я глубоко почитаю вас, товарищ Блюм. Но вы вышли не из нашей среды и не во всем нас понимаете. У меня нет вашей тонкости ума, зато у меня есть другое — инстинкт рабочего человека»... «Ах, мне надоела моя «тонкость ума!»» («Oh, j'en ai assez, de ma subtilité d'esprit!») — сердито прервал его с места Леон Блюм. Быть может, в этом разгадка его карьеры: тонкость ума ему надоела.

IV.

Он говорил, а за ним упоенно повторяли другие: «Все наши предсказания сбылись». Я слушал с недоумением: все предсказания? когда же именно они сбылись? Впрочем, это в порядке вещей. То же самое говорят на *своих* конгрессах и Марсель Кашен, и Эдуард Эррио, и Леон Доде. Сбылись решительно все предсказания решительно всех партий. Партийная игра — организованная нечестность мысли. На самом деле многие предсказания, которые в свое время именовались «блистательными», весьма блистательно опровергнуты жизнью. Марксистам, в частности, хватать никак не приходится. Великий утопист научного социализма был едва ли не всю жизнь убежден в крайней близости коммунистического строя. Маркс доказывал Лассалю в 1849 году, что пролетарская революция во Франции вспыхнет не позднее следующего года. В 1862 году он писал Кугельману: «Мы, очевидно, идем навстречу революции, в чем я начиная с 1850 года никогда не сомневался». В 1872 году он утверждал в письме к Зорге, что «пожар разгорается во всех углах Европы». Энгельс говорил сорок лет тому назад: «Царское правительство этот год уже не протянет, а когда уже в России начнется — тогда ура!» Естественно, что люди, знающие за собой блистательные политические предсказания в прошлом, имеют ясную программу и для будущего. В сжатой, отчетливой, превосходной речи Леон Блюм перечислил основные положения избирательной программы социалистов.

Он не оратор в таком смысле, в каком был оратором Жорес. От его речей лица не бледнеют и руки не

сжимаются в кулаки. У Блюма не хватает голоса, и жесты его сдержанно однообразны. Ударные фразы, для которых часто произносится вся речь и после которых должен наверняка последовать «бурный взрыв аплодисментов», у него повисают в воздухе. Вдохновенная *régotaison**, любимое блюдо ораторов (готовится и пробуется дома), Блюму удается далеко не в совершенстве. Его речи ничего не теряют в чтении — плохой признак для оратора. Но люди, к вдохновенным речам не восприимчивые, должны слушать Блюма с наслаждением. Он говорит быстро, гладко и так литературно правильно, что фонограмму его речи можно было бы напечатать без единой грамматической поправки. Перечисляя многочисленные пункты программы, приводя главные аргументы в пользу каждого, он ни разу не запнулся, ни разу не повторился, ни разу не заглянул в конспект, — я не уверен даже, что конспект перед ним был. Это, вероятно, школа Conseil d'Etat, — оттуда редко выходят вдохновенные ораторы.

Его программа очень хороша. Осуществить ее невозможно. Ввести налог на капитал, — капитал улетит за границу. Уничтожить сенат, — надо получить на то согласие сената. Дать политическое самоуправление колониям, — полноправные марокканцы немедленно попросят французов уйти к себе домой. Разумеется, возможны компромиссы. К этим компромиссам и сведется дело, если Леон Блюм придет к власти. Но для этого приходиться к власти ему не хочется.

Прежде было просто. В большинстве стран социалистическая партия была главной (если не единственной) последовательно-демократической партией. А последовательно-демократическая программа в этих странах была программой эффективно-революционной. Немецким социалистам стоило прийти к власти, чтобы установить республику в стране Вильгельма II. В государствах демократических, как Франция, прежде была возможна смелая программа широких социальных реформ: страны эти «ломались от золота», а сделано было для рабочего класса так мало. Двадцать лет тому назад учебники политической экономии говорили о восьмичасовом рабочем дне почти как о мечте революционеров. Что делать у власти французским социалистам в настоящее время? Франция больше от золота

* Заключительная часть речи (фр.).

не ломится. Бюджет чудовищно обременен войной, налоги тяжелы, как до войны никому не снилось, экономия государственных расходов переходит почти в нищету. Восьмичасовой рабочий день везде введен версальскими людьми. В Англии можно было выстроить миллион коттеджей для рабочих, — во Франции деньги для миллиона коттеджей достать теперь неоткуда. Несколько лет тому назад, в пору оккупации Рура, «эффектным боевиком сезона» могла быть внешняя политика. Сейчас и этого нет. Внешняя политика Леона Блюма мало отличалась бы от внешней политики Бриана, — второго Локарно не выдумаешь. Советское правительство тоже нельзя признать во второй раз. Разоружиться опять-таки невозможно: в Москве засел Сталин, из Рима Муссолини поглядывает на Ниццу и Савойю, где-то бродит и тень Людендорфа. Стоит ли брать власть для того, чтобы сказать в Женеве еще одну речь о примирении и братстве народов, уменьшить на два полка оккупационные войска в Марокко, оказать кредиты кооперации и увеличить процентов на десять налог на наследство или пенсии неимущим старикам? Все остальное хорошо для трибуны социалистического конгресса.

И потом «брать власть» — это звучит прекрасно. Но самое слово «власть» явно устарело во Франции. Право назначать и увольнять префектов, право открывать выставки и жаловать орден Почетного Легиона едва ли может воспламенить очень властолюбивого человека. А в палате депутатов роли главы правительства и главы оппозиции почти равноценны. В остальном вторая роль удобнее. Ведь над всем преобладают — по крайней мере теоретически — верховные интересы страны. Интересы же Франции едва ли требуют в настоящее время прихода к власти социалистов.

Нужно ли пояснять, что я говорю об эффективной программе отнюдь не в дурном смысле. Леон Блюм доказал, что он не вульгарный карьерист и за портфелями не гонится. Что будет, если он станет главой правительства? Будет прежде всего, конечно, паника на бирже — и естественная, и раздуваемая нарочно. Что

поделаешь с «легальным саботажем», — не вводить же Чрезвычайную Комиссию! Но будет еще и другое. Не имея возможности осуществить крупные и серьезные реформы, Леон Блюм может только погубить заслуженную партийную фирму. Рабочие массы немедленно уйдут от нее к коммунистам.

Я склонен поэтому думать, что *основная* линия политики Блюма более или менее правильна. К сожалению, с основной линией, как всегда, переплетается что-то еще. Одна из линий боковых ведет к избирательным соглашениям с коммунистами. На конгрессе шел горячий (так и не разрешенный) спор: предпочесть ли при перебаллотировках коммунистов радикалам или радикалов коммунистам. О том, чтобы коммунистам предпочесть так называемых умеренных республиканцев, и спора никакого не было. Самое важное, разумеется: *bager la route à la réaction**. Выражение это я слышал и читал раз семьдесят. С нашей точки зрения, здесь совершенная дикость. Казалось бы, ребенку ясно: будет у власти Пуанкаре — Леон Блюм может по-прежнему громить его с трибуны парламента и со столбцов газеты «Populaire». Будет у власти Кашен — не станет ни парламента, ни газеты «Populaire», ни Леона Блюма. Тем не менее Пуанкаре — реакция, а Кашен, очевидно, — прогресс.

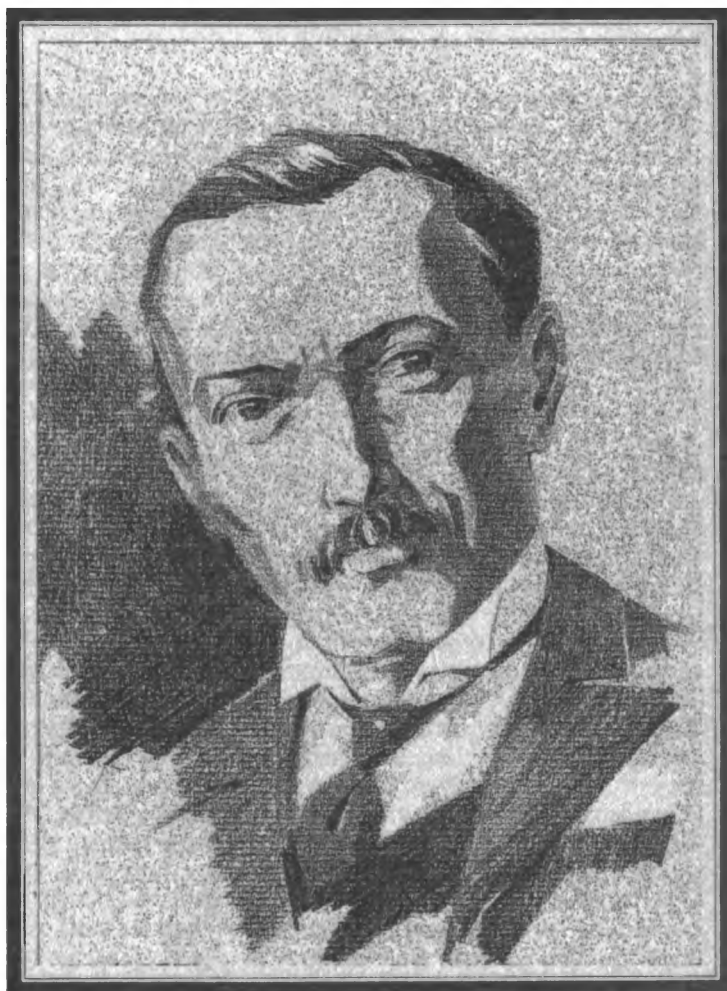
Было бы очень печально, если бы Леон Блюм не понимал столь элементарных вещей. Разумеется, он их прекрасно понимает. Человек он очень умный и талантливый. Чего-то и ему все же не хватает. «Вам не хватает умения говорить своим друзьям: нет», — сказал когда-то Жоресу Клемансо. Есть «нет» и «нет». Клемансо говорит: нет — и это у него звучит: «Идите вы к черту!» (впрочем — у него и «да» звучит приблизительно так же). Бриан говорит: нет — и слышится: «Позвольте не во всем с вами согласиться, дорогой коллега». Но это все-таки нет. В нормальных условиях жизни манера Бриана правильнее манеры Клемансо. Злоупотреблять мягкостью, однако, не следует. Блюм в социалистическом лагере — профессионал любез-

* Преградить дорогу реакции (*фр.*).

ности. Жаль, что он улыбается преимущественно левой стороной лица. От этого маленького недостатка никто не даст избавленья Блюму: «ни Бог, ни царь и ни герой». Правда, необходимо сделать и поправку на сложные тактические соображения: Леон Блюм лидер, и у его партии есть «левое крыло». Лидер может находиться только в партийном центре. Еще у Овидия Солнце разумно советует своему сыну Фаэтону всегда идти посредине: *medio tutissimus ibis**. «Левому крылу» нередко надо бросать кость — быть может, с искренним пожеланием, чтобы оно этой костью подавилось.

* Средний путь — самый безопасный (*лат.*).

ДЭВИД ЛОҮД, ДЖОРДЖ



Ллойд Джордж

I.

Американский публицист Чарльз Шерриль рассказывает следующее. Как-то во время войны, в Париже, Ллойд Джордж и Бриан вышли после обеда из ресторана Ларю и отправились пешком в министерство иностранных дел. Проходя по площади Согласия, английский премьер вдруг остановился перед статуей Страсбурга, тогда еще одетой в траур, и горячо сказал Бриану, пожимая ему руку:

— Дорогой друг, вы не можете себе представить, какую несказанную скорбь я испытываю при виде этой статуи!..

Бриан вместо ответа крепко стиснул руку Ллойд Джорджу.

— Но знайте, дорогой друг, — продолжал Ллойд Джордж, — если когда-нибудь, после победы над Германией, мне случится увидеть на площади Берлина траурную статую немецких провинций, насильственно отторгнутых французами, — знайте, скорбь моя будет не менее велика.

— Дорогой друг, — ответил невозмутимо Бриан, — учитесь сдерживать волнение. Вдруг вы когда-нибудь увидите в Берлине траурную статую немецких колоний, которые Англии придется отобрать у немцев после нашей победы, — согласитесь, будет хорошо, если вы разрыдаетесь при виде этой статуи...*

Можно с некоторой вероятностью предположить, что в действительности разговора, о котором сообщает Шерриль, никогда не было: Ллойд Джордж не говорит по-французски, Бриан не говорит по-английски, а беседа при помощи переводчика едва ли могла облечься в форму отточенного анекдота. Однако анекдот и забавен, и характерен. Бриан сказал то, что на его месте ответили бы с большей или меньшей наход-

* Цитирую на память, но смысл диалога передаю совершенно точно.

чивостью и другие французские политические деятели. Зато очень самобытен в кратком диалоге Ллойд Джордж. Его волнение могло быть совершенно искренним. Большие актеры часто свыкаются с любимыми ролями. Гвардейская выправка сохраняется у людей всю жизнь, а британский премьер около сорока лет прослужил в идеалистической гвардии.

II.

В Англии принято называть жизнь Ллойд Джорджа «сказочной». Собственно, сказочного в ней не так уж много. Он вышел из низов и достиг вершин власти. Но это в наше время не может считаться явлением необыкновенным. Из сапожной лавки вышел не только Дэвид Ллойд Джордж, но и старый противник его — Джозеф Чемберлен. Лавка Чемберленов была побогаче, — это большой разницы не составляет.

Ллойд Джордж родился в 1863 году в семье бедного сельского учителя. Четырех лет от роду он потерял отца и был воспитан дядей, занимавшимся сапожным ремеслом в деревушке, имя которой едва ли могут произнести и англичане (она называется *Llanystumdwy* у *Troed yr Allt*). Предки первого министра были по национальности валлийцы, по вероисповеданию нонконформисты. Последнему обстоятельству биографы Ллойд Джорджа приписывают исключительную важность. Один из них даже посвятил почти весь первый том своего огромного труда подробному изложению истории валлийского нонконформизма. Социальное положение нонконформистов в Англии несколько напоминало в былые времена положение старообрядцев в России. Валлийские нонконформисты были всегда настроены оппозиционно по отношению к английским властям, и природный радикализм Ллойд Джорджа может быть приписан (в самых научных марксистских терминах) и сапожному «бытию», и нонконформистскому «сознанию». Воспитывался он в церковной школе и, если верить особенно умиленным биографам, вел в отроческие годы геройскую борьбу с начальством за свою веру: организовал школьный бунт, подвергался строгим наказаниям — и отстаивал принцип свободы совести. Все это очень мило, но иные

биографы говорят о юношеской борьбе и страданиях своего героя приблизительно в таком тоне, в каком обычно излагается история испанской инквизиции.

Мать и дядя Ллойд Джорджа были чрезвычайно бедны. Сам он рассказывает, что в детстве никогда не ел мяса, а по воскресеньям, в виде особой награды, получал иногда пол-яйца. Для отдачи его в коллеж по окончании начальной школы средств не было. Был он отчаянным сорванцом, бил стекла в чужих избах, вторгался во фруктовые сады, собирался бежать, по-видимому, в пампасы, в пампасы не попал, но попал в городок Портмэдок, где дядя, нежно его любивший, дал будущему премьеру возможность подготовиться к экзамену на стряпчего.

О знаменитых людях, не учившихся в гимназиях и университетах, в сахарных биографиях обычно рассказывается, как они в первой молодости восполняли упорным трудом пробелы своего образования, как работали по ночам «при свете сальной свечи», — трогательная свеча эта в таких случаях совершенно обязательна. Должно заметить, что поклонники Ллойд Джорджа, даже самые восторженные, вообще не очень распространяются о его любви к науке. Как известно, ученостью прославленный министр далеко не блещет. Жорж Клемансо как-то сказал об одном современном государственном деятеле, что деятель этот был бы самым невежественным из людей, если бы на свете не было Ллойд Джорджа. В духе этой шутки выразился не так давно и один из сотрудников британского премьера, сказавший в порыве раздражения: «Я предполагаю, что мистер Ллойд Джордж умеет читать. Но, во всяком случае, он никогда этого не делает». Такая репутация бывшего главы правительства может считаться твердо установленной. Тем не менее «свечу» я в одной из его биографий (у Спендера), к некоторому своему удовлетворению, нашел. Для получения звания стряпчего требовались познания во французском языке, и биограф умиленно рассказывает, как юный Дэвид по ночам, при свете свечи, читал по-французски Эзопа, — почему именно Эзопа, не знаю. Экзамен он выдержал 18 лет от роду, после чего стал не без успеха заниматься адвокатурой.

С ранней юности Ллойд Джордж занялся и публицистической деятельностью. В местной валлийской газете он писал политические статьи, которые под-

писывал: Брут. По этому псевдониму нетрудно судить о взглядах молодого Ллойд Джорджа. О них мы имеем сведения и от одного из друзей его юности, с которым будущий премьер в первый свой приезд в Лондон делил каморку на чердаке. Этот человек рассказывает, что ни одна из лучших правительственных речей его знаменитого друга не идет в сравнение с теми речами, которые произносил молодой Ллойд Джордж, сидя на краю их общей постели (для двух постелей в каморке места не было). О чем он говорил? О том, о чем естественно было говорить талантливому, страстному юноше, вдобавок нонконформисту, вдобавок полуголодному, вдобавок честолюбивому почти до безумия. Он говорил о несправедливости общественного строя, о борьбе за освобождение мира, о светлом будущем человечества, о многом другом. Можно высказать предположение, что в юношеских речах Ллойд Джорджа было и «натравливание одной части населения на другую», — под соответствующую статью закона при особенном желании нетрудно было бы подвести и некоторые речи, сказанные им много позднее.

До нас, кстати сказать, дошел и дневник молодого Ллойд Джорджа. Из дневника этого я приведу только одну запись. Впервые побывав в парламенте на заседании палаты общин, 18-летний мальчик написал: «Должен сказать, я смотрел на это собрание приблизительно так, как Вильгельм Завоеватель на Англию в пору своего приезда к Эдуарду Исповеднику: как на область своего будущего владычества. О, суета!»...

В частной жизни будущего Вильгельма Завоевателя сказочного совсем не было. Ллойд Джордж очень рано женился. Были серьезные препятствия. Он был нонконформист, она — методистка. Он был бедняк, она — «дочь состоятельного фермера». Состоятельный фермер долго не хотел выдавать Мэгги за голыша с репутацией повесы. Но у Мэгги была тетя, — тетя с самого начала все предвидела: «Мэгги, держись за Дэвида, он далеко пойдет...» Состоятельный фермер уступил. Ллойд Джордж женился, переехал в город, который не в шутку пишется Pwllheli, и основал там свою газету под названием «Труба Свободы».

Затем все пошло гладко. «Труба Свободы» гремела. Земляки оценили и блестящее красноречие Ллойд Джорджа. Старожилы еще помнят, как он, бегая по дорогам, упражнялся без слушателей в ораторском

искусстве. В парламенте освободилось место. Бойкий редактор был выставлен либералами и прошел большинством 18 голосов. Вильгельм Завоеватель появился в палате общин уже не на местах для публики. Престарелый Гладстон, который, кажется, его недолюбливал, как-то выслушал пылкую речь Ллойд Джорджа и затем разгромил ее. Это было громадным успехом для 25-летнего депутата: его счел нужным разгромить сам «великий старец»!.. Так, на наших глазах Пуанкаре своей полемикой утвердил Леона Блюма в звании лидера социалистов. К концу первой парламентской сессии Бальфур, обедая с друзьями, к их удивлению, сказал, что считает валлийского депутата главным светочем молодого поколения.

Я не стану излагать парламентскую биографию Ллойд Джорджа. В его жизни не было таких крушений, как у Клемансо. Не представляет она собой и непрерывного шествия от успеха к успеху, как жизнь Пуанкаре или лорда Беркенхеда. Кривая карьеры Ллойд Джорджа вся состоит из подъемов и понижений. Пред делом понижения кривой должно считать период англо-бурской войны. Ллойд Джордж занял позицию, резко враждебную войне. Он вел против нее кампанию с тем темпераментом, с той смелостью, которые всегда его отличали. Эта кампания сделала Ллойд Джорджа чрезвычайно непопулярным в Англии. Митинги его срывались, его самого избивали, чуть не избили даже его жену. В Бирмингеме разъяренная толпа осадила здание, в котором находился «пораженец», — он едва спасся бегством, переодевшись полицейским. Пораженцем Ллойд Джордж не был. Тем не менее на одном из митингов в ответ на прямой вопрос, кому он желает победы, он, помолчав, сказал глухо: «Господь Бог да защитит правое дело!..»

После окончания войны кривая быстро пошла вверх. К Ллойд Джорджу можно было бы отнести слова, сказанные Беркенхедом о Макдональде (точнее, по поводу Макдональда), который в 1917 году занимал приблизительно ту же позицию, что Ллойд Джордж восемнадцатью годами раньше: он купил пацифистские акции по самому низкому их курсу, — они бешено поднялись впоследствии. В 1906 году Кэмпбелл-Баннерман вручил Ллойд Джорджу портфель министра торговли. Еще несколько позднее он стал канцлером казначейства в кабинете Асквита и занимал этот пост много лет.

Ему удалось осуществить несколько очень серьезных социальных реформ. Высшим достижением Ллойд Джорджа был исторический бюджет 1909 года, который вызвал волнение в целом мире. Бюджет этот «перекладывал на имущие классы тяжкое бремя налогов». Теперь об этом шуме трудно вспоминать без недоумения — так изменила все наши мерки война. Достаточно сказать, что Ллойд Джордж ввел новых «революционных» налогов на 14 миллионов фунтов стерлингов в год. Сумма эта приблизительно равна стоимости для Великобритании двух дней войны и составляет менее двух процентов нынешнего английского бюджета. (За время войны Англия истратила больше денег, чем за два с половиной столетия, предшествовавшие войне.) Но в ту пору революционный бюджет чуть не довел Англию до гражданской войны. Всем памятна борьба либеральной партии с отвергнувшей бюджет палатой лордов; отчаянная кампания Ллойд Джорджа стала мировым событием*. Его огромный (хоть и грубоватый) ораторский талант сказался здесь с исключительным блеском. Речи его дышали сознанием силы, верой в право, чистейшим идеализмом — таких лошадиных порций идеализма не подносили слушателям даже ораторы первого периода Французской революции.

Лорды-тяжелодумы, упрямо защищавшие безнадежное дело, наконец сдались. Он победил. В ту пору его престиж в Европе был необычайно высок. Ллойд Джордж был признан самым выдающимся деятелем демократии, самым энергичным из борцов за прогресс, самым ярким светочем европейской гуманной мысли. Жан Лонге находил в его речах «революционный мистицизм солдат армии Кромвеля» (это у Ллойд Джорджа революционный мистицизм!). Я хорошо помню и восторженные статьи некоторых наших газет. Бегби Гарольд, кстати, утверждает в своей напумовавшей книге, что один его друг собственными глазами видел портреты Ллойд Джорджа «на стенах мужицких изб в самых отдаленных углах России». Вот ведь: собственными глазами видел. Не знаю, продолжают ли и теперь далекие русские мужики, обсуждая последние события в парламентской истории Англии, так

* Интересно то, что деньги для этой кампании против крупного капитала Ллойд Джордж ухитрялся доставать у крупных капиталистов. Они же дали ему средства на покупку большой газеты.

восхищаться идеями и личностью Ллойд Джорджа; но многие его поклонники из интеллигенции (не исключая, вероятно, и г-на Лонге) в настоящее время относятся к британскому государственному деятелю несколько холоднее, чем прежде. Мне он теперь представляется фигурой почти символической (разумеется, в гораздо меньшей мере, чем Максим Горький).

III.

Потом, незадолго до мировой войны, произошло новое и довольно резкое понижение кривой. Случилось так называемое дело Маркони. Его замалчивают биографы Ллойд Джорджа, но в свое время оно вызвало очень много шума. Вкратце дело это сводится к следующему. Английское коммерческое общество Маркони вступило в переговоры с британским правительством об устройстве станций беспроволочного телеграфа по системе итальянского изобретателя. Директор этого общества Годфрей Айзекс предложил своему брату, Руфусу Айзексу, нынешнему лорду Ридингу, тогда занимавшему высокий пост Attorney-General*, купить паи американского общества Маркони. Руфус Айзекс купил десять тысяч паев и в тот же день продал из них по своей цене одну тысячу Ллойд Джорджу. Формально американское и английское общества были независимы друг от друга, но фактически интересы их тесно переплетались. Годфрей Айзекс был одновременно директором и того и другого общества. Через несколько дней после сделки акции американского общества почти удвоились в цене. Оба государственных деятеля продали свои паи. Об этом поползли слухи. В парламенте на вопрос, не были ли ими куплены и проданы акции английского общества Маркони, Руфус Айзекс со всей правдивостью ответил отрицательно. Но о том, что им были куплены акции американского общества Маркони, он не счел нужным упомянуть, «ибо его об этом не спрашивали». Что касается Ллойд Джорджа, то он ограничился страстным протестом общего характера без всяких фактических указаний. Через несколько месяцев дело раскрылось. В парламенте произошли бурные прения, в которых приняли

* Генеральный прокурор (англ.).

участие известнейшие ораторы Англии. Оба сановника признали свои действия ошибочными, и тон их речей в тот день был довольно минорным. Оттенки прений от нас ускользают. Спорили о том, были ли действия Айзекса и Ллойд Джорджа недостаточно разумными (wise) или недостаточно корректными (discreet). Спорили также, почему именно директор общества Маркони предложил своему брату купить паи. Сэр Руфус Айзекс доказывал, что Годфрея заставила сделать это братская любовь (fraternal affection), и в доказательство сослался на подарок в несколько сот фунтов, преподнесенный ему тем же братом ко дню его серебряной свадьбы. Но один из главных ораторов оппозиции, лорд Роберт Сесиль, не отрицая братской любви, угрюмо твердил, что у Годфрея Айзекса могли быть еще другие побуждения. Говоря о министрах, тот же лорд Роберт Сесиль намекал, что знает еще кое-что (a great many things), да не хочет сказать, — так я и не мог понять по отчетам, что именно знал лорд Роберт Сесиль. В газетной полемике о таких намеках обычно пишут, что они «представляют собой, мягко выражаясь, инсинуацию». Лорд Роберт Сесиль тем не менее это сказал. Ллойд Джордж ответил оппозиции страстной речью, которую закончил следующими словами: «Если хотите, я действовал необдуманно, действовал беззаботно, действовал ошибочно, но я действовал невинно, я действовал открыто, я действовал честно». Отчет отмечает в этом месте «одобрения», однако и парламент, и особенно общественное мнение не слишком одобрили действия сановников, — в Англии таких историй не любят. Газета «Таймс» (20 июня 1913 года) посвятила делу весьма жестокую передовую статью, отмечая, впрочем, что изгнание Ллойд Джорджа и Руфуса Айзекса из английской политической жизни в результате этой wretched business* было бы чрезмерно жестокой карой.

Разумеется, не надо преувеличивать значение дела Маркони. Оно в ту пору было очень раздуто. Легко себе представить, сколько врагов имел создатель революционного бюджета. О *продажности* здесь не может быть речи — это тогда же подчеркнул в своей саркастической речи о Ллойд Джордже его будущий сотрудник Бальфур. Значение дела Маркони могло сво-

* Отвратительная история (англ.).

даться лишь к тому, что оно представило прославленного идеалиста в новом свете — особенно неожиданным для его бесчисленных поклонников. Вопрос, собственно, должен был идти не о степени законности произведенной спекуляции. Вероятно, публика себя спрашивала, подобало ли вообще играть на бирже человеку в положении Ллойд Джорджа — британскому канцлеру казначейства и вождю европейской демократии. Теперь, пожалуй, было бы странно задавать такой вопрос. После войны по Европе повеяло духом широкой терпимости, — новый гуманизм одерживает победу за победой. Так, советская концессия нимало не повредила католической карьере Вирта, а в легких неудачах Рамсея Макдональда испытанная дружба сэра Александра Гранта* не сыграла почти никакой роли. Ллойд Джордж раньше, чем некоторые другие политические деятели, усвоил ту мысль, что в мире, в котором он вращался, на вершинах государственной власти, очень неудобно и даже как-то неприлично быть бедным человеком.

IV.

Пацифизм Ллойд Джорджа несколько остыл с годами или, вернее, перешел в менее воинственную фазу. Некоторые поклонники бывшего премьера, ссылаясь на его речь в пору особенного обострения отношений между Францией и Германией, утверждают, что он предвидел мировую войну. С таким же правом это можно было бы сказать о любом другом политическом деятеле Европы. На самом деле Ллойд Джордж еще в январе 1914 года возражал против усиления флота и называл несерьезной мысль о возможности европейской войны.

Настали грозные августовские дни 1914 года. Я не могу говорить здесь подробно о тех безумных сценах, которые тогда разыгрывались в кабинетах правителей Европы. Есть основания предполагать, что Ллойд Джордж — и не он один — был в ту пору в состоянии, близком к невменяемости. Скажу только, что 2 авгу-

* Бисквитный фабрикант Грант подарил Макдональду тридцать тысяч фунтов стерлингов.

ста канцлер казначейства стоял за сохранение Англией нейтралитета и предполагал подать в отставку вместе с лордом Морлеем в случае объявления войны.

В этот день к нему явилась делегация, — о ней стоит и здесь сказать несколько слов. По представлениям большевистских философов, война была хитрой махинацией капиталистов, в первую очередь капиталистов английских. Представления об этом деле Бухарина, например, не далеко ушли по глубокomyслию от философии сионских протоколов. И действительно, в день 2 августа 1914 года в кабинет британского канцлера казначейства явились своего рода сионские мудрецы, те таинственные страшные люди, которые «из-за кулис правят миром». Это были крупнейшие капиталисты Англии, председатели правления пяти главных ее банков (The big Five), короли финансового и промышленного мира. Состояние людей, пришедших в тот день к Ллойд Джорджу для решительного воздействия на британское правительство, равнялось нескольким миллиардам. Пришли же они для того, чтобы в бурной сцене потребовать от правительства мира, мира во что бы то ни стало. Сити не хотело войны, Сити ее боялось, Сити налагало своего рода запрет на вмешательство в войну английского государства.

Дальнейшее хорошо известно. Произошло приблизительно то, что так удивительно описано в «Войне и мире». Ведь представителем «алчной буржуазии» был и толстый лавочник Феропонтов, который до полусмерти бил жену за желание покинуть лавку перед приближением французов, а через несколько часов с рыдающим хохотом сам эту лавку поджег, придя к мысли, что «решилась Рассея». Сионские мудрецы, как Ллойд Джордж, были люди и англичане. Очень скоро после того приема канцлер казначейства, предполагавший 2 августа подать в отставку, говорил промышленникам почти в исступлении: «Не думайте о вашей торговле, не думайте о вашем богатстве, думайте о ваших детях, которые идут умирать за старую Англию!..»

Деятельность Ллойд Джорджа в пору войны составляет, конечно, самую яркую главу его биографии. Ему было поручено снаряжение армии. После смерти Китченера он стал военным министром, а еще несколько позднее и главой правительства. В декабре 1916 года искусно заложенная мина взорвала правительство Асквита. Эта сложная история, в которой особую роль

сыграл один из королей печати, канадский выходец, впоследствии получивший титул лорда Бивербрука, еще, кажется, не выяснена во всех подробностях. Асквиту был предъявлен заведомо неприемлемый ультиматум: Ллойд Джордж, угрожая своей отставкой, требовал передачи непосредственного руководства войной комитету из трех лиц без участия в нем самого Асквита. Первый министр, располагавший большинством в парламенте, подал в отставку, по-видимому, рассчитывая на то, что ему будет предложено образовать новое правительство. Но эта комбинация оказалась неосуществимой. Главой коалиционного правительства стал Ллойд Джордж.

Надежды, которые страна возлагала на его ум, таланты и энергию, были жизнью в общем оправданы. С точностью определить его роль в организации победы, однако, трудно. Друзья безмерно ее возвеличивают, враги отрицают (без всякого основания) даже личное мужество Ллойда Джорджа. Осторожные люди, как водится, «предоставляют судить истории». История почти за полтора столетия еще не выяснила с достоверностью, хорошо ли вел войну Вильям Питт. Будем надеяться, что в отношении Ллойда Джорджа она разрешит этот вопрос скорее.

V.

Семьдесят миллионов людей было мобилизовано, тридцать миллионов ранено, восемь миллионов убито. Обошлись четыре года войны приблизительно в полторы тысячи миллиардов. Мирной конференции надлежало установить, для чего именно все это было сделано.

Ллойд Джордж одержал блестящую победу на декабрьских выборах 1918 года, — собственно, и побеждать было некого. Избирательная программа его после войны особенной сложностью не отличалась. В числе главных приманок было обещание «повесить Вильгельма II» — это почти одинаково улыбалось тогда и правым, и левым англичанам. Однако в речах и поступках Ллойда Джорджа в ту пору сказывалась и некоторая тревога. Во время войны все было ясно: нужно было победить врага. Теперь первый министр,

видимо, сам не знал, что следует делать. По привычке он продолжал говорить о правах народов, но как будто не очень уверенно, без обычного своего красноречия. О правах народов другой голос тогда говорил звучнее. Вудро Вильсон уже плыл на «Вашингтоне» в Европу.

От меня весьма далека мысль иронизировать над трагической фигурой президента*. Это для каждого из нас значило бы прежде всего смеяться над самим собою. В лице Вильсона, едва ли не впервые в истории, «интеллигент» выступил в качестве распорядителя судеб мира. Вильсон был наш человек, пожалуй, в еще большей степени, чем деятели русской Февральской революции. Только положение его было несколько легче и благоприятней. У Временного правительства разоренной войною страны не было в распоряжении ни одного городского. Вильсон был почти неограниченный властелин почти всемогущего государства.

Я видел торжественный въезд президента Соединенных Штатов, оказанную ему небывалую встречу, — вероятно, Наполеона в дни его высшей славы так не встречали в мире. В этом порыве энтузиазма «аристократы мысли», вроде Ром. Роллана, слились с народной массой. И даже люди, не видевшие основания для особенного восторга, в меру своих сил восторг изображали. В Париже на пышно разукрашенном вокзале президента с распростертыми объятиями встретил престарелый французский диктатор.

Есть немало оснований думать, что все в Вильсоне было ненавистно Клемансо. Президент был для отставного якобинца символом разбитых иллюзий его собственной жизни. Основные идеи Вильсона, конечно, представлялись старику сентиментальной ерундой, притом ерундой чрезвычайно опасной. Четырнадцатью снарядами президента можно было раздробить не только Германию, но и союзные страны. Вильсон был вдобавок тот самый человек, который в 1915 году через три дня после потопления «Лузитании» сказал: «Мы слишком горды для того, чтобы воевать». Еще несколько раньше он по телеграфу поздравлял Вильгельма II с днем его рождения — это теперь было особенно некстати: германского императора предпола-

* В свете новейших биографических трудов личность Вильсона бесспорно много выиграла.

галось повесить за преступления, предшествовавшие поздравительной телеграмме президента. Вильсон, глава государства, разбогатевшего на войне, приехал заключать свой мир в разоренную, измученную Францию. Условия мира он, по-видимому, предполагал просто продиктовать Европе. Незадолго до конца войны президент дал интервью двум журналистам, сотрудникам «Matin» и «Petit Parisien». Интервью это не было и не могло быть напечатано, но французскому правительству оно, разумеется, тотчас стало известно. Вильсон говорил об условиях будущего мира так, точно Франции и Англии вообще не существовало на свете: «Я позволю»... «Я не позволю»... «Я допущу»... «Я не допущу»... Добавлю наконец (хоть эта частная человеческая подробность, конечно, не имеет большого значения), президент во время войны женился, женился по страстной любви и зачем-то вез с собой жену на Конференцию мира. Поездка политического триумфатора принимала характер как бы свадебного путешествия по залитой кровью Европе... Во всем изверившийся старик, ничего не ждавший от жизни, готовился к бою, затаив крайнее раздражение.

VI.

Ллойд Джордж прибыл на конференцию со свитой из 200 экспертов, секретарей, чиновников, полицейских*. Лорд Каслри, английский делегат на Венском конгрессе, взял с собой в Австрию всего 14 человек.

Сравнение Парижской мирной конференции с Венским конгрессом уже стало в литературе банальным. Быт был много проще, маскарадов после мировой войны не было. Однако жили делегаты довольно весело. В «Majestic»'е танцевали почти каждый день. Здесь царила мисс Меган Ллойд Джордж; в честь дочери премьера гостиницу шутливо называли «Megantic»'ом — бывают и более удачные шутки. К пяти часам из отведенного ему особняка на улице Нито приезжал в

* Несмотря на негодование против «тайной дипломатии» и на тесную дружбу союзников, обе гостиницы британской делегации («Мажестик» и «Астория») находились под тщательным наблюдением сыщиков Скотленд-Ярда. «Опорожнение корзин для бумаги было делом большой важности», — вспоминает Сислей Хеддльстон.

гостиницу усталый, но живой и веселый, как всегда, Ллойд Джордж, пил чай, слушал валлийских певцов, кажется, и сам иногда пел: по словам его биографа, Ллойд Джордж поет «не хорошо, но сердечно». Менее занятые делегаты развлекались кто как мог. Бальфур, прежде игравший только в гольф, как раз в ту пору стал играть еще в теннис, — ему не было и семидесяти пяти лет. Лансинг изучал Бергсона. Генри Уайт, единственный человек в американской делегации, умевший говорить по-французски, показывал соотечественникам Монмартр. Угрюмый полковник Гауз, кажется, вовсе не развлекался: в номере 315 гостиницы «Крильон» он писал одну за другой докладные записки Вильсону, которых тот не читал: жена президента поссорила его на конференции с Гаузом, как впоследствии с другими преданными друзьями. Японские делегаты со своей обычной изысканной учтивостью уклонялись и от не касавшихся их европейских дел, и от чуждых им европейских развлечений.

Были ли все эти люди подготовлены к доставшейся им задаче? Темперлей, наиболее серьезный из историков Парижской конференции, говорит, что делегаты подготовлены были плохо, особенно англичане и американцы. У историков менее серьезных в воспоминаниях участников конференции (особенно участников третьестепенных) можно найти большой запас анекдотического материала. Один из вершителей судеб мира в ответ на просьбу польской делегации организовать подвоз съестных припасов в Польшу *через Данцигский порт* посоветовал обратиться к итальянскому правительству, ибо порты на *Средиземном море* находятся в ведении Италии. Другой вершитель судеб мира после доклада о бедственном экономическом положении итальянского народа с участием рекомендовал итальянцам разводить возможно больше бананов, ибо бананы легко найдут спрос в Англии и в Соединенных Штатах: совершенно как в «Плодах просвещения» Во-во Звездинцев советовал мужичкам сеять мяту. Особенно много анекдотов можно найти в разных мемуарах о Ллойд Джордже. Маргот Асквит говорит о его «патетическом невежестве в иностранных делах». Скажу, однако, по совести, ознакомившись с обличитель-

* Маленькая подробность: в день торжественного возвращения с фронта союзных войск единственным зданием в Париже, которое выставило и русский флаг, было японское посольство

ными анекдотами: они, начиная с генерала Харькова, не слишком убедительны. На этой Конференции мира сам Гумбольдт оказался бы недостаточно осведомленным человеком, и Ллойд Джордж был не так уж не прав, когда впоследствии в палате общин огрызнулся в ответ на один из таких упреков: «Совершенно верно, я не знал, где находится Тешен, и никогда до того ни о каком Тешене не слышал. Но давно ли и много ли знает о Тешене мой distinguished оппонент?»... В конце концов, именно для Тешенов Ллойд Джордж и взял с собой в Париж несколько десятков экспертов.

Вообще нет ничего легче, чем ругать за «неподготовленность» участников Парижской конференции. Конференция эта, Венский конгресс демократии, была не лучше и не хуже других конференций. Люди, обличающие невежество ее руководителей, вероятно, историю тех конгрессов знают недостаточно хорошо.

Все три кандидата на роль Александра I в Парижской конференции мира были, разумеется, очень выдающиеся люди и делали они что могли. Вильсон побитал в Париже как вол. Но дело, выпавшее на их долю, было выше человеческих сил. В газетах того времени, в некоторых книгах (у Диллона) можно найти полное расписание дня президента Соединенных Штатов. Вот это расписание от одиннадцати до часу дня в день 18 апреля:

11 часов. Китайский делегат представляет президенту свою делегацию. *11 ч. 10 м.* Маркиз де Вогюэ сообщает президенту пожелания французского национального конгресса об устройстве левого берега Рейна. *11 ч. 30 м.* Ассирийская и халдейская делегации приносят президенту воззвания своих народов. *11 ч. 45 м.* Далматская делегация сообщает президенту о результатах плебисцита в Далмации. *12 ч.* Представитель Республики Сан-Марино подносит президенту диплом на звание почетного гражданина Республики. *12 ч. 10 м.* Швейцарский министр иностранных дел является к президенту по делам, касающимся Швейцарии. *12 ч. 20 м.* Делегатки американской Лиги женских тред-юнионов заявляют президенту о чаяниях их Лиги. *12 ч. 30 м.* Константинопольский патриарх свидетельствует президенту почтение. *12 ч. 45 м.* Албанский делегат излагает президенту требования Албании...

Какой мудрец мог знать эти ассирийские, халдей-

ские, албанские, далматские и всевозможные другие дела? На каком поприще можно было приобрести такие познания? И у кого голова не пошла бы кругом от бесконечных воззваний, чаяний, заявлений, пожеланий, требований, из которых вдобавок одна половина совершенно исключала другую. В пять—десять минут надо было схватить содержание того, что на чужом языке рассказывали неизвестные люди, и каждой делегации надо было ответить, не сказав какой-нибудь чудовищной глупости. Так жизнь шла изо дня в день. Три старых человека в подобной обстановке решали судьбы вселенной. Клемансо, только что тяжело раненный анархистом, с пулей в груди, в свои 80 лет с раннего утра (он вставал в пять часов) до поздней ночи принимал делегации, читал докладные записки, сравнивал одни требования с требованиями противоположными, резюмировал содержание тех и других на заседаниях, выслушивал мнения экспертов, обычно между собой несогласные, принимал решение, наиболее соответствовавшее интересам Франции, отстаивал его, обсуждал компромиссы и выносил на себе всю тяжесть председательской работы, сочетая ее со всей работой правительственной, в ту пору особенно трудной. Какой-нибудь трансильванский делегат, ничего, кроме трансильванских дел, не знавший, являлся к руководителям конференции, бормотал что-то на языке, напоминавшем французский, а затем в мемуарах язвительно потешался (вероятно, еще и привирая) над незнанием трансильванских дел, которое обнаружил тот или другой член «Совета Четырех». «Данцигский порт на Средиземном море», вероятно, исходивший от человека, доведенного делегациями до полного одурения, представлял собою случай исключительный... Надо прямо сказать: какой бы плохой мир ни заключали эти люди, но уж если чему удивляться, то не их промахам, а скорее их способностям, их необычайной выносливости и тому, что они все трое не сошли совсем с ума на этой Парижской конференции.

VII.

Официально судьбы вселенной решались на общих собраниях конференции. Но о них серьезно говорить не приходится. Лансинг, американский министр ино-

странных дел, в своей книге называет эти собрания «фарсом». И трудно, конечно, назвать их иначе.

В пышной Salle de l'Horloge министерства иностранных дел торжественно рассаживались делегаты тридцати государств. В назначенный час Клемансо выходил из внутренних покоев и тяжело опускался в свое раззолоченное кресло, положив на стол руки в легендарных серых перчатках. Его вид («почти дьявольский», говорит свидетель) сразу всех замораживал. По словам Лансинга, кто видел Клемансо в роли председателя общих собраний конференции, тот легко поймет, почему прозвали тигром этого столь блестящего и обаятельного в частной жизни человека. Всякий опытный председатель знает небольшие фокусы, при помощи которых очень облегчается вынесение желательных резолюций на многочленных и косных собраниях, знает, когда нужно сказать «кто за это, прошу поднять руку», а когда «кто против этого, прошу поднять руку». Но на конференции, почти сплошь состоявшей из присяжных политиков, подобных трюков было бы, конечно, недостаточно. Надлежало выработать новые методы, и Клемансо в своей председательской роли, можно сказать, превзошел сам себя. В нескольких словах он докладывал вопрос, подлежащий обсуждению высокого собрания, и затем читал то решение, которое представители пяти великих держав «предлагали» высокому собранию принять. Закончив чтение, Клемансо без малейшей остановки произносил одно слово «принято» и переходил к следующему вопросу. На первом общем собрании этот способ *обсуждения* проблем мировой важности вызвал вначале глубокое изумление конференции. Придя в себя, наиболее авторитетные из делегатов малых стран стали заявлять о своих правах. Гиманс Брэттиану, Венизелос, урывая секунду между чтением и «adopté», учтиво просили г-на председателя разрешить им высказаться по обсуждаемому вопросу. Клемансо тяжело поворачивался в кресле, смотрел стеклянными глазами на желавшего высказаться делегата, точно тот совершал чрезвычайное неприличие, и мрачно давал ему слово. Во время этого слова председатель конференции разговаривал с соседями, изучал потолок залы или делал

* «Принято» (фр.).

вид, будто спит. Если слово хоть немного затягивалось, Клемансо начинал проявлять признаки раздражения, затем многозначительно приподнимался в кресле, глядя в упор на делегата. Охота говорить проходила, делегат скоро замолкал, и председатель, не отвечая ни одним словом на представленные ему соображения, произносил: «Personne ne demande la parole?..* Adopté». Иногда он говорил: «Adopté»... и не дожидаясь конца речи оппонента. Со своим авторитетом национального героя греческий премьер решился было настаивать на свободном обсуждении вопросов, — Клемансо резко его оборвал: «Милостивый государь, у нас нет времени... Да вы и сами не знаете, что говорите»... Венизелос мог только ответить не то иронически, не то растерянно: «Merci... Merci...»** «Для того чтобы так вести заседание, — замечает с полускрытым восторгом Лансинг, — нужен был именно Клемансо. Никогда президент Вильсон не позволил бы себе так поступать... Сомневаюсь и в том, чтобы так мог поступать Ллойд Джордж»... Лансинг добавляет, что высокое собрание было возмущено до последней степени «неслыханным поведением председателя». «От Клемансо мы ничего и не ждали!.. Но как Вильсон это терпит?» — с негодованием говорили в частных беседах делегаты малых стран.

Для Вильсона и Ллойд Джорджа этот способ председательствования тоже был, кажется, полной неожиданностью. Они, однако, терпели. Вильсон, вероятно, предполагал, что сам лучше кого бы то ни было другого сумеет защитить права малых народов на заседаниях «Совета Четырех». Что же касается Ллойд Джорджа, то он, я думаю, испытывал чисто спортивный восторг при виде действий Клемансо (который вдобавок принимал на себя, и притом вполне равнодушно, все раздражение представителей малых государств). Должно быть, и сам Ллойд Джордж считал неработоспособными общие собрания конференции: при нормальном ведении дебатов ни один делегат,

* «Никто не просит слова?» (фр.)

** По словам Лозанна, после заседания Венизелос подошел к Клемансо и сказал ему: «Я вижу, г-н президент, что я не пользуюсь вашими симпатиями?» «Совершенно верно, я вас недолюбиваю», — ответил французский премьер. «Могу я узнать почему?» — «Нет, я предпочитаю не любить вас, не объясняя причин»... Журналисты тогда объясняли резкость Клемансо будто бы чрезмерно предупредительным отношением греческого делегата к Вильсону.

вплоть до эмира Фейсала в расписном тюрбане, не отказал бы себе в удовольствии поговорить, и вместо полутора тысяч заседаний, образующих Парижскую конференцию 1919 года, их было бы тысяч пятнадцать.

VIII.

На тенистой Place des Etats-Unis Рафаэль Бишофсгейм, банкир, мечтатель, политик и астроном, сын немца, по рождению голландец, бельгийский администратор и французский депутат, выстроил дом-дворец. Против этого дома, на высоком пьедестале, Лафайет, подняв к небу левую руку, с мужественно-сладким выражением на лице здоровается с Джорджем Вашингтоном, — я всегда удивлялся, отчего этот памятник сделан из бронзы, а не из шоколада. Когда-то, в XVIII веке, здесь вода струилась из фонтанов в резервуары Шайо и тянулись сады Société de la Charité Maternelle*. Председательница этого общества, молодая королева Мария Антуанетта, приезжала сюда отдыхать, умиляясь восторженным приветствиям своего доброго народа... Место, таким образом, во всех отношениях символическое, и судьба хорошо поступила, родив Лигу Наций** в доме Бишофсгейма, снятом в 1919 году для президента Соединенных Штатов.

По-настоящему судьбы вселенной решались не на общих собраниях конференции, а здесь, в библиотеке первого этажа. Сюда приезжали на заседания к Вильсону Ллойд Джордж, Клемансо и Орландо.

Подробности этих собраний, те сцены, которые здесь происходили, быть может, никогда не станут известными истории. Но общую картину заседаний «Совета Четырех» мы знаем: она сводилась к упорной глухой борьбе Клемансо с Вильсоном. Ллойд Джордж был примирителем. Орландо почти не вмешивался в дела, не касавшиеся непосредственно Италии.

Вильсон вносил предложение в духе своих четырнадцати пунктов. Клемансо его отвергал. Ллойд Джордж, со свойственными ему умом, чутьем, гибкостью, искал и находил компромиссное решение. Он, собственно, переводил с одного языка на другой —

* Общество материнского милосердия (*фр.*).

** Проект «Ковенанта» был, впрочем, написан Вильсоном еще в первой его резиденции на улице Монсо.

переводил с житейского на идеалистический. В историческом отношении его роль на Конференции мира едва ли является выигрышной. Клемансо твердо знал, чего хотел. Вильсон если не знал, то чувствовал. Ллойд Джордж действовал почти по вдохновению. За него, разумеется, работала инерция вековой британской политики. Но все личное в его поступках было, по-видимому, импровизацией. Зато в практическом отношении, в качестве морального переводчика, он был совершенно незаменим, и оба его партнера отлично это понимали. Когда в трудную минуту Ллойд Джорджу понадобилось уехать в Англию, Вильсон и Клемансо письменно его просили ни в каком случае их не покидать.

Кто победил в странной игре, шедшей в течение нескольких месяцев в библиотеке Рафаэля Бишофсгейма? Это также «выяснит история». В Версальском договоре зло тесно перемешано с добром. Многие в трактате 1919 года проникнуто несомненным идеализмом, — правда, с некоторой особенностью: осуществление получили в договоре только те выводы из общих идеалистических предпосылок, которые находились в согласии с интересами держав-победительниц. Но и таких выводов было довольно много. Чрезмерно суровые критики дела Парижской конференции исходят из того предположения, что чудовищная война могла закончиться превосходным миром. Предположение по меньшей мере «оптимистическое».

Замученный президент, конечно, сдал многие из своих позиций. По свидетельству ближайшего его советника, в Америке Вильсон твердо рассчитывал на идеализм союзных правителей. В Европе он узнал их поближе. В своем заключительном обращении к Парижской ассоциации политических наук, говорит его восторженный биограф, «президент заявил с явной скорбью, что человечество, кажется, еще не готово к новому дню». К этому ценному выводу, пожалуй, можно было прийти с меньшей затратой душевных сил. Споры Вильсона с Клемансо в доме Бишофсгейма иногда принимали чрезвычайно бурный характер. По уклончивому указанию того же Лансинга, во время одного из этих споров знаменитые противники потеряли самообладание и заседание пришлось прервать, — «это был неприятный эпизод». Душевное состояние президента становилось все тяжелее. В одну из гневных

своих минут он изругал Герберта Гувера, который произнес перед ним слово «компромисс». Вильсон, умный, порядочный и благородный человек, по-видимому, пытался сам себя убедить, что в Версальском договоре нет компромиссов. Лишь болезненным состоянием можно объяснить и его страстный протест по поводу «несправедливых претензий Италии на Фиуме»: все остальное в мирном трактате было, очевидно, справедливо, вот только Фиуме президент никак не мог стерпеть (с Орландо было легче иметь дело, чем с Клемансо). Нервы президента Вильсона не выдержали страшного напряжения. Истерический припадок рыданий на митинге в Пуэбло, с которого началась болезнь, унесшая его в могилу, был, вероятно, результатом огромного морального разочарования и тяжелой душевной усталости от Парижской конференции мира.

Со всем тем едва ли правы люди, говорящие о *полном* поражении президента: свой «ковенант» он все же отстоял. От Вильсона ничего не останется, если не останется Лиги Наций. Но по этому вопросу он, в союзе с Ллойд Джорджем, «одержал победу» над французским премьером.

Для Клемансо Лига Наций была, конечно, совершенно бесполезным учреждением. Однако и большого вреда он от нее не ждал: люди по разным причинам желали учредить новую говорильню, — одни из тщеславия изобретателей, другие для крупных окладов жалованья, большинство просто по глупости, — что можно было против этого возразить? Клемансо было совершенно все равно, в каком пожаре сгорит Лига Наций и когда именно она сгорит — через двадцать или через тридцать лет. Вильсон назначил эту цену за свою подпись на Версальском трактате, на гарантийном договоре, — Клемансо покупал. Очень жаль только, что живописец не сохранил для нас лица председателя конференции в тот исторический день 14 февраля 1919 года, когда в Salle de l'Horloge президент Вильсон, «нежно улыбаясь жене», читал общему собранию, к сведению всего человечества, свой статут Лиги Наций.

Ллойд Джордж и в этом вопросе блестяще сыграл роль морального переводчика. Он был горячим сторонником идеи Лиги Наций — он только требовал, чтобы германские колонии были поделены до образования Лиги с ее мандатами. Анекдотическое предска-

ние Бриана, при их разговоре у статуи Страсбурга, таким образом, вполне оправдалось.

Лига Наций во всех отношениях была очень удобна Ллойд Джорджу. Это был козырь в его игре с рабочей партией. Это был козырь также в игре с немцами. По общему отзыву людей, видевшихся в ту пору с Ллойд Джорджем, его чрезвычайно тревожила мысль, что германское правительство не подпишет мирного договора и передаст власть коммунистам. Один из двух важных предметов спора Ллойд Джорджа с Клемансо заключался именно в этом. Ллойд Джордж говорил: они не подпишут. Клемансо говорил: они подпишут...

Главный бой английского и французского премьеров шел, однако, по русскому вопросу. Здесь позиция Ллойд Джорджа была, в виде исключения, вполне определенной и не компромиссной, а крайней. Явившись в Париж, он сразу решительно потребовал, чтобы на конференцию был приглашен Ленин. Это категорическое требование Ллойд Джорджа как коса на камень наткнулось на столь же категорический отказ Клемансо.

Трудно думать, чтобы решение главы французского правительства могло быть продиктовано доводами, особенно близкими и понятными русским политическим деятелям*. Клемансо органически не выносит большевиков, но главное его соображение было, вероятно, самое простое: он не желал превращать конференцию мира в совершенное подобие дома умалишенных.

Теперь обо всем этом можно говорить вполне равнодушно. В эстетическом отношении даже позволительно пожалеть, что Ленин приглашен не был: его объяснение с Ллойд Джоржем и Вильсоном было бы истинно художественной сценой. Но англосаксонские политики в ту пору не обладали осведомленностью Клемансо. Некоторые из них и теперь убеждены, что приглашение Ленина на Парижскую конференцию мира могло бы спасти человечество. В прошлом году вышла вторым изданием книга о Вильсоне профессора Вильяма Додда (лично связанного с президентом). В ней по упомянутому мною вопросу сказано буквально

* У В. А. Маклакова, однако, хранится собственноручное письмо к нему Клемансо (от 18 сентября 1918 г.) со следующей фразой: «Vous pouvez compter que nous n'oublions pas la Russie. L'Entente connaît ses devoirs» («Вы можете рассчитывать, что мы не забудем Россию Антанта выполнит свой долг». — *фр.*).

следующее: «Хоть это может кое-кому показаться странным, но Вильсон, Ллойд Джордж и Ленин реорганизовали бы тогда вселенную и выработали бы условия мира. Это была великая мечта, которая чуть-чуть не осуществилась. Ее разбил Клемансо» (стр. 311). Профессор поясняет, что Вильсон (как, очевидно, и Ллойд Джордж) желал осуществить на земле христианский идеал. «Но европейские государственные люди (т. е. Клемансо) не христиане». Ленин приглашался в Париж для осуществления христианского идеала!..

Из предположенного тесного сотрудничества с Лениным у Ллойд Джорджа в 1919 году ничего не вышло. Был найден компромисс: Принкипо, — он, как известно, тоже не очень удался. Но своей мысли Ллойд Джордж не оставил и много раз к ней возвращался. Русский вопрос сыграл огромную роль в истории конференции мира. Как говорит один ее участник, черная тень России падала на европейские столицы.

IX.

Версальский договор, который Ллойд Джордж назвал «великой хартией народов», был единогласно одобрен парламентом. Первый министр получил от Георга V высокий орден. Никакой другой награды король, собственно, не мог ему дать. Ллойд Джордж не желал переходить в палату лордов. «Зачем мне быть герцогом? Я делаю герцогов», — скромно говорил Дизраэли. Ллойд Джордж мог это сказать с гораздо большим правом. За всю историю Англии никто не раздавал такого количества титулов, как он. Яков I продавал титулы по 600 фунтов штука. При Ллойд Джордже они стоили дороже, — индекс сильно изменился в течение столетий. Но любой делец мог стать лордом еще легче, чем при Якове I. Избирательная казна партии росла чрезвычайно быстро.

Непосвященному миру казалось, что Ллойд Джордж достиг предела славы и престижа. Но из посвященных некоторые, по-видимому, уже тогда догадывались, что престиж первого министра начинает падать.

* На Принкипо предполагалось осуществить встречу противоборствующих сторон в гражданской войне в России при посредничестве Антанты. — *Прим. ред.*

Отчего это произошло? В газетной полемике того времени (1920—1922 годы) отмечаются многочисленные ошибки Ллойд Джорджа: он слишком щедро расходовал народные средства, он нарушил ряд политических традиций Англии, он заключил невыгодное соглашение с Ирландией, он очень раздражил против себя французов, он в греко-турецкой войне «поставил не на ту лошадь» и т. д. Однако, за исключением «ставки не на ту лошадь» (поступок в политике не прощаемый), вопреки одним газетам, по существу, нейтрализовались одобрением других. Нам со стороны может даже казаться, что, напр., соглашение с ирландцами или дорого стоившие социальные реформы относятся к лучшим страницам биографии Ллойд Джорджа. Во всяком случае, если мы обратимся к полемике более отдаленного времени, то увидим, что Ллойд Джордж совершал такие же и еще худшие «ошибки» во время мировой войны и до нее. Но тогда престиж его рос даже за счет нападков. Теперь он падал даже от некоторых похвал: люди, в общем одобрявшие его политику, о нем самом писали и говорили все холоднее.

С Ллойд Джорджем случилось то странное и необыкновенное происшествие, которое в известную пору жизни постигает всякого выдающегося политического деятеля (как и всякого выдающегося писателя): он надоел. Чем надоел, сказать трудно. Аристид надоел эллинам своей справедливостью, но это вовсе не обязательно. Один английский писатель, довольно враждебно относящийся к Ллойд Джорджу, неодобрительно замечает, что он слишком умен для рядового англичанина («just a little too clever»). И с удивлением приходится отметить, что в речах противников бывшего премьера этот неожиданный упрек в той или иной форме звучит довольно часто: они в этом отношении не без гордости себя противопоставляют Ллойд Джорджу.

Для спасения престижа требовалось что-либо грандиозное, новый «революционный бюджет» или новая «хартия народов».

Идея окончательного замирения Европы уже носилась в воздухе. Пацифисты попадались самые неожиданные. Ллойд Джордж, собственно, не очень подходил для осуществления этой идеи. Впрочем, на Нобелевскую премию мира он имел не меньше прав, чем,

например, Штреземан, который в 1915 году принадлежал к весьма воинственным аннексионистам (кандидатура Толстого на эту премию в свое время была провалена).

В воздухе носилась еще другая идея: признание советского правительства. Своеобразное сочетание этих двух идей породило Генуэзскую конференцию. Ее выдумал Ллойд Джордж, главным образом, по соображениям внутренней политики. Хуже он для себя ничего не мог придумать.

Х.

Зачем судьбе понадобилась пародия на Парижскую конференцию мира? Часто цитируют изречение: «Всякое событие повторяется в истории дважды: первый раз, как трагедия, второй раз, как фарс». Парижская конференция (за исключением «общих собраний»), конечно, была трагедией. Генуэзская конференция была сплошным фарсом.

На Парижской конференции мира Ллойд Джордж, по свидетельству Лансинга, был лишь третьей фигурой: Клемансо и Вильсон занимали первое и второе места. Лансинг говорит даже, что с двумя такими партнерами Ллойд Джордж, при всех своих дарованиях, оказался бы «вне класса», если бы при нем в качестве советчика не стоял неизменно Артур Бальфур, со своими познаниями, тактом и огромным опытом. Теперь, в 1922 году, обстановка совершенно переменялась. Клемансо навсегда бросил политику. Вильсон медленно умирал в Вашингтоне, проклиная людей, сорвавших дело его жизни*. Из руководителей Парижской конференции на сцене оставался один Ллойд Джордж. Люди, с которыми предстала «борьба» в Генуе, никакого престижа не имели. Опытный человек, правда, говорил, что в исходе борьбы на конгрессах

* Бальфур, как известно, участвовал еще в Берлинском конгрессе и был британским премьером за много лет до Ллойда Джорджа.

Он говорил: «Я предпочитаю понести поражение в борьбе за дело, которое рано или поздно восторжествует, чем одержать победу в служении тому, что рано или поздно должно пасть». «За несколько недель до его конца, — рассказывает Дэвид Лоуренс, — перед домом бывшего президента прошла в молчании делегация Национального демократического конгресса. Лицо Вильсона с блуждающим взглядом, его слабое тело, безжизненно лежащее в кресле, его улыбка, обращенная к старым друзьям, — все это составляло сцену незабываемой трагедии» (стр. 357).

многое зависит от счастья. Но при таком соотношении личных сил счастье уже почти не играет роли: и в шахматах, и в боксе есть, вероятно, элемент счастья; однако рядовой шахматист, садясь играть с Алехиным, рядовой боксер, вступая в борьбу с Тенни, не имеют *никаких* шансов на победу.

В Генуе собрались представители тридцати четырех наций, — даже в Париже их было несколько меньше. Ллойд Джорджа ожидала восторженная встреча. Американский журналист писал в порыве энтузиазма, что британский премьер есть то единственное, чему Соединенные Штаты могут позавидовать в Англии. Другой журналист предлагал переименовать Palazzo San Giorgio, в котором собиралась конференция, в Palazzo San Lloyd-Georgio. «Ваш премьер царит на конференции», — твердили иностранцы англичанам.

Ему, повторяю, и надлежало теперь царить. Все в Genova la Superba было по замыслу «совсем как в Париже». Но вместо Клемансо председательствовал Факта, почти неизвестный ученик Джолитти, чуть ли не за несколько дней до конференции выплывший из политического небытия и скоро вновь в небытие погрузившийся. Америка вовсе не была представлена в Генуе. Францию представлял делегат с ограниченными полномочиями (Барту). Глава французского правительства, Пуанкаре, крайне иронически относившийся к конференции, предпочел остаться в Париже. Не приехал и Ленин, которого ждали с особым интересом. О нем газеты чуть ли не ежедневно сообщали сенсации: «Ленин готовится к отъезду»... «Ленин выезжает»... «Ленин выехал»... С Лениным Ллойд Джорджу так и не пришлось познакомиться. Вместо Ленина был Черин, — это, в своем роде, стоило замены Клемансо итальянским премьером.

Теперь к большевикам в Европе привыкли. Но в Генуе состоялась их первая сенсационная гастроль. Желтая печать позаботилась о необычайной рекламе. Одна из газет сообщила, что «бабушка русской революции» во главе отряда отборных террористов выехала в Италию с самыми кровожадными намерениями. Этого можно было ожидать. Чехов говорит, что неаполитанская пещера с углекислотой на дне составляет предел химических познаний всех гувернанток России. Предел осведомленности бульварной прессы в вопросах русского освободительного движения составляет

«la grand-mère de la révolution russe»^{*}. Новоиспеченное правительство Факта приняло самые решительные меры для охраны от страшной опасности модных московских гостей. К их гостинице «Имперяль» было приставлено триста карабинеров и сто тайных полицейских агентов («*Matin*», 7 апреля 1922 года). Официальный историк конференции Милльс с самым глубокомысленным видом сообщает, что вся местность Санта-Маргерита, где жили большевики, была оцеплена войсками, а на рейд был прислан и остановился недалеко от берега мощный итальянский броненосец, — каково было задание броненосца, сказать не берусь: вероятно, обстрелять «бабушку русской революции» в случае покушения на Чичерина.

«Сливки итальянской интеллигенции» отнеслись очень сочувственно к советским делегатам. Сам Габриеле д'Аннунцио, недавний повелитель Фиуме, заявил, что приедет повидать их в Геную и, в дополнение к флагом тридцати четырех государств, велел поднять над виллой Амбрис свое знамя (у него есть знамя). Знаменитый поэт в ту пору вообще проявлял некоторые симпатии к советской власти. В своей фиумской конституции (у него есть конституция) он довольно усердно подражал лучшим московским образцам. Потом д'Аннунцио изменил взгляды, — тоже не на ту лошадь поставил, но поэту можно и переставить. Его соотечественник, Джованни Эспозито, в 1919 году окрестивший сына «Лениным», с приходом к власти Муссолини просил короля разрешить ребенку называться Бенито.

С декоративной стороны, Чичерин совершенно не оправдал сенсации. На первом общем собрании изысканная публика с трепетом ждала появления грозного революционного трибуна, который скажет новое слово. Вместо этого солидного вида пожилой человек, в новеньком сюртуке и в золотых очках, видимо смущаясь и робея, еле слышно прочел по записочке что-то чрезвычайно длинное, наскучившее всем с первой минуты. «Так это народные комиссары!» — с изумлением говорили во дворце конференции. Литвинов и Раковский очень охотно расписывались на открытках, которыми запаслись международные психопатки, очень

^{*} «Бабушка русской революции» (*фр.*) — Имеется в виду Е. К. Брешко-Брешковская. — *Прим. ред.*

обильно представленные на конференции. Советские делегаты запечатлены фотографиями во всех видах: группами, порознь, стоя, сидя, в визитках, во фраках, «за письменным столом» и без письменного стола. На бесчисленных газетных иллюстрациях лица их так и расплываются от сдерживаемого с трудом восторга — попали, попали в государственные люди! Позднее приехал итальянский король, — они понеслись представляться королю «в числе первых», говорит сочувственно журналист. Во время парадного обеда Чичерин обменялся на изящных меню автографами с генуэзским архиепископом, заверив его, по словам корреспондента «Times», что в России царит полная свобода веры и мысли. Еще раньше, в нашумевшем интервью, Чичерин сообщил, что в Екатеринбурге был расстрелян только царь, а великих княжен никто не тронул: «кажется, они теперь в Америке». Этот беззастенчивый обман, впрочем, вполне соответствовал общему духу конференции. Исполненные ненависти замечания, которыми обменялись представители польского и литовского правительств, были едва ли не единственными искренними словами, сказанными за несколько недель в Генуе.

Деловые разговоры союзников с большевиками на Генуэзской конференции представляют собой сплошной анекдот. Для начала Литвинов преподнес свой сюрприз — знаменитый счет большевиков за убытки, причиненные интервенцией. Этот счет составлял *триста миллиардов франков*, — вероятно, Пуанкаре в Париже он доставил большое удовольствие. Когда Ллойд Джордж услышал о трехстах миллиардах, он мрачно сказал большевикам, что для этого, собственно, не стоило приезжать из России в Геную. Литвинов охотно согласился сделать скидку в сто семьдесят пять миллиардов. Под конец конференции большевики выразили желание получить, без всякого счета, два миллиарда франков «на реконструкцию». Саксон Милльс невозмутимо заявляет: «Не может быть сомнения в том, что постулат о необходимости денежной поддержки России был безусловно принят русской делегацией». Действительно, в этом не может быть сомнения. Такие же разговоры происходили в комиссиях. Бельгийский эксперт Каттье потребовал у Раковского возвращения вкладов, конфискованных советским правительством в русских отделениях иностранных банков.

Раковский ответил, что, к сожалению, это требование не может быть удовлетворено, ибо советское правительство национализировало банки. «Но в таком случае вы, конечно, и с нас не будете требовать русских денег, которые лежат в наших банках?» — спросил бельгийский делегат. «Нет, напротив, мы вынуждены настаивать на возвращении нам этих денег, ибо ваше правительство банков не национализировало», — ответил Раковский. Диалог этот вызвал в комиссии общий смех. У Ллойда Джорджа прошла охота к деловым разговорам. В своей заключительной речи на конференции — надо сказать, весьма забавной — он в любезной форме, но с худо скрытой злобой говорил большевикам: «Мы, западные люди, исполнены предрассудков. Когда мы даем деньги взаймы, мы рассчитываем получить их обратно. Когда мы что-либо продаем, мы желаем получить за товар деньги. И разум наш насквозь проникнут предубеждением (*most extraordinary prejudice*) против оказания кредита людям, принципы которых запрещают платить долги»...

Полный провал Генуэзской конференции, потонувшей во всеобщей скуке, достаточно памятен. Ни одна из поставленных задач разрешена не была. Ллойд Джордж, разумеется, изо всех сил старался замаскировать неудачу. Было решено собраться еще на другую конференцию в Гааге. Был заключен договор о ненападении друг на друга *в течение нескольких месяцев*. Тридцать четыре государства в самой торжественной форме присоединились к этому договору. Исландия, Новая Зеландия, Канада обещали 4 месяца ни на кого не нападать. Ратенау цитировал Петрарку. Ллойд Джордж цитировал Священное Писание. Но за разнообразными цитатами, за цветами красноречия все ясно почувствовали, что произошел крах большой карьеры. Комедия сыграна была плохо.

На процальном банкете, как сообщает одна из газет, оркестр играл «Последние иллюзии».

XI.

Остроумный английский писатель говорит, что самым важным событием в европейской истории XIX века была та революция, которой *не было* в Англии. Зато

в XX веке в Англии была революция, правда весьма своеобразная. Она произошла в четверг, 19 октября 1922 года, в Карльтонском клубе, на улице Pall Mall, и продолжалась около часа с четвертью, от 11 часов 10 минут утра до половины первого.

Вернувшись из Италии домой, Ллойд Джордж продолжал делать вид, будто все сошло превосходно. Были, правда, в Генуе кризисы, но «для обильной жатвы дурная погода иногда так же необходима, как хорошая». Увы, крылатые фразы, столь удававшиеся прежде, теперь натывались на холодную иронию англичан. В частности, Сити прекрасно понимало, что обильной жатвы нет, как нет и намек на какую бы то ни было жатву. Эффекты старого артиста повисали в воздухе, больше не вызывая аплодисментов. Со всеми своими словечками, откровениями, искусными речами и хитроумными комбинациями «валлийский колдун» (так назвал его Нортклиф) надоел, окончательно надоел, надоел всем, даже собственным своим министрам. Неудача балканской политики Ллойда Джорджа нанесла ему последний удар. Авангарды Мустафы-Кемала, появившиеся на подступах к Константинополю, вызвали серьезный кризис в Англии. Газеты всего мира облетела фраза в духе восточных преувеличений, сказанная одним из турецких дипломатов: «Пошли Аллах долгие годы жизни и власти Ллойд Джорджу: он один может разрушить британскую империю»...

Дворцовый переворот назрел. Его душою был нынешний глава британского правительства, бывший министр торговли в кабинете «валлийского колдуна». В аристократическом Карльтонском клубе было назначено совещание консервативных членов палаты общин для обсуждения «текущего момента». Совещание созывали последние сторонники премьера. Текущий момент был обсужден очень быстро. Бонар Лоу высказался против коалиции (иными словами, против сохранения кабинета Ллойда Джорджа). Это вызвало сенсацию. Бонар Лоу не был идеологом Сити: он сам, так сказать, был Сити. После него с речью выступил Стэнли Болдуин: «Ллойд Джордж уже расколел в свое время либералов, — я боюсь, что он расколел и консерваторов»... Болдуин говорил *восемь минут*. К концу его речи правительственная карьера Ллойда Джорджа была кончена, а история Англии приняла новое направление на долгие годы. Первый министр немедленно

подал в отставку. На улице у дверей клуба толпа освистала его сторонников — Чемберлена и Беркенхеда.

На следующий же день после отставки по пути из Лондона в Лидс, останавливаясь на каждой станции, Ллойд Джордж с площадки своего вагона произнес *семь речей!* Он говорил, что нисколько не дорожит властью, что очень рад своему переходу в оппозицию. «Мой меч остается при мне... Вид того, что будут делать мои преемники, — вот одна из радостей, которые я предвкушаю»...

Теперь он уже почти шесть лет находится в оппозиции. Можно предположить, что оппозиция (да еще при ничтожном числе сторонников) успела ему надоесть — он для нее не создан.

ХII.

Во время войны, по словам Моруа, при генеральном штабе союзников было так называемое «германское отделение». Начальнику отделения (выбран был генерал с немецкой кровью в жилах) поручено было «думать за Людендорфа». Генерал этот мысленно распорядился германской армией. Ему ничего не сообщали об истинных планах союзного командования, но доставляли аккуратно все те сведения, которые, по мнению разведки, могли быть у немцев. Согласно замыслу союзного штаба, начальник германского отделения должен был целиком перевоплотиться в главнокомандующего неприятельской армией. Перед каждым ответственным делом союзный штаб осведомлялся у генерала, как он думает поступить: предполагалось, что именно так поступит и Людендорф.

Не знаю, какие результаты дала эта тонкая психологическая выдумка. Моруа утверждает, что хорошие. Однако неожиданный прорыв союзного фронта в марте 1918 года, пожалуй, свидетельствует о том, что генерал не всегда думал, как Людендорф. Не берусь судить, имеет ли будущее этот прием в военном искусстве. Но в политике, с соответственными изменениями, он мог бы оказаться полезным. Даламбер так определяет разницу между войной и политикой: на войне нужно убивать людей, в политике их нужно обманывать. Незачем преувеличивать значение циничных мыс-

лей. Было бы очень недурно, если бы перед знаменитыми политическими деятелями иногда вставал собственный их образ — в понимании и освещении их смертельных врагов. И еще было бы лучше, если бы сами политические деятели иногда ненадолго могли в своих врагов перевоплощаться.

В собственном своем освещении Ллойд Джордж неизменно кругом прав. Стоит прочесть ряд речей, сказанных им в последние годы: он был прав решительно во всем, — люди, это отрицающие, либо глупы, либо недобросовестны. И то сказать: политические деятели, признающие свои ошибки (не из кокетства, в каком-либо пустяке, а всерьез), вообще встречаются не так часто. Но самоуверенность бывшего английского премьера должна быть признана исключительной.

В кривом зеркале врагов жизнь Ллойд Джорджа представляется совершенно иною. Почти все основные действия его карьеры могут быть истолкованы в дурную сторону.

У русских политических деятелей есть достаточно оснований весьма недоброжелательно относиться к Ллойд Джорджу. Он был главным вдохновителем планов расчленения России. В 1919 году в Париже Ллойд Джордж тщетно старался склонить к этой политике президента Вильсона, искусно пользуясь идеей самоопределения народов. Можно было бы вспомнить и многое другое, вплоть до разных шуточек, которыми в начале Генуэзской конференции он старался обольстить большевиков. Очень непопулярен Ллойд Джордж и во Франции — тоже, конечно, не без основания. В собственной его стране и либералы, и консерваторы, и социалисты относятся к нему по меньшей мере недоверчиво. Он очень чувствителен к нападкам печати и тщательно за ней ухаживал всю жизнь, однако ухитрился нажать себе врага в лорде Нортклифе! Госпожа Панкгерст, которая, казалось бы, ничего не могла иметь против него, когда-то в порыве ярости воскликнула, что непременно отравила бы Ллойд Джорджа, если бы стала его женой^{**}. Прославленный госу-

^{*} Отнюдь не следует думать, что покойного президента было легко провести. Он умел порою находить и весьма практические аргументы. Так, в споре о «свободе морей» Вильсон ясно дал понять Ллойд Джорджу, что Соединенные Штаты могут в случае надобности выстроить больше броненосцев, чем Англия.

^{**} Ллойд Джордж благодушно ответил на это, что немедленно сам отравился бы, если бы стал мужем госпожи Панкгерст.

дарственный деятель создал себе в мире много больше врагов, чем было бы естественно даже в его положении.

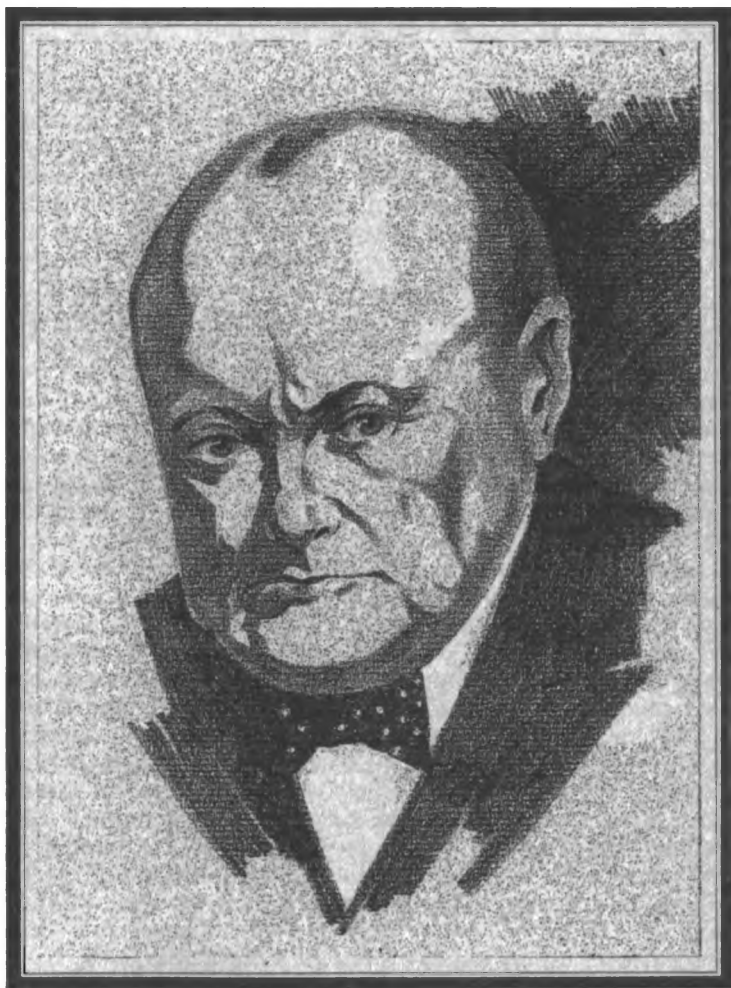
Личность Ллойд Джорджа, быть может, и не вполне соответствует его огромной исторической роли. Это никак не мешает ему быть очень выдающимся человеком. Он занимал должность министра шестнадцать лет подряд, — если не ошибаюсь, рекорд этот побил в английской истории один только Уильям Питт. В большом уме, хитрости, диалектических дарованиях Ллойд Джорджу так же трудно отказать, как в редком ораторском таланте. Лорд Беркенхед с полным правом говорит о «демонической энергии» Ллойд Джорджа. Его нельзя назвать карьеристом, по крайней мере в очень худом смысле этого слова. Ллойд Джордж несколько не типичен для английского либерала, однако вся его политическая жизнь прошла в либеральной партии. Он и теперь, вероятно, легко мог бы вернуться к власти, если бы, как Черчилль, покинул либералов. Почему он этого не делает, пожалуй, не совсем понятно: Ллойд Джордж достаточно ясно показал, что и в пределах одной группы можно быть беспринципным человеком. О его идеях говорить не приходится — слишком разные у него идеи. Дипломаты Венского конгресса, в сущности, проявили больше «принципиальности», чем этот лидер партии Гладстона.

Самая яркая и, быть может, самая привлекательная черта Ллойд Джорджа — его страстная любовь, его жадный интерес к жизни. Трудно себе представить человека с более бодрым и радостным темпераментом. В пору Парижской конференции, когда он был так завален работой, мне, помню, случилось увидеть его вблизи на каком-то вокально-танцевальном вечере. Среди певцов не было Шаляпина и среди балерин не было Павловой, но Ллойд Джордж, видимо, очень наслаждался третьестепенной программой и бурно всем аплодировал. Умное, хитренькое и благодушное лицо его так и сияло от удовольствия. По-видимому, он все страстно любит в жизни: гольф и парламент, валлийских певцов и международные конференции, хорошие сигары и политическую борьбу. Жена его как-то объявила журналистам, что она всегда бывает счастлива, когда у Ллойд Джорджа случаются затруднения: от борьбы он становится гораздо здоровее. По природе «колдун», вероятно, очень не злой человек. Со всем

опытом шестнадцати лет власти он и теперь довольно расположен к людям, сохранив в полной мере юношеское к ним любопытство. Я подозреваю, что его многократные попытки вступить в личные переговоры с большевиками, особенно с самим Лениным, были продиктованы не только политическими соображениями: Ллойд Джорджу, верно, еще хотелось и посмотреть, какие такие большевики. Биография Литвинова, например, не могла не быть ему известной. Райт, секретарь Верховного военного совета, говорит о «неискоренимом пристрастии Ллойд Джорджа к низким и бессовестным людям». Это сказано слишком сильно. Но некоторый художественный интерес к людям типа Литвинова, по-моему, должно предположить у Ллойд Джорджа.

Что ждет его в будущем? Каковы его планы? К чему он стремится? Английское академическое издание объясняет нынешнее нерасположение к Ллойд Джорджу консерваторов его чрезмерными симпатиями к социализму. Но лорд Беркенхед в своей недавно вышедшей книге говорит: «Я убежден, что в великой борьбе, в той единственной борьбе, которая предстоит нам в политической жизни, в борьбе ныне существующего строя с социализмом Ллойд Джордж будет самым красноречивым и самым мощным из всех врагов красного дела». Бывший творец «революционного бюджета» в своих речах то обходит социалистов слева, то потешается над ними в духе Беркенхеда или нынешнего Черчилля. Он не так стар. Заключительные главы его политической биографии пока не написаны. Каковы они будут, сказать трудно. Но есть основания думать, что Ллойд Джордж еще поколдует.

Уинстон Черчилль



Уинстон Черчилль

I.

В каталоге книжного собрания, посвященного Французской революции, бесконечно тянутся страницы биографического отдела. Вот якобинцы — кого только здесь нет! Есть вожди, те самые, которые упоминаются даже у Иловайского. Есть и второй сорт, и третий, и десятый. И у каждого, самого захудалого якобинца непременно биография (а то и несколько) — все как водится, с портретом, с факсимиле, с подстрочными примечаниями, с «неизданными документами»...

Тэн в свое время высказал несколько гневных мыслей насчет того, чем были бы некоторые из этих людей, если бы не случилась Французская революция. Прием бездоказательный и, в сущности, дешевый, но соблазнявший не раз исследователей. В отношении деятелей Октябрьской революции воспользовался им когда-то и пишуший эти страницы. Вполне вероятно, что в другой исторической обстановке Ленин мог бы стать первоклассным деятелем инквизиции, Зиновьев — богатейшим содержанием ссудной кассы, а Троцкий сопровождал бы в новые земли Писарро* или был бы отравителем при дворе турецкого султана. Но вышло все по-иному, и в минуты особенно мрачного настроения я представляю себе многотомную биографию Бухарина, — разумеется, с портретом, с факсимиле и с неизданными документами: в XXI столетии трудолюбивых приват-доцентов будет еще больше, чем теперь. Они непременно все выяснят — и как воспитывался Бухарин, и любил ли природу, и какие писал марксистские письма невесте, и в каком кафе познакомился с Лениным, и что сказал на одиннадцатой конференции. Это будет «суд истории».

В другой рубрике каталога приведены биографии тех деятелей, которых Европа противопоставила Фран-

* Писарро Франсиско (1475—1541) — испанский конкистадор. — *Прим. ред.*

цузской революции. Этот подотдел рождает некоторые ассоциации.

Каких же Питтов нынешняя Европа противопоставила Октябрьской революции?

Уинстон Черчилль — фигура очень блестящая и эффектная. Он участвовал в пяти кампаниях, в Азии, в Африке, в Америке, сражался на бронированном поезде; спасаясь из плена, пережил истинно сказочные приключения; это довольно необычно для британского премьера, — Черчилль, вероятно, скоро будет премьером. Министром он стал в тридцать два года, а сорока лет от роду распоряжался британским флотом в пору величайшей войны в истории. Был он либералом, был и консерватором. Восхвалял буров, восхвалял и фашистов. Проповедовал союз с социалистами, проповедовал и союз против социалистов. Некоторая легкость в мыслях не мешает ему быть, насколько могут судить о нем, чрезвычайно порядочным и благородным человеком. Уинстон Черчилль занимался не только военными и правительственными делами. Он хороший журналист и вместе с Ллойд Джорджем и с лордом Беркенхедом мировой рекордсмен газетного гонорара: ему платят, кажется, пятьсот гиней, т. е. 70 тыс. франков за статью. Это не значит, конечно, что английские газеты так высоко расценивают публицистический талант Черчилля. Он пишет очень недурно, но какой-нибудь Анри Видаль, получавший в «Figaro» за парламентскую хронику, вероятно, по франку за строчку, пишет, конечно, лучше. Черчилль и Беркенхед нужны газетам для рекламы как важные политические генералы. Тот анекдотический переводчик, который слова «bien-être général» перевел: «хорошо быть генералом» — был, по существу, прав: действительно, очень хорошо быть генералом. Писал Черчилль также и романы¹¹, писал и картины. Картин его я не видел; беллетрист же он неважный, и критики в свое время ему намекали, что это, собственно, не его дело. Так Сара Бернар в свободное время лепила статуи. Глядя на них, Роден ругался непристойными словами и грозил поступить на сцену.

Черчилль, как известно, происходит из очень знатной семьи. Он внук седьмого герцога Мальборо и

¹¹ «Общее благосостояние» (фр.). Игра слов: «bien être général» — хорошо быть генералом. — Прим. ред.

¹² Не должно смешивать его с известным американским романистом Уинстоном Черчиллем.

потомок первого знаменитого полководца, того самого, кому создали мировую славу его блестящие победы, бурная романтическая жизнь и, быть может, всего более песенка «Мальбрук в поход собрался», сложенная французами после сражения при Мальплаке¹.

Читатели, вероятно, помнят, при каких обстоятельствах сделал сказочную карьеру Джон Черчилль, небогатый девонширский дворянин, прозванный «прекрасным англичанином». Его сестра была любовницей Якова II, а жена — фавориткой королевы Анны. Таким образом, милость обеих враждовавших династий была обеспечена красавцу. Огромные дарования, проявившиеся в войне и в политике, доставили ему герцогский титул, орден Подвязки и несметное богатство. После его смерти одних наличных денег осталось в погребках принадлежавшего ему Бленгеймского замка около двух миллионов фунтов стерлингов — сумма по тем временам неслыханная.

Если читатели не помнят всего этого, они легко найдут нужные сведения в многочисленных биографиях первого герцога Мальборо. Передо мной сейчас лежат две его биографии — печальная иллюстрация все к той же теме о «суде истории». Одна написана французом, другая — англичанином, и они не во всем сходятся. — Мальборо был совершеннейший мошенник, утверждает французский историк. — Достойнейший был человек, утверждает историк английский. — Мальборо продавал Якова II Вильгельму Оранскому и Вильгельма Оранского Якову II. — Не продавал, а разве вел себя немного двусмысленно, как очень многие в ту пору. — Мальборо выдал Людовику XIV английский план атаки Бреста, для того чтобы погубить своего преемника и соперника Тольмаша. — Ох, правда, выдал, но вовсе не для этого, а для того, чтобы оказать услугу изгнанному королю Якову II, которого он как раз в ту пору опять признал своим законным монархом. — Мальборо клал в собственный карман жалованье убитых на войне солдат. — Очень трудно выяснять происхождение денег в чужом кармане. — Откуда же взял Мальборо два миллиона фунтов? — Да мало ли откуда? Ну, скопил, был бережливый человек... В совокупности все это называется приговором истории. Разобраться в нем нелегко. Может быть,

¹ Некоторые трудолюбивые исследователи, впрочем, иначе объясняют происхождение этой песни.

мы вправе отнести к Мальборо словечко Ривароля: «Ради денег он был способен на что угодно, даже на честный поступок». А может быть, Мальборо имеет законные права на памятник, — ведь очень многие памятники служат наглядным доказательством человеческой снисходительности.

Жизнь каждого из потомков «прекрасного англичанина» могла бы дать тему романисту. Я не стану, разумеется, излагать биографию восьми следующих герцогов Мальборо. Скажу только, что за два столетия эти восемь романтиков успели сильно растряссти богатство, оставленное победителем при Бленгейме. Особенно поработал в этом направлении восьмой герцог, спустивший даже фамильные бриллианты и превосходную картинную галерею (лучшие ее сокровища, кстати сказать, достались нашему Эрмитажу). Не нужно, впрочем, принимать все это слишком трагически: оставшись благодаря восьмому герцогу без бриллиантов и без галереи, девятый герцог женился на дочери Вандербильта, — только и всего. «*Fluctuat nec mergitur*» («качается на волнах, но не тонет»), — говорил в трудные минуты жизни герцог Мальборо.

Отец Уинстона Черчилля был тоже знаменитый человек, — человек весьма странный, быть может, не вполне нормальный, но, быть может, и с проблесками гениальности.

Лорд Рандолф Черчилль, третий сын седьмого герцога Мальборо, в течение тридцати лет, еще со школьной скамьи, занимал собой и политическую, и светскую хронику Англии. Знаменит он был самыми разными делами. Пятнадцати лет от роду, еще в бытность свою учеником Итонской школы, он по поручению отца произнес политическую речь. Несколькими годами позднее Рандолф Черчилль играл партию в шахматы с чемпионом мира Стейницем. Правда, политическая речь пятнадцатилетнего лорда не произвела в мире глубокого впечатления, а партию в шахматы выиграл Стейниц (который играл, не глядя на доску). Однако содержание речи подробно изложили британские газеты, а все ходы исторической партии в шахматы, от первого до последнего, тридцать третьего, благоговейно запечатлены для потомства в биографиях лорда Рандолфа. Вот что значит быть сыном герцога Мальборо! Несколько позже какая-то, лишь намеками излагаемая в этих биографиях, клубная история нанесла тяжкий удар светской карьере Рандолфа

Черчилля: по словам его сына, он навлек на себя немилость чрезвычайно высокопоставленного лица. Затем лорд Рандолф много путешествовал, стрелял львов в Африке, завел удивительную скаковую конюшню. Одна его кобыла попала даже в Британскую энциклопедию. Этой кобыле Черчилль дал имя «*Abbesse de Jouagge*» — мысль поистине довольно странная. Бедный Эрнест Ренан! Чтобы почтить знаменитого скептика-пацифиста, соотечественники назвали его именем броненосец, а в Англии именем героини его драмы названа скаковая лошадь. Впрочем, благодаря лошади имя это очень прославилось. Сорок лет тому назад на вопрос, что такое «*Abbesse de Jouagge*», девять англичан из десяти, наверное, ответили бы без колебания: «Кобыла лорда Рандолфа Черчилля».

Но, разумеется, настоящей своей славой Рандолф Черчилль обязан не шахматам, не львам, не скаковой конюшне, а политике. Еще в ранней молодости он был замечен Дизраэли, который очень любил молодежь, особенно молодежь бурную и эксцентрическую. Лорд Рандолф стал членом палаты общин в очень юном возрасте. В парламенте он примкнул к крайним консерваторам и мог бы сказать о себе, как один наш соотечественник, член Государственного совета: «Правее меня — стена». В шумной парламентской известности Рандолфа Черчилля многое напоминало Биконсфилда* и кое-что Леона Доде. Выходки молодого лорда с первых же дней обратили на него всеобщее внимание. Всего более прославила лорда Рандолфа его война с Чарлзом Брэдло.

Эту очень нашуевшую когда-то, теперь давно забытую историю, пожалуй, стоит напомнить читателям. Чарлз Брэдло, вышедший из весьма набожной семьи, был отъявленный и воинствующий атеист. Атеисты, явные и скрытые, встречаются, конечно, и среди британских консерваторов, — многое можно было бы, например, сказать о философско-религиозных взглядах лорда Бальфура или самого Дизраэли. Но вообще это мировоззрение не благоприятствует успеху в Великобритании, особенно в консервативных ее кругах. Брэдло же был атеист бурный и фанатический. Этот человек, бывший в юности англиканским миссионером, затем служивший в драгунах, еще по-

* «Аббатиса из Жуара» (*фр.*), пьеса Э. Ренана (1886). — *Прим. ред.*

** Граф Биконсфилд, Бенджамин Дизраэли (1804—1881) — премьер-министр Великобритании. — *Прим. ред.*

зднее ставший политическим агитатором^{*}, отличался необычайным упрямством. В отчаянной атеистической кампании, которую он вел, Чарлзу Брэдло помогала близкая к нему в ту пору полоумная мистрисс Анна Безант, впоследствии изменившая своему другу для Елены Блаватской и превратившаяся из фанатической атеистки в столь же фанатическую теософку. Атеистическая кампания бывшего миссионера и будущей теософки имела успех в Норсэмptonском округе, считавшемся тогда наиболее радикальным в Англии. Брэдло был избран в палату общин, причем заранее отказался принести установленную присягу: он настаивал на замене ее простым обещанием. В парламенте и в обществе мнения разделились. Первый министр Гладстон, как известно, человек глубоко религиозный, из уважения к свободе мысли стоял за удовлетворение ходатайства Брэдло. Консерваторы колебались. Молодой лорд Рандолф Черчилль потребовал слова и произнес необычайно резкую речь против «неверных» (infidels), в заключение которой прочел несколько выдержек из книжки Брэдло, разорвал ее и растоптал клочья ногами. Эта выходка имела шумный успех и решила судьбу ходатайства Брэдло. Палата оставила в меньшинстве Гладстона, и спикер предложил «высокопочтенному джентльмену из Норсэмптона» удалиться из залы заседаний. Тут произошло нечто потрясающее. Чарлз Брэдло заявил, что в парламент его послали избиратели и что уйти значило бы обмануть их доверие; а потому он, к большому своему огорчению, никак не может принять сделанное ему предложение. По словам очевидца, при этом неслыханном ответе все замерло: замерли консерваторы, замерли либералы, замерла публика, замерли министры во главе с Гладстоном. Спикер тоже сначала онемел, но скоро вышел из столбняка и гробовым голосом запросил палату общин, не думает ли она, что в таком случае к высокопочтенному джентльмену из Норсэмптона должно быть применено «ручное давление» («the manual pressure»). Палата подавляющим большинством согласилась с мнением спикера. Была позвана стража, которая и применила «ручное давление» к высокопочтенному джентльмену из Норсэмптона, иными словами, вывела его из залы заседаний, — однако ненадолго: через несколько ми-

^{*} Он, кстати сказать, боготворил А. И. Герцена и почему-то считал себя его учеником.

нут Брэдло, к великой радости иностранных корреспондентов, вбежал в залу через другую дверь и занял снова свое место. Его опять вывели. Эта процедура повторялась до тех пор, пока спикер «с бесконечной тоской» (with infinite sadness) не постановил запретить высокопочтенного джентльмена из Норсэмптона в одну из башен парламента. Однако на следующий же день Брэдло пришлось оттуда освободить — слишком сильное раздражение вызвала эта мера в свободомыслящих кругах, да и многие консерваторы были от нее не в восторге: 76-летний Биконсфилд, уже ушедший на покой, остался чрезвычайно недоволен действиями лорда Рандолфа Черчилля и сделал серьезное внушение своей партии. Выпущенный на свободу Брэдло не угомонился нисколько. Не буду рассказывать всей этой истории, — она продолжалась не более и не менее как шесть лет. Специальные корреспонденты и сотрудники юмористических журналов съезжались со всего мира в Англию смотреть, как применяют «ручное давление» к безбожному члену парламента. Это, кстати сказать, сходило далеко не гладко. Бывший драгун, обладавший геркулесовской силой, оказывал страже отчаянное сопротивление, в местах для публики скандалила во имя атеизма будущая последовательница Блаватской, на улицах шли демонстрации, манифестации, контрманифестации. Правительство и партия были бы, вероятно, готовы молчаливо примириться с присутствием Брэдло в парламенте. Но лорд Рандолф твердо стоял на своем посту: при попытках атеиста занять место в палате общин Черчилль мрачно задавал спикеру вопрос, на каком основании пытается проникнуть в это высокое собрание высокопочтенный джентльмен из Норсэмптона, и просил разъяснить, не вправе ли он, лорд Рандолф Черчилль, считать самозванцем высокопочтенного джентльмена из Норсэмптона. Континентальная Европа веселилась чрезвычайно, и даже «Temps», газета весьма сдержанная в оценке внутренних дел иностранных держав, с сокрушенным видом писала о неслыханном скандале, происходящем на родине Джона Стюарта Милля. Кампания, предпринятая Черчиллем, кончилась через шесть лет полным его поражением. Атеисты, даже самые отъявленные, получили возможность заседать в парламенте, и Чарлз Брэдло с торжеством занял свое место в палате общин. С чисто политической стороны эта немного затянувшаяся история была, в конце концов, эпизодом в борь-

бе за терпимость и за свободу мысли; в качестве тако-го эпизода она и отмечается обычно несколькими строчками в ученых книгах. Но у политических явлений бывает и чисто бытовая сторона, иногда исполненная высокого комизма. Я позволил себе здесь на ней остановиться: в этой анекдотической истории ярко сказался бурный темперамент Рандолфа Черчилля, доставивший ему огромное количество врагов. Не пользовался он любовью и в собственной своей партии, в которой, как впоследствии его сын, всегда занимал обособленное положение. Весьма реакционно настроенный в чисто политических вопросах, лорд Рандолф в области социально-экономической проявлял, напротив, чрезвычайный радикализм. Он был основателем и вождем группы так называемых тори-демократов. Старые идеи Биконсфилда (впрочем, не выдуманные и Биконсфилдом) о необходимости для консервативной партии защищать интересы бедных людей были доведены Черчиллем до логического предела. Обладая большим ораторским талантом и огромной энергией, он скоро занял очень высокое положение в политическом мире. Некоторые из его речей производят немалое впечатление при чтении и теперь, через сорок лет. Есть, правда, в полусоциалистических речах сына герцога Мальборо и элементы чуть-чуть комические, в особенности его уверенность в том, что выдуманное им сочетание передовых и средневековых взглядов — нечто вроде того вина, которое, по словам Ноздрева, было вместе и бургоньоном, и шампаньоном, — представляет собой единственную возможную в мире политическую систему. Первая же программная речь лорда Рандолфа вызвала среди консерваторов бурю. От Черчилля открещивались столпы партии, в том числе его собственный отец, седьмой герцог, который в письме на имя партийного лидера высказал предположение, что речь эта была сказана «Ранди» в пьяном виде. Программа лорда Рандолфа включала в себя беспощадное обложение имущих классов, высокие налоги на предметы роскоши, постройку домов для рабочих, казенные ссуды фермерам для покупки земли. В 1886 году Рандолф Черчилль стал канцлером казначейства в кабинете лорда Солсбери. Совершенно неподготовленный к этой трудной роли, он взялся за нее со своей обычной смелостью, не свободной и от легкого цинизма. Так, при обсуждении вопроса о биметаллизме, поднявшегося несколько неожиданно, лорд Рандолф склонился к

своему соседу Годлею и спросил его на ухо: «Вы не помните, я биметаллист или нет? Я забыл...»

Рандолф Черчилль твердо верил в свою звезду. Он говорил друзьям, что его жизненный удел — полгода власти, а затем могила в Вестминстерском аббатстве. У власти он действительно оставался очень недолго: резкий, нетерпимый и непокладистый, он скоро перессорился с товарищами по кабинету и с самим Солсбери. Выйдя с треском в отставку, лорд Рандолф стал еще радикальнее в социально-экономических вопросах. Он повел в стране агитацию за восьмичасовой рабочий день. Это требование, по тем временам необычайно смелое, вызвало резкие протесты не только со стороны консерваторов. Чрезвычайно забавно то обстоятельство, что в качестве покушения на основы британского государственного порядка требование это вызвало крайнее негодование Чарлза Брэдли. Старый атеист, с годами несколько остепенившийся на скамьях палаты общин, терпеть не мог социалистов и в социально-экономических вопросах был настроен весьма умеренно. Таким образом, в последнем столкновении двух долголетних смертельных врагов подрывателем основ и разрушителем традиций Великобритании оказался лорд Рандолф Черчилль.

Из консерваторов очень многие в ту пору совершенно серьезно считали, что блудный сын партии идет прямой дорогой к социализму. Но карьера знаменитого оратора уже близилась к концу. Лорд Рандолф заболел неизлечимой болезнью. С болезнью этой он отчаянно боролся несколько месяцев. Не считаясь с запрещением врачей, вопреки просьбам друзей и родных, он продолжал выступать публично. По словам свидетелей, это было тяжелое зрелище. Исхудавший, смертельно бледный, едва державшийся на ногах, бывший «король трибуны» произносил бессмысленные речи, вызывавшие в парламенте ужас и жалость, а на митингах смех и свистки. Скоро все было кончено, лорд Рандолф Черчилль впал в детство. Смерть его в 46-летнем возрасте вызвала общее сожаление. Англия устроила пышные похороны человеку, долго занимавшему собой внимание мира.

Я не случайно остановился так подробно на карьере Рандолфа Черчилля. В его знаменитом сыне, сыгравшем немалую роль в нашей собственной истории, повторились и черты характера, и некоторые особенности жизни отца.

Мать Уинстона Черчилля не принадлежала к тому

кругу, в котором выросли все его предки. В ранней молодости на празднике, данном в честь прибывшего в Англию наследника русского престола, лорд Рандолф встретился с красавицей американкой мисс Джанетт Джером. Тут же на празднике он влюбился в нее без памяти и на следующий день сделал ей предложение. Мисс Джером приняла это предложение с восторгом. Но восторг старого герцога Мальборо был значительно меньше: мисс Джером была американка и не была дочерью Вандербильта. Ее отец, полужурналист, полубанкир, имел довольно бурное прошлое в духе романов Джека Лондона, если не Фенимора Купера. Он недурно владел пером, недурно владел и карабином. Надо добавить, что отец мисс Джером, «гордый, как демон», по словам его внука, был тоже не слишком обрадован честью, сделанной его дочери. Герцог Мальборо не желал породниться с американским дельцом. Мистер Джером не желал вступать в родство с английским герцогом. Перед двойным родительским veto отчаяние влюбленных, по классическому выражению, «не поддавалось описанию». Но, в конце концов, все устроилось благополучно. Слезы дочери сломили сопротивление мистера Джерома, а в семье жениха случилось, на счастье, следующее происшествие. В наследственном избирательном округе герцога Мальборо выставил свою кандидатуру в парламент радикал мистер Бродрик. Электоральные агенты с горестью доложили герцогу, что дерзкая попытка эта имеет все шансы на успех, если со стороны самих Мальборо ей не будет противопоставлена достойная семейная кандидатура. Лорду Рандолфу Черчиллю было поручено отцом дать бой мистеру Бродрику. Молодой человек принял предложение, но твердо решил, что наградой за успех ему должно быть родительское согласие на брак. В письме к мисс Джером он сообщил ей свой дьявольский план: лорд Рандолф предполагал честно проделать всю избирательную кампанию, а затем в последнюю минуту, накануне выборов, поставить отцу ультиматум — либо ему будет дано благословение, либо он снимет свою кандидатуру. Это было хитро задумано. Герцог Мальборо не хотел, чтобы его сын женился на американке. Но он не хотел также, чтобы от его наследственной вотчины прошел в парламент радикальный кандидат. Все сошло превосходно, даже без ультиматума. На выборах молодой лорд после упорной борьбы разгромил мистера Бродрика, и вско-

ре затем в Париже без большого шума была отпразднована свадьба лорда Рандолфа с мисс Джером. Еще немного позднее, в 1874 году, на свет Божий явился нынешний знаменитый мистер Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. Сочетание наследственных свойств американских *struggle-for-lifers*^{*}-ов и потомков «прекрасного англичанина» дало Европе одного из ее самых блестящих и романтических государственных деятелей.

II.

Уинстон Черчилль не получил университетского образования. По окончании школы в Гарро он поступил в Сандхэрстское военное училище и вышел оттуда двадцати лет от роду в 4-й гусарский полк. Очень скоро мирная строевая служба чрезвычайно ему надоела. Войны, как на беду, в ту пору никакой не было. Однако на второй месяц службы, зайдя вечером по обыкновению в свой клуб, Черчилль прочел в газетах телеграмму: на Кубе вспыхнуло очередное восстание.

Можно с большой вероятностью предположить, что идеи этого восстания не вызывали ни особенного энтузиазма, ни особенной ненависти в душе молодого английского гусара. Можно даже предположить в нем и не слишком основательное знакомство с кубинскими делами. Но поэзии в экзотическом восстании было хоть отбавляй. Чего стоят одни имена героев революции и контрреволюции, довольно часто происходящих на острове Куба! Вождь кубинского республиканского движения совершенно серьезно назывался маркиз де Санта-Лючия. Люди с именами вроде Кабальеро де Родас, Максимо Гомес, Мартинес Кампос совершали разные подвиги в местах, носящих названия: Санта-Клара, Мансанилло, Пинар-дель-Рио, Сантьяго-делас-Вегас. Бои, конечно, происходили при лунном свете, на поросших орхидеями полянах и в переплетенных густыми лианами лесах черного дерева. Кубинцы сражались, кубинки венчали героев, — «Кармен» в ту пору уже совершила свое победное шествие по Европе после первоначального провала, который свел в могилу Жоржа Бизе. Сердце двадцатилетнего гусара не выдержало столь тяжелого заряда поэзии. Уинстон Черчилль взял отпуск и через три недели уже сражался на далеком острове в качестве волонтера. Я не знаю, с

^{*} Здесь борцы за выживание (англ.).

кем именно он сражался. Может быть, он и сам этого не знал. Насладившись вдоволь кубинской поэзией, он вернулся домой, но на родине не засиделся: 4-й гусарский полк был скоро отправлен в Индию. Там тоже вспыхнула какая-то война, — Черчилль выпросился у начальства и добровольцем проделал трудный поход. Затем англичане воевали с дервишами в Африке. Он попал и туда, только пришлось переменить 4-й гусарский полк на 21-й уланский. Черчилль принял участие в знаменитой кавалерийской атаке при Омдурмане, которая четверть века тому назад признавалась одним из самых блестящих дел английской военной истории. В период 1914—1918 годов бой, подобный Омдурманскому по размеру, вероятно, не был бы даже упомянут в сообщении генерального штаба. Добавлю, что воевал Черчилль в Судане за свой счет: такое условие поставило ему начальство. А так как тратиться молодой воин не хотел или не мог, то он, по собственным его словам, решил следовать наполеоновскому правилу: «война должна оплачивать войну» и предложил свои услуги газетам в качестве военного корреспондента. Его статьи в «Morning Post» создали ему известность. Но они имели для него и неприятные последствия. Это можно было предвидеть: Черчилль пытался совместить два ремесла, которые совмещать очень трудно.

Напомню в нескольких словах читателям историю суданской войны. В 80-х годах прошлого столетия воинственный шейх Магомет-Ахмет, происходивший по прямой линии от Пророка, поднял в Судане восстание против неверных. Женившись на дочерях суданских шейхов (необычный способ установления диктатуры), он стал во главе немалой силы дервишей и провозгласил себя Махди: по мусульманской традиции, Магомет сказал на смертном одре, что один из его потомков, имам Божий, приобретет власть над всем миром и под прозвищем Махди установит на земле равенство и справедливость. Новый повелитель издал свои десять заповедей, регулировавших политику и свадебные обряды, мораль и цены на скот. Махди обнаружил большие военные дарования. Его армия шла от победы к победе. В короткое время неверные были изгнаны из Судана. В 1885 году пал Хартум, причем был убит защитник его, английский национальный герой генерал Джордж Гордон. Население воздало победоносному шейху божеские почести. Но на вершине славы и могущества, готовясь к походу на Каир, Махди внеза-

пно умер, по слухам отравленный из ревности одной из своих бесчисленных жен. При его преемниках война возобновилась и через 13 лет закончилась упомянутой выше победой англичан при Омдурмане.

Уинстон Черчилль описал эту войну — и описал ее далеко не в обычном тоне военных корреспонденций. Молодой человек унаследовал характер своего отца. Он не только позволял себе писать о своем начальстве, но и в выражениях не очень стеснялся. В высших военных кругах Карьерист Младший, как прозвали сына лорда Рандолфа Черчилля, сразу стал довольно непопулярной фигурой. Несправедливость обвинения в карьеризме, думаю, достаточно очевидна: всякий понимает, на какую военную карьеру может рассчитывать молодой офицер, который публично порицает, если не поносит, главнокомандующего. А главнокомандующий суданской армией не отличался кротостью и благодушием. Сэр Герберт Китченер (в ту пору еще не лорд) при угрюмом и крутом характере вдобавок терпеть не мог журналистов.

Жизнь Уинстона Черчилля до некоторой степени сводится к процессу освобождения от разных иллюзий (и не только от иллюзий) умного, блестяще одаренного и благородного человека. В этом заключается известное сходство (впрочем, ограниченное и чисто внешнее) его жизни с жизнью Жоржа Клемансо. По-видимому, в ранней молодости воображению Черчилля представлялась джентльменская, рыцарская война с обменом любезностями, с борьбой великодуший, с «Messieurs les Anglais, tirez les premiers»*, — одним словом, та война, которая существовала лишь в фантазии Вальтера Скотта и романистов его школы. От этих представлений суданская кампания излечила Черчилля довольно быстро и радикально. Из его книги «The River War» видно, что он был заморожен титанической фигурой Махди. Суданский Наполеон изображен у него (понаслышке, разумеется) так же поэтично-трогательно, как султан Абдул-Гамид в романе Клода Фаррера «Человек, который убил». Смею думать, и в историческом отношении так же верно. В вальтер-скоттовской фантазии Черчилля, должно быть, крестовые английские рыцари, как в пору Ричарда Львиное Сердце, вступали в рыцарскую борьбу с мусульманскими рыцарями нового Саладина. Атака 21-го уланского полка при Омдурмане

* «Господа англичане, стреляйте первыми» (*фр.*).

отвечала такому представлению. Но то, что последовало за ней, ему никак не отвечало. После атаки множество раненых дервишей было добито англичанами. О таких вещах ничего не говорится у Вальтера Скотта. У военных корреспондентов об этом, напротив, говорится очень много; только, по вековой традиции военных корреспондентов, делает такие вещи всегда неприятель. Уинстон Черчилль описал атаку при Омдурмане, но не счит нужным умолчать и об истреблении раненых дервишей. Предвидя взрыв читательских протестов, он добавил несколько строк, смысл которых приблизительно таков: «Мне, вероятно, скажут, что английские солдаты не способны убивать раненого противника. В общем это, конечно, верно. Но есть и такие солдаты, которые на все способны. Ответственность же за действия армии несет, естественно, главнокомандующий». Ни в одной другой стране такая корреспонденция, вероятно, вообще не могла бы быть напечатана в военное время. В Англии ее напечатали, но издатель сделал подстрочное примечание, в котором давал понять, что тут что-то не так: английские солдаты не способны убивать раненого противника. Затем последовало другое. По вступлении британских войск в суданскую столицу Китченер приказал раскопать гробницу Махди, которая в течение тринадцати лет считалась местной святыней. Кости суданского вождя были выброшены в Нил, а череп зачем-то отвезен в Египет. Об этом действии главнокомандующего Уинстон Черчилль отозвался в чрезвычайно резких и сильных выражениях. Издатель опять-таки снабдил его статью подстрочным примечанием, в котором указывал, что сэр Герберт Китченер поступил правильно, разрушив гробницу Махди.

Думаю, что и без этих подстрочных примечаний достаточно ясно, какую исключительную смелость и независимость характера обнаружил молодой Черчилль, отзываясь так о действиях полководца, уже ставшего в ту пору кумиром британской нации. Что произошло дальше, точно не знаю. Один из английских историков (Мак-Аллан Скотт), говоря о взаимоотношениях Черчилля и Китченера в пору великой войны, когда они были товарищами по кабинету, вскользь замечает, что, по слухам, между ними было когда-то неприятное столкновение в Судане. Главнокомандующий суданской армией будто бы изругал крепкими словами беззащитного в строю уланского поручика.

Как бы то ни было, можно предположить, что служебное положение Черчилля после суданской кампании стало довольно тяжелым. Он вышел в отставку.

Однако на этом его военная карьера не кончилась. В следующем году началась война с бурами. Черчилль отправился в Африку уже в штатском платье, «с карандашом и револьвером», в качестве военного корреспондента; но, прибыв в Трансвааль, он не вытерпел и принял участие в боях. В ноябре 1899 года блиндированный поезд, в котором он находился, был окружен бурами и после отчаянного сопротивления сдался в плен. Начитавшись рассказов о свирепости буров, Черчилль ждал, что его подвергнут всяческим истязаниям. Буры, однако, отнеслись к защитникам поезда весьма добродушно и, увидев молодость главного пленника, устроили для него футбол. В плену Черчилль занимался главным образом изучением книги о свободе Джона Стюарта Милля. О книге этой обычно говорят, что она дает полную внутреннюю свободу своим читателям. Но Черчилля духовное освобождение в плену, по-видимому, решительно не удовлетворяло. Он совершенно не походил на Платона Каратаева. Вдобавок Черчилль, как раз за два дня до пленения блиндированного поезда, громил людей, сдающихся в плен. «Нет ничего глупее и унижительнее роли пленника, — писал он. — В самом деле, вы долго делаете все возможное для того, чтобы убить врага, а затем, когда дело сорвалось, молчаливо просите его сохранить вам жизнь». Черчилль решил бежать. Не буду подробно рассказывать историю его побега, — это совершенный Майн Рид. Скажу только, что он перелез через высокую стену на расстоянии нескольких метров от отвернувшегося часового, на ходу вскочил в товарный поезд, путешествовал без пищи и воды в мешке с шерстью, затем опять на ходу соскочил с поезда и долго бродил во вражеской стране наудачу. Голова бежавшего герцогского внука была оценена, и по трансваальской земле было расклеено 3000 его фотографий. Для большей поэзии он отправил военному министру буров письмо, в котором благодарил за учтивое обращение и просил извинить, что не мог откланяться лично. Черчилль шел по ночам, кое-как ориентируясь по звездам, а днем скрывался в заброшенных шахтах, в оврагах проводил долгие часы в обществе коршунов и крыс. Ему посчастливилось: он выбрался из неприятельской земли. Свой побег Уинстон Черчилль, естественно, описал в «Morning Post» — и сразу

стал знаменитостью. Кампанию он проделал до конца, но в военном ремесле, по-видимому, разочаровался совершенно. Вдобавок Черчилль пришел к мысли, что трансваальская война несправедлива, что она ведется за неправо дело и что буры, как люди, выше англичан.

Мысли эти он не постеснялся высказать печатно со своей обычной откровенностью. Штатские истребители буров, естественно, ругнули его изменником, впрочем, без особой горячности, больше для приличия. Слишком глупо было обвинять в «пораженчестве» человека, проделавшего добровольцем пять походов, да еще прямого потомка знаменитейшего из английских полководцев. Кроме того, в спортивном отношении побег Черчилля был вне конкурса. Военный корреспондент «Morning Post» вошел в большую моду. Черчилль стал Линдбергом* 1900 года.

Начиналась его блестящая политическая карьера.

III.

В парламент Черчилль, по наследственной традиции, прошел как кандидат консерваторов. Но с ними ему было в ту пору совершенно не по пути. В партии он пытался проводить социально-реформаторскую программу своего отца и точно так же, как этот последний, натолкнулся на очень серьезное сопротивление. «Консервативная партия есть партия привилегированных классов», — недовольно заметил Рандолфу Черчиллю в частном письме лорд Солсбери. Так же двадцатью годами позднее предостерегали Уинстона Черчилля его старшие товарищи. «Он повторяет тяжкую жизненную ошибку своего отца», — писала неодобрительно газета «Times». Личный успех Черчилля был, однако, очень велик. После одного из его выступлений в палате либеральный публицист Массингам писал, что не слышал в парламенте такой речи со времени смерти Гладстона: «Мистер Черчилль, вероятно, будет когда-нибудь первым министром, — предсказывал Массингам, — и, я надеюсь, первым министром либерального правительства». После трех сессий палаты расхождение между Черчиллем и консервативной партией по целому ряду вопросов стало настолько велико, что во время его речей консерваторы демонстративно покидали зал

* Линдберг Чарльз (1902—1974) — американский летчик, прославившийся первым беспосадочным перелетом над Атлантическим океаном в 1927 г. — *Прим. ред.*

заседаний. Либералы, напротив, устраивали овации неожиданному союзнику. Такое положение, конечно, не могло продолжаться долго. Черчилль ушел, «хлопнув дверью». «Слава Богу, в Англии существует и либеральная партия», — сказал он в своей галифакской речи. На выборах 1906 года он снова выставил свою кандидатуру в парламент, но уже в качестве либерала.

Эти выборы, как известно, свелись к разгрому консервативной партии, и бывшие друзья Черчилля, крайне раздраженные его «изменой», обвиняли молодого депутата в том, что свой либерализм он стал проявлять в предвидении электоральной победы либералов. В этом, однако, нет ничего особенно дурного. Так, у Андре Моруа английский пастор во время засухи поджидает понижения барометра для того, чтобы объявить молебствие о дожде.

Люди моего поколения хорошо помнят ту волну гуманитарного идеализма, которая заливала Европу в последнее десятилетие перед войной. Вероятно, для демократической идеи это было, на протяжении всей истории мира, самое благоприятное время. Я несколько не хочу говорить о нынешнем «кризисе демократии». Это очень модная, но не очень новая тема: она была модной и две тысячи лет тому назад. Все в политике познается по сравнению. В общем мир, конечно, «демократизировался», — демократия перенесла землетрясения лучше, чем ее вековые противники. Та большая семья, которая до войны правила Европой с высоты двадцати престолов, почти вся ушла в частную жизнь. Германский кронпринц занимается теперь торговыми делами, королевы и эрцгерцогини зарабатывают хлеб в кинематографе, на развалинах империи Карла V хозяйничал Карл Реннер, а в Ильдиз-Киоске устраивается игорный дом. Если демократия провалилась, то, по крайней мере, в очень хорошем обществе... Нет, я не хочу сказать, что «облетели цветы, догорели огни» на том блестящем историческом представлении, которое с таким воодушевлением ставилось повсеместно в Европе в годы перед мировой войной. Но при известном беспристрастии должно признать, что цветы теперь стали менее ароматны и огни горят не так ярко, как прежде. Может быть, героический период

* Реннер Карл (1870—1950) — один из лидеров австрийской социал-демократической партии и II Интернационала. — *Прим. ред.*

1914—1918 годов вообще несколько исчерпал в пережившем его поколении запас какого бы то ни было энтузиазма. А может быть, это поколение слишком много видело и слышало. Перед ним на международных конгрессах Ленин, Троцкий и Зиновьев клялись вести борьбу со смертной казнью. Перед ним социалисты разных стран тоже клятвенно заверяли, что не допустят никакой войны. Перед ним «советь всего мира» была потрясена казнью Феррера*. Перед ним Жорес, призывая Францию к разоружению, воскликнул в восторженном порыве: «В худшем случае мы погибнем, но наша гибель послужит делу освобождения человечества!» — на что многотысячная аудитория ответила бурным взрывом аплодисментов...

«Идейной кухней мира» был в ту пору, как и теперь, Париж. Но практической лабораторией служила в особенности Англия. Ллойд Джордж был тогда главным источником социально-политического идеализма. Двадцать лет тому назад вокруг «валлийского колдуна» собрался цвет идеалистически настроенной молодежи. Черчилль, перейдя к либералам, стал ближайшим учеником, соратником и другом Ллойда Джорджа.

Правительственная карьера Черчилля общеизвестна. В либеральном кабинете он занимал должности товарища министра колоний, затем министра торговли, министра внутренних дел. На всех этих постах он проявлял и кипучую деятельность, и чрезвычайный радикализм. Вместе с Ллойд Джорджем он составлял крайнее левое крыло левого правительства. С именем Черчилля связаны важнейшие законопроекты по самоуправлению африканских колоний, по ирландскому «гомрулю», по ограничению рабочего дня, по государственному страхованию неимущих. При деятельной его поддержке был проведен Ллойд Джорджем исторический «революционный бюджет» 1909 года. В борьбе Ллойд Джорджа с палатой лордов Черчилль принимал самое близкое участие. Памятная борьба эта велась обеими сторонами не слишком любезно. Ллойд Джордж на митингах напоминал «партии герцогов» об эшафоте Карла I. Герцог Бофорский говорил, что лучшей радостью его жизни было бы натравить своих борзых собак на Ллойда Джорджа. В кампании против герцогов внук герцога Мальборо превзошел резкостью

* Феррер Гуардия Франсиско (1859—1909) — испанский просветитель, педагог. Во время восстания в Барселоне в 1909 г. был арестован, без всяких оснований обвинен в руководстве восстанием и казнен. — *Прим. ред.*

своего наставника. В салонах это сходило гладко, — там отношение к Черчиллю, по-видимому, всегда было благодушно-ироническое: кто-то его назвал «добреньким братцем бедняков». На митингах бывало и хуже. В Бирмингеме Черчилля однажды едва не растерзали в клочья. Зато «бедняки» любили его чрезвычайно. На новых выборах в парламент рабочая партия решила не выставлять своего кандидата против будущего «пожирателя социалистов».

Тот же неподдельный энтузиазм, ту же веру в неуклонность прогресса, в наступающее торжество разума Уинстон Черчилль вносил и в разрешение проблем внешней политики. Он был в ту пору одним из главарей всевропейского пацифизма. Вместе с Ллойд Джорджем Черчилль считал «германский милитаризм» выдумкой британских реакционеров. Продолжалось это, однако, недолго. В 1911 году демонстрация, произведенная германской канонеркой «Пантера» у берегов Марокко, чуть-чуть не повлекла за собою европейскую войну. Агадирский инцидент уладился, но пацифистские круги раскололись. Некоторые из политических деятелей усмотрели в событии новое и наглядное доказательство того, что «Германия не решится» и что война невозможна. «На памятнике германского милитаризма отныне будет красоваться пантера с поджатым хвостом», — сказал один из самых восторженных людей того времени. Есть исторические фразы, которые должны были бы, как бумеранг, возвращаться через некоторое время к тому, кем они были брошены. Человек, с такой замечательной проницательностью усмотревший в поджатом хвосте характерный признак германского милитаризма, через три года был убит на войне.

Должно сказать, что на Черчилля агадирский инцидент произвел обратное — и очень сильное — действие. Он пришел к убеждению, что на Европу надвигается катастрофа и что Англии грозит смертельная опасность. По его желанию Асквит поручил ему управление морским министерством со специальной задачей подготовить британский флот к войне. На этом посту Черчилль оставался несколько лет. Заслуги его в деле приведения флота в боевую готовность высоко расцениваются специалистами. В официальных речах своих он продолжал выступать в качестве пацифиста. Впрочем, на тему о необходимости сохранения мира в то время говорили речи — и очень хорошие — самые отъявленные из немецких милитаристов. Вильгельм II

даже возносил молитвы о предотвращении мировой войны. Так, император Карл V, содержа в заточении папу, ежедневно молился Богу о даровании свободы римскому первосвященнику.

IV.

В своей местах очень курьезной автобиографии госпожа Асквит, супруга бывшего премьера, говорит, что лондонский сезон 1914 года сильно ее разочаровал, да и дочь ее Елизавета веселилась совсем мало. В мемуарах этой столь много видевшей дамы пленительно забавен одинаковый, взволнованно-обиженный и слегка презрительный тон: какая неудобная квартира полагается у нас первому министру, негде повернуться и лестница плохая. Принц Уэльский пригласил меня сесть рядом с ним за обедом. Я закрыла лицо руками и громко воскликнула: «Ах, нет, я недостаточно хорошо одета». Германия объявила войну России. Бенкендорф обедал у нас сегодня, и мы очень с ним спорили... В мемуарах госпожи Асквит есть существенные недочеты. Но надо многое прощать влюбленным, а она беззаветно и трогательно влюблена — в себя, разумеется. Во всяком случае, некоторые сцены лондонского сезона 1914 года описаны в ее книге поразительно. 4 августа, как известно, Англия предъявила Германии ультиматум, срок которого истекал в полночь. Это, вероятно, был единственный случай, когда изысканная фраза добрых старых прокламаций: «бьет двенадцатый час» имела реальный смысл. «Вечером этого дня, — описывает г-жа Асквит, — мы сидели в кабинете Генри с лордом Кру и с сэром Эдуардом Греем. Мы курили, не говоря ни слова... Забили часы... Прозвучал последний удар. Война началась. Я пошла спать. Остановившись на лестнице, я увидела Уинстона Черчилля. Он со счастливым лицом (with a happy face) бежал по направлению к двери кабинета».

Из мемуаров самого Черчилля мы знаем, что бежал он к первому министру в полночь 4 августа прямо из адмиралтейства, которое за мгновение до того отправило всем своим эскадрам сигнальную телеграмму, означавшую: «Начинайте военные действия против Германии». И я вполне верю госпоже Асквит, что лицо у Черчилля в эту минуту так и сияло счастьем. Впрочем, не у него одного. Это счастливое и вместе с тем растерянное выражение я и сам видел в те дни на лицах

очень многих людей, — конечно, менее высокопоставленных и менее ответственных, чем Черчилль. Возвращаясь в начале войны из-за границы в Россию кружным путем, я побывал в трех главных государствах противогерманской коалиции и в двух нейтральных странах, и, право, это растерянное сияние на лицах кажется мне самой общей, самой поразительной психологической чертой незабываемых дней 1914 года. Может быть, было здесь — у людей нейтральных — что-то от того радостного оживления, которое Алексей Александрович Каренин после своего семейного несчастья читал на лицах всех его окружавших. Или, вернее, сказались чувства, выраженные в стихах «Пира во время чумы», кажется, самых знаменитых во всей русской поэзии: «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья, бессмертья, может быть, залог»... Не знаю. Во всяком случае, наслаждения здесь могли быть лишь вполне «неизъяснимые». Иррациональное начало в человеке праздновало полную победу. В ночь убийства Жореса в Париже говорили, что на последнем своем ужине в «Café du Croissant» вождь социалистов, весь день метавшийся по государственным людям и умолявший их сделать все для предотвращения войны, сказал будто бы в экстазе: «Non, non, je vois, la guerre est d'essence divine!»* — Рауль Виллен, с револьвером в кармане, уже бродил в окрестностях кофейни, разыскивая свою жертву — первую жертву войны. Да, иррациональное начало торжествовало, — радоваться ведь было как будто нечему: летний сезон 1914 года оказался неудачным не только для госпожи Асквит и для ее дочери Елизаветы.

Немного радостей принесла война и Черчиллю, хоть он, вероятно, очень рассчитывал на «лавры».

Первым ударом для него было назначение Китченера на должность военного министра. Независимо от их давней личной вражды событие это, восторженно встреченное в Англии, делало положение Черчилля несколько фальшивым. Среди либеральных политиков правительства Асквита отставной улан, вероятно, считался военным авторитетом. Но, разумеется, для людей, всей своей жизнью связанных с армией, как фельдмаршал Китченер, Уинстон Черчилль был хуже, чем штатский: он был полувойенный. В Черчилле, собственно, сочета-

* «Нет, нет, я вижу: война — это Божья воля» (фр.). Рауль Виллен — убийца Жореса.— Прим. ред.

лось все, что могло быть противно лорду Китченеру: дилетантизм, радикализм, журналистика, литература. Старый фельдмаршал ничего не писал; он даже ничего и не читал*. Никакой беды не было в том, что во главе морского ведомства стоял не адмирал, а политический деятель. Во Франции в начале войны военным министерством управлял адвокат Мильеран, а морским — сифилидолог Оганьер, и дела от этого шли несколько не хуже. Но появление Китченера в правительстве Асквита, так сказать, нарушало симметрию кабинета: если военное министерство поручалось фельдмаршалу, то естественно было поручить адмиралтейство моряку.

Едва ли нужно восстанавливать в памяти читателей первые, катастрофические для союзников, недели войны. Лишь теперь из недавно вышедших книг мы узнали, какой сумбур и хаос царили в ту пору на верхах британской политики и британского командования. Ссорились министры, ссорились генералы, Ллойд Джордж подкапывался под Асквита, Френч не желал подчиняться Китченеру, Китченер не хотел считаться с правительством. Никто ничего не знал и не предвидел. Во всем мире одна госпожа Асквит, по ее словам, сразу сообразила, что война продлится годы. «В военном совете, — рассказывает адмирал Фишер, — шла игра в кегли: каждый участник совета предлагал свой план действий; этот план тотчас разбивали, и тогда его автор немедленно разбивал планы других». Растерялся и лорд Китченер — он, собственно, знал только методы колониальной войны: на одном из заседаний союзного совета Бриан довольно резко ему напомнил, что между Францией и Суданом существует некоторая разница. Сам первый министр Асквит говорил: «Wait and see» («подождем и посмотрим») и в свободное время читал Диккенса**. Тем временем немецкая лавина неудержимо неслась к Парижу. Бельгийские крепости падали одна за другой. Черчилль с истинным драматизмом описывает, как в его спальню в 7 часов утра 24 августа вошел Китченер с известием о падении Намюра. «Я почувствовал, — говорит Черчилль, —

* Его биограф и восторженный почитатель лорд Эшер говорит, что Китченер и приказания отдавал обычно устные: «он ненавидел писаное слово». Одному из своих друзей, составлявшему библиотеку для его имени, Китченер дал следующую инструкцию: «Позаботьтесь о старинных переплетах, а какие книги, мне все равно».

** «Я застала Генри за чтением «Нашего общего друга». Он мне сказал, что намерен перечитать все романы Диккенса» (из дневника г-жи Асквит от 10 августа 1914 г.)

что он оглушен, точно ударом кулака. Глаза у него были выпучены, голос его хрипел... Это появление Китченера в состоянии агонии на пороге моей спальни сохранится у меня в памяти до конца моих дней». Самые фантастические комбинации подвергались обсуждению в военном совете. Сам Черчилль то хотел вербовать добровольческую армию в Америке, то предлагал обратиться к русскому командованию с просьбой о присылке двух корпусов морским путем из Архангельска в Остенде, с тем чтобы ударить в тыл немцам. Общее впечатление в Англии было таково, что все кончено и что спасти Париж невозможно. Со своей обычной порядочностью Уинстон Черчилль указывает, кем было спасено в те дни дело союзников. Самостоятельные интересы России, — указывает он, — требовали бы, конечно, отвода русских войск от границы до завершения обширной мобилизации. Вместо этого русское командование предприняло единовременное наступление на германском и австрийском фронтах. Приведу подлинные слова Черчилля: «В гигантских и страшных боях на полях Восточной Пруссии пал цвет русской армии. Но результат ее вторжения был использован в решительную минуту. Нервы германского генерального штаба не выдержали».

На море дела союзников шли неизмеримо лучше. Тем не менее Черчиллю не везло.

Газета «Morning Post» открыла бешеную кампанию против штатского морского министра. Читатели помнят, вероятно, что в этой газете Черчилль в молодости принимал самое близкое участие. Она создала его славу.

По тону любой газетной кампании опытный человек всегда почти безошибочно может сказать, скрываются ли за ней какие-либо личные мотивы. В характере травли Черчилля, предпринятой газетой «Morning Post», сомневаться не приходится*. Для государственных людей травля довольно обычное дело. В связи с ней политические деятели могут быть даже делимы на два разряда: одни возражают и спорят, другие упорно молчат. Чехов пессимистически замечал, что возражать и спорить в подобных случаях — все равно что дергать черта за хвост или стараться перекричать злую бабу. Такого же мнения держался Эрнест Ренан. «Ne

* В своей книге «Contemporary Personalities» лорд Беркенхед говорит, что руководитель «Morning Post» преследовал Черчилля «с той шумной и мелкой злобой, которую этот господин иногда проявляет, подчиняясь дамским приказам» («according to feminine orders»).

répondez jamais»*, — советовал он. Однако практика бывает разная. Из знаменитых государственных людей Франции Пуанкаре возражает постоянно, Клемансо огрызается раз в год, Бриан никогда не отвечает. В Англии к отвечающим принадлежат Розбери, Дарби, Керзон; к неответающим Эд. Грей, Асквит. «На Генри отзывы печати производят такое же действие, как комары на собор св. Павла», — не без досады замечает о своем муже госпожа Асквит. Уинстон Черчилль, конечно, по природе из «ответающих». Но беда его в 1914 году заключалась в том, что отвечать он не имел права, так как из каждого его слова мог бы извлечь пользу неприятель. «Morning Post» смешивала Черчилля с грязью. Блестящие успехи британского флота, установившего блокаду Германии, обеспечившего перевозку морем войск, снарядов, провианта, не ставились в заслугу морскому министру. Каждая неудача вменялась ему в преступление. У Толстого в «Воскресении» фабричный, пьющий в вагоне водку, говорит философски Нехлюдову: «Что, барин? Как работаем — никто не видит, а вот как пьем — все видят»... Черчилль мог бы сказать о себе приблизительно то же самое.

Одно замечательное происшествие, которое нанесло жестокий удар Черчиллю, я изложу вкратце. Многие, вероятно, помнят, что в начале войны (16 декабря 1914 года) германская эскадра адмирала Гиппера незаметно подошла к берегам Англии и подвергла бомбардировке города Скарборо и Хартлпул. В официальном сообщении британского адмиралтейства было об этом дне кратко сказано, что, получив известие о налете неприятельской эскадры, английские морские силы пытались отрезать ей отступление; но благодаря нависшему густому туману эскадре адмирала Гиппера удалось скрыться. Во время бомбардировки было убито и ранено несколько сот человек гражданского населения, погибло множество детей, женщин. Естественно, событие это вызвало в Англии настоящую бурю негодования не только против «baby-killers» (убийц младенцев), но и против «ничего не предусмотревшего» морского министра. Черчилль должен был молчать, стиснув зубы. Между тем он имел полное право видеть в этом событии торжество британского адмиралтейства и созданной им разведочной системы.

Настоящий характер рейда адмирала Гиппера вы-

* «Никогда не возражайте» (фр.).

яснился — да и то далеко не вполне — лишь в самое недавнее время. С этим эпизодом не идет в сравнение никакой полицейский роман. Едва ли нужно говорить, что во время войны Англия имела в Германии, как Германия в Англии, превосходную разведочную службу. Подробные сведения обо всем этом едва ли станут известными нашему поколению («Через 50 лет прочтите в «Русской Старине», — успокаивал нетерпеливых людей Щедрин). Германские адмиралы и фельдмаршалы в воспоминаниях о мировой войне ничего вообще не говорят о своей системе шпионажа, — они не литераторы и за литературными эффектами не гоняются. Черчилль в своих мемуарах очень глухо замечает, что главным источником сведений английского адмиралтейства о действиях и намерениях немецкого морского командования были донесения секретных агентов из самой Германии. В связи с налетом на Скаборо он подробно и документально устанавливает, что именно ему было сообщено. Из опубликованных официальных телеграмм выясняется следующий изумительный факт. За два дня до налета Черчиллю были известны день и час выхода эскадры адмирала Гиппера, ее состав, ее задача и ее направление. Иными словами, Черчиллю было известно то, что в высшем германском командовании могли знать лишь несколько человек. Как же не верить ходящему теперь слуху, будто у английского правительства есть «специальный корреспондент» в Совете Народных Комиссаров!

В соответствии с полученными из Германии сведениями Черчилль 14 декабря известил адмирала Джеллико, что четыре боевых германских крейсера, пять крейсеров легких и три флотилии миноносцев во вторник 16 декабря с зарею выйдут на всех парах из базы, обстреляют берега Англии и понесутся назад. Для того чтобы отрезать и уничтожить флотилию Гиппера, главнокомандующему британским флотом предписывалось отрядить вторую линейную эскадру, первую эскадру боевых крейсеров и несколько вспомогательных легких эскадр. Силы эти, находившиеся под командой адмиралов Уоррендера и Битти и составлявшие приблизительно треть всего британского военного флота, должны были ждать Гиппера в точно указанное время, в точно указанном месте. Легко себе представить, с каким чувством Черчилль должен был молча глотать рассуждения о том, что он ровно ничего не знал и ничего не предусмотрел.

Однако здесь, по-видимому, кончается торжество английской разведки и начинается торжество разведки германской. В свою очередь немецкое морское командование знало, что весьма значительные неприятельские силы должны отрезать отступление эскадры адмирала Гиппера. По мнению новейшего военного историка, в этом, а не в обстреле городов и заключался весь смысл налета на Скарборо. 16 декабря 1914 года должно было стать тем «Тэг»*, о котором, по распространенной легенде, в течение десятилетий мечтали немецкие моряки. Эскадра адмирала Гиппера была чем-то вроде куса сала, который кладут в мышеловку. Германское командование отправляло Гиппера почти на верную гибель для того, чтобы завлечь в ловушку Уоррендера и Битти: вслед за направлявшейся в Скарборо крейсерской эскадрой из Гельголандской морской базы с потушенными огнями вышел весь германский боевой флот («das Gros») под начальством самого главнокомандующего адмирала Ингенюля. Его задача заключалась в том, чтобы отрезать и уничтожить те британские морские силы, которые должны были отрезать и уничтожить эскадру адмирала Гиппера.

Финал этого дела мог бы изобразить Виктор Гюго. Он сказал бы, что Небо, разгневанное хитростью, злобой и коварством людей, в решительную минуту опустило занавес над дьявольской пьесой. Густой, непроницаемый туман разнесся над водою, и в нем потеряли друг друга немецкие и британские эскадры. Первое известие о событиях Черчилль получил, сидя в ванне. «Я схватил телеграмму мокрой рукой: «Немецкие боевые крейсера бомбардируют Хартльпуль»... Я с криком выскочил из ванны и, накинув платье на мокрое тело, побежал в залу совета»... Телеграммы уже сыпались, счетом приблизительно по 2—3 в минуту. Из бомбардированных городов приходили ужасные вести об убитых и искалеченных людях — разве это теперь могло иметь значение? Гораздо худшие известия шли с моря: они сообщали величину видимой на море полосы, сокращавшейся со страшной быстротой: 7 тыс. ярдов, 6 тыс., 5 тыс., 4 тыс., 3 тыс., 2 тыс. Пелена тумана надвигалась все глубже. Гиппер ускользал. «Торжественные лица адмиралов Фишера и Вильсона не выдавали их волнения, но я чувствовал, что они сгорают на медленном огне»... В эти часы по другую

* «День» (нем.).

сторону Северного моря рвали на себе волосы германские адмиралы. Престарелый Тирпиц писал через месяц: «16 декабря Ингеноль держал в руках судьбы Германии. Я прихожу в волнение каждый раз, как я об этом думаю»...

Я изложил (очень неполно) один только эпизод из деятельности Черчилля в качестве морского министра. Не имея возможности остановиться на ней подробно, скажу только, что неудача дарданелльской экспедиции нанесла ему самый тяжелый удар. Он должен был оставить пост морского министра. Вскоре вслед за тем он отправился во Францию на фронт в качестве рядового офицера. И друзья и враги Черчилля считали его политическую карьеру конченной. Положительно, он напрасно «сиял» в ночь 4 августа 1914 года. «Его жизнь разбита... Он совершенно потерял общественное доверие... Он пал, как Люцифер, и надеяться ему больше не на что. Большая трагедия!» — сказал один из ближайших сотрудников Черчилля.

V.

Он выплыл, и даже очень скоро. Ллойд Джордж, став главой правительства, вернул с фронта своего друга. Дальнейшие этапы карьеры Черчилля: министерство снабжения, министерство воздухоплавания, военное министерство. Но восторженный радикальный реформатор уже принадлежал истории. Расхождение между Черчиллем и либералами началось с первых недель войны. Если для «Morning Post» он был преимущественно штатским эксцентриком и неудачным морским министром, то либералы видели в нем прежде всего главу военной партии и вдохновителя шовинистов. Многие другие усилили глухой разлад между Черчиллем и либеральной партией. Психологические промахи ее лидеров, обычное бедствие политических деятелей, загнали в противоположный лагерь этого страстного человека.

С Ллойд Джорджем он тоже не поладил — преимущественно по «русской проблеме». В жизни Уинстона Черчилля русская проблема заняла огромное место. По многим причинам я касаться ее не буду. Не остановлюсь и на сложных отношениях знаменитого министра с Б. В. Савинковым. В длиннейшей и потому скучнова-

той комедии, разыгранной в 1924 году военной коллегией Верховного суда СССР, Савинков показал: «Насколько я помню, позиция Ллойд Джорджа была такова, что он умывал руки, делал вид, что он не совсем в курсе того, что делает Черчилль, хотя он, конечно, был в курсе. Хотя, разумеется, Черчилль не делал ровно ничего без согласия Ллойд Джорджа, но внешне это имело такой вид. Даже тогда, когда я беседовал с Ллойд Джорджем лично, он всегда занимал позицию немного двойственную, а Черчилль, действительно, очень энергично старался помочь». Савинков еще указывает, что генерал Деникин пригласил в свое правительство Н. В. Чайковского по настоянию Черчилля. Едва ли это верно, да и очень уж неправдоподобно: покойный Николай Васильевич отнюдь не был тем человеком, которого мог бы рекомендовать в правители Уинстон Черчилль в эту пору своей жизни.

После ухода в отставку Бонара Лоу должность канцлера казначейства, обычное преддверие к кабинету первого министра, досталась не Черчиллю, а сэру Роберту Горну, что, по словам Британской энциклопедии, явилось одним из самых жестоких разочарований всей жизни Черчилля. Может быть, это и несколько преувеличено, — думаю, у него были и более глубокие разочарования: он разочаровался в реакционерах и в радикалах, в великодушии Китченера и в дружбе Ллойд Джорджа, в пацифизме и в милитаризме, в возможности дарданелльской прорыва и в целесообразности русской интервенции, в Версальском мире и в Лиге Наций, в поддержке социалистов и в борьбе с социалистами.

Черчилль на время «отошел в частную жизнь». В частной жизни он издавна изумлял Лондон необыкновенными воротничками и потрясающими шляпами. Некоторая склонность изумлять людей без крайней необходимости является, по-видимому, наследственной чертой в роде Мальборо. Рандолф Черчилль ездил в Африку стрелять львов. Его сын выставляет в Париже картины собственной кисти. Кроме того, он основал клуб, и притом с весьма необыкновенным уставом. Члены «The Other Club»¹ собираются раз в две недели обедать. Их всего 50 человек, причем только 24 могут быть политическими деятелями, — хорошего понемножку. Остальные — знаменитые писатели, ученые, генералы. Имена распорядителей клуба, по уставу,

¹ Приблизительно то же самое я слышал от Б. В. Савинкова в 1920 г.

окружены непроницаемой тайной, вроде того, как у нас когда-то имена членов Исполнительного комитета «Народной Воли». Зато председатели комиссий могут быть известны миру. Во главе сигарной комиссии стоит Ллойд Джордж. Комиссия по портвейну вверена, кажется, адмиралу Битти. Двери клуба открылись и для членов рабочей партии, несмотря на ненависть Черчилля к социалистам и социалистов к Черчиллю. Политика политикой, а портвейн портвейном. Это правило в меру возможного соблюдается англичанами. Когда в сов. Россию уезжала социалистическая делегация, консерваторы, во главе с Беркенхедом, осыпали ее бранью. Но так как Россия страна холодная, а у одного из делегатов не было теплой шубы, то ему любезно дал на время свою шубу лорд Беркенхед, — он не желает простуды и политическому врагу. Социал-предатель так и ходил по Москве в шубе отъявленного реакционера, по чучелу которого стреляют из грушечных ружей московские комсомольцы...

Черчилль пробовал основать и собственную, центральную партию — из этого ничего не вышло. Что оставалось ему делать? Что такое политический деятель без партии? Роскошь быть «дикими» могли позволить себе люди, имевшие ореол спасителей родины — Клемансо, Бисмарк. Старый кавалерист колебался недолго. Двадцать лет тому назад, покидая консерваторов, Уинстон Черчилль «воскликнул»: «Слава Богу, в Англии есть либеральная партия!» У него хватило такта при разрыве с либералами не восклицать в 1924 году: «Слава Богу, в Англии есть консервативная партия!» Черчилль вернулся к консерваторам без всякого исторического восклицания.

Теперь Уинстон Черчилль — канцлер казначейства и признанный кандидат в премьеры, хотя его финансовая политика, кажется, не вызывает в Англии восторга. Забавное выражение Кейнса «экономические последствия мистера Черчилля» как бы приравнивает к стихийному бедствию личность нынешнего канцлера казначейства. В Черчилле, конечно, есть то, что обычно называют стихийной силой. Он имеет репутацию прекрасного оратора. Некоторые его экспромты в палате общин производили сильнейшее впечатление. Не помню, кто сказал, будто на изготовление ослепительных «экспромтов» Черчилль потратил лучшие годы своей жизни. Он занимал на протяжении 20 лет чуть ли не все существующие в Англии министерские посты и,

следовательно, имеет огромный правительственный опыт. Каковы в точности его нынешние взгляды, сказать трудно. К консерваторам он перешел прочно — как говорят французы, «avec armes et bagages»^{*}. Или, вернее, только «avec armes»: идейный багаж на три четверти растерян Черчиллем в дороге. Впрочем, главная его особенность всегда была в преобладании волевого начала над логическим. Он принадлежит к опасной породе политических деятелей, которые руководятся правилом «не размышляйте, а действуйте». Точнее говоря, он сначала действует, а потом размышляет. От роли мудрого созерцателя Черчилль прочно застрахован темпераментом. Он слишком живой человек для того, чтобы быть человеком государственным; но можно сказать также с полной уверенностью, что многочисленные разочарования никак не приведут его к скептицизму или к бездействию. Основная черта Черчилля, разумеется, честолюбие. В своем романе «Саврола» он и сам прозрачно на это намекает. У британского премьера есть разные возможности для того, чтобы удивлять мир. Близкий к Черчиллю лорд Беркенхед как-то сказал: «Великий Дизраэли не отказывался от имени авантюриста. Не откажусь от него и я: вся наша жизнь авантюра». Это, конечно, игра словами. Уинстон Черчилль отнюдь не авантюрист в дурном смысле слова. Но он игрок, и игрок очень азартный. Черчилль любит повторять слова Наполеона: «Если мои адмиралы постоянно терпят поражение, то это происходит оттого, что кто-то им внушил, будто можно вести войну без риска».

* «С оружием и багажом» (фр.).

Томас Лоуренс



Король Фейсал и полковник Лоуренс

I.

Не так давно, 20 июня 1933 года, в Лондоне у вокзала Виктория я присутствовал при въезде в столицу короля Фейсала. Это было пышное зрелище, одно из самых пышных, какие мне когда-либо приходилось видеть. С тех пор как нет дворов в Петербурге, в Вене, в Мадриде, подобные зрелища, пожалуй, только в Англии и увидишь. На парадах Гитлера, Сталина, Муссолини и войск, и публики больше, чем при выезде короля Георга V. Современные диктаторы, очень опытные гипнотизеры, взяли из старого церемониала все, что могли. Но вышли они из низов и от многого должны были отказаться, чтобы не стать смешными. Вдобавок каждое появление этих людей — говорящий фильм: они ведь почти всегда «выступают с речами» — слава Богу, наука додумалась до громкоговорителей, — выступают «перед 50-тысячной толпой», «перед 200-тысячной толпой», «перед 500-тысячной толпой». Вполне верю, что в Берлине, в жару, 500 000 человек отправились на аэродром послушать ценные мысли Геббельса. Но как бы значительны эти мысли ни были, поднять их до уровня церемониала трудно.

Процессия, которую я видел в Лондоне, — фильм немой и, быть может, поэтому гораздо более эффектный. Выстроившиеся вдоль улицы гиганты в красных мундирах, в высоких меховых шапках по сигналу окаменели. Публика молча сняла шляпы. На улицу из-за угла медленно выехал отряд конной гвардии. За ним следовало пять золотых открытых колясок. В первой из них, запряженной шестеркой великолепных лошадей, с форейторами на лошадях, с лакеями на запятках справа от Георга V сидел король Фейсал в белом мундире, в каске с пером.

Я мог следить за коляской в течение двух-трех минут. За это время короли не обменялись ни одним сло-

вом. Молчали и сидевшие против них в той же коляске принцы. Молчали и люди в раззолоченных мундирах, следовавшие в других колясках. Красные гиганты опустили ружья, прошел великолепный конвой — и все скрылось за углом Wilton-Road.

На следующий день газеты сообщили, что в честь восточного гостя в Букингемском дворце состоялся парадный обед на 130 человек. Фейсал сидел между королем и королевой. Не знаю, много ли они разговаривали. Едва ли «дружеская беседа затянулась далеко за полночь»: одна из газет отметила, что гость удалился в свои апартаменты очень рано. Не знаю также, сделал ли он честь обеду. Меню, список вин с их годами занимали в газетах добрых двадцать строк. Обычный обед Фейсала (по крайней мере, на войне): десяток фиников, лепешки из муки и полбутылки ледяной воды.

«В большом, ярко освещенном зале Воронцовых играла скрытая в зимнем саду музыка. Молодые и не совсем молодые женщины в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена «сардара» тоже, несмотря на свои немолодые года, также полуобнаженная, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджи-Мурату, с тем же равнодушием, как вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хаджи-Мурату и другие обнаженные женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же: как ему нравится то, что он видит. Сам Воронцов, в золотых эполетах и аксельбантах, с белым крестом на шее и лентой, подошел к нему и спросил то же самое, очевидно, уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджи-Мурату не могло не нравиться все, что он видит. И Хаджи-Мурат отвечал Воронцову то, что он отвечал и всем: что у них этого нет, не высказывая того, что хорошо или дурно то, что этого нет у них. Когда пробило одиннадцать часов, Хаджи-Мурат спросил Лорис-Меликова, можно ли уехать. Лорис-Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. Несмотря на это, Хаджи-Мурат не остался, а уехал на данном в его распоряжение фэртоне в отведенную ему квартиру». (Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат».)

Да, этот восточный монарх в европейском мундире, с умным и выразительным лицом, с взглядом высокомерным и равнодушным, принадлежал, вероятно, к числу последних Хаджи-Муратов истории. Король Фейсал был выдающийся человек. Если не по характеру, то по выпавшей ему роли он гораздо значительней Хаджи-Мурата. Судьба очень странно выбросила эту карту в той огромной игре, которая завязывалась в мире в августе 1914 года. Если бы не игра эта, то был бы без всякой биографии младший сын владетельного меккского князька — и уж, конечно, король Георг V не выезжал бы к нему навстречу на вокзал со своими двумя сыновьями, чуть ли не со всем английским двором. Возможно, правда, что и умер бы тогда Фейсал в менее загадочной обстановке...

Вдобавок случайное обстоятельство: с «последним Хаджи-Муратом» жизнь свела едва ли не последнего европейского Байрона.

II.

Фейсал родился в 1883 году в одной из довольно многочисленных, кажется, восточных семей, ведущих свой род от Магомета. Он потомок, в 36-м поколении, дочери пророка Фатимы. Отец Фейсала, Хусейн, был князем в Геджасе и не пользовался симпатиями Абдул-Хамида. По этой ли причине (заложники могли пригодиться), или же просто потому, что такова была мода в высшем арабском обществе, Фейсал со старшими братьями был в раннем детстве перевезен в турецкую столицу.

Константинополь султана Абдул-Хамида мог служить недурной политической школой для государственного деятеля нашего счастливого времени. Но это был, так сказать, приготовительный класс. «Люди не смели думать и говорить свободно, — в свое время сурово писал немецкий историк. — Шпионы кровавого султана тщательно следили за всем, что делалось на улице, в школах, в семьях. Сотнями и тысячами томились в тюрьмах, ссылались в отдаленные, нездоровые области или искали и находили убежище в горах Македонии и Фракии инородцы и коренные турки, виновные только в том, что их образ мысли не совпадал с предписаниями Ильдиз-Киоска»...

В самом деле, и подумать страшно! Неужели нечто подобное действительно могло происходить когда-либо в мире? Не знаю, где теперь находится грозный историк, обличитель Абдул-Хамида. Может быть, искал и нашел убежище — не в горах Македонии и Фракии, а поближе к нам — и теперь в Café Colysée обсуждает вопрос, допустимо ли бойкотировать гитлеровское пиво, ведь это бьет и по интересам народа? Но не поручусь, может, и сотрудничает в «поравненном» «Berliner Tageblatt», — жить все-таки надо, а ведь крайности со временем сгладятся.

Повторяю, то был приготовительный класс истории, по наивности не оценивший учителя-провидца. Ведь, например, по сравнению с абдул-хамидами и абдул-хамидиками СССР, «красный султан» был культурный либерал и почтенный гуманист. Он, конечно, сам не предвидел, что его методы правления завоюют мир, да еще вдобавок будут вызывать особенный восторг именно в тех кругах Запада, где его «клеямили». Каков будет старший класс, мы, конечно, не знаем. Талантливый французский писатель недавно сказал: «Нынешние правители Европы, это еще ничего! А вот будет время, когда мы пожалеем и о лошади Калигулы!..»

Я видел когда-то и хорошо помню Ильдиз-Киоск, столь непохожий на другие дворцы мира. Помню сады, разбросанные по ним домики самого султана, его детей, его трехсот наложниц и четырех полузаконных жен (он формально никогда женат не был — по султанской традиции и потому, что не любил обряда венчания). По этим садам, ярко освещенным и ночью, бродил долгими часами, в сопровождении Хассана-паши, единственного человека, которому он верил за всю свою жизнь, землисто-бледный, непостижимо худой человек в феске, именовавшийся в Турции: «Царь царей», «Тень Аллаха», «Вершитель судеб», «Владыка земель и морей», а на Западе — «красный султан», «великий убийца», «Great Assassin»* (так его называл Гладстон).

По натуре своеобразный эстет первобытного душевного склада, никаких моральных преград не «преодолевавший» — их у него и не было, — халиф правоверных, едва ли очень веривший в существование Ал-

* Великий наемный убийца (англ.).

лаха, властелин ни милостью Божией, ни волей народной, властолюбец по психофизиологии, без каких бы то ни было идей о смысле, цели и оправданий власти, подлинный мученик властолюбия (как многие государственные люди), Абдул-Хамид за двойной оградой своего странного дворца, под охраной семи тысяч сыщиков и телохранителей вел истинно собачью жизнь, от которой, быть может, сбежал бы на третий день любой простой человек. Питался несложными блюдами, доставлявшимися ему с кухни в запечатанном виде с гарантией кизляр-аги против отравы, ходил в гарем в сопровождении вооруженной стражи, да еще при себе носил три револьвера — он ежедневно упражнялся в стрельбе и умел с 25 шагов выписывать пулями на доске свое имя. Гид показывал мне кресло, в котором Абдул-Хамид спал ночью, — постелей не признавал: они напоминали ему смертное ложе. Показывал гид и столик, на котором подписывались странные приговоры: богобоязненный падишах никогда не приговаривал никого к смерти — он писал на листке бумаги как бы в форме беседы с самим собой: «Мне было бы приятно, если бы такой-то не существовал на земле»... Были люди, очевидно, считавшие себя обязанными доставлять в подобных случаях удовольствие падишаху. Так говорил гид, это можно прочесть и в обличительной литературе. Но, может быть, и гид, и обличительная литература привирали.

Абдул-Хамид не был ученым человеком. Он, например, до последних дней своего царствования не разрешал устройства телефона в Константинополе, так как боялся, что его могут убить по телефону. Один мой добрый знакомый, и сейчас состоящий на службе у сына «красного султана», говорил мне, что от Абдул-Хамида остались книги и ноты (в том числе «Анна Каренина» и партитура «Садко») с его многочисленными заметками на полях. Биографы, однако, утверждают, что падишах любил слушать только «Травиату» и «Трубадура»; читал же лишь французские уголовные романы, да еще «Государя» Макиавелли — с этой книгой будто бы не расставался, видя в ней первое и последнее слово политической мудрости. Вероятно, собственная его мудрость мало отличалась от Макиавеллевой. В политике бесстрашие Абдул-Хамида нарушалось одной его физиологической ненавистью к армянам, напоминающей ненависть Гитлера к евреям

(и в меньшей степени к славянским народам). Что старый мизантроп в свете своего большого опыта думал о жизни вообще, едва ли известно даже его детям, сохранившим о нем благоговейную память. Он иногда поучал политике многочисленных мусульманских принцев, которые воспитывались в Константинополе и так или иначе приходили в соприкосновение с Ильдиз-Киоском. Однако не верил никому из них, хоть некоторые и рассказывали, будто состоят у него на особо тайной службе: этим они отвлекали от себя подозрения полиции и кизляр-аги. Приблизительно по таким же соображениям чеховский чиновник, желая отбить у молодых людей охоту ухаживать за его женой, распускал слухи, что она находится в связи с полицеймейстером.

Не пользовался благосклонностью султана и Фейсал. О его юных годах я, к сожалению, нигде не мог найти никаких указаний. Знаю только, что он рано сблизился с младотурками и вошел в круг врагов Абдул-Хамида. По окончании образования он отбыл воинскую службу в турецкой армии, где позднее, очевидно по праву рождения, получил генеральский чин, а затем отправился к себе в Аравию. Там, как всегда, какие-то племена вели какую-то войну за какую-то гегемонию. Старик Хусейн находил, что нет лучшей школы для молодых людей, чем война. Он и посылал туда своих сыновей — закаляться. Фейсал долго воевал с честью. Война была не траншейная, не артиллерийская, не газовая, — самая настоящая старая война, такая же, как те, что бывали тысячу и две тысячи лет тому назад.

Затем в Турции произошла революция. Не делая социологического открытия, можно признать, что каждый государственный строй *à la longue* сообщает свои свойства тем группам, которые ведут с ним борьбу. Энвер, Талаат, Джемаль, — люди, правившие Турцией до прихода к власти ее нынешнего Петра Великого, — впоследствии достаточно наглядно показали, что они кое-чему научились у Абдул-Хамида. Но, во всяком случае, перед нынешними немецкими гостями *Café Colysée* — да и перед нами — эти своеобразные либералы имеют историческое преимущество: они как-никак своего Абдул-Хамида свергли. В Турции началась

* В конце концов (*фр.*).

эпоха парламентаризма. Фейсал, близкий к Энверу, был избран в парламент и стал лидером фракции, требовавшей для Аравии гомруля*. В применении к нему эти ученые западные слова — лидер, фракция, гомруль — звучат довольно забавно. Будущий иракский король — в тесном и символическом смысле слова — пересел прямо с верблюда на аэроплан.

III.

Пятью годами позднее будущего короля Фейсала в другой части света, в очень непохожей на Аравию стране, в маленьком городке Тремадоке, в семье английского дворянина родился человек, которому в сочетании с Фейсалом уже довелось наделать немало шума на свете и, наверное, еще доведется без покойного иракского короля. Назывался он по-разному. Более всего он известен под настоящим именем Лоуренса. Но потом почему-то от этого имени он отказался и стал называть себя Россом. Теперь его официальное паспортное имя — Шоу. Англичане называют его «арабом Лоуренсом», а арабы — «Князем динамита», и «Мировым Дьяволом». Так — если верить его биографам. Это необязательно.

Не скрываю, некоторое недоверие представляется мне допустимым в отношении слухов и рассказов о человеке, у которого столь многочисленные и, главное, столь эффектные имена. Весь этот стиль «араба Лоуренса» отдает романтикой графа Сен-Жермена или более позднего Dolokhoff le Persan**. Я не уверен, что полковник Лоуренс до такой степени араб. Англичане, правда, утверждают, что он говорит по-арабски в совершенстве и даже знает все диалекты этого языка, — каждое племя считает его своим; вдобавок он научился арабскому языку по слуху: в учебники никогда не заглядывал и азбуки не знает. Так утверждают англичане. Что говорят об этом арабы, мне неизвестно. Я за всю жизнь не видал англичанина, который научился бы — по слуху или не по слуху — в совершенстве говорить по-французски. Но возможно, что овладеть в

* От англ. Home Rule — самоуправление. — *Прим. ред.*

** Перса Долохова (*фр.*).

совершенстве арабским языком англичанину легче. Труднее допустить, что бедуины так-таки считают Лоуренса своим человеком. Все равно, как едва ли и король Георг V считал своим человеком бедуина Фейсала, хоть тот имел королевский титул и носил европейский военный мундир.

Арабом Лоуренс стал не сразу, а «Князем динамита», разумеется, только во время войны. Однако некоторую известность в тесном кругу он приобрел еще очень молодым человеком. Лет восемнадцати от роду он поступил в Оксфордский университет. Среди студентов, как впоследствии рассказывал один его товарищ, скоро прошел слух, что в колледже появился оригинал: не курит, не пьет спиртных напитков, не ест мяса, не интересуется спортом. Это и само по себе было достаточно необыкновенно. Еще удивительнее было то, что Лоуренс не выходил к обеду в столовую колледжа, ни с кем не встречался, днем спал, по вечерам в одиночестве бродил по двору, а всю ночь напролет читал ученые книги.

Этим он нагнал на своих товарищей суеверный ужас, от которого не вполне отделались, по-видимому, и его нынешние биографы. Роберт Грейвс утверждает, что Лоуренс прочел в Оксфорде всю университетскую библиотеку, а именно пятьдесят тысяч томов: читал ежедневно шесть книг! Справка точная: ровно шесть книг регулярно каждый день или, вернее, каждую ночь. Правда, счет как будто не выходит: он мог, таким образом, прочесть за время своего пребывания в университете, включая все праздники и даже лишний день високосного года, 6576 книг, а никак не 50 000; кроме того, «вся университетская библиотека» Оксфорда состоит не из 50 000 томов, а из 1 250 000. Но не надо быть педантом, да мы и без подсчета знаем: не каждому слову биографа верить. Достаточно отметить, что читал Лоуренс действительно очень много, и притом такие книги, которые обычно мало интересуют молодых людей вообще, а английских студентов в частности: все больше по истории средневекового искусства и по археологии.

Есть и другие сведения о молодом Лоуренсе. Однажды зимой после полуночи он зашел к своему товарищу Ричардсу и предложил ему искупаться в реке, — лед нисколько не мешает. Предложение было отклонено (о форме своего отказа Ричардс ничего не сооб-

щает). Еще черточка. Лоуренс писал Грейвсу: «Когда вы поедете в Реймс, никого с собой не берите. Сядьте у шестой колонны с запада в южной части бокового свода и оттуда взгляните в просвет между четвертым и пятым столбом, на третье с севера окно трифория»...

Я думаю, по этим нескольким черточкам портрет достаточно ясен: оригинальничающий молодой человек, «ни на одно земное существо не похожий». «Вы ужасть как бизарны!» — говорит советница фонвизинскому герою. Ясно и то, что оригинальничал юный Лоуренс вполне безобидно, — отчего же не гулять ночью по оксфордскому двору и не сидеть у шестой колонны с запада в южной части Реймского собора? Байрон, Лермонтов скандалили в молодости гораздо хуже. Важно то, есть ли у человека еще что за душой. Лермонтов в жизни не так уж отличался от поручика Соленого. Но он, кроме того, был автором «Героя нашего времени».

Лоуренс защитил диссертацию «Влияние крестовых походов на средневековую военную архитектуру Европы» и получил возможность съездить на Восток, в Сирию. Тут-то с ним и случилось необыкновенное происшествие: как сообщает биограф, выяснилось, что в Лоуренсе сидит «бедуин, влюбленный в терпкость пустыни».

Не будем долго спорить. В той же комедии Фонвизина Иванушка говорит отцу возмущенно: «Или сносно мне слышать, что хотят женить меня на русской?» «Да ты что за француз? Мне кажется, ты на Руси родился», — спрашивает бригадир. «Тело мое родилось в России, это правда, — отвечает Иванушка, — однако дух мой принадлежал короне французской»... Все же это довольно редкий случай. Возможно, что для арабов Лоуренс в самом деле «Князь динамита» и «Мировой Дьявол», — кто их, арабов, разберет? Но когда английский биограф совершенно серьезно утверждает, что уроженец провинциального валлийского городка, воспитывавшийся в хорошей средней школе и в Оксфордском университете, по природе самый настоящий бедуин, то некоторое сомнение закрадывается и в доверчивую душу.

Выскажем более простое предположение. Лоуренсу была с юных лет свойственна мизантропия. Избранный им вид оригинальности очень ее усилил. Сильна

была и жажда приключений: Байрон в нем отлично уживался с Майн Ридом. Вероятно, с годами все это прошло бы и он стал бы мирным профессором Оксфордского университета по кафедре средневековой архитектуры. Вышла, однако, неожиданность.

Мировая война.

IV.

Фейсал с начала войны оказался в очень затруднительном положении. Стоявший перед ним вопрос мог иметь разные формы. В порядке общественном арабский патриот, вероятно, себя спрашивал: гомруль дело хорошее, но не лучше ли приобрести полную независимость? В порядке личном это примерно переводилось так: недурно быть лидером арабской фракции турецкого парламента, но отчего же не стать королем независимой Аравии? И над обоими вопросами, сливаясь с ними, стоял третий — роковой и мучительный: кто победит — Германия или союзники?

Не для одного Фейсала и не для одних арабов основная политическая проблема в ту пору ставилась именно таким образом. Какие тут были сомнения, колебания, перемены — и трагические, и забавные — у людей более известных, опытных и принципиальных, чем молодой арабский вождь, — об этом со временем расскажет так называемая «малая история», заглядывающая в письма, в дневники, в расходные книги. Одни поставили не на ту лошадь и бесславно потеряли ставку. Другие тоже поставили не на ту лошадь, но каким-то образом все-таки выиграли в этом странном тотализаторе. И наконец, трети угадали верно. К их числу принадлежал Фейсал.

Он думал, что победят союзники. Однако уверенности у него не было. Более нетерпеливые люди, в том числе его отец Хусейн, чуть ли не с первых дней войны желали поднять восстание против турок. Арабские офицеры образовали тайное общество, вошел в него и Фейсал. Надо ли говорить, что голова его висела на волоске, — в это революционное общество входили сотни людей!

Каким образом преемники Абдул-Хамида не выследили всех участников заговора? По-видимому, мла-

дотурки не слишком верили арабам вообще и Фейсалу в частности. Они отправили его в Дамаск. Там хозяйничал самый страшный, жестокий и подозрительный из младотурок знаменитый Джемаль-паша.

Если Фейсал действительно умер от сердечной болезни, то, вероятно, его двухлетнее пребывание в Дамаске было не последней ее причиной. Состоя на действительной турецкой службе, он мечтал о скорейшем поражении Турции. Находясь под бдительным наблюдением Джемалья, стоял во главе военного заговора. Подозрения против него росли все грознее. В конце 1915 года турки наконец напали на след участников дела. В Дамаске начались страшные казни. Джемаль под разными предлогами заставлял Фейсала при них присутствовать. На глазах будущего иракского короля казнили ближайших его друзей и товарищей. Ни один из них его не выдал!

Революционное настроение у арабов все росло. Хусейн посылал к сыну одного тайного агента за другим с требованием начать дело. Фейсал медлил: союзники потерпели тяжкое поражение на Дарданеллах, немцы могущественные, лучше подождать. Между тем соблазн был очень велик. Под начальством Фейсала оказалась чисто арабская воинская часть. Турки предполагали бросить ее против англичан на Суэцкий канал. Фейсалу было объявлено, что Энвер и Джемаль приедут к нему, чтобы произвести смотр его войскам. Это был совершенно необыкновенный случай. Мудрость предписывала им воспользоваться: убить обоих вождей младотурецкой партии, а затем тотчас поднять восстание против дезорганизованной, потрясенной власти. Заговорщики настойчиво этого и требовали у Фейсала. Они выбрали место и время убийства: Энвер и Джемаль должны были пасть на банкете, который в их честь устраивало арабское командование.

Фейсал не согласился на предложенное ему дело. Он говорил, что вожди младотурок приедут к нему в гости. Нельзя убивать гостей! Как же он не Хаджи-Мурат? От римских цезарей до убийц Распутина, кто же в подобных случаях считался с правилами гостеприимства?

Он принял все меры. Для защиты своих врагов он ввел в банкетный зал охрану из особо надежных людей. На смотре, где арабские террористы неотступно следовали за турецким главнокомандующим, Фейсал

почти в буквальном смысле слова отвел кинжал, занесенный над Энвером. По-видимому, что-то между ними проскользнуло — в словах, во взглядах, — в этой сцене Шекспир смешался с Достоевским. Энвер и Джемаль поняли... Поняли, какой опасности себя подвергли с истинно безумной неосторожностью, — Энвер был шальной человек. Судьба берегла обоих для другой, не лучшей участи. Под охраной фейсаловых агентов гости уехали из лагеря. Теперь ясно было, что медлить больше нельзя; очень скоро эти страшные люди вернуться — уже не одни. Фейсал разослал гонцов по всем городам империи, где у него были сообщники: им предписывалось бежать, бежать немедленно, под стены Медины, к Хусейну.

Вслед за тем он поднял восстание.

V.

Деньги на восстание арабов щедро давали союзники, в частности англичане, или, точнее, «Intelligence Service». Однако британские генералы приняли известие об этом восстании без особого энтузиазма.

Почему?

Незачем идеализировать войну и ее психологию. Однако не подлежит сомнению, что есть вполне принятые в политике вещи, к которым не лежит душа у военных людей. Сюда относится и устройство восстаний в тылу у противника. Мы теперь знаем, что и Людендорф весьма неохотно пропустил в Россию Ленина. Может быть, поэтому и британское командование не слишком восторженно отнеслось к восстанию, устроенному на деньги разведки. Вдобавок оно находило, что в чисто военном отношении арабской армии грош цена, и, кажется, не очень ошибалось: регулярные войска шерифа Хусейна состояли из четырех тысяч человек; из них 600 были генералы, а 1800 — офицеры менее высокого ранга!

У политической разведки, наверное, есть своя этика, но она далеко не вполне совпадает с этикой боевых офицеров. «Intelligence Service» совершенно свободна от предрассудков в выборе способов ведения войны. В частности, и роль денег в жизни и в политике она расценивает не только иначе, чем, например, Ганди, но

и не так, как лорд Китченер. Был, например, в начале войны такой случай. Видный деятель разведки сообщил британскому штабу, что командующий одной из неприятельских дивизий — человек продажный и что этим следует воспользоваться. Британское командование раздраженно отвергло это предложение: «противники английской армии по традиции считаются джентльменами». Этот случай меня занимает потому, что автором указанного предложения был Лоуренс.

«Бедуин» оказался в 1915 году агентом «Intelligence Service».

VI.

Каким образом тонкий эстет Лоуренс, влюбленный в Реймский собор, в красоты пустыни, в сокровища средневекового искусства, оказался агентом разведочной службы? В этот вопрос незачем вкладывать отенок неодобрения. Военная разведка не то что политическая полиция: да и к политической полиции на Западе отношение отнюдь не такое, как было у нас. Однако не очень ясна фактическая сторона дела. Биограф Лоуренса Грейвс кратко сообщает, что в начале войны молодой археолог желал зачислиться в военное училище, но был отвергнут и по протекции некоего Гогарта поступил на службу в географический отдел главного штаба, откуда скоро перешел в «Intelligence Service». По-видимому, биографа здесь особенно смущает слух, будто в военное училище Лоуренс не попал по слабости телосложения (он человек маленького роста; вес его в пору войны составлял 44 килограмма!). «Сообщение это неверно, — говорит Грейвс, — но оно вполне правдоподобно: не был ведь принят в солдаты «вследствие физической слабости» боксер Джимми Уайт, чемпион мира в весе пера».

Нас больше может интересовать другое. Через четыре месяца после объявления войны Лоуренс, прикомандированный к «Intelligence Service», становится, в чине капитана генерального штаба, руководителем информационного отдела при британской главной квартире в Египте. Это не вполне понятно. Почему мирный археолог, без всякого военного образования вдруг получает капитанский чин? Почему человек, только что

по особой протекции попавший в картографический отдел, внезапно назначается на разведочный пост исключительной важности? Бесплезно искать ответ на эти вопросы: все, что касается «Intelligence Service», естественно, окружено тайной, и нет основания выставлять гипотезу, что Лоуренс имел отношение к британской контрразведке еще до начала войны.

Со своими сослуживцами в Каире он не поладил — характер у него нелегкий. Вдобавок было серьезное разногласие: арабская ориентация начальника информационного отдела. По-видимому, местное начальство очень желало от него отделаться. Ему была дана трудная миссия. В Куте турки осадили английскую армию генерала Тауншенда; ее положение считалось безвыходным. Начальство поручило Лоуренсу попытаться подкупить пашу, который руководил осадой. Роберт Грейвс заявляет, что британскую разведку соблазнил пример русского командования, только что взявшего Эрзерум при помощи подкупа. Это сообщение делается без какой бы то ни было ссылки на источник и лишено всякого основания. Очень упростилась бы война, если бы можно было одерживать победы, подкупая вражеских генералов: средства у всех правительств были в ту пору неограниченны. Разумеется, не удалась и миссия Лоуренса: генерал Тауншенд скоро сдался со всей своей армией.

По возвращении в Каир Лоуренс, как говорит его биограф, постарался сделать себя совершенно ненавистным сослуживцам и в этом успел вполне: «начальство, которому он надоел, решило от него избавиться во что бы то ни стало». Его послали с миссией к шерифу Хусейну — выяснить на месте характер и шансы восстания: может быть, и в самом деле выйдет толк.

Сыновья шерифа, Абдулла, Али и Зеид, разумеется, встретили британского офицера как дорогого гостя. Но они гостю не понравились; вождя среди них он не нашел: один был болен чахоткой, другой — легкомысленный человек, третий — 19-летний мальчик. Лоуренс слышал, что у Хусейна есть еще сын, опытный воин. Но он находился при своей армии, в пустыне. Лоуренс решил к нему съездить. Ему дали проводников. Путешествие длилось несколько дней.

Где-то далеко, в пустыне, находится Уади-Сафра, некоторое подобие оазиса: холм, покрытый садами, с

сотней лачуг у подножия, с длинным низким домом наверху. Раб проводил английского гостя к вождю арабского лагеря. «Во внутреннем дворе дома, — пишет Лоуренс, — против входа, у двери черного цвета неподвижно стоял, поджидая меня, человек в белой одежде. С первого взгляда я почувствовал, что нашел того, кого искал в Аравии, нашел вождя, который приведет восстание к блестящей победе. Это был человек очень высокого роста, стройный, как статуя, особенно тонкий в своем широком шелковом одеянии. Глаза его были опущены, бледное лицо казалось безжизненной маской, — так странен был ее контраст с тем впечатлением спокойной энергии, которое исходило от всей этой неподвижной фигуры. Руки его были скрещены на коротком мече. Я ему поклонился. Он пригласил меня войти в комнату и сел у двери на ковер»...

Перед Лоуренсом был эмир Фейсал.

VII.

Лоуренсу удалось несколько поколебать недоверие британского штаба к арабскому восстанию. Он был назначен на должность военного советника при арабах, ему были отпущены деньги, оружие, верблюды. Командующим войсками был Фейсал. Лоуренс же самостоятельно руководил партизанской войной против турок.

Деятельность его сводилась главным образом к налетам на турецкие железные дороги. Он появлялся с арабским отрядом там, где его менее всего ждали, взрывал мосты и устраивал крушение поездов, парализуя перевозку войск и доставку грузов. Война деликатностью не отличалась. Победа почти неизменно кончалась резней и грабежом. «Араб храбр, гостеприимен и верен, — сообщает старый словарь, — но мстительность и склонность к грабежу омрачают его прекрасные свойства». Питомец Оксфордского университета умерял, когда мог, свою «армию», однако не всегда мог и не очень умерял. После одной из стычек он, например, заявил своим подчиненным: «Лучший из вас тот, кто убьет наибольшее число турок». Будем справедливы: он не щадил и себя, проявляя истинный

героизм. Турки оценили «Князя динамита» в 20 000 фунтов (со скидкой в 50 процентов, если он будет доставлен мертвым); ранен он был в партизанских боях много раз*.

Самым худшим, однако, были не бои, а переходы. Еще Птолемей делил Аравию на «Счастливую» и «Пустынную». Воевать Лоуренсу приходилось главным образом в Аравии Пустынной. Теперь ее сами арабы зовут «Землей Отчаяния». Отряд несся на верблюдах с бешеной быстротой, — случалось проходить до 200 километров в сутки. Навстречу дул, забывая песком нос, рот, глаза, раскаленный ветер, превращавшийся к полудню в ураган. У арабов принято пить и есть во время переходов только раз в два-три дня: так будто бы легче. Однако нередко привычные люди умирали от жары и жажды, — этой смерти предшествует обычно несколько часов бредового умопомешательства. Отдыхали в оазисах, но и там радости было немного: оазисы этой проклятой Богом страны кишат ядовитыми змеями. Им недостаточно жарко в пустыне, они на ночь забираются под одежду спящих людей. Немало спутников Лоуренса погибло от укусов. Арабы знают только один способ лечения: прикладывают к ране кусок змеиной кожи и читают Коран над укушенным — пока тот не умирает.

Эта адская жизнь продолжалась два года. О Лоуренсе заговорили и в Каире, и в Лондоне, и в Париже. Французское командование относилось к нему без большой симпатии. По-видимому, у французов вызывал недоверие штатский человек, ставший полковником двадцати девяти лет (если не ошибаюсь, маршал Петен был еще полковником на склоне шестого десятка). Зато новый британский главнокомандующий на Востоке, генерал Алленби, оценил блестящие результаты партизанской деятельности Лоуренса. На него посыпались награды. Ордена он отклонял, да еще писал при этом начальству насмешливые письма. Но о чине полковника сам письменно ходатайствовал: сослался на то, что, начиная с этого чина, британские офицеры могут ездить бесплатно в каком-то поезде, а ему это было бы очень кстати. Начальство не сердилось. Как когда-то в Оксфордском колледже, в гене-

* Не то девять раз, как сообщает Грейвс в 29-й главе книги, не то больше двадцати раз, как говорит тот же автор в главе 24-й.

ральном штабе начали свыкаться с мыслью: в старое, богатое традициями учреждение попал насмешник и оригинал.

VIII.

Два человека сошлись, обменялись мыслями, заключили союз для дела, которое оба, по разным причинам, считали своим. У них было общее: ум, храбрость, воля. В остальном сходства очень мало.

Все достаточно понятно в Фейсале. Арабский патриот, властолюбец с чертами подлинного душевного благородства, природный вождь, или, в переводе на европейский политический язык, диктатор, но диктатор особого образца. Став королем, он не казнил своих политических врагов и даже не создал для них концентрационных лагерей, — как же не дикарь!

В Лоуренсе все таинственно. В отличие от Фейсала, Лоуренс — писатель, и писатель талантливый. Но судить о нем по его книге трудно: он в ней так же застегнут, как в жизни. Трудно выснить даже его отношение к войне, которая им описана. С некоторым правом можно утверждать, что у Лоуренса к ней не одно отношение, а два.

Он написал две книги: «Восстание в пустыне» и «Семь колонн мудрости». К сожалению, второй из них я не читал, и не по своей вине: в Национальной библиотеке этой книги нет, а в продаже она попадает чрезвычайно редко и стоит тысяч сорок франков! «Семь колонн мудрости» отпечатаны на правах рукописи в ничтожном числе экземпляров; из них большинство раздарено Лоуренсом его друзьям. Книга эта при его жизни перепечатана не будет, да, кажется, ее и невозможно перепечатать. Грейвс, по крайней мере, сообщает, что ее выход в свет мог бы повлечь за собой немало судебных процессов, ибо в ней Лоуренс никого не пощадил и сказал обо всем всю правду. Сказал всю правду и о том, как ведется война. Некоторые страницы книги, по словам того же Грейвса, исполнены беспредельного ужаса.

Не таково «Восстание в пустыне». Это суховатый, порою блестящий рассказ о военных подвигах арабских партизан. Очень трудный род — военная литература. Когда умер Михайловский-Данилевский, историк

Отечественной войны, один из ее участников, граф Остен-Сакен, говорил с насмешкой: «Какое несчастье пошло на баснописцев! Давно ли мы лишились Крылова, и вот теперь умирает и Данилевский»... Вот только баснописцы у войны бывают разных направлений: баснописец Дюма-отец, но баснописец ведь и Ремарк. В лоуренсовом «Восстании в пустыне» война изображена не так, как на картинах Мейссонье. Однако «беспредельного ужаса» в ней нет.

Своими подвигами Лоуренс поразил воображение людей. Роберт Грейвс утверждает, что он — «самый замечательный из всех англичан нашего времени». Это сильно сказано. Но перед нами и в самом деле очень выдающийся человек. Понять его трудно, — со всеми поправками на актерскую игру, усвоенную им с детских лет. Лоуренс — агент «Intelligence Service», — это само по себе еще объясняет не так много. Разведчиком он стал, конечно, не ради выгоды. Он совершенно бескорыстный человек. Его книги могли бы принести ему состояние и не принесли ни гроша. Друзья Лоуренса, с его благословения, продавали по 500 фунтов экземпляры «Семи колонн мудрости», которые он им дарил, а ему эта книга стоила больших денег. Французский исследователь Сирии граф Гонто-Бирон вскользь говорит, что Лоуренс — «слуга британского империализма, вроде Джемсона или Сесилия Родса». В этом есть значительная доля правды. Со всем своим скептицизмом, с мизантропией, с влюбленностью в арабов Лоуренс писал не так давно: «Роковым будет тот день, когда перестанет увеличиваться в размерах Британская империя».

И все-таки это не полная правда. В так называемых здоровых странах патриотическое чувство не может прийти в столкновение с политическими взглядами, как не приходит с ними в столкновение потребность дышать воздухом и обедать каждый день. В Англии же, волей истории, патриотизм почти неизменно имеет легкий «империалистический уклон» — это своего рода «*revolvit orbis, stat cunx*»* британской политической жизни. Приведенное выше замечание Лоуренса не мешает ему быть человеком путаным и сложным. Враги говорят, что он «не глубок». Это также довольно неопределенное понятие, — Гердер писал своей неве-

* «Пусть мир переворачивается, крест продолжает стоять» (лат.).

сте: «Гёте хороший человек, вот только немного поверхностный!» Полковник Лоуренс — живой анахронизм, но ведь в мертвецкой исторического процесса беспрестанно воскресают мнимые покойники. Занимался он преимущественно войной и политикой; однако он поэт больше, чем воин, воин больше, чем политик. В пустыне он возил на своем верблюде, вместе с динамитом и сухарями, антологию английской поэзии! Байрон, потеряв любовь к жизни, убедил себя, что влюбился в греческую свободу. Лоуренс влюбился в идею освобождения Аравии, — надеюсь, освобожденная Аравия доставляет ему сейчас полное удовлетворение и тихую радость. Как бы только он не увлекся менее безобидным делом. Когда в обладателе художественной натуры просыпается искатель приключений, он становится опасным человеком.

IX.

Когда война кончилась, выяснилось, что создать единое арабское государство далеко не так легко, как казалось Лоуренсу и Фейсалу.

Как известно, в мае 1916 года между Россией, Англией и Францией состоялось соглашение о разделе азиатской Турции. Россия должна была получить Эрзерум, Трапезунд, Ван и Битлис; Франция и Англия делили между собой сферы влияния в Сирии и Месопотамии (так называемый договор Сайкса-Пико). Несколько позднее по Сен-Жан-Мориенскому соглашению кое-что в Малой Азии было обещано и Италии.

Соглашения составляли «дипломатическую тайну» — в довольно условном смысле этого понятия. Лоуренс утверждает, например, что о договоре Сайкса-Пико ничего не знал сам британский верховный комиссар в Египте, руководивший переговорами с Хусейном и Фейсалом. Может быть, в самом деле не знал. А может быть, не считал необходимым делиться своими сведениями с Лоуренсом. Как бы то ни было, договор этот совершенно не согласовался с теми обещаниями, которые были даны арабам верховным комиссаром.

После Октябрьской революции большевики опуб-

ликовали секретные договоры, найденные ими в русском министерстве иностранных дел. Опубликовали поспешно, беспорядочно и безграмотно. Они во всех этих документах тогда почти не разбирались, да им было и не до Сайкса-Пико... Однако за них разбирались другие. Немцы скоро довели до сведения арабских вождей, каковы планы союзников насчет Хусейнова царства.

Арабы пришли в ярость. Лоуренс был привлечен к ответу. Он и сам был поражен — для разведочной службы этот человек слишком наивен. По словам биографа (очевидно, исходящим от Лоуренса), честь ему предписывала немедленно распустить по домам всех своих солдат. В этом позволительно усомниться; но, во всяком случае, поступил Лоуренс совсем не так, как ему якобы предписывала честь. Он объявил арабам, что переданные через него обещания британского кабинета отменяют договор Сайкса-Пико. Заявление было во всех отношениях смелое — Лоуренс невозмутимо отменил договоры, под которыми значилась подпись и его, и чужого правительства. Но арабы не были ни тонкими юристами, ни глубокими политиками. Партизанская война продолжалась.

Макиавеллизм? Вот что отнюдь не свойственно Лоуренсу. Скажу больше: настоящего макиавеллизма не было и в действиях союзных правительств. Надо вспомнить обстановку того времени. Человек, висящий над пропастью, обещает за помощь больше того, что может дать, гораздо больше того, что дать хочет. Это своего рода «коня, коня, полцарства за коня!». Рассудительный человек со стороны укоризненно спросит, как можно давать за лошадь полцарства. Но это будет глупый вопрос.

Союзники (как и немцы) щедро сыпали в ту пору обещаниями, из которых одни были совершенно невыполнимы, а другие противоречили одно другому. Сошлюсь на авторитет большого знатока предмета. Новейший американский исследователь, профессор Чарльз Сеймур, ближайший участник Парижской конференции 1919 года, в своей работе «*Secret Treaties and Open Covenants*»^{*} прямо говорит, что договоры о разделе азиатской Турции были и неясны, и противоречивы. Обещания, данные грекам, противоречили обеща-

^{*} «Секретные договоры и открытые соглашения» (англ.).

ниями, данным итальянцем. Договор Сайкса-Пико не согласовался с тем, что англичане посулили Хусейну. Сен-Жан-Мориенский договор был заключен без согласия России и т. д. Впоследствии, добавим, выяснилось, что не сговорились между собой толком даже Франция и Англия.

То же самое относится и к другому событию, вызвавшему большое волнение у арабов, — к декларации Бальфура, обещавшей евреям Палестину. Анекдотическая история этого полуанекдотического документа еще не написана. Лорд Бальфур говорил одному русскому политическому деятелю, что подписал историческую декларацию из-за легенды, которую слышал в детстве: мир погибнет в тот день, когда в Иерусалиме восстановится еврейская власть, — «мне так надоел мир, что я, право, не прочь посмотреть на его гибель»... Шутка характерна для автора «Defence of Philosophic Doubt»*. Правда, шутливые слова престарелого государственного деятеля были сказаны после прекрасного завтрака; да и политика Foreign Office, конечно, не определялась шутками лорда Бальфура. Однако без преувеличения можно сказать, что знаменитая декларация была далеко не свободна от юмора. Весьма серьезный английский исследователь говорит, что она составлена в выражениях, «по необходимости неопределенных» («perhaps necessarily vague»), — как известно, уже лет 15 продолжается спор о том, что именно было обещано сионистам: настоящий «национальный дом» или же только духовный (упомянутый исследователь утверждает, что духовный). Никакого макиавеллизма, повторяю, не было. Но за поддержку еврейских финансовых кругов в Америке стоило обещать полцарства, вдобавок чужого. Государственные деятели нашего времени часто становятся макиавелли-поневоле.

Арабы так же, как сионисты, поняли декларацию Бальфура не фигурально, а буквально. Она была для них тяжким ударом. Печать Хусейна—Фейсала, вероятно, с благословения Лоуренса, открыла своеобразную «антисемитскую» кампанию. В ту пору все ненавистное для союзников воплощалось в одном слове: Германия. Не в обиду будь сказано Гитлеру, арабские газеты изо дня в день доказывали, что евреи те же немцы — и культура та же, и дух тот же, и взаимные

* «Защита философского сомнения» (англ.).

симпатии совершенно непреодолимы. Поэтому сионистский Иерусалим был бы политическим предметом Берлина.

Х.

После заключения перемирия Фейсал и Лоуренс выехали в Европу. Хусейн назначил сына своим представителем на конференцию. Наказ был: требовать создания всеарабского царства с включением в него Сирии, Месопотамии и Палестины.

Тут началась одна из самых своеобразных страниц истории переговоров 1919 года. В этой поездке в Париж бедуинского воина смешалось все: трогательное и забавное, эпопея и водевиль, Коран и «Наши за границей».

Надо ли говорить, что из трех великих людей конференции ни один вначале не имел ни малейшего представления о делах развалившейся империи султанов. Клемансо, Ллойд Джордж, Вильсон изумленно глядели на человека в белом тюрбане, называвшего себя потомком Магомета, сыном геджазского короля и претендентом на всеарабский престол, — в чем дело? кто такой? какие арабы? какой Геджаз? Сэр Генри Мак-Магон, которому было поручено составить доклад, горестно писал, что в Париже люди, очевидно, не понимают, о чем, собственно, идет речь.

Потом они освоились и с белым тюрбаном, и с арабскими требованиями. При великих людях были, как водится, советники, но они, тоже как водится, совершенно расходились во взглядах. Французы слышать не хотели о едином арабском царстве, не без основания полагая, что арабское царство будет псевдонимом новой английской колонии. Разобравшись в вопросе, Клемансо заявил Ллойд Джорджу, что о едином арабском царстве не может быть речи: надо разделить сферы влияния.

Начался торг. Его скрыто деловой характер («акулы капитализма») преувеличивать не надо. Вильсон настаивал на применении принципов демократии и самоопределения народов. С этим приходилось считаться; но, к счастью, тот же Вильсон выдумал систему мандатов. Не будем осуждать Клемансо и Ллойд Джорджа, если они в этом случае смотрели на принци-

пы президента, как на совершенную ерунду. Из Аравии, и по принципу самоопределения народов, и по всем другим принципам, можно с одинаковым правом выкроить и пять, и двадцать пять государств. Сам Лоуренс, по уши влюбленный в арабов, в своей книге вскользь, как ни в чем не бывало упоминает, что говейтаты вели войну с бенисакрами из-за обладания знаменитым верблюдом Джеддой. Как тут было применять принципы Вильсона?

Лоуренс вернулся на родину. Здесь на его долю в годы, последовавшие за войной, выпал огромный литературный и светский успех. Этот человек внес в войну 1914—1918 годов поэзию, которой ей не хватало. Блестящие действия арабских партизан так выигрывали на фоне серой, анонимной, траншейно-артиллерийской войны. «Араба Лоуренса» носили в лондонских салонах на руках, дамы сходили по нем с ума, мужчины подражали его резкой отрывистой манере разговора.

Оценило его заслуги и правительство. Он был зачислен в качестве эксперта в британскую делегацию на конференции. Это было довольно неудачное назначение. В Париже Лоуренс оказался представителем не Англии, а геджазского короля. Вместе с Фейсалом он посещал Клемансо, Вильсона, Ллойд Джорджа. Фейсал терпеливо излагал свои требования: единое все-арабское царство со включением в него Сирии, Месопотамии и Палестины. Лоуренс переводил слова своего друга и от себя добавлял, что в пору войны арабам были даны твердые обещания, — они должны быть исполнены.

По-видимому, годы, проведенные в Аравии: дни на верблюдах, ночи среди змей, многочисленные ранения — быть может, и внезапный успех — отразились на характере полковника Лоуренса. Из просто резкого человека он стал человеком чуть только не бешеным. Его беседы в Париже, затем позднее в Лондоне повлекли за собой ряд скандалов, о которых и теперь в Англии говорить не любят. Скажу только, что после одного объяснения с Лоуренсом покойный лорд Керзон заплакал — заплакал в настоящем смысле слова. «По щекам его текли слезы, он глухо всхлипывал. В зале наступило страшное смущение. Ему положил конец лорд Роберт Сесиль. Он, по-видимому, имел при-

вычку к такого рода сценам и грубовато сказал лорду Керзону: «Полно, старик, довольно этих штук!..» Лорд Керзон вытер глаза и высморкался в шелковый платок. Заседание продолжалось».

Кончилось же все это совершенно невероятной сценой между полковником Лоуренсом и английским королем. Лоуренс на аудиенции вернул Георгу V свои ордена, заявив, что стыдится той роли, за которую эти ордена получил, и что ему стыдно за Англию и за ее правительство. Этой сцене трудно было бы поверить, если бы сведения о ней в смягченной форме не исходили и от самого короля. В ответ на запрос биографа лорд Стэмфордгам, личный секретарь Георга V, пишет: «Его Величество хорошо помнит, что, представляя свою просьбу о разрешении отказаться от орденов, полковник Лоуренс кратко сказал, что он дал королю Фейсалу известные обещания, что эти обещания выполнены не были и что ему, быть может, придется сражаться против англичан. А при таких условиях он не считает возможным носить британские ордена. Его Величество не помнит, сказал ли ему Лоуренс, что стыдится за себя, за Англию и за британское правительство».

К чести британского правительства отметим, что все это не отразилось на служебной карьере Лоуренса. Позднее он был ближайшим советником Черчилля по восточным делам. Потом политика ему надоела, он стал авиатором и уехал в Индию. Газеты отмечают его появление то в Англии, то в самых странных местах — чуть только не у Далай-ламы. Разумеется, все по секретнейшим делам.

Во всяком случае, из всех служащих «Intelligence Service» полковник Лоуренс самый оригинальный.

Хусейн, узнав о провале всеарабского царства, в гневе отказался подписать Версальский договор. Это не произвело в Париже большого впечатления, — договор обошелся без подписи Хусейна. Фейсал оказался много лучшим политиком, чем его отец и чем Лоуренс. Увидев, что Клемансо ничем не прошибешь, он выдвинул свою кандидатуру на сирийский престол под французским мандатом. Клемансо было совершенно все равно, какой араб будет царствовать во французской

Сирии. Техника дела не так сложна. Сирийский конгресс провозгласил Фейсала королем. Сирийский народ встретил его восторженно: «И мы, и наши семьи, и наши палатки больше твои, чем твои руки. Враг Ислама тот, кто думает иначе»...

Однако с Францией Фейсал не поладил. Крайние арабские националисты вели глухую борьбу против французского мандата. Не стоит останавливаться на всем этом подробно. 14 июля 1920 года генерал Гуро предъявил ультиматум; французские войска двинулись на Дамаск. Оказалось, что сражаться с ними на верблюдах невозможно. Фейсал бежал в Англию, навсегда потеряв сирийскую корону.

Англичане скоро нашли для него другую. Королевство Ирак было создано едва ли не специально для него. Иракский конгресс с неменьшей готовностью провозгласил Фейсала королем. Иракский народ встретил его так же восторженно: «И мы, и наши семьи, и наши палатки...»

Наученный опытом, он поддерживал прекрасные отношения с «мандатарной державой» и вообще правил мудро, осторожно и твердо, оказав своей стране громадные услуги. Нет для отсталых народов другого пути к цивилизации. Англия, Франция, в недавние времена и Россия выполняли и выполняют в Азии великую цивилизаторскую роль.

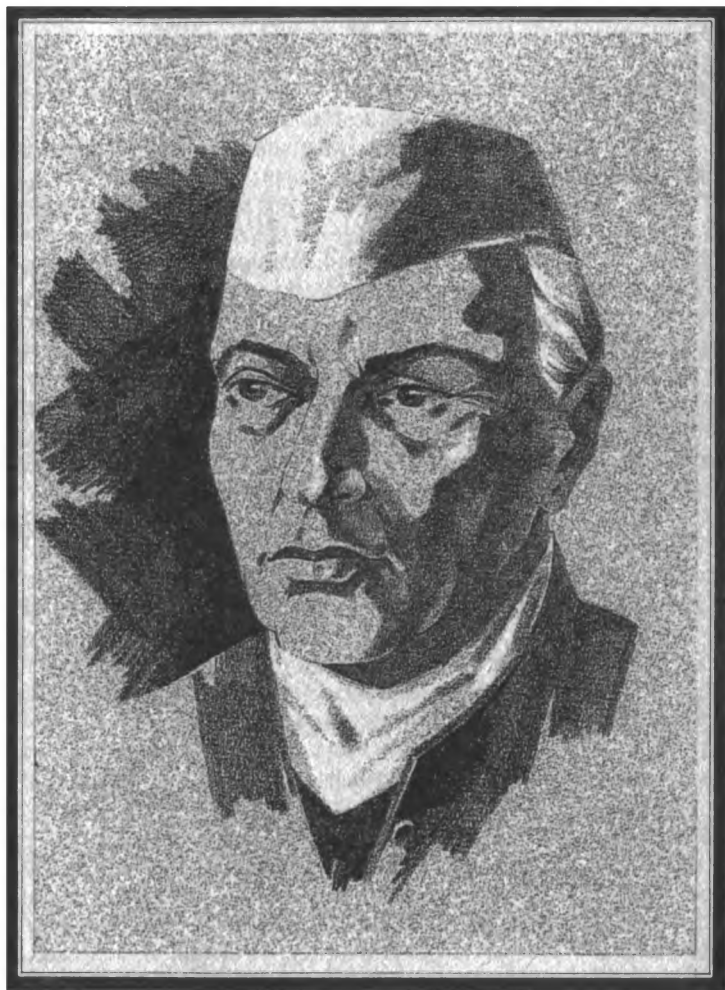
Разумеется, были и трудности, и несчастья. Из глубины веков выплыли какие-то ассирийцы, оказавшиеся в Ираке национальным меньшинством. Кто в Европе знал, что ассирийцы еще существуют, — нет ли где-нибудь и финикиян? Неприятности доставляли те же крайние арабские националисты, требовавшие борьбы с Англией. Еще больше забот было от вагабитов. Врагов вообще было очень много.

8 сентября прошлого года* король Фейсал скоропостижно скончался в довольно таинственной обстановке, в Берне, где находился на отдыхе. Когда высокопоставленный человек, имевший много врагов, умирает скоропостижно в таинственной обстановке, неизбежно

* 1932 г. — *Прим. ред.*

возникают зловещие слухи. Так это случилось и с Фейсалом. Не берусь судить об этих слухах. С одной стороны, честный Берн как будто самое неподходящее место в мире для злодеяний в духе Цезаря Борджиа или султана Мурада IV. Но есть и разные «с другой стороны». Все мы — и европейцы, и азиаты — живем ведь одновременно и в двадцатом веке, и в пятнадцатом.

Мохандас Ганди



Ганди

I.

В этом помещении стенные часы показывают не лондонское, а нью-йоркское время: лондонским не слишком интересуется Объединение американской печати.

Передо мной одно из самых могущественных учреждений в мире, быть может, даже самое могущественное. Трещит телефон — говорят, вероятно, из Нью-Йорка или из Чикаго? Барышня стучит на какой-то странной машине: ее сообщение через несколько минут будет подано двум тысячам редакторов двух тысяч американских газет. Эту рукопись сегодня вечером прочтет не менее пятидесяти миллионов людей. Радиоаппарата я не видел, но, конечно, здесь можно и по радиоаппарату слушать речь сенатора Бора или следить за матчем знаменитых боксеров.

Все эти чудеса создались на нашей памяти. За первые тридцать лет двадцатого века жизнь в бытовом и техническом отношении изменилась гораздо больше, чем за несколько тысячелетий предшествовавшей истории — скажем, от Соломона до Людовика XIV. Да еще мировая война, да еще русская революция, — кое-что видело наше удачливое поколение!

Заведующий отделением чрезвычайно любезен:

— Я сделаю все возможное, но обещать не могу ничего: весь Лондон хочет видеть Ганди. Если б вы оставались долго, это можно было бы устроить, но вы уезжаете...

Любезный американский журналист хорошо знаком с Ганди и пользуется его благосклонностью: ездил к нему в Индию в ту пору, когда Махатма еще не был так знаменит. Кроме того, весь мир очень ухаживает за американскими журналистами. Кроме того, индусы ухаживают за американскими журналистами особенно: их тактика отчасти заключается в том, чтобы жаловаться Соединенным Штатам на Англию.

— Я предлагаю вам следующее: поедем к Ганди

наудачу. Если будет можно, я вас ему представлю. Если нельзя, тем хуже...

Прямо отсюда к Ганди: из Америки в Азию!

Поправку на место надо иметь в виду постоянно, если хочешь что-либо понять в самой фантастической из всех возможных биографий: в необычной истории о том, как присяжный поверенный стал Богом.

Сам Ганди, впрочем, себя Богом не считает. Но его Богом считают — или считали — сотни миллионов людей. В Индии распространены его изображения в образе Кришну; говорят, будто они есть — или были — в любой индусской хижине. Ганди три раза в одном только 1921 году печатно протестовал против этого на страницах «Молодой Индии» (25 мая, 13 июля и 25 августа)*. Надо войти в положение человека, который вынужден писать письма в редакцию с убедительным заявлением о том, что он не Бог Кришну. И не так просто что-либо понять в психологии страны, где такие письма в редакцию возможны. Обращаться, например, в «Тан» или в «Берлинер Тагеblatt» с подобным письмом было бы явно неудобно.

II.

Как нам разобраться во всем этом? В Индии шестьсот государств, две тысячи триста сословно-кастовых делений людей**, двести двадцать два языка, из них более тридцати *главных* (по данным официального английского издания). Из трехсот миллионов населения, трудолюбивого, честного, несчастного, огромное, подавляющее большинство ни на одном из этих двухсот двадцати двух языков не умеет ни читать, ни писать. Бесконечное множество верований. Сложнейшая основная религия, тесно связанная со сложнейшей мифологией, — за ее философскими оттенками не всегда мог уследить ум Шопенгауэра. В повседневном же быту — культ коровы...

Многим европейцам, вероятно, надо делать над собой усилие, чтобы отнестись к бытовому культу коровы с тем уважением, которого требует всякая

* «La jeune Inde» (сборник статей), стр. 61—62.

** На юге Индии существуют, например, касты правой и левой руки, и никто из исследователей не может понять, что это значит. Касты эти резко враждебны друг другу.

страстная, искренняя вера. Индусы — народ очень даровитый: об этом свидетельствуют их поэзия и философия. Приходится просто признать, что многое в Индии нам совершенно непонятно, и ограничиться этим признанием. В корову слепо верит темный житель бенгальских лесов, защищающий ее дубьем от тигров и удавов. Слепо верит в нее и вождь сотен миллионов людей. Ганди отрицает всю европейскую цивилизацию; но в корову он верит твердо, и в его писаниях она занимает виднейшее место. «Никто не почитает корову больше, чем я», — говорит он в одной из своих статей. «Не надо защищать корову насильем, — пишет он еще, — это значило бы принижать высокий смысл защиты коровы»^{*}. Собственно, Европа на корову и не нападает. Но, быть может, западная цивилизация вправе скромно пожелать, чтобы и ее, с Леонардо, Декартами, Гёте и Пушкиными, не так уж безжалостно разоблачали — во имя культа коровы.

Его зовут Мохандас Карамчанд Ганди. Он родился 2 октября 1869 года. Отец его был первым министром в Порбандаре. Не зная ни местного быта, ни местных политических условий, не берусь сказать с точностью, что такое порбандарский первый министр: может быть, большой сановник, а может быть, нечто вроде исправника? Родители Ганди были, по словам его биографов, люди культурные и образованные. Но, очевидно, и образование их, и культурность надо применять к порбандарскому уровню. Мы знаем, например, что Ганди был помолвлен со своей нынешней женой восьми лет от роду, а женился на двенадцатом году. Родители его принадлежали к одной из средних каст. Они не были брахманами, но над «нечистыми» возвышались неизмеримо. Ганди сам рассказывает, что в детстве он прикоснулся к парию. Это было чуть ли не катастрофой. Брахманы и кштрии, прикоснувшись к «нечистому», должны совершать очистительные обряды**.

^{*} «La jeune Inde», стр. 229.

^{**} В некоторых городах Индии, в Мадрасе например, для париев отведены особые улицы. На улицах, где ходят индусы высших каст, парии появляться не могут. «Чандала, — сообщает автор труда об Индии, — должен был жить вдали от жилищ прочих людей, носить на себе особый знак, чтобы его можно было узнать и избежать с ним встречи (прикосновение к нему оскверняло); владеть он мог только низшими животными — собакой и ослом, есть из битой посуды, одеваться в платье от умерших и т.д. Подобные взгляды перешли в плоть и кровь современного индуса. До сих пор около 14 проц. туземного населения Индии принадлежит к таким отверженным кастам».

Но мать Ганди знала простой домашний способ, как себя очистить от прикосновения пария: надо немедленно прикоснуться к мусульманину. Так и было сделано с юным Ганди.

Со всем тем тяга к цивилизации у родителей Ганди, по-видимому, была и в самом деле. По крайней мере, когда мальчику минуло восемнадцать лет, его отправили в университет в Англию.

Об этом периоде жизни Ганди мы знаем очень мало. Ганди не любит англичан: это чувствуется (правда, только чувствуется) в его писаниях. Быть может, поэтому он неохотно говорит о влиянии, оказанном на него английской цивилизацией. Впрочем, в числе книг, сыгравших большую роль в умственном развитии Ганди, он называет сочинения Рескина. Очень большое впечатление, по его словам, на него произвели Священное Писание — и Толстой.

Ганди окончил курс юридического факультета, стал адвокатом и вернулся к себе на родину, где занялся практикой, преимущественно по гражданским делам. Впоследствии — много позднее — он отрекся навсегда от адвокатуры и назвал ее грязным, безнравственным делом. Но в молодые годы Ганди занимался адвокатурой с увлечением. Мне приходилось слышать, что он был превосходным адвокатом-цивилистом. Во всяком случае, он имел немалый успех и в пору своей адвокатской деятельности зарабатывал практикой от пяти до шести тысяч фунтов стерлингов в год — такой заработок в Париже, в Берлине, в Петербурге имели только очень выдающиеся или очень ловкие адвокаты.

Быть может, успех Ганди покажется еще более удивительным, если принять во внимание, что он применял несколько своеобразные приемы, кажется, не слишком распространенные в адвокатской среде. Так, например, когда клиент ссылался на какой-нибудь закон или решение суда, которые не были известны Ганди, будущий Махатма откровенно заявлял, что он этого закона не знает и постарается навести справки. Очень часто он сообщал клиентам о пробелах своего юридического образования вообще и советовал обратиться к какому-нибудь более опытному адвокату. «У меня было правило, — говорит Ганди, — не скры-

* Он говорит, правда: «Нужно ненавидеть сатанизм, любя сатану». Однако, несмотря на чрезвычайно вежливый тон всех его книг, по прорывающимся отдельным фразам иногда замечаешь, что Ганди «сатану» все-таки не любит.

вать своего невежества от клиентов»^{*}. Он добавляет, что это правило производило на клиентов весьма благоприятное впечатление. Я не сомневаюсь в свидетельстве Махатмы. Однако я не решился бы посоветовать молодым помощникам присяжного поверенного следовать примеру Ганди. Клиенты бывают разные, и возможно, что психология их в Индии резко отличается от той, какая была в России. Но я боюсь, что в Петербурге или в Париже адвокат, смиренно и правдиво заявляющий клиентам о своем юридическом невежестве, не мог бы с полной уверенностью рассчитывать на очень блестящую карьеру.

Была у этого странного адвоката еще и другая особенность. Если на суде во время разбирательства дела доводы противной стороны неожиданно его переубеждали, то он тотчас так суду и заявлял, что противник поколебал его убеждение и что он с противником соглашается. Это тоже, насколько мне известно, прием довольно необычный в адвокатской практике. Не знаю, производил ли и он чарующее впечатление на клиентов, но уж его-то я никак не решился бы рекомендовать начинающим адвокатам. Впрочем, такой случай должен был являться исключительным, ибо Ганди принимал только совершенно чистые дела, правота которых сомнений не вызывала.

Политикой Ганди не занимался; в свободное время он читал философские и религиозные книги. Особенное его внимание останавливало древнее индийское учение об «ахимсе». Сущность этого учения заключается в неделании зла и в непротивлении злу насилеи.

III.

В 1893 году одно индусское торговое предприятие, имевшее большой судебный процесс в Претории, предложило адвокату Ганди быть его представителем и выехать для этого в Южную Африку. Дело было чистое, условия хорошие. Ганди принял предложение, менее всего, вероятно, предполагая, что эта поездка перевернет всю его жизнь и положит начало новой «карьере», небывалой в новейшей истории.

^{*} Mahatma Gandhi at Work. His Own Story, p 117.

Это было за несколько лет до Трансваальской войны с ее легендой, облетевшей весь мир и надолго его взволновавшей: с грубой властью могущественного иностранного завоевателя боролся маленький свободолюбивый героический народ. Сочувствие всего мира было на стороне буров. По всей вероятности, у многих, от Вильгельма II до Мориса Барреса*, неожиданное расположение к свободолюбивым бурам было оборотной стороной некоторого нерасположения к Британской империи. Но в подавляющем большинстве своем передовой цивилизованный мир сочувствовал бурам так же искренне, как горячо**. Сколько добровольцев из разных стран пошло сражаться за свободу трансваальского народа!

Лорд Байрон, отправляясь на войну за свободу Греции, помнил о греческом прошлом; но, естественно, он не мог предвидеть греческое будущее; упрощенно-символически скажем, что Байрон помнил Перикла и не предвидел генерала Пангалоса. Я не хочу сказать ничего дурного о генерале Пангалосе. Но за него Байрон, вероятно, жизни не отдал бы. Мысль о том, что за всяким торжественным праздником могут наступить весьма прозаические будни, — довольно простая и естественная мысль; однако приходит она с опозданием, да и не приемлет ее освободительный энтузиазм. Было бы, разумеется, очень хорошо, если бы для выяснения своего отношения к той или иной освободительной войне всякий доброволец мог заранее знать, что будет делать после победы страна, освобожденная при его участии. Но осуществить это нелегко. Впрочем, европейским добровольцам, храбро сражавшимся за свободу буров, легче было проявить некоторую осмотрительность, чем за восемьдесят лет до того лорду Байрону.

В Южной Африке с давних времен обосновалось около 150 тысяч индусов. Свободолюбивые буры обращались с ними хуже, чем американцы обращаются с неграми в южных областях Соединенных Штатов. Индусы в Натале были почти буквально на положении собак. Но молодым отважным людям, стекавшимся из разных стран Европы для борьбы за свободу бурского

* Баррес Морис (1862—1923) — французский писатель. — *Прим. ред.*

** Были «пораженцы» в ту пору и в самой Англии. Так, неизвестная мисс Гобгауз (дочь лорда Кертнея) ежедневно молилась Богу о ниспослании победы бурам.

народа, это обстоятельство легко могло быть неизвестно — если о нем не имел ни малейшего представления индус Ганди.

Тотчас по приезде в Южную Африку Ганди с парохода отправился на вокзал и занял место в вагоне. Вошедшие в купе буры, изумленные такой наглостью цветного человека, избили его и выбросили из поезда на полотно. Он отправился в гостиницу — оттуда его выгнал хозяин, тоже пораженный наглостью индуса. Для «цветных людей» в Натале есть особые теплушки на железных дорогах и особые ночлежки в городах. Буры объясняют свои действия разными недостатками индусов, в частности их низким моральным уровнем, — в отношении такого человека, как Ганди, это объяснение звучит особенно убедительно.

Дальнейшее было в том же роде. Первой мыслью Ганди было немедленно уехать назад к себе на родину. Но затем он от этой мысли отказался: Ганди решил, напротив, навсегда остаться в Южной Африке, бросить свое дело, адвокатуру в Индии, общественное положение и посвятить всю жизнь освобождению африканских индусов.

Это называется в биографиях духовным кризисом. Кризис Ганди был особенно глубок потому, что ему пришлось оглянуться и на себя, на всю свою жизнь и на собственное отечество. Буры рассматривали как зверей индусов. Но ведь и индусы рассматривали как зверей своих париев.

Не знаю, стоило ли Ганди большого труда признать париев людьми. Он и теперь считает законным деление индусского народа на касты, причем дает этому взгляду довольно замысловатое и бестолковое объяснение. Ганди не очень радикален и в некоторых других вопросах, относящихся к той же или сходной области. Так, индусские мусульмане в своей печати с торжественной наивностью, которая отличает Индию*, многократно спрашивали Махатму, выдал ли бы он свою дочь за мусульманина, согласился ли бы он обедать с мусульманином за одним столом и т. д. Ганди отвечал уклончиво, преимущественно в полуво-

* Напомню сатирические изображения индусов в блестящих романах Хаксли.

просительной форме: «Зачем же непременно обедать за одним столом?» или: «Уж будто смешанные браки такие счастливые?..» Эти мрачные идеологические вопросы, эти хитрые ответы бывшего адвоката нельзя читать без улыбки. Надо, повторяю, делать поправку на Индию — может быть, прямой ответ Ганди вызвал бы там революцию? Ламартин сказал: «Надо отделиться от народа, чтобы думать, и надо слиться с ним, чтобы действовать». Как бы то ни было, у себя на родине Ганди является в настоящее время главным защитником париев. С большим риском для своей популярности он появился в 1921 году на конгрессе «нечистых» и взял на воспитание «нечистую» девочку.

Вопрос об отношении к бурам и к париям был, однако, только частью душевного кризиса Ганди. Перед ним встала вся проблема правды и неправды в мире. Решалась она у него трогательно-наивно, сразу по двум перекрещивающимся линиям. Надо было бороться с угнетателями. Надо было также бороться с грехом в себе.

«Толстой», — скажет читатель. Да, разумеется, без Толстого здесь не обошлось. Лев Николаевич жил в глуши, не читал газет и, казалось, ни о чем происходящем в мире не знал. В действительности он замечал многое такое, чего совершенно не замечали люди, усердно читающие газеты. Толстой чуть ли не первый обратил внимание на Ганди. У себя в Ясной Поляне он не читал «Речи» и «Русского слова», но читал «Indian Opinion» — листок, издававшийся по-английски в Претории никому не ведомым молодым индусом! Толстой написал Ганди письмо, в котором его ободрял и очень сочувственно отзывался о его взглядах. Завязалась оживленная переписка, насколько мне известно, она до сих пор не опубликована (последнее письмо к Ганди написано Толстым за два месяца до его кончины).

В 1904 году Ганди основал вблизи Дурбана земельческую колонию, названную им «Ферма Толстого». Она существует и до сих пор. Это довольно типичная толстовская колония русского образца 90-х годов. Но колония эта в течение многих лет была политическим центром гандистского движения. На «Ферме Толстого» создавалась ныне столь знаменитая Сатиаграха.

Борьба за освобождение, борьба с грехом. Понима-

ние греха у Ганди было почти то же самое, которое в свое время несколько надоело у толстовцев. Он опростился. По его собственному выражению, он «освободился от рабства прачечной и цирюльника»: иными словами, начал сам стирать свое белье и стричь на себе волосы. Ганди отказался от всех прежних удобств и стал жить на три фунта стерлингов в месяц. Отказался он и от супружеской жизни. История его отношений с женой занимает в воспоминаниях Ганди семь страниц. Думаю, что в политической книге политического деятеля подобная глава является совершенно беспримерной, — ее касаться я не буду, хотя Ганди сам подарил эту тему всем весельчакам мира. От «убоины» он отказаться не мог, ибо не ел ее и прежде. Но со времени своего кризиса и по сей день Ганди питается только фруктами и козьим молоком (коза не священное животное), причем опять-таки он очень подробно рассказал, как отражаются фрукты и молоко на его борьбе с женским соблазном. Толстой? Во всяком случае, Толстой без его огромного ума, без его чутья и понимания жизни и вдобавок без всякого чувства юмора.

Быть может, Ганди хотел подействовать на свой народ примером праведной жизни? Франклина спросили: «Какое свойство всего полезнее политическому деятелю?» Он ответил: «Видимость проповедника». Уж не знаю, был ли это простодушный или циничный ответ. Ганди едва ли очень думал о видимости. По книгам его выходит как-то так, что, борясь с грехом внутри себя, он этим в самом деле наносил тяжкие удары угнетателям-бурам. Его борьба с бурами свелась к митингам протеста, к мирным манифестациям, к «неучастию в зле» без противления злу насилеием. В совокупности это «самосовершенствованием» это и составило гандистское учение о Сатиаграхе (Satia-graha — правда-сила).

Ганди несколько раз избивали до полусмерти, несколько раз сажали в тюрьму. Он проявлял истинно железную волю и фанатическое упорство — в особенности в отказе от насилия. Вне Сатиаграхи не было спасения. Ганди с той поры ничего нового не придумал. Он теперь борется с англичанами точно так же, как тридцать лет назад боролся с бурами. Недавно его спросили, что он будет делать, если после ухода англичан на Индию нападут дикие гималайские племена, от которых теперь ее охраняет английское оружие. Ганди

ответил, что будет и с этими новыми завоевателями бороться посредством Сатиаграхи, не участвуя в зле, но и не противясь ему насиллием.

Людам, пожимающим плечами при виде такой политической тактики, Махатма с гордостью указывает, что в Южной Африке он этой тактикой добился успеха. Так Бриан в качестве блестящего результата деятельности Лиги Наций неизменно приводит благополучное разрешение греко-болгарского конфликта (боюсь, что в свете новых событий этот довод скоро перестанет производить потрясающее впечатление). И действительно, после долгих лет Сатиаграхи генерал Сметс отменил декрет, особенно оскорблявший индусов. Можно, однако, с некоторой уверенностью утверждать, что Сатиаграха вообще здесь имела не слишком большое значение, а внутреннее самосовершенствование — ровно никакого. К освобождению от «рабства прачечной и цирюльника», к фруктовой диете Ганди, к его беспрестьянным постам, к его отношениям с женой буры были, наверное, вполне равнодушны. Оскорбительный декрет был отменен по самым разным причинам: потому что за двадцать лет естественный политический процесс мог сказаться и без Сатиаграхи; потому что вечные манифестации индусов, далеко не всегда бескровные, вопреки воле Ганди, беспокоили бурское правительство; потому что в самой Индии из-за африканских событий начались волнения, неприятные англичанам; потому что генерал Сметс был недурной и незлой человек; потому, наконец, что европейская печать, хоть и без особой горячности (дело далекое), обратила внимание на невыносимое положение индусов в Южной Африке: в частности, и английские газеты и английское правительство весьма рады были при случае — в самой ласковой форме — пройтись по адресу буров, пламенное свободолюбие которых достаточно дорого обошлось Великобритании.

Добавлю, что «победа» была, по-видимому, далеко не полной. Не берусь сказать, какова теперь жизнь натальских индусов. После победы Ганди вернулся в Индию; с тех пор прошло много лет. Однако в своей последней книге Махатма вскользь, очень кратко, замечает, что положение индусов в Африке в последние годы опять стало хуже. Ганди довольно глухо объясняет его ухудшение тем, что среди самих африканских индусов очень ослабела Сатиаграха. Не знаю, что имен-

но это значит. Но, по-видимому, по учению Махатмы, для сохранения элементарных человеческих прав в Африке нужна весьма большая и постоянная доля общенародной святости. Как хорошо, что в Европе требования не так высоки!

IV.

Тем временем создавалась легенда. В Индию давно проник слух о том, что появился человек (человек ли?), ведущий святую жизнь и защищающий от угнетателей бедный индусский народ. Легенда крепла с каждым днем. Рост ее мне непонятен, и я, конечно, не берусь сделать его понятным читателям. Дело происходит в таинственной стране, в стране чудес. Скажу только, что чудеса начинают приписывать и самому Ганди: он исцеляет больных и воскрешает мертвых. По религиозному учению индусов, Вишну, высшее божество Вселенной наряду с Брамой и Шивой, несколько раз воплощался на земле — в виде рыбы, черепахи, кабана, льва, карлика, героя, Будды, Бога Кришну. Верующие индусы ждут нового земного воплощения Вишну.

Где появились впервые картины, изображающие Ганди в виде Бога? Я этого не знаю. Забегая несколько вперед, скажу, что лет десять тому назад культ Ганди в стране с шестой частью населения всего мира достиг наивысшего предела. В ту пору жизнь индусов была особенно тяжела, и сотнями миллионов людей точно овладело исступление. «В декабре 1921 года, — говорит биограф, — Национальный конгресс всей Индии дал Ганди полную власть, передал ему свои права с правом назначить себе и преемника». Ганди становится бесспорным властелином индусского народа. Он может вызвать политическую революцию. Он может, если захочет, осуществить религиозную реформу.

Индусская интеллигенция не считала Ганди Богом; но и она отдавала должное его святой жизни, его беззаветной энергии и исключительным качествам, которые, конечно, и споров вызывать не могут. В 1922 году на свидание с Ганди в Ашрам прибыл сам Рабиндранат Тагор. Он не разделял взглядов нового пророка, однако относился к нему с чрезвычайным почтением.

В древней книге Упанишад есть стих о высшем светлом существе, разум и сердце которого — драгоценный дар людям. Имя этому существу — Махатма (великая душа). В Индии, по-видимому, любят прозвища — Рабиндранат Тагор, например, носит имя Гурудева (почтенный учитель). Увидев Ганди, знаменитый поэт восторженно произнес упомянутый выше стих из Упанишад. Слово мгновенно распространилось по Ашраму, оттуда по Индии, оттуда, позднее, по всем миру.

Мистера Ганди больше не было.

Был Махатма.

V.

Деятельность Ганди в Индии свелась, главным образом, к борьбе с английским правительством за «Swaraj» (самоуправление). Необыкновенно популярная историческая форма свараджа гораздо короче, чем, например, «Учредительное собрание на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права»; зато она и значительно менее определена. Одни понимали под свараджем широкую автономию Индии, другие — права доминиона, третьи — полное отделение от Британской империи (англичане находят, что Индия, собственно, уже имеет сварадж). Может быть, именно вследствие своей неопределенности слово и сделало блестящую карьеру. На нем сходились все индусские партии. Спор между ними шел преимущественно о способах борьбы за освобождение.

И спор, и борьба начались довольно давно. Мировая война чрезвычайно все осложнила. Среди индусской интеллигенции мнения разделились, но отнюдь не по циммервальдской линии. На том, что воевать Индии надо, сходились люди разного круга мыслей. Вопрос был: с кем воевать? (так приблизительно вопрос ставился еще и в Польше). В Индии часть интеллигенции разрешила вопрос немедленно и традиционно: разумеется, воевать надо с Англией — более благоприятного времени для этого быть не может. И в самом деле, император Вильгельм стал в 1914 году ярым свараджистом; германский генеральный штаб предлагал всякую помощь индусским рево-

люционерам. С ними обсуждался даже вопрос об отправке в Индию небольшого немецкого десанта.

Однако громадное большинство индусов признало, что воевать нужно с немцами. После сокрушения германского милитаризма начнется новая эра свободы для всех народов мира. Поэтому надо забыть счеты с британским правительством и влиться всей силой в дело союзников. Сварадж будет добыт вместе с общим благодеянием человечества в Берлине (по более кровавой формуле: «на развалинах Берлина»). Хитрые индусские политики, однако, требовали гарантий: «нужно, чтоб британское правительство обещало» и т. д.

Британское правительство обещало. Оно вообще не скупилось на обещания во время мировой войны (как, впрочем, и другие правительства). Оно обещало России Константинополь, мусульманам — полную неприкосновенность халифата, сионистам — еврейский национальный дом в Палестине и многим другим многое другое. В Индии наряду с физически слабыми, почти небоеспособными народами есть племена, представляющие собой превосходный боевой материал: сикхи, например, по общему отзыву специалистов, принадлежат к лучшим солдатам мира (их на Западном фронте посылали туда, где появлялась прусская гвардия). Британское правительство с полной готовностью обещало Индии сварадж. Транспорты с индусскими войсками поплыли один за другим в Европу.

В марте 1918 года Людендорф прорвал английский фронт у Арраса. 2 апреля Ллойд Джордж опубликовал «Воззвание к индусскому народу». Воззвание было столь же неопределенное, сколь горячее; индусская конференция в Дели истолковала его так: «дайте солдат и получите независимость». Правда, «дайте солдат» — это было настоящее время, а «получите независимость» — будущее. Но Индия с энтузиазмом ответила на воззвание новым массовым набором добровольцев. В общей сложности она послала на Западный фронт восемьсот тысяч солдат* (не считая четырехсот тысяч военных рабочих), и это обошлось ей в сто пятьдесят миллионов фунтов стерлингов.

Душою этого дела был Ганди. Война вспыхнула как раз тогда, когда он прибыл в Англию после своей

* Sir Thomas W. Holderness. *India Arduous Journey*, p. 315. — По индусским источникам, число солдат, отправленных Индией в Европу, было еще большим: 985 тысяч.

победы в Южной Африке. Он убедил живших в Лондоне индусов в том, что долг предписывает им принять участие в войне на стороне англичан, и сам стал во главе вспомогательного санитарного отряда, — впрочем, тяжелая болезнь заставила его вернуться в Индию уже в декабре 1914 года. Несколько позднее у него возникли политические сомнения: газеты сообщили, что между Англией и Италией заключен тайный договор. Это очень огорчило Ганди: если договор тайный, то, может быть, в нем есть что-либо дурное или своекорыстное? Он поделился своими сомнениями с вице-королем Индии. Вице-король совершенно его успокоил.

Можно, конечно, и по сей день спорить, какая тактика в пору войны наиболее соответствовала интересам индусского народа. С общей, европейской и мировой, точки зрения, правильной была союзная ориентация. Пожалуй, она была правильна и с частной, индусской, точки зрения — хотя бы уже потому, что ее противники, как Пилсудский, «поставили на проигравшую лошадь». Но, во всяком случае, с точки зрения самого Ганди и его религиозно-философского учения, все, что он делал в пору мировой войны, было чистой бессмыслицей или даже некоторым подобием интеллектуального самоубийства. Непротивление злу насилием не слишком применялось в Европе в 1914—1918 годах. Вообще Сатиаграха тут была совершенно ни при чем.

Впоследствии Ганди объяснял свои действия тем, что он в ту пору себя чувствовал гражданином Великобритании. Позднее, по его словам, он увидел, что ошибся: индусы не граждане, а парии Британской империи. «Мои глаза открылись», — писал Ганди через три года после окончания войны и после того, как английское правительство разъяснило, что Индия, собственно, уже имеет суверенитет и что, к сожалению, по разным обстоятельствам ничего больше сделать в настоящее время нельзя*.

Теперь это у Ганди больное место, в которое неизменно тычут его враги. Они находят, что глаза Махатмы открылись несколько позднее, чем можно было бы желать. «Зачем мы вообще сунулись в мировую вой-

* Черчилль еще на днях сказал, что Англия обещала Индии не права доминиона, а только одинаковый с доминионами почет.

ну? — спрашивают враги Ганди. — Нам ее истолковала по-своему нация, не пользующаяся репутацией большой прямоты и искренности, и мы сдуру приняли английскую версию войны. Мы пошли воевать с немцами, которые нам никакого зла не сделали, пошли выручать англичан, от которых никогда не видели ничего, кроме зла».

Противники Ганди указывали и на то, что опыт мировой войны был в его деятельности не первым: в пору Трансваальской войны он также стоял за англичан, хотя признавал, что право на стороне буров. По мнению Ганди, индусов одинаково угнетали и буры, и англичане; однако индусы должны были предварительно попытаться убедить Англию, что ей не следует воевать с бурами; а так как они этого не сделали, то, как граждане Британской империи, они обязаны и т. д. Были у него и другие доводы — я привожу наиболее характерный. И тогда, как теперь, политическая диалектика Ганди у европейцев должна была вызывать некоторое чувство неловкости — за себя или за него, это уж каждый решит по-своему. Впрочем, ссылка врагов на то, что Ганди обманывали и прежде, его никак смутить не могла бы: он сам писал, что сторонник Сатиаграхи должен и в двадцать первый раз поверить человеку, обманувшему его двадцать раз. Будем надеяться, что уж в двадцать второй раз Махатму не обманут, — если вообще здесь можно говорить об обмане. Как бы ни было, спор индусов о прошлогодней ориентации нас вообще мало интересует. Важнее морально-философская драма самого Ганди. Ошибся ли он в ориентации или не ошибся, — куда же девалась Сатиаграха?

VI.

Зато Сатиаграха применялась после войны в борьбе с английским правительством за сварадж. Рассказывать историю этой борьбы не стоит — она ничем не отличалась от борьбы с бурами. Сказка про белого бычка, развязки которой мы и по сей день не знаем. Непротивление злу насилием, неучастие в зле... Неучастие в зле шло так далеко, что по наставлению Ганди индусы взяли своих детей из английских школ. Против

этого решительно высказался Рабиндранат Тагор. Он не без основания говорил, что если хорошей индусской школы нет, то нельзя отказываться от английской. На это Ганди отвечал критикой английской системы воспитания и европейской культуры вообще.

Из проповеди неучастия в зле выросла идея бойкота английских товаров. Появилась знаменитая прялка, Ганди рекомендовал заняться пряжей всем индусам. Этот совет он дал проституткам, на митинге которых, не без театральности, появился в Варшаве в 1921 году, — идея не блистала оригинальностью: у нас в свое время если не в жизни, то в повестях с честным направлением студенты покупали для «падших созданий» швейные машины. И то же самое Ганди предписал Рабиндранату Тагору: «Все должны прясть. Пусть займется пряжей и Тагор! Таков долг этого дня, а о завтрашнем подумает Господь Бог».

Все это было элементарно — конечно, превышало средний уровень европейской политической элементарности. Было бы бесполезно спрашивать Ганди о его отношении к республике, к монархии, к диктатуре, к социализму. О большевиках он в свое время высказывался резко отрицательно. В последнее время — быть может, под влиянием Ромена Роллана — он стал сдержаннее и в оценке большевиков. По крайней мере, в Париже он уклонился от ответа на вопрос о своем отношении к советскому строю, сославшись на незнакомство с делом. Вероятно, он все-таки кое-что о советском строе слышал? В крайнем случае, он мог бы нам рекомендовать бороться с большевиками посредством Сатиаграхи, и мы его поблагодарили бы за этот ценный совет.

Впрочем, результаты проповеди Ганди были довольно неожиданные. Так, например, в Индии англичане могли бы философски относиться к Сатиаграхе, если б гандисты ее выполняли совершенно точно. «Неучастие в зле» имеет неприятные стороны: в нетребовательной стране, как Индия, прялка делает серьезную конкуренцию Манчестеру. Но энтузиазм прялки может пройти, Манчестер может приспособиться. А против непротивления злу насилем англичане, наверное, ничего не имеют. Бенгальские террористы беспокоят их гораздо больше. Однако не все индусы понимали Ганди правильно. Он ездил по Индии то в поезде, то в тележке, то верхом на слоне, собирал народ и говорил

речи. В этих речах Махатма объяснял индусам, как гадок английский «сатана», а затем призывал их относиться к сатане любовно, как к заблуждающемуся брату. Но вторая часть завета Ганди имела гораздо меньше успеха, чем первая. Он сам говорит, что ему «было трудно заинтересовать народ мирной стороной Сатиаграхи». Из проповеди непротивления выросло «противление». Махатма в своих речах горячо осуждал индусских террористов — а их число от его речей увеличивалось не по дням, а по часам. В Пидхуне, в Ахметабаде результаты проповеди непротивления были таковы, что сам Ганди пришел в ужас и со свойственной ему добросовестностью признался в своей «гималайской ошибке» («гималайской» — по размеру): его слушатели были недостаточно подготовлены к Сатиаграхе.

Никто не может требовать от англичан, чтобы они ради Сатиаграхи развалили Британскую империю. По всей вероятности, они правы и в том, что, в случае их ухода, в Индии наступит полный хаос. Со всеми своими тяжкими недостатками вековая английская политика выполняет ту же цивилизаторскую миссию в Южной Азии, какую вековая русская политика выполняла в Северной. Было бы, конечно, гораздо лучше, если бы в колониальной деятельности англичан понятие высшей расы сменилось понятием высшей цивилизации — в этом они могли бы последовать примеру французов. Во Франции назначение негра министром ни у кого особенного интереса не вызвало, и случилось оно при самом «буржуазном» кабинете — в Англии ни Макдональд, ни Гендерсон негра никогда в кабинет не пригласили бы. В частности, по отношению к Ганди политика британского правительства не отличалась большой выдержанностью: его приглашали то во дворец, то в тюрьму.

В феврале 1922 года Махатма напечатал статью, в которой говорил о «кровавых когтях» англичан: «Британская империя, покоящаяся на организованной эксплуатации физически слабейших народов земли и на условном демонстрировании грубой силы, не может существовать, если только миром правит справедливый Творец». Так писал Ганди. Правда, статья его заканчивалась очередной мольбой, чтобы Провидение удержало индусов от насильственных действий против англичан. Однако английские власти не вытерпели и

арестовали Махатму. Он был предан суду по обвинению в «возбуждении в индусском народе ненависти и презрения к законному правительству Его Величества».

Суд над Ганди был довольно своеобразный. От защитника он отказался, изложил в своей речи идеи Сатиаграхи, подтвердил свою полную верность им и требовал для себя высшего наказания. Однако судья Брумсфильд не счел возможным согласиться с подсудимым. «Я не могу делать вид, — сказал судья, — будто я не знаю, что в глазах миллионов людей вы великий вождь и великий патриот. Даже люди, расходящиеся с вами во взглядах, видят в вас человека высокого идеала, благородной и даже святой жизни». Рассыпался в похвалах Ганди и прокурор. «Что вы скажете, — спросил в заключение судья, — если я приговорю вас к шести годам тюрьмы? Не будете ли вы считать, что это неразумно?» Ганди действительно находил, что это неразумно: он требовал больше. Оригинальный процесс тем и кончился. При выходе из здания суда к ногам Махатмы повалилась толпа индусов. Они искали его взгляда — это называется «даршан».

Потом его выпустили на свободу. Потом... Впрочем, ничего важного с той поры и не было. Индусский воз стоит на том же месте. Махатма Ганди требует свараджа, британское правительство отвечает, что Индия, собственно, уже имеет сварадж. Эти переговоры могут еще продолжаться довольно долго. Приход к власти в Англии первого социалистического кабинета чрезвычайно обрадовал индусов. Приход к власти второго социалистического кабинета тоже их обрадовал, но, вероятно, несколько меньше: Макдональд твердо обещает Индии сварадж — всякий раз, когда оказывается в оппозиции. Так, 24 мая 1928 года он заявил, что предоставление Индии прав доминиона будет «одним из первых дел рабочего правительства». Несколько раньше Макдональд, должно быть сгоряча, обещал Индии даже независимость^{*}. Теперь он, по-видимому, находит, что Индия, собственно, уже имеет сварадж. Однако строго осуждать британское правительство отнюдь не приходится, и нужно признать, что в самое

^{*} I. T. Sunderland. *India in Bondage*, p. 481.

^{**} «Daily Herald», 17 октября 1927 г.

последнее время его моральное положение в индийском вопросе стало гораздо лучше: на конференции круглого стола Ганди не удалось добиться соглашения ни с мусульманами, ни с «нечистыми». Махатма как-то сказал, что в будущей жизни он хотел бы родиться парием. Но в этой жизни он с париями так и не сговорился. За политико-юридическим спором, конечно, крылся тот же индийский диалог: «А согласился бы Махатма за одним столом обедать?..» — «Зачем же непременно обедать за одним столом?..» Надо, впрочем, думать, что препятствовал соглашению не сам Ганди. За ним народные массы, и ему надо считаться с предрассудками народных масс*. Эта конференция круглого стола, с ее закулисными переговорами и нескончаемыми диалогами, с ее гневными ультиматумами и «последними сроками», порою принимала комический характер. Во всяком случае, то обстоятельство, что мусульмане и парии искали у британского правительства защиты от «господствующей национальности», представленной в лице Ганди, не могло способствовать престижу Махатмы. Высокая политика — «совсем как в Версале» — ему явно не удается.

VII.

Небольшой дом-особняк на улице Найтсбридж. Этот дом почитатели сняли для Махатмы на время его пребывания в Лондоне. Мы входим. Средний английский hall — относительный комфорт без особых претензий на роскошь. Камин, кожаные кресла, на стенах портреты старых англичан. Индусская барышня стучит на машинке за маленьким столом. Индусские секретари шепчутся, беспокойно оглядываясь по сторонам. Здесь же сын Ганди, молодой человек болезненного вида. Все индусы в национальных костюмах — у гвардии Махатмы как бы свой мундир. Резко выделяется среди них плотный крепкий человек весьма английского вида. Он развалился в кресле у камина и

* Разобраться в кастовых отношениях Индии нет никакой возможности. Достаточно сказать, что есть могущественные князья, принадлежащие к низшим кастам (разумеется, не к «нечистым»). Так, например, сам магараджа Бародский принадлежит к последней из четырех главных каст Он «судра». Это все равно, как если бы в России царь был по сословию мещанином или купцом второй гильдии.

скучающим взглядом окидывает вновь входящих людей. Вид у него отрешенный от мира: и люди в холле, да и вообще все на земле ему совершенно чуждо. Это приставленный к Ганди видный сыщик Скотленд-Ярда. Его официальное назначение — охранять Махатму от врагов. Не поручусь, конечно, что он не интересуется и некоторыми друзьями Махатмы. Может быть, и начальству интересно — какие люди ходят к дорогому индусскому гостю.

К американскому журналисту выходит красивая дама в индусском наряде — разве только опытный человек с первого взгляда сказал бы, что она англичанка: у нее и цвет лица почти такой же, как у находящихся в холле индусов. Это знаменитая мисс Слэд.

Американский журналист меня представляет. Мисс Слэд очень любезна. Просит извинить, что вышла в таком костюме. Этого я не понял, но потом мне объяснил бывший с нами английский писатель: индусская форма мисс Слэд была, ввиду утреннего часа, не полная — чего-то индусского на ней не хватало.

— К сожалению, это совершенно невозможно. Махатмаджи сейчас уезжает, сию минуту. Ровно в одиннадцать часов Махатмаджи должен быть...

Мисс Слэд называет место, где должен быть в одиннадцать Махатмаджи. Что такое Махатмаджи? Оказывается, приставка «джи» в конце слова выражает особенную нежность. Так как прозвище «Махатма» означает «великая душа», то «Махатмаджи», очевидно, нужно переводить «дорогая великая душа», «великая душенька» или как-нибудь в этом роде (в ближайшем окружении Ганди называют «вари» — «отец»).

— Но я вас представлю здесь, при выходе, — утешает меня мисс Слэд. — Махатма сейчас здесь пройдет... Сию минуту...

Мисс Слэд поднимается по лесенке в кабинет Ганди... Какая тема эта женщина одновременно для Толстого и для Вербицкой, для Достоевского и для Коллет Ивер! Мисс Слэд — дочь английского адмирала; она принадлежала к высшему английскому обществу и в ранней молодости, по классическому выражению, «вела светский, рассеянный образ жизни». Как-то ночью, вернувшись домой с бала, мисс Слэд что-то прочла о Ганди. Это ее потрясло. Она решила посвятить всю жизнь служению Махатме и его делу. Несмотря на уговоры самого Ганди, мисс Слэд бросила семью и

родину, опростилась, теперь считает себя индуской и обижается, если ей напоминают о ее английском происхождении. От палящего индийского зноя, без мер предосторожности, ее лицо стало бронзовым, и, по словам одного из писавших о ней англичан, «выдает ее только говор, тотчас безошибочно признаваемый говор правящих классов Англии», — от меня укользают эти оттенки английской речи и акцента.

В передней дома волнение. Входные двери раскрываются настежь. К ним подкатывает автомобиль. С озабоченным видом пробегает несколько человек индусов. Секретарь внизу встает. Медленно, лениво поднимается с кресла сыщик.

В холл вбегает старый человек; на нем нет ничего, кроме набедренной повязки. Надо ли описывать его наружность и костюм, — если это можно назвать костюмом? Внешность Ганди известна теперь каждому, как известны всему миру физиономия и шляпа Шарло. Больше всего поражает необычайная худоба Махатмы^{**}. Его ноги — две спички, воткнутые в сандали. Первое впечатление — как такой человек может жить? И второе — необыкновенная подвижность этого неестественно худого, слабого человека.

Я представлял себе Махатму сидящим в своей келье с поджатыми ногами на циновке. Таким действительно я его позднее и увидел в Париже — только вместо циновки была кафедра, а вместо кельи — «Мажик-Сити». Но здесь, у себя дома, он весь был в движении. Ганди не вошел, а именно вбежал в переднюю, смеясь и что-то повторяя на бегу. Темные непроницаемые глаза бегали за огромными стеклами очков. Болтались часы — тоже диковинка при столь диковинном костюме. Он носит этот костюм для того, чтобы слиться с индусским народом. Но индусский народ живет под тропическим солнцем, а здесь Лондон, холодное осеннее утро; двери холла открыты настежь.

Махатма останавливается на бегу перед американ-

* За исключением самого Ганди. Чаплин посетил его в Лондоне, и при их свидании выяснилось, что Махатма никогда в кинематографе не был.

** Ганди весит сорок пять килограммов — результат питания лимонами и козьим молоком. Он вдобавок раз в неделю не ест ничего, а це так давно для того, чтобы примирить индусов с магометанами, постился двадцать один день. Таково его правило: перед серьезными делами серьезный пост. В свое время, услышав о 14 пунктах Вильсона, Махатма спросил американских журналистов, сколько времени постился президент перед выработкой каждого из этих пунктов. Не знаю, могли ли американские журналисты дать ему надежные заверения относительно постов Вудро Вильсона.

ским журналистом. Он трясется от холода и, видимо, с трудом сдерживает смех. Отчего он смеется? За ним идет его Эккерман — Эндрьюс, бывший английский пастор, так же, как и мисс Слэд, посвятивший свою жизнь Ганди*. Едва ли этот человек, очень мало похожий на весельчака, так рассмешил Махатму?

Не могу рассказать ничего поучительного о своей беседе с Ганди. Он произнес несколько слов, все так же трясаясь от холода и сдерживая душивший его смех. Но, по сости, я не слишком сожалею о том, что не имел с ним настоящего разговора. Общие места, которые мог бы сказать Ганди о сварадже или о Сатиаграхе, ничего не добавили бы к его книгам и весьма мало меня интересуют. Месяцем позднее в Париже он прочел целую лекцию и затем долго отвечал на вопросы — любой второсортный толстовец мог сказать то, что говорил Махатма. А вот увидеть его вблизи было интересно. Нет, на аскетов-отшельников Риберы он не похож нисколько.

Он еще раз пожимает руку и, ежась и вздрагивая, бежит к выходу. На улице одни индусы быстро закутывают его в белый «хаддар», тоже ныне известный всему свету; другие почтительно усаживают Махатму в автомобиль. За Ганди садится мрачный мистер Эндрьюс. Рядом с шофером уже сидит отрешившийся от мира сыщик. На улице вырастают в довольно большом числе гиганты-городовые — где же они были до того? Вокруг подъезда мгновенно собирается толпа. Автомобиль отъезжает. Старик в белой мантии что-то говорит Эндрьюсу, оживленно жестикулируя и смеясь, все смеясь... Отчего так весело этому необыкновенному человеку? Или в самом деле он счастлив, несмотря на свою каторжную жизнь?

VIII.

Ганди, конечно, исключительное явление. Его высокие нравственные качества, редкая сила воли, совершенное бескорыстие (во всех смыслах этого слова),

* У Махатмы есть горячие поклонники и среди англичан, чуждых ему по взглядам. Так, в ту пору, когда он лежал в Иеравадской тюремной больнице, туда ежедневно приходил старый английский офицер: справлялся о состоянии больного и оставлял всякий раз букет цветов.

беззаветная преданность индусскому делу никаких сомнений вызывать не могут. Трудно было бы отрицать и умственные качества Махатмы: без них он, вероятно, не мог бы в течение десятилетий сохранять то положение, которое он приобрел у себя на родине. Со всем тем умственный кругозор Ганди чужд и непонятен громадному большинству современных людей. В своих политических книгах он рассказывает, что его и по сей день волнуют безысходные мысли: например, можно ли ему пить козье молоко? «Я постоянно себя спрашиваю, когда же я откажусь от козьего молока, — пишет он в своих воспоминаниях. — Все еще не могу отказаться от этого соблазна...» Несколько лет тому назад Ганди согрешил еще хуже: жена соблазнила его необыкновенным лакомством — приготовила для него овсяную настойку на прованском масле. Он съел это дивное блюдо, «чтобы сделать удовольствие жене и насладиться». «Однако дьявол только этого и ожидал»: за грех чревоугодия Махатму постигла тяжкая болезнь — «я отказался от всякого лечения, желая искупить свое безумство». В пору выздоровления индусский врач убеждал Ганди питаться сырыми яйцами, но об этом Махатма не хотел и слышать, хотя ему обещали достать на рынке «неоплодотворенные яйца»*. У него образовался аппендицит, и пришлось сделать операцию. Это было еще худшим грехом. У Ганди среди старых индусов есть и такие друзья, которые, по-видимому, считают его сибаритом и прожигателем жизни. По крайней мере, один из них, старик-брахман (его сам Эндрьюс называет аскетом), прислал Ганди гневное письмо: вместо того чтобы решиться на грех операции, Махатма мог бы удалиться в какую-либо уединенную пещеру и там силой духа преодолеть слабость тела. Ганди и сам соглашался со стариком, что так было бы гораздо лучше. «Да, я виноват, — писал он в ответ брахману, — но, к несчастью для меня, я далек от совершенства... Признаю, что мое согласие на операцию было душевной слабостью».

Бесполезно долго останавливаться на этой теме. Все мышление Ганди элементарно и гиперболично —

* Добавлю, что так же он относится и к своей семье. В пору тяжелой болезни своей жены Ганди решительно отклонил требования врача, настаивавшего на том, чтобы больная питалась мясным бульоном. Он заявил, что предпочитает смерть жены такому греху. Госпожа Ганди совершенно с ним согласна: «Лучше умру, чем оскверню свое тело таким ужасом», — сказала она.

вот уж истинно «гималайское» мышление. Он с восторгом цитирует изречение санскритской книги, из которого можно сделать вывод, что от «чревоугодия» до потери рассудка и до всевозможных ужасов только один шаг. Не скрываю, такие страницы несколько раздражают — в особенности потому, что об этом рассказывает так обстоятельно и длинно: какое нам дело до внутренней борьбы Махатмы с соблазнами козьего молока и овсяной настойки на прованском масле?

Трагедия же этого человека в том, что он стал заниматься политикой. Ни его характер, ни взгляды, ни способы действий не были для нее предназначены ни в какой мере. Надо ли говорить, что в единоборстве с Ллойд Джорджем, или даже с Макдональдом, Ганди имел мало шансов на успех? Его восторженный биограф, Ромен Роллан, оскорбил Махатму сравнением с Лениным: «Для Ганди, как для Ленина, как для любой высокой души (их ведь немного), я — это ты». Ленин сюда приплетен явно для красоты слога — на это и отвечать нечего. Но к Ганди слова «высокая душа», конечно, могут быть отнесены с полным правом. Махатма сам сказал, что его целью в жизни является «Мокша» — «себя свести к нулю и взглянуть в лицо Господу». Как перевести на политический язык эти слова? Как подвести итог политической деятельности Ганди? Ведь те скромные завоевания, которые связываются с его именем, сделаны либо другими вопреки ему, либо им самим вопреки Сатиаграхе. Первый в истории опыт приложения толстовства к политике оказался полной неудачей — таков социально-философский результат гандизма. Правда, создалась легенда. Думаю, однако, что и она идет к концу: никакая легенда не выдержит двух-трех конференций круглого стола.

Источники публикаций

«Дюк Эммануил Осипович де Ришелье». Первая публикация — газета «Сегодня», Рига, 2, 10, 14, 20 24 февраля 1935 г. Печатается по книге «Портреты» (т. 2), Париж, 1936 г.

«Адам Чарторыйский в России». Первая публикация — газета «Сегодня», Рига, 14, 21, 27, 28 апреля, 11 мая 1935 г. Печатается по книге «Портреты» (т. 2), Париж, 1936 г.

«Жозефина Богарне и ее гадалка». Первая публикация — газета «Сегодня», Рига, 3, 9, 18, 23, 28 июля, 3 августа 1935 г. Печатается по книге «Портреты» (т. 2), Париж, 1936 г.

«Поездка Новосильцева». Первая публикация — газета «Последние новости», Париж, 25 сентября, 4 октября 1932 г. Печатается по книге «Юность Павла Строганова и другие характеристики», Белград, 1935 г.

«Генерал Пишегрю». Первая публикация — газета «Последние новости», Париж, 30 сентября, 7, 11 октября 1928 г. Печатается по книге «Портреты», Берлин, 1931 г.

«Ольга Жеребцова». Первая публикация — газета «Дни», Париж, 9, 14, 28 февраля 1926 г. Печатается по книге «Портреты», Берлин, 1931 г.

«Коринна в России». Первая публикация — газета «Последние новости», Париж, 25 декабря 1933 г., 1, 7 января 1934 г. Печатается по книге «Юность Павла Строганова и другие характеристики», Белград, 1935 г.

«Сперанский и декабристы». Первая публикация — журнал «Современные записки», Париж, 1925 г., № 26. Печатается по книге «Портреты», Берлин, 1931 г.

«Азеф». Первая публикация — газета «Последние новости», Париж, 8, 9, 14, 16 февраля 1930 г. Печатается по книге «Десятая симфония. Азеф», изд. 2, Париж, 1936 г.

«Сталин». Первая публикация — газета «Последние новости», Париж, 18, 20 декабря 1927 г. Печатается по книге «Современники», изд. 2, Берлин, 1932 г.

«Советские люди (В кинематографе)». Первая публикация — газета «Последние новости», Париж, 5 февраля 1933 г. Печатается по книге «Юность Павла Строганова и другие характеристики», Белград, 1935 г.

«Гитлер». Первая публикация — газета «Последние новости», Париж, 12, 13, 17 января 1932 г. Печатается по книге «Портреты» (т. 2), Париж, 1936 г.

«Пилсудский». Первая публикация — газета «Последние новости», Париж, 19, 20, 22 октября 1929 г. Печатается по книге «Портреты», Берлин, 1931 г.

«Клемансо». Первая публикация — газета «Последние новости», Париж, 25, 27 марта, 1 апреля 1928 г. Печатается по книге «Современники», изд. 2, Берлин, 1932 г.

«Бриан». Первая публикация — газета «Последние новости», Париж, 19, 20 января 1929 г. Печатается по книге «Портреты», Берлин, 1931 г.

«Блюм». Первая публикация — газета «Дни», Париж, 15 января 1928 г. Печатается по книге «Современники», изд. 2, Берлин, 1932 г.

«Ллойд Джордж». Первая публикация — газета «Последние новости», Париж, 8, 15, 29 июля 1928 г. Печатается по книге «Современники», изд. 2, Берлин, 1932 г.

«Уинстон Черчилль». Первая публикация — газета «Последние новости», Париж, 21, 24 июля, 7 августа 1927 г. Печатается по книге «Современники», изд. 2, Берлин, 1932 г.

«Король Фейсал и полковник Лоуренс». Первая публикация — газета «Последние новости», Париж, 13, 15, 26, 29 октября 1933 г. Печатается по книге «Юность Павла Строганова и другие характеристики», Белград, 1935 г.

«Ганди». Печатается по книге первой публикации — газета «Последние новости», Париж, 8 19, декабря 1931 г.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Андрей ЧЕРНЫШЕВ.</i> <i>Материк «Марк Алданов»: неизвестная часть</i>	5
«ДЮК ЭММАНУИЛ ОСИПОВИЧ де РИШЕЛЬЕ»	13
АДАМ ЧАРТОРЫСКИЙ В РОССИИ	51
ЖОЗЕФИНА БОГАРНЕ И ЕЕ ГАДАЛКА	83
ПОЕЗДКА НОВОСИЛЬЦЕВА	127
ГЕНЕРАЛ ПИШЕГРЮ	151
ОЛЬГА ЖЕРЕБЦОВА	187
КОРИННА В РОССИИ	213
СПЕРАНСКИЙ И ДЕКАБРИСТЫ	233
АЗЕФ	251
СТАЛИН	291
СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ (В кинематографе)	313
ГИТЛЕР	327
ПИЛСУДСКИЙ	355
КЛЕМАНСО	387
БРИАН	425
БЛЮМ	455
ЛЛОЙД ДЖОРДЖ	467
УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ	503
КОРОЛЬ ФЕЙСАЛ И ПОЛКОВНИК ЛОУРЕНС	535
ГАНДИ	563
<i>Источники публикаций</i>	589

Алданов М.

A49 Сочинения. — В 6-ти книгах. — Кн. 1: Портреты. — М.: Изд-во «Новости», 1994.— 592 с.

ISBN 5—7020—0430—2

Марк Алданов (1886–1957) — один из крупнейших русских писателей, до последнего времени оставшийся неизвестным в России. За рубежом вышло пять книг его очерков, часть которых вошла в данный сборник.

Знакомясь с галереей портретов, читатель как бы погружается в атмосферу исторического своеобразия эпохи Французской революции и Наполеона, эпохи Октябрьской революции— искусством заставить своих героев жить на страницах книги Алданов владел в совершенстве.

A $\frac{4700000000}{067(02) — 94}$ Без объявл.

ББК 84Р

Марк Алданов

ПОРТРЕТЫ

Зав. редакцией *Л. Д. Соболев*

Редактор *Е. И. Бонч-Бруевич*

Младший редактор *Н. В. Потатуева*

Фоторедактор *И. В. Карпушина*

Корректор *М. К. Верховцева*

Технический редактор *Н. М. Ладик*

Технологи *В. И. Руденко, Е. Ф. Егорова*

ИБ № 10528

ЛР № 040676 от 28 февраля 1994 г.

Сдано в набор 09.01.92. Подписано в печать 29.11.93.

Формат издания 84×108^{1/32} Гарнитура Таймс. Офсетная печать.

Усл. печ. л. 31,08. Уч.-изд. л. 33,28. Тираж 15 000 экз.

Заказ № 5317. Изд. № 8954.

АО «Издательство «Новости»

107082, Москва, Б. Почтовая ул., 7.

Отпечатано с готовых диапозитивов

на Книжной фабрике № 1 Комитета РФ по печати.

144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.

